

25 липня 1899.

# УНІВЕРСИТЕТСЬКА ІЗВѢСТІЯ

МАЙ

1899 Г.

## Памяти Пушкина.

I. Предисловіе . . . . .	i—vi
II. Памати Пушкина. Стихотвореніе. Н. Э. Глокке . . . . .	vii—viii

### ОТДѢЛЪ

I. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ.— Проф. П. В. Владимірова . . . . .	1 88
II. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени.— Проф. Н. П. Дашиевича . . . . .	89—257
III. Отзвуки Пушкинской поэзіи въ послѣдующей русской литературѣ.—Приватъ-доцента А. М. Лободы . . . . .	258—274
IV. Пушкинъ и Славянство.—Приватъ-доцента А. И. Степовича .	275—287
V. Пушкинъ и Челяковскій.—Проф. Т. Д. Флоринскаго . . . . .	288—296

### ОТДѢЛЪ II.

I. Отношеніе къ Пушкину русской критики съ 1820 года до столѣтнаго юбилея 1899 года.—Проф. П. В. Владимірова . .	1— 64
II. Изъ Пушкинской юбилейной литературы.—Приватъ-до- цента А. И. Степовича . . . . .	65— 80
III. Пушкинъ въ Каменкѣ.—Приватъ-доцента А. М. Лободы . .	81— 99



121

УНИВЕРСИТЕТСКІЯ

206  
1949

# ИЗВѢСТИЯ.

---

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ.

---

№ 5 — МАЙ.



— 74 —



КІЕВЪ.

Типографія Імператорського Університета Св. Владимира.  
Н. Т. Корчакъ-Новицкаго, Меринговской ул.  
1899.

P Slav 392.10



51 \* 17

Печатано по определению Совета Императорского Университета  
Св. Владимира.

Ректоръ ФОРТИНСКІЙ.



Подъ редакціей Профессора В. С. ИКОНИКОВА.

Digitized by Google

## СОДЕРЖАНИЕ.

---

I. Предисловіе . . . . .	1—VI
II. Пам'яти Шукіна. Стихотвореніе. Н. Э. Глонке . . . . .	VII—VIII

### ОТДѢЛЪ I.

I. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ.— Проф. П. В. Владимірова . . . . .	1 84
II. Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ нового времени.— Проф. Н. П. Дацкевича . . . . .	85—257
III. Отзвуки Пушкинской поэзіи въ послѣдующей русской лите- ратурѣ.—Приватъ-доцента А. М. Лободы . . . . .	258—274
IV. Пушкинъ и Славянство.—Приватъ-доцента А. И. Степовича .	275—287
V. Пушкинъ и Челяковскій.—Проф. Т. Д. Флоринскаго . . . . .	288—296

### ОТДѢЛЪ II.

I. Отношеніе къ Пушкину русской критики съ 1820 года до столѣтнаго юбилея 1899 года.—Проф. П. В. Владимірова . .	1— 64
II. Изъ Пушкинской юбилейной литературы.—Приватъ-до- цента А. И. Степовича . . . . .	65— 80
III. Пушкинъ въ Каменкѣ.—Приватъ-доцента А. М. Лободы . .	81— 99



## Перечень портретовъ и рисунковъ.

---

I. Е. Н. Давыдова.

II. А. Л. Давыдовъ.

III. Аглая А. Давыдова.

IV. Адель Давыдова.

V. Часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ, по рис. 1853 г.

VI. Т. н. Пушкинскій гротъ въ Каменкѣ.

## Предисловіе.

---

Починъ въ празднованіи Пушкинскаго дня въ стѣнахъ Университета св. Владимира, 26 мая, принадлежитъ Историко-Филологическому факультету, который внесъ о томъ предложеніе въ Совѣтъ Университета и намѣтилъ главныя части программы означенного торжества. Подробности этой послѣдней были разработаны особой Коммиссіей, назначенной въ засѣданіи Совѣта 16 января 1899 года и состоявшей, подъ предсѣдательствомъ декана Юридического факультета А. В. Романовича-Славатинскаго, изъ декановъ Н. В. Бобрецкаго и М. А. Тихомирова, главнаго редактора В. С. Иконникова, проф. богословія П. Я. Свѣтлова, профессоровъ всеобщей и русской словесности: Н. П. Дашкевича и П. В. Владимирова и прив.-доц. А. М. Лободы. Кромѣ заявленныхъ для произнесенія въ торжественномъ собраніи рѣчей, которыя, какъ равно и другія статьи, должны были войти въ особый Сборникъ, посвященный памяти Пушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ составить № 5-й (май) Университетскихъ Извѣстій, Коммиссія положила: внести въ программу исполненіе музыкальныхъ и хоровыхъ произведеній изъ Пушкинской поэзіи; устроить въ одной изъ залъ Университета выставку сочиненій и рукописей, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину и его эпохѣ, какія находятся въ библіотекѣ Университета св. Владимира или будутъ получены для означенной цѣли; установить ежегодную премію имени Пушкина для студентовъ Университета за сочиненія на темы по новой русской сло-

весности и по западно-европейской литературѣ въ ея от-  
ношениі къ Пушкину, въ размѣрѣ 200 рублей, изъ специ-  
альныхъ средствъ Университета; обратиться въ Кіевскую  
Городскую Думу съ просьбой о переименованіи одной изъ  
ближайшихъ къ Университету улицъ въ Пушкинскую <sup>1)</sup>;  
наконецъ, въ интересахъ возможно полнаго собранія свѣ-  
дѣній о пребываніи Пушкина въ Кіевской губ. и Екате-  
ринославѣ, ходатайствовать о разрѣшеніи командировкѣ  
прив.-доц. Лободѣ съ тѣмъ, чтобы въ этихъ мѣстахъ были  
собраны извѣстія и преданія о Пушкинѣ, сняты виды мѣстъ  
и предметовъ, близкихъ Пушкину, и т. п. <sup>2)</sup>). Программа эта  
была одобрена Совѣтомъ и утверждена въ установленномъ  
порядкѣ.

Благодаря любезному вниманію владѣльцевъ усадьбы  
въ мѣстечкѣ Каменкѣ (Чигиринскаго уѣзда Кіевской гу-  
берніи), семьи Давыдовыхъ, сдѣланы были снимки съ наи-  
болѣе замѣчательныхъ мѣстъ и собраны нѣкоторыя свѣ-  
дѣнія, касающіяся пребыванія тамъ Пушкина; независимо  
отъ того отъ Д. Л. Давыдова, изъ селенія Вербовки,  
находящагося близъ Каменки, были получены портреты,  
имѣвшіе отношеніе къ жизни Пушкина въ Каменкѣ, за что  
съ своей стороны Коммиссія по устройству празднества  
Пушкина считаетъ долгомъ выразить свою глубокую при-  
знательность.

Названные виды и портреты, а равно и точный снимокъ  
съ подлинной рукописи Пушкина „Моя родословная“, при-  
надлежащей библіотекѣ Университета св. Владимира <sup>3)</sup>, по-  
мѣщаются въ настоящемъ Сборникѣ <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Переименована Ново-Елисаветинская.

<sup>2)</sup> Результаты означенной поѣздки сообщены въ статьѣ г. Лободы.

<sup>3)</sup> Рукопись эта пожертвована въ библіотеку Университета бывш. помоющ. библіотекаря И. Г. Савенкомъ. О ней въ свое время сообщалось на стран. „Русской Старинѣ“ (т. XXVII, 671—673; т. XXVIII, 357—361), а текстъ ея былъ напечатанъ въ „Унив. Изв.“ 1880 г., № 5-й.

<sup>4)</sup> Приготовленная по тому же поводу монографія проф. В. С. Иконникова „Историческая воззрѣнія Пушкина“ будетъ напечатана особо.

## III

Такимъ образомъ, выходящее нынѣ изданіе является выполнениемъ той задачи, которая была намѣчена Комиссіей, какъ ея главная часть.

26 мая, въ Императорскомъ Университетѣ св. Владимира состоялось торжественное празднованіе столѣтней годовщины рождения А. С. Пушкина. Утромъ, въ 9 $\frac{1}{2}$  час., въ Университетской церкви были совершены заупокойная литургія и панихида, на которой проф. богословія св. П. Я. Свѣтловымъ произнесено было слово „О свѣтлыхъ и темныхъ сторонахъ поэзіи Пушкина“. Въ часъ дня въ актовомъ залѣ Университета состоялось торжественное собраніе, открывшееся вступительнымъ словомъ предсѣдателя Комиссіи по устройству Пушкинского празднества въ Университетѣ, заслуженного профессора А. В. Романовича-Славатинскаго, слѣдующаго содержанія:

„Милостивыя государыни и милостивые государи! Въ жизни народовъ, обыкновенно распадающихся на отдѣльныхъ обособленныхъ лицъ, занятыхъ своими личными дѣлами и негораздыхъ на дѣло общее, бываютъ свѣтлые моменты, когда эта разъединенная толпа сливается въ единое цѣлое, и, претворившись въ нравственную личность, проникается одной общей мыслю, однимъ общимъ чувствомъ. Такіе моменты, къ сожалѣнію, случаются рѣдко, и тѣмъ рѣже, чѣмъ народъ менѣе просвѣщенъ. Я говорю: къ сожалѣнію, такъ какъ въ нихъ, въ этихъ моментахъ, великая культурная сила: они укрѣпляютъ народное единеніе, они отрезвляютъ народную мысль; они развиваются сознаніе национального достоинства; они, наконецъ, внушительно дѣйствуютъ на другіе народы. Многомилліонный народъ, чувствующій и дѣйствующій, какъ одинъ человѣкъ—сила импозантная. Такую свѣтлую минуту народного одушевленія и единенія мы переживаемъ сегодня, въ столѣтнюю годовщину рождения нашего славнаго Пушкина, когда по всему необъятному пространству русской земли, отъ края и до края, не найдется русскаго человѣка, душа котораго не

## IV

была бы полна признательныхъ воспоминаній о нашемъ славномъ народномъ поэтѣ, которому мы обязаны эстетическими наслажденіями, свѣтлыми мыслями, благородными стремленіями и, скажу, національнымъ самосознаніемъ.

Університетъ св. Владимира, стоя всегда на стражѣ всякоаго культурного и патріотического движенія русскаго общества, не могъ не откликнуться на одушевленіе сегодняшняго празднства. Назначенная Совѣтомъ Комміссія предположила въ настоящемъ торжественномъ собраніи и музыкальными звуками, и рѣчами нашихъ ученыхъ ораторовъ напомнить вамъ образъ и дѣятельность честуемаго поэта. Отдадимся всецѣло воспоминаніямъ о немъ, и, забывъ злобу и язвы текущаго дня, преисполнимся упованій въ великія историческія судьбы великаго русскаго народа. Народъ, въ средѣ котораго рождаются такіе поэты, какъ Пушкинъ; народъ, говорящій его чуднымъ языккомъ, равнаго которому по богатству и благозвучію и не найдешь; народъ, умѣющій такъ чтить и чествовать своихъ поэтовъ, поистинѣ великій историческій народъ, разрѣшенію котораго подлежать не только домашнія, національныя задачи, но и задачи міровыя, общечеловѣческія, одна изъ которыхъ по мысли и почину нашего Державнаго Вождя, разрѣшается теперь въ укромной Гаагѣ, и какъ бы тамъ ни разрѣшилась она, тѣнь честуемаго поэта-гражданина радуется, что великій культурный вопросъ поставленъ роднымъ ему народомъ, который умѣеть биться, но жаждетъ мира и культуры“.

Въ заключеніе своего слова проф. Романовичъ-Славатинскій предложилъ присутствующимъ почтить память Пушкина вставаніемъ. Послѣ этого хоромъ и опернымъ оркестромъ, подъ управлениемъ А. А. Гринченка, были исполнены увертюра и хоръ изъ оперы „Русланъ и Людмила“ и сочиненная г. Прибикомъ на слова Н. Э. Глокке кантата въ честь Пушкина. Предполагавшаяся по программѣ рѣчь проф. П. В. Владимірова „Пушкинъ и его предшественники

## V

въ русской литературѣ“ не была произнесена вслѣдствіе болѣзни автора. На каѳедру взошелъ проф. Н. П. Даշкевичъ и произнесъ рѣчъ: „Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ новаго времени“, въ которой прослѣдилъ, какъ въ поэзіи Пушкина отразилось вліяніе наиболѣе выдающихся поэтовъ и писателей конца прошлаго и начала истекающаго столѣтія: Вольтера, Руссо, Байрона, Гете, Шиллера и др. и какъ во второй половинѣ своего жизненнаго поприща Пушкинъ освобождался отъ этого вліянія, превращаясь постепенно во вполнѣ самостоятельного геніального поэта и преимущественно въ пѣвца русской дѣйствительности и слѣдяя въ своемъ творчествѣ по стопамъ только такихъ міровыхъ геніевъ, какъ Гете и Шекспиръ. Послѣ рѣчи проф. Н. П. Даշкевича былъ исполненъ хоръ изъ оперы Даргомыжскаго „Русалка“, а затѣмъ приват-доцентъ А. М. Лобода произнесъ рѣчъ: „Отзвуки Пушкинской поэзіи въ послѣдующей русской литературѣ“, въ которой выяснилъ вліяніе Пушкина на всѣхъ послѣдующихъ нашихъ писателей, вліяніе, продолжающееся донынѣ и отразившееся даже въ двухъ, повидимому, противоположныхъ теченіяхъ, каковы поэзія гражданской скорби, съ Некрасовымъ во главѣ, и поэзія чистаго искусства, съ ея представителями Фетомъ, Майковымъ, Полонскимъ, Алексѣемъ Толстымъ и друг., которыя, не взирая на свой антагонизмъ, родственны между собою, исходя изъ одного и того-же источника — поэзіи Пушкина. Наиболѣе же могущественно сказалось вліяніе Пушкина въ области, получившей послѣ него такое широкое развитіе, въ романѣ, лучшіе дѣятели котораго являются въ прямомъ смыслѣ учениками Пушкина. Торжество закончилось въ з часа дня исполненіемъ музыкальной „Славы Пушкину“ соч. Рубца и народнымъ гимномъ.

Обширный актовый залъ Университета былъ переполненъ публикой и имѣлъ вполнѣ праздничный видъ. Въ глубинѣ зала, за решеткой, отдѣлявшей собравшуюся публику отъ эстрады для хора и оркестра, на высо-

## VI

кихъ постаментахъ красовались бюстъ и портретъ Пушкина, установленные вокругъ зеленью тропическихъ растеній.

Въ аванзалѣ Университета была устроена выставка предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ Пушкину, состоявшая изъ рукописей, автографовъ, современныхъ Пушкину изданій его произведеній и портретовъ нѣкоторыхъ изъ современниковъ поэта, о которыхъ онъ упоминаетъ въ своихъ стихотвореніяхъ.

---

## Памяти Пушкина.

„Въ бореньяхъ“ мысли „силы напрягая“,  
Стремясь свою поэзию создать,  
Росла и крѣпла духомъ Русь святая.  
Но долго суждено ей было ждать,

Пока, какъ въ дни библейского завѣта,  
Исполнились былья времена,  
И хлынула божественного свѣта  
На Русь животворящая волна.

Сто лѣтъ тому назадъ зажглась зарею  
Поэзіи блестящая звѣзда  
Надъ нашей бѣдной, рабскою землею,  
Погрязшей въ тьмѣ, казалось, навсегда.

Родился Пушкинъ, воли провозвѣстникъ,  
Красы нетлѣнной пламенный пророкъ,  
Изъ ничего, какъ сказочный кудесникъ,  
Воздвигшій слову царственный чертогъ.

## VIII

И съ той поры родное наше слово  
 Въ живую плоть свободно облеклось,  
 Разбило чужеземные оковы  
 И съ торжествомъ повсюду разнеслось;

И гений нашъ теперь предъ всей вселенной  
 Могучъ, незыблемъ, славенъ и великъ,  
 И раздается въ пѣснѣ вдохновенной  
 По всей землѣ красивый нашъ языкъ.

Съ тѣхъ поръ вездѣ: въ святилищахъ науки,  
 Въ дворцахъ вельможъ, въ жилищахъ бѣдняковъ,  
 Вездѣ, гдѣ слышны русской рѣчи звуки,  
 Поэту вѣчный памятникъ готовъ.

Не умеръ Пушкинъ! Стихъ его прекрасный  
 Изъ устъ его преемниковъ звучить;  
 И въ даль вѣковъ вперяя взоръ свой ясный,  
 Въ грядущемъ Русь его, какъ нынѣ, чтить.

Н. Глоккѣ.



Печ. въ тип. Петра Барского.

Е. Н. Давыдова.

Digitized by Google



# Отдѣлъ I.



# А. С. Пушкинъ

*и его предшественники въ русской литературѣ.*

---

Дѣятельность великихъ людей, какъ бы ни выдавалась она, пріобрѣтаетъ еще болѣе значеніе, при сравненіи съ предшественниками. Все, что накапливается дѣятельностью предшественниковъ, что съ трудомъ и по частямъ, съ колебаніями совершается ими, — все это осуществляется, получаетъ окончательное всеобъемлющее выраженіе въ дѣятельности великихъ людей. И нигдѣ это сравненіе не поучительно въ такой мѣрѣ, какъ въ области литературы, преобразованія ея формы, ея важнѣйшаго выраженія — языка, возведенія его на степень высшаго совершенства, созданія прочной формы для выраженія поэтическихъ воспріятій и глубокихъ мыслей.

Постепенная подготовка этой формы цѣлымъ рядомъ болѣе или менѣе талантливыхъ дѣятелей, успѣвающихъ вложить свою особенность въ общее дѣло, связь этой формы съ національными стремленіями, начатки народной литературы, народной исторіи, получившія окончательное развитіе въ дѣятельности великаго человѣка, точнѣе опредѣляютъ мѣсто такого дѣятеля въ исторіи одной какой-либо литературы.

А. С. Пушкинъ создалъ лучшую форму для русской литературы: онъ настоящій преобразователь русскаго литературнаго языка, настоящій поэтъ, какой когда-либо являлся въ русской словесности. Жизнь и дѣятельность такого великаго народнаго писателя заслуживаютъ глубокаго изученія, и столѣтній юбилей (26 мая 1799 г.—1899 г.)

вызвать не одно живое, новое определение нашего славного русского поэта въ его разнообразныхъ отношенияхъ (напримѣръ, въ отношеніи къ литературнымъ его предшественникамъ, къ народному творчеству, къ народному быту и народной исторіи) и въ самой сущности его творчества. Пожелаемъ, чтобы эта любовь къ поэту не остыла, чтобы она служила залогомъ нашего единенія въ области тѣхъ чувствъ и мыслей, выражителемъ которыхъ являлся въ 20-хъ и въ 30-хъ годахъ настоящаго истекающаго столѣтія Александръ Сергеевичъ Пушкинъ.

Онъ родился въ Москвѣ, 26 мая 1799 года, получилъ образованіе въ Петербургѣ (1811—1817) и въ теченіе своей недолгой дѣятельности († 29-го января 1837 г.) въ тряской телѣгѣ жизни поспѣтилъ всѣ живописныя мѣста Россіи, всѣ края ея, порываясь заграницу, куда влекли его симпатіи воспитанія, начитанности и пониманія литературныхъ направлений. Неудовлетворенный съ этой стороны поэтъ отдался родинѣ, ея исторіи, ея современности. Исторія русской жизни, исторія русской литературы сдѣлались постоянными предметами его глубокихъ размышлений. Мы коснемся въ предлагаемомъ очеркѣ только исторіи русской литературы, которая съ Пушкина получаетъ свое настоящее глубокое значеніе.

Новый девятнадцатый вѣкъ, прославленный трудами новорожденнаго генія, полурусскаго—полувосточнаго происхожденія, напоминающаго типы Жуковскаго, Карамзина, Державина, собралъ вокругъ его колыбели (Хариты, Лель тебя вѣнчали и колыбель твою качали) такие литературные таланты, какъ Державина, Хераскова, Богдановича, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Крылова. Едва раскрылось сознаніе будущаго поэта, какъ его окружила уже литературная среда, въ которой вращался дядя Александра Сергеевича, поэтъ Василій Львовичъ Пушкинъ, поклонникъ французской литературы. Русская литература, въ лицѣ юдѣственника-писателя, его близкихъ друзей-писателей, появлявшихся въ гостепріимномъ домѣ Пушкиныхъ въ Москвѣ, несмотря на беззаботную жизнь родителей поэта, глубоко заинтересовала молодого воспитанника иностранныхъ гувернеровъ и гувернантокъ. Основы образованія Александра Сергеевича, по вкусамъ того времени, были блестящи, такъ какъ онъ съ дѣтства познакомился съ тѣми оригиналыми французскими сочиненіями, которымъ подражали его предшественники—руссые поэты XVIII вѣка.

Мы не знаемъ, до вступленія Пушкина въ Лицей, объ ощущахъ въ русской словесности будущаго поэта, о его начитанности въ рус-

ской литературѣ. Повидимому русская словесность была на заднемъ планѣ въ домашнемъ образованіи его. И молодой Пушкинъ, какъ и многие изъ его современниковъ, учился русскому языку не изъ преподавательскихъ тетрадей, а отъ нянекъ-мамушекъ, отъ дворни да отъ старыхъ словоохотливыхъ родственниковъ и родственницъ. Такова была любимая няня поэта, его мамушка Арина Родіоновна, убаюкивавшая ребенка народными пѣснями, успокаивавшая его таинственными народными сказками. Въ лицѣ этой умной и усердной няни поэтъ пріучился любить народъ въ его привычкахъ и думахъ. Поездки въ деревни и свиданія съ старыми родственниками, особенно съ бабушкой Ганибалъ, дочерью тамбовского воевода Пушкина, пережившей много невзгодъ и личныхъ, и общихъ для дворянства того времени, оставили въ Александрѣ Сергеевичѣ глубокія впечатлѣнія по рассказамъ о его предкахъ Ганибалахъ, любимцахъ Петра Великаго и его преемниковъ, о Пушкиныхъ-боярахъ XVI — XVII вѣковъ, о времени и личности императрицы Екатерины П. Всѣ эти отношенія сблизили лицеиста Пушкина съ русской дѣйствительностью и съ русской литературой въ ея національныхъ стремленіяхъ.

Безъ сомнѣнія, Царскосельскій Лицей, въ которомъ Пушкинъ пробылъ съ 1811 по 1817 годъ, положилъ хорошія основанія для литературного образования нашего поэта, не только школьными и научными занятіями, но и общими развитыми вкусами всѣхъ воспитанниковъ Лицея въ области русской литературы. Въ 1815 году одинъ изъ сотоварищей Пушкина пишетъ своему другу: „Чтеніе читаетъ душу, образуетъ, развиваетъ способности; по сей причинѣ мы стараемся иметь всѣ журналы и впрямь получаемъ: Пантеонъ, Вѣстникъ Европы, Русской Вѣстникъ и пр. Такъ, мой другъ, и мы также хотимъ наслаждаться свѣтлымъ днемъ нашей литературы, удивляться цвѣтующимъ нашимъ геніямъ Жуковскаго, Батюшкова, Крылова, Гнѣдича. Но не худо иногда подымать завѣсу протекшихъ временъ, заглядывать въ книги отцовъ отечественной поэзіи, Ломоносова, Хераскова, Державина, Дмитрева: тамъ лежать сокровища, изъ коихъ каждому почерпать должно“ (Грота: Пушкинъ, 1887 г., 82 стр.).

Лицеисты однако мечтали о столицѣ и рядомъ съ приведеннымъ письмомъ Илличевскаго къ петербургскому товарищу можно отмѣтить такія же выдержки изъ первыхъ лицейскихъ опытовъ А. С. Пушкина: „Хорошіе стихи не такъ легко писать... Межъ тѣмъ какъ Дмитріевъ, Державинъ, Ломоносовъ, Пѣвцы безсмертные, и честь, и слава рос-

совъ, Питають здравый умъ и вмѣстѣ учать нась“ (Къ другу стихо-творцу 1814 г.)<sup>1)</sup>. Пушкинъ уже дѣлаетъ характеристики русскихъ поэтовъ, называя въ посланіи „Городокъ“ 1815 г.: нѣжнаго Дмитріева съ Крыловымъ, творцомъ Чернавки, Подщипы, плѣненныхъ царей, смѣлаго насыщника (Батюшкова) надъ твореньями Риоматовыхъ, книги которыхъ гибнутъ, „едва на свѣтъ родясь“, и выше которыхъ молодой поэтъ ставитъ „Удалого наѣздника Свистова“ (Баркова), замысловатаго пѣвца Буянова (дядю В. Л. Пушкина), не говоря уже о Державинѣ съ чувствительнымъ Горациемъ, Озеровѣ съ Расиномъ, Фонвизинѣ и Княжинѣ съ Мольеромъ-исполнителемъ, Богдановичѣ съ добрымъ Лафонтеномъ, Карамзинѣ съ Руссо и др. Эта способность отдавать себѣ отчетъ въ исторіи судебъ русской словесности, этотъ критическій даръ съ годами укрѣплялся въ Пушкинѣ и достигъ замѣчательной вѣрности сужденія — строгой и правдивой — въ оцѣнкѣ настоящихъ достоинствъ русской словесности, лучшія явленія которой онъ превзошелъ силой своего таланта, а слабыя — поднялъ на недосягаемую высоту. Ко времени выпуска изъ Лицея въ 1817 году Пушкинъ уже овладѣлъ почти всей предшествующей русской литературой и представилъ опыты богатой лирики — игривой и элегической, — бойкихъ эпиграммъ и даже поэмъ, которымъ отдался съ увлечениемъ по выходѣ изъ Лицея. Лицейскія стихотворенія Пушкина, дошедшия до нась, представляютъ подражанія не только поэтамъ новой школы, Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, но и прежнимъ пѣвцамъ российскаго Парнаса, Державину, Дмитріеву, Хераскову, Богдановичу и др. Слѣдя послѣднимъ, Пушкинъ порывается овладѣть эпическими формами полушуточныхъ, полуисторическихъ поэмъ, въ родѣ Бовы, Руслана и Людмилы, пользуясь русскими сказками и древнѣйшей русской исторіей, въ которой лицеистъ Пушкинъ наиболѣе успѣвалъ, какъ и въ словесности. Онъ уже соединилъ въ своемъ звучномъ, легкомъ стихѣ черты поэзіи Державина съ новыми направленіями, — чѣмъ и отличился на публичномъ актѣ Лицея въ 1815 году, въ присутствіи маститаго, 72-лѣтняго старца Державина, ожившаго при звукахъ Пушкинскихъ „Воспоминаній въ Царскомъ Селѣ“. Старый поэтъ, пѣвецъ Фелицы, уже на краю своей могилы бросился обнимать будущаго славнаго юношу за его оду, въ которой чуялись свѣ-

<sup>1)</sup> Всѣ ссылки на сочиненія А. С. Пушкина сдѣланы нами по извѣстному полному изданію „Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ“: „Сочиненія А. С. Пушкина“, 6 томовъ, 1887 г.

жія, новыя силы. Эту трогательную сцену въ историческихъ воспоминаніяхъ русской литературы Пушкинъ изобразилъ въ посланіі „Къ Жуковскому“ 1817 г. и въ восьмой пѣснѣ „Евгенія Онѣгина“:

И блѣдной зависти предметъ неколебимый (Карамзинъ)  
 Привѣтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ;  
 И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ,  
 И славный старецъ нашъ, царей пѣвецъ избранный (Державинъ),  
 Крылатымъ геніемъ и граціей вѣчанный,  
 Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой  
 И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мною (I, 163).  
 Старикъ Державинъ настъ замѣтилъ  
 И, въ гробъ сходя, благословилъ (III, 382).

Здѣсь умѣстно окинуть хотя бѣглымъ взглядомъ исторію русской поэзіи, не имѣвшей правильнаго развитія въ вѣка, предшествующія XVIII-му, чтобы понять связь и послѣдующихъ высокихъ произведеній „завѣтной лиры“ А. С. Пушкина съ исторіей русской поэзіи, русской литературы, о которой нашъ народный поэтъ всегда любилъ думать, равно останавливалась на Ломоносовѣ и Словѣ о Полку Игоревѣ, на Карамзинѣ и лѣтописяхъ, на балладахъ Жуковскаго и на народныхъ пѣсняхъ, сказкахъ и преданьяхъ. Замѣчу здѣсь, что моей задачей будетъ не біографія А. С. Пушкина, которую мы найдемъ скоро во всѣхъ подробностяхъ его многочисленныхъ и живыхъ отношеній ко времени, ни его проникновенія въ западно-европейскую жизнь и литературу, которая изложатъ и оцѣнятъ знатоки европейской поэзіи, а только внутреннее отношеніе поэзіи Пушкина къ предшествующей русской поэзіи.

## I.

Русская поэзія, какъ непрерывное литературное явленіе, считается за собою не болѣе двухъ-трехъ вѣковъ развитія изъ исполнившейся уже тысячелѣтней исторіи славяно-русской литературы. Старая русская письменность и книжность только въ XVI—XVII вѣкахъ дали образцы опредѣленного стихосложенія въ двухъ рѣзко расходившихся направленіяхъ: въ старомъ пѣсенномъ направленіи, образцомъ котораго было и Слово о Полку Игоревѣ — единственный цѣльный

памятникъ въ этомъ отношеніи и отраженіе его въ Задонщинѣ, въ складной рѣчи лѣтописныхъ повѣствованій по народной памяти, въ простонародныхъ словахъ поученій, повѣстей, въ замѣчательномъ „Горѣ-Злосчастії“—единственномъ памятникѣ разсмотриваемаго первого направленія XVII вѣка, и рядомъ въ другомъ направленіи XVII-го,—начала XVIII-го вѣка, подражательномъ, закованномъ въ школьный силлабической стихъ Симеона Полоцкаго и его южнорусскихъ и западнорусскихъ предшественниковъ не старѣе начала XVI-го вѣка (первый опытъ, едва ли не Скорины 1517—1519 гг.). Симеонъ Полоцкій своей риѳометворной Псалтырью оказалъ большое вліяніе: Кантемиръ такими же силлабическими стихами пишетъ свои талантливыя сатиры, столь же уродливыя по формѣ, какъ новые стихи Тредьяковскаго, впервые уразумѣвшаго значеніе тонического народнаго стихосложенія. Пушкинъ не разъ бралъ подъ свою защиту несчастную фигуру „камердинера профессора Тредьяковскаго“ (VII, 287), съ его неуклюжими собственного изобрѣтенія стихами, съ его положеніемъ въ качествѣ придворнаго свѣтскаго поэта въ эпоху временщиковъ: „вы оскорбляете человѣка, пишетъ Пушкинъ въ 1835 г., достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей“ (VII, 389); „изученіе Тредьяковскаго приносить болѣе пользы, нежели изученіе прочихъ нашихъ старыхъ писателей. Сумароковъ и Херасковъ вѣрно не стоять Тредьяковскаго... Любовь его къ Фенелонову эпосу дѣлаетъ ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выборъ стиха доказываютъ необыкновенное чувство изящнаго. Въ Телемахидѣ находится много хорошихъ стиховъ и счастливыхъ оборотовъ, въ родѣ: „Корабль Одиссеевъ Бѣгомъ волны дѣли, Изъ очей ушелъ и скрылся“ (V, 225).

Пушкинъ не разъ задумывался о началѣ русской словесности, указывая, что „Тредьяковскій одинъ понимающій свое дѣло“ (V, 252). „Вліяніе Тредьяковскаго уничтожается его бездарностью, вліяніе Кантемира уничтожается Ломоносовымъ“. Онъ чувствуетъ, что если русская словесность и рождается только при Елизаветѣ, въ лицѣ „великаго человѣка“ Ломоносова, бессмертнаго пѣвца (I, 165), однако не вдохновеннаго поэта, наложившаго своей теоріей о слогѣ тяжелыя узы на русскую словесность (V, 221—222), блиставшаго болѣе духовными одами, чѣмъ „должностными на высокоторжественные дни“, тѣмъ не менѣе народная поэзія и старинные памятники,—„эті сказки, пѣсни, пословицы, произведенія лукавой насыщливости скоп-

мороховъ и Лѣтописи, Посланія царскія, Пѣснь о Полку, Побоище Мамаево, затѣи нашей старой комедіи достойны любопытства и благоговѣнія". Пушкинъ не разъ даетъ доказательства въ своихъ замѣчаніяхъ о старыхъ русскихъ памятникахъ глубокаго пониманія стаиннаго русскаго языка, настоящей поэзіи въ устной народной словесности. Подражательность иноземной словесности, напримѣръ, въ лицѣ Сумарокова, Пушкинъ осуждаетъ въ сильныхъ порицаніяхъ: „Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ, Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ!" (I, 164). Въ статьѣ „О драмѣ" (1830 г.) Пушкинъ ставить Озерова съ его попыткою дать трагедію народную выше Сумарокова: „Сумароковъ несчастнѣйшій изъ подражателей. Трагедіи его, исполненные противосмыслия, писанные варварскимъ изнѣженнымъ языкомъ, нравились двору Елизаветы, какъ новость, какъ подражанія парижскимъ увеселеніямъ. Сіи вялые, холодные произведенія не могли имѣть никакого вліянія на народное пристрастіе". Въ библіотекѣ свѣтской дамы до появленія Исторіи Карамзина „не было ни одной русской книги, говоритъ Пушкинъ въ „Рославлевѣ", кромѣ сочиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не раскрывала" (IV, 111). Но пѣсенки, притчи и даже трагедіи Сумарокова, въ которыхъ женщина впервые заговорила о себѣ, знали русскія дво, рянки конца XVIII в. и выдержаны изъ нихъ вносились въ пѣсенники и въ другіе литературные сборники XVIII вѣка. Въ „Трудолюбивой Пчелѣ" Сумарокова, первомъ общественномъ журнальѣ 1759 г., впервые явились и стихи русскихъ поэтессъ.

Отзывы Пушкина о Державинѣ разнообразны, но существенныя мнѣнія выражены въ письмахъ 1825 г.: „кумиръ Державина  $\frac{1}{4}$  золотой,  $\frac{3}{4}$  свинцовыи... Этотъ чудакъ не зналъ ни русской грамоты, ни духа русскаго языка (вотъ почему онъ и ниже Ломоносова) — онъ не имѣлъ понятія ни о слогѣ, ни о гармоніи — ни даже о правилахъ стихосложенія. Вотъ почему онъ и долженъ бѣсить всякое разборчивое ухо. Онъ не только не выдерживаетъ оды, но не можетъ выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что же въ немъ? — мысли, картины и движенія истинно поэтическія; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный переводъ съ какого-то чуднаго подлинника. Ей-Богу его геній думалъ по-татарски — а русской грамоты не зналъ за недосугомъ. Державинъ, современемъ переведенный, изумить Европу, а мы изъ гордости народной не скажемъ всего, что мы знаемъ о немъ (не говоря уже о его министерствѣ); у Державина дол-

жно сохранить будеть одъ восемь да нѣсколько отрывковъ, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить съ гениемъ Суворова" (VII, 133). Этотъ отзывъ не преувеличенъ, если вникнуть въ значеніе русской оды, которая началась Ломоносовымъ и кончилась Пушкинымъ. Исторія русской оды—это выдающаяся страница исторіи русской поэзіи и даже русской исторіи, или русского самосознанія. Ода являлась передовой мыслю русского общества, уясняла события времени, предшествовала Исторіи Карамзина. Подъ перомъ Пушкина она уже явилась лучшимъ выражениемъ международной политики.

На первыхъ порахъ одѣ выпала благодарная роль въ русской поэзіи XVIII в. Естественно ожидать несовершенства оды и первые робкіе шаги въ звучныхъ стихахъ Ломоносова, который создавалъ литературный языкъ и стихъ, боролся съ народной стихіей и соразмѣрялъ русскій литературный церковно-славянскій стиль. Религіозное настроение, научные взгляды на природу, восторгъ передъ Великимъ Преобразователемъ придаютъ искренность и какую-то теплоту искусственнымъ стихамъ Ломоносова, съ его подражательной манерой смотрѣть на все глазами классического міра, его міѳологіи и героеvъ. Поэты школы Ломоносова явились въ обилії; но не имѣли силъ возвыситься до научнаго восторга, не имѣли почвы полународной, полуцерковной, на которой выросъ съ дѣтства ихъ великий учитель, предписавшій удерживать привѣтность рѣчи высокой церковнославянской и искусственной периодической рѣчью. Но Державинъ вдохнуль жизнь въ оду, соединивъ ее съ своими неподдѣльными анакреонтическими любовными пѣснями и сатирическими очерками, во вкусѣ Кантемира. Пѣсни застольныя, любовныя, посланія создали простой естественный языкъ, уже воздѣланный Сумароковыми и другими пѣспописцами и баснописцами, особенно Хемницеромъ. Державинъ довелъ эту форму естественной поэзіи до возможнаго въ XVIII вѣкѣ совершенства. Ломоносовскую форму оды онъ сблизилъ съ русской народной поэзіей, насколько понимали ее друзья Державина,—Хемницеръ, Капнистъ, Львовъ,— и издатели народныхъ пѣсенниковъ, Новиковъ, Чулковъ, Поповъ и друг. Въ этомъ же направленіи развивались и отношенія Державина къ современной жизни, которую поэтъ охватывалъ новымъ свободнымъ окомъ, сливалъ съ обширнымъ кругомъ русского образованного общества и давая русской литературѣ извѣстный тонъ. Кромѣ Ломоносовскихъ мотивовъ въ поэзіи Державина прибавляются глубокія размышленія о жизни и смерти,

о счастьѣ, спокоѣ и о должностяхъ гражданина съ указаніемъ противоположныхъ явленій: суеты, веправды, легкомыслія и пороковъ. Стихи Державина достигли такого совершенства, что ихъ клали на музыку и распѣвали, какъ романсы. Съ лучшихъ одѣ своихъ Державинъ достигъ щатости слога, пріятной для воспріятія читателя, подборомъ краткихъ опредѣленій. Послѣ господства ритма и періодичности рѣчи, въ пользу которой допускались и ломанныя формы и неправильное растянутое расположение словъ, легкіе и сильные стихи Державина были большимъ успѣхомъ въ развитіи русской поэзіи. Его вліяніе на послѣдующихъ двигателей въ этой области, Жуковскаго и Пушкина, несомнѣнно. Стоитъ для образца прочесть оду 1797 г. „Безсмертіе души“, чтобы видѣть особенности слога Державина: „Умолкни, чернь непросвѣщенна (поэтическій образъ, повторяющійся у Пушкина)... Духъ тонкій, мудрый, сильный, сущій, Въ единій мигъ и тамъ, и здѣсь, Быстро молни текущій Всегда, вездѣ и вкупе весь. Неосязаемый, незримый, Въ желанья, въ памяти, въ умѣ... Духъ, чувствовать внимать способный, Все знать, судить и заключать; Какъ легкій прахъ, такъ міръ огромный“. Даже аллегорическія фигуры въ поэзіи Державина, въ родѣ Борея: „Съ бѣлыми Борей власами и съ сѣдою бородой, Потрясая небесами, облака сжималь рукой“, или алчной блѣдной смерти съ колоколомъ-стономъ, съ когтями Асмодея Жуковскаго, гармонируютъ съ излюбленными формами скульптуры и архитектуры Екатерининского времени. Стихійное начало, военные громы, гиперболические образы природныхъ явленій въ безграниценныхъ сферахъ мірового пространства, которые Ломоносовъ обнималъ умомъ ученаго естествоиспытателя XVIII в. школы Лейбница и Вольфа, остались особенностями и одѣ Державина—религіозныхъ, философскихъ, одѣ на случаи смерти сподвижниковъ Екатерины II. Такъ точно и хвалы, расточаемыя поэтомъ Фелицы начинаніямъ императрицы, ея гуманности, облекаются въ образы фантастические и прекрасные, привлекательные и возвышенные. Въ этихъ одахъ устанавливалась нравственная связь подданного съ правительствомъ, уравнивающая всѣхъ, начиная съ вельможъ, — съ ихъ недостатками предъ лицемъ монархии. Свободный голосъ поэта пришелся по вкусу времени и навсегда остался удивительнымъ памятникомъ литературной смѣлости. Послѣ Державина и немногихъ произведеній Пушкина ода окончила свое существованіе, какъ выдающееся въ литературѣ явленіе. Безчисленные одописцы были осмѣ-

яны Дмитріевымъ въ „Чужомъ Толкѣ“, который подмѣтилъ и неестественность восторга передъ газетными реляціями, и неестественность самого идеала придворного поэта-одописца, друга меценатовъ.

Такая же судьба выпала на долю басни, остановившейся послѣ успѣховъ Крылова. Пушкинъ не писалъ басенъ: мало признавалъ значенія за Дмитріевымъ и высоко ставилъ одного Крылова. Уже въ 1822 г. Пушкинъ писалъ: „англійская словесность (т. е. въ лицѣ Байрона и др.) начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной. Тогда нѣкоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гдѣ очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве“ (VII, 34). Въ 1825 году Пушкинъ признавалъ только Державина и Крылова — геніями, талантами (VII, 116). Послѣдняго Пушкинъ ставилъ выше Лафонтена (V, 30). Крыловъ являлся истинно-народнымъ поэтомъ, а народность Пушкинъ ставилъ высоко и прежде всего въ области литературнаго языка, въ которой отдавалъ должное и Ломоносову. Басни и развивавшіяся съ ними сказки (*contes*) сослужили въ русской литературѣ важную службу въ проведеніи простонародныхъ сюжетовъ, типовъ, выраженій, начиная съ Сумарокова, Хемницера, до искусственной простоты Измайлова и естественного выраженія духа нашего народа у Крылова „въ веселомъ лукавствѣ ума, насыщенному и живописномъ способѣ выражаться“ (V, 30). Басни Крылова превзошли всѣ предыдущія не только совершенствомъ языка и стиха; но и движениемъ рассказа, его картиности и сжатости. Творчество Крылова можно вполнѣ сопоставить съ творчествомъ Пушкина по отношенію къ поэтамъ не только XVIII в., но и XIX в. Басни уже въ 20-хъ годахъ сдѣлались любимыми народными книгами („Евгений Онѣгінъ“, V гл.).

Заслугой Пушкина по отношенію къ начинаніямъ XVIII вѣка является поднятіе поэмы. И первая поэма его „Русланъ и Людмила“ тѣсно связана съ предшествующими несовершенными опытами Хераскова, Богдановича, Майкова, Карамзина и Радищева. Херасковъ заслужилъ славу русскаго Гомера поэмами „Россіада“, „Владимѣръ“, „Бахаріана или Неизвѣстный“ (1803 г.) и друг. Поэмы Хераскова проникнуты серіознымъ нравственнымъ содержаніемъ, но никакъ — не историческимъ и не народно-бытовымъ, хотя и по содержанію, и по пособіямъ связаны съ русской исторіей, съ старинной народной поэзіей. Въ третьемъ изданіи „Владимѣра“ и въ „Бахаріанѣ“ Хера-

## А. С. ПУШКИНЬ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ. 11

сковъ съ восторгомъ относится къ Слову о Полку Игоревѣ, призна-  
вая и въ неизвѣстномъ авторѣ его и въ Баянѣ—пѣвца равнаго Го-  
меру, Оссіану и всѣмъ остальнымъ творцамъ европейскихъ поэмъ,  
которымъ подражалъ Херасковъ. Это подражаніе, чисто виѣшнее  
хаотическое смѣщеніе русскихъ подробностей съ заимствованными—  
иностранными, подражаніе Ломоносову въ построеніи стиха и въ  
употребленіи церковно-славянскихъ выражений отнимаетъ всякое до-  
стоинство въ поэмахъ Хераскова, мѣстами указывающихъ на стре-  
мленіе къ простотѣ языка и стиха, на чувство природы. Для изучав-  
шихъ Пушкинскія поэмы не лишены значенія „Владимиръ“ и „Ба-  
харіана“, въ которыхъ находимъ имена рыцарей или витязей: жесто-  
каго Рогдая, Зарему, старца, помогающаго совѣтами герою [въ „Ба-  
харіанѣ“ (стр. 28), напримѣръ, старецъ говоритъ Неизвѣстному:  
„вижу, что въ цвѣтущей юности чашу горести ты пилъ,—мой сынъ!..  
ахъ! я самъ несчастенъ въ жизни былъ“], отыскивающему похищен-  
ную красавицу, поле, покрытое побитою ратью, оживленіе поражен-  
наго, любовь старухи, и проч. Нельзя не замѣтить вообще, что наши  
первые романтики пользовались произведеніями своихъ предшествен-  
никовъ—ложноклассиковъ, выбирая изъ послѣднихъ, безъ всякой кри-  
тики, имена и подробности для характеристики русскаго быта и исто-  
ріи. Отсюда связь поэмъ, балладъ и сказокъ Карамзина, Каменева  
(Громваль, Зломоръ взяты изъ „Бахаріаны“ Хераскова), Жуковскаго,  
Пушкина и другихъ съ поэмами и сказками Хераскова, Богдановича,  
Дмитрева и друг. Шутливая поэма Богдановича „Душенька“ (1783 г.),  
его пословицы, иди.ліи, эклоги и драмы нравились Пушкину, о чёмъ  
онъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ въ III главѣ „Евгенія Онѣгина“:  
„будуть милы, какъ прошлой юности грѣхи, какъ Богдановича сти-  
хи“. Кто не вспомнить чудныхъ стиховъ Пушкина въ слѣдующемъ  
мѣстѣ изъ „Душеньки“ Богдановича (1844 г., стр. 30):

Гонясь за нею волны тамъ,  
Толкаютъ въ ревности другъ друга,  
Чтобъ, вырвавшись скорѣй изъ круга,  
Смиренно пасть къ ея ногамъ.

(Ср.: „Съ любовью лечь къ ея ногамъ“. Евгений Онѣгинъ, гл. I,  
XXXIII, т. III, 248).

Кромъ легкости стиховъ, вліяніе „Душенъки“ отразилось на характерѣ Людмилы въ поэмѣ Пушкина. Такъ, въ поэмѣ Финна отразилась „Пѣснь храброго шведскаго рыцаря Гаральда“, въ чудномъ отрывкѣ „Осень“ 1830 г. нѣкоторый намекъ на „Эклогу“ Богдановича: „Уже осенніе морозы гонятъ лѣто, И поле зеленою пріятною одѣто, Теряетъ прежній видъ, теряетъ всѣ красы“, и проч. Разнообразіе поэтическихъ размѣровъ, легкость языка отличаютъ вообще произведенія Богдановича, что было имъ достигнуто изученіемъ народнаго языка и передѣлкой пословицъ. Приведемъ слѣдующее двустишіе, напоминающее стихи Жуковскаго:

Женился Данила на скорую руку,  
На долгое горе, терпѣнье, да муку.

(Сочиненія, 1810 г., III, 234).

Въ драмѣ Богдановича „Славяне“ (1787 г.), отличающейся народнымъ языкомъ, находимъ Руслана, послы отъ Славянскаго двора къ Александру. Авторъ стремился, какъ самъ замѣтилъ, выставить „старое Новгородское нарѣчіе“, которымъ заставляетъ говорить слугъ, служанокъ, огородниковъ. Русланъ, герой драмы, влюбленъ въ Доброславу, съ которой и соединяется послѣ цѣлаго ряда препятствій. „Театральныя представления на пословицы“ Богдановичъ написалъ тѣмъ простымъ, естественнымъ языкомъ, какой выработали авторы комедій и комическихъ оперъ XVIII вѣка, — эти предшественники Грибоѣдова и Гоголя. Можеть быть, Пушкинъ и цѣнилъ Богдановича именно за эту простоту языка и назвалъ Русланомъ, по Богдановичевой драмѣ „Славяне“, своего героя.

Изъ шутливыхъ поэмъ XVIII вѣка Пушкинъ хвалилъ поэму Майкова „Елисей“ за истинно смѣшныя, уморительныя сцены — „полезныя для здоровья“ (VII, 50). Въ восьмой главѣ Евгения Онѣгина поэтъ вспоминаетъ: „въ тѣ дни, когда въ садахъ Лицея я безмятежно расцвѣталъ, читаль охотно Елисея, а Цицерона проклиналъ“ (III, 881), Это подражаніе Скаррону, на границѣ между непечатными стихами Баркова и играваго изображенія Олимпа, замѣчательно по изображенію простонародной жизни въ ея весельяхъ и крайностяхъ. Майковъ хорошо былъ знакомъ съ народными пѣснями, съ лубочными изданіями, съ городскимъ бытомъ народа. Поэма его осталась единственной въ своемъ родѣ. Въ такомъ же стилѣ явились шутливыя сказки

Жуковскаго и Пушкина. Баснописецъ Дмитріевъ, соединявшій въ своемъ лицѣ и направленіи два поколѣнія русскихъ писателей стараго и новаго направленія, написалъ нѣсколько произведеній игривыхъ, которыя примыкаютъ къ шутливымъ поэмамъ XVIII вѣка. Это т. н. сказки: Волшебные замки, Причудница, Модная жена, Карикатура и др. Въ „Причудницѣ“ мы находимъ слѣдующіе стихи, повторенные молодымъ Пушкинымъ:

Я жизнь мою во скукѣ трачу:  
Настанетъ день, тоскую, плачу;  
Покроетъ ночь, опять грущу,  
И все чего-то я ищу.

Въ элегіи Пушкина 1816 г. „Разлука“, передѣланной въ 1826 г., подъ названіемъ „Уныніе“, находимъ повтореніе стиховъ Дмитріева:

Но я унылъ и втайкѣ я грущу.  
Блеснетъ ли день за синею горою,  
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною—  
Я все тебя; прелестный другъ, ищу (I, 141).

Вставочный разсказъ Дмитріева въ „Причудницѣ“ о драгунскомъ ротмистрѣ Брамербасѣ, „бывшемъ столько лѣтъ въ Малороссійскомъ краѣ игралищемъ злыkhъ вѣдьмъ“ (на немъ, обращенномъ въ коня, вѣдьма разгуливала до полуночи), развивается у Пушкина въ веселомъ несравненномъ разсказѣ „Гусарь“, имѣющемъ что-то общее съ „Віемъ“ Гоголя. Нельзя не удивляться тому, какъ умѣль усовершенствовать свой стихъ и языкъ Дмитріевъ, пройдя длинный путь развитія отъ тяжелыхъ одѣ до легкихъ сказокъ, басенъ, пѣсень. „Гласъ патріота на взятіе Варшавы“ Дмитріева ниже одѣ Державина, но Жуковскій въ 1831 г. вспоминаетъ Дмитріева и приводить отрывки изъ „Гласа патріота“, въ то время, когда и Пушкинъ вдохновляется одами „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинской годовщиной“. Мы уже приводили отзывъ Пушкина о Дмитріевѣ, какъ баснописцѣ. Но молодой поэтъ цѣнилъ, какъ и его современники, старика Дмитріева за образцовый слогъ (I, 174). Особенно нравилась Пушкину сказка Дмитріева „Модная жена“—„сей прелестный образецъ легкаго и шутливаго разсказа“ (V, 122), прелестная баллада Дмитріева (Карикатура, IV, 72), и вообще ему нравились „прелестныя сказки Дмитріева“

(V, 126). Наблюдения Дмитриева над русской жизнью, хотя и не полны, отрывочны, выразившись в „Чужомъ Толкѣ“ и въ сатирическихъ сказкахъ, не могли пройти безъ вліянія на Пушкина. Такъ повліяли, конечно, на нашего поэта и остроумныя эпиграммы Дмитриева на стихотворцевъ—эти образцы литературной критики XVIII в. и начала XIX. Нельзя не упомянуть и о „Карманномъ пѣсенникѣ или собраніи лучшихъ свѣтскихъ и простонародныхъ пѣснъ“, изданныхъ Дмитриевымъ, въ Москвѣ, въ 1796 г. Подобно Чулкову и Новикову Дмитриевъ соединилъ хорошия простонародныя пѣсни съ искусственными XVIII в., помѣстивъ и свои пѣсни, и Карамзина, и Державина, и другихъ. Подражаніе этимъ народнымъ пѣснямъ и сказкамъ, изданнымъ въ сильно искашенномъ видѣ Чулковымъ и Новиковымъ, подъ названіемъ „Русскія сказки“, и проч. 1780—83 гг., охватываетъ Львова (Добрый, богатырская пѣсня, изд. 1804 г.), Карамзина (Илья Муромецъ, 1794 г.), Радищева (Альоша Поповичъ, богатырское пѣснопѣніе, 1801 г.) и др.

„Русскія сказки, содержащія древнійшія повѣствованія о славныхъ богатыряхъ, сказки народныя, и прочія оставшіяся черезъ пересказываніе въ памяти приключенія“, изданныя въ 10 частяхъ Новиковымъ въ 1783 г., имѣли для писателей, занимавшихся сюжетами изъ русской полуисторической, полусказочной старины, то же значеніе, что „Древнія Россійскія стихотворенія“ (съ 1804 года и особенно съ 1819 г.), или сборникъ богатырскихъ былинъ и старыхъ пѣсень Кирши-Данилова; такъ какъ „Илья Муромецъ“ Карамзина, „Альоша Поповичъ“ Радищева, баллады Жуковскаго „Громобой“ и Каменева „Громвалъ“ связаны такъ или иначе съ лицами и подробностями этихъ сказокъ. Поэма Пушкина „Русланъ и Людмила“, отражающая вліяніе сборника Кирши-Данилова многими подробностями и непосредственно, и черезъ поэмы Радищева, Карамзина и др., связана также съ Русскими сказками 1780—83 гг. Сказки, изданныя Новиковымъ, были повторены третьимъ изданіемъ въ 1820 г., съ нѣкоторыми сокращеніями, передѣлкой и дополненіями. Пушкинъ, находясь на югѣ, въ 1821 г. просилъ выслать ему нѣсколько частей Русскихъ Сказокъ. По всей вѣроятности, ему и были присланы или Сказки изд. 1783 г., или 1820 г. Отличія послѣднихъ отъ первого изданія заключаются въ трехъ живыхъ дѣйствительно народныхъ анекдотахъ: о ворѣ Тимошкѣ, о цыганѣ и о ворѣ Фомкѣ. Это уже первые опыты изложенія народныхъ сказокъ въ новомъ почти неукрашенномъ видѣ, исключая слога,

который сглаженъ въ литературномъ стилѣ. Не то представляютъ т. н. пародная сказки въ первомъ изданіи 1780 — 83 гг. Это въ полномъ смыслѣ волшебная исторія въ родѣ 1001 ночи, въ которыхъ имена русскихъ богатырей, историческія названія древней Руси, фразы изъ былинъ и народныхъ сказокъ, — преимущественно о типичной Бабѣ-Ягѣ, ея жертвахъ и Кощеѣ, утопаютъ въ смѣси заимствованныхъ и выдуманныхъ подробностей и лицъ. Тутъ находимъ и злыхъ волшебницъ, волшебниковъ, появляющихся въ облакахъ съ громомъ, въ тучахъ, какъ Пушкинскій Черноморъ и именно съ цѣлью похищенія красавицъ и добродѣтельныхъ волшебницъ — Добрадѣль, Веселѣславъ, — помогающихъ героямъ Булатамъ, Громобоямъ, Алешамъ, Чуриламъ или Добрынямъ, связаннымъ съ кн. Владиміромъ и Киевомъ. Но послѣдній окруженъ очарованными домами, замками. Вообще подробности быта болѣе подходятъ къ французскимъ нравамъ XVII — XVIII вв., взятымъ изъ сказокъ Гамильтона, Флоріана, Лафонтена, чѣмъ къ русскимъ, столь типичнымъ уже въ изд. 1820 г., въ трехъ названныхъ сказкахъ. Всѣмъ извѣстенъ характеръ сказокъ о царевичѣ Хлорѣ или Февеѣ, изложенныхъ съ нравоучительной цѣлью Екатериной II. Напрасно мы будемъ искать слѣдовъ такихъ подробностей этихъ сказокъ, какъ сынъ Разсудокъ, Роза безъ шиповъ, добродѣтель, въ какихъ-либо народныхъ сказкахъ. Къ этимъ аллегорическимъ, морально-сатирическимъ фигурамъ т. н. народныхъ сказокъ и особенно любимыхъ богатырскихъ сказокъ, присоединяются въ изданіяхъ-передѣлкахъ XVIII вѣка и въ началѣ XIX вѣка еще превращенія ложноклассическихъ подробностей стиля, воззрѣній въ т. н. русскія—старинныя: Фебѣ уравнялся съ Свѣтовидомъ, Лада съ Венерой, Лель съ Купидономъ, Шолель съ Гіменомъ и т. п. Всѣ эти новыя подробности составители народныхъ сказокъ XVIII вѣка объясняли изъ рукописныхъ сборниковъ былинъ и сказокъ, изъ хронографовъ и временниковъ, изъ иностранныхъ пособій по истории Россіи: скандинавскихъ сагъ, византійскихъ лѣтописцевъ. Благо, что академики XVIII вѣка издали и византійскихъ историковъ, и лѣтописи и отрывки изъ хронографовъ. Русскіе повѣствователи не могли еще смыкнуться съ различiemъ между былиннымъ Тугорканомъ и Полифемомъ, между Рогнѣдой и Баяной или Миланой. Вотъ почему и наши классические писатели, бравшіеся за поэмы изъ русской исторіи, слѣдовали или Хераскову, или соединяли матеріалы, какъ умѣли (такъ поступилъ и Пушкинъ въ Русланѣ и Людмилѣ), или совсѣмъ

бросали планы русскихъ поэмъ изъ времени Владимира св., или князей язычниковъ, задуманные Жуковскимъ и даже Пушкинымъ.

Мы позволимъ себѣ отмѣтить и еще нѣкоторыя черты „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. и ихъ вліяніе на русскихъ авторовъ сказокъ, поэмъ, балладъ. Львовъ, авторъ „Добрыни богатырской пѣсни“, напечатанной только въ 1804 г., несомнѣнно пользовался Русскими Сказками, раздѣляя съ ними объясненіе Феба или Аполлона — Свѣтовидомъ. Эта пѣсня Львова такое же недоконченное шутливое подражаніе народнымъ мотивамъ, какъ и ранѣе написанная сказка Карамзина, или „Богатырская пѣснь Илья Муромецъ“ 1794 г. Вспоминая дѣйствительно народныя сказки „своихъ покойныхъ мамушекъ“ и ставя ихъ выше греческой и римской миѳологии, какъ доставляющихъ также удовольствіе „въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ“, Карамзинъ разсказываетъ пробужденіе красавицы, очарованной злымъ хитрымъ волшебникомъ Черноморомъ (отсюда Пушкинскій волшебникъ въ Русланѣ и Людмилѣ) посредствомъ талисмана доброй Волшебницы Велеславы. Этотъ разсказъ нѣжной встрѣчи Ильи Муромца съ витяземъ-женщиной изложенъ почти-что въ стилѣ „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. Кромѣ Черномора мимоходомъ Карамзинъ упоминаетъ Людмилу изъ своей болѣе ранней баллады „Раиса“ 1791 г., повторенную Жуковскимъ и Пушкинымъ въ Русланѣ и Людмилѣ. „Герой древности молодой богатырь Илья Муромецъ“ не удался Карамзину, такъ какъ у него не было подъ рукой еще даже и былинъ Кирши-Данилова 1804 г. и 1819 г. Въ послѣднемъ изданіи, въ предисловіи было указано важное значеніе для сужденія о древности богатырскихъ пѣсенъ и др. Баллада Каменева „Громвалъ“ 1804 г. вполнѣ покрывается подробностями „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. Здѣсь находимъ и богатыря Громвала, и коварного злобнаго волшебника Зломара, похитившаго Рогнеду, и добрую волшебницу, являющуюся въ видѣ лебеди, и чудесное возвращеніе похищенной. Мы уже имѣли случай ранѣе<sup>1)</sup> указать повтореніе подробностей „Русскихъ Сказокъ“ 1783 г. въ сочиненіяхъ Н(иколая) Р(адищева), подъ названіемъ „Альша Поповичъ богатырское пѣснотвореніе“ 1801 г. и „Чурила Пленковичъ“, часть вторая 1801 г. и отношеніе поэмъ Радищева къ Руслану и Людмилѣ. Радищевъ воспользовался и Ильей Муромцемъ Карамзина и Русскими Сказками; но, по всей вѣроятности, Пушкинъ

<sup>1)</sup>) Университетскія Извѣстія 1895 года, Кіевъ, № 6—іюнь.

читаль самостоятельно и послѣднія, такъ какъ въ „Сказкахъ“ 1783 г. (часть IX) находимъ поле, покрытое мертвыми человѣческими костями, и среди нихъ богатырскую голову, подъ которой лежалъ великий мечъ (стр. 206), сильный чохъ, потрясшій облака, борьбу съ чародѣемъ, поднявшимся на воздухъ, появленіе похитителя съ громомъ въ низ-падшемъ облакѣ, чудное заключеніе красавицы, шанку-невидимку, финновъ, и проч.

„Русскія Сказки“ дали начало и русскимъ повѣстямъ. Такъ, первый русскій романистъ Нарѣжный издалъ въ 1809 году повѣсти, подъ названіемъ „Славенскіе вечера“, заимствовавъ содержаніе и героевъ изъ „Сказокъ“ 1783 года. Здѣсь въ отдѣльныхъ разсказахъ появляются Громобой и Миловзора, Рогдай, Велесиль — витязи Владимира князя, Любославъ и къ нимъ присоединены въ томъ же стилѣ повѣсти о Кіѣ и Дулебѣ, Рогволодѣ. Историческія повѣсти Нарѣжнаго, какъ его поэмы 1798 г. (Брега Алты, Освобожденная Москва, Пѣснь Владиміру кіевскихъ баяновъ и др.), трагедія 1804 г. (Димитрій Самозванецъ) примыкаютъ вполнѣ къ ложно-классическимъ образцамъ Хераскова, Чулкова и Новикова. Достаточно указать, что въ повѣсти „Любочесть“ герои изъ временъ Владимира и печенѣговъ ведутъ романическую переписку, изъясняются языкомъ историческихъ трагедій Сумарокова. Карамзинъ, какъ увидимъ далѣе, самъ раздѣлялъ отчасти эти недостатки историческихъ повѣстей, что проявилось въ „Натальѣ, боярской дочери“ 1792 г. и въ меньшей степени въ „Марѣ Посадницѣ“ 1803 г. Первая повѣсть Карамзина имѣетъ предисловіе, въ которомъ авторъ прямо связываетъ происхожденіе своей „были или исторіи“ со сказками, слышанными отъ бабушекъ, одна изъ которыхъ (пра-прабабушка въ XVI—XVII вв.) „почти всякой вечеръ сказывала сказки царицѣ NN.“. Многое въ этой первой повѣсти Карамзина въ народно-историческомъ стилѣ напоминаетъ русскія сказки 1783 г. или „Приключенія“ Новикова 1785 г. съ его Фроломъ Скобѣевымъ и вообще тѣ рукописныя сказки-повѣсти, которыя обращались съ XVII вѣка въ связи съ переводными. Подражатели Карамзина въ этомъ направленіи и даже Жуковскій въ „Марьиной рощѣ“ 1809 г. стоятъ ниже Карамзина. Неизвѣстный авторъ „Ольги“ 1803 г. разсказываетъ о князѣ Игорѣ, царствовавшемъ въ Новгородѣ, о Прекрасѣ, внукѣ Гостомысла.

Карамзину же принадлежитъ бесплодное вліяніе на сентиментальные романы, подъ названіями „Несчастная Лиза“ кн. Долгору-

кова, 1811 г., „Несчастный Л. российское сочинение“ 1803 г., „Марьина роща“ съ героями, взятыми изъ сказокъ 1783 г. Жуковскаго и др. Только маленький разсказъ баснописца А. Измайлова „Бѣдная Маша. Российская, отчасти справедливая повѣсть“ 1803 г., несмотря на сплетеніе трагическихъ условій, приближается къ реализму въ силу присущаго этому баснописцу таланта въ изображеніи простонародныхъ и городскихъ чиновничихъ типовъ. Вліяніе Фонвизина сказывается въ названіи героевъ Простаковыми, Миловыми; но новая Софья—конца XVIII—начала XIX вѣка—является не торжествующей съ своей добродѣтелью, а „бѣдной“, страдающей. Простая русская свадьба героини—со свахой, съ народными пѣснями,—разрывается обманомъ со стороны жениха, и городская героиня, несмотря на свою кротость и примиреніе во имя любви гибнетъ.

Опыты реального романа, представленного Нарѣжнымъ и, безъ всякаго сомнѣнія, впервые возведенаго на высоту художественнаго созданія Пушкинъ, заключались не въ историческихъ и не въ сентиментальныхъ повѣстяхъ, а въ т. н. нравоучительныхъ романахъ и въ романахъ съ приключеніями. Здѣсь, быть можетъ, первое зерно, изъ котораго развился „Евгений Онѣгинъ“, „Графъ Нулинъ“, „Повѣсти Бѣлкина“ и др. Въ 1799—1800 гг. баснописецъ Измайловъ издалъ романъ „Евгений, или пагубныя послѣдствія дурнаго воспитанія“ (2 части). Это имя, только въ женской формѣ, тотчасъ же повторилось въ повѣсти Остолопова „Евгения, или вынѣшнее воспитаніе“ 1803 г., „Евгения или письма къ другу“ 1818 г. Опять черта, не лишенная значенія для исторіи происхожденія „Евгения Онѣгина“. У „Евгения“ Измайлова, погибшаго отъ недостатковъ воспитанія, такъ же, какъ у Евгения Онѣгина, были распущенные французскіе гувернеры; оба героя проводятъ разсѣянную жизнь въ Петербургѣ, „убивающую время“. Небольшія подробности общаго характера исчерпываются именами и положеніями, къ которымъ слѣдуетъ отнести и возвращеніе героя Измайлова къ больной матери, Татьянѣ, по смерти которой Евгений получаетъ наслѣдство, проматываетъ его, лишается невѣсты и умираетъ молодымъ. Зимняя поездка Евгения въ столицу и ея описание до нѣкоторой степени соответствуютъ описаніямъ Пушкина. Конечно, все это только намѣки на художественное развитіе романа у Пушкина.

При преобладающемъ количествѣ переводныхъ романовъ и повѣстей надъ немногими русскими повѣстями во второй половинѣ

XVIII в. и въ первой четверти XIX в. любопытны всякия проявления реализма въ русской повѣсти. Поэтому здѣсь можно упомянуть и о слѣдующихъ произведеніяхъ въ этомъ родѣ: *Похожденія Ивана Гостиниаго сына* (1785 г.) Новикова, въ которыхъ находятся изображенія Святочныхъ вечеровъ и исторія Фрола Скобѣева—извѣстная повѣсть XVII вѣка. Но особенно замѣчательны романы и повѣсти Нарѣжнаго. Его большой романъ „*Россійскій Жилблазъ* или исторія жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова, его сына Никандра и семейная исторія помѣщика Простакова“, вышедший въ 1814 году, только въ 3 частяхъ вмѣсто 6-ти, несмотря на подражаніе Лессажу, представляетъ множество очерковъ семейной и общественной жизни начала настоящаго столѣтія и конца прошлаго. Мы не находимъ у Пушкина какихъ либо отзывовъ о повѣстяхъ Нарѣжнаго; но это еще не свидѣтельствуетъ о его незнакомствѣ съ такими выдающимися произведеніями своего времени, какъ „*Бурсакъ*“ или „*Два Ивана*“ Нарѣжнаго. Гоголь, такъ же, какъ и Пушкинъ, нигдѣ не упоминаетъ о Нарѣжномъ, имѣвшемъ для Гоголя значеніе несомнѣнное. Итакъ, въ области повѣсти и романа Пушкинъ имѣлъ уже предшественниковъ.

Намъ остается сказать о ложноклассической драмѣ. Пушкинъ наслѣдовалъ отъ нея только трагедію, драматическія сцены, присоединяя комическія сцены по образцу Шекспира, но не отдаваясь комедіи исключительно. Какая противоположность съ Фонвизинымъ и плеядой малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ комическихъ и сатирическихъ писателей XVIII вѣка, которые впервые возвели разговорную народную рѣчь въ обиходъ литературы. Черты этой народной рѣчи у комическихъ писателей XVIII в. отличаются такой же пестротой и разнообразіемъ, какъ во всякихъ неустановившихся новыхъ формахъ. Тутъ мы находимъ и болѣе или менѣе удачные опыты выбора и передѣлки народныхъ пѣсень, сказокъ, пословицъ въ ихъ живописныхъ выраженіяхъ, и обыденную рѣчь, случайно подхваченную въ народныхъ говорахъ, съ своеобразнымъ выговоромъ звуковъ. Кромѣ этой вѣнчаней формѣ рѣчи, комедіи и комическія оперы внесли въ русскую литературу богатое содеряніе народной жизни, напримѣръ, святочныхъ обрядовъ, свадебныхъ съ ихъ драматическимъ развитіемъ, и друг. Все это вмѣстѣ съ баснями, сказками давало почву для русскихъ балладъ, поэмъ, повѣстей и новой драмы въ стилѣ Шекспира, съ каковой и выступилъ такъ необычно Пушкинъ.

Намъ нѣтъ необходимости распространяться о трагедіи XVIII в. и ея продолженіи въ началѣ XIX в. съ нѣкоторыми измѣненіями. Начиная отъ Сумарокова до Озерова и Крюковскаго русская трагедія сохраняла одну и ту же ложноклассическую форму съ ея напыщенными торжественными положеніями, рѣчами, съ ея кровавыми, преувеличеными дѣйствіями, или, вѣрнѣе, выраженіями страстей.

Переходя теперь къ выдающимся писателямъ начала XIX вѣка ближайшимъ предшественникамъ Пушкина,—къ Карамзину, Батюшкову, Жуковскому,—мы сдѣляемъ заключеніе о русской поэзіи XVIII вѣка. Ей недоставало законченности, устойчивости языка, формы и содержанія. Господство Ломоносовскаго преданія съ его славянизмами, растинутостью рѣчи не подрывалось предшественниками Карамзина конца XVIII в. и начала XIX. Карамзинъ въ концѣ прошлаго вѣка впервые далъ иные образцы для новой литературной рѣчи, выработанной просто и естественно только Пушкинымъ. Ложноклассическія формы литературы вымирали уже въ концѣ прошлаго вѣка: похвальные торжественные слова, оды, поэмы уступали мѣсто балладамъ, путешествіямъ, повѣстямъ, романамъ. Внѣшнія формы построенія и изложенія—искусственный и натянутыя, всего болѣе подражательный—смѣнились естественными и болѣе простыми формами. Содержаніе литературы въ такой же мѣрѣ упростилось и сблизилось съ жизнью. Литература XVIII в. по содержанію отличалась односторонностью, которая зависѣла и отъ отношеній писателя къ публикѣ—исключительно высшихъ классовъ, и отъ его кругозора. Карамзинъ сталъ вводить русскую публику въ интересы европейской жизни, Жуковскій—въ интересы новой европейской поэзіи; но оба писателя понимали значеніе народныхъ началъ и самобытности творчества, что и соединилъ въ величайшей степени Пушкинъ. Оцѣнивая русскую литературу XVIII в., не надо забывать ея исторического значенія,—что сознавалъ и Пушкинъ. Къ приведеннымъ уже отзывамъ нашего поэта о литературѣ XVIII вѣка присоединимъ еще его замѣтки о Фонвизинѣ, Простаковыхъ котораго—„чету сѣдую, съ дѣтьми всѣхъ возрастовъ, считая отъ тридцати до двухъ годовъ“ (III, 333) Пушкинъ вывелъ въ V гл. „Евгенія Онѣгина“ среди деревенскихъ гостей Лариныхъ: „Недоросль—единственный памятникъ народной сатиры“ (V, 124); „со временемъ Фонвизина мы не смѣялись“; (V, 292). „Не забудь Фонвизина писать Фонвизинъ, пишетъ брату поэтъ въ 1824 г. Что онъ за нехристъ? Онъ русскій, изъ перерусскихъ русскій“—(VII, 87). Въ

„Евгениѣ Онѣгинѣ“ Пушкинъ закрѣпилъ значеніе Фонвизина въ слѣдующихъ стихахъ I-ой главы:

Болшебный край! Тамъ въ стары годы,  
Сатиры смѣлый властелинъ,  
Блисталь Фонвизинъ, другъ свободы,  
И переимчивый Княжнинъ.

Постѣднее оттѣняетъ самостоятельность творчества Фонвизина, что такъ цѣнилъ Пушкинъ и что признавалъ за немногими. Не разъ высказывалъ онъ сожалѣніе въ этомъ отношеніи даже по поводу литературной дѣятельности Жуковскаго, котораго глубоко уважаль, какъ человѣка и какъ поэта. Такое же уваженіе Пушкинъ питалъ и къ Карамзину, увлеченный его Исторіей. Здѣсь мы уже имѣемъ дѣло съ современниками Пушкина, съ его живыми отношеніями къ Карамзину и Жуковскому.

Карамзинъ началъ свою литературную дѣятельность переводами и подражаніями, при чемъ стихотворная форма привлекала его, какъ многихъ писателей XVIII в. Онъ является однимъ изъ первыхъ русскихъ поэтовъ-балладниковъ: въ 1791 г. Карамзинъ написалъ балладу „Раиса“, въ которой обращаетъ вниманіе имя соперницы геройни— „Людмилы“, воспѣтой Жуковскимъ, а еще ранѣе, въ 1789 г.— „Графъ Гвариносъ, древнюю гишпанскую историческую пѣсню“— предшественницу чуднаго „Сида“ Жуковскаго. Пѣсни Карамзина и легкія стихотворенія, въ формѣ посланій, описаній природы (временъ года), пользовались въ свое время вниманіемъ публики, но отступили на задній планъ въ дальнѣйшемъ развитіи его литературной дѣятельности.

Путешествіе заграницу дало другое направленіе дѣятельности Карамзина: онъ оставилъ стихи и сталъ писать прозой,—но такой, которая по своимъ совершенствамъ не уступала стихотворной рѣчи его современниковъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что русская проза впервые заговорила поэтическимъ изящнымъ легкимъ языккомъ подъ перомъ Карамзина. Особенно необыкновеннымъ явленіемъ для своего времени были „Письма русского путешественника“ 1791 г. Съ нихъ, можно сказать, русская литература сдѣлалась пріятнымъ повседневнымъ живымъ удовольствіемъ, живою мыслю русского общества. „Письма русского путешественника“ и журналы Карамзина

положили начало широкому распространенію литературныхъ и общечеловѣческихъ интересовъ. Все, что было въ русской литературѣ XVIII в. выдающагося,—все это какъ то неполно отражало жизнь и вкусы читателей. Теперь въ прозѣ Карамзина началось сближеніе между публикой и писателемъ, для котораго всякий читатель являлся близкимъ довѣреннымъ человѣкомъ, наравнѣ съ „любезными друзьями“. Писатель подходилъ къ самымъ деликатнымъ вопросамъ жизни, къ сердцу читателя, которому повѣрялъ свои настроенія, увлеченія, желанія. Торжественная реляціи, патріотическій жаръ, или сатира, смотрящая на русскую жизнь свысока, какъ законъ нравственности, составляющая особенность русской поэзіи XVIII в., смѣнились привлекательной грустью, кротостью, увлеченіемъ природой, естественной жизнью, представляемой въ рамкахъ сельской-деревенской простоты. Послѣдняя, впрочемъ, далеко отступила отъ грубой естественности народныхъ сценъ въ произведеніяхъ XVIII в. Получалось что-то новое: образы изъ жизни образованного класса, но облеченные въ костюмы добродѣтельныхъ крестьянъ, изъ переводныхъ романовъ. Такова „Бѣдная Лиза“ 1792 г., произведшая необыкновенное впечатлѣніе на русскихъ молодыхъ читателей, какъ о томъ свидѣтельствуетъ интересное частное письмо 1799 года: „нынѣ прудъ здѣсь (въ Москвѣ у Симонова монастыря, гдѣ погибла героиня Карамзина) въ великой славѣ; часто гуляетъ около него народъ станицами и читаетъ надписи, вырѣзанныя на деревьяхъ вокругъ пруда“. Эти надписи, по словамъ любопытнаго письма, были или чувствительного характера, или даже такого грубаго, въ родѣ упрековъ автору „Бѣдной Лизы“. Очевидно, читатели искали осуществленія въ дѣйствительности романической исторіи Карамзина. Они не находили въ ней зародыша того романа, который долженъ былъ развернуться блестящимъ цвѣткомъ на топчемъ полѣ русской словесности. Между тѣмъ этотъ образованный представитель дворянскаго русскаго общества, скучающей и отыскивающей идеала по литературнымъ впечатлѣніямъ отъ сентиментальныхъ романовъ, идиллій—прямой предшественникъ Онѣгина и всѣхъ послѣдующихъ героевъ русскаго идеализма. Это Эрасть Карамзина— вполнѣ естественный, какъ въ своемъ увлеченіи, такъ и въ уступкахъ свѣту, суетѣ, невоздержанію и грубому поступку, погубившему бѣдную Лизу. Безъ сомнѣнія, Пушкинъ имѣлъ въ виду повѣсть Карамзина, когда писалъ въ 1830 г. „Барышню-крестьянку“ (Повѣсти Бѣльгина)—Лизу, перерядившуюся для свиданія съ женихомъ, крестьянкой. И слѣдующее замѣчаніе Пушкина относится

къ „Бѣдной Лизѣ“: „Эти подробности (свиданія молодыхъ людей, возрастающая взаимная склонность и довѣрчивость) вообще должны казаться приторными“. Тутъ же въ повѣсти Пушкина находимъ и прямую ссылку на другую повѣсть Карамзина (IV, 88), о которой сейчасъ же и скажемъ: „круглый листъ измараля афоризмами, выбранными изъ той же повѣсти“. Другая повѣсть Карамзина „Наталья боярская дочь“ 1792 г; отразившаяся въ содержаніи извѣстной народной пьесы Пушкина „Женихъ“, 1825 года (героиня „Наташа“, герой—разбойникъ, похищающій дѣвушку), скорѣе приближается къ „Руслану и Людмилѣ“ Пушкина, чѣмъ къ историческимъ романамъ, какъ „Мареа Посадница“ (1802 г.), погубившая, кажется, навсегда всякия стремленія правдиво и выпукло передать новгородскую старину. Талантливый Карамзинъ, идя по пути Новикова, припель къ русской исторіи. Онъ не понималъ русскаго простонароднаго элемента и остался при своемъ европейскомъ развитіи и увлеченіи документальной стариной, въ претвореніи и изученіи которой заслужилъ себѣ справедливо славу. Вліяніе исторіи Карамзина на Пушкина, какъ и вообще на всѣхъ русскихъ писателей начала настоящаго столѣтія, несомнѣнно, было громаднымъ; но Карамзинъ отличался еще привлекательнымъ характеромъ и въ этомъ отношеніи игралъ видную роль въ жизни и въ идеалахъ Пушкина. Личныя отношенія ихъ начались еще во время пребыванія Пушкина въ Лицѣѣ. Сдѣлавшись придворнымъ исторіографомъ, Карамзинъ для печатанія „Исторіи государства Россійскаго“ получилъ много милостей отъ двора. Послѣ безмолвнаго труда въ Москвѣ и въ подмосковной деревнѣ надъ историческими материалами и надъ обработкой первыхъ 8 томовъ, Карамзинъ переселился въ Петербургъ и каждое лѣто подолгу жилъ съ семьей въ Царскомъ Селѣ, упиваясь чистымъ воздухомъ, трудомъ и отдавая свободное время семьѣ и гостямъ, среди которыхъ появлялся съ благоговѣніемъ къ литератору—главѣ передовой литературы и историку—молодой Пушкинъ. Живой представитель новой школы „Карамзинистовъ“, боровшихся противъ защитниковъ Ломоносовской теоріи слога во главѣ съ Шишковымъ—и бездарными писателями поэмъ, трагедій, торжественныхъ словъ, одъ,—преданный исторіи Карамзинъ увлекался своими молодыми послѣдователями, ихъ шутливымъ кружкомъ „Арзамасомъ“ съ Жуковскимъ и съ только что выступившими въ печатной литературѣ съ 1815 года—Батюшковымъ и лицейстомъ Пушкинскимъ. Естественно, что въ семье Карамзина Пушкинъ находилъ не одно

только развлечениe, но и—богатую пищу для ума и сердца. Не безъ вліянія на поэму Пушкина изъ временъ Владимира, начатую еще въ Лицѣвъ, могла быть исторія Карамзина и еще болѣе на тѣ размыслиенія о русской исторіи и раздумья Пушкина, которая онъ дѣлилъ съ блестящимъ царскосельскимъ гусаромъ—мыслителемъ Чаадаевымъ. Въ такой обстановкѣ у Пушкина и созрѣла мысль вмѣсто назначенія къ высшимъ чинамъ государственной службы, по прямымъ цѣлямъ аристократического Лицея, выбрать служенье Музамъ, по пути литератора — публициста, или придворного исторіографа Карамзина. Рано познакомившись съ Исторіей Карамзина, ранѣе ея появленія въ печати 1818 г., Пушкинъ успѣлъ многое передумать и въ кругу новыхъ передовыхъ и увлекающихся людей представилъ эпиграммы на Карамзина и на его основные взгляды. Карамзинъ, покровительствовавший Пушкину, называлъ его, по выходѣ изъ Лицея, либераломъ. И эта черта различія легла навсегда между Карамзінъ и Пушкинъ, несмотря на примиренія, горячую благодарность молодого поэта за ходатайство Карамзина въ 1820 г., несмотря на искреннее уваженіе къ трудамъ и значенію Карамзина со стороны Пушкина въ теченіе всей жизни поэта. Мы еще возвратимся къ вліянію Карамзина на Пушкина при созданіи „Бориса Годунова“; теперь же приведемъ замѣчательное свидѣтельство Пушкина о первомъ появленіи „Исторіи Государства Россійскаго“, написанное вскорѣ послѣ смерти Карамзина 1826 г.: „это было въ февралѣ 1818 года. Первые восемь томовъ Русской Исторіи Карамзина вышли въ свѣтъ. Я прочелъ ихъ въ постелѣ (больной) съ жадностю и со вниманіемъ. Появленіе сей книги (какъ и быть надлежало) надѣлало много шума и произвело сильное впечатлѣніе; 3000 экземпляровъ разошлось въ одинъ мѣсяцъ (чего никакъ не ожидалъ и самъ Карамзинъ)—примѣръ единственный въ нашей землѣ. Всѣ (свѣтскіе люди V, 58), даже свѣтскія женщины, бросились читать исторію своего отечества дотолѣ имъ неизвѣстную. Она была для нихъ новымъ открытиемъ. Древняя Россія казалось найдена Карамзінъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени ни о чёмъ иномъ не говорили. У насъ никто не въ состояніи изслѣдовать огромное созданіе Карамзина, за то никто не сказалъ спасибо человѣку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успѣховъ и посвятившему цѣлыхъ 12 лѣтъ жизни безмолвнымъ и пеутомимымъ трудамъ. Ноты (примѣчанія V, 59) Русской Исторіи свидѣтельствуютъ обширную ученость Ка-

рамзина, пріобрѣтенню имъ уже въ тѣхъ лѣтахъ, когда для обыкновенныхъ людей кругъ образованія и познаній давно оконченъ и хлопоты по службѣ замѣняютъ усилія къ просвѣщенію. Молодые яковинцы негодовали (припомнѣ эпиграммы самого Пушкина—„И, бабушка, затѣяла пустое: Докончи лучше намъ Илью-богатыря“ 1818 г. и др.). Повторяю, что Исторія Государства Россійскаго есть не только созданіе великаго писателя, но и подвигъ честнаго человѣка“ (V, 40—41 стр.).

Въ Лицѣ же Пушкинъ познакомился, можетъ быть,—въ семействѣ Карамзина съ Жуковскимъ и Батюшковымъ, вліяніе которыхъ, какъ непосредственныхъ поэтовъ, отразилось всего болѣе на первыхъ произведеніяхъ „Арзамасскаго“ Сверчка (прозвище Александра Сергеевича—по балладѣ Жуковскаго), близайшаго къ выдающемся пѣвцу и балладнику—Арзамасской „Свѣтланѣ“ Жуковскому.

Первые произведенія Батюшкова, появившагося въ печати около 1810 года, должны уже были обратить на себя вниманіе лицеиста Пушкина по своему слогу, какъ прозаическому („Письма русскаго офицера изъ Финляндіи“), такъ и поэтическому. Пушкинъ послѣдовалъ за Батюшковымъ, найдя въ немъ совершенства Державинской поэзіи, освобожденной отъ недостатковъ неестественности, преувеличенія, неровности и неискренности въ чувствахъ, или, вѣрнѣе—нѣумѣ本事и дать выраженіе, подыскать подходящія дѣйствительнымъ чувствамъ мысли и слова. Каждое новое произведеніе Батюшкова Пушкинъ ловилъ съ восторгомъ и настраивалъ свою лиру въ тонъ нового переводчика классическихъ, французскихъ и итальянскихъ поэтовъ. Изъ подражанія Батюшкову Пушкинъ избираетъ Парни и Тассо своими образцами въ области лирики и эпоса. Еще болѣе вліяли на Пушкина оригинальныя піесы Батюшкова: его сатиры (Видѣнія на берегахъ Леты, Пѣвецъ въ бесѣдѣ Славянороссовъ), легкія эпиграммы, его военные пѣсни (Разлука, Плѣнникъ, Тѣнь друга и др.), посланія къ друзьямъ (Мои Пенаты), и особенно нѣжныя элегіи (Таврида, Умирающій Тассъ, Воспоминанія), въ которыхъ печаль объ утраченномъ счастіи соединяется съ воспоминаніями о радостяхъ жизни, о сладострастии любви—въ увлекательныхъ, но не грубыхъ картинахъ, полныхъ елинской простоты, съ чашами, цвѣтами и безпечностью. Какъ долго отражалось на Пушкинѣ вліяніе Батюшкова (указанное въ частностяхъ Гаевскимъ въ Современникѣ 1863 г. №№ 7 и 8, акад. Гротомъ о Пушкинѣ и

акад. Л. Н. Майковымъ о Батюшковѣ), можно судить изъ извѣстнаго произведенія Пушкина—„Моя родословная“ 1830 г., для которой послужили основаніемъ слѣдующіе стихи Батюшкова:

Оставь меня, я не поэтъ,  
Я не ученый, не профессоръ,  
Меня въ календарѣ въ числѣ счастливцевъ нѣтъ,  
Я... отставной ассесоръ!

(Сочиненія К. Н. Батюшкова, III, 1886, 343).

Это стихотвореніе 1817 г. изъ письма Батюшкова къ В. Л. Пушкину, какъ „старостѣ“ Арзамаса, конечно, зналъ хорошо племянникъ — „маленький Пушкинъ“, о которомъ Батюшковъ съ восторгомъ упоминаетъ нѣсколько разъ въ своихъ письмахъ. Приведемъ слѣдующую выдержку изъ журнальной статьи Батюшкова 1814 года „Прогулка въ Академію Художествъ“, послужившую темой для вступленія Пушкина въ повѣсть „Мѣдный Всадникъ“: „Взглянувъ на Неву, покрытую судами, взглянувъ на великолѣпную набережную, на которую, благодаря привычкѣ, жители петербургскіе смотрятъ холоднымъ окомъ,—любуясь безчисленнымъ народомъ, который волновался подъ моими окнами, симъ чудеснымъ смиреніемъ всѣхъ націй, въ которомъ я отличалъ Англичанъ и Азіатцевъ, Французовъ и Калмыковъ, Русскихъ и Финновъ, я сдѣлалъ себѣ слѣдующій вопросъ: что было на этомъ мѣстѣ до построенія Петербурга? Можетъ быть, сосновая роща, сырой, дремучій боръ или топкое болото, поросшее мхомъ и брусликою; ближе къ берегу—лачуга рыбака, кругомъ которой развѣшены были мрежи, невода и весь грубый снарядъ скучнаго промысла. Сюда, можетъ быть, съ трудомъ пробирался охотникъ, какой-нибудь длинновласый финнъ

За ланью быстрой и рогатой,  
Прицѣлясь къ ней стрѣлой пернатой.

Здѣсь все было безмолвно. Рѣдко человѣческій голосъ пробуждалъ молчаніе пустыни дикой, мрачной; а нынѣ?.. Я взглянуль невольно на Троицкій мостъ, потомъ на хижину великаго монарха, къ которой по справедливости можно примѣнить извѣстный стихъ:

Souvent un faible gland recéle un chêne immense!

И воображеніе мое представило мнѣ Петра, который въ первый разъ обозрѣвалъ берега дикой Невы, нынѣ столь прекрасные!.. „Здѣсь будетъ городъ“ сказалъ онъ,— „чудо свѣта, сюда призову всѣ художества, всѣ искусства, гражданскія установленія и законы побѣдять самую природу“. Сказалъ, и Петербургъ возникъ изъ дикаго болота“ (Сочиненія К. Н. Батюшкова, II т., 94—95). Кажется, не зачѣмъ и подчеркивать все то, что намъ хорошо напоминаетъ вступленіе Пушкина въ поэму „Мѣдный Всадникъ“.

Многія выраженія Батюшкова повторяются у Пушкина, хотя бы, напримѣръ, излюбленныя выраженія о „сладострастии высокихъ мыслей и стиховъ“ („души великихъ сладострастіе“ I, 124; „На ложѣ сладострастія“, 134; „счастье, сердечно сладострастіе, и нѣгу, и покой“, 138; „души прямое сладострастіе“, 243 стр.), о „башняхъ древнихъ царей—свидѣтелей протекшей славы“ (I, 151—152 „Посланіе къ Дашкову“: „Предъ златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады“. „Москва отчизны край златой“), „пѣвицѣ любви“, или такія фразы, какъ: „и море и суша покорствуютъ намъ“ (I, 239, ср. Пѣнь о Вѣщемъ Олегѣ):

Но дружество найдеть мои въ замѣну чувства,  
Исторію моихъ страстей,  
Ума и сердца заблужденья,  
Заботы, суеты, печали прежнихъ дней  
И легвокрылы наслажденья (I, 275).

Нечего говорить о лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина, въ которыхъ встрѣчаемъ подражательныя произведенія, въ родѣ „Къ сестрѣ“ 1814 г., „Городокъ“, „Къ Батюшкову“ (посланія 1814 и 1815 гг.), романъ „Подъ вечеръ осенью ненастной“ (см. ниже). Даже „Музу“ 1821 г., написанную въ Киевѣ (14 февраля), Пушкинъ, по свидѣтельству современниковъ, „любилъ за то,—что (стихотвореніе это) отзывается стихами Батюшкова“ (I, 235 стр.). Можетъ быть, нѣсколько преувеличивая, Пушкинъ приравнивалъ Батюшкова къ Ломоносову: „Батюшковъ, счастливый сподвижникъ Ломоносова, сдѣлалъ для русскаго языка то же самое“ (V, 20). Но Батюшковъ почти ничего не сдѣлалъ для проведенія народности въ содержаніи своихъ произведеній. Онъ мечталъ объ историческихъ сюжетахъ, о поэмахъ въ народномъ стилѣ и, безъ сомнѣнія, создалъ бы что либо выдающееся въ этомъ родѣ, если бы не стеченіе обстоя-

тельствъ, нарушившихъ равновѣсіе его душевнаго строя, его страстей. Онъ встрѣтилъ только „Руслана и Людмилу“ Пушкина и исчезъ навсегда изъ области литературныхъ и общественныхъ интересовъ. Друзья, и въ томъ числѣ молодой Пушкинъ, ожидали отъ Батюшкова многаго (VII, 107). Безъ сомнѣнія, онъ, а не кто другой, разбудилъ поэзію въ Пушкинѣ.

Между тѣмъ Пушкинъ, вступая въ свѣтъ со всей страстью и упоеніемъ жизнью, преклонялся про себя передъ личностью и поэзіей Жуковскаго (1783—1852 гг.):

Душа къ возвышенной душѣ твоей летѣла  
И, тайно съединяясь, въ восторгахъ пламенѣла,

писалъ онъ въ посланіи „Къ Жуковскому“ 1817 года (I, 164). Еще съ болѣй искренностью и увлечениемъ отнесся Пушкинъ въ 1818 году въ двухъ прелестныхъ обращеніяхъ „Къ портрету Жуковскаго“ и къ „Жуковскому“:

Блаженъ, кто знаетъ сладострастье  
Высокихъ мыслей и стиховъ,  
Кто наслажденіе прекраснымъ  
Въ прекрасный получилъ удѣлъ,  
И твой восторгъ уразумѣлъ  
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ!

Жизнь Жуковскаго занимаетъ видное мѣсто въ житейскихъ отношеніяхъ Пушкина, отъ первого вступленія нашего поэта въ литературу, въ сознательное служеніе ей до послѣднихъ мгновеній Александра Сергеевича, когда онъ скончался въ день рожденія Жуковскаго, 29 января 1837 г. Жуковскій такъ же покровительствовалъ Пушкину, какъ Карамзинъ; но, несмотря на неравенство лѣтъ (Жуковскій родился въ 1783 г., 29-го января), между поэтами связалась тѣсная искренняя дружба: съ 1822 года Пушкинъ въ письмахъ обращается съ Жуковскимъ на „ты“, признавая его съ памятнаго момента лицейской встрѣчи въ 1815 году, когда Жуковскій подарилъ ему стихи (V, 2), своимъ учителемъ. Пушкинъ называетъ Жуковскаго въ посланіи „Къ сестрѣ“ 1814 г. пѣвцомъ Людмилы и задумчивой Свѣтланы, въ IV пѣснѣ „Руслана и Людмилы“ 1820 г.— „Пѣвцомъ таинственныхъ видѣній, любви, мечтаній и чертей, могиль-

и рая" и вспоминаетъ свои впечатлѣнія отъ „Громобоя" и „Вадима" (Двѣнадцати спящихъ дѣвъ); еще позднѣе, въ 1828 г., Пушкинъ возвращается къ первому произведенію Жуковскаго, поразившему „весь свѣтъ"—къ подражанію Грею,—т. е. „Сельскому Кладбищу" 1802 г. Въ исторіи русской словесности Пушкинъ признавалъ за Жуковскимъ важное и рѣшительное значеніе въ области слога (VII, 107 и 129). Но вліяніе Жуковскаго на Пушкина не ограничивалось однимъ слогомъ и юношескими подражаніями (например, посланіе Пушкина къ кн. Горчакову написано въ подражаніе посланію Жуковскаго къ Филалету—Тургеневу): оно шло глубже и отражалось въ элегіяхъ Пушкина, въ образахъ и выраженіяхъ, впервые введенныхъ въ русскую литературу Жуковскимъ изъ подражанія германской поэзіи (особенно Шиллеру), а отчасти и самостотельно,—въ отклоненіи отъ подлинника, въ образахъ, созданныхъ Жуковскимъ въ соотвѣтствіи съ его духомъ, со всѣмъ пережитымъ и перечувствованнымъ мечтательнымъ поэтомъ. Кроме элегій (напр., мысли о смерти, объ умершихъ женщинахъ, близкихъ—дорогихъ сердцу поэта) вліяніе Жуковскаго на Пушкина сказалось и въ народныхъ балладахъ, какъ „Женихъ", „Утопленникъ", „Бѣсы", и въ народныхъ сказкахъ и въ патріотическихъ одахъ, написанныхъ поэтами во время совмѣстной жизни въ Царскомъ Селѣ и изданныхъ вмѣстѣ въ одной книжкѣ 1831 г. Послѣднѣе было своего рода состязаніемъ и сотрудничествомъ двухъ поэтовъ.

Не разсматривая всей дѣятельности Жуковскаго, пережившаго А. С. Пушкина и издававшаго его сочиненія съ собственными пошравками, мы считаемъ необходимымъ остановиться на параллельномъ изложеніи жизни и дѣятельности В. А. Жуковскаго съ жизнью и дѣятельностью А. С. Пушкина. Здѣсь было много и общаго и противоположнаго,—что, какъ известно, сближаетъ нерѣдко людей и образуетъ друзей.

Мы уже замѣтили выше, что оба выдающіеся поэта первой половины настоящаго столѣтія одинаково были связаны по происхожденію съ Востокомъ,—съ Турцией. Мать Жуковскаго была плѣнной турчанкой, занимавшей въ семействѣ тульского помѣщика Бунина—отца Жуковскаго, получившаго отчество и фамилію отъ бѣднаго кievскаго дворяниня Андрея Жуковскаго,—положеніе ветхозавѣтной Агари. Но добрыя чувства соединяли эту старую русскую семью Буниныхъ, давшую кромѣ нашего поэта такихъ литературныхъ дѣятелей, какъ

Кирѣевскіе, Зонтагъ. Жуковскій такъ же, какъ и Пушкинъ, съ дѣтства былъ привязанъ къ женскому обществу; но школа не испортила его, не вызвала тѣхъ нечистыхъ увлеченій, какія пережилъ Пушкинъ. Въ душѣ Жуковскаго и въ Московскомъ Благородномъ Пансіонѣ продолжала жить чистая нравственная привязанность къ тѣмъ „дѣвочкамъ“—родственницамъ, съ которыми юный поэтъ провелъ дѣтство въ деревнѣ „въ златыхъ играхъ“. Быть можетъ, это была и та нравственная, философская атмосфера, которой недоставало въ замкнутомъ Царскомъ Селѣ, среди талантливыхъ знатныхъ юношь, явившихся изъ объятій домочадцевъ—деревенскихъ и городскихъ переднихъ съ дѣвичьими, подъ сѣнь удаленного отъ столицы и надзора Лицея. Въ Москвѣ же, напротивъ того, юноши окружены были преданіями Дружескаго Общества, массоновъ, такихъ философъ-педагоговъ, какъ Прокоповичъ-Аntonскій, Тургеневъ и др. Въ этой атмосферѣ выросъ и молодой Карамзинъ, возбуждавшій въ концѣ XVIII в. и въ началѣ XIX, до переѣзда въ Петербургъ (1816 г.), вниманіе московскаго общества и молодежи своими журналами, сентиментальными нѣжными повѣстями, историческими воспоминаніями и множествомъ полезныхъ литературныхъ занятій. Жуковскій выросъ и развился въ школѣ Карамзина и былъ его близайшимъ преемникомъ, какъ въ литературѣ (баллады, изданіе Вѣстника Европы, литературныхъ сборниковъ, повѣстей, критическихъ статей и проч.), такъ и въ жизни (меланхолія и кротость, страсть къ литературному труду, самообразованію, патріотизмъ). И Карамзинъ вель свой родъ съ Востока, какъ его современникъ пѣвецъ Фелицы—Державинъ. Оба поэта XVIII в. были потомками татарь Казанскаго Царства. Кто ищетъ природныхъ национальныхъ наклонностей, тотъ не упустить отмѣтить въ лицѣ четырехъ названныхъ русскихъ поэтовъ восточную мечтательность, силу слова и стиха, выражавшихъ всю пылкость человѣческихъ страстей и всю глубину смиренія и упованія. Величайшіе русскіе писатели, каждый въ свое время, создали эпохи въ развитіи русскаго слова и поэзіи. Не будемъ упрекать родную дѣйствительность съ ея ограниченностью въ области духовныхъ интересовъ, съ преобладаніемъ влечений въ материальной, такъ сказать, растительной дѣятельности, съ бѣдностью средствъ для внутренняго умственного развитія, но съ преданіями о высокихъ нравственныхъ и патріотическихъ подвигахъ—единственной почвой для самобытнаго духовнаго развитія. Отсюда такая зависимость и,

можеть быть, неполнота литературнаго западно-европейскаго вліянія на Державина, Карамзина, Жуковскаго и даже—Пушкина. И здѣсь опять черты различія между Жуковскимъ и Пушкинымъ. Жуковскій, какъ и Карамзинъ, отъ подражанія французскимъ писателямъ—басноисцамъ и лирикамъ—перешелъ къ поэтомъ нѣмецкимъ и англійскимъ; между тѣмъ какъ Пушкинъ глубоко всосаль въ себя начала французской литературы съ ея философскимъ раціоналистическимъ направленіемъ, съ ея легкой эротической формой. Отсюда веселость, шутка Жуковскаго являлись въ глазахъ Пушкина наивностью, и самая грусть по утраченному счастью земли—прелестной ложью. Что касается отношеній къ Востоку, то только у Карамзина надо искать ихъ въ Исторіи Государства Россійскаго, а Державинъ, Жуковскій и Пушкинъ дали великолѣпные образцы восточнаго міровоззрѣнія и поэзіи въ своихъ бессмертныхъ твореніяхъ. Вспомните мурзу въ „Фелицѣ“, „Видѣніе Мурзы“, „Персидскую повѣсть Рустемъ и Зорабъ“, „Бахчисарайскій фонтанъ“, „Подражанія Корану“, „Талисманъ“, „Анчаръ“, „Калмычкѣ“, „Изъ Гафиза“, „Подражаніе арабскому“,— и вамъ не покажутся преувеличеніемъ пророческія слова нашего славнаго поэта въ „Памятникѣ“ 1836 года:

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,  
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:  
И гордый внукъ славянъ, и финнь, и нынѣ дикий  
Тунгузъ, и другъ степей калмыкъ.

Извѣстно, что Жуковскій измѣнилъ, по цензурнымъ условіямъ, по смерти Пушкина, его „Памятникъ“ и отнесъ къ великому другу то, что Пушкинъ написалъ „Къ портрету Жуковскаго“ за 20 лѣтъ до своей смерти:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,  
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,  
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ

Ср.: Его стиховъ плѣнительная сладость  
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль, и проч.

Думаемъ, что не преувеличимъ, если отнесемъ къ вліянію Жуковскаго на Пушкина „пробужденіе лирой добрыхъ чувствъ въ наро-

дѣ“, вниманье къ сельской простотѣ, къ деревнѣ. Первая элегія Жуковскаго, доставившая ему славу, „Сельское кладбище“ 1802 г., уже посвящена похвалѣ почтеннымъ трудамъ простого селянина и его предполагаемой скорби надъ могильнымъ камнемъ поэта съ печатью меланхоліи. Жуковскій, какъ и въ дальнѣйшей своей переводческой дѣятельности, измѣнилъ Грееву элегію: его поэтъ не только „душой откровененъ и добръ“, какъ въ англійскомъ подлинникѣ, но и:

Онь кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою—  
Чувствительнымъ Творецъ награду положилъ <sup>1)</sup>.

Мысли о ранней могилѣ разочарованного душой поэта, поглощенаго воспоминаніями о нетлѣнности братскихъ узъ въ кругу своихъ друзей, прекрасно выражаются въ элегіи „Вечеръ“ 1806 г.:

Ужель красавицъ взоры иль почестей исканье,  
Иль суетная честь—пріятныи въ свѣтѣ слыть  
Загладить въ сердцѣ вспоминанье  
О радостяхъ души, о счастьѣ юныхъ дней,  
И дружбѣ, и любви и музамъ посвященныхъ?...  
Миѣ рокъ сулилъ брести невѣдомой стезей,  
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы природы...  
Творца, друзей, любовь и счастье воспѣвать (I, 52—84).

Съ увлеченіемъ сельской простотой и тишиной у Жуковскаго соединяется влеченіе къ исторіи русскихъ и славянъ. Оставивши службу, поэтъ поселяется въ родномъ Бѣлевѣ и предается самообразованію, читаетъ лѣтописи и создаетъ „Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей“, „Людимилу“ 1808 г.—балладу, имѣвшую важное значеніе въ русской литературѣ, и другую большую „Старинную повѣсть“ въ двухъ балладахъ: „Громобой“ и „Вадимъ“, подъ общимъ заглавиемъ: „Двѣнадцать священныхъ дѣвъ“ 1810 г. Наконецъ, въ 1811 г. Жуковскій возвысился до воспроизведенія народныхъ святочныхъ гаданій и создалъ „Свѣтлану“. Тревоги войны 1812 года отвлекли поэта, написавшаго „Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ“, послѣ котораго слѣдуетъ непрерывная переводная дѣятельность, посвященная такимъ сюжетамъ, какъ „Орлеанская дѣва“, „Жалоба Цереры“

<sup>1)</sup> Ср. Стихотворенія В. А. Жуковскаго, 1895 г., I т., стр. 33 и III т., 176 стр., дословный переводъ 1839 года.

Шиллера, „Путешественникъ и поселянка“, „Лѣсной царь“ Гёте, народныя произведенія Гебеля, съ 1816 по 1830 г., на которыхъ мы остановимся подробнѣе, сказки, и друг. Чтобы показать отраженіе настроенія Жуковскаго въ элегіяхъ Пушкина, приведу нѣсколько выдержекъ изъ раннихъ произведеній Жуковскаго. Въ посланіи „Къ Филалету“ 1807 г. заключаются уже чудныя раздумья „Стансовъ“ Пушкина 1829 года:

Повсюду вѣстники могилы предо мной.  
Смотрю ли, какъ заря съ закатомъ угасаетъ—  
Такъ, мнится, юноша цвѣтущій исчезаетъ;  
Внимаю ли рогамъ пастушымъ за горой,  
Иль вѣтра горнаго въ дубравѣ трепетанью,  
Иль тихому ручью въ кустарникѣ журчанью,  
Смотрю-ль въ туманну даль вечернею порой,  
Во всемъ печальныхъ дней конецъ воображаю...  
Или сулилъ мнѣ рокъ въ весенни жизни годы,  
Сокрывающись въ мракѣ гробовомъ,  
Покинуть и поля и отческія воды,  
И міръ, гдѣ жизнь моя безплодно разцвѣла?

Не приводя далѣе образцовъ изъ поэзіи Жуковскаго, такъ или иначе пересозданныхъ въ сжатыхъ, сильныхъ, но и нѣжныхъ стихахъ Пушкина, отмѣтимъ необыкновенную изобразительность въ стихахъ Жуковскаго, когда онъ описываетъ природу (Людмила, Свѣтлана и друг.), таинственность видѣній, ужасовъ, мученій любви. Элегіи, баллады, переводы Жуковскаго произвели глубочайшее впечатлѣніе на русскихъ читателей всѣхъ классовъ и, безъ сомнѣнія, подняли ихъ высоко въ образовательномъ отношеніи. Пушкинскіе герои, Татьяна и Ленскій, впервые познали міръ, жизнь сердца, свободную мечтательную даль изъ поэзіи Жуковскаго. Татьяна едва ли не прямая ученица Жуковскаго. Она не покинула мечтанія юныхъ лѣтъ, свою безнадежную любовь; но и не уступила давленію обстоятельствъ: возможности нарушить выбранный путь, стремленію постороннихъ подглядѣть ея волненія, или паденію духа до отчаянія. Въ поэзіи Жуковскаго проходитъ повтореніе мотива насильственной разлуки любящихъ сердецъ, и это не подражаніе, а живой голосъ пережитаго поэтомъ страстнаго чувства любви къ своей племянницѣ, которую Жуковскій видѣлъ и выданной за другого и, наконецъ, умер-

шай. Но поэтъ продолжалъ свои занятія, свое нравственное усовершенствованіе. Высокое положеніе,—также болѣе нравственнаго, чѣмъ искательнаго направленія,—какое занялъ Жуковскій при дворѣ съ 1816 года, приводило поэта къ служенію народному воспитанію. Вотъ что онъ писалъ изъ Дерпта по поводу своего нового положенія: „вниманіе Государя есть святое дѣло. Имѣть на него право могу и я, если буду русскимъ поэтомъ въ благородномъ смыслѣ сего имени. А я буду! Поэзія часъ отъ часу становится для меня чѣмъ то возвышеннымъ... Не надобно думать, что она только забава воображенія!“ (Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу, 1895 г. стр. 163). „Она (поэзія) должна имѣть вліяніе на душу всего народа, и она будетъ имѣть это благотворное вліяніе... Поэзія принадлежитъ къ народному воспитанію“. Въ этомъ же письмѣ Жуковскій впервые сообщаетъ о своемъ знакомствѣ съ народной поэзіей Гебеля, которой восторгался и Гёте: „написалъ, т. е. перевелъ съ нѣмецкаго піесу, подъ титуломъ „Овсяной кисель“... Это переводъ изъ Гебеля, вѣроятно, тебѣ неизвѣстнаго поэта, ибо онъ писалъ на швабскомъ діалектѣ и для поселянъ. Но я ничего лучше не знаю! Поэзія во всемъ совершенствѣ простоты и непорочности. Переведу еще многое. Совершенно новый и намъ еще неизвѣстный родъ“ (тамъ же, 164 стр.).

Продѣлимъ эти переводы Жуковскаго изъ Гебеля. Переводчикъ старался приблизить къ русской жизни не только имена нѣмецкихъ поселянъ (особенно въ простонародной швабской формѣ), но и подробности, передѣливая и опуская нѣкоторыя частности. Въ „Овсяномъ кисель“ у него являются „и Иванъ, и Лука, и Дуняша“, опущено заключеніе о необходимости деревенскими дѣтями идти въ школу (*Und jetzt geht in die Schul'*, *dort hängt am Gesimse die Mappe!* *Fall mir Keins, gebt Achtung, und lernt hübsche was man euch aufgibt.* *Kommt ihr wieder nach Haus'; dann giebt es getrocknete Pflaumen*). Замѣчательны народныя выраженія: „заскородилъ овесъ, колось оброщенный“. Въ такомъ же родѣ и остальные переводы: гнѣдко—*Esel*, „гнѣдко пужливъ“ (*Hüst, Laubi, Merz = Hott Schimmel, Fuchs!*); въ „Утренней звѣздѣ“ Жуковскій ввелъ поэтическое изложеніе молитвы Господней вместо рассказа о молитвѣ вообще <sup>1)</sup>). Отъ содержанія

<sup>1)</sup> So helf' uns Gott, und geb' uns Gott  
'nen guten Tag, und b'hüt' uns Gott!  
Wir beten um ein christlich Herz.  
Es thut uns Noth in Freud' und Schmerz;

деревенскихъ сказокъ и пѣсенъ изъ Гебеля вѣтъ непосредственной вѣрой въ загробную жизнь, въ будущій судъ, въ добрыя дѣла, въ значеніе труда и—легендой о козняхъ дьявола, о привидѣніяхъ. Вечерніе иочные образы этихъ страстей изъ міра духовныхъ средневѣковыхъ легендъ смѣняются у Жуковскаго свѣтыми, бодрыми картинами „Воскреснаго утра въ деревнѣ“, „Утренней звѣзды“. Нельзя не отмѣтить, что изъ небольшого числа всѣхъ произведеній Гебеля Жуковскій выбралъ подходившія къ его настроенію и опустилъ бойкія пѣсни торговокъ, рабочихъ и т. п.

Въ началѣ 30-хъ годовъ Жуковскій съ особеннымъ увлеченіемъ переводилъ „Ундину“, въ которой выразилось настроеніе поэта: „испытали всѣ мы невѣрность здѣшняго счастья... счастливъ еще, когда при раздѣлѣ житейскаго бытъ ты самъ назначенъ терпѣть, а не мучить; на свѣтѣ семъ доли жертвы блаженнѣй, чѣмъ доли губителя. Если сей лучшій жребій былъ твой, читатель, то можетъ быть, слушая нашу повѣсть, ты вспомнишь и самъ о своемъ миновавшемъ, и тихо милая грусть тебѣ черезъ душу прокрадется, снова то, что прошло, оживетъ, и ты слезу сожалѣнья бросишь“. Если мы обратимся къ переводамъ Жуковскаго изъ Шиллера, то и здѣсь увидимъ, какую видную роль играютъ женскіе типы: „Кассандра“ 1809 г., „Жалоба Цереры“ 1831 г., „Орлеанская дѣва“ 1821 г. Все это матеріалы, безъ сомнѣнія, отражавшіеся и въ жизни русской женщины 20—30-хъ годовъ, и въ литературѣ. Опять черта, не лишенная значенія для пушкинской Татьяны, которую поэтъ готовъ сравнить съ „Свѣтланой“ Жуковскаго (III т., гл. V, 326). Вольный переводъ изъ Шиллера „Голосъ съ того свѣта“ 1815 г., начинавшійся словами почившей—„Не узнавай, куда я путь склонила, въ какой предѣль изъ міра переплыла“... можетъ быть сближенъ съ чудными элегіями Пушкина на кончину госпожи Ризничъ, и друг.

Wer christlich lebt, hat frohen Muth;  
Der lieb' Gott steht fr alles gut.

Въ виду точной передачи подлинника ограничиваемся приведеннымъ переводомъ. У Жуковскаго иначе:

Бездѣ молитва началась:  
„Небесный Царь, услыши нась;  
Твоє владычество приди;  
Насъ въ искушение не введи;  
На путь спасенія наставь,  
И отъ лукаваго избавь“.

Итакъ въ области поэмы (Двѣнадцать спящихъ дѣвъ, и друг.) и элегіи Жуковскій прямой предшественникъ Пушкина, въ особенности по глубокому выражению женской души. Сюда надо присоединить и баллады Пушкина (Утопленникъ, Женихъ, и друг.), которые отличаются отъ балладъ Жуковскаго болѣеей вѣрностью русской народной легендѣ. Творчество Пушкина иногда такъ совпадало съ переводами и подражаніями Жуковскаго, что Пушкинъ долженъ былъ оправдываться въ независимости своихъ трудовъ отъ воздействиій Жуковскаго, какъ, напримѣръ, во время появленія „Шильонскаго узника“ и „Братьевъ разбойниковъ“.

Поэзія Пушкина въ этомъ новомъ направленіи, близкомъ къ возвышенному настроенію Жуковскаго, развернулась на югѣ. Герой поэмъ Пушкина столько же подражаніе Байрону, сколько и—рыцарской романтической поэзіи Жуковскаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, результатъ думъ Пушкина о пережитомъ. Рыцарь Жуковскаго, страдающій отъ несчастной любви, холоденъ къ настоящему: въ его душѣ „къ далекому стремленье, минувшаго привѣтъ“ („Невыразимое“ 1818 г.); онъ смотритъ недовѣрчиво на все земное, такъ какъ здѣсь не сужено сбыться мечтамъ. Это возвращеніе къ направленію Жуковскаго послѣдовало въ Пушкинѣ послѣ легкой сатирической дѣятельности въ Петербургѣ,—смѣлой и рѣзкой до крайности, и послѣ увлеченія театромъ, свѣтской жизнью.

Возвращеніемъ съ юга, какъ и первоначальной высылкой на югъ, вмѣсто болѣе тяжкой кары, Пушкинъ былъ обязанъ Карамзину. Въ Михайловскомъ поэтъ ревностно принялъ за чтеніе Исторіи Карамзина. Если на основаніи прочтенія первыхъ томовъ Исторіи Карамзина Пушкинъ могъ создать „Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ“ (1822 г.),—вѣроятно и подъ впечатлѣніемъ отъ посѣщенія Киева въ 1820 и 1821 гг.; то теперь въ сельскомъ уединеніи, среди псковской древности въ народномъ бытѣ, пѣсняхъ, сказкахъ, Пушкинъ обратился ко времени Бориса Годунова и Лжедимитрія. Самъ Карамзинъ давно питалъ пристрастіе къ загадочному характеру Годунова. Еще въ „Вѣстникѣ Европы“ 1802 г. (Историческая воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицѣ) Карамзинъ подробно разсуждалъ о событияхъ, сопровождавшихъ возышеніе и паденіе фамилии Годунова. Онъ колебался признать лѣтописныя обвиненія „Годунова убийцею св. Димитрія“, удивлялся его силѣ воли (въ сторону властолюбія и разума Кромвеля), сомнѣвался въ мнимыхъ преступленіяхъ, взвѣденныхъ на Бориса лѣтописцами,

хвалилъ его за любовь къ семейству, къ наукамъ, къ благосостоянію народа, и наконецъ, подобно лѣтописцу Пимену, заключалъ свой разсказъ о самозванцѣ и гибели семьи Бориса: „Богъ судить тайныя злодѣянія; а мы должны хвалить царей за все, что они дѣлаютъ для славы и блага отечества“... „Властолюбіе, доказывалъ въ своей статьѣ Карамзинъ, дѣлаетъ людей великими благодѣтелями и великими преступниками“. Въ 1821 году историкъ въ письмахъ къ Малиновскому (Погодинъ: Н. М. Карамзинъ, ч. II, 266—267) оживленно говоритъ о своей работе: „я теперь весь въ Годуновѣ: вотъ характеръ исторически трагический (о временахъ Годунова), хочется отдать его цѣльно, не отрывкомъ“. Борисъ—несомнѣнныи убийца Димитрія; неслыханнымъ злодѣяніемъ онъ достигъ престола; но кара свыше не принесла ему желаемаго счастья, несмотря на всѣ его благодѣянія. „Онъ не былъ, но бывалъ тираномъ; не безумствовалъ, но злодѣйствовалъ подобно Іоанну, устрания совѣстниковъ, или казня недоброжелателей. Если Годуновъ на время благоустроилъ Державу, на время возвысилъ ее во мнѣніи Европы, то не онъ ли и ввергнулъ Россію въ бездну злополучія, почти неслыханного—предалъ въ добчу ляхамъ и бродягамъ, вызвалъ на ѿеатръ сонмъ мстителей и самозванцевъ истребленіемъ древняго племени Царскаго?“ Таковъ выводъ историка въ концѣ 2-ой главы XI-го тома. Этотъ выводъ со всѣми подробностями былъ принятъ Пушкинымъ для его „Драматической повѣсти („Начинаемъ повѣсть, говоритъ Карамзинъ о Самозванцѣ, равно истинную и неимовѣрную“, изд. 1843 г. III кн., XI т., 73 стр.), комедіи, о настоящей бѣдѣ Москов. госуд. О царь Борисъ и о Гришкѣ Отрецьевѣ“, напечатанной, подъ простымъ заглавіемъ: „Борисъ Годуновъ“ 1825 г. Окончивъ драму, Пушкинъ хотѣлъ посвятить ее Жуковскому, которому писалъ: „отче, въ руцѣ твои предаю духъ мой!.. трагедія моя идетъ, и думаю къ зимѣ (отъ 17 августа 1825 г.) ее кончить, вслѣдствіе чего читаю только Карамзина да лѣтописи. Что за чудо эти два послѣдніе тома Карамзина! Какая жизнь!“ И Пушкинъ, по смерти историка, выпустилъ „Бориса Годунова“ съ посвященіемъ: „Драгоценной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ генiemъ его вдохновенный съ благоговѣніемъ и благодарностью посвящаетъ Александръ Пушкинъ“. Мы бы могли указать отступленія отъ Исторіи Карамзина, прошедшія, по всей вѣроятности, отъ того, что Пушкинъ держалъ въ памяти столь рѣзко очерченные историкомъ ха-

рактеры лицъ, названія ихъ, которыми поэтъ распоряжался иногда произвольно (напримѣръ, лѣтописецъ Пименъ—вѣроятно то же лицо, что у Карамзина спутникъ Григорія къ Луевымъ горамъ, иночъ Днѣпрова монастыря, Пиментъ, XI т., 75 стр., изд. Эйнерлинга), какъ и годами (по словамъ Пимена, у Пушкина, убіенный царевичъ былъ 7 или 12 лѣтъ, а по Карамзину 9). Но чаще повторяются у Пушкина самыя выраженія изъ Исторіи Карамзина: „ударили въ набать, бѣгутъ, царица мать въ безпамятствѣ, безбожную предателницу—мамку“ (см. X т., 78 стр.); или „ахъ, онъ сосудъ дьявольскій, этака ересь“ (XI т., 74), и друг.

Исторія Карамзина дѣйствительно и до сихъ поръ даетъ много подробностей, такъ какъ историкъ, пользуясь массой источниковъ и пособій, не упускаль ни общаго хода событий, ни частностей. Поэтому Пушкинъ и могъ сказать, что „Карамзину (онъ) слѣдоваль въ свѣтломъ развитіи происшествій“. Примѣчанія Карамзина возбуждали любопытство Пушкина для самостоятельныхъ изученій лѣтописей, записокъ иностранцевъ: „въ лѣтописяхъ старался, говоритъ Пушкинъ, угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени“. Мало того, Пушкинъ обращался и къ древнерусской литературѣ и народной словесности (въ Михайловскомъ опь записывалъ народныя пѣсни и сказки): „Одна просьба, моя прелестъ! пишетъ поэтъ Жуковскому въ августѣ 1825 г., нельзя ли мнѣ доставить или жизнь Желѣзного Колпака, или житіе какого нибудь юродиваго. Я напрасно искалъ Василія Блаженнаго въ Четыи-Минеяхъ. А мнѣ бы очень нужно“ (VII, 150).

И дѣйствительно, въ содержаніи и въ языкѣ трагедій Пушкина сказывается вліяніе разныхъ источниковъ. Прежде всего со стороны языка мы видимъ нѣсколько образцовъ: царь, патріархъ, игуменъ говорятъ какъ бы слогомъ грамотъ съ церковнославянскими выраженіями. Рассказъ Пимена объ Ioannѣ Гроздномъ, патріарха объ исцѣленіи слѣпого какъ будто навѣяны русскими памятниками письменности XVI вѣка. Но рѣчь бояръ, Самозванца, Марины—обыкновенная литературная рѣчь. Народный элементъ съ пословицами и комическій съ славянизмами вложенъ въ уста бродячихъ иноковъ. Какъ будто Пушкинъ читаль старыя драматическія произведенія XVII вѣка съ ихъ интерлюдіями и фарсами. Кутейкинъ Фоивизина—слабый намѣкъ на рѣчь старцевъ, полную житейской правды,—быть можетъ, подслушанной поэтомъ среди народа. Картина времени дополняется

иностранный рѣчью Маржерета, и друг. Можно сказать, что Пушкинъ впервые открылъ для трагедіи Московскую рѣчь XVI—XVII вв. Скажемъ болѣе, онъ упразднилъ сочинительство историческихъ поэмъ, повѣстей, драмъ въ стилѣ писателей XVIII в. и даже—Карамзина. Мы не видимъ у Пушкина особенностей рѣчи великаго историка, связывающихъ его съ патріотическими драматургами XVIII в. и начала XIX: „Россіяне, оны, сей“, періодической рѣчи съ сказуемыми на концѣ предложеній—даже въ патетическихъ рѣчахъ дѣятелей до-Петровскаго времени. Только иностранцы Пушкина обязаны все-цѣло вліянію Карамзина. Въ его Исторіи до сихъ поръ ничто такъ не поражаетъ, какъ большое вниманіе къ русской политикѣ съ Англіей, Германіей,—что объясняется живыми впечатлѣніями историка-путешественника. Прибавимъ начитанность Карамзина въ иностранныхъ историкахъ (Юмъ и др.), и мы поймемъ искреннее и глубокое благоговѣніе Пушкина къ памяти Карамзина, выразившееся въ посвященіи „Бориса Годунова“. Не забудемъ еще, что, несмотря на складъ общей рѣчи, въ изложеніи Карамзина часто попадаются самыя типичныя выраженія источниковъ. Пушкинъ нашелъ новую мѣру для воспроизведенія старой русской рѣчи, и это не было замѣчено его критиками. Однако, давно уже понравились образы лѣтописца Пимена, царя Бориса, бродягъ—чернецовъ, и проч.

Карамзинъ и Жуковскій освободили Пушкина изъ деревенского заточенія. Поэтъ получилъ доступъ въ столицы и сталъ двигаться съ трудомъ и большими препятствіями по той же дорогѣ, какойшли его покровители: Карамзинъ и Жуковскій. Еще смущаемый прошлымъ (Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ, Въ безумствѣ гибельной свободы, Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ Мои утраченные годы), еще не опредѣлившій своего главнаго влеченія и занятый страстью къ московской красавицѣ Гончаровой, поэтъ совершаєтъ поѣздки по Россіи и на Кавказъ, пока наконецъ не обращается въ женатаго человѣка—придворнаго исторіографа, какъ Жуковскій, шедшій прямой дорогой придворнаго педагога и поэта. Страстный поэтъ пѣлъ теперь какъ соловей надъ розой:

Исполнились мои желанія. Творецъ  
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадонна,  
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ (II, 96).

Первое лѣто своей женатой жизни Пушкинъ провелъ съ Жуковскимъ въ Царскомъ Селѣ. И далѣе поэты продолжали поддерживать самую тѣсную дружбу. Жуковскій, взирая на счастье Пушкина, ожилъ въ своей поэзіи. Вмѣсто занятій педагогіей и переводовъ для немногихъ онъ далъ „Сида“ и цѣлый рядъ переводовъ изъ Шиллера, Уланда, и др. „Сказки“, написанныя Жуковскимъ въ Царскомъ Селѣ, близъ молодыхъ—Пушкиныхъ, отличаются игривостью, естественностью рассказа и художественностью народнаго языка, прелестью описаній:

Подъѣзжаетъ онъ къ озеру; гладко  
Озеро то, какъ стекло; вода наравнѣ съ берегами;  
Все въ окрестности пусто; румянымъ вечернимъ сіяніемъ  
Воды покрытыя гаснутъ, и въ нихъ отразился зеленый  
Берегъ и частый тростникъ—и все какъ будто бы дремлетъ;  
Воздухъ не вѣтъ; тростинка не тронется; шороха въ струйкахъ  
Свѣтлыхъ не слышно.

(Сказка о царѣ Берендеѣ, о сыне его Иванѣ Царевичѣ...).

Жуковскій, какъ никогда, болѣе приблизился въ этихъ сказкахъ къ народной поэзіи, къ народному языку. Пушкинъ превзошелъ Жуковскаго бѣльшою опытностью въ изображеніи дѣйствительныхъ явленій народной жизни. Передъ нами два поэта: одинъ—идеалистъ, почти въ стилѣ народной сказки, развивающейся изъ невѣдомой дали и старины, съ ея небывалыми утѣхами; другой поэтъ—реалистъ, видящій насквозь сословныя отношенія и полный ироніи народнаго же скомороха, пѣвца. До чего могъ доходить Пушкинъ въ изображеніи народныхъ сюжетовъ можно судить изъ піесъ, въ родѣ „Сватъ Иванъ, какъ пить мы станемъ“, „Гусаръ“, „Русалка“, „Пѣсни западныхъ славянъ“.

Жуковскій выступилъ рядомъ съ Пушкинъмъ переводами и замыслами крупныхъ произведеній. Все это отвлекаетъ мало-по-малу Жуковскаго на Западъ въ Европу; между тѣмъ, какъ Пушкинъ, окончивъ Евгенія Онѣгина, отдается занятіямъ русской исторіей и создаетъ „Исторію Пугачевскаго Бунта“ и „Капитанскую дочку“, материалы для времени Петра Великаго и „Полтаву“, „Мѣдный всадникъ“. Побѣда ученика—Пушкина надъ учителемъ Жуковскимъ выражается въ цѣломъ рядѣ „Повѣстей Бѣлкина“, которыми Пушкинъ

создаетъ новый русскій романъ. Какой шагъ послѣ „Бѣдной Лизы“ Карамзина, или „Марьиной рощи“ Жуковскаго!

Жуковскій для Пушкина продолжалъ быть идеаломъ въ жизни: ихъ соединили узы помощи молодымъ и несчастнымъ литераторамъ. Гоголь, Кольцовъ, Баратынскій были пригрѣты вниманьемъ и любовью великихъ поэтовъ. Рано Пушкинъ сталъ задумываться о преемникахъ въ области литературы:

Здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! Не я  
Увижу твой могучій поздній возрастъ,  
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ  
И старую главу ихъ заслонишь.

Карамзина уже не было; Батюшковъ и Гнѣдичъ не существовали; Крыловъ и Жуковскій жили прежней славой, и Пушкинъ чувствовалъ по временамъ одиночество. Такова лицейская годовщина 1836 г.

Пушкинъ искалъ работы и нашелъ ее въ изданіи „Современника, литературного журнала въ Петербургѣ 1836 г.“. Въ четырехъ книжкахъ, вышедшихъ при жизни поэта, появились его капитальные произведенія, какъ „Капитанская дочка“, „Пиръ Петра Великаго“, „Скупой рыцарь“. Жуковскій, Гоголь, Кольцовъ, кн. Вяземскій, Тютчевъ явились сотрудниками Пушкина.

Посвящая слѣдующую главу разбору произведеній Пушкина, мы заключимъ обзоръ предшественниковъ его стихами, принадлежащими Жуковскому, свидѣтелю послѣднихъ мучительныхъ дней и смерти поэта:

Онъ лежалъ безъ движенья, какъ будто по тяжкой работе  
Руки свои опустивъ; голову тихо склоня.  
Долго стояль я надъ нимъ, одинъ, смотря со вниманьемъ  
Мертвому прямо въ глаза; были закрыты глаза,  
Было лицо его мнѣ такъ знакомо, и было замѣтно,  
Что выражалось на немъ, въ жизни такого  
Мы не видали на этомъ лицѣ. Не горѣлъ вдохновенія  
Пламень на немъ; не сіаль острый умъ;  
Нѣть! но какою то мыслью, глубокой, высокою мыслью  
Было объято оно: мнілся мнѣ, что ему  
Въ этотъ мигъ предстояло какъ будто какое видѣніе,  
Что то сбывалось надъ нимъ; и спросить мнѣ хотѣлось: что видишъ?

(Стихотворенія Жуковскаго 1895 г., III, 135).

## II.

Нашъ очеркъ былъ бы не полонъ, если бы мы не коснулись хотя нѣкоторыхъ выдающихся произведеній А. С. Пушкина, чтобы опредѣлить его значеніе въ исторіи русской литературы, его развитіе въ занимающей насъ области національныхъ сюжетовъ, народнаго быта и народной исторіи. Мы не будемъ возвращаться къ произведеніямъ, разсмотрѣннымъ болѣе или менѣе полно въ предшествующей главѣ, и остановимся только на нѣсколькихъ группахъ русскихъ поэмъ, повѣстей, лирическихъ произведеній Пушкина.

Пушкинъ явился въ русской литературѣ, какъ новый поэтъ,—пѣвцомъ „Руслана и Людмилы“ 1820 г. Мы знаемъ тѣсную связь этой поэмы съ прошлой русской литературой: съ ея ложноклассическими образцами (поэтъ хорошо зналъ и европейскіе выдающіеся образцы), съ ея историческими и народными изученіями. Поэтъ не могъ еще внести въ это юношеское произведеніе большаго вниманія къ лѣтописямъ, къ былинамъ, къ средневѣковымъ народнымъ поэмамъ. Но новые приемы Жуковскаго, совѣты и труды Карамзина, свѣтлый взглядъ на прошлое древней Руси, свѣжесть и простота юношескихъ порывовъ молодого автора, вложенные въ витязей Руси Владимира стольно-кіевскаго, положили прочныя основы для дальнѣйшаго литературнаго развитія поэта. Историческіе сюжеты „Полтавы“, „Бориса Годунова“, не говоря ужѣ о времени Петра Великаго и Екатерины II, развиты Пушкинъ основательнѣе, естественнѣе, но здѣсь подъ рукой поэта были опредѣленныя осознательныя пособія, легкая выработанная манера изложенія. Однако, „Полтавой“ поэтъ не былъ доволенъ. Отсюда множество мелкихъ и крупныхъ произведеній, вращающихся около личности Петра Великаго. Пушкинъ не возвращался ко временамъ Владимира кіевскаго и уходилъ въ современность и ближайшія эпохи. Чтобы разгадать такую отдаленную старину, необходимо было понять возврѣнія народа съ языческой эпохи, возврѣнія христіанъ русскихъ отдаленнѣйшаго времени. И вотъ поэтъ беретъ языческаго князя Олега, какъ представителя—болѣе очерченного, болѣе выступающаго изъ глубины русской древности—героемъ своихъ балладъ: „Нѣснъ о Вѣщемъ Олегѣ“, „Олеговъ щитъ“. Онъ пытается вмѣстѣ съ „Олегомъ“ создать поэму и драму изъ времени Владимира кіевскаго, или Великаго Новгорода временъ Рюрика и Гостомысла.

То, что дошло до насъ, въ видѣ программъ и отрывковъ (II, 314—321), до сихъ поръ остается недостижимымъ для художественного воспроизведенія. Поэтъ доходилъ уже до древнѣйшихъ представленій язычниковъ варяговъ и славянъ, съ ихъ морской жизнью, употребленіемъ времней, съ обстановкой,—какъ будто взятой изъ Калевалы. Пушкинъ начертывалъ бытовыя картины обрядовъ трины, свадебнаго пира (прекрасно развитаго въ „Русалкѣ“). Какой неисчерпаемый талантъ и какъ неправы тѣ сужденія объ упадкѣ его таланта въ 30-хъ годахъ, какія раздавались изъ устъ современниковъ и даже послѣдующихъ биографовъ поэта! Пѣснь о Полку Игоревѣ служила предметомъ изученія Пушкина; но полемика Каченовскаго, скептиковъ отталкивала и запутывала вопросы русской древности. Русскому Вальтеру-Скотту не было возможности опереться на симпатіи къ какому либо прошлому: въ волнующихъ, безграничныхъ рамкахъ русской исторіи съ ея бьющими въ глаза несчастіями и удачами—болѣе военнаго, чѣмъ гражданскаго преуспѣянія, болѣе духовнаго, чѣмъ житейскаго культурнаго развитія,—трудно было выбрать предметъ для воспроизведенія всѣмъ одинаково дорогой, всѣмъ равно сродный. Оттого „Борисъ Годуновъ“, какъ и „Полтава“, отчасти не были поняты, отчасти не удались.

Мы говорили о „Борисѣ Годуновѣ“ и должны хотя нѣсколько словъ посвятить „Полтавѣ“ 1828 г. Поэма была написана быстро, въ двѣ октябрскія недѣли, подъ впечатлѣніемъ нѣсколькихъ строкъ „Войнаровскаго“, но она была выношена поэтомъ изъ чтенія Байрона на югѣ, изъ пребыванія въ Бендерахъ, гдѣ поэтъ еще въ 1824 г. отыскивалъ могилу Мазепы, изъ воспоминаній о Кіевѣ. Быстро написанная поэма вылилась изъ подъ пера Пушкина безъ подробностей быта, нравовъ,—болѣе, какъ историческая картина и драматическая хроника, однако, вѣрная по изображенію природы и человѣческаго сердца. Въ ней нѣтъ тѣхъ матеріаловъ, которые послужили Гоголю для созданія „Тараса Бульбы“. „Полтава“ написана такъ же сильно, какъ небольшія піесы Пушкина, относящіяся къ личности Петра Великаго, какъ поэмы Кавказа и Крыма, съ которыми „Полтава“ стоитъ въ болѣшей связи, чѣмъ съ „Цыганами“. Мы понимаемъ теперь, почему поэтъ могъ написать Полтаву въ двѣ недѣли. Въ Мазепѣ онъ увидалъ такое же замѣчательное лицо эпохи Петра Великаго, какія онъ выносилъ, создавая „Бориса Годунова“. Малороссія „смутной поры“ представляла такие же характеры, какъ

время Годунова и Самозванца. Несчастная семья Кочубея, сдѣлавшагося страдальцемъ изъ мести, коварство честолюбиваго гетмана-измѣнника, движеніе Карла XII—всѣ эти „насилія, бѣдствія, побѣды“, оставившия кровавый слѣдъ, отвѣчали исчезнувшему времени Годунова и Лжедмитрія. Не въ нихъ, а „въ гражданствѣ Сѣверной державы“ поэтъ видѣлъ свой идеалъ, и естественно съ простотой народнаго поэта воспѣлъ побѣду Петра Великаго. Эти народныя черты отражаются въ повтореніяхъ о красотѣ украинской ночи, въ сравненіяхъ битвы съ пахаремъ, войны съ грозой, отражающейся въ очахъ Петра. Мысль поэта объ отношеніи этихъ событий какъ будто сказывается въ соответствіи заключенія поэмы о Малороссіи 1828 года (Прошло сто лѣтъ—и что жъ осталось) и вступленіемъ въ „петербургской повѣсти—Мѣдный Всадникъ“ 1833 г.

(Прошло сто лѣтъ—и юный градъ.  
Полнощныхъ странъ краса и диво,  
Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блать.  
Вознесся пышно, горделиво).

Мѣстныя черты „Полтавы“, какъ въ „Гусарѣ“ 1833 г. (въ котормъ даже рѣчъ народа вошла въ произведение русскаго поэта: „эге! галушки, хлопецъ, дурень, чернобривой“), выступаютъ не рѣзко, но все-таки не въ такихъ неопределѣленныхъ чертахъ, какъ въ „Русланѣ и Людмилѣ“<sup>1)</sup>, чудесный „Прологъ“ къ которому Пушкинъ написалъ въ 1828 г., и въ которомъ только и отмѣчены: „туманы надъ Днѣпромъ глубокимъ“ и „предъ нимъ уже днѣпровски волны въ знакомыхъ пажитахъ шумятъ; ужъ видить златоверхій градъ“. Въ „Полтавѣ“ почти все проникнуто мѣстными красками: кіевскія высоты, сады съ тополями, замки, хутора, синій Днѣпръ, панъ гетманъ, сердюки, долгогривые кони, погони, грабежи и кровавыя сцены и рядомъ „моленые ликовъ громогласныхъ за упокой души несчастныхъ“. Въ 1835 г. Пушкинъ развила „Пиръ Петра Великаго“, начертанный въ „Полтавѣ“. въ другую картину:

<sup>1)</sup> Вотъ общія черты первой поэмы Пушкина съ „Полтавой“: „На встрѣчу утреннимъ лучамъ“ (II, 233); „То былъ Русланъ. Какъ Божій громъ“ (272); ср. описание битвы кіевлянъ съ нечевѣгами (271). Связь „Руслана и Людмилы“ съ лѣтописями отмѣчена авторомъ: „Монахъ, который сохранилъ потомству вѣрное преданье о славномъ витязѣ моемъ“ (II, 256).

Побѣженъ ли шведъ суровый?  
 Мира ль просить грозный врагъ?  
 Годовщину ли Полтавы  
 Торжествуетъ государь—  
 День, какъ жизнь своей державы  
 Спасъ отъ Карла русскій царь?  
 Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится;  
 ...И раздался въ честь науки  
 Пѣсенъ хоръ и пушекъ громъ...  
 И прощенье торжествуетъ,  
 Какъ побѣду надъ врагомъ (II, 178—179).

Итакъ, Петръ Великій и Полтавскій бой заслонили отъ Пушкина подробности внутренней жизни старой Малороссіи XVII—XVIII вѣковъ. Поэтому въ ней нѣть той глубины бытового содержанія, какъ въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“ и въ „Цыганахъ“: отсутствуютъ народныя пѣсни (ср. татарскую пѣсню, молдавскую, сколько въ нихъ правды, и какъ безцвѣтны слова о слѣпомъ украинскомъ пѣвцѣ съ пѣснями о грѣшной дѣвѣ, или имена стараго Дорошенки, молодого Самойловича), школьніе типы, хотя въ обрисовкѣ козачества много жизни и движения.

Отъ историческихъ поэмъ обратимся къ поэмѣ-роману Пушкина, занимавшему его въ теченіе двадцатыхъ годовъ, произведенію,—выдающемся и изъ твореній Пушкина, и изъ произведеній русской литературы. Въ „Евгениѣ Онѣгинѣ“ Пушкинъ нашелъ прочную почву для своего творчества. Для современниковъ это было цѣлое открытие: недоступный кругъ великосвѣтской жизни и типовъ открывался для читателей другихъ классовъ общества; разочарованнымъ передовымъ людямъ или самодовольнымъ представителямъ высшаго общества указывались ихъ болыня мѣста. Поэтъ открывалъ множество бытовыхъ и историческихъ картинъ и образовъ въ русской жизни: деревня и Москва, Петербургскій свѣтъ и русскіе геттингенцы, москвики въ гарольдовомъ плащѣ, беспечная жизнь съ удовольствіями изо дня въ день и кровавыя драмы съ дуэлями, тяжелыя драмы въ жизни безупречной русской женщины большого свѣта, отсутствіе примиряющей среды въ общихъ радостяхъ или въ общемъ горѣ. Здѣсь нѣть мѣста задушевнымъ лицейскимъ годовщинамъ, которыя бы соединяли питомцевъ стараго Московскаго Университета, не говоря о только что

возникшихъ высшихъ заведеніяхъ при Александрѣ I; здѣсь нѣть рѣчи объ интересахъ дворянства, надъ которыми задумывался поэтъ въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, въ „Родословной“. Поэтъ успокаивается на общихъ красивыхъ картинахъ города, веселья крестьянскихъ простыхъ дѣтей на зимнихъ каткахъ—дорогахъ, веселья деревенскихъ святокъ, на отношеніяхъ деревенской барышни и няни. Здѣсь самая обыкновенная жизнь русского дворянского семейства въ разныхъ его типахъ, доступного, не горда го,—можетъ быть, оттого, что мы не видимъ въ романѣ отношеній къ другимъ классамъ. Это дѣйствительно преданія русского семейства: всѣ дѣйствующія лица связаны только личными отношеніями. И эти личные отношенія какъ будто стоять въ разрѣзѣ съ мечтаніями молодыхъ героевъ: о легкомъ оброкѣ, о музыѣ, о свободной любви. Поэтъ стоитъ выше и старой и новой Россіи въ ея представителяхъ. Это первыя серіозныя думы Пушкина о русскомъ обществѣ. Онъ вводить въ романъ и свои личные впечатленія, раздумья, увлеченія. Его герои—живые лица современности: для нихъ время Наполеона уже прошлое. Онѣгинъ вступаетъ въ жизнь, когда уже умолкли военные бури. Альбомъ Онѣгина, сохранившійся въ черновыхъ бумагахъ поэта, отразившійся въ его жизни, современенъ созданію самого романа, 1822—1831 гг. И въ немъ, дѣйствительно, отразились черты того времени, хотя бы въ слѣдующихъ замѣткахъ поэта:

I глава: А Петербургъ неугомонный  
Ужъ барабаномъ пробужденъ.

II глава: Отецъ ея былъ добрый малый,  
Въ прошедшемъ вѣкѣ запоздалый...  
Какъ часто въ дѣствѣ я игралъ  
Его очаковской медалью.

III глава: Я знаю: дамъ хотять заставить  
Читать по-русски. Право, страхъ!  
Могу ли ихъ себѣ представить  
Съ „Благонамѣреннымъ“ въ рукахъ.

IV глава: Въ избушкѣ распѣвала дѣва  
Прядеть и, зимнихъ другъ ночей,  
Трещитъ лулина передъ ней.

V глава: Татьяна вѣрила преданьямъ  
 Простонародной старины,  
 И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,  
 И предсказаниемъ луны...

По старинѣ торжествовали  
 Въ ихъ домѣ эти вечера.

И вынулось колечко ей  
 Подъ пѣсенку старинныхъ дней...

Татьяна, по совѣту няни,  
 Сбираясь ночью ворожить,  
 Тихонько приказала въ банѣ  
 На два прибора столъ накрыть;  
 Но стало страшно вдругъ Татьянѣ...  
 И я—при мысли о Свѣтланѣ  
 Мне стало страшно.

VI глава: Быть можетъ, онъ для блага міра,  
 Иль хоть для славы былъ рожденъ;  
 Его умолкнувшая лира  
 Гремучій, непрерывный звонъ  
 Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,  
 Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта  
 Ждала высокая ступень.

VII глава: „Вотъ это барскій кабинетъ:  
 „Здѣсь почивалъ онъ, кофей кушаль  
 „Прикашка доклады слушалъ,  
 „И книжку поутру читаль...

И лорда Байрона портретъ,  
 И столбикъ съ куклою чугунной  
 Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,  
 Съ руками сжатыми крестомъ...

„И старый баринъ здѣсь живаль.  
 „Со мной, бывало, въ воскресенье,

„Здѣсь подъ окномъ, надѣвъ очки,  
 „Играть изволилъ въ дураки.  
 „Дай Богъ душѣ его спасеніе,  
 „А косточкамъ его покой  
 „Въ могилѣ, въ мать-землѣ сырой!“

У Харитонья въ переулкѣ  
 Возокъ предъ домомъ у воротъ  
 Остановился. Къ старой теткѣ,  
 Четвертый годъ больной въ чахоткѣ,  
 Они прѣѣхали теперь.  
 Имъ настежь отворяется дверь  
 Въ очкахъ, въ изорвѣномъ кафтанѣ,  
 Съ чулкомъ въ рукѣ, сѣдой калмыкъ.

Архивны юноши толпою  
 На Таню чопорно глядятъ...  
 Къ ней какъ то Вяземскій подсѣль  
 И душу ей занять успѣль.

VIII глава. Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,  
 Космонопитомъ, патріотомъ,  
 Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,  
 Иль маской щегольнетъ иной?  
 Иль просто будеть добрый малый...

Сталъ вновь читать онъ безъ разбора:  
 Прочелъ онъ Гиббона, Руссо,  
 Манзони, Гердера, Шамфора,  
 Madame de Stael, Биша, Тиссо,  
 Прочелъ скептическаго Беля,  
 Прочелъ творенія Фонтенеля,  
 Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,  
 Не отвергая ничего:  
 И альманахи, и журналы,  
 Гдѣ поучены намъ твердять.

Въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ отразился и путь развитія самого поэта, выраженный имъ въ извѣстномъ поэтическомъ противоположеніи

„тревогъ прошлыхъ лѣтъ“ съ безыменными страданіями, съ высоко-парными мечтами—инымъ роднымъ картинамъ (III, 408—409). Какъ хороши эти отрывки „изъ путешествія Онѣгина“, не вошедши въ великолѣпное художественное цѣлое романа. Если не сжимать содержанія его въ голую фабулу, въ оцѣнку дѣйствій героевъ,—если читать его, вникая въ каждую картину, въ каждое выраженіе, то невольно поражаешься вновь открываемыми красотами „Евгения Онѣгина“: скатой живописью природы, движений чувства въ молодыхъ герояхъ (особенно Татьяны), деревенской тишины и оживленного шума гостей—разнообразныхъ, типичныхъ. Уже по „Евгению Онѣгину“ можно судить о силѣ таланта Пушкина: ему были равно доступны въ высшей степени и описанія, и выраженія чувствъ, и драматическая изображенія: трагическія и комическія (до насы дошли случайные наброски комедіи). Мы приведемъ нѣсколько картинъ природы безподобныхъ и въ отдѣльности и еще болѣе—въ гармоніи съ настроеніями героевъ романа:

Но вотъ ужъ лунного луча  
Сіянье гаснетъ. Тамъ долина  
Сквозь паръ яснѣеть. Тамъ потокъ  
Засеребрился; тамъ рожокъ  
Пастушій будить селянина.  
Вотъ утро; встали всѣ давно...

Предъ ними лѣсь; недвижны сосны  
Въ своей нахмуренной красѣ;  
Отягчены ихъ вѣтви всѣ  
Клоками снѣга; сквозь вершины  
Осинъ, березъ и липъ нагихъ  
Сіяеть лучъ свѣтиль ночныхъ;  
Дороги нѣть; кусты, стремнины  
Метелью всѣ занесены,  
Глубоко въ снѣгѣ погружены...

Былъ вечеръ. Небо меркло. Воды  
Струились тихо. Жукъ жужжалъ.  
Ужъ расходились хороводы.  
Ужъ за рѣкой, дымясь, пылаль

Огонь рыбачий. Въ полѣ чистомъ,  
 Луны при свѣтѣ серебристомъ,  
 Въ свои мечты погружена,  
 Татьяна долго шла одна;  
 Шла, шла... И вдругъ передъ собою  
 Съ холма господскій видѣть домъ,  
 Селенье, рощу подъ холмомъ  
 И садъ надъ свѣтлою рѣкою.

Эти частности, ихъ поразительная вѣрность (напримѣръ, безподобная пѣсня дѣвушекъ, или изображенія адскихъ привидѣній во снѣ Татьяны), ихъ разнообразіе, отъ столичнаго свѣта до трактира на проселочной дорогѣ, задушевность въ ихъ описаніи, сообщаютъ „роману въ стихахъ“ Пушкина значеніе единственнаго въ исторіи русской литературы произведенія, не превзойденного никѣмъ изъ русскихъ писателей. „Графъ Нулинъ“ 1825 г. и „Домикъ въ Коломнѣ“ 1830 г. писаны одновременно и совершенно въ стилѣ „Евгения Онѣгина“. Поэтъ скромно называетъ „Нулина“ сказкой, какъ Дмитріевъ „вѣрную жену“ въ „Причудницѣ“; а „Домикъ въ Коломнѣ“ и начинаетъ сказочнымъ пріемомъ:

Жила-была вдова,  
 Тому лѣтъ восемь, бѣдная старушка,  
 Съ одною дочерью. У Покрова  
 Стояла ихъ смиренная лачужка  
 За самой будкой.

Извѣстна чудная отдѣлка стиха, языка этого игриваго рассказа съ моралью, въ которомъ однако разсыпано столько глубокихъ определений, выражений, сдѣлавшихся обыденными украшеніями нашей родной рѣчи, какъ изъ стиховъ „Евгения Онѣгина“ и другихъ произведеній величайшаго русскаго поэта, столько же сильнаго въ мелодіи русскаго слова, сколько глубокаго въ размышеніи, въ чувствахъ.

Къ повѣстямъ и романамъ въ стихахъ относится „Петербургская повѣсть—Мѣдный Всадникъ“ 1833 г. Мы говорили уже обѣ историческихъ отношеніяхъ. Добавимъ, что Пушкинъ хотѣлъ не только прославить Петра, выразить свою любовь къ Петрограду; но и затронуть вопросъ о столичномъ гражданинѣ—„героѣ смиренной

повѣсти“, несмотря на свою родословную, которой посвященъ „отрывокъ изъ сатирической поэмы“ 1833 г. Здѣсь мы имѣемъ дѣло опять таки съ художественной работой поэта надъ вопросами, которые не поддавались открытыму решенію и составляли предметъ размышленій, набросанныхъ Пушкинымъ въ черновыхъ замѣткахъ, въ журнальныхъ статьяхъ. Поэтъ не могъ ихъ популяризировать, давать имъ воплощенія, такъ какъ эти вопросы не составляли общихъ убѣжденій, не касались тѣхъ слоевъ, которые были далеки отъ обездоленныхъ, несчастныхъ по личной судьбѣ, какъ герой „Мѣднаго всадника“, лишившійся всего дорогого въ жизни, выброшенный на улицу, обезумѣвшій отъ перенесенныхъ впечатлѣній ужаса, отчаянія и утраты. Только такой „родовъ униженныхъ обломокъ“ могъ почувствовать ужасъ „предъ горделивымъ истуканомъ“ и „злобно угрожать державцу полуміра“. Несчастный послѣ своихъ дерзкихъ словъ уже со страхомъ и сердечнымъ смятеніемъ пробирался сторонкой:

Картузъ изношенный снималь.

Самъ поэтъ, восхищенный памятникомъ, или, какъ будто самъ герой его, раздумывающій въ минуту страшного проясненія мысли, заключаетъ о роковой волѣ Петра В.; и эти мысли все болѣе овладѣвали самимъ Пушкинымъ, при изученіи эпохи и личности Петра I по архивнымъ материаламъ:

Куда ты скачешь, гордый конь,  
И гдѣ опустишь ты копыта?  
О, мощный властелинъ судьбы!  
Не такъ ли ты надъ самой бездной,  
На высотѣ, уздой желѣзной  
Россію вздернулъ на дыбы?

Вотъ образчикъ глубокихъ раздумій поэта надъ судьбами родины, и сколько такихъ историческихъ и современныхъ поэту наблюденій заключается въ его бессмертныхъ твореніяхъ! Ихъ можно судить за неполноту выраженія, за неоконченность отдѣлки, за блѣдность типовъ и событій; но едва ли можно голословно отрицать блестящія замѣткія, отдѣленныя, какъ драгоценные камни, въ оправу родного слова. А эта оправа давно уже признана критиками Пушкина всѣхъ оттѣнковъ—безподобной.

Переходимъ къ прозаическимъ повѣстямъ и романамъ Пушкина. Съ 1830 г. онъ написалъ цѣлый рядъ повѣстей, подъ названіемъ „Повѣсти покойнаго Ивана Петровича Бѣлкина, изданныя А. П.“, „Капитанскую Дочку“ 1833 г. Но еще въ 1827 году Пушкинъ задумалъ написать исторический романъ изъ семейныхъ преданій и временъ Петра В., отъ которого до насъ дошелъ неоконченный отрывокъ, подъ названіемъ „Арапъ Петра Великаго“. Уже здѣсь видна манера поэта входить въ духъ, нравы и даже самыя выраженія времени. Какъ будто авторъ напитался складомъ мысли и выраженій Кантемира, или записокъ времени Петра I. Нѣкоторыя подробности, во вкусѣ безцеремонныхъ выраженій литературы XVII—XVIII вѣковъ, не портятъ впечатлѣнія отъ правдиваго во всѣхъ отношеніяхъ разсказа Пушкина о необыкновенной любви арапа, опять-таки во вкусѣ романовъ съ приключеніями XVII—XVIII вв. Общій колоритъ однако слаженъ симпатіями поэта: къ занятіямъ науками, къ исторіи Петербурга и къ сердцу человѣческому, которому поэтъ довѣрялъ на всѣхъ ступеняхъ человѣческой культуры, не отказывая въ добрыхъ движеніяхъ ни людямъ прошлыхъ вѣковъ, ни дикимъ инородцамъ.

Кто-то выразился, что въ произведеніяхъ Пушкина заключается какъ бы энциклопедія русской жизни. „Повѣсти Бѣлкина“ служатъ именно подтвержденіемъ этого необыкновенно широкаго утвержденія расположенного къ Пушкину критика. И это вѣрно даже въ отношеніи къ современной Пушкину эпохѣ. „Евгений Онѣгинъ“, „Графъ Нулинъ“, „Пиковая Дама“ изображаютъ высшее свѣтское общество. Сказки о рыбакѣ и рыбкѣ, о Балдѣ, баллады—Утопленникъ, Зимняя дорога, Гусарь, Женихъ, Сватъ Иванъ, не говоря о частныхъ упоминаніяхъ въ большихъ произведеніяхъ (няня, дѣвушки въ „Евгениѣ Онѣгинѣ“, мельникъ и дочь въ „Русалкѣ“ и др.) касаются простого народа, его вѣрованій, быта и отношенія къ другимъ классамъ „Домикъ въ Коломенѣ“, „Мѣдный Всадникъ“ и особенно „Повѣсти Бѣлкина“ набрасываютъ цѣлый рядъ тѣхъ картинъ изъ жизни средняго класса людей—мелкихъ купцовъ, дворянъ, чиновниковъ, горожанъ, которыхъ съ отрицательной стороны вывелъ Гоголь. Пушкинъ, ограничивавшій сатиру трезвымъ взглядомъ на положительныя стороны дѣйствительности, соединенный чаще всего съ беспокойствомъ совѣсти, съ тревогами сердца, даже съ трагизмомъ, сдержанно, какъ будто сухо, въ небольшихъ рассказахъ умѣль дать много опыта новой русской повѣсти изъ жизни этихъ людей. Это какъ будто исповѣди

чиновниковъ, военныхъ, прикащиковъ, дѣвицъ, собранныя и изложенные добродушнымъ „покойнымъ И. П. Бѣлкинымъ“, молодымъ дворяниномъ способнымъ, по незначительности образованія, при добромъ сердцѣ и неопытности въ хозяйственныхъ дѣлахъ, излагать „исторіи“. Какая противоположность съ авторомъ почти во всѣхъ типахъ, выведенныхъ имъ! Передъ нами проходятъ: дуэлистъ Сильвіо, кончающей жизнью въ рядахъ этеристовъ, богатый гусаръ Минскій, утащившій красавицу простушку—дочь станціоннаго смотрителя, барышня, пострадавшая отъ романической свадьбы убѣгомъ въ метель, эксцентричная барышня Лиза Муромская. Все это соединено съ тяжелымъ горемъ, съ страданіями, пережитыми героями, затянутыми въ жизнь привязанностей и страстей. Впрочемъ, для большинства героевъ Пушкина все кончается счастливо: минутныя горести, вспышки превращаются въ удачу, въ счастливый исходъ. Передъ нами развивается какъ будто болѣзнь любовной страсти. Однако, отецъ счастливой Дуняши—простой станціонный смотритель—дѣляется жертвой своей единственной горячей привязанности къ дочери, покинувшей случайно отца. И въ повѣстяхъ Бѣлкина, какъ мы уже мелькомъ замѣтили, Пушкинъ не забылъ своихъ предшественниковъ, отмѣчая свое отношеніе къ нимъ выборомъ эпиграфовъ, ссылками на ихъ сочиненія (напр. на „Наталью боярскую дочь“ Карамзина): „Метель“ связана и содержаніемъ съ „Свѣтланой“ Жуковскаго, „Гробовщикъ“—съ одами Державина на смерть знакомыхъ и знатныхъ. Въ послѣднемъ разсказѣ Пушкинъ имѣеть виду уже „нынѣшнихъ романистовъ“, между прочимъ Погорѣльскаго, который въ своей повѣсти „Почтальонъ“ ввелъ элементъ фантастичности. У Пушкина въ „Гробовщикѣ“ фантастика является во снѣ, какъ и въ „Евгениѣ Онѣгина“ (сонъ Татьяны). Если въ Нарѣжномъ и въ Погорѣльскомъ признаютъ предшественниковъ Гоголя, то Пушкинъ едва ли не учитель великаго романиста, имя котораго едва ли можно раздѣлять отъ нашего поэта. Скажемъ болѣе, изученіе повѣстей Пушкина должно лежать въ основѣ изученія цѣлой школы великихъ романистовъ недавняго времени,—что было и заявлено отошедшими уже романистами, Тургеневымъ и Гончаровымъ. Но мы не останавливаемся здѣсь на значеніи Пушкина, какъ „учителя“.

Въ чёмъ же талантъ Пушкина повѣствователя, романиста? Передъ нами небольшія піесы, такъ же отдѣленныя, какъ стихотворныя баллады, поэмы. Но стиль ихъ, стиль „смиренной прозы“—ровный,

точный, дѣловой. Предметы и природа описываются съ болѣй точностью, чѣмъ въ стихахъ: эпитеты естественны, наблюдательности предоставлено свободное поле. Разговоры дѣйствующихъ лицъ и письма вполнѣ передаютъ, какъ особенности рѣчи горожанъ, такъ и сельчанъ,— „крестьянское нарѣчіе“ (IV, 79 и 82). Рассказъ ведется то отъ лица проѣзжаго, то съ личными замѣтками (о деревенской сквеѣ IV, 41; о поѣздкѣ изъ Москвы въ Петербургъ въ 1810 г. и въ Псковскую губернію 1816 г. IV, 65), то съ упоминаніями о крупныхъ политическихъ событияхъ въ жизни государства (45, 52, 55). Послѣднія всѣ относятся къ военнымъ событиямъ наполеоновскихъ войнъ и освобожденія Греціи.

„Исторія села Горохина“ относится также къ „Повѣстямъ Бѣлкина“. Въ предисловіи выступаетъ снова старомодный литераторъ, выучившійся писать по Шисьмовнику Курганова, побывавшій въ нѣмецкомъ пансіонѣ, переписывавшій тетради стиховъ, ходившія между полковыми товарищами, читавшій журналы и благоговѣвшій передъ литераторами. Бѣлкинъ пытался изобразить Рюрика героемъ поэмы, трагедіи, баллады и сладилъ только съ надписью къ портрету Рюрика. Переходя въ прозѣ онъ силился переложить анекдоты въ повѣсти и послѣ неудачи остановился на исторіи села Горохина. Такова исторія „Домика въ Коломнѣ“ въ прозѣ—въ приложеніи къ обществу. Къ сожалѣнію до насъ дошелъ отрывокъ, можетъ быть,— нѣчто, въ родѣ программы; если только это не пародія на Русскую Исторію Карамзина, какъ думаютъ нѣкоторые. Однако, позволено указать одну еще черту, нeliшенную интереса для объясненія „Исторіи села Горохина“. Кто знаетъ провинцію и ея интересы старого времени въ кругу грамотнаго и средняго достаточнаго сословія, тотъ знаетъ, конечно, любителей записокъ, замѣтокъ, начиная отъ лѣтописныхъ до „лавочничихъ“, или записей изустныхъ преданій. Если бы этотъ сатирическій опытъ „Исторіи“ былъ продолженъ Пушкинымъ, то онъ представилъ бы живые типы крестьянъ и другихъ обитателей села.

Вопросъ о распространенности русской литературы, о вкусахъ разныхъ классовъ русскихъ читателей занималъ Пушкина. Мы видѣли, что онъ былъ не высокаго мнѣнія объ этой начитанности и объ умственныхъ интересахъ русскихъ читателей и читательницъ въ особенности. Въ „Рославлевѣ“ 1831 г., написанномъ отъ лица одной знатной дамы, встрѣчаемся съ цѣлымъ очеркомъ русской литературы,

которую знатныя дамы 1811 г.—т. е. года особенного патріотизма съ „Бесѣдой любителей россійского слова“ Шишкова, совершенно не знали, предпочитая французскую, англійскую и изрѣдка—нѣмецкую. Пушкинъ указываетъ бѣдность русской литературы (нѣсколько отличныхъ поэтовъ и въ прозѣ одна Исторія Карамзина) и зависимость ея отъ иностранной. Но войны Наполеона и особенно отечественная война произвели внутреннее измѣненіе вкусовъ высшаго русскаго общества: успѣхъ Исторіи Карамзина былъ подготовленъ. И это измѣненіе, въ лицѣ княжны Полины—съ характеромъ, рисуетъ Пушкинъ: изъ космополитки явилась патріотка. Опять маленькая картинка—предшественница „Войны и Мира“ Л. Н. Толстого.

По всей вѣроятности, работы надъ Исторіей Пугачевскаго бунта, Капитанской Дочкой и надъ „Дубровскимъ“ 1832 г. совершились Пушкинъмъ въ одно время. „Дубровскій“ является вполнѣ законченнымъ произведеніемъ, хотя великий художникъ не успѣлъ отдать его для печати,—что видно изъ письма Пушкина 1832 г.: „честь имѣю объявить, что первый томъ Островскаго конченъ, и на дняхъ присланъ будетъ въ Москву на твое разсмотрѣніе;.. я написалъ его въ двѣ недѣли, но остановился по причинѣ жестокаго ревматизма, отъ которого прострадалъ другія двѣ недѣли, такъ что не брался за перо и не могъ связать двѣ мысли въ головѣ“ (VII, 311). Связь съ „Капитанской Дочкой“ проявляется въ „Дубровскомъ“, какъ во времени (XVIII вѣкъ), такъ и въ мѣстѣ дѣйствія (Волга и прилегающія губерніи) и въ приключеніяхъ героя (разбойничіи шайки). Герой, въ самомъ дѣлѣ, необычный-романическій герой изображенъ въ старыхъ условіяхъ дворянскаго и народнаго быта XVIII вѣка. Характеры, обстановка, мѣстности изображены живо. Старый Дубровскій и старикъ Троекуровъ истые представители дворянской спѣси,—умѣвшей отстаивать свою честь даже въ бѣдности. Страстные характеры, воспитанные войной и военной службой, суровые и смѣлые, съ привычками къ стариннымъ потѣхамъ (медвѣжьи травли), къ охотѣ, къ обѣдамъ; и рядомъ—новые люди, въ родѣ селадона жениха князя съ его англоманскими затѣями, оживлявшими заморскими потѣхами уединенные глухія помѣстья,—что то въ родѣ египетскихъ пирамидъ для крѣпостныхъ, работавшихъ въ этихъ подражаніяхъ европейскимъ замкамъ. Ненормальная явленія этой жизни создавали и такую молодежь, какъ „славный разбойникъ“ Дубровскій изъ гвардейскихъ офицеровъ и цѣлое село воровскихъ людей. Геронія—опять русская

образованная барышня съ характеромъ Татьяны. Живопись мѣстностей отличается общими свойствами Пушкинской манеры: „князь подвель гостей къ окну и имъ открылся прелестный видъ. Волга протекала передъ окнами; по ней шли нагруженныи барки подънатанутыми парусами и мелькали рыбачи лодки, столь выразительно прозванныя душегубками. За рѣкою тянулись холмы и поля; нѣсколько деревень оживляли окрестность“ (IV, 165). Мы не знаемъ повтореній у русскихъ романистовъ такихъ, напримѣръ, картинъ, какъ слѣдующія: „луна сияла; сельская ночь была тиха; изрѣдка подымался вѣтерокъ, и легкій шорохъ пробѣгалъ по всему саду“ (167). Это пріемъ поэта „Полтавы“, „Евгения Онѣгина“, поэта, который обладалъ могучимъ, всестороннимъ, поразительнымъ талантомъ.

Еще скажемъ о „Русалкѣ“ 1832 г., но только, какъ о произведении, завершающемъ опыты Пушкина въ воспроизведеніи народнаго быта, народной исторіи. Мелкія черты связываютъ это глубоко-продуманное произведение Пушкина съ повѣстью Карамзина „Наталья боярская дочь“, напримѣръ, въ первой сценѣ дочь мельника собирается идти за княземъ на войну, „переодѣвшись мальчикомъ“ (III, 461). Сцены „Русалки“ не носятъ опредѣленныхъ чертъ мѣстности и времени, хотя и связаны съ берегами Днѣпра (можетъ быть, съвернаго, ближе къ великорусскому населенію) и съ русской княжеской стариной средняго периода (московскаго, литовскаго). Но сколько въ нихъ бытовой и исторической правды, начиная съ языка,— съ примѣтами книжной рѣчи (актовой, лѣтописной) и еще болѣе— народной пѣсенной. Вообще пріемы изложенія напоминаютъ перо автора „Бориса Годунова“, „Жениха“, и извѣстнаго ряда бытовыхъ картинъ изъ русского народнаго быта и исторіи. Характеры лицъ очерчены необыкновенно выразительно: энергичныя выраженія простонародной красавицы, особенно въ минуты страсти и ревности, исполнены такой же силы, какъ и нѣжныя выраженія ея о самопожертвованіи и любви; мельникъ и князь одинаково прозаичны, практически и гибнутъ отъ нарушенія ихъ безсердечныхъ обыденныхъ разсчетовъ. Сцены свадьбы и видѣній русалокъ не воспроизведены еще никѣмъ въ нашей словесности въ такой мѣрѣ глубокаго проникновенія въ народную душу, если не считать извѣстныхъ описательныхъ сценъ народныхъ обрядовъ и повѣрій въ драмахъ и повѣстяхъ художниковъ—этнографовъ. Вообще говоря, „Русалка“ Пушкина—это безподобный образецъ художественного изложенія народной исторіи

и быта. Только другой славянскій поэтъ умѣлъ такъ же рисовать народныя повѣрья, народную жизнь, какъ Пушкинъ,—и это, не называя его имени, былъ современникъ и другъ (одно время) Пушкина. Оставляя въ сторонѣ разницу въ ихъ настроеніяхъ, нельзя не видѣть одинаковыхъ стремленій найти правду, красоту и миръ въ отношеніяхъ прошлаго и настоящаго, высокаго по положенію и низкаго въ жизни родственныхъ племенъ. Въ концѣ концовъ, отбрасывая тяжелыя материальныя давленія (насущныхъ ежедневныхъ потребностей, роскоши, боязни за средства, и проч.), поэты сливались въ возвышенныхъ мечтахъ о временахъ грядущихъ, когда народы, распри позабывъ, въ единую семью соединятся. Мечтательныя видѣнія, хотя бы въ рамкахъ народныхъ сувѣрій, какъ будто роднятъ народности. Это романтика, соединенная съ приемами Шекспировскаго творчества. Вотъ достоинства этого неоконченного произведения Пушкина, глубокаго значенія котораго въ послѣдующей русской литературѣ мы не будемъ здѣсь касаться. Не останавливаясь на всѣхъ народныхъ особенностяхъ „Русалки“, мы не можемъ не привести нѣсколькихъ примѣровъ изъ рѣчей дочери мельника, которая очерчиваютъ красавицу старой Руси XVI—XVII вѣковъ: „или онъ звѣрь ... или его отравой отравили; пускай же бѣ онъ съ досады отрубилъ мнѣ руки по локоть; пускай бы тутъ же онъ растопталъ меня своимъ конемъ! отстань отъ насъ! ты видишь: двѣ волчихи не водятся въ одномъ оврагѣ ... выкупить себя онъ думалъ! онъ мнѣ хотѣлъ языки засеребрить, чтобы не прошла о немъ худая слава и не дошла до молодой жены!.. змѣю онъ меня—не жемчугомъ опуталъ... (рветъ съ себя жемчугъ). Такъ бы я разорвала тебя, змѣю-злодѣйку, проклятую разлучницу мою“! Тутъ нѣтъ ничего неестественного, преувеличеннаго для того, кто знаетъ народныя русскія пѣсни, характеръ русской простонародной женщины, старыхъ дѣла. Поэтъ лирикъ также силенъ и въ изображеніи нѣжныхъ любовныхъ рѣчей между княземъ и его возлюбленной—мельничихой. Но мы не приводимъ этихъ рѣчей. Опускаемъ и обзоръ еще другихъ произведеній Пушкина, которыя заслуживали бы вниманія въ ряду рассматриваемыхъ нами сюжетовъ, относящихся къ русской жизни и исторіи.

Въ 1833 г. Пушкинъ, послѣ поѣздки въ Оренбургъ, черезъ Казань и Пензу, докончилъ „Капитансскую дочку“. Это такое же крупное произведеніе поэта, какъ „Евгений Онѣгинъ“. Въ области исторического русскаго романа „Капитанская дочка“ принадлежитъ одно

изъ выдающихся мѣсть. Уже эпиграфы къ отдельнымъ главамъ (12) романа указываютъ на нѣкоторые источники Пушкина: народныя пѣсни и пѣсни, басни, комедіи, поэмы XVIII вѣка. Прибавимъ нѣкоторое отношеніе героевъ и частностей романа къ роману А. Измайлова „Евгений или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и общества“ 1799—1801 гг. Стиль русской литературы XVIII в. проглядываетъ въ „запискахъ“ Гринева, отъ лица которого ведется разсказъ (его воспитаніе, его приключенія до службы). Этимъ же стилемъ объясняются размышленія автора объ ужасахъ прошлой жизни и ссылки на „старинныхъ романистовъ“. Главное дѣйствіе романа совершается въ 1772—73 гг., и въ главѣ VI-ой Пушкинъ говоритъ о состояніи Оренбургской губерніи, о нравахъ времени: „когда вспомню, что это (судопроизводство съ пыткой) случилось на моемъ вѣку, и что нынѣ дожилъ я до кроткаго царствованія императора Александра, не могу не удивиться быстрымъ успѣхамъ просвѣщенія и распространенію правиль человѣколюбія. Молодой человѣкъ! если записки мои (пишетъ Гриневъ; „семейственные записки“ IV, 242) попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которые происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильтственныхъ потрясеній“ (221). Герой романа сочиняетъ пѣсенку въ подражаніе А. П. Сумарокову. Письма дѣйствующихъ лицъ, ихъ размышленія и разговоры живо переносятъ въ изображаемое время. Типы помѣщиковъ такъ же живы, какъ и типы военныхъ, казаковъ, инородцевъ, крестьянъ. Авторская опытность, изученіе источниковъ Пугачевщины, поѣздка въ Оренбургъ и изученіе мѣстной жизни придаютъ высокое образцовое значеніе „Капитанской дочкѣ“ въ исторіи русской литературы. Такой поэтъ могъ создавать только точныя историческія картины. Изображеніе семействъ Гриневыхъ, Мироновыхъ напоминаетъ пріемы автора „Евгения Онѣгина“; но не повторяются черты; и разница во времени, въ сословныхъ и мѣстныхъ особенностяхъ, въ рѣчи дѣйствующихъ лицъ выступаетъ съ наглядной очевидностью для всякаго читателя. Самая романическая исторія любви Петра Андреевича Гринева и Мары Ивановны Мироновой отличается задушевностью, патріархальной русской скромностью и трогательной искренностью простого, однообразнаго, но дѣятельнаго и героического по необходимости и условіямъ времени быта русскихъ людей средней руки. Въ длинной и разнообразной галлереѣ женскихъ типовъ Пушкина Марья Ивановна занимаетъ видное мѣсто. Это ге-

## А. С. ПУШКИНЪ И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ВЪ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ. 59

роиня несчастной эпохи кровавыхъ ужасовъ, любящее сердце которой изображали и древнерусские памятники литературы (такъ стремится помочь своему плѣнному мужу Ярославна XII в., Евпраксія не переживаетъ убитаго героя въ XIII в.) и народныя былины, въ лицѣ жены заточеннаго Ставра, освобождающей мужа. Миронову можно поставить рядомъ съ образованной, свѣтской Татьяной, съ героической Наташой („Женихъ“), съ Натальей Павловной („Графъ Нулинъ“), и друг.

Изображеніе Пугачевщины, сосредоточенное около слабой Бѣлогорской крѣпости, передаетъ съ достаточной полнотой черты времени: приступъ инородцевъ и козаковъ „съ страшнымъ визгомъ и криками“ (знакомая черта воинственныхъ приемовъ степняковъ по лѣтописямъ) и вылазка солдатъ съ барабаннымъ боемъ, предавшихъ коменданта, встрѣча священникомъ (защитникомъ и укрывателемъ несчастныхъ) побѣдителей съ колокольнымъ звономъ, прощеніе плѣнныхъ и грабежи съ пожарами, убийствами и висѣлицами. Пугачевъ, его окружающіе, привычки русской вольницы и дикіе нравы степняковъ, внутренній мятежъ и воспоминанія о нравахъ украинныхъ людей, разсчитывающихъ на усиѣхъ—все это изображено Пушкинымъ съ чувствомъ мѣры и безъ преувеличенія. Въ Пугачевѣ представлено даже много сдержанности въ отношеніи къ плѣннымъ офицерамъ,—къ Савельичу, забывающему изъ-за мелкихъ интересовъ о собственности (барского добра), о подозрительности и вспыльчивости мятежниковъ. Какъ поразительно правдива калмыцкая сказка, вложенная въ разсказъ мятежнаго Пугачева съ его дикимъ вдохновеніемъ преступника и руководителя народного возбужденія, разгула и удачи поднятаго восстанія. Это сказочная эпопея Разина, предводителей мелкихъ шаекъ, самозванцевъ. Это народная исторія, въ которой многое оправдывается своеобразными легендами, какими-то дикими преданіями и рядомъ поражающими, пассивными, страдальческими periodами текущей жизни. Что касается языка и изложенія романа, то достаточно привести нѣсколько образчиковъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ, чтобы видѣть ихъ соотвѣтствіе съ характерами: „почему, думаешь ты, что жило недалече?—А потому, что вѣтеръ оттолъ потянуль; и я слышу, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко“ (разговариваютъ Гриневъ—офицеръ и козакъ Пугачевъ); „а, смѣю спросить, зачѣмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гарнизонъ? чайтельно, за неприличные гвардіи офицеру поступки?—Полно вратъ пустяки,

сказала ему капитанша, ты видишь молодой человѣкъ съ дороги усталъ; ему не до тебя... держи-ка руки (съ моткомъ нитокъ; держалъ старишокъ офицеръ, подчиненный коменданта) прямѣе; а ты, мой батюшко, не печалься, что тебя упекли въ наше захолустье". „А, слыши ты, Василиса Егоровна, я былъ занятъ службой: солдатушекъ училъ (говорилъ капитанъ).— И, полно! возразила капитанша, только слава, что солдатъ учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не вѣдаешь“. „А слыши ты, Василиса Егоровна правду говорить. Поединки формально запрещены въ воинскомъ артикулѣ... Ахъ, мой батюшко! да развѣ мужъ и жена не единъ духъ (говорила комendantша, принимавшая непосредственное участіе въ наказаніи офицеровъ-дуэлистовъ). Иванъ Кузьмичъ! что ты зѣваешь? Сейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ на хлѣбъ да на воду, чтобы у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ эпитимію, чтобы молили у Бога прощенія, да каялись передъ людьми“. Иванъ Кузьмичъ расходился однако съ энергичной соправительницей въ вопросѣ о пыткѣ: „постой, Иванъ Кузьмичъ, дай, уведу Машу куда-нибудь изъ дома... да и я, правду сказать, не охотница до розыска“. Если въ этихъ рѣчахъ кое-что напоминаетъ Фонвизина, то зато отличается большей цѣльностью, типичностью, добродушіемъ и въ одномъ лицѣ показываетъ разнообразіе человѣческихъ движеній: чувства, мысли, сердца. И „Капитанская Дочка“ доказываетъ, что Пушкинъ не способенъ быть къ расплывчатости, скупъ на картины природы, на подмѣчиваніе всѣхъ переливовъ свѣта и тѣней, на искусственность въ задержкахъ и развитіи дѣйствій своихъ героевъ. Онъ быстро писалъ, долго обдумывалъ и долго отдѣльвалъ свои сжатыя произведенія. Въ прозѣ онъ любилъ даже искусственные упражненія, въ родѣ историческихъ замѣтокъ въ стилѣ Тацита. Въ этомъ Пушкинъ расходился съ Карамзінимъ, для которого разнообразныя размышленія и искусственныя колебанія чувства дѣйствующихъ лицъ составляли предметъ любимаго изложенія. У Пушкина все выливалось въ однообразную непосредственную форму. И нигдѣ это такъ не очевидно какъ въ лирикѣ поэта, къ которой мы теперь и обращаемся.

## III.

Лирика А. С. Пушкина, этотъ рядъ блестяющихъ стихотвореній, за 23 года его литературной дѣятельности (съ 1814 г. до 1837 г.), представляетъ не только высокія художественные произведенія, но и лѣтопись времени и—личной жизни поэта. Къ сожалѣнію, лирика Пушкина не дошла до насъ въ своей полной, непосредственной формѣ. За ней скрываются события времени и чуткая душа поэта, откликавшаяся, какъ стройный органъ, какъ эхо, на всѣ явленія внѣшней и внутренней жизни. Многое, написанное подъ живымъ впечатлѣніемъ минуты, поэтъ берегъ отъ печати, уничтожалъ, сокращалъ, опускалъ намеки. Тѣмъ не менѣе, ни у кого изъ русскихъ поэтовъ нѣтъ столько искренности въ душевной исповѣди, столько глубины въ оцѣнкѣ русской дѣйствительности, какъ у Пушкина. Поэтъ работалъ неустанно, запасаясь материалами для крупныхъ произведеній, доставлявшихъ доходъ ему, всматриваясь въ окружающую жизнь, успокаивая себя сладковучными стихами, подбирая риѳмы, куплеты, стихи, выраженія. Нашего величайшаго поэта нельзя представить себѣ иначе, какъ съ записной книжкой, съ тетрадями. Эти черновые материалы дошли до насъ: наброски, варианты, исправленія вносятся во всѣ научныя и полныя изданія сочиненій Пушкина. Какъ важны даже мелкія приписки къ стихотвореніямъ поэта, напр., хронологическія помѣты, можно судить по тому, что одно и то же произведеніе, повидимому, то личнаго, то общаго характера; то говорить о любви поэта къ какой-то опредѣленной красавицѣ, то говорить о людяхъ, вызвавшихъ въ Пушкинѣ сердечное сожалѣніе своей печальной судьбой. При всейдержанности поэта, въ рукописныхъ стихотвореніяхъ его сохранились горячія строки, обращенные къ жестокому вѣку, къ свободѣ. Передъ нами проходятъ: побѣды Наполеона I, торжество Россіи, годы, послѣдовавшиe за возвращениемъ русскихъ и императора Александра I изъ европейского похода, годы реакціи и ссылка Пушкина, милость власти, перебѣзы поэта, милость къ Пушкину императора Николая I, военные движения, холерные годы, тревожныя события 1831 года и сатирическій голосъ поэта о времени и обществѣ 30-хъ годовъ. И личная жизнь поэта, начиная съ родственныхъ и товарищескихъ отношеній, съ годовъ Лицея, съ вступленія въ жизнь свѣта, литературы, службы—

до интимныхъ отношеній къ красавицамъ, къ мучительному чувству любви, къ упоенію ею, къ раздумьямъ, къ страданьямъ и смерти, къ надеждамъ и отчаянію—все это отразилось въ поэзіи Пушкина. Не вымученными, не односторонними, не цѣльными отдельными стихами выливались и чувства и мысли Пушкина, а разнообразными, бойкими переливами мелодій грустныхъ и торжественныхъ, веселыхъ и жолчныхъ, горячихъ до самозабвенія и нѣжныхъ до дѣтской незлобивости. Уже эти свойства лирики Пушкина указываютъ на ея привлекательность, увеличивающую вицѣшими художественными достоинствами. Конечно, не всѣ пьесы Пушкина одинакового достоинства въ этомъ отношеніи, не говоря уже о постепенномъ развитіи, постепенномъ усовершенствованіи лирики со стороны формы, начиная съ пьесъ 20-хъ годовъ. Прежде чѣмъ обобщить характеристическая особенности Пушкинской лирики, нельзя не коснуться ея развитія въ хронологической послѣдовательности, привлекая къ ней и другія сродныя произведенія Пушкинской Музы. Конечно, уже въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина (1814—1817 гг.) встрѣчаемся съ нѣкоторыми настроеніями, чувствами и мыслями, которыя повторяются и въ послѣдующихъ произведеніяхъ поэта. Примѣры такихъ повтореній (хотя бы въ „Русланѣ и Людмилѣ“ и въ „Полтавѣ“) мы приводили выше.

Прибавимъ еще къ сказанному въ первой главѣ рѣзкій примѣръ подражанія Пушкина въ извѣстномъ раннемъ „Романсѣ“ 1814 г. (Подъ вечеръ осенью ненастной) Жуковскому. Въ 1813 г. въ „Вѣстникѣ Европы“ Жуковскій напечаталъ „Пѣсню матери надъ колыбелью сына“. Зависимость популярного полународного романса Пушкина отъ стихотворенія Жуковскаго (также переводного „изъ Беркена“) заслуживаетъ особенного вниманія, и мы приведемъ здѣсь нѣсколько выдержекъ изъ „Пѣсни матери надъ колыбелью сына“ (Стихотворенія, 1895 г. I т., 308—311 стр.):

Засни дитя! спи, Ангель мой!  
Мнѣ душу рветъ твое стенанье!  
Ужель страдать и намъ съ тобой?  
Ахъ, тяжко и одно страданье!  
Когда отецъ твой обольстилъ  
Меня любви своей мечтою...  
Навѣкъ для настъ пустыня свѣтъ,

Къ надеждѣ намъ пути закрыты;  
 Когда единственнымъ забыты,  
 Намъ сердца здѣсь родного нѣть;  
 Не намъ веселіе земное;  
 Во всей природѣ мы лишь двое.  
 Пойдемъ, мой сынъ, путемъ однимъ,  
 Двѣ жертвы рока злонолучны;  
 О, будемъ въ мірѣ неразлучны,  
 Сноснѣй страданіе двоимъ!

Молодой Пушкинъ превзошелъ своего учителя и въ реализмѣ: онъ заставилъ свою дѣву-мать грубымъ образомъ разстаться съ тайнымъ плодомъ любви несчастной. Какъ известно, ни одинъ „народный пѣсенникъ“ не обходится безъ этого романса 15-ти лѣтняго Пушкина. Можетъ быть, хотя отрицательно и въ этомъ романѣ поэтъ призываетъ „чувства добрыя въ народѣ“:

Мнѣ вѣчный стыдъ—вина моя!  
 Законъ неправедный, ужасный,  
 Къ страданью осуждаетъ насъ...  
 Блѣдна, трепещуща, уныла,  
 Къ дверямъ приблизилась она,  
 Склонилась, тихо положила  
 Младенца на порогъ чужой.

Еще одинъ также рѣзкій примѣръ повторенія въ „Стансахъ“ 1829 года лицейскаго стихотворенія „Моему Аристарху“ 1815 года:

Сижу ли съ добрыми друзьями,  
 Лежу ль въ постелѣ пуховой,  
 Брожу ль надъ тихими водами  
 Въ дубравѣ темной и глухой,  
 Задумаюсь, взмахну руками,  
 На риемахъ вдругъ заговорю (I, 107—108).

Такъ и свойство аллегій Пушкина—переходить отъ мысли о смерти, о горѣ къ примиренію—находимъ въ Посланиі 1816 года:

Моя стезя печальна и темна...  
 Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру  
 Одинъ, съ тоской, явлюсь я—гость угрюмый,

Явлюсь на часъ и одинокъ умру...  
 Нѣтъ, и въ слезахъ скрыто наслажденье—  
 И въ жизни сей мнѣ будетъ въ утѣшенье  
 Мой скромный даръ и счастіе друзей (I, 130—131).

Эти элегіи начинаются у молодого поэта съ 1816 года. Любовные мечты посѣщають его „нѣмой ночью“, и „Вновьupoенный, Пускай умру Непробужденный“, вызываетъ пылкій поэтъ-лиценістъ, соединявшій представленія о нѣкоторой вольности съ мечтаньями любви идеальной (I, 152—153). Лицейскія стихотворенія Пушкина не богаты содержаніемъ; игровое веселье среди друзей, воспѣваніе шировъ, любви, эпиграммы, мечты о предназначены къ литературной дѣятельности, посланія къ поэтамъ, сатира въ римской формѣ на вельможъ, наконецъ, любовь къ природѣ, уединенію и покою—вотъ общее содержаніе этихъ пробныхъ опытовъ молодого поэта.

Продолжая, по выходѣ изъ Лицея, свои посланія къ друзьямъ и поэтамъ, Пушкинъ стремится выразить „вольнолюбивыя надежды“. Это сатирическое и еще болѣе лирическое, вдохновенное отношеніе къ будущему „отчизны“ не покидаетъ поэта, съ различными сдержаніями, уступками, раскаяніями до самаго конца жизни. Конечно, въ поэзіи Пушкина заключаются только намеки на явленія дѣйствительности, помимо литературныхъ вліяній, и намъ необходимо хотя назвать нѣсколько теченій въ русскомъ обществѣ около 20-хъ годовъ, чтобы понять посланіе Пушкина „Къ Чаадаеву“ 1818 г. (Ноа свободою горимъ... Россія вспрянетъ ото сна), „Орлову“ 1819 г. (Но не безславиши сгоряча Свою воинственную руку Презрѣнной палкой палача), „Деревня“ 1819 г. (Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный И рабство падшее по манію царя, И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной Вздохеть ли наконецъ прекрасная заря?), „Ода вольность“, „на Аракчеева“ 1820 г., и проч. Еще въ Лицѣй Пушкинъ пережилъ „бранныя“ чувства, жажду „звука мечей“. Эта жажда была естественнымъ выраженіемъ времени Наполеоновскихъ войнъ; но и среди военныхъ въ Царскомъ Селѣ поэтъ встрѣчалъ людей, задумывавшихся надъ жизнью и исторіей. Таковъ былъ Чаадаевъ, блестящій лейбъ-гусаръ, съ которымъ Пушкинъ раздѣлялъ дружбу и бесѣды по выходѣ изъ Лицея, въ Петербургѣ. Чаадаеву поэтъ обязанъ былъ смягченіемъ своей участіи въ 1820 г., когда, вместо тяжелой ссылки за „вольнолюбивыя“ стихотворенія и рѣзкія сатиры на вельможъ, при-

суждень быль къ высылкѣ. Въ Посланіи къ Чаадаеву 1821 г. Пушкинъ такъ опредѣляетъ свои отношенія къ лучшему другу: „Ты быль цѣлителемъ моихъ душевныхъ силъ; О, неизмѣнныи другъ, тебѣ я посвятилъ И краткій вѣкъ, уже испытанный судбою, И чувства, можетъ быть, спасенныя тобою! Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ... Во глубину души вникая строгимъ взоромъ, Ты оживлялъ ее совѣтомъ иль укоромъ. Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь; Терпѣніе смѣлое во мнѣ рождалось вновь... Съ тобою вспоминать бесѣды прежнихъ лѣтъ, Младые вечера, пророческіе споры, Знакомыхъ мертвцевъ живые разговоры; Посмотримъ, перечтемъ, посудимъ, побранимъ, Вольнолюбивыя надежды оживимъ“ (I, 242—243). Чаадаевъ принадлежалъ къ тому кругу людей, который подвергся гоненію въ 20-хъ годахъ, въ министерство кн. Голицына. Уже въ Лицѣ Пушкинъ слушалъ проф. Куницына, послѣдователя Адама Смита и естественного права. Конечно, „рабство, невѣжество“ (Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ... Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ Для прихоти развратнаго злодѣя... Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ), за яркія картины котораго въ концѣ XVIII в. пострадалъ Радищевъ, составляли злобу дня. Любовью къ деревнѣ, къ нянѣ, къ народной поэзіи, къ народному языку поэтъ выражалъ свои гуманныя чувства. Рѣзкая сатира начиналась обличеніемъ „барства дикаго, безъ чувства, безъ закона съ насильственной лозой“ (206, I) и развивалась на другія явленія времени, какъ Аракчеевъ, Фотій, олицетворявшіе два могучихъ теченія времени: поклоненіе военной силѣ, суровой дисциплинѣ и—мистицизму, или, скорѣе, духовной борьбѣ. Пѣвца „Руслана и Людмилы“ въ эти годы, по его собственному выраженію, плѣняли „любовь и тайная свобода“ (I, 208). „Либераль Пушкинъ“ далъ слово Карамзину не писать сатиръ, эпиграммъ и восхваленій вольности.

Съ такимъ объектомъ поэтъ перенесся на нѣсколько лѣтъ на югъ Россіи въ 1820 г. Южная природа, новые люди, начиная отъ кавказцевъ, крымскихъ татаръ, цыганъ, молдаванъ, евреевъ, до образованныхъ военныхъ, среди которыхъ поэтъ встрѣтилъ искренній привѣтъ, разбудили лирику Пушкина въ новомъ направленіи. Уже въ Киевѣ и въ деревнѣ Каменкѣ Пушкинъ написалъ нѣсколько первыхъ чудныхъ элегій, какъ „Увы, зачѣмъ она блестаетъ минутной иѣжной красотой!“, „Рѣдѣеть облаковъ летучая гряда“, и друг. Февраль 1821 года Пушкинъ, проводилъ въ Киевѣ послѣ объѣзда Кавказа и Крыма.

Здѣсь онъ отдался антологическимъ сюжетамъ классической поэзіи и Байроновской разочарованности. Таврида, море и любовь воспѣты имъ въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ, и одно изъ нихъ уже знаменуетъ новый расцвѣтъ лирики Пушкина. Въ Каменкѣ, Чигиринскаго уѣзда, Киевской губерніи, поэтъ вспомнилъ „задумчивую лѣнъ“ въ Таврическихъ горахъ:

Рѣдѣеть облаковъ летучая гряда.  
Звѣзда печальная, вечерняя звѣзда!  
Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины,  
И дремлюющій заливъ, и черныхъ скаль вершины.  
Люблю твой слабый свѣтъ въ небесной вышинѣ:  
Онъ думы разбудилъ уснувшія во мнѣ (I, 225).

Повидимому, Пушкинъ переродился. Теперь онъ „поклонникъ музъ и мира, забывъ молву и жизни суеты“ (I, 236), готовъ каяться въ своихъ желаньяхъ, мечтахъ. Послѣ восторговъ отъ природы, любви наступаетъ періодъ недовольства и жизнью, и собой (I, 259). Но, про себя, поэтъ сочиняетъ подражаніе Шене „Кинжалъ“, привѣтствуя возстаніе за свободу грековъ и порывается на войну, подражая Байрону. Вѣсти о смерти товарищѣй, знакомыхъ вызываютъ въ Пушкинѣ глубокія элегическія сѣтованія. Это третья, выдающаяся черта лирики Пушкина послѣ паоса отъ вольнолюбивыхъ надеждъ и любви. „Гробъ юноши“ 1821 г., „Элегія“—„Умолкну скоро я“, „Къ Овидію“ содержать уже горячія выраженія о посмертныхъ воспоминаніяхъ поэта:

Но если обо мнѣ потомокъ поздній мой  
Узнавъ, придетъ искать...  
мой слѣдъ уединенный...  
Къ нему слетитъ моя признательная тѣнь  
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье (I, 260).

Прямолинейный герой „Русланъ“ смѣнился „Кавказскимъ плѣнникомъ“ и въ посвященіи новой поэмы 1821 г. Раевскому Пушкинъ, сливаясь съ героемъ своей повѣсти, говорилъ:

Я рано скорбь узналъ, постигнуть былъ гоненьемъ,  
Я жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ;  
Но сердце укрѣпивъ свободой и терпѣніемъ,

Я ждалъ беспечно лучшихъ дней,  
И счастіе моихъ друзей  
Мнѣ было сладкимъ утѣшеньемъ (II, 277).

Поэзія Пушкина пріобрѣла теперь, по его собственнымъ словамъ, „страстный языкъ сердца“ (I, 255), раскаленіе въ „безумствахъ и страстиахъ“ прошлаго. Приступая къ „Евгенію Онѣгину“, поэтъ многое передумалъ. Веселость его смѣнилась скучой, а „либеральный бредъ“—благоразуміемъ (Письма VI, 62). 1823 годъ открывается многознаменательнымъ стихотвореніемъ Пушкина „Тельга жизни“:

Съ утра садимся мы въ тельгу;  
Мы погоняемъ съ ямщикомъ  
И, презирая лѣнь и нѣгу,  
Кричимъ: валай по всѣмъ по тремъ!

Поэтъ представлялъ себѣ уже и полдень, и вечеръ жизни. Онъ испыталъ искушенія злобнаго генія, разувѣрился въ возвышенныхъ чувствахъ, свободѣ, славѣ и любви. Онъ вложилъ въ Онѣгина съ первой главы „рѣзкій охлажденный умъ“ и провелъ параллели между собой и героями своего романа:

Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;  
Страстей игру мы знали оба...

Во второй главѣ „Евгенія Онѣгина“ поэтъ, презирая людей, жизнь, преклоняясь передъ смертью, ставить своей цѣлью „звуки“, которыми бы желалъ „печальный жребій свой прославить“ (III, 279).

Теперь онъ достигъ „сладкихъ звуковъ“, но еще не—молитвъ, хотя и писалъ брату въ 1823 году: „я обратился къ евангельскому источнику“. Но страсти, жизнь среди южнаго общества Кишинева и Одессы составляютъ преобладающій жгучій элементъ лирики Пушкина:

Мой милый другъ, не мучь меня, молю:  
Не знаешь ты, какъ тяжко я страдаю (I, 295).

Ночью темной „стихи, сливаюсь и журча, текутъ, ручьи любви“, „боготворить не перестану тебя, мой другъ, одну тебя“ (I, 302).

Въ половинѣ 1824 года Пушкинъ оставлялъ Одессу и югъ для деревенскаго уединенія въ Псковской губерніи, въ селѣ Михайлов-

скомъ, куда переносиль „и блескъ, и тѣнь, и говоръ волнъ“. Въ великолѣпномъ стихотвореніи „Къ морю“ поэтъ прощался съ порывами туда, гдѣ видѣлъ „просвѣщеніе“, хотя бы туда, гдѣ угасаль Наполеонъ, гдѣ исчезъ властитель думъ—Байронъ. Какое примиреніе и равнодушное сознаніе выражаетъ поэтъ въ этомъ стихотвореніи:

Теперь куда же  
Меня бѣ ты вынесъ, океанъ?  
Судьба людей повсюду также:  
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ  
Иль просвѣщеніе, иль тиранъ.

Уже въ Михайловскомъ, въ сентябрѣ 1824 года Пушкинъ жалуется:

Но злобно мной играеть счастье:  
Давно безъ крова я пошусь,  
Куда подуетъ самовластье (I, 308).

Деревенское уединеніе вызвало новый приливъ въ лирикѣ Пушкина. Отъ 1824 года до настъ дошло несравненно болѣе стихотвореній, чѣмъ отъ предшествующихъ лѣтъ: „Разговоръ книгоиздателя съ поэтомъ“, два „Посланія къ цензору“, „Подражанія Корану“ превосходятъ все предыдущее по глубинѣ мысли, по совершенству формы, по опредѣленію особенностей творчества—что такъ глубоко развито поэтомъ и въ дальнѣйшихъ произведеніяхъ. „Разговоръ поэта съ книгопродавцемъ“ напечатанъ при первомъ изданіи „Евгенія Онѣгина“ 1825 г. Несмотря на замѣчаніе поэта въ предисловіи къ этому изданію объ „утомительности новѣйшихъ элегій, въ коихъ чувство унынія поглотило всѣ прочія“ и о той „веселости, ознаменовавшей первыя произведенія автора Руслана и Людмилы“, которая вложена въ первыя главы „Евгенія Онѣгина“, „Разговоръ книгоиздателя съ поэтомъ“, какъ предисловіе къ новому роману, не что иное, какъ элегія. Поэтъ называетъ „безумствомъ“ поклоненіе женщинѣ:

Что мнѣ до нихъ? Теперь въ глухи  
Безмолвно жизнь моя несется;  
Стонъ лиры вѣрной не коснется  
Ихъ легкой, вѣтреної души;

Нечисто въ нихъ воображенье,  
Не понимаетъ нась оно,  
И признакъ Бога, вдохновене  
Для нихъ и чуждо и смѣшно.

Поэтъ, однако, вѣрить одной; но она отвергла заклинанья, и память о ней мучить его бесплодно. Поэтъ не вѣрить и въ славу литератора:

Что слава? Шопотъ ли чтеца?  
Гоненье ль нижкаго невѣжды?  
Иль восхищеніе глупца?

Поэтъ любить свободу, оставляя юношамъ воспѣвать любовь, а книгопродающимъ—извлекать деньги и злато изъ рукописей поэта. Онъ чувствуетъ только, что „стишки не одна забава“, что поэзія—это недугъ, это шопотъ демона, отъ которыхъ рождаются чудныя грэзы, гармонія, ширъ воображенья. Пушкинъ называетъ свой романъ „сатирическимъ“, и первая глава его должна была показать „свѣтскую жизнь Петербургскаго молодого человѣка, въ концѣ 1819 года“. Эта сатира, какъ мы уже замѣтили, не оставляла мысли поэта и далѣе. Великой заслугой Пушкина слѣдуетъ признать соединеніе нападокъ на „Коварность“ (1824 г. злобное гоненіе, клевета, какъ невидимое эхо, тайное предательство), на подозрительность цензуры въ „Первомъ“ и во „Второмъ посланіи цензору“ (Когда не видишь въ немъ безумнаго разврата, Престоловъ, алтарей и нравовъ супостата), и проч.—съ добрыми и возвышенными чувствами. Въ самомъ дѣлѣ, если поэтъ ищетъ возвышенной чистой любви, если онъ мечтаетъ о безмолвіи трудовъ, о томъ, чтобы не „казнить злодѣевъ громомъ вѣчныхъ стрѣлъ“, а создать въ тиши положительный идеалъ жизни, то для него доступны и вѣра, и молитва, и милость, и смиреніе, и надежды въ будущемъ. Таковы положительные мотивы лирики Пушкина съ 1824 г.—съ „Подражаніемъ Корану“. Религіозные мотивы все чаще и искреннѣе раздаются въ этой лирикѣ, послѣ того какъ въ Михайловскомъ поэтъ предался чтенію Житій святыхъ, Библіи и другихъ церковно-славянскихъ книгъ, вдохновившихъ его для образа лѣтоисца. Въ черновыхъ наброскахъ, современныхъ „Подражанію Корана“, находимъ объясненія поэта изъ Михайловскаго уединенія:

Въ пещерѣ тайной, въ день гоненья,  
Читалъ я сладостный коранъ;  
Внезапно ангелъ утѣшенья,  
Влетѣвъ, принесъ мнѣ талисманъ.

Въ 1823 г. Пушкинъ написалъ

„Свободы сѣятель пустынный,  
„Я вышелъ рано, до звѣзды;  
„Рукою чистой и безвинной  
„Въ порабощенные бразды  
„Бросалъ живительное семя...“

а въ 1825 году „Подражаніе пѣсni пѣсней“.

Однако, пока Пушкинъ поддавался не столько этому новому настроению, сколько общему духу радости отъ дружбы, вѣры въ друзей (19 октября 1825 г.), вѣры въ народъ (Зимній Вечеръ), въ отраду чистой поэзіи (Козлову), въ бессмертное святое солнце разума (Вакхическая пѣсня), въ защиту пѣвца отъ судьбы Андрея Шенье:

Зачѣмъ отъ жизни сей, лѣнивой и простой,  
Я кинулся туда, гдѣ ужасъ роковой,  
Гдѣ страсти дикія, гдѣ буйные невѣжды,  
И злоба, и корысть? (I, 340).

Серіозный взглядъ на поэзію, на служеніе музамъ безъ суety, въ тиши, выражается въ обширной элегіи „19 октября 1825 года“. Звуки жалобы—на изгнанье, на невольное затворничество, на измѣны любви, на злобу враговъ—соединяются въ этомъ, обильномъ лирическими произведеніями, 1825 году съ восторгами вдохновенной любви:

Душѣ настало пробужденіе:  
И вотъ опять явилась ты,  
Какъ мимолетное видѣніе,  
Какъ геній чистой красоты.

1826 годъ—годъ освобожденія Пушкина изъ Михайловскаго заточенія, его перѣездъ въ столицу и свиданія съ друзьями послѣ шестилѣтняго отсутствія—отразился бѣдностью лирики. Но эти немногія

произведенія, какъ знаменитая „Элегія на смерть г-жи Ривнічъ“, „Пророкъ“, „Зимняя дорога“, „Стансы—Въ надеждѣ славы и добра гляжу впередъ я безъ боязни“, дышать искренностью и отличаются совершенствомъ формы:

Начало славныхъ дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

И съ этого времени Пушкинъ отдается генію Петра Великаго, его любви къ странѣ родной, его незлобію, его умѣнью привлечь сердца.

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной  
Она томилась, увядала...

Это „душа“ младой тѣни, „легковѣрной тѣни“; это „милая дѣва“, которой не слышно ни слова, ни легкаго шума шаговъ, это заточеніе, куда поэтъ шлетъ утѣщеніе. Безъ слезъ (и слезы—преступленіе I, 339), равнодушно изъ равнодушныхъ усть поэтъ узналь о смерти легковѣрной тѣни. Онъ выразилъ то, что могъ, въ образахъ привычнаго „страстнаго языка сердца, мучительной любви“. Тотчасъ же поэтъ обратился къ образу ветхозавѣтнаго пророка:

Возстань пророкъ, и видѣй, и внемли,  
Исполнись волею Моею,  
И обходя мора и земли,  
Глаголомъ жги сердца людей!

Это первые пламенные стихи Пушкина въ библейскомъ стилѣ. Мы не будемъ разбирать этого произведенія, которымъ поэтъ, по преданію, хотѣлъ вызвать „милость къ падшимъ“.

Религіозная поэзія нашла доступъ къ сердцу Пушкина и въ слѣдующемъ 1827 году онъ написалъ „Ангела“, набросалъ молитву пловца, спасеннаго Проридѣніемъ (II, 26):

Лишь я, таинственный пѣвецъ,  
На берегъ выброшенъ грозою,  
Я гимны прежніе пою,  
И ризу влажную мою  
Сушу на солнцѣ, подъ скалою (II, 15).

Прежніе гимны выразились въ „Посланіи въ Сибирь“, „19 октября 1827 года“: „Богъ помочь вамъ, друзья мои,... и въ мрачныхъ пропастяхъ земли!...“ „Любовь и дружество до васъ дойдутъ сквозь мрачные затворы, какъ... доходитъ мой свободный глашъ“. Конечно, все это были произведенія, о которыхъ поэтъ говорилъ въ „Первомъ посланіи цензору“:

И Пушкина стихи въ печати не бывали—  
Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали.

Поэтъ долженъ былъ написать записку с народномъ воспитаніемъ для объясненія „молодой души—молодыхъ людей“, погибшихъ въ происшествіяхъ, сопровождавшихъ вступленіе императора Николая I на престолъ. Пушкинъ вспомнилъ въ этой запискѣ тотъ кругъ, въ которомъ и самъ вращался до отъѣзда на югъ: политическая либеральная идея, пасквили на правительство, возмутительная пѣсни, шумную праздность казармъ, стѣсненія въ образованіи—и отсюда недостатокъ просвѣщенія и нравственности, наконецъ, вліяніе походовъ заграницу. Новые отношенія къ императору Николаю вызвали въ 1828 году обращеніе Пушкина къ „Друзьямъ“: онъ хвалить царя за милость, за освобожденіе мысли. Свою свободу дѣйствій, которую могли смыщливать съ лестью, Пушкинъ оправдывалъ свободой творчества, противоположностью „забавъ мѣра молвы, заботъ суэтнаго свѣта“—священной лирѣ поэта.

На своей родинѣ, въ Москвѣ, Пушкинъ встрѣтилъ красавицу, которой отдалъ свое сердце. Любовь ожила въ сердцѣ поэта еще въ 1828 году. И вотъ въ теченіе трехъ лѣтъ до свадьбы на Н. Н. Гончаровой въ 1831 г., несмотря на скитаніе по деревнямъ, Кавказу, столицамъ, поэтъ написалъ множество лирическихъ пьесъ. До нась дошло болѣе 40 стихотвореній за каждый отдельный годъ: 1828, 1829 и 1830. Только первыя впечатлѣнія отъ юга и отъ уединенія въ Михайловскомъ могли вызвать такое обиліе поэтическаго творчества. Поэтъ пѣлъ, какъ соловей надъ розою (1827 года):

Но роза милая не чувствуетъ, не внемлетъ.

Какое разнообразіе въ содеряніи произведеній 1828 года. О легкости изложенія мы уже имѣемъ свидѣтельство въ „Полтавѣ“, написанной въ двѣ осеннія недѣли. Жгучія воспоминанія со стонами,

съ слезами объ утраченныхъ годахъ, о погибшихъ милыхъ тѣнахъ че-редуются съ надеждами на будущее, на мирныя пѣсни, на сладкіе звуки и молитвы. Разнообразію содержанія отвѣчаетъ и разнообразіе формы. Рядомъ съ рѣдкой формой басни (Любопытный, II, 56—57), сатиры въ томъ же стилѣ (Собрание настѣкомыхъ), народныхъ формъ баллады „Утопленникъ“, „Шотландской Пѣсни“, „Пѣсенъ Грузіи“ мы находимъ стройные стихи чудной элегіи „Воспоминаніе“, неподра-жаемаго перевода отрывка изъ „Конрада Валленрода“, бойкихъ куп-летовъ, въ восемь стиховъ (Городъ пышный, Счастливъ кто избранъ своимъравно, Твоихъ признаній, Я думаль сердце позабыло, и друг.), сжатаго стиля „Анчара“, или простого посланія къ Н. А. Нелетиеву:

Прими собранье пестрыхъ главъ,  
Полусмѣшныхъ, полупечальныхъ,  
Простонародныхъ, идеальныхъ  
Небрежный плодъ моихъ забавъ,  
Бессонницъ; легкихъ вдохновеній,  
Ума холодныхъ наблюдений  
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Элегіи составляютъ преобладающій родъ лирики Пушкина и слѣ-дующихъ годовъ 1829 и 1830. Есть какая-то особенная нѣжность къ женщинѣ въ элегіяхъ Пушкина:

Что въ имени тебѣ моемъ?...  
Но въ день печали, въ типинѣ  
Произнеси его, тоскуя (II, 63).

Это любвеобильное сердце поэта содержитъ неизсякаемую жажду утѣшенія, ободренія, раздѣленія горести женщины, даже предупреж-денія ея совѣтомъ, словомъ возвышенной души:

Если жизнь тебя обманеть,  
Не печалься, не сердись...  
День веселья, вѣрь, настанетъ (I, 346).

Онъ остается другомъ женщины, опозоренной шумной молвой, утратившей права на честь по приговору свѣта (II, 64). Поэтъ при-зываетъ эту женщину оставить душный кругъ, безумныя забавы. Эта

дѣтская довѣрчивость рисуется въ письмахъ поэта къ женѣ, которой и въ стихахъ и въ откровенныхъ бесѣдахъ Пушкинъ раскрывалъ всѣ свои заблужденія, ошибки, любовныя увлеченія прежнихъ лѣтъ, надѣясь на искреннее прощеніе и вѣрность. „Я васъ любилъ безмолвно, безнадѣжно (обращается поэтъ въ 1829 г.), То робостью, то ревностью томимъ; Я васъ любилъ такъ искренно, такъ нѣжно, Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ“ (II, 63). Поэтъ жилъ любовью, пѣлъ о ней, мечталъ, страдалъ, увлекался и создавалъ идеалы женщинъ. Онъ былъ уже „огончарованъ“, и въ дорогѣ, по Грузіи, мечталъ только о будущей невѣстѣ (Мнѣ грустно и легко; печаль моя свѣтла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой!); но находилъ еще столько увлеченія, что останавливалъ свой художественный взоръ на „Калмычкѣ“, какъ ранѣе, на югѣ, идеализировалъ гаремныхъ татарокъ, цыганокъ. Поэтъ находилъ въ дикой красѣ столько же занимательнаго, сколько представляли свѣтскія женщины, а въ кочевой кибиткѣ столько же тихаго спокоя-забвенья, сколько въ блестящей залѣ, или въ модной ложѣ.

Мы уже не разъ отмѣчали народные мотивы въ поэзіи Пушкина. Въ годы разѣздовъ по Россіи поэтъ еще болѣе смылся съ живописью, съ пріемами русской народной поэзіи. Что такое, въ самомъ дѣлѣ, стихотворенія 1829 г. „Донъ“ (Какъ прославленного брата Рѣки знаютъ тихій Донъ.. Пьютъ уже донскіе кони Арапчайскую струю), „Делибашъ“ (Делибашъ, не суйся къ лаѣ — техническое козачье слово—Срѣжеть саблею кривою Съ плечъ удалую башку), „Дорожныя жалобы“, „Примѣты“, какъ не такие же народные мотивы? Это старыя русскія пѣсни, пѣсни военные, грустныя бытовыя жалобы. Мысль о смерти какъ будто уже все совершившаго въ мірѣ поэта съ необыкновенной силой выражается въ „Стансахъ“ 1829 г. Мы видѣли уже, что утраты друзей, недавнія потрясающія события вызывали эти представленія у Пушкина и соединялись то съ мыслями о военныхъ тревогахъ, то съ случайностями переживаемой жизни (года холеры, неудобства русскихъ дорогъ). „Зимнее утро“ и кавказскія стихотворенія даютъ чудныя рамки для чувствъ поэта.

Задумывая жениться, Пушкинъ мечталъ объ опредѣленномъ положеніи въ русской журналистицѣ. Онъ былъ участникомъ „Литературной Газеты“ Дельвига и полемизировалъ за нее съ „Сѣверной Пчелой“. Таково происхожденіе стихотворенія 1830 г. „Моя родословная, или русскій мѣщанинъ“. Мысли объ аристократизмѣ, о зна-

ченіи сословій въ государствѣ занимають съ этихъ поръ поэта. Идеалы Екатерининского времени, соединенные съ Лицейскими воспоминаниями, съ посланиями „Къ вельможѣ“, съ высокимъ представлениемъ о поэти, съ похвалой героямъ истории (Наполеону I за его безстрашіе не на полѣ браніи, а среди зачумленныхъ. „Герой“, II, 122), приближаютъ Пушкина къ русской дѣйствительности и, выработавъ этотъ путь воздействиія на жизнь и возможности создать прочное положеніе въ ней, не поступаясь своими литературными занятіями, влечениями, Пушкинъ рѣшается отдаться семейной жизни. Судьба Пушкина—вопросъ, поднятый недавно однимъ изъ русскихъ дѣятельныхъ мыслителей,—кажется, рассматривая ее post eventu, вращалась около этого рокового вопроса: какъ создать свое счастье?

Въ простомъ углу моемъ, средь медленныхъ трудовъ,  
Одной картины я желаль быть вѣчно зрителъ...  
Исполнились мои желанія. Творецъ  
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадонна  
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ (II, 96).

Поэтъ не нашелъ этого простого угла и угасъ въ страданіяхъ съ вѣрой въ другую картину:

Она съ величиемъ, Онъ съ разумомъ въ очахъ—  
Взирали, кроткіе, во славѣ и въ лучахъ,  
Одни, безъ ангеловъ, подъ пальмою Сиона.

Патріотизмъ, эта народная вѣра, чувства дружбы и порывы „въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ“ охватываютъ поэта въ 1831 г., тотчасъ же послѣ женитьбы. Въ 1830 году Пушкинъ еще прощался въ нѣсколькоихъ элегіяхъ съ увлеченіями прежнихъ лѣтъ. Вѣра въ любовь, въ гармонію стиховъ, поэтъ готовъ страдать. Страданья эти вызывались смертью любимой женщины—иностраники. Уроженка Грекіи, или Италии, она звала поэта на югъ (вѣроятно, въ Одесѣ) на свою родину, и вѣсть о ея смерти возбудила чувствительную душу поэта къ воспоминаніямъ о „Разставаніѣ“ (II, 105), къ „Заклинанію“ явиться и принять поцѣлуй, услышать клятву въ любви. Трудно представить себѣ эту силу поэтическаго воображенія Пушкина, съ какой онъ вызывалъ образы прошлаго счастья, минуты страданія и порывы примирить раннюю разлуку, раннюю смерть съ

любовью. Въ этихъ элегіяхъ разгадка одной стороны душевныхъ свойствъ поэта. Онъ воспринялъ съ дѣтства много простонароднаго, начиная съ суевѣрій (живыя отраженія въ „Бѣсахъ“, въ „Утопленникѣ“, въ „Примѣтахъ“, въ „Талисманѣ“), онъ выросъ подъ живыми впечатлѣніями романтики и поэзіи Жуковскаго, онъ много страдалъ отъ событій времени и личныхъ неудачъ и, наконецъ, онъ привыкъ отдаваться мысламъ наединѣ, повѣрять свою совѣсть, взвѣшивать свои привязанности, искать прочного и вѣчного въ мірѣ. Поэтому все, противорѣчившее этимъ стремленіямъ, возбуждало его, сотрясало его чуткую природу, искавшую поэтическаго покоя, гармоніи, красоты, радости. Онъ умѣлъ цѣнить и упиваться такими проявленіями въ природѣ, въ жизни, въ свободѣ мысли и чувства. Но природа, окружающіе люди — только рамки для настроеній поэта. Мы знаемъ, что поэтъ идеализировалъ простыя, однообразныя картины простонародной жизни и сѣренкою русской природы: кабакъ и раздолѣ утокъ молодыхъ среди деревенской улицы, подъ молодымъ деревцомъ, успокаивали его чѣмъ-то роднымъ, единственнымъ во всемъ мірѣ. Но этотъ же видъ, среди элегій 1830 года, принимаетъ у Пушкина совсѣмъ другой оттенокъ:

избушекъ рядъ убогий...  
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса..  
На дворѣ живой собаки нѣтъ.  
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ;  
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ...  
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?  
Гдѣ рѣчка?

Это называется „Шалость“ въ отвѣтъ на подтруниванія румянаго критика — насмѣшника. Или вотъ обычная физіогномія столицы того времени: „Здѣсь городъ чопорный, унылый, Здѣсь рѣчи—ледъ, сердца—гранитъ“ (II, 87); „Городъ пышный, городъ бѣдный, Духъ неволи, стройный видъ, Сводъ небесъ зелено-блѣдный, Скука, холодъ и гранитъ“ (31). Прибавьте къ этому „печальные поляны, глушь и снѣгъ въ невѣдомыхъ равнинахъ“ — и вы поймете хандру Пушкина, его порывы къ сюжетамъ изъ жизни Европы:

Я здѣсь, Инезилья,  
Стою подъ окномъ!

Объята Севилья  
И мракомъ и сномъ!

Отсюда отдыхи поэта на такихъ мотивахъ, какъ „Каменный гость“, „Ширъ во время чумы“, „Анджело“, „Скупой рыцарь“ и друг.

Богатая, незаурядная, чуднонастроенная натура—этотъ великий русскій поэтъ:

Душа стѣсняется лирическимъ волненiemъ,  
Трепещетъ, и звучить, и ищеть, какъ во снѣ,  
Излиться наконецъ свободнымъ проявленiemъ—  
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,  
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.  
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,  
И рионы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,  
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,  
Минута—и стихи свободно потекутъ.

Насколько разнообразны поэтические пріемы Пушкина въ 1830 г., когда онъ принялъ и за „Повѣсти Бѣлкина“ „въ смиренной прозѣ“, можно судить по извѣстному неподражаемому „Началу сказки“ о медвѣдяхъ съ медвѣжатами.

Въ 1831 году Пушкинъ женился, и самые интимныя отношенія вылились на бумагу изъ пылкаго сердца поэта: „Красавица“, „Отрывокъ“, и „Нѣть, я не дорожу мятежнымъ наслажденiemъ“ (1832 г.). Народныя сказки—остроумныя, игривыя, три оды—вотъ все, что мы находимъ у счастливаго поэта. Теперь надъ нимъ сбылись его же шутки надъ Жуковскимъ. Отсель до конца жизни поэта не столько развивается его лирика, сколько новая серіозная дѣятельность въ области романа, повѣсти, исторіи и журналистики. Здѣсь замѣчается вынужденность принять званіе исторіографа, вести счеты съ книго-продавцами, издавать альманахи и журналы. Пушкинъ неутомимъ и на новомъ поприщѣ; но лирика его бѣдна мотивами, и, къ удивленію, повторяются элегіи—и даже въ усиленныхъ стонахъ: „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума“ (1833 г.), „Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли“ (1835 г.), „Изъ Пиндемонте“, „Когда за городомъ задумчивъ я брожу“ (1836 г.). Все это полно силы и въ содержаніи, и въ формѣ. Но странно видѣть у поэта, бросившаго якорь въ жизненной пристани, эти звуки отчаянія, предчувствій, и равнодушія къ

жизни. Посмотримъ, однако, что находимъ въ поэзіи Пушкина рядомъ съ этими трогательными элегіями. Преобладаютъ подражанія иностраннымъ поэтамъ: Данту, древнимъ, Буньяну, Мицкевичу. Однако, поэтъ не забывалъ и народныхъ мотивовъ („Гусарь“ и „Сватъ Иванъ“ 1833 г.), и религіозныхъ сюжетовъ („Когда великое свершалось торжество“, „Молитва“ 1836 г.), воспоминаній о Лицѣ 1836 г. Все это производить впечатлѣніе чего-то чуднаго, но не оконченного, какихъ-то замысловъ подражательного и самобытнаго характера. И въ заключеніе опять итоги дѣятельности въ „Памятникѣ“ 1836 г. и обращеніе къ женѣ съ мыслю о смерти, о покоѣ, о трудахъ и чистыхъ нѣгахъ.

Пусть не толкуютъ нашихъ словъ объ этомъ періодѣ развитія поэтическаго творчества Пушкина въ томъ смыслѣ, что женатая жизнь поэта сдавила его вдохновеніе, охладила его пылкую душу, помрачила страстью его умъ. Напротивъ, этотъ періодъ характеризуется въ лирикѣ Пушкина созданіемъ, проясненіемъ возвышенного идеала жизни, трудовъ и совѣсти. Это прежде всего „нокой и воля“, свобода „совѣсти и помысловъ“, упоеніе высшими искусствами, въ томъ числѣ и поэзіей. Но поэзія—высшій даръ, ея значеніе выше простого наслажденія искусствомъ. Отсюда высокое значеніе и поэзіи, и литературы вообще. Для развитія этого дара,—близкаго къ небесному, божественному,—требуется удаленіе отъ мірской суеты (Служенье Музъ не терпитъ суеты: Прекрасное должно быть величаво), усердный трудъ, глубокое раздумье, внимательное изученіе всего, что выработано вѣкомъ въ области просвѣщенія. Погружаясь внимательнымъ окомъ въ свою душу, поэтъ, какъ жрецъ, какъ пророкъ, извлекаетъ поученіе человѣчеству—и не только обличеніе, кару; но и—призыва къ любви (Когда народы, распри позабывъ, въ великую семью соединятся), къ милосердію, къ внутреннему духу религіи, къ успокоенію въ вѣчности, передъ которой блѣднѣеть мысль о смерти. Поэтъ долженъ терпѣливо сносить обиду, хулу и клевету, не ждать награды и не искать ея. Только внутреннее довольство выскательнаго въ себѣ художника есть высшій судъ, передъ которымъ меркнетъ временная хвала. Поэтъ не творить для „черни“, для окружающихъ людей: онъ вѣрить въ вѣчность своего дѣла, онъ вѣрить въ пользу его даже для простого селянина. Селянинъ этотъ и съ нимъ, какъ передъ памятникомъ Царя-Освободителя, и финнъ, и тунгузъ, одинаково воодушевляются славнымъ русскимъ поэтомъ (Близъ камней вѣковыхъ, про-

ходить селянинъ съ молитвой и со вздохомъ), его нерукотворнымъ памятникомъ. Поэтъ не вѣрилъ въ сладкую участъ громкихъ правъ ( зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—Богъ съ ними!) и мечталъ о дальней обители трудовъ и чистыхъ нѣгъ. Въ такой идеальной обители, по представлениемъ пѣта, нѣть мѣста ни разнузданнымъ пирамъ, ни пустой тратѣ времени, ни страху передъ хранительной стражей. Поэтъ ищетъ вывести изъ забвенія все высокое, простое, горестное и вмѣстѣ, рядомъ съ умиленіемъ передъ страданиемъ, предается радости. Вообще поэзія Пушкина отражаетъ необыкновенное разнообразіе впечатлѣній поэта, доступность его духовному миру самыхъ простыхъ человѣческихъ чувствъ („Начало поэзіи“: Въ еврейской хижинѣ лампада въ одномъ углу горитъ; передъ лампадою старикъ читаетъ библію), примиренія съ страданіями (я жить хочу, чтобы мыслить и страдать), ожиданіе скромныхъ наслажденій, надеждъ. Вотъ одна изъ разнообразныхъ сторонъ возвышенаго, чистаго содержанія въ Пушкинской поэзіи. Пушкинъ не успѣлъ развить и выразить вполнѣ представлениія о значеніи человѣческой личности, ея свободѣ въ предѣлахъ, поставляемыхъ внутреннимъ голосомъ.

Мы не касались лирическихъ отступленій въ поемахъ Пушкина, которые доополняютъ выраженіе его душевной исповѣди. Припомнимъ хоть два мѣста изъ VI и VII главъ Евгения Онѣгина: „Увялъ! Гдѣ жаркое волненье, гдѣ благородное стремленье и чувствъ, и мыслей молодыхъ, высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ? гдѣ бурныя любви желанья, и жажда знаній и труда, и страхъ порока и стыда, и вы, завѣтныя мечтанья, вы, призракъ жизни неземной, вы, сны поэзіи святой!“— „Нѣть, поминутно видѣть васъ, повсюду слѣдоватъ за вами, улыбку усть, движенье глазъ ловить влюбленными глазами, внимать вамъ долго, понимать душой все ваше совершенство, предъ вами въ мукахъ замирать, блѣднѣть и гаснуть ... вотъ блаженство!“ Эти два мѣста то же, что элегіи Пушкина, или его пылкія обращенія къ велико-свѣтскимъ красавицамъ. Въ силу своего лирическаго настроенія (паѳоса) Пушкинъ не могъ расплываться въ описаніяхъ. Картины природы, человѣческихъ движеній у него сжаты и сливаются съ чувствами.

Какіе бы выводы ни дѣлали изъ этихъ случайно прерванныхъ аккордовъ, они свидѣтельствуютъ объ иной порѣ дѣятельности поэта, о томъ, что душа его не нашла „покоя и воли“, что вокругъ него

немногіе интересовались дѣятельностью писателя. А поэтъ, между тѣмъ, шелъ навстрѣчу не только власти, но и—обществу, въ лицѣ свѣтскихъ красавицъ, свѣтскихъ дамъ, и—молодому племени въ извѣстной элегіи 1835 года:

Здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! Не я  
Увижу твой могучій поздній возрастъ,  
Когда переростешь моихъ знакомцевъ  
И старую главу ихъ заслонишь  
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ  
Услышитъ вашъ привѣтный шумъ.

---

Мы прослѣдили развитіе литературной дѣятельности А. С. Пушкина въ области повѣсти, поэмы и лирики и можемъ еще сдѣлать нѣсколько обобщеній. Важнѣйшей заслугой Пушкина является возвведеніе русскаго литературнаго языка на высшую степень совершенства. Не входя въ подробности, не оцѣнивая всего громаднаго значенія Пушкинскай дѣятельности въ области языка, мы скажемъ объ отношеніи къ русскому языку поэта, который былъ скромнѣе всѣхъ своихъ предшественниковъ. Онъ нигдѣ не останавливался на теоріи литературнаго языка, допуская свободу въ его развитіи. Онъ нигдѣ не обращался къ русскому языку, какъ къ объекту исключительного поклоненія. Но нѣсколько фразъ, оброненныхъ въ различныхъ произведеніяхъ, говорять о горячей любви поэта къ русскому слову:

Подъ мirtами Италіи прекрасной  
Онъ тихо спитъ, и дружескій рѣзецъ  
Не начерталъ надъ русскою могилой  
Словъ нѣсколько на языкѣ родномъ,  
Чтобъ нѣкогда нашель привѣтъ унылый  
Сынъ сѣвера, бродя въ kraю чужомъ (III, 356).

Пушкинъ играво отмѣтилъ въ нѣсколькихъ романахъ и повѣстяхъ дамское равнодушіе, дамскую невинность въ родной русской словесности, въ родномъ литературномъ языкѣ. Можетъ быть, въ пылу своей любовной мечты поэтъ иногда съ болью задумывался надъ тѣми „идолами“, равнодушными къ возвышенной роли русскаго поэта, слу-

жителя русского слова,—идолами—свѣтскими дамами, которымъ въ жертву поэтъ приносилъ свой гордый умъ. Мы видимъ, что даже о своей любимой простосердечной Танѣ Пушкинъ долженъ былъ сдѣлать слѣдующее замѣчаніе:

Еще предвижу затрудненіе:  
 Родной земли спасая честь,  
 Я долженъ буду, безъ сомнѣнья,  
 Письмо Татьяны перевѣстъ.  
 Она по-русски плохо знала,  
 Журналовъ нашихъ не читала  
 И выражалася съ трудомъ  
 На языкѣ своемъ родномъ,  
 Итакъ писала по-французски...  
 Что дѣлать! повторяю вновь:  
 Донъинѣ дамская любовь  
 Не изъяснялася по-русски,  
 Донъинѣ гордый нашъ языкъ  
 Къ почтовой прозѣ не привыкъ.

Свою любовь къ родному слову поэтъ влагаетъ въ другую женщину, разсказы которой онъ затвердилъ съ юныхъ лѣтъ (Вновь я посѣтилъ 1835 г.); ей поэтъ читалъ „плоды своихъ мечтаній“; ей пѣснями услаждался въ уединеніи Михайловскаго 1825 г. Это—старая няня поэта, „единственная моя подруга“ (по письмамъ Цушкина отъ 1824 года), которую онъ много разъ упоминаетъ и въ „Евгениѣ Онѣгінѣ“ и въ другихъ поэтическихъ обращеніяхъ съ ласковыми народными эпитетами „дряхлой голубки, доброй подружки“. Изъ устъ этой хранительницы русской народной словесности Пушкинъ записалъ много народныхъ пѣсенъ, сказокъ, запомнилъ мѣткія выраженія и пословицы, хоть въ шуточной формѣ поэтъ поминаетъ такую народную сказательницу: „сказки сказывать мы станемъ; мастерица вѣдь была! и откуда что брала? а куда разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины Православной Старины!... Слушать такъ душѣ отрадно; кто придумалъ ихъ такъ складно? и не пиль бы и не ъль, все бы слушаль, да глядѣль“ (II, 149—150). Эти пѣсни и сказки, несмотря на разницу въ складѣ, въ содержаніи тѣсно связаны съ именемъ Пушкина, какъ русского поэта. Отъ

появленія „Руслана и Людмилы“ 1820 г. до „Русалки“ 1832 г. (можетъ быть, обработанной, но не оконченной позднѣе, за смертью поэта) Пушкинъ оставался вѣренъ „духу русскаго языка“, оставался защитникомъ его народности отъ нападеній критики. Вотъ нѣсколько откровенныхъ признаній поэта въ письмахъ и критическихъ замѣткахъ: „я не люблю видѣть въ первобытномъ нашемъ языкѣ слѣды европейскаго жеманства и французской утонченности. Грубость и простота болѣе ему пристали“ (1823 г.); „о стихахъ Грибоѣдова я не говорю—половина должна войти въ пословицу“ (1825 г.); „преданія русскія ничуть не уступаютъ въ фантастической поэзіи преданіямъ ирландскимъ и германскимъ“ (1831 г.); „изученіе старинныхъ пѣсенъ, сказокъ и т. п. необходимо для совершенного знанія свойствъ русскаго языка; критики наши напрасно ими презираютъ“ (V, 128); „низкими словами я почитаю тѣ, которые выражаютъ низкія понятія; но никогда не пожертвую искренностію и точностью выраженія провинциальнай чопорности, изъ боязни казаться простонароднымъ, славянофиломъ, или тому под.“ (V, 133); „не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онъ говорять удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ“ (136). Языку Пушкина не препятствуетъ оставаться до сихъ поръ образцовымъ славянскій элементъ, въ видѣ нѣкоторыхъ реченій (се, днесъ, сей, кои, гласъ, пітъ, сущій, младое, объемлетъ, могущій, вотще), которые употребляются Пушкинымъ съ чувствомъ мѣры и не во всѣхъ произведеніяхъ. Историческое значеніе этого славянскаго элемента не отнимаетъ у языка нашего славнаго поэта непоколебимости, такъ сказать, вѣчной красоты, не отнимаетъ и внутренняго содержанія выраженій, понятнаго по преданіямъ вѣры и быта или, по широкому древнерусскому выражению,—„земли“, исключающему узкость племенныхъ или кровныхъ отношеній.

Надо читать нападенія русской критики двадцатыхъ—тридцатыхъ годовъ на неправильность выраженій и словъ въ сочиненіяхъ Пушкина, чтобы понять его мелкія замѣчанія, разсѣянныя въ разныхъ сочиненіяхъ о „свободѣ нашего богатаго и прекраснаго языка“, о „коренныхъ русскихъ словахъ“ изъ просторѣчія, употребленію которыхъ не должно мѣшать (примѣчаніе къ V главѣ „Евгения Онѣгина“). Нападенія эти напоминаютъ борьбу, начатую противниками Карамзина и свидѣтельствуютъ о равномъ значеніи Пушкина въ преобразованіи русскаго слога съ Карамзинымъ. Не будемъ повторять

сказанного въ первой главѣ объ отношеніи Пушкина ко взглядамъ и дѣятельности его предшественниковъ въ области русскаго языка. Скажемъ только въ дополненіе къ предыдущему вообще о складѣ поэтической рѣчи Пушкина. Даже филологъ-лингвистъ остановится съ изумленіемъ на гармоніи согласныхъ и гласныхъ звуковъ въ стихахъ Пушкина: часто мы видимъ полную симметрію въ количествѣ согласныхъ и гласныхъ (широкихъ и узкихъ) въ соответствующихъ стихахъ, не говоря о риѳмахъ, о точности языка, о естественномъ, непринужденномъ теченіи поэтической рѣчи, о гармоническомъ сочетаніи повтореній, куплетовъ, и проч. Вотъ примѣры:

Съ утра садимся мы въ телѣгу;  
Мы погоняемъ съ ямщикомъ...

И вѣтеръ, лаская листочки древесъ,  
Тебя съ успокоенныхъ гонить небесь.

Парки бабье лепетанье,  
Спящей ночи трепетанье,  
Жизни мышья бѣготня.

Но изящество рѣчи не составляло бы еще той заслуги Пушкина въ русской литературѣ, какую мы признаемъ за нимъ, спустя сто лѣтъ съ его рожденія, если бы съ нимъ не соединялось изящество образа мыслей. Не даромъ множество стиховъ, выражений Пушкина сдѣлались пословицами, афоризмами, мыслями философа, литератора, историка. Поэтъ не преувеличивалъ, когда приравнивалъ себя къ „эхо русскаго народа“ (1819 г.).

Закончимъ наши бѣглые замѣтки о поэзіи А. С. Пушкина слѣдующими словами его первого строгаго критика—Надеждина: „Было время, когда каждый стихъ Пушкина считался драгоценнымъ приобрѣтеніемъ, новымъ перломъ нашей литературы. Какой общій, почти единодушный восторгъ привѣтствовалъ первые свѣжіе плоды его счастливаго таланта! Какія громозвучныя рукоплесканія встрѣтили Евгенія Онѣгина въ колыбели“<sup>1</sup>)!

<sup>1</sup>) Лѣтоиси отечественной литературы. Телескопъ 1832 г.

Нельзя не привести и мелькомъ оброненного въ 1842 г. (Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго, VI, 1882 г., 233 стр.) отзыва знаменитаго критика, со дня кончины котораго истекло тоже полстолѣтіе: „Стихъ Пушкина — это вѣковѣчный образецъ, неумирающій типъ русскаго стиха: не было и не будетъ лучшаго. Искусство какъ искусство, поэзія какъ поэзія на Руси — это дѣло Пушкина. Безъ него не было бы у насъ поэзіи; и это потому, что онъ былъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, можетъ быть, въ ущербъ своей великолѣпности въ другихъ значеніяхъ. И вотъ почему — повторяемъ — отъ него ведемъ мы русскую поэзію и называемъ его первымъ, даже по времени, русскимъ поэтомъ“.

Наконецъ, и опредѣленіе первого восторженнаго критика Пушкинской эпохи, Н. А. Полевого, достойно воспоминанія по отношенію къ избранной нами темѣ: „какую заслугуоказалъ Пушкинъ выраженію нашей поэзіи, нашему стиху. Стихъ русскій гнулся въ рукахъ его, какъ мягкой воскъ въ рукахъ искуснаго ваятеля; онъ пѣлъ у него на всѣ лады, какъ струна на скрипкѣ Паганини. Нигдѣ не является стихъ Пушкина такимъ мелодическимъ, какъ стихъ Жуковскаго, нигдѣ не достигаетъ онъ высокости стиховъ Державина; но зато въ немъ слышна гармонія, составленная изъ силы Державина, нѣжности Озерова, простоты Крылова и музыкальности Жуковскаго“.



Печ. въ тип. Петра Барскаго.

А. Л. Давыдовъ.

Digitized by Google



# А. С. Пушкинъ

ВЪ РЯДУ ВЕЛИКИХЪ ПОЭТОВЪ НОВАГО ВРЕМЕНИ<sup>1)</sup>.

---

Настоящими торжественными чествованіями величайшаго изъ русскихъ поэтовъ блистательно оправдываются вѣщія слова его о томъ, что „слухъ“ о немъ „пройдетъ по всей Руси великой, и назоветъ“ его „всякъ сущій въ ней языкъ“. Въ этотъ всенародный праздникъ нашей родной поэзіи, какого у насъ никогда еще не бывало, всюду на Руси, даже среди цыганъ Бессарабіи, „дѣтей степей и лѣсовъ дремучихъ“, горячо и въ полномъ умиленіи сердца, провозглашать славу Пушкину, и тѣнь великаго поэта, претерпѣвшаго столько невзгодъ и горестей при жизни и не разъ подвергавшагося незаслуженному пренебреженію по смерти, возможеть утѣшиться. Еслибы ей было даровано незримое присутствіе среди насъ, то исполнилось бы обѣщанное поэтомъ потомку во время скитальчества по нашему югу:

Бреговъ забвенія оставилъ хладну сѣнь,  
Къ нему слетить моя признателная тѣнь,  
И будетъ мило мнѣ его воспоминанье! <sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Рѣчь, произнесенная 26-го мая въ сокращеніи.

<sup>2)</sup> Сочиненія А. С. Пушкина, Издание Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, подъ редакціею и съ объяснительными примѣчаніями П. О. Морозова, Спб. 1887, т. I, 260. Въ послѣдующихъ ссылкахъ, гдѣ будутъ указываемы томы и страницы безъ другихъ поясненій, выдержки будутъ приводимы по этому изданию.

Никогда еще на Руси не видѣли такого общаго чествованія національного поэта. Предъ памятью Пушкина преклонятся всѣ безъ различія русскіе люди, и чувства ихъ раздѣлятъ родственныя славянскія племена и многіе другіе просвѣщенные иноземцы. Всѣ признаютъ великое историческое значеніе поэзіи Пушкина.

Всѣ согласятся въ такой оцѣнкѣ значенія этой поэзіи потому, что оно безспорно и яснѣ самаго свѣтлого дня. Подвигъ Пушкина превосходитъ услугу всякаго другого писателя русской земли въ новое время.

Со времени Баратынского не разъ справедливо замѣчали, что Пушкинъ совершилъ въ нашей литературѣ приблизительно то же, что Петръ В. сдѣлалъ для русскаго государства. Пушкинъ поставилъ нашу поэзію на одинъ уровень съ западно-европейскою и вмѣстѣ явился истиннымъ творцомъ нашей просвѣщенійной литературной самобытности. Въ новомъ періодѣ нашей словесности онъ—первый дѣйствительно національный поэтъ въ высшемъ смыслѣ этого слова: онъ владѣлъ и иноземными сокровищами поэтическаго наслѣдія и черпалъ въ то же время изъ богатыхъ родниковъ русской жизни, русской души и родной поэзіи.

Въ содержаніи и формѣ поэтическихъ произведеній должно различать свое, какъ индивидуальное и національное, и чужое, какъ инородное, либо вообще международное. Богатствомъ идей и содержанія и степенью самостоятельности въ претвореніи заимствованнаго материала и одновременно художественности формы измѣряется значеніе отдельныхъ поэтовъ и цѣлыхъ литературъ. Проблема сочетанія своего съ чужимъ возникла, вѣроятно, уже съ древнѣйшихъ временъ въ болѣе или менѣе безсознательномъ усвоеніи общечеловѣческаго культурнаго достоянія. Вполнѣ отчетливо она представилась сознанію уже въ вѣка античной образованности и опредѣленнаго вліянія греческой литературы на римскую. Постепенно, по мѣрѣ усложненія и усовершенія культуры, возрастаетъ для литературы трудность соблюденія свой самостоятельности при сохраненіи въ то же время полной связи съ общимъ культурнымъ движеніемъ. Въ ряду европейскихъ литературъ въ такомъ особо затруднительномъ положеніи оказалась, кромѣ нѣкоторыхъ другихъ славянскихъ литературъ, наша поэзія съ XVIII в. въ силу того, что Русь поздно примкнула вполнѣ къ общеевропейскимъ литературнымъ теченіямъ, и ей нелегко было выбиться изъ рутинной узкой колеи древне-русской церковности. Но, наконецъ, послѣ цѣлаго вѣка

все большаго и большаго приближенія къ общеевропейскому литературному уровню, послѣ цѣлаго ряда близкихъ подражаній за іаднымъ образцамъ, либо неполныхъ и неглубокихъ воспроизведеній русской дѣйствительности, наша поэзія и вообще литература быстро подвинулась впередъ благодаря дѣятельности А. С. Пушкина. Авторъ „Евгения Онѣгина“, „Бориса Годунова“ и многихъ другихъ образцовыхъ поэтическихъ созданій явился первымъ крупнымъ представителемъ мощи русскаго дарованія на поприщѣ литературы. Онъ—нашъ первый великий поэтъ въ полномъ значеніи этого слова, достигшій мірового значенія, выразитель нашей духовной сущности. Онъ первый у насъ удовлетворилъ идеалу поэта, сложившемуся въ новѣйшее время. Въ поэзіи Пушкина находимъ гармоническое сочетаніе воображенія, ума и чувства и мощный подъемъ вдохновенія на почвѣ широкаго литературнаго образованія<sup>1)</sup> и выработаннаго имъ здраваго литературнаго вкуса и критицизма. Это одинъ изъ образованнѣйшихъ и вмѣстѣ умнѣйшихъ нашихъ поэтовъ. Въ немъ нѣтъ шаблонности. Пушкинъ самобытенъ. На большинствѣ его литературныхъ произведеній виденъ отпечатокъ могучаго таланта и удивительной разносторонности. И самыя эти произведенія весьма разнообразны, принадлежа почти ко всѣмъ главнымъ родамъ и видамъ творчества. Впервые въ созданіяхъ Пушкина русская поэзія стала вполнѣ правдивымъ и широкимъ воспроизведеніемъ дѣйствительности при свѣтѣ высшихъ и плодотворныхъ идей. Конечно, это воспроизведеніе сдѣгалось потомъ еще многостороннѣе, да и стихъ Пушкина былъ превзойденъ въ мягкости и мелодичности иѣкоторыми послѣдующими поэтами. Но Пушкину принадлежала заслуга первенства въ раскрытии болѣе широкихъ горизонтовъ для русской поэзіи и въ новой выработкѣ языка. Оттуда восторгъ, съ какимъ принимали его произведенія широкіе круги общества<sup>2)</sup>. Со временеми Пушкина литература стала необходимою частью нашей общественной жизни.

<sup>1)</sup> См. А. И. Кирпичникова „Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ“, Од. 1887, и въ книгѣ: „Очерки по истории новой литературы“, Спб. 1896, и нашу рѣчь: „Пушкинъ—поэтъ общеевропейскій“, К. 1887 (оттискъ изъ газ. „Кievлянинъ“ 1887). См. еще Ю. Веселовскаго, „Пушкинъ, какъ европейскій поэтъ“, газ. „Новости“ 1899, № 143.

<sup>2)</sup> Справедливо выразился о себѣ Пушкинъ, говоря о себѣ и о Дельвигѣ (исключенное обращеніе къ Дельвигу въ стихотвореніи „19 октября“ (1830; II, 126):

Явилися мы рано оба  
На ипподромъ, а не на торгъ,

Но излишне повторять въ настоящій моментъ, что Пушкинъ составилъ эпоху въ нашей словесности, что онъ—исходный пунктъ совсѣмъ нового периода развитія ея, что онъ сталъ въ литературѣ провозвѣстникомъ новыхъ путей свободного развитія нашей общественности и воспитателемъ послѣдней и тѣмъ поднялъ литературу до не-бывалаго и подобающаго ей значенія, что для многихъ изъ насъ онъ былъ глашатаемъ высокихъ идеаловъ истины, добра и красоты, и потому его поэзія дѣйствовала облагораживающимъ образомъ на цѣлый рядъ личностей и поколѣній до 60-хъ годовъ и послѣ того являлась завѣтомъ для многихъ послѣдующихъ поэтовъ. Излишне также распространяться о томъ, что послѣ Пушкина иные не видѣли ни у кого другого такого полнаго соотвѣтствія содерянія и формы, такого удивительного сочетанія поэзіи и дѣйствительности. Не эта историческая заслуга и не тотъ общепризнанный фактъ, что Пушкинъ былъ великій поэтъ въ свое время, могутъ болѣе всего останавливать наше вниманіе въ настоящій моментъ; намъ интереснѣе теперь болѣе важные вопросы общаго свойства, связывающіе съ поэзіею Пушкина, о которомъ иные говорятъ, что онъ доселѣ остается величайшимъ поэтомъ нашей земли. Исторія литературы можетъ и должна уяснить также факты большей цѣнности, чѣмъ указанія преемства литературныхъ явленій и ихъ исторической роли.

Смысль юбилейныхъ воспоминаній въ томъ именно и состоять, что они содѣйствуютъ установленію болѣе или менѣе зрѣлыхъ сужденій, невозможныхъ въ большинствѣ случаевъ для современниковъ и вообще людей, близкихъ по времени къ тому или иному дѣятелю или явленію, и самымъ отдаленіемъ перспективы уясняютъ общее, вѣковое значеніе поминаемыхъ личностей и событий, способствуютъ подведенію общихъ итоговъ и тѣмъ безконечно расширяютъ горизонты нашей мысли.

Относительно Пушкина это—дѣло, во многомъ еще не исполненное, несмотря на двукратное уже торжественное чествованіе его памяти, сопровождавшееся множествомъ рѣчей и статей. О Пушкинѣ было говорено и писано весьма много, но внутренняя послѣдовательность его развитія, основныя идеи, чувствованія и поэтическія по-

---

Вблизи Державинскаго гроба,  
И шумный встрѣтилъ насъ восторгъ...

Воронцовъ писалъ въ 1824 г. (см. „Вѣд. Од. Градонач.“ 1899) объ „экзальтированныхъ поклонникахъ поэзіи Пушкина“, „экзальтированныхъ молодыхъ людяхъ“.

строенія, составляющія существенное содержаніе его поэзіи, и общий смыслъ послѣдней все еще остаются не вполнѣ порѣшеннымиъ вопросомъ нашей критики. И ей еще предлежитъ выяснить, дѣйствительно ли Пушкинъ великъ и теперь, какъ былъ великъ для своего времени, и если онъ великъ для насъ и въ настоящемъ, то почему? Истинно величія созданія человѣческаго творчества имѣютъ значеніе не только для своего времени, но и для послѣдующихъ<sup>1)</sup>. Спрашивается, приналежать ли и произведенія Пушкина къ такимъ твореніямъ?

Этотъ вопросъ тѣмъ умѣстнѣе, что слава Пушкина подвергалась неоднократнымъ колебаніямъ. Ужѣ при его жизни она была не одинаково громка въ тѣ два главные періода, которые можно различать въ его дѣятельности, начавшой принимать новое направленіе не подъ вліяніемъ только Николаевскаго царствованія, но и въ силу естественной эволюціи въ духѣ самого поэта, замѣчающейся уже во время пребыванія его въ с. Михайловскомъ по возвращеніи изъ пребыванія на югъ.

### Въ годы юности Пушкина

....: возвышенныя чувства,  
Свобода, слава и любовь  
Такъ сильно волновали кровь<sup>2)</sup>.

### Одновременно съ этимъ поэтъ мечталъ

Свой духъ воспѣменивъ жестокимъ Ювеналомъ,  
Въ сатирѣ праведной порокъ изобразить  
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажить.

Пушкинъ призывалъ музу пламенной сатиры; онъ не желалъ „гримящей лиры“, а хотѣлъ Ювеналова бича отъ Музы и „готовилъ язву эпиграммъ“ на „лица безстыдно блѣдны“ и „лбы широкомѣдные“<sup>3)</sup>.

Соответственно тому, его чернильница,

<sup>1)</sup> Ср. V, 130: „Произведенія великихъ поэтовъ остаются свѣжі и вѣчно юны—и между тѣмъ какъ великие представители старинной астрономіи, физики, медицины и философіи одинъ за другимъ старѣютъ и одинъ другому уступаютъ мѣсто, одна поэзія остается на своемъ неподвижно и никогда не теряетъ своей молодости“.

<sup>2)</sup> I, 292.

<sup>3)</sup> I, 72; ср. 35—36 и II, 161—162.

Любовница свободы,...  
 Прославила вино  
 И прелести природы;  
 ... съмъху обрекла  
 Пустыхъ любимцевъ моды  
 И рѣчи и дѣла.  
 Съ глупцовъ сорвавъ одежду,

поэтъ

... весело клеймиль  
 Зоила и невѣжды  
 Пятномъ своихъ чернилъ<sup>1)</sup>.

Пушкинъ подвергъ суровому приговору близкія къ нему по времени царствованія Екатерины II, Павла I и въ особенности свое собственное время,—Александра I (собственно вторую половину его),—которое собирался и позже изобразить „перомъ Курбскаго“:

Вездѣ бичи, вездѣ желѣза,  
 Законовъ гибельный позоръ,  
 Неволи немощная слезы и проч.<sup>2)</sup>.

Пушкинъ писалъ болѣе, чѣмъ либеральные стихотворенія. Его оппозиціонная пѣсенка *Noël*, язвительно осмѣшивавшая слухи о предстоявшемъ дарованіи имперіи новыхъ (конституціонныхъ) установленій императоромъ Александромъ I, была весьма распространена въ оппозиціонныхъ кругахъ<sup>3)</sup>.

Эти вольности пера Пушкина были причиной, что его

Средь оргій жизни шумной  
 Постигнуль остракизмъ<sup>4)</sup>.

Но онъ

...не унизилъ вѣкъ измѣнной беззаконной  
 Ни гордой совѣсти, ни лиры непреклонной<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> I, 244—245.

<sup>2)</sup> I, 219, также Ода „Вольность“ въ Берлинскомъ изданіи не разрѣшенныхъ цензурою стихотвореній Пушкина.

<sup>3)</sup> VII, lxi.

<sup>4)</sup> I, 295.

<sup>5)</sup> I, 260.

Въ его стихахъ постоянно прославлялась „свобода“, и Пушкинъ продолжалъ подвизаться на поприщѣ не только личной, но и той общественной сатиры, которая была такъ спасительна для нась, начиная со времени Кантемира и въ особенности со времени Екатерины II-й. Изъ-подъ пера Пушкина выходили юдкія эпиграммы:

...Пушкина стихи въ печати не бывали.  
Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали <sup>1)</sup>.

Пушкинъ возставалъ противъ различныхъ печальныхъ явлений утѣсненія, начиная съ крѣпостного права и оканчивая крайностями цензурныхъ придиrokъ:

.....не стыдно ли, что на святой Руси,  
Благодаря тебѣ, не видимъ книгу доселѣ?  
На поприщѣ ума нельзя намъ отступать ..  
Старинной глупости мы праведно стыдимся,  
Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся,  
Когда никто не смѣлъ отечества назвать,  
И въ рабствѣ ползали и люди, и печать <sup>2)</sup>?

Въ тотъ періодъ своей дѣятельности Пушкинъ былъ писателемъ въ направленіи, которое такъ цѣнить наша либеральная партія. Онъ былъ членомъ кружка П. Я. Чаадаева, кн. П. А. Вяземскаго, А. И. Тургенева, кн. В. Ф. Одоевскаго и былъ пріятелемъ не только Карамзина и Жуковскаго, но и декабристовъ. По собственному заявленію Пушкина <sup>3)</sup>, онъ очутился бы въ числѣ декабристовъ въ роковой для нихъ день, если бы не находился въ то время въ с. Михайловскомъ. Пушкинъ былъ тогда кумиромъ оппозиціонной и либеральной партіи, и пьедесталъ его въ то время былъ, по словамъ кн. П. А. Вяземскаго <sup>4)</sup>, „выше другаго“.

Но уже до катастрофы 14-го декабря 1825 г., во время пребыванія Пушкина въ с. Михайловскомъ, замѣчаются симптомы поворота въ некоторыхъ изъ мнѣній молодого поэта, а то грозное собы-

<sup>1)</sup> I, 317.

<sup>2)</sup> I, 318.

<sup>3)</sup> II, 2, и Отвѣтъ на вопросъ имп. Николая.

<sup>4)</sup> Письмо въ с. Михайловское.

тіе и судьба заговорщиковъ должны были усилить работу мысли Пушкина въ новомъ направлениі. Пушкинъ не измѣнялъ до конца своихъ дней въ сочувствіи своимъ друзьямъ-декабристамъ, имѣль столкновенія съ полиціею и цензурою и въ началѣ нового царствованія<sup>1)</sup>, подвергался утѣшненіямъ со стороны гр. Бенкendorфа и т. п., но уже не былъ душою оппозиціонной партіи, и съ сентября 1826 г., со времени коронаціи нового императора въ Москвѣ, началось сближеніе поэта съ послѣднимъ<sup>2)</sup>. Отправляясь тогда во дворецъ, Пушкинъ мнилъ себя „пророкомъ Россіи“, представившимъ „съ вервьемъ вокругъ смиренной выи“<sup>3)</sup>. Императоръ, однако, „царственную руку подалъ“ поэту, „почтиль вдохновеніе, освободилъ мысль“ его, и Пушкинъ, котораго „текла въ изгнаньѣ жизнь“, который „влачилъ съ ми-лыми разлуку“, очутился снова съ ними<sup>4)</sup>.

Постепенно, достигая умственной зрѣлости, Пушкинъ сталъ иначе, чѣмъ прежде, относиться къ русскому самодержавію, или „самовластію“, какъ выражались русскіе либералы въ концѣ Александровской эпохи и онъ самъ<sup>5)</sup>; пересталъ быть космополитомъ послѣ 1830 г. и вообще измѣнилъ многія изъ своихъ прежнихъ мнѣній.

Соответственно всему этому произошло охлажденіе къ Пушкину въ русскомъ высшемъ обществѣ и въ нашей критикѣ. Уже въ 1828 году Пушкину пришлось оправдываться передъ друзьями въ лести и писать:

Нѣть, я не листецъ, когда царю  
Хвалу свободную слагаю:  
Я смѣло чувства выражаютъ,  
Языкомъ сердца говорю<sup>6)</sup>.

Въ другомъ стихотвореніи того же года читаемъ:

И сердцу вновь наносить хладный свѣтъ  
Неотразимыя обиды<sup>7)</sup>.

<sup>1)</sup> И. А. Шляпкина. Къ біографіи А. С. Пушкина, Спб. 1899, стр. 26—28.

<sup>2)</sup> Объ отношеніяхъ ихъ см. ст. Е. Пѣтухова: „Пушкинъ и императоръ Николай“ (Историч. Вѣсти).

<sup>3)</sup> II, 3.

<sup>4)</sup> II, 29.

<sup>5)</sup> См., напр., V, 14 и „Ост. арх.“

<sup>6)</sup> II, 29—30: „Друзьямъ“

<sup>7)</sup> II, 37.

Пушкину иные не могли простить примиренія съ правительстvомъ, камерь-юнкерства и т. п<sup>1</sup>), и онъ очутился въ обычномъ положеніи человѣка, нѣсколько отдалившагося оть одной партіи и не приставшаго вполнѣ къ другой, потому что не вполнѣ раздѣлялъ ея взгляды. Съ другой стороны, въ литературѣ оть Пушкина отшатнулись не только литературные старовѣры и противники новаго, романтическаго вѣянія, но и вообще русская критика конца 20-хъ и первой половины 30-хъ годовъ оказалась ниже пониманія простой красоты его поэзіи, свободной оть прикрасъ и вычурности, въ томъ числѣ и романтической. На первыхъ порахъ критика какъ бы не доросла до того новаго направленія поэзіи, какому полагалъ у нась начало Пушкинъ. Надеждинъ зачислилъ однажды Пушкина въ „сожмуще нигилистовъ“. Иные изъ критиковъ порѣшили, что оть поэта нельзя было уже ждать ничего дѣнного. Бѣлинскій въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ 1834 г. писалъ: „Теперь мы не узнаемъ Пушкина; онъ умеръ или, можетъ быть, только обмеръ на время...“ И Пушкину, который въ годы послѣ созданія „Бориса Годунова“ и „Евгения Онѣгина“ поднимался на болѣе высокую ступень творчества, оставалось съ грустью отмѣтить неуспѣхъ своихъ произведеній<sup>2</sup>), ничтожество русской литературной критики<sup>3</sup>) и отстаивать свободу своего вдохновенія и творчества въ своихъ извѣстныхъ лирическихъ произведеніяхъ, о которыхъ скажемъ ниже.

Обаяніе Пушкина среди читателей было, однако, столь велико<sup>4</sup>), что критикѣ, не одобрявшей его произведеній по двумъ указаннымъ

<sup>1</sup>) Письмо В. Г. Бѣлинского къ Н. В. Гоголю съ предисловіемъ М. Драгоманова, Geneve 1880, стр. 7: „Разительный примѣръ Пушкинъ, которому стоило написать только два-три вѣрноподданническихъ стихотворенія и надѣть камерь-юнкерскую ливрею, чтобы вдругъ лишиться народной любви!“ Ср. въ цит. замѣткѣ Мицкевича.

<sup>2</sup>) V, 132: „Habent sua fata libelli. Полтава не имѣла успѣха. Можетъ быть, она его и не стояла, но я былъ избалованъ пріемомъ, оказаннымъ моими прежнимъ, гораздо слабѣйшимъ произведеніямъ“ и т. д. Тамъ же, 126: „Наші критики долго оставляли меня въ покое... Первые непріязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатаніи четвертой и пятой пѣсни Евгения Онѣгина“, т. е. въ 1828 г.

<sup>3</sup>) См. V, 72—73: „О литературной критикѣ“; „Критическая замѣтка“, V, стр. 111 и слѣд. Отмѣтимъ: „обвиненія нелитературныхъ... нынѣ въ большой модѣ“; „оскорблена личныи и клеветы нынѣ, къ несчастію, слишкомъ обыкновенныи“; „Самъ сѣешь есть нынѣ главная пружина нашей журнальной политики“ и т. п. Къ Бѣлинскому Пушкинъ отнесся мягче.

<sup>4</sup>) Объ отношеніи молодежи къ Пушкину въ моментъ его смерти см. хотя бы въ воспоминаніяхъ Гончарова и въ извѣстномъ стихотвореніи Лермонтова на смерть Пушкина.

основаніямъ, въ особенности же по причинѣ мнімой отсталости поэта<sup>1)</sup>), нелегко было покончить съ нимъ и оставалось выискивать подходящій компромиссъ.

Отъ этого изворота не остался свободенъ и лучшій изъ нашихъ критиковъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, В. Г. Бѣлинскій, въ статьяхъ, относящихся къ послѣднему періоду его дѣятельности, когда онъ оцѣнивалъ литературныя произведенія премущественно съ соціальной точки зренія, со стороны споспѣществованія ихъ общественному прогрессу. Бѣлинскій какъ будто восхищался нѣкоторыми произведеніями Пушкина въ частности, какъ образцовыми художественными созданіями<sup>2)</sup>, но ставилъ низко другія<sup>3)</sup>. Не находя въ важнѣйшихъ произведеніяхъ періода зрелага творчества Пушкина прямого отклика на ближайшіе, по мнѣнію критика, запросы дѣятельности, хотя и позднѣйшая поэзія Пушкина постоянно была полна немаловажныхъ соотношеній съ современностью и хотя въ поэзіи важно не только вниманіе къ злобѣ дня и выраженіе тѣхъ или иныхъ общественныхъ симпатій, но и служеніе общимъ интересамъ человѣчности и воспроизведеніе общихъ идеаловъ народности, знаменитый критикъ заявилъ въ концѣ своихъ статей о Пушкинѣ: „Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ-художникъ, и больше ничтъмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому, онъ навсегда останется великимъ, образзовымъ”

<sup>1)</sup> V, 130: „Еъ одномъ изъ нашихъ журналовъ было сказано, что VII глава (Онѣгина) не могла имѣть никакого успѣха, ибо нашъ вѣкъ и Россія идутъ впередь, а стихотворецъ остается на прежнемъ мѣстѣ“. Ср. Сочиненія Бѣлинскаго, ч. VIII, изд. 4-е, М. 1880, стр. 341: „Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая нѣсколько лѣтъ сраду провозглашала Пушкина „съвернымъ Байрономъ“ и „представителемъ современного человѣчества“, даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ „высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка“... Несмотря на смѣшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередь, и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности“.

<sup>2)</sup> Напр., „Каменнымъ Гостемъ“, который, по его мнѣнію (VIII, 692), „въ художественномъ отношеніи есть лучшее созданіе Пушкина“.

<sup>3)</sup> VIII, 693—694: „Въ 1831 году вышли повѣсти Бѣлкина“, холодно приняты публикою, и еще холоднѣе журналами. Дѣйствительно, хотя нельзя сказать, чтобы въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все таки эти повѣсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родѣ повѣстей Карамзина, съ тою только разницей, что повѣсти Карамзина имѣли для своего времени великое значеніе, а повѣсти Бѣлкина были ниже своего времени“. Знаменитый критикъ упустилъ изъ виду хотя бы столь излюбленный имъ реализмъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ повѣстей.

мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежить ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство *чуманности*, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка... Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, но твореньямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...“<sup>1)</sup>). Такимъ образомъ, въ концѣ концовъ Бѣлинскій призналъ за поэзіею Пушкина лишь благотворное эстетическое и моральное воздействиѳ и усматривалъ въ ней по преимуществу художественныя достоинства, а въ ея авторѣ поэта-эстетика. Для полнаго пониманія смысла такихъ сужденій необходимо принять во вниманіе, что красоту формы вообще Бѣлинскій не ставилъ на первомъ мѣстѣ. „Главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ“, писалъ онъ Боткину. Великаго народнаго и общественнаго значенія поэзіи Пушкина и по содержанію ея помимо отмѣченныхъ ея художественныхъ достоинствъ, гражданскихъ мотивовъ ея, Бѣлинскій не призналъ и не могъ признать, потому что въ силу односторонности своего взгляда не всегда могъ оцѣнить иныхъ изъ премуществъ Пушкинскихъ произведеній<sup>2)</sup>), да и не вполнѣ вѣрно понималъ самого поэта<sup>3)</sup>). Поэтому же не разгадалъ онъ идейной стороны въ поэзіи Пушкина и

<sup>1)</sup> VIII, 696—697.

<sup>2)</sup> II, 631: „Вообще, надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русского духа и русской жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судить обо всемъ русскомъ... Что до утвержденія Бѣлинскаго, что Пушкинъ „увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему“, то напомнимъ хотя бы слова Пушкина: „Карамзинъ подъ конецъ былъ мнѣ чуждъ“ (VII, 258) и укажемъ на лекцію И. Н. Жданова „О драмѣ А. С. Пушкина: „Борисъ Годуновъ“, Спб. 1892, стр. 12 и слѣд.). О Бѣлинскомъ въ оцѣнкѣ произведеній Пушкина можно сказать прямо противоположное его отзыву о Пушкинѣ: такъ какъ „все русское“ не „слишкомъ срослось съ нимъ“, онъ не понялъ вѣкоторыхъ существенныхъ достоинствъ „Капитанской дочки“, хотя и признавалъ ее „однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы“ (VIII, 694). См. обѣ этомъ произведеніи Н. И. Чернѣева: „Капитанская дочка“ Пушкина, историко-критический этюдъ, Оттискъ изъ журнала Русское Обозрѣніе 1897 г. М. 1897.

<sup>3)</sup> См., напр., VIII, 632: Пушкинъ „въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта“. Замѣтимъ по этому поводу, что и самъ Бѣлинскій долго добивался утвержденія въ дворянскомъ званіи, и его ходатайство о томъ увѣличалось успѣхомъ лишь незадолго до его смерти. См. ст. А. С. Архангельскаго. Приведемъ далѣе столь же неосмотрительныя и поверхностныя сужденія Бѣлинскаго: „Первыми своими произведеніями Пушкинъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но

первенствующаго значенія послѣдней въ русской литературѣ XIX в.<sup>1)</sup>. Бѣлинскій не могъ открыть у Пушкина глубокихъ и оригинальныхъ идей и художественныхъ концепцій непреходящаго значенія. Безспорно, весьма крупная заслуга Бѣлинскаго въ оцѣнкѣ поэзіи Пушкина заключалась въ раскрытии художественности послѣдней. Дѣйствительно, красота поэзіи Пушкина столь велика, что послѣ того никто уже не отрицалъ ея, — даже самые строгіе критики этой поэзіи. Но въ этомъ ли ея существенная черта? Бѣлинскій, настаивая преимущественно на такомъ ея значеніи, допустилъ одинъ изъ тѣхъ немалочисленныхъ промаховъ, которые заставляютъ умѣрить чрезмѣрное, впадавшее въ излишній панегиризмъ, юбилейное восхваленіе его критической проницательности. Для надлежащей оцѣнки такихъ одностороннихъ сужденій, какъ высказанныя Бѣлинскимъ, достаточно принять во вниманіе отзывы лицъ, хорошо знавшихъ Пушкина и компетентныхъ не менѣе знаменитаго нашего критика, напр., Мицкевича. Этотъ поэтъ и вмѣстѣ съ критикомъ, кото-раго нельзя же заподозрить въ особомъ пристрастіи къ Пушкину, призналъ за послѣднимъ не только „un jugement sûr, un gout délicat et exquis“, но и „la vivacité, la finesse et la lucidité de son esprit“<sup>2)</sup>.

ничего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной (*sic!*) натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его „стишкахъ“, которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи, — нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипить, то силь избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ обѣ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его „стишковъ“ скоро кончилась, потому что скоро понялъ онъ (*sic!* а стремленіе Пушкина къ публицистической дѣятельности въ послѣдніе годы его жизни?), что ему надо быть только художникомъ, и больше ничѣмъ, ибо такова его натура, а, слѣдовательно, таково и призваніе его“. Можно бы и еще указать подобная невѣрная разсужденія у Бѣлинскаго, срывавшіяся съ пера не послѣ глубокаго и спокойнаго изученія предмета, а въ пылу страстнаго увлеченія излюбленной идеей, какъ, напр., разобранный г. Кирпичниковымъ (Очерки, стр. 145 и слѣд.). См. еще у Трубачева: Пушкинъ въ русской критикѣ, Спб. 1889, стр. 310—311 и въ статьѣ Краснова, Книжки Недѣли, май 1899.

<sup>1)</sup> Въ оригиналѣ статьи Бѣлинскаго о второмъ изданіи „Мертвыхъ душъ“, (юбилейное изданіе „Семь статей Бѣлинскаго“, М. 1898, стр. 153), писанной незадолго до его кончины, величайшимъ произведеніемъ русской литературы были признаны „Мертвые души“. Точно также и Чернышевскій, Очерки Гоголевскаго периода русской литературы, Изд. М. Н. Чернышевскаго, Спб. 1892, стр. 10—11, писалъ: „Мы называемъ Гоголя безъ всякаго сравненія величайшимъ изъ русскихъ писателей, по значенію“.

<sup>2)</sup> Статья Мицкевича въ „Globe“ 1837 г. Теперь русскій переводъ съпольскаго ея текста данъ въ „Mіръ Божіємъ“ 1899, № 5.

Оставляю въ сторонѣ отзывы другихъ великихъ современниковъ о Пушкинѣ, какъ о замѣчательномъ мыслителе<sup>1)</sup>.

Такъ, Пушкинъ, какъ - то часто бываетъ, не былъ правильно понятъ и оцѣненъ критикой своего и ближайшаго времени.

Бѣлинскій явился начинателемъ того отношенія къ поэзіи Пушкина, которое держалось въ русской критикѣ на первомъ мѣстѣ до 70-хъ годовъ нашего вѣка, которое повторилъ безъ рѣзкихъ крайностей талантливый Чернышевскій<sup>2)</sup>, а съ преувеличеніями — даровитый, но не глубокій отрицатель значенія поэзіи Пушкина, основываемаго на ея художественности, Писаревъ, примѣнившій къ поэзіи съ горячностью и запальчивостью слишкомъ увлекающейся молодости страстныя требованія момента<sup>3)</sup>, и которое довелъ, наконецъ, до Геркулесовыхъ столбовъ Зайцевъ<sup>4)</sup>. Молодежь увлеклась этими крайними сужденіями въ силу присущихъ ей свойствъ и значенія, которое уже съ временъ Пушкина придавали у насъ тенденціозности<sup>5)</sup>. На-

<sup>1)</sup> См. въ началѣ этюда Мережковскаго.

<sup>2)</sup> См., напр., Очерки Гоголевскаго периода, стр. 18: „Что касается сатирическаго направленія въ произведеніяхъ Пушкина, то оно заключало въ себѣ слишкомъ мало глубины и постоянства, чтобы производить замѣтное дѣйствіе на публику и литературу. Оно почти совершенно пропадало въ общемъ впечатлѣніи чистой художественности, чуждой опредѣленнаго направленія (sic).— такое впечатлѣніе производить не только всѣ другія лучшія произведенія Пушкина— „Каменій гость“, „Борисъ Годуновъ“, „Русалка“ и проч., но и самыи „ОНѣгінъ“.

<sup>3)</sup> Справедливую оцѣнку аргументаціи Писарева касательно Пушкина представилъ В. С. Соловьевъ, Судьба Пушкина, Спб. 1898, стр. 22—23.

<sup>4)</sup> См., напр., въ его статьѣ: „Гейне и Бернѣ“, Русское Слово 1863 г., № 9, стр. 27: „Мы не современники Пушкина, однако же можемъ серьезно относиться къ его шалостямъ, въ родѣ „Оды къ свободѣ“; иностранецъ, для которого личность Пушкина сама по себѣ совершенно неизвѣстна, удивится такому взгляду на произведеніе, которое можетъ на него произвести сильное впечатлѣніе. Мы бы тоже, можетъ быть, испытали это впечатлѣніе, но намъ мѣшаютъ чувствовать его другое впечатлѣніе, впечатлѣніе всего того, что мы знаемъ о личности поэта. Оно приходитъ намъ на память при чтеніи „Оды къ свободѣ“, и мы можемъ только презрительно улыбаться, читая ее“ и т. п.

<sup>5)</sup> Справедливо замѣтилъ А. Daudet, Notes sur la vie, La Revue de Paris, 15 Mars 1899, p. 337: „La jeunesse moins prise par les poëtes, les romanciers, que par les critiques, les historiens, doctrinaires, dogmatiques, qui continuent l'école“. Ср. въ ст. по поводу „Отцовъ и дѣтей“, въ журнальѣ „Время“ 1862, № 4, стр. 50 и слѣд. замѣчанія объ искаііи „поученія, наставлениія, проповѣдей“, составлявшемъ „признакъ тревожнаго, болѣзеннаго, напряженнаго состоянія нашего общества“. — И. С. Тургеневъ объяснялъ охлажденіе къ Пушкину въ 60-хъ годахъ тѣмъ, что „настало новое время, появились неожиданныя, небывалыя потребности, стало не

прачно Анненковъ<sup>1)</sup>, Григорьевъ<sup>2)</sup> и другіе, иногда не совсѣмъ удачно, указывали на несправедливость отношенія къ Пушкину, утверждавшагося въ русской критикѣ и вслѣдъ за нею въ нѣкоторыхъ слояхъ русского общества второй половины 50-хъ и въ 60-хъ годахъ

до художественности, восхищаться которой могли наравнѣ съ народными нуждами только записные словесники. Чувства Пушкина стали анахронизмомъ". О. Б., Вѣновъ на Памятникъ Пушкину, Спб. 1880, стр. 50. Въ этихъ словахъ не мало неудачныхъ замѣчаній, начиная съ указанія въ духѣ критики Бѣлинского и его последователей на художественность, какъ на существенную черту Пушкинской поэзіи, и оставлено безъ вниманія общественное значеніе ея и ея болѣе глубокой смыслъ, а также и то, что охлажденіе либеральной партіи къ Пушкину вело начальство издавна.

<sup>1)</sup> Анненковъ, Воспоминанія и критические очерки, отдѣль второй, Спб. 1879, статья 1856 г.: „Старая и новая критика“ (изъ „Русскаго Вѣстника“), стр. 12: „Въ послѣднее время мы видѣли попытки заслонить, если не отодвинуть на второй планъ нашего художника по преимуществу, Пушкина, именно за его исключительное служеніе искусству. Критики, съ выраженіемъ глубокаго уваженія и горячихъ симпатій къ его дѣятельности, принуждены были однажды, ради послѣдовательности въ убѣжденіяхъ и во имя существенного содержанія и направленія, пожертвовать этимъ именемъ, столь любезнымъ еще нашей публикѣ. Явление печальное, особенно потому, что слѣдствіемъ его, если бы мнѣніе укоренилось, было бы непремѣнно загрубленіе литературы“. Стр. 13—14: „кто же не отнесеть къ числу практически полезныхъ предметовъ наукѣ благородно мыслить и благородно чувствовать, въ которой Пушкинъ былъ учителемъ, не превзойденнымъ доселѣ“. Какъ видно изъ этихъ строкъ, Анненковъ стоялъ на той же точкѣ зрения, чѣмъ и Бѣлинскій, во взглѣдѣ на Пушкина и отстаивалъ лишь право чистой художественности, не придавая значенія ни сатирической, ни публицистической струѣ въ дѣятельности Пушкина, ни другимъ ея сторонамъ, на которыхъ стали обращать вниманіе съ 1880 г., присмотрѣвшись къ ней повнимательнѣе.

<sup>2)</sup> Сочиненія Аполлона Григорьева, т. I, Спб. 1876, стр. 237 и слѣд. „Да, вопросъ о Пушкинѣ мало подвигнулся къ своему разрѣшенію со времени „литературныхъ мечтаний“, а безъ разрѣшенія этого вопроса мы не можемъ разумѣть настоящаго положенія нашей литературы. Одни хотятъ видѣть въ Пушкинѣ отрѣщенного художника, вѣря въ какое то отрѣщеніе, не связанное съ жизнью и не жизнью рожденное искусство, — другіе заставили бы „жреца взять метлу“ и служить ихъ условнымъ теоріямъ...“ Григорьевъ уже пролагалъ путь взгляду, развитому позже въ рѣчи Достоевскаго 1880 г. Онъ писалъ въ 1859 г.: „Пушкинъ—наше все: Пушкинъ—представитель всего нашего душевного, особеннаго, такого, что остается нашимъ душевнымъ, особеннымъ послѣ всѣхъ столкновеній съ чужими, съ другими мірами. Пушкинъ—пока единственный полный очеркъ нашей народной личности... не только въ мірѣ художественныхъ, но и въ мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій — Пушкинъ есть первый и полный представитель нашей физіономіи. Гоголь явился только мѣркою нашихъ антипатій и живымъ органомъ ихъ законности, поэтому чисто отрицательны“ и т. п. (стр. 238—240).

А. Н. Пыпинъ въ „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“<sup>1)</sup> подкрѣпилъ сужденія Бѣлинского и критики 50-хъ годовъ, разъяснивъ ихъ смыслъ оговорками, напр., указаніемъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ на реализмъ Пушкинской поэзіи.

Поворотъ и углубленіе въ мнѣніяхъ о Пушкинѣ, начавшіеся въ концѣ 70-хъ годовъ, объединившіе людей различныхъ лагерей и приведшіе къ сооруженію Московскаго памятника великому поэту въ 1880 г., сказались въ особенности во время торжества по поводу открытия того монумента. Но и „Пушкинскіе дни“ 1880 г. несмотря на „святой восторгъ, вдохновенный трепетъ, охватившій русскую интелигенцію передъ чистымъ образомъ своего гenia“<sup>2)</sup>, несмотря на единодушіе, съ какимъ всѣ признали заслуги чествовавшагося поэта<sup>3)</sup>, не разсѣяли вполнѣ укоренившихъ предразсудковъ. Достиженія громкаго успѣха рѣчи ораторовъ, говорившихъ во время тѣхъ торжествъ, въ особенности вдохновенный диорамбъ всечеловѣчности Ф. М. Достоевскаго<sup>4)</sup>, и отчасти статья Анненкова: „Общественные

<sup>1)</sup> Бѣлинскій отмѣтилъ, что Пушкинъ „въ высшей степени обладалъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника“. Первоначально монографія г. Пыпина въ видѣ отдѣльныхъ статей явилась въ „Вѣстникѣ Европы“ 1872—1873 г. и затѣмъ отдѣльной книгой, второе изданіе которой, съ исправлениями и дополненіями, вышло въ Спб. 1890 г. На 91-й—92-й стр. послѣдняго читаемъ: „Художественная высота Пушкинской поэзіи, кромѣ изумительныхъ по красотѣ произведеній личной лирики, выразилась первымъ установлениемъ того глубокаго реализма въ изображеніяхъ русской дѣйствительности, который сталъ съ тѣхъ поръ господствующей чертой нашей литературы и источникомъ ея дальнѣйшаго успѣха и современного европейскаго значенія... Трезвое чутье дѣйствительности, кроткое, гуманное чувство, запечатленныя въ его произведеніяхъ, классическая форма,—остались его художественнымъ завѣтомъ, который остался памятеньемъ для его преемниковъ, ощущавшихъ на себѣ его влияніе... Въ этомъ, а не въ какой либо общественно-политической доктринѣ заключается историческое значение Пушкина и великое наслѣдіе, оставленное имъ дальнѣйшему развитію литературы“.

<sup>2)</sup> Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, 13. См. еще воспоминанія Буквы въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ 1899.

<sup>3)</sup> Ср. Русскую Мысль 1887, № 2, Внутреннее Обозрѣніе, стр. 197; отмѣчая „проявившійся въ 1887 г. въ самой печати недостатокъ единодушія“, обозрѣватель замѣчаетъ: „Правда, и семь лѣтъ тому назадъ произошли такие эпизоды, какъ возвращеніе билета одною московскою редакціей и отказъ отъ рукоописатѣнія. Но, все-таки, вся журналистика въ то время имѣла своихъ представителей на московскомъ празднествѣ и на одновременномъ съ нимъ петербургскомъ“.

<sup>4)</sup> Рѣчь Ф. М. Достоевскаго явилась тогда въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Дневникѣ писателя“, затѣмъ въ „Вѣнкѣ“; въ настоящемъ году она перепечатана въ отдѣльномъ изданіи: Пушкинъ (очеркъ), Спб. 1899.

идеалы Пушкина<sup>1)</sup> намѣтили новые пути для надлежащаго и всесторонняго изученія Пушкина<sup>2)</sup>, но не изъяснили научно и съ надлежащею полнотою значеніе его поэзіи и потому не могли вполнѣ убѣдить критиковъ, продолжавшихъ держаться иного образа мыслей.

Только послѣ 1880 г. критическое изученіе личности и произведений Пушкина начало направляться по надлежащему пути въ такихъ этюдахъ, какъ рѣчь В. В. Никольского<sup>3)</sup> и очеркъ Д. С. Мережковскаго<sup>4)</sup>, написанныхъ также не безъ промаховъ, но выясняющихъ смыслъ и основныя идеи Пушкинской поэзіи въ тѣхъ

<sup>1)</sup> Вѣстникъ Европы 1880, № 6; изложеніе содержанія есть также въ „Вѣнкѣ“.

<sup>2)</sup> Было ярко подчеркнуто значеніе Пушкина, какъ народнаго поэта, и то, что „все общечеловѣческое слизь онъ въ своихъ созданіяхъ съ тѣмъ прекраснымъ, святымъ, что заложено въ основавіе природы нашего русскаго духа“ („Вѣнкѣ“, стр. 41—слова Юрьева). Ауэрбахъ заявилъ тогда, что Пушкинъ, „при сохраненіи національной своей самобытности и своеобразности, принадлежитъ къ міровой литературѣ, имѣвшей Гёте своимъ провозвѣстникомъ“ (Ib., 45). Теперь въ томъ же направленіи взглянула на поэзію Пушкина П. И. Вейнбергъ въ свою словѣ.

<sup>3)</sup> Идеалы Пушкина, Спб. 1887. Первоначально рѣчь эта была произнесена въ 1881 г. на актѣ въ С.-Петербургской Дух. Академіи и напечатана въ № 3—4 „Христіанскаго Членія“ 1882 г. Промахи этюда Никольского указаны въ статьѣ А. Н. Пынина: „Первые объясненія Пушкина“, Вѣсти Европы 1887, № 10. стр. 642—647. Новое (третье) изданіе рѣчи Никольскаго, съ приложеніемъ двухъ другихъ статей того же автора, вышло Спб. 1899.

<sup>4)</sup> А. С. Пушкинъ. Характеристика. Первоначально эта статья явилась въ книжѣ П. Перецова: Философскія теченія русской поэзіи, Спб. 1896 (2-е изданіе вышло въ 1899 г.) и затѣмъ перепечатана въ книжѣ Мережковскаго: „Вѣчные спутники“, вышедшей вторымъ изданіемъ въ настоящемъ году. Авторъ справедливо указалъ на важное значеніе Записокъ Смирновой и попытался освѣтить міровое значеніе поэзіи Пушкина. У Пушкина, какъ и у Гёте, Мережковскій видѣть „веселую мудрость, олимпійскую ясность и простоту“. Ранѣе эти черты подмѣтилъ въ Пушкинѣ De Vogüé, Le roman russe, Par. 1886. „Пушкина Россія сдѣала величайшимъ изъ русскихъ людей, но не вынесла на міровую высоту, не отвѣвала ему мѣста рядомъ съ Гёте, Шекспиромъ, Данте, Гомеромъ,—мѣста, на которое онъ имѣть право по внутреннему значенію своей поэзіи... Въ XIX вѣкѣ... Пушкинъ въ своей простотѣ—явление единственное, почти невѣроѣтное. Въ наступающихъ сумеркахъ, когда лучшими людьми вѣка овладѣваетъ ужасъ передъ будущимъ и смертельная скорбь,—Пушкинъ, кажется, одинъ изъ учениковъ Гёте, преодолѣваетъ дисгармонію Байрона, достигаетъ самообладанія, вдохновенія безъ восторга и веселія въ мудрости,—этого послѣдняго дара боговъ... „Если предвѣстники будущаго возрожденія настѣ не обманываютъ, то человѣческій духъ отъ старой, плачущей,—перейдетъ къ этой новой, олимпійской ясности и простотѣ, завѣщанной искусству Гёте и Пушкинамъ“. Повидимому, этюдъ г. Мережковскаго имѣлъ въ виду В. С. Соловьевъ на 23 и слѣд. стр. брошюры „Судьба Пушкина“.

двухъ направленіяхъ, которыя въ особенности должны останавливать на себѣ вниманіе, именно въ яркомъ и типическомъ выраженіи ею русскаго народнаго духа и въ постановкѣ ею проблемъ міровой поэзіи.

Но возрѣнія Бѣлинскаго, Писарева и подобныя такъ укоренились въ сужденіяхъ о поэзіи Пушкина, что не вполнѣ подорваны ни знаменательнымъ чествованіемъ памяти Пушкина въ 1880 г., ни юбилейными поминками въ 1887 г.<sup>1)</sup>. Эти взгляды раздѣляются и исповѣдываются не только юношами, зачитывающимися на школьной скамьѣ Писаревымъ, но даже людьми, не вполнѣ придерживающимися общаго міровозрѣнія критиковъ 60-хъ годовъ. Для недостаточно критической и вдумывающейся молодежи рѣзкие приговоры Писарева—достойное воздаяніе поэту красивыхъ фразъ и картинокъ, для другихъ сужденія Бѣлинскаго—почти альфа и омега того, чтѣ можно и должно говорить о поэзіи Пушкина.

Однако, чтѣ бы ни говорили, торжественныя чествованія памяти Пушкина въ годахъ 1880, 1887 и въ особенности въ настоящемъ показываютъ, что въ поэзіи Пушкина таится еще какая-то особая сила, неизмѣримо болѣе широкая, чѣмъ та, какую усвояютъ ей усматривающіе со времени Бѣлинскаго въ произведеніяхъ Пушкина въ качествѣ главнаго преимущества ихъ „необычайную художественность“. И вдумывающійся въ глубокій смыслъ этихъ торжествъ не можетъ не задать себѣ вопроса о томъ, чѣмъ же чаруетъ память Пушкина настъ, его отдаленныхъ потомковъ, и какая таинственная сила присуща его поэзіи, кромѣ ея красоты?

<sup>1)</sup>). См. ст. А. Н. Пыпина: „Новые объясненія Пушкина“ — Вѣсти. Евр. 1887, № 10. Во 2-мъ изд. „Характеристикъ литературныхъ мнѣній“, стр. 56, читаемъ: „Сравнивъ тѣ нравственно-общественные выводы, какіе дѣлались въ эти послѣдніе годы изъ дѣятельности Пушкина, съ тѣми, какіе дѣлались въ сороковыхъ годахъ, мы едва ли не должны отдать предпочтеніе рѣшеніямъ Бѣлинскаго... мы должны будемъ признать въ Пушкинѣ извѣстную двойственность, другими словами, извѣстное разнорѣчье, и чтобы опредѣлить его, должно будетъ признать именно то различіе между Пушкинымъ-художникомъ и общественнымъ человѣкомъ, которое было видно Бѣлинскому и которое новѣйшие критики хотятъ слить въ представлѣніи Пушкина какъ поэта-гражданина... Если мы спросимъ себя: какъ могли, однако, эти разнородные элементы новѣйшаго общества соединиться въ единодушномъ чествованіи Пушкина, объясненіе найдется именно въ этой высшей чертѣ личности Пушкина, въ этой необычайной художественности, которая нѣкогда увлекала его первыхъ полусознательныхъ читателей, которая сдѣлала его могущественнымъ двигателемъ послѣдующей литературы, и которая продолжала теперь неодолимо властвовать надо всѣми, кто только поддается поэтическому очарованію, безъ различія „направленій“.

Дни торжественныхъ воспоминаній о великихъ людяхъ, много совершившихъ для духовнаго развитія, просвѣщенія и преуспѣянія своего народа, вѣковая юбилейная чествованія ихъ не требуютъ панегиризма, а налагають на участниковъ всего этого священную обязанность не только выраженія чувствованій признательности, живущей въ сердцахъ потомства, но и по возможности полного и всесторонняго уясненія духовнаго облика славныхъ дѣятелей, всего процесса ихъ душевной дѣятельности и основныхъ ея мотивовъ, призываютъ къ восполненію и исправленію тѣхъ недосмотровъ и ошибочныхъ построеній, которые искали истинный образъ личности, заслужившей себѣ „нерукотворный памятникъ“ у своего народа, къ высшей критикѣ ея самой и ея дѣяній.

Въ примѣненіи къ Пушкину первымъ и важнѣйшимъ дѣломъ высшей критики является уясненіе развитія мысли этого поэта въ ея цѣлостности, провѣрка указываемыхъ въ ней противорѣчій и двойственности жизни и творчества, возстановленіе міросозерцанія,—того, что можно бы назвать философіею поэта. Всего этого наука еще не раскрыла съ достодолжною обстоятельностью и тщательностью. А между тѣмъ только послѣ такой работы будетъ вполнѣ ясно, дѣйствительно ли былъ правъ и исчерпалъ ли всю сущность вопроса столь превознесенный во время недавняго юбилейнаго чествованія нашъ знаменитый критикъ, сводившій значеніе поэзіи Пушкина преимущественно къ ея художественности и возбужденію гуманнаго чувства, „разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка“. Въ этой ли художественности тайна обаянія, какое такъ долго производила и производить на многихъ и теперь поэзія Пушкина? Дѣйствительно ли Пушкинъ по преимуществу поэтъ изящной формы?

Если бы такъ было, то Пушкина нельзя было бы признать великимъ поэтомъ. Поэтовъ весьма изящной формы и даже необычайной художественности не такъ мало, но имъ, напр., Петраркѣ, иные отказываютъ въ правѣ на наименование великими несмотря на изящество ихъ поэтическихъ созданій.

Мы же цѣнимъ выше всего въ поэзіи то, чего въ сущности требовалъ отъ нея и Пушкинъ<sup>1)</sup>,— сочетаніе изящной формы съ мощ-

<sup>1)</sup> Приблизительно таково было и воззрѣніе Пушкина на поэзію. „Стихи, которые производятъ впечатлѣніе на душу, на сердце, на умъ, сказать онъ

нымъ содержаниемъ, съ глубиною и величиемъ хорошо продуманныхъ идей и съ силою чувства, способною увлекать своимъ могучимъ порывомъ, истинно художественное выражение извѣстнаго возвышенного міросозерцанія. Въ наши дни явилась даже теорія (Л. Н. Толстого), отрицающая первостепенное значение красивой формы и потому не придающая значенія и красивому стилю.

Если бы Пушкинъ былъ не больше, какъ поэтомъ изящной, хотя бы и въ необычайной степени, формы, то значение его было бы кратковременно и ограничено, подобно значенію какого-нибудь Боало и Попе. Онъ отошелъ бы теперь уже въ рядъ второстепенныхъ, чисто историческихъ, знаменитостей, и чествование столѣтія дня появленія его въ свѣтъ было бы однимъ изъ тѣхъ юбилейныхъ празднествъ, которыхъ бываютъ иногда послѣднимъ, заключительнымъ моментомъ

однажды, запечатлѣваются въ памяти, дѣйствуя сразу на всѣ наши способности". Записки А. О. Смирновой, изд. редакціи журнала „Сѣверный Вѣстникъ“, ч. I. Спб. 1895, стр. 207. Ср. въ „Черновыхъ наброскахъ“ 1826 г. (П, 8):

О ты, который сочеталъ  
Съ глубокимъ чувствомъ разумъ вѣрный,  
И точный умъ, и слогъ прикѣрный,  
О ты, который избѣжалъ  
Сентиментальности манерной...

и I, 359:

Служенье музъ не терпитъ суеты,  
Прекрасное должно быть величаво.

Въ 1834 г. Пушкинъ назвалъ стихи „важной отраслью умственной дѣятельности человѣка“ („Мысли на дорогѣ“, V, 248). Пушкинъ какъ бы требовалъ гармонического и равномѣрнаго сочетанія силъ, создающихъ поэзію, и въ этомъ отношеніи его взглядъ вѣрнѣе взгляда Бѣлинскаго, утверждавшаго, что „въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль“. Пушкинъ отличалъ восторгъ отъ вдохновенія и понимаетъ вдохновеніе, какъ „расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и объясненію ихъ. Восторгъ исключаетъ спокойствіе - необходимое условіе прекраснало. Восторгъ не предполагаетъ силы, ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвестъ истинное, великое совершенство... Ода исключаетъ постоянній трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго“ (V, 21). Ср. изреченіе Бюффона о томъ, что „гений есть трудъ“. Извѣстно, какъ медленно работалъ Пушкинъ надъ иными изъ своихъ произведеній и какъ долго вынашивалъ ихъ въ своей душѣ. Онъ самъ призналъ однимъ изъ своихъ отличительныхъ качествъ медленность въ литературномъ труде, а эта медленность обусловливалась процессомъ упорной и тщательной умственной работы, предшествовавшей и сопутствовавшей созданію его произведеній.

широкаго воздѣйствія писателя, какъ это можно сказать, напр., о столѣтнемъ юбилеѣ Вальтеръ-Скотта. Пушкинъ бытъ бы для наскъ однимъ изъ полубоговъ литературнаго пантеона въ родѣ Ломоносова, Карамзина, Жуковскаго, столѣтнія годовщины которыхъ также были отпразднованы въ свое время довольно шумными, преимущественно академическими, торжествами и которыхъ мы читаемъ въ годы ученія, но которые кажутся намъ потомъ уже весьма далекими отъ живыхъ интересовъ нашей души, совсѣмъ не такими, какъ также чествовавшіеся недавно Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, Байронъ, Шелли, остающіеся истинными классиками и продолжающіе увлекать насъ если не съ прежнею силою свѣжести и новизны, то съ болѣе серьезнымъ проикновеніемъ въ глубь нашей души.

Нѣтъ, Пушкинъ принадлежитъ къ этому второму, высшему разряду литературныхъ знаменитостей и корифеевъ. Недаромъ онъ самъ представлялъ свое служеніе пророческимъ: многимъ изъ насъ дорога почти каждая его строка. Видимо, еще „живъ“ во всей Россіи

духъ поэта  
И пѣсня дивная жива,

хотя Мережковский и заявил, что послѣ Пушкина „вся история русской литературы есть исторія довольно робкой и малодушной борьбы за Пушкинскую культуру съ нахлынувшою волною демократического варварства, исторія могущественного, но односторонняго воплощенія его идеаловъ, медленного угасанія, паденія, смерти Пушкина въ русской литературѣ“. Послѣ того, какъ Пушкинъ умеръ въ сознаніи нѣкоторыхъ круговъ общества, что постигаетъ иногда и такихъ титановъ, какъ Шекспиръ, Гёте, онъ вновь воскресаетъ съ 80-хъ годовъ, потому что онъ истинно великъ, какъ велики выдающіеся поэты человѣчества, являющіеся его учителями въ высшемъ смыслѣ этого слова. Это былъ многообъемлющій геній. И мы находимъ у него не только красоту выраженія, но и соответственную ей глубину идей и чувствованій, богатый кладъ нестарѣющихъ мыслей и чувствъ, которые сохранять значеніе, можно думать, не только для насъ, но и для временъ грядущихъ.

Въ великихъ поэтахъ особый, возвышенный интересъ представляеть для насъ развитіе ихъ личности, такъ сказать, творчество ихъ жизни, и гармонія ихъ міросозерцанія, то, чтд называютъ иногда

философию великихъ художниковъ, напр., философию Шекспира, немецкихъ классическихъ поэтовъ, Вагнера. Къ жизни и дѣятельности великихъ поэтовъ въ особенности можетъ быть примѣнена формула Клода Бернара: „Жизнь есть творение“. Міросозерданіе, проникающее творенія великихъ поэтовъ, не есть теоретическое познаніе и представление міра, а вполнѣ отчетливое, стройное, творческое упорядоченіе воспріятій конкретно открывающагося поэту космоса согласно со своеобразною духовною мощью созерцателя<sup>1)</sup>.

Такой же двоякій высокій интерес внушаетъ намъ и Пушкинъ—свою жизнью и своимъ воспріятиемъ дѣйствительности и отношеніемъ къ міру.

Пушкинъ великъ не только какъ поэтъ, но почтененъ и какъ личность, если окидывать однимъ взоромъ не только нерѣдкіе въ молодости его моменты жизни, когда былъ

Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погруженъ...  
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра  
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ,

но и всю его жизнь труда, борьбы со свѣтомъ и съ собой, чистыхъ восторговъ и упоеній и неоднократной побѣды надъ собой, не взирая на силу долго бушевавшихъ въ немъ страстей. Не говорю уже о томъ, что Пушкинъ можетъ быть признанъ заслуживающимъ уваженія какъ личность, отдавшая всю свою жизнь беззавѣтному служению великому дѣлу, не ради славы (онъ не гонялся за нею въ годы зрѣлости), выгода и положенія, а по чистому влечению генія и морального чувства, и совершившая это дѣло.

Есть вѣскія возраженія противъ идеализациіи Пушкина, какъ личности. Въ 50-ю годовщину его кончины бывшій Одесскій и Херсонскій архіепископъ Никаноръ, поминал поэта въ недѣлю блуднаго сына, подвергъ его супровому осужденію, именно какъ такового сына, принесшаго покаяніе лишь въ послѣдній моментъ<sup>2)</sup>. Равно и извѣст-

<sup>1)</sup> См. ст. Chamberlaine'a: Richard Wagners Philosophie—въ „Beilage zur Allgemeinen Zeitung“ 1899, № 47.

<sup>2)</sup> Замѣчанія по поводу этого слова см. въ ст. Пыпина: Вѣсты. Евр. 1887, № 10, стр. 635—641. Да же покойного архіепископа пошли теперь тѣ люди, которые приглашали христіанъ не следовать за „крикунами, хотя бы и избранными руководителями народа“ и не „читать убійцъ-самоубійцъ“.

ный нашъ философъ В. С. Соловьевъ нанесъ немалый ударъ идеализации личности Пушкина указаниемъ на то, что постигшая поэта роковая катастрофа, положившая конецъ его жизни, была обусловлена прежде всего его собственными поступками, не согласными съ высотою и обязанностями его гenia и христіанского сознанія, къ которому онъ пришелъ подъ конецъ своей жизни:

„Жизнь его не врагъ отъялъ,  
Онъ *свою силой* паль.  
Жертва гибельного гнѣва,

свою силой, или лучше сказать, своимъ *отказомъ* отъ той нравственной силы, которая была ему доступна и пользованіе которой было ему всячески облегчено“.

Дѣйствительно, Пушкинъ не всегда превозмогалъ въ себѣ побужденія гнѣва, но, въ виду интригъ его враговъ и его высокаго настроенія передъ своей кончиной, съ точки зрења чисто христіанского прощенія кающемсяся, онъ подлежитъ изъятію отъ совсѣмъ строгаго осужденія за свое предсмертное дѣяніе<sup>1)</sup>. Даже, если бы мы не нашли никакого оправданія послѣдняго, и тогда, принимая во вниманіе всю совокупность дурнаго и хорошаго въ его характерѣ, и условія воспитанія и среды, мы должны бы призадуматься предъ произнесеніемъ рѣшительныхъ приговоровъ въ родѣ изложенныхъ.

По словамъ Мицкевича, у Пушкина былъ характеръ „*trop impressionable et parfois léger, mais toujours franc, noble et capable d'épanchement*“; своими недостатками Пушкинъ былъ обязанъ воспитанію<sup>2)</sup>, своими достоинствами самому себѣ. И это вполнѣ вѣрно. Въ натурѣ Пушкина на ряду съ его самомнѣніемъ и буйнымъ пыломъ страстей нельзя не отмѣтить и цѣлаго ряда весьма благородныхъ и симпатичныхъ моральныхъ свойствъ, каковы: чисто русскія прямota и искренность, отсутствие завистливости, полное участливое

<sup>1)</sup> См. статьи Павлищева въ „Новомъ Времени“ 1899 г. и свѣдѣнія о предсмертныхъ моментахъ Пушкина, сообщенные В. А. Жуковскимъ и другими.

<sup>2)</sup> Ср. наблюденіе А. И. Тургенева въ письмахъ кн. П. А. Вяземскому: „...вообрази себѣ двѣнадцатилѣтняго юношу, который шесть лѣтъ живетъ въ виду дворца и въ сосѣдствѣ съ гусарами, и послѣ обвиний Пушкина за его „Оду на свободу“ и за двѣ болѣзни нерусскаго имени!“ Остафьевскій Архивъ князей Вяземскихъ, I, Спб. 1899, стр. 280.

отношениѣ къ талантамъ другихъ и готовность помочь ихъ развитію, мужественность и стойкость въ слѣдованіи эволюціи своей мысли и убѣжденія, не взирая на то, что скажутъ хотя бы друзья, отсутствіе стремленія пріобрѣтать выгоды и дешевую популярность угодничаньемъ толпѣ и вообще стойкость натуры <sup>1)</sup>).

Но главное обстоятельство, говорящее въ пользу личнаго характера Пушкина, это то, что, послѣ первыхъ лѣтъ бушеванія пылкой крови, въ его жизни постепенно все болѣе и болѣе крѣпла сила тѣхъ „духовныхъ основъ жизни“, о которыхъ любить говорить В. С. Соловьевъ.

Жизнь Пушкина представляетъ не обычный только процессъ, нерѣдко замѣчаемый въ лучшихъ изъ даровитыхъ и надѣленныхъ кипучими силами людей, у которыхъ постепенно остываетъ кровь; и измѣненія происходили въ Пушкинѣ не только по принципу: *tempora mutantur et nos mutamur in illis.*

Дѣло не въ томъ только, что годы юности поэта были въ значительной степени истрачены

. . . . . въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,  
Въ безумствѣ гибельной свободы,  
На играхъ Вакха и Киприды <sup>2)</sup>;

—не въ томъ, что отъ шалостей и проказъ юности и пылкаго темперамента <sup>3)</sup>, отъ состоянія, когда не разъ поэтъ „любилъ“

. . . . . . . . . пламенной душой  
Съ такимъ тяжелымъ напряженіемъ,

<sup>1)</sup> „Меня не такъ-то легко съ ногъ свалить“, писалъ однажды Пушкинъ (VII, 258).

<sup>2)</sup> II, 37.

<sup>3)</sup> Въ юности Пушкинъ былъ весьма взбалмошенъ, и, по выражению Карамзина, у него не было „въ головѣ ни малѣйшаго благоразумія“. По словамъ А. И. Тургенева, относящимся къ 1818 году, Пушкинъ „испалился“, вель „безпутный образъ жизни“, и только болѣзні, связанныя съ любовными похожденіями, могли заставить его сидѣть дома и работать. Остафьевскій Архивъ, I, 74, 117, 119. Недавно изданное Пушкинской Комиссіею Одесского Литературно-Артистического Общества дѣло о взысканіи съ Пушкина 2000 р. ассигнаціями съ процентами долга, сдѣланного 20 ноября 1819 г. въ С.-Петербургѣ у барона Шильинга, показываетъ, что Пушкинъ сдѣлалъ карточный долгъ, отъ уплаты которого потомъ отказался, ссылаясь на то, что онъ „проигралъ заемное письмо, будучи еще въ несовершенныхъ лѣтахъ, и не имѣя никакого состоянія движимаго и недвижимаго“.

Съ такою нѣжною, томительной тоской,  
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ <sup>1)</sup>),

„страдалецъ чувственной любви“ <sup>2)</sup> перешелъ къ прочнымъ и сосредоточеннымъ чувствамъ доброго семьянина и гражданина и проклиналь

Измѣнъ печальная преданья...  
. . . . . коварныя старанья  
Преступной юности своей,  
И встрѣчъ условныхъ ожиданья  
Въ садахъ, въ безмолвіи ночей;  
. . . . . рѣчей любовный шопотъ,  
И струнъ таинственный напѣвъ,  
И ласки легковѣрныхъ дѣвъ,  
И слезы ихъ, и поздній ропотъ... <sup>3)</sup>).

И не въ томъ дѣло, что съ годами онъ совсѣмъ отсталъ отъ воспѣванія подъ часъ прекрасныхъ женскихъ ножекъ <sup>4)</sup> и восходилъ все къ высшимъ и высшимъ сюжетамъ и замысламъ, къ серьезнымъ работамъ мысли и вдохновенія.

Нѣть ничего еще необычного и въ томъ, что Пушкинъ пережилъ и „юность живую“, и „юность унылую“, и „чистая помышленія“ <sup>5)</sup>.

Въ творчествѣ жизни Пушкина важно было то, что онъ не физическимъ и душевнымъ остываніемъ, а сознательно и упорно работою надъ собою восходилъ къ нравственному самоусовершенію и цѣною значительныхъ нравственныхъ усилий и мукъ извѣй приобрѣталь подобно Данте какъ нравственную зрѣлость, такъ и зреѣсть

<sup>1)</sup> II, 1. Ср. ib 4, 7, 11, 12, 12—14 и др., въ особенности 33:

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я.  
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,  
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья,  
Безъ робкой нѣжности и тайного волненія.

<sup>2)</sup> I, 189.

<sup>3)</sup> II, 135.

<sup>4)</sup> См. замѣтку Н. О. Сумцова: „Женская ножка въ стихотвореніяхъ Пушкина“—Р. Старина 1899, № 5, стр. 335—336.

<sup>5)</sup> II, 134.

идей и широту созерцанія. На самомъ Пушкинѣ исполнилось то, что уже въ пятнадцать лѣтъ онъ считалъ удѣломъ поэтовъ:

Ихъ жизнь—рядъ горестей, гремяща слава—сонъ <sup>1)</sup>.

Пушкину пришлось вынести съ довольно ранняго времени своей жизни рядъ тяжелыхъ невзгодъ. Онъ пережилъ много горькихъ минутъ уже со времени перевода на югъ <sup>2)</sup>, и сталъ еще серьезнѣе со времени возвращенія на сѣверъ, въ с. Михайловское. И не звучныя только фразы то, что онъ писалъ въ 1828 г., когда приближался къ годамъ зрѣлости:

Благословенъ же будь отнынѣ,  
Судьбою вѣренный мнѣ даръ!  
Доселѣ въ жизненной пустынѣ <sup>3)</sup>,  
Во мнѣ питая сердца жаръ,  
Мнѣ навлекаль одно гоненье,  
· · · · ·  
Иль клевету, иль заточеніе,  
И рѣдко—хладную хвалу <sup>4)</sup>.

Конечно, во многомъ изъ этого былъ повиненъ и самъ поэтъ, о чемъ свидѣтельствуютъ его собственные признанія, относящіяся къ тому же году, въ стихотвореніи „Воспоминаніе“:

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день,  
И на нѣмъя стогны града  
Полупрозрачная наляжеть ночи тѣнь  
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,  
Въ то время для меня влачатся въ тишинѣ  
Часы томительного бдѣнья:

<sup>1)</sup> I, 10.

<sup>2)</sup> См. ниже во II-й главѣ.

<sup>3)</sup> Дантовское выраженіе. Ср. въ стихотв. „Три ключа“ (1827 г.):

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,  
Таинственно пробились три ключа...  
Кастальскій ключъ волною вдохновенія,  
Въ степи мірской изгнаниковъ поитъ...

<sup>4)</sup> II, 36.

Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ  
Змѣи сердечной узызеня;  
Мечты кишать; въ умѣ, подавленномъ тоской,  
Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ;  
Воспоминаніе безмолвно предо мной  
Свой длинный развиваетъ свитокъ:  
И съ отвращеніемъ читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклинаю,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строкъ печальныхъ не смываю.  
Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,  
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ  
Мои утраченные годы...  
И нѣть отрады мнѣ—и тихо предо мной  
Встаютъ два призрака младые...  
 . . . . . и мстить мнѣ оба,  
И оба говорятъ мнѣ мертвымъ языкомъ  
О тайнахъ вѣчности и гроба <sup>1)</sup>.

Такъ поэтъ выходилъ изъ заблужденій, бурь и испытаній жизни нравственно очищеннымъ помыслами „о тайнахъ вѣчности и гроба“. То не былъ старческій страхъ смерти: Пушкину было тогда 29 лѣтъ. Въ немъ просто сталъ говорить сильнѣе прежняго никогда не глухшій въ немъ голосъ нравственного сознанія,—употребляя выраженіе Л. Н. Толстого—„то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вѣчно“ <sup>2)</sup>). Правда, и въ послѣдніе свои годы Пушкинъ не вполнѣ отрѣшился отъ суety жизни, напр., отъ условныхъ понятій о чести, какъ то показываетъ его дуэль,

<sup>1)</sup> II, 37. Можно бы привести и рядъ другихъ выражений раскаянія поэта, изложенныхъ въ стихахъ (см., напр., „Стихи, сочиненные ночью во время безсонницы“, 1830 г., 113: „Мнѣ не спится, нѣтъ огня...“) и въ прозѣ, напр.: „Началь я писать съ 13-ти лѣтнаго возраста и печатать почти съ того времени. Многое желалъ бы я уничтожить, какъ недостойное даже и моего дарованія, каково бы оно ни было. Многое тяготѣть, какъ упрекъ на совѣсти моей“ (V, 113; написано въ 1830 г.). См. еще въ письмахъ отреченія отъ „грѣховъ отрочества“ и юности: „Молодость моя прошла пурпурно, но безплодно. До сихъ поръ я жилъ иначе, какъ обыкновенно живутъ. Счастья мнѣ не было“ (VII, 260).

<sup>2)</sup> Воскресенье, гл. XXVIII.

и полнаго обѣленія ему быть не можетъ<sup>1)</sup>). Но все-таки какое огромное разстояніе отдѣляетъ Пушкина послѣднихъ лѣтъ (приблизительно съ начала 30-хъ годовъ) отъ Пушкина въ годы по выходѣ изъ лицея до 1824 г. Поэтъ, любившій свѣтское общество и шумныя утѣхи<sup>2)</sup>, жившій „иначе, какъ обыкновенно живутъ“<sup>3)</sup>, какъ бы не признавшій семейныхъ устоевъ<sup>4)</sup>, другъ декабристовъ и вольнодумецъ, пародировавшій церковные, пѣсни и обряды<sup>5)</sup>, сколь далекъ отъ Пушкина, признавшаго, что „il n'est bonheur que dans les voies communes“<sup>6)</sup>, полюбившаго семейную жизнь, мечтавшаго поселиться въ деревнѣ<sup>7)</sup>, разставшагося съ отрицаніемъ прежнихъ лѣтъ и приимиравшагося искренно съ русскимъ самодержавiemъ и императоромъ Николаемъ безъ одобренія, впрочемъ, многихъ тогдашихъ порядковъ!<sup>8)</sup>.

Столь значительно измѣнился Пушкинъ и измѣнилъ нѣкоторые изъ своихъ первоначальныхъ взглядовъ! И это произошло не только въ силу того, что вообще человѣческая мысль и чувство, живя, постоянно пребываютъ въ движениі. Въ душѣ поэта совершились болѣе глубокіе и мучительные, чѣмъ обыкновенно, переломы. Сколько надобно было перерабатывать себя, чтобы отречься отъ пылкихъ порывовъ юныхъ лѣтъ и дорогихъ стремленій молодости. Разставаясь съ ними, поэтъ испытывалъ не только „тяжелое, смутное похмѣлье“ послѣ „безумныхъ лѣтъ угасшаго веселья“; рядомъ съ тѣмъ и „печаль минувшихъ дней“, всегдашая спутница веселья у Пушкина, была въ душѣ его „чѣмъ

<sup>1)</sup> А. Н. Вульфъ записалъ въ своемъ дневникѣ, что Пушкинъ „погибъ жертвою неординарного положенія, въ которое себя поставилъ ошибочнымъ разсчетомъ“ (Л. Н. Майкова Пушкинъ, Спб. 1899, стр. 217).

<sup>2)</sup> VII, 1: „Увѣряю васъ, что уединеніе въ самомъ дѣлѣ вещь очень глупая, на здо всѣмъ философамъ и поэтамъ, которые притворяются, будто бы живали въ деревняхъ и влюблены въ безмолвіе и тишину“. Ср. французское стихотв. 1814 г.:

J'aime et le monde et son fracas,  
Je hais la solitude..

<sup>3)</sup> VII, 260.

<sup>4)</sup> Вспомнимъ, напр., его отношеніе къ г-жѣ Ризничъ и др.; см. еще I, 261: „Дѣсятая Заповѣдь“ и I, 353.

<sup>5)</sup> VII, 21 письмо 1821 года; ср. тамъ же, 15, пародированіе молитвы „Господи, владыко живота моего“ и пр., и стихотв. 1836 г. „Отцы-пустынники“.

<sup>6)</sup> VII, 260.

<sup>7)</sup> См. ниже во II-й главѣ.

<sup>8)</sup> См. ниже въ III-й главѣ.

старѣй, тѣмъ сильнѣй<sup>1)</sup>). То была печаль неустаннаго стремленія къ идеалу, который все отодвигался въ даль по мѣрѣ того, какъ поэту казалось, что онъ былъ ближе и ближе къ цѣли томленій. Въ Пушкинѣ во всю его жизнь происходила работа въ цѣляхъ этого приближенія. И уже 20-лѣтнимъ юношемъ онъ писалъ, что „унылой думой“ „среди забавъ“ онъ „часто омраченъ“, и на все подъемлетъ взоръ угрюмый“, и ему „не миль сладкій жизни сонъ“:

На краткій мигъ блаженство намъ дано:  
Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья  
Останется уныніе одно<sup>2)</sup>.

И уже тогда онъ усматривалъ въ себѣ „возрожденіе“:

. . . . . исчезаютъ заблужденія  
Съ измученной души моей,  
И возникаютъ въ ней видѣнья  
Первоначальныхъ, чистыхъ дней<sup>3)</sup>.

Въ годы зрѣлости Пушкинъ возвратился съ рѣшительностью къ чистымъ днямъ невинной души, достигшіи истинной свободы духа. Эта свобода и полная истина не совмѣстимы съ партійностію, и Пушкинъ поднялся въ эти позднѣйшіе годы и надъ партійностію своей юности.

Всѣмъ этимъ процессомъ своего духовнаго развитія Пушкинъ напоминаетъ такихъ великихъ поэтовъ, какъ „суровый“ Данте, который также въ молодости былъ не чуждъ недостойныхъ его увлеченій, не оставался до конца вѣренъ всѣмъ идеямъ своей юности, въ томъ числѣ и политическими, и отъ сомнѣній взошелъ къ ясной и глубокой вѣрѣ. Вспомнимъ также, что и Шекспиръ былъ кипучъ и страстенъ въ годы молодости и, какъ гражданинъ свободной Англіи и другъ Эссекса, сложившаго голову на плахѣ, также былъ не чуждъ политической скорби, и пережилъ въ своей жизни періодъ, когда въ головѣ его гнѣздились самыя мрачныя мысли, но затѣмъ взошелъ къ такой ясности духа и къ такому примиренію съ дѣйствительностію, какая находимъ въ его послѣднихъ произведеніяхъ и которыхъ сообщаютъ „Бурѣ“ прелесть роскошной вечерней зари послѣ чуднаго лѣтняго дня.

<sup>1)</sup> II, 101.

<sup>2)</sup> „Уныніе“ 1819: I, 201. См. также ниже въ гл. II.

<sup>3)</sup> „Возрожденіе“ 1819: I, 208.

Конечно, къ подобнымъ поворотамъ въ міросозерцаніи Пушкина относятся съ недовѣріемъ и пренебреженіемъ тѣ люди, которые желали бы отъ другихъ нравственной высоты сразу, либо тѣ, для которыхъ не представляютъ особаго интереса и цѣны такія послѣдовательны стадіи развитія много вдумчивой личности и которые слагаютъ довольно скоро свое міросозерцаніе безъ мучительной борьбы, такъ какъ для нихъ все рѣшается моднымъ вѣяніемъ, увлекающимъ ихъ за собою въ годы ихъ молодости.

Не таковы великие мыслители и поэты, которые сами намѣчаютъ пути, кажущіеся новыми. Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ великихъ поэтовъ-мыслителей, которыхъ нѣмцы называютъ *f黨rende Geister*—путеводными умами. Такіе корифеи не слагаются сразу, а вырабатываютъ постепенными усилиями своего духа мощное идеиное содержаніе, которымъ высоко поднимаются надъ уровнемъ толпы въ ея разныхъ партіяхъ и подраздѣленіяхъ.

Въ подобномъ же богатомъ идеиномъ содержаніи при соотвѣтственной художественности формы и заключается преимущественное значеніе поэзіи Пушкина, въ силу которого онъ сохранитъ надолго привлекательность и прелесть многосторонняго, истинно высокаго и здороваго творчества.

Лишь недостаточное и не вполнѣ внимательное изученіе хода идеинаго и нравственного развитія Пушкина можетъ поддерживать мысль о томъ, что онъ впадалъ въ непослѣдовательность и странныя противорѣчія съ самимъ собою въ области мысли. То, что кажется противорѣчіемъ, было естественною эволюціею идей, которая во всѣ періоды жизни Пушкина объединялись присущимъ ему, какъ поэту-граждану, стремленіемъ въ отысканію и художественному выраженію высшихъ идеаловъ русской жизни. Во всѣ моменты своей жизни Пушкинъ оставался неизмѣненъ въ любви къ родинѣ наряду съ любовью къ человѣку вообще и въ стремлениі къ возвышеннымъ идеаламъ жизни. Измѣнялись нѣсколько лишь очертанія послѣднихъ сообразно съ тѣмъ, гдѣ поэтъ искалъ отвѣта на мучительные вопросы о нихъ, но при этомъ даже въ его годы молодости рѣшенія нерѣдко подсказывались его чисто русскою душой, а въ позднѣйшіе годы были постоянно почерпаемы изъ глубинъ русскаго народнаго міросозерцанія<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Незелено въ, Рѣчь о Пушкинѣ, Спб. 1887 (вошли въ книгу его же „Шесть статей о Пушкинѣ“, Спб. 1892) удачно различается два главныхъ періода въ творчествѣ Пушкина, первый—до 1824 г. включительно, „когда великий художникъ усваи-

Посмотримъ же, что даетъ Пушкинъ, какъ поэтъ слагавшагося постепенно цѣльного міровоззрѣнія и мощныхъ концепцій и чувствъ.

Для уразумѣнія и оцѣнки этихъ построеній самый правильный путь—ввести Пушкина въ общее теченіе вѣка и сопоставить нашего поэта съ великими міровыми поэтами, съ вождями литературныхъ движеній и направленій новаго времени. И это тѣмъ умѣстнѣе и необходимѣе, что Пушкинъ откликался на всѣ важнѣйшіе вопросы, волновавшіе его современниковъ, уже съ юности проникся почти всѣми интересами міровой поэзіи новаго времени и рано стремился стать на ея высотѣ. Исходный пунктъ поэзіи Пушкина—литературныи и другія идеи Запада выработанныи XVIII-мъ вѣкомъ и началомъ XIX-го къ моменту низверженія Наполеона I, и пронесшееся тогда вѣяніе обновленія. Вліяніе родной поэзіи на творчество Пушкина, помимо воспроизведенія его Западныхъ идей и формъ, было слабѣе<sup>1)</sup>, потому что было формальное и болѣе частное.

валъ себѣ блестящіе и могучіе западно-европейскіе идеалы<sup>4</sup>, и „высшій періодъ его творчества“ съ 1828 г., „время органическаго, живого слиянія въ его душѣ и въ его поэзіи тревожныхъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми и добрыми началами русской народной жизни“.

<sup>1)</sup> Объ этомъ вліяніи см. рѣчь П. В. Владилірова: „А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ“ и данные о занятіяхъ литературы въ Лицѣѣ (въ статьяхъ Гаевскаго и др.—см. ниже).

## I.

*Основные вопросы мысли и творчества XIX вѣка.*

Пушкина нельзя назвать, какъ именовали нѣкоторые Шекспира,— „душою въ тысячу душъ“. Есть преувеличеніе и въ знаменитыхъ словахъ Ф. М. Достоевскаго, что „Пушкинъ лишь одинъ изъ всѣхъ міровыхъ поэтовъ обладаетъ свойствомъ перевоплощаться вполнѣ въ чужую національность“, что геній его обладалъ „всемірностью и всечеловѣчностью“. — Не найдемъ мы у Пушкина въ широкихъ размѣрахъ и нѣкоторыхъ могучихъ орудій поэтическаго воздействиа, напр., юмора и веселаго смѣха<sup>1)</sup>). Нашъ вѣкъ вообще мало склоненъ къ тому и другому, и веселый смѣхъ появился въ русской литературѣ лишь съ Гоголя<sup>2)</sup>.

Тѣмъ не менѣе, безспорно, поэзія Пушкина весьма широка и разнообразна. Въ ней находимъ множество художественно нарисованныхъ образовъ, и получили място и болѣе или менѣе оригиналную постановку большинство основныхъ идей и вопросовъ, волновавшихъ нашъ вѣкъ отъ его начала и до нашихъ дней.

Если Пушкинъ, несмотря на глухую либо явную непріязнь цѣлаго рода критиковъ, все-таки приобрѣлъ всенародное значеніе,

<sup>1)</sup> Кое-гдѣ есть и у Пушкина проблески юмора, напр., въ „Капитанской дочкѣ“ и „Исторіи села Городца“, но ихъ не такъ много.

<sup>2)</sup> Это признавъ и Пушкинъ. Записки Смирновой, I, 43. См. еще V, 292 о „Вечерахъ на хуторѣ“: „Всѣ обрадовались этому живому описанію племени поющаго и пляшущаго, этимъ свѣжимъ картикамъ малороссійской природы, этой веселости простодушной и вмѣстѣ лукавой. Какъ изумились мы русской книгѣ, которая заставляла насъ смеяться, мы, не смеявшиеся со временемъ Фонь-Визина!“ Ср. VII, 287.

освящаемое и нынѣшнимъ чествованіемъ, то, очевидно, въ его поэзіи таится какая-то особая жизненность, поддерживающая свѣжестъ его произведеній помимо нѣкоторой устарѣлости частностей или, лучше сказать, колорита времени, въ которое были написаны нѣкоторыя изъ нихъ.

Источникъ жизненности поэзіи Пушкина заключается не только въ ея глубокой человѣчности, правдивости и связи съ народнымъ духомъ, но и въ томъ, что ею широко затрагиваются и отчетливо ставятся многіе основные вопросы жизни, въ частности русской, какъ ихъ поставило новое время и въ особенности XIX-й вѣкъ.

Предъ поколѣніемъ, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, уже выникали многія изъ тѣхъ проблемъ, которыхъ въ сущности тяготѣютъ и надъ нами. И тогда намѣчался антагонизмъ лицъ, стоявшихъ за большую или меньшую самобытность русской жизни, съ одной стороны, и съ другой—кружка, считавшаго себя передовыми и усматривавшаго лучшіе образцы всего на Западѣ<sup>1)</sup>; и тогда рѣзко проявлялся разладъ нѣкоторыхъ отцовъ и дѣтей<sup>2)</sup>, характеризующій не разъ по преимуществу русскую жизнь со времени Петра В., обострившійся въ нашемъ столѣтіи и проявляющійся даже въ наши дни.

Конечно, наше время не вполнѣ походитъ на Александровскую эпоху, когда, по выражению кн. П. А. Вяземскаго въ письмѣ къ Пушкину въ с. Михайловское, народъ нашъ былъ „ребяческій, немного или много дикій и воспитанный въ однихъ гостиныхъ и прихожихъ“, когда, по словамъ того-же Вяземскаго, „мы еще не дожили до поры личнаго уваженія... Оппозиція у насъ безплодна и пустое ремесло во всѣхъ отношеніяхъ: она можетъ быть домашнимъ руководствомъ про себя, но промысломъ ей быть нельзя... Она не въ цѣнѣ у народа... Всѣ поклоняемся мы одному счастью, а благородное несчастье не имѣеть еще кружка своего“... Люди того времени, по словамъ Пушкина, конечно, не свободны отъ преувеличенія,

<sup>1)</sup> Остафьевский архивъ I, 175, слова А. И. Тургенева 1818 г.: „Мнѣніе отечестволюбцевъ о неподражаніи иностранцамъ безбожно. Гдѣ же Прovidѣніе, если мы не должны пользоваться его уроками? На что же оно? На что же жертвы народовъ, если не для другихъ народовъ? Не безбожно ли не видѣть цѣли Прovidѣнія въ спасительныхъ урокахъ, которые даетъ оно миру, и не безчеловѣчно ли ими не пользоваться?“.

<sup>2)</sup> „Горе отъ ума“.

Любви стыдятся, мысли гонять,  
 Торгуютъ волею своей,  
 Главы предъ идолами клонять  
 И просить денегъ да цѣней<sup>1</sup>).

Личности разумной съ не погрязшей душой приходилось томиться

Въ мертвящемъ упоеньѣ свѣта,  
 Среди бездушныхъ гордецовъ,  
 Среди блестательныхъ глупцовъ,  
 Среди лукавыхъ, малодушныхъ,  
 Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,  
 Злодѣевъ и смѣшныхъ, и скучныхъ,  
 Тупыхъ, привязчивыхъ судей,  
 Среди кокетокъ богомольныхъ,  
 Среди вседневныхъ модныхъ сценъ,  
 Утивыхъ, ласковыхъ измѣнъ,  
 Среди холодныхъ приговоровъ  
 Жестокосердой суэты,  
 Среди досадной пустоты  
 Разсчетовъ, думъ и разговоровъ<sup>2</sup>).

Теперь не совсѣмъ такъ, но и теперь можно бы сказать съ Пушкинымъ:

Другъ человѣчества печально замѣчаетъ  
 Вездѣ невѣжества губительный позоръ.

И конецъ нашего вѣка остался съ большинствомъ тѣхъ же непорѣшенныхъ вопросовъ, что и начало его. Нашъ вѣкъ накопилъ много научныхъ данныхъ, пріобрѣлъ немало нового опыта, но все-таки испытываетъ прежнюю неудовлетворенность, и печаль, тоска и меланхолія столь же сильны теперь, какъ и во времена Пушкина<sup>3</sup>). Сколько разнообразныхъ формъ принимали рѣшенія основныхъ вопросовъ и утопіи лучшаго по-

<sup>1</sup>) II, 351.

<sup>2</sup>) III, 357—358.

<sup>3</sup>) См., между проч. Fiegens-Gevaert, La Tristesse contemporaine, Par. 1899 и этюдъ Faguet подъ тѣмъ же заголовкомъ въ Revue bleue 28 Janvier 1899.

рядка и строя и какъ часто они мѣнялись въ нашемъ столѣтіи! И однажды, не взирая на эту кипучую дѣятельность ума и на его, казалось бы, успѣхи, приходится оглядываться назадъ. Это и дѣлаетъ Страсбургскій профессоръ Циглеръ въ книжѣ, подводящей итоги XIX-го в. для Германіи: онъ указываетъ на чистую человѣчность Гёте, какъ на цѣль, къ которой мы стремимся въ грядущемъ<sup>1)</sup>). Такое же обращеніе взоровъ вспять наряду съ движениемъ впередъ замѣчается и въ другихъ странахъ, напр., во Франціи. И у насъ, кажется мнѣ, въ поэзіи Пушкина можетъ быть находимъ путь для „примиренія прошлаго съ настоящимъ“. Напрасно утверждалъ Анненковъ въ 1880 г., что Пушкинъ былъ передовымъ человѣкомъ лишь въ свое время. Для великихъ провозвѣстниковъ великихъ соціальныхъ и нравственныхъ ученій нѣть старости! Кое-что въ частностяхъ поэзіи Пушкина, безспорно, устарѣло<sup>2)</sup>, но въ общемъ она сохраняетъ жизненность, а иное въ ней имѣть и общечеловѣческое значеніе. Душу Пушкина томили тѣ самые вопросы, которые гнетутъ насъ и теперь, и онъ оставилъ намъ въ своей поэзіи не узкое доктринерское рѣшеніе ихъ (то—не дѣло поэзіи), а живую, идейную и вмѣстѣ художественную, весьма рельефную постановку ихъ, открывающую, какъ то бываетъ у всякаго великаго поэта, безконечную перспективу<sup>3)</sup>). Потому-то поэзія Пушкина остается свѣжимъ благоухающимъ цветкомъ въ поэтическомъ букетѣ XIX в., хотя прошло уже болѣе 60 лѣтъ съ той поры, какъ смерть поэта оторвала ее отъ корня жизни.

Основное направленіе поэзіи въ началѣ нашего вѣка повсюду слагалось изъ болѣе или менѣе смутнаго чувства неудовлетворенности настоящимъ, изъ стремленія къ чему-то необычайному и изъ не вполнѣ ясныхъ порываній въ даль и въ высъ, потому что твердыхъ и опре-

<sup>1)</sup> Th. Ziegler, Die geistigen und sozialen Strömungen des Neunzehnten Jahrhunderts, Berl. 1899, S. 687: „Noch immer gilt das Wort Hegels, dass die Geschichte ein Fortschreiten sei im Bewusstsein der Freiheit. Frei sind aber nur die, die tapfer sind und milde zugleich—tapfer um sich nicht in Fesseln schlagen zu lassen und es aufzunehmen mit dem Leben, milde um andere zu verstehen und über dem Trennenden nicht das menschlich Einigende zu vergessen; und darum ist Goethes reine Menschlichkeit schliesslich doch das Ziel, dem wir zustreben“.

<sup>2)</sup> См. лекцію Александра Н. Веселовскаго: „Наканунѣ Пушкина“.

<sup>3)</sup> Справедливо замѣтилъ въ 1880 г. Юрьевъ, что Пушкинъ „далъ намъ въ своихъ твореніяхъ великой поэтической синтезъ тѣмъ направленіямъ мысли, которые до сихъ поръ борются между собою въ сознаніи нашего общества“. Вѣнокъ, стр. 41.

дѣленныхъ началъ, надеждъ и программъ, какими одушевлялся XVIII-й вѣкъ, не было.

Нападки Вольтера и авторовъ Энциклопедіи на христіанство, 1789 и въ особенности 1792 годы подорвали-было, казалось, все прошлое: церковь, государство и прежнее общество. Но исключительное сомнѣніе—не въ натурѣ человѣка. Начинавшемуся XIX-му вѣку оставалось рѣшить вопросъ, возможно ли для мысли въстановить прочныя начала мысли и жизни, разрушенныя сомнѣніемъ и критикой предшествовавшаго столѣтія. Одни продолжали върить въ новые начала, возвѣщенныя евангеліемъ идейного и революціоннаго освобожденія. Другіе, разочаровавшись въ благахъ, какія сулила революція, пытались—было порѣшить томительные вопросы возвратомъ къ старымъ преданіямъ во всѣхъ сферахъ жизни. Отсюда отсутствіе примиренія и постоянная борьба въ области мысли религіозной и философской, въ общественной морали, въ сферѣ искусства, въ идеяхъ политическихъ, столкновеніе и самая пестрая смѣсь и хаосъ идей и чувствованій, какія рѣдко бывають въ исторії.

Началось возрожденіе вѣры въ области религіозной: боролись съ унаслѣдованнымъ отъ XVIII вѣка полнымъ отрицаніемъ и скептицизмомъ Энциклопедіи и Вольтерянства сентиментальные или эстетические аргументы защиты религіи въ духѣ деиста Руссо, полная и наивная вѣра, переходящая въ мистику, въ міръ таинственнаго и сверхъ-естественнаго, и, наконецъ, христіанско-практическій спиритуализмъ. Щѣлая группа людей усиливала върить себѣ утраченную вѣру путемъ разума, ища душевнаго мира. Инымъ это совсѣмъ не удавалось, и они безнадѣжно останавливались передъ порогомъ непознаваемаго. Иные боролись между потребностію върить въ доброе и попечительное міроправленіе и невозможностію представить его себѣ. Нѣкоторые усиливались обосновать необходимость религіозной вѣры политическими доводами въ родѣ того, что политическая общество не могли бы ни установиться, ни держаться, ни существовать средствами чисто человѣческими<sup>1)</sup>, либо опирали свою вѣру на основанія соціальная<sup>2)</sup>, или же эстетическая<sup>3)</sup>. Другіе предпринимали по-

<sup>1)</sup> Графъ Жозефъ де-Maistre.

<sup>2)</sup> Lamennais училъ, что основаніе всякаго общества заключается во „взаимномъ дарѣ человѣка человѣку“, а эта соціальная основа дается лишь религію.

<sup>3)</sup> Руссо сомнѣвался въ божественномъ откровеніи и отбрасывалъ въ сторону пророчества и чудеса, какъ засвидѣтельствованныя людьми, могущими оши-

строение нового спиритуализма на основѣ тѣхъ таинственныхъ душевныхъ явлений, которые находятся на рубежѣ нашихъ интеллектуальныхъ завоеваній. Были и такие, которые, отрѣшавъ религию отъ догматовъ, превращали ее въ чисто моральное и свѣтское ученіе.

Всѣ эти люди, искашившіе сознательной вѣры, представляли лишь меньшинство въ обществѣ XIX в., большинство же преbyвало въ вѣрѣ, не вдумываясь въ нее. На ряду съ нимъ видимъ меньшую группу люда, не вѣрующаго и не вдумывающагося въ основаніе своего не-вѣрія. Есть толпа, глядящая на религию, какъ на неизбѣжную условность. И, наконецъ, особо стоять люди, вѣрящіе въ неизвѣстное, зовущееся природой, или же превращающіе Провидѣніе въ антиправи-дѣніе.

Вообще религіозная мысль образованныхъ людей XIX в. нерѣдко сливалась съ философіею какъ бы согласно съ идеями Руссо<sup>1)</sup> и въ силу того характера, который пріобрѣтала послѣдняя, становясь въ первой половинѣ XIX в. ученіемъ обѣ абсолютной идеѣ.

Въ области философіи не видимъ возвращенія къ болѣе или менѣе отдаленному прошлому и обращенія въ авторитету прежнихъ мыслителей<sup>2)</sup>. Исключеніе составляло вниманіе къ Канту. При этомъ философія первой половины XIX в. выступила противъ грубаго эмпіризма XVIII в. и пріобрѣла трансцендентальный характеръ. Взамѣнъ англійскаго механическаго деизма и механическаго атеизма XVIII в. нѣмецкая философія XIX в. выдвинула ученіе обѣ имманентности, всеприсутствії Бога въ природѣ и человѣкѣ. Французская философія первой половины

батъся, и какъ недопустимы разумомъ, но признавалъ красоту христіанства и его благотворное воздействиѣ въ теченіе многихъ вѣковъ. Шатобранъ хотѣлъ изобразить все величие и прелесть христіанства, всѣ неоцѣненные блага, которыми ему обязано человѣчество во всѣхъ сферахъ, и говорилъ, что „изъ всѣхъ религій, когда-либо существовавшихъ, христіанская религія—самая поэтичная, самая человѣчная, наиболѣе благопріятствовавшая истинной свободѣ, наукамъ и искусствамъ“.

<sup>1)</sup> По словамъ Руссо, „философія“ (въ томъ широкомъ смыслѣ, въ какомъ понимали это слово въ XVIII в.) „не можетъ сдѣлать никакого добра, котораго религія не сдѣлала бы еще лучше, и религія не приноситъ такого блага, котораго философія не смогла бы сдѣлать“.

<sup>2)</sup> Только христіанско-практическій спиритуализмъ XIX в., составляющій особенность вѣрюющихъ людей XIX в., развивалъ начинанія предшествовавшихъ (IV—XIII, XVII) вѣковъ въ созданіи въ синтетическомъ единствѣ науки о трехъ сферахъ существованія (о Богѣ, человѣкѣ и природѣ) и о законахъ, возвышающихихъ надъ указанными уже общими законами.

нашего вѣка была, подобно нѣмецкой, реакціею крайнему матеріализму конца XVIII в., отождествившему духъ и тѣло и объявившему человѣка машиной. Крайности прежняго матеріализма вызвали крайности реаціи со стороны спиритуализма, какъ потомъ вновь <sup>1)</sup> послѣдній сталъ падать въ мнѣніи людей, не желавшихъ становиться „жертвами неукротимой потребности въ абсолютномъ“, ищущей удовлетворенія въ спекулятивныхъ (умозрительныхъ) системахъ <sup>2)</sup>.

Какъ нерѣдко отношеніе къ религії въ наше вѣкъ тѣсно вязалось съ рѣшеніемъ философскихъ проблемъ спиритуализма и матеріализма, такъ пребывали въ зависимости отъ того же рѣшенія и этическихъ ученій XIX-го столѣтія, состоя въ то же время въ связи съ религіозными, а иногда и эстетическими, воззрѣніями и научными построеніями. Независимо отъ оптимизма и пессимизма и отъ вѣры въ „добрую природу“ человѣка, или же отъ утвержденій о склонности ея ко злу, держались лишь получавшія дальнѣйшее развитіе филантропическая идеи XVIII в. Но при этомъ постоянно боролись христіанское ученіе обѣ эмоціяхъ спиритуалистически чистаго происхожденія и о смиреніи въ силу грѣховности и ничтожества человѣка, съ одной стороны, а съ другой—возвеличеніе правъ и достоинствъ геніального „я“, ведшее начало со времени гуманизма и воскресшее съ новою силою въ индивидуализмѣ XVIII в. (Руссо и его послѣдователей) и въ „культѣ героеv“ XIX в. Установливаемую этимъ культомъ великую „роль личностей въ исторіи“ подрывали все болѣе и болѣе приобрѣтаемыя наукой данные, въ силу которыхъ человѣкъ, привыкшій въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ усвоять себѣ привилегированное мѣсто въ системѣ мірозданія, долженъ былъ, при томъ новомъ положеніи, какое назначаетъ ему въ этомъ мірозданіи новая наука, смотрѣть на себя, какъ на бессильную жертву окружающихъ его жестокихъ силъ и условій, какъ на ужасную марionетку ихъ. Людямъ, вѣрящимъ въ медленное, но вѣрное дѣйствіе научнаго духа, оставалось ожидать, что послѣдній приведеть къ установленію моральнаго равновѣсія и внутренней дисциплины человѣка. Въ числѣ тѣхъ научныхъ данныхъ, которая сводятъ до минимума историческую роль личностей, видное значеніе имѣли наблюденія надъ

<sup>1)</sup> Со второй половины XIX в.

<sup>2)</sup> Какъ прежде съ рѣшительностью ставили метафизику, такъ Конти категорически отвергъ ее.

историческою жизнію народовъ и понятія о народныхъ особяхъ, слагавшися съ послѣдней четверти прошлаго вѣка и получившія новый толчокъ къ своему развитію со временеми великихъ потрясеній европейской государственности въ началѣ настоящаго столѣтія. Соответственно тому на мѣсто индивидуума XVIII-го и XIX-го вв. иные стали возводить на пьедесталь народъ. Отсюда двоякое теченіе въ общественной морали, преобладаніе въ ней либо индивидуализма, либо ученія о долгѣ въ отношеніи къ обществу.

Подобную же борьбу можно наблюдать и въ эстетическихъ ученияхъ XIX вѣка и при томъ въ двухъ параллеляхъ. Въ европейскихъ литературахъ уже съ конца прошлаго столѣтія боролись космополитизмъ и народность, классицизмъ съ одной стороны и сентиментальный и романтическій культъ народности съ другой, включая въ послѣдній и увлеченіе созданіями народнаго генія массъ. Какъ народному духу усвояли все творчество въ области права и государства, такъ стали говорить и о великомъ значеніи массъ въ созданіи языка и искусства. Идея о такомъ значеніи массъ въ народномъ творчествѣ, намѣщенная уже во второй половинѣ XVIII в., стала для многихъ великимъ открытиемъ и лозунгомъ XIX в. Новымъ проявленіемъ того же народолюбія явилась тенденція навязыванія поэзіи непремѣнно и преимущественно соціальныхъ задачъ. Противостоявшей ей, также романтическій индивидуализмъ въ эстетикѣ привель къ такъ наз. теоріи искусства для искусства, опредѣленно выступающей у Гёте<sup>1)</sup> и затѣмъ у романтиковъ, въ особенности французскихъ<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> См., напр., изображеніе Тассо, который выставленъ существомъ особаго высшаго разряда:

Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum,  
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur.

Ср. у Неттер, Die romantische Schule.

<sup>2)</sup> См., напр., у Альфреда де-Винни, который въ 1832 г., въ великие дни политического дѣйствованія французского романтизма, одинъ изъ романтиковъ осмѣялся выставить формулу, что не дѣло литераторовъ играть политическую роль. Въ 7-й главѣ Stello, носящей заглавіе „Un credo“—Исповѣданіе вѣры, — пополняется теорія автора касательно того, что „поэтъ даетъ для себя мѣрку своимъ произведеніямъ“. Идеалистъ Стелло спрашиваетъ реалиста Черного доктора: „Гдѣ вы были?“ Черный докторъ отвѣчаетъ съ ужасающимъ равнодушіемъ: „У постели умирающаго поэта. Но, прежде, чѣмъ продолжать, я долженъ поставить вамъ одинъ вопросъ: не поэтъ ли вы? Изслѣдуйте себя хорошенько и скажите мнѣ, не чувствуете ли вы себя поэтомъ въ глубинѣ души?“. Стелло глубоко

Но ближайшая действительность шумно заявляла свои права, и въ поэзію самихъ этихъ романтиковъ вторгался неодолимо реализмъ.

Наконецъ, и въ сферѣ политической мысли XIX вѣка постоянно предстоялъ выборъ между космополитизмомъ и народностью, между грезами революціи и соціального переворота и вѣковыми началами и формами национальной самобытности, между общими принципами свободы и равенства, наиболѣе, казалось, осуществляемыми демократіей, и сословнымъ строемъ. Все это болѣе или менѣе выражалось въ борьбѣ общественности со старою государственностью.— Въ политическихъ организаціяхъ существуютъ двоякіе интересы: 1) преимущественно обусловливаемые физическими потребностями общества, или совокупности единичныхъ личностей, и 2) порождаемые преимущественно духовною природою человѣка, другими словами: 1) общественные и 2) государственные. Полного равновѣсія обоихъ родовъ интересовъ, т. е. общественныхъ и государственныхъ, не бываетъ,

вдохнулъ и послѣ мгновенія самососредоточенія отвѣчалъ въ однообразномъ тонѣ вечерней молитвы: „Я вѣрю въ себя, потому что чувствую въ глубинѣ своего сердаца тайную, невидимую и неизъяснимую силу, вполнѣ уподобляющуюся предчувствію будущаго и откровенію таинственныхъ причинъ настоящаго. Я вѣрю въ себя, потому что въ природѣ нѣть такой красоты, такого величія, такой гармоніи, которая не производили бы во мнѣ пророческаго содроганія, которымъ не вносили бы глубокаго волненія въ мою утробу, и не наполняли бы моихъ вѣкъ слезами вполнѣ божественными и неизъяснимыми. Я твердо вѣрю въ возложенное на меня несказанное призваніе, и вѣрю въ него по причинѣ безграничнаго состраданія, которое внашдаютъ мнѣ люди, мои товарищи въ несчастіи, и также по причинѣ чувствуемаго мною желанія протягивать имъ руку и беспрестанно возвышать ихъ словами состраданія и любви... Я чувствую, какъ угасаютъ молніи вдохновенія и ясность мысли, когда неопредѣлимая сила, поддерживающая мою жизнь, любовь перестаетъ наполнять меня своею горячою мощью; а когда эта сила переливается во мнѣ, ею озаряется вся моя душа; мнѣ кажется, что я сразу понимаю вѣчность, пространство, твореніе, созданія и рокъ; лишь тогда иллюзія, златоперый фениксъ, располагается на моихъ устахъ и поетъ... Я вѣрю въ вѣчную борьбу нашей внутренней жизни, плодотворной и призывающей, противъ жизни вѣтшней, изсушающей и отталкивающей, и я призываю свыше мысль, наиболѣе способную сосредоточить и воспламенить силы моей жизни, самопожертвованіе и жалостъ“. Устами Стельо въ этомъ credo, исповѣданіи вѣры, говорилъ самъ поэтъ, А. де-Виньи: поэтъ представленъ здѣсь высшимъ существомъ, одареннымъ Богомъ. Несмотря на различіе, отдѣлавшее младшее поколѣніе французскихъ романтиковъ, выступившее послѣ 1830 г. и проникшееся реализмомъ, отъ де-Виньи, теорія послѣднаго объ отрѣшеніи поэта отъ прямого вмѣшательства въ жизнь распространилась среди художниковъ младшихъ поколѣній и достигла у нихъ особаго успѣха. Теофиль Готье основалъ „L'Ã©cole de l'art pour l'art“, послѣдователи которой называли себя художниками фантазіи (artistes fantaisistes).

и берутъ перевѣсь обыкновенно либо тѣ, либо другіе. Французская революція опиралась своей теоретической основой на *Contrat social* Руссо, развившаго ученіе Гоббса и Локка о происхожденіи государства путемъ договора, на ученіе Руссо о правахъ человѣка и о свободѣ, и уже пролагала дорогу столь развитвшемуся въ XIX в. соціализму<sup>1)</sup>, стремящемуся къ разрушенню государства и арміи. Противъ французской революціи за государство вступился англичанинъ Боркъ. Въ его „Разсужденіяхъ о французской революції“ послѣдняя подверглась сильнейшимъ нападкамъ. Провозгласивъ: „Men, not measures“ (Дайте намъ людей, а не мѣропріятія!), Боркъ явился предшественникомъ немецкой исторической школы нашего вѣка. По взгляду ея, государство имѣеть нравственная цѣли; оно—нравственная личность, нравственное общеніе, призванное къ положительнымъ дѣяніямъ для воспитанія рода человѣческаго, чтобы каждый народъ чрезъ государство и въ государствѣ вырабатывалъ изъ себя дѣйствительный характеръ.

Таковы проблемы, наполнявшія жизнь XIX в. и вызывавшія безконечное видоизмѣненіе его творчества въ главныхъ областяхъ мысли и ея дѣятельности.

Русская жизнь нашего вѣка раздѣляла въ большей или меньшей степени усиленія къ решенію этихъ задачъ вмѣстѣ съ остальнымъ европейскимъ міромъ, съ которымъ все болѣе и болѣе сливалась. Основные вопросы, волновавшіе Западъ, были все время такими же жгучими и настоятельными злобами вѣка и для насъ.

И для нашей религіозной вѣры не прошло безслѣдно вольнодумство прошлаго вѣка, столь популярное въ нашемъ дворянствѣ Вольтерянство и рѣзкія выходки энциклопедистовъ. И у насъ были пламенные послѣдователи Руссо, и во главѣ ихъ поставленный Пушкинъ рядомъ съ Руссо—Карамзинъ<sup>2)</sup>. И у насъ немало противниковъ безвѣрія обратилось къ мистицизму, а реакція философскому движению прошлаго вѣка приняла форму увлеченія системами Шеллинга, Гегеля, Менъ де Бирана, и затѣмъ на смѣну философскаго идеализма выступили позитивизмъ, увлеченіе естествознаніемъ и т. п.

<sup>1)</sup> См. *Revue critique* 1899, № 13, Lettre de M. Lichtenberger (по поводу замѣтки Espinas въ *Revue critique* о книгѣ Lichtenberger: *Socialisme et la Rевolution fran鏰ise*).

<sup>2)</sup> I, 44.

Въ области морали частной и общественной происходила та же, что и на западѣ, борьба протеста личности противъ стѣсненія ея правъ и вообще противъ вѣкового склада жизни, увлеченіе народолюбіемъ и проблемами соціальной жизни. Въ области искусства имѣла мѣсто та же, что и тамъ, борьба классиковъ съ романтиками, романтиковъ съ натуралистами и т. п. Но особое значеніе пріобрѣло у насъ и въ прямой своей области и въ литературѣ движение, обусловленное политическими и соціальными ученіями XIX в. Государственность, столь подавлявшая личность и общество въ Московскій періодъ нашей исторіи (въ отличіе отъ до-татарского времени) и долго въ императорскій, и стремившаяся къ подавленію всего населенія, кроме привилегированныхъ классовъ, въ шляхетской Польшѣ, казалась инымъ тягостною въ началѣ нашего вѣка. Уже со временеми Екатерины II у насъ отдельные единичные личности стали сознавать, что вицѣнное могущество, достигнутое русскимъ государствомъ, не соотвѣтствовало внутреннему нестроенію послѣдняго, явившемуся отрицаніемъ справедливости. Когда русскій государь въ лицѣ Александра I окружилъ себя ореоломъ славы освободителя народовъ, и русскіе люди гордились его подвигомъ<sup>1)</sup>, въ средѣ лицъ, вышедшихъ современниками и болѣе или менѣе близкими свидѣтелями этихъ событий и дарованія русскимъ императоромъ конституціонныхъ правъ Польшѣ, стала возникать мечта о томъ, что подобными благами надлежало бы пользоваться и нашему отечеству<sup>2)</sup>. Съ запада хлынули широкой волной

<sup>1)</sup> Остафьевскій архивъ, I, 20 (письмо ки. П. А. Вяземскаго А. И. Тургеневу весной 1814 г.): „...дѣла великия и единственныя. Наполеоны бывали, Александра другого вѣтъ вѣкахъ. Роль его прекрасная и безпримѣрная. Цѣль его побѣды: завоеваніе свободы и счастья царей и царствъ: исторія намъ ничего прекраснѣе, славнѣе и безкорыстнѣе не представляетъ“ и т. д., стр. 21—ириинска В. Л. Пушкина: „Какая радость!.. какая слава для Россіи!.. Великъ государь нашъ, избавитель и возстановитель царствъ!“

<sup>2)</sup> Тамъ же, письмо Вяземскаго изъ Варшавы, 3 апрѣля 1818 г., стр. 97—98: „Воля Николая Михайловича, а нельзя не пожелать, чтобы и на нашей улицѣ былъ праздникъ. Что за дѣло, что теперь мало еще людей! Что за дѣло, что сначала будутъ вратъ! Люди рождаются и выучатся говорить. А теперь развѣ не врутъ въ Совѣтѣ? И зачѣмъ имъ не вратъ съ одобреніемъ начальства... „Умъ хорошо, а два лучше“, говорить пословица: пусть будетъ она девизомъ конституціи“. Письмо Н. И. Тургенева князю Вяземскому 23 мая 1818, стр. 103: „Нельзя... русскому не пожалѣть, что, между тѣмъ какъ поляки посыпаютъ представителей, судять и отвергаютъ проекты законовъ, мы не имѣемъ права говорить о ненавистномъ рабствѣ крестьянъ, не смѣемъ показывать всю его мерзость и беззаконность. При

освободительныхъ идеи, и достигли значительного распространенія въ образованномъ обществѣ. По словамъ Пушкина о времени около 1821 г., „мы увидѣли либеральныи идеи необходимую вывѣской хорошаго воспитанія, разговоръ исключительно политической, литературу (подавленную самою своимъравною цензурою) превратившуюся въ рукописные пасквили на правительство и въ возмутительныи пѣсни; наконецъ, и тайныи общества, заговоры, замыслы болѣе или менѣе кровавые и безумные. Ясно, что походамъ 1813 и 1814 года, пребыванію нашихъ войскъ во Франціи и Германіи, должно приписать сіе вліяніе на духъ и нравы того поколѣнія, коего несчастные представители погибли“<sup>1)</sup>). Въ послѣдніе годы правленія Александра I „строгость правиль и политическая экономія были въ модѣ. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ; намъ неприлично было танцевать, и некогда заниматься дамами“, читаемъ въ отрывкахъ „Изъ романа въ письмахъ“<sup>2)</sup>). Все болѣе и болѣе распространялись воззрѣнія въ родѣ выраженныхъ А. Н. Радищевымъ въ концѣ Екатерининскаго царствованія, въ эпоху громовыхъ раскатовъ французской революціи, и были также люди, которые, какъ Пушкинскій Владимиръ, думали: „Небреженіе, въ которомъ мы оставляемъ нашихъ крестьянъ, непростительно. Чѣмъ болѣе имѣемъ мы надъ ними право, тѣмъ болѣе имѣемъ и обязанностей въ ихъ отношеніи. Мы оставляемъ ихъ на произволъ плута прикащица, который ихъ притѣсняетъ, а нась обкрадываетъ“<sup>3)</sup>). Съ той поры и у нась явилось противоположеніе свѣ-

этомъ нельзя не подивиться, что если запрещаютъ рабство бранить, то вмѣстѣ запрещаютъ и хвалить его. Примѣры же на наше дворянство не дѣйствуютъ. Курляндцы и эстляндцы искореняютъ рабство, даже виленское дворянство произвольно отказывается отъ печального права владѣть себѣ подобными. Мы же продолжаемъ пребывать во грѣхѣ“. См. еще стр. 105, въ особенности 142.

<sup>1)</sup>) „Записка о народномъ воспитаніи“, поданная въ 1826 г., V, 43.

<sup>2)</sup>) Рѣчь идетъ о 1818 годѣ: „Отрывки изъ романа въ письмахъ“, IV, 358. Онѣгинъ (Евг. Он. I, VII):

. . . . . читалъ Адама Смита  
И былъ глубокій экономъ.

<sup>3)</sup>) IV, 356. Конечно, мелкопомѣтные дворяне, не служивши и сами занимавшиеся „управленіемъ своихъ деревушекъ“, отличались еще „дикостью“: „для нихъ еще не прошли времена Фонтъ-Бизина, между ними процвѣтали Простаковы и Скотинины“: IV, 357. Но Н. И. Тургеневъ въ своей деревнѣ „привель въ дѣйствіе либерализмъ свой: уничтожилъ барщину и посадилъ на оброкъ мужиковъ, уменьшилъ чрезъ то доходы“ свои: Остafьевский архивъ, I, 121.

жихъ требованій общественной мысли государственной рутинѣ, установившееся во Франціи за вѣкъ передъ тѣмъ, и то единеніе государства и общества, которое существовало въ Московскій періодъ и въ первую половину царствованія Екатерины II, было порвано кругами общества, считавшими себя за передовыя. Вошла въ употребленіе кличка „либералъ“<sup>1)</sup>, и стала зарождаться наша новѣйшая оппозиція<sup>2)</sup>. Возникало разобщеніе личности со средой и оттуда грусть и тоска.

Словомъ, въ годы юности Пушкина начали окончательно слагаться новые идеи о народномъ благѣ и мечты о подведеніи и нашего государства подъ тѣ западныя формы, образецъ которыхъ представляли Франція и Англія<sup>3)</sup>, и вообще уже тогда выникъ цѣлый рядъ жгучихъ вопросовъ, которые ставилъ постоянно и потомъ весь XIX вѣкъ до нашихъ дней включительно. Они предстаютъ намъ съ неотразимою настоятельностью и теперь, когда анархія идей опять охватила многие умы и достигла чрезвычайной силы, и въ высшей степени интересно взглянуть, какъ отнесся къ нимъ умѣйший человѣкъ въ Россіи

<sup>1)</sup> Между проч., либераломъ называлъ Карамзинъ и Пушкина (въ письмѣ къ Дмитреву). Остафьевскій архивъ, I, 162, письмо Н. И. Тургенева въ Варшаву: „Нѣкоторыя либеральные идеи, которыя у васъ переводатъ законосвободными, а здѣсь можно покуда назвать арзамасскими...“ См. еще 106, 134: „либеральные стихи“ и т. п.

<sup>2)</sup> А. Н. Вульфъ записалъ о ней въ своемъ дневникѣ подъ 1834 годомъ (Майковъ, Пушкинъ, стр. 208): „ея у насъ нѣть, развѣ только въ молодежи“. Такъ же было и при Александрѣ I. Она ютилась въ средѣ служилой молодежи и проявлялась иногда лишь въ интимныхъ дружескихъ бесѣдахъ и перепискахъ. См., напр., въ письмахъ кн. Вяземскаго: „У насъ и самое самовластіе умѣеть еще подгадить; эту ядовитую траву употребляютъ только, чтобы отравливать людей, а никогда не воспользуются ею, гдѣ придется случай выжать изъ нея сокъ, для иныхъ болѣзней цѣльный“; 142: „Языкъ мой—врагъ мой“. У него ничего того ни на умѣ, ни на сердцѣ нѣть, а все это такъ говорится для виду, для близику. А дураки-то и разинули ротъ! Впрочемъ, государство—выученная роль... Повѣрь, въ этомъ режимѣ, отъ престола до лубочного поля, всегда есть примѣсь дьявольского“ и т. п. Ср. замѣчанія Мицкевича о русской оппозиціи въ его некрологѣ Пушкина: Міръ Божій, 1899, № 5.

<sup>3)</sup> Тургеневъ кн. Вяземскому: „Недавно у меня вымарали англійскую свободу въ библейской рѣчи. Скоро ее, вѣроятно, и въ лексиконѣ не останется.

„Благословенный брегъ великаго народа!“ (Остраф. арх. 1, 137, ср. 142); кн. Вяземскій Тургеневу: „Теперь метафизическая философія уступила мѣсто метаполитической философіи, и родимый край ея—все тотъ же Парижъ. Въ Англіи учиться труднѣе, чѣмъ во Франціи; тамъ задачи уже разрѣшены, а здѣсь ихъ еще рѣшаются“ (Ост. арх., 161). Отвѣтъ Тургенева—на стр. 175: „Во Франціи исторія дѣлается еще, въ Англіи она уже давно сдѣлана и даже написана“ и т. д.

того времени, по мнѣнію импер. Николая I<sup>1)</sup>, человѣкъ, утрата кото-  
рого была незамѣнна, по выраженію Мицкевича.

Соблости разумную мѣру въ постановкѣ основныхъ вопросовъ и  
избѣжать близорукости въ опытахъ ихъ рѣшенія—удѣлъ немногихъ  
свѣтлыхъ умовъ. Пушкинъ достигъ того, между прочимъ, не только  
благодаря своему великому уму и сердцу, но и въ силу той чрезвы-  
чайной широты взгляда, которую пріобрѣлъ внимательнымъ изуче-  
ніемъ выдающихся произведеній новыхъ литературъ и жизни, въ томъ  
числѣ и русской. Литература же русская, едва ставшая съ лѣта Ека-  
терины II обращаться къ кореннымъ вопросамъ нового времени, мало  
могла помочь Пушкину въ принципіальномъ рѣшеніи этихъ вопро-  
совъ, и онъ съ лѣта отрочества и юности зачитывался иностранною.  
Прежде всего въ западныхъ литературахъ, а не въ родной, искалъ  
Пушкинъ и находилъ наиболѣе удовлетворявшіе его отвѣты на то-  
мившіе его основные вопросы до той поры, пока, созрѣвъ до вполнѣ  
самостоятельного мышленія, не сталъ обращаться за откровеніями и  
въ русской душѣ и къ русской дѣйствительности, ея прошлому и на-  
стоящему.

Что же почерпнулъ Пушкинъ изъ литературъ Запада и какъ  
отнесся къ воспринятыму оттуда? И что дала ему русская среда и  
его русская душа?

<sup>1)</sup> Отзывъ этотъ былъ сдѣланъ послѣ первой бесѣды Императора съ Пуш-  
кинымъ (въ 1826 г.).

## II.

*Отношение поэзии Пушкина къ западноевропейской.*

Пушкину довелось подвизаться на литературномъ поприщѣ въ годы появления цѣлаго ряда крупныхъ талантовъ и чрезвычайно мощнаго подъема поэзіи на Западѣ, расцвѣта ея даже въ той странѣ, въ которой академизмъ и рационализмъ убили ее на цѣлый вѣкъ передъ тѣмъ, такъ что въ теченіе всего XVIII-го столѣтія Франція имѣла одного истиннаго поэта, а не резонера въ стихахъ, именно—Андре Шенье.

Въ поэзіи 20-хъ и 30-хъ годовъ нашего вѣка одновременно слышались еще отзвуки до-революціоннаго энтузіазма XVIII в. и звучали аккорды новаго настроенія, характеризующаго по преимуществу XIX столѣтіе. Пользовались громкою словою рядомъ и представители литературнаго движения прошлаго вѣка, и поэты, выступивши впервые въ нашемъ столѣтіи, выразивши его скорби и чаянія.

Къ старшему поколѣнію принадлежали: великий поэтъ новѣйшей гармоніи духа, Гёте, патріархи англійской романтики, Вальтеръ-Скотъ и Уордсвортъ, и старшій корифей французскаго романтизма Шатобранъ. Приблизительно на десять лѣтъ были старше Пушкина великие англійскіе поэты начала XIX вѣка Байронъ и Шелли и французскій романтикъ Ламартинъ; сверстниками то немного старше, то немного моложе нашего поэта были молодые вожди французскаго романтизма 20-хъ и 30-хъ годовъ. В. Гюго, Альфредъ де-Виньи, и самая яркая поэтическая звѣзда вечерней зари нѣмецкой романтики и смѣнившей ёе поэзію молодой Германіи—Гейне. Вполнѣ сверстникомъ Пушкина былъ обновитель Польской поэзіи—Мицкевичъ, увидѣвшій впервые свѣтъ всего за шесть мѣсяцевъ до Пушкина.

Время деятельности Пушкина совпало, такимъ образомъ, съ періодомъ необычайного оживленія поэзіи. Отличалось оно и быстрымъ движениемъ литературныхъ идей, въ особенности—благодаря тому интересному явлению, которое называютъ литературнымъ космополитизмомъ.

Стремлениe къ изученію великихъ созданій мысли и творчества, раскрытие души для ихъ воспріятія и литературное взаимодѣйствіе почти всегда существовали, но никогда не принимали они такихъ размѣровъ, какъ въ новое время, преимущественно съ XVIII столѣтія и съ эпохи новой романтики. Съ той поры принятіе и усвоеніе лучшихъ результатовъ умственной дѣятельности и литературныхъ направлений и формъ, выработанныхъ другими народами, стало постояннымъ и рѣзко замѣтнымъ фактомъ истории и неизбѣжнымъ условиемъ болѣе широкаго и многосторонняго народнаго развитія: подобнымъ усвоеніемъ народъ, какъ и отдельная личность, спасается отъ узости и односторонности ума, но важно при этомъ, чтобы заимствованіе не подавляло самобытности.

На западѣ періодъ широкаго космополитизма и новой романтики открылъ Руссо, котораго можно назвать литературнымъ отцомъ Бернардена де Сенъ-Пьера и Шатобриана, а также вдохновителемъ цѣлаго ряда романтическихъ произведеній, начиная съ Гѣтевскаго Вертера.

На Руси литературный космополитизмъ, который былъ такъ по душѣ западной романтикѣ, оказался болѣе въ силѣ, чѣмъ въ какой либо иной странѣ, вслѣдствіе бѣдности нашей литературы до того времени и въ силу общаго склада русской жизни и направленія большинства русскаго образованнаго общества предъ нашествіемъ Наполеона: космополитизмъ сталкивался въ этомъ обществѣ съ любовью къ своей народности, но торжествовалъ надъ нею.

Тогда происходило приблизительно то же, что повторилось потомъ въ эпоху Крымской войны и во время нашихъ неудачъ въ турецкую кампанію 1877 года, и отъ чего не вполнѣ отрѣшились мы и теперь.

Въ годы дѣтства Пушкина, по его словамъ, „подражаніе французскому тону временъ Людовика XV было въ модѣ. Любовь къ отечеству казалась педантствомъ. Тогдашніе умники превозносили Наполеона съ фанатическимъ подобострастіемъ и шутили надъ нашими неудачами. Къ несчастію, защитники отечества были немногого простоты,—они были осмѣяны довольно забавно, и не имѣли никакого

вліянія... Молодые люди говорили обо всемъ русскомъ съ презрѣніемъ или равнодушіемъ, и шутя предсказывали Россіи участъ Рейнской конфедерациі. Словомъ, общество было довольно гадко“<sup>1</sup>).

Потому-то и пришлось первымъ крупнымъ представителямъ нашей поэзіи XIX в., Жуковскому и Батюшкову, черпать такъ много изъ иностранныхъ литературъ. Еще въ большей степени явился представителемъ литературного космополитизма въ нашей литературѣ Пушкинъ, и въ силу своего воспитанія, и вслѣдствіе бѣдности тогдашней нашей родной литературы.

На эту бѣдность не разъ жаловался Пушкинъ впослѣдствіи, напр., въ „Первомъ посланіи цензору“ (1824) и въ „Рославлевѣ“: „Вотъ уже, слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ бранять насъ бѣдныхъ за то, что мы по-русски не читаемъ и не умѣемъ (будто бы) изъясняться на отечественномъ языке. Дѣло въ томъ, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же отъ всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ. Въ прозѣ имѣемъ мы только Исторію Карамзина; первые два или три романа появились два или три года тому назадъ, между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, одна другой замѣчательнѣе, поминутно слѣдуютъ одна за другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все, извѣстія и понятія, черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ, и мыслимъ мы на языкѣ иностраннѣ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которые мыслить и слѣдуетъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признавались мнѣ самые извѣстные наши литераторы“<sup>2</sup>).

Не удивительно потому, что и Пушкинъ почерпнулъ свое идеиноe и отчасти также и формальное литературное образованіе преимущественно изъ иностранной поэзіи и ей былъ обязанъ огромною долею своего вдохновенія. Но только, въ отличіе отъ своихъ предшественниковъ, Пушкинъ съ довольно раннаго времени выказывалъ силу оригиналной мысли, и значительную самостоятельность, а затѣмъ достигъ и полной самобытности. Въ творчествѣ его западноевропейскія вѣя-

<sup>1</sup>) I, 316; Рославлевъ“ (1831 г.); IV, 114.

<sup>2</sup>) IV, 111—112; ср. III, 420 (1825 г.); „Говорить, что наши дамы начинаютъ читать по-русски“.

нія сливались съ соотвѣтственными порывами русской души. Справедливо замѣтилъ И. С. Тургеневъ, что „самое присвоеніе чужихъ формъ совершалось имъ съ самобытностью, хотя, къ сожалѣнію, иностранцы не хотятъ это въ насъ признать, называя эти наши свойства ассимиляціей“ <sup>1)</sup>.

Наиболѣе сильное вліяніе оказывали на Пушкина сначала французская литература, главнымъ образомъ—XVIII в. и начала XIX-го и затѣмъ англійская, преимущественно въ произведеніяхъ Байрона и Шекспира; слабѣе было воздействиѣ нѣмецкой поэзіи и соприкосновеніе Пушкина съ великими итальянскими поэтами, а также съ поэзіей родственныхъ намъ славянскихъ племенъ <sup>2)</sup>.

Исходнымъ пунктомъ литературного и морального образованія Пушкина, какъ и большинства нашей знати, была французская литература, преимущественно XVII—XVIII вв. Недаромъ Пушкина называли другіе, да иногда и онъ самъ себя французомъ. Если заглянемъ въ поэтическій каталогъ излюбленной его библіотеки въ юности, то увидимъ, что первое мѣсто въ ней занимали французские писатели XVII—XVIII вв., а русскіе стояли лишь обокъ съ первыми <sup>3)</sup>.

Даже однимъ изъ первыхъ литературныхъ опытовъ Пушкина была французская комедія, въ которой онъ, по его собственному выраженію, обобразъ Мольера (*escamota de Moliere*). Съ произведеніями послѣдняго Пушкинъ тайкомъ ознакомился въ библіотекѣ отца и увлекался ими такъ, что называлъ автора ихъ „исполиномъ“ въ одномъ изъ своихъ юношескихъ стихотвореній <sup>4)</sup>.

Впослѣдствії (въ 1833 г.). Пушкинъ замѣтилъ основную слабость этого исполнителя, сопоставивъ его съ Шекспиромъ <sup>5)</sup>. Поэтому-то Пушкинъ избѣжалъ односторонности Мольера въ обрисовкѣ Донъ-Жуана, которую задался въ своемъ „Каменномъ гостѣ“ (1830 г.).

<sup>1)</sup> Вѣнокъ, стр. 50.

<sup>2)</sup> Весьма здравую и правильную оценку важнейшихъ литературъ Запада и ихъ взаимоотношеній, сдѣланную Пушкинымъ въ одной изъ литературныхъ бесѣдъ, см. въ Запискахъ Смирновой, I, 147 и слѣд. Опроверженіе сомнѣній относительно Записокъ Смирновой см. въ Замѣткѣ ея дочери, Русскій Арх. 1899. № 5.

<sup>3)</sup> I, 42—44: „Городокъ“ (1814).

<sup>4)</sup> I, 44.

<sup>5)</sup> V, 195—186: „Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть, какъ у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненные многихъ страстей, многихъ пороковъ; обстоятельства развиваются передъ зрителемъ ихъ разнообразные многосторонніе характеры“. Немногосложность характеровъ ставила Пушкинъ въ вину и Байрону.

Донъ-Жуанъ Пушкина—не антипатичный Мольеровскій безсовѣстный и безбожный дворянинъ временія Людовика XIV, усматривающій во лжи и въ клятвопреступленіи лишь игру; онъ—и не Донъ-Жуанъ Байрона, представляющій типъ милаго обольстителя XIX в. Пушкинскій Донъ-Жуанъ—болѣе симпатичная личность, напоминающая сентиментального ухаживателя и почитателя женской красоты, какимъ явился Севильскій обольститель въ звукахъ смычка Зальцбургскаго композитора Моцарта благодаря серенадамъ и любовнымъ романсамъ, которые распѣваются въ теченіе всего дѣйствія. По толкованію Гофманна, этотъ Донъ-Жуанъ не есть вульгарный развратникъ, перебѣгающій отъ юпки къ юпкѣ; онъ—существо исключительное, надѣлленное могучимъ умомъ, необычайною увлекательностью и красотою, безграничными помыслами, но плохо употребляющее свои дарованія. Это—искателъ идеала, одна изъ душъ, жаждущихъ божественнаго и прочного счастья, но никогда его не находящихъ на этой жалкой землѣ.

Пушкинъ стоять какъ бы на почвѣ приблизительно такого весьма заманчиваго пониманія типа Донъ-Жуана<sup>1)</sup>). Въ герой своего „Каменаго Гостя“ онъ изобразилъ не „развратнаго, безсовѣстнаго, безбожнаго Донъ-Жуана“, какъ понимаютъ послѣдняго монахъ, Донъ-Карлосъ и другіе<sup>2)</sup>, а облагороженнаго чителя любви, искателя въ ней высшей радости и утѣхи. Пушкинъ, долженствовавшій питать снисхожденіе къ преступленіямъ, внушеніемъ этой нѣжной, столь обуревавшею его, страстью<sup>3)</sup>, не могъ не отнести съ симпатіею къ обольстительному испанскому герою любовныхъ похожденій. И отмѣна

<sup>1)</sup> Зналъ ли Пушкинъ это толкованіе Гофманна, вообще пользовавшагося извѣстностью въ русской литературѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ, нельзя опредѣлить. Знакомство же нашего поэта съ либретто Моцартова *Don-Giovanni* не подлежитъ сомнѣнію и обнаруживается уже изъ эпиграфа „Каменаго Гостя“. О Моцартѣ на нашей сценѣ см. статью Р.: „Моцартъ на Петербургской сценѣ“—*Вѣстникъ Европы* 1868, № 3.

<sup>2)</sup> III, 198, 202 и др.

<sup>3)</sup> Въ дневникѣ Пушкина читаемъ (V, 9): „Plus ou moins jai été aimégeux de toutes les jolies femmes que j'ai connues; toutes se sont passablement morguées de moi; toutes, à l'exception d'une seule, ont fait avec moi les coquettes“. Въ „Гаврилайдѣ“ (Берлинское изданіе):

...Я былъ еретикомъ любви,  
Младыхъ богинь безумный обожатель,  
Другъ демона, повѣса и предатель...

въ Пушкинскій обрисовкѣ по сравненію съ предшествовавшими заключается въ наиболѣе человѣчномъ и глубокомъ пониманіи этого типа<sup>1</sup>) безъ тѣхъ преувеличеній и крайностей въ идеализаціи его, въ которыхъ впали иные послѣдующіе изобразители его, напр., Альфредъ де Мюссе (1832 г.). У Пушкина Донъ-Жуанъ является дѣйствительно эстетическою натурою. Это не грубый искатель чувственныхъ наслажденій и одной виѣшней красоты, а мотылекъ, порхающій отъ одного цвѣтка нѣжной женской любви къ другому, вдыхающій ароматъ и оцѣнивающій своеобразную прелесть каждого изъ нихъ, ищущій въ нихъ жизни и души<sup>2</sup>). Это эклектика любви. Въ одной (Донъ-Аннѣ) Донъ-Жуану нравилась добродѣтель; ранѣе въ другой (Инезѣ) привлекала, „странная пріятность въ ея печальному взорѣ и помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно. Ты, кажется, ее не находилъ красавицей“, говорить Донъ-Жуанъ своему слугѣ Лепорелло:

. . . . . И точно—мало было  
Въ ней истинно-прекраснаго.—Глаза,  
Одни глаза, да взглядъ ... такого взгляда  
Ужъ никогда я не встрѣчалъ! А голосъ  
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной..  
А мужъ ея былъ негодяй суровый—  
Узналь я поздно ... бѣдная Инеза!...

Изъ этихъ словъ ясно, что въ Инезѣ привлекало ея трехмѣсячнаго обожателя, и вмѣстѣ очерченъ мечтательный характеръ его любви, о которой онъ вспоминалъ и потомъ не безъ глубокаго чувства. А

<sup>1</sup>) Ср. Аверкіева, Одрамъ. Три письма о Пушкинѣ, Спб. 1893, стр. 40; Полтавскаго, Переоплощенный Донъ-Жуанъ—Вѣсты. Ипостр. Литерат. 1899, № 6.

<sup>2</sup>) Донъ-Жуанъ говоритъ Лепорелло о женщинахъ страны, въ которой пребывалъ въ изгнаніи (Ш, 196):

. . . . . Да, я не промѣняю,  
Вотъ видишь ли, мой глупый Лепорелло,  
Послѣдней въ Андалузіи крестьянки  
На первыхъ тамошнихъ красавицъ — право.  
Онѣ сначала нравились мнѣ  
Глазами синими, да бѣлизною,  
Да скромностью, а пуще новизною;  
Да, слава Богу, скоро догадался:  
Увидѣть я, что съ ними грѣхъ и знаться;  
Въ нихъ жизни нѣть—все куклы восковые...  
А наши!..

„сколько души“ въ звукахъ пѣсни, сочиненной Донъ-Жуаномъ для Лауры<sup>1)</sup>! Потому и любить его вѣтрепная Лаура болѣе другихъ своихъ любовниковъ, хотя и „сколько разъ измѣняла“ ему „въ“ его „отсутствіи“<sup>2)</sup>. Потому же очаровываетъ онъ и Дону-Анну, столь строгую, такъ свято чтившую память своего, убитаго Донъ-Жуаномъ, покойнаго мужа—командора, и никого не видѣвшую „съ той поры, какъ овдовѣла“. Она боится сначала „слушать“ этого „опаснаго человѣка“, но все-таки вполнѣ отдаетъ ему свое сердце, хотя и знаетъ его хорошо по слухамъ:

О, Донъ-Жуанъ краснорѣчивъ—я знаю!  
Слыхала я: онъ хитрый человѣкъ...  
Вы, говорять, безбожный развратитель,  
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ женщинъ  
Вы погубили<sup>3)</sup>?

Очевидно, въ этомъ обольстителѣ было такъ много искренняго пыла, глубоко чарующаго женское сердце и, следовательно, истинно человѣчнаго, что женщины были безсильны въ борьбѣ съ непреодолимою мощью его бурно увлекавшаго чувства. Пушкинъ превосходно понялъ это и изобразилъ съ необычайнымъ талантомъ, проницательностію и вмѣстѣ разумностію и чувствомъ мѣры. Въ такомъ пониманіи истинной человѣчности, вложенномъ въ изображеніе Донъ-Жуана и его предметовъ страсти, и состоитъ преимущество Пушкина въ ряду поэтовъ, воспроизведившихъ этотъ типъ.

Потому правъ былъ Бѣлинскій, восхищавшійся „Каменнымъ Гостемъ“, но врядъ ли не переступилъ онъ мѣры, когда призналъ это произведеніе „перломъ созданій Пушкина, богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ въ его поэтическомъ вѣнкѣ“. При всѣхъ высокихъ достоинствахъ „Каменаго Гостя“, это не главный перлы въ вѣнцѣ поэта, потому что Пушкинъ не былъ лишь поэтомъ „искусства, какъ искусства, въ его идеалѣ, въ его отвлеченной сущности“.

Изъ западныхъ критиковъ Дешанель не сумѣлъ вполнѣ оцѣнить достоинства Пушкинского произведенія<sup>4)</sup>, но для насть болѣе имѣютъ

<sup>1)</sup> III, 197; 202.

<sup>2)</sup> Ib., 208.

<sup>3)</sup> Ib., 212 и 221.

<sup>4)</sup> E. Deschanel, *Le romantisme des classiques*, quatr. éd., Par. 1885, p. 350—354; „l’oeuvre de Pouchkine, saisissante dans sa briéveté, mais qui ressemble plutôt à une belle ébauche qu’à une œuvre achevée“—замѣчаніе, ничѣмъ не оправ-

значенія, сужденія такихъ цѣнителей, какъ Мериме, котораго, по словамъ И. С. Тургенева, „поражала способность Пушкина подходить близко къ явленіямъ, брать ихъ, такъ сказать, за рога, и образъ Пушкинского Донъ-Жуана увлекалъ французскаго ученаго“<sup>1)</sup>.

Донъ-Жуанъ у Пушкина человѣкъ не нравственный, но не вполнѣ антиатичный и низкій развратникъ; онъ натура страстно поэтическая; недаромъ онъ слагаетъ и пѣсни. Понявъ такъ Донъ-Жуана, Пушкинъ явился истиннымъ начинателемъ здравой и вполнѣ умѣренной идеализациіи этого типа, характеризующей вообще отношеніе XIX вѣка къ этому старому сюжету, началомъ своимъ уходящему еще въ глубь среднихъ вѣковъ.

Указанная обрисовка Донъ-Жуана у Пушкина находилась въ связи съ общимъ отношеніемъ этого поэта къ любви и съ его личною душевною жизнью.

Любовь имѣла важное значеніе въ его жизни и поэзіи, вачиная съ самыхъ раннихъ его лѣтъ и до кончины. Постепенно все болѣе и болѣе облагораживалось его житейское отношеніе къ ней, какъ и поэтическое. Въ поэзіи Пушкина любовь, какъ и другія явленія жизни, предстаетъ въ чрезвычайномъ разнообразіи согласно способности этого поэта переживать глубокія чувства во всемъ богатствѣ ихъ многообразія. Въ этихъ разнообразныхъ видахъ любви въ поэзіи Пушкина для настъ въ высшей степени интересно его глубоко человѣчное пониманіе и воспроизведеніе силы, облагораживающаго и возвышающаго душу дѣйствія этого чувства и условій достижениія въ немъ счастья<sup>2)</sup>. И во время<sup>3)</sup> и послѣ легкихъ юношескихъ похожденій и фри-

---

дываемое. Сближеніе доны-Анны съ матроной Ефесской не выдерживаетъ критики, потому что, по всему видно, бракъ ея съ командоромъ не былъ бракомъ по любви („мать моя велѣла дать мнѣ руку Донъ-Альвару“: III, 217); равно и Инесилья была несчастна въ супружествѣ. Не видно глубокаго пониманія и въ замѣчаніяхъ A. Faginelli, Don Giovanni—Giornae storico della letteratura italiana, vol. XXVII (1896), p. 312: „L’Eugenio Onjegin del Puschkin è fratello del Childe Harold e del Don Juan di Lord Byron e chiude mostrando in crudi colori la vanit  del gran nulla umano. Il suo Don Giovanni si scosta,   vero, dalla maniera di Lord Byron e segue piuttosto, a distanza, s’intende, quella di Shakespeare e di Goethe; ma vuole significare puresso, in sostanza, che nulla dure quaggi  ed ogni umana cosa   vana commedia“.

<sup>1)</sup> Вѣнокъ, 50.

<sup>2)</sup> См. Ю жакова Любовь и счастье въ произведеніяхъ А. С. Пушкина, Од. 1896 („Русская библіотека“, № 6).

<sup>3)</sup> III, 302: И сердцу женщина являлась  
Какимъ-то чистымъ божествомъ.

вольныхъ воспѣваній чувственной любви поэтъ поднимался не разъ до глубокаго чувства, являясь какъ бы Донъ-Жуаномъ, портретъ кото-  
раго изобразилъ въ разсмотрѣнномъ драматическомъ иѣ броскѣ. При  
этомъ воображеніе Пушкина постоянно лелеяло образъ высшихъ радостей  
любви, и онъ, долго бывъ въ любви сыномъ XVIII вѣка и анакреон-  
тикомъ во вкусѣ того вѣка „роскоши, прохлады и нѣгъ“, какъ будто  
несспособнымъ къ пониманію этого чувства въ духѣ Данте и Петрарки<sup>1)</sup>,  
не разъ возвышался до идеализациіи любви въ духѣ Петрарки и Шил-  
лера. Оставимъ въ сторонѣ извѣстное стихотвореніе къ А. П. Кернѣ:

„Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Какъ мимолетное видѣнье,  
Какъ геній чистой красоты<sup>2)</sup> и т. д.

Чистоту отношеній поэта къ этому „генію чистой красоты“ запо-  
дазриваются. Можно бы сказать на это, что характерно уже самое  
преображеніе поэтомъ своего дѣйствительного отношенія въ направленіи,  
которое сообщаетъ особую прелесть этому романсу, приблизительно  
та же идеализація реальныхъ отношеній, или, лучше сказать, поды-  
скиваніе той же основы любви, какое мы видѣли въ „Каменномъ  
Гостѣ“, въ любви Донъ-Жуана къ Донъ-Аннѣ. Но и помимо этого  
стихотворенія у Пушкина не разъ находимъ благоговѣйное воспѣваніе  
женской, и виѣшней, и духовной, красоты, преклоненіе предъ нею и  
любовь вполнѣ безукоризненную и идеальную, истинную любовь поэта,  
какъ выразителя высшихъ влечений человѣческой души, начиная съ  
средневѣковаго рыцарскаго обожанія Пресв. Дѣвы и полнаго отреченія  
отъ всякой земной любви<sup>3)</sup>. Поэту не разъ было знакомо и ро-  
мантическое самоотреченіе въ любви къ личностямъ, далекимъ по

<sup>1)</sup> Въ письмѣ отъ 25 августа 1823 г. читаемъ: „я прочелъ (Туманскому)  
отрывки изъ „Бахчисарайскаго Фонтана“, сказавъ, что я не желалъ бы ее напечатать, потому что многие мѣста относятся къ одной женщинѣ, въ которую я  
быть очень долго и очень глупо влюбленъ, и что роль Петрарки мнѣ не по  
кутурѣ“ (VII, 52). О презрѣніи къ платонизму см. Соч. II, I, 189; ср. I, 217—218.

<sup>2)</sup> I, 351 (1825 г.)

<sup>3)</sup> См., напр. романъ: „Жиль въ свѣтѣ рыцарь бѣдный“ (IV, 328—329 и  
333—334). Ср. въ моей книгѣ: „Романтика Круглого Стола въ литературахъ и  
жизни Запада“, I, К. 1890, стр. 40 и слѣд.

чему-нибудь<sup>1</sup>), и романтическая любовь, переживающая смерть любимой личности<sup>2</sup>), любовь во вкусѣ Ламартина<sup>3</sup>), либо преклоняющаяся предъ любимой личностью, какъ передъ существомъ божественнымъ.

Такая возвышенная любовь примирала усталаго поэта, подавляемаго отрицаниемъ и сомнѣніемъ, съ жизнью, во имя тѣхъ свѣтлыхъ существъ, которыя онъ встрѣчалъ въ ней. Какъ потомъ Лермонтовъ, несомнѣнно подражавшій въ томъ Пушкину, и послѣдній въ иные моменты готовъ былъ воображать себя „другомъ демона“<sup>4</sup>), „демономъ мрачнымъ и мятежнымъ“, „духомъ отрицанья и сомнѣнья“<sup>5</sup>), который облагораживался при мысли о „духѣ чистомъ“ любимой женщины,

<sup>1</sup>) См., напр., стихотвореніе, относящееся къ А. А. Олениной (1829; II, 63):

Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,  
То робостью, то ревностию томили;  
Я васъ любилъ такъ искренно, такъ иѣжно,  
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

<sup>2</sup>) II, 112 („Заклинаніе“, написанное въ 1830 г.—чрезъ четыре съ лишнимъ года послѣ смерти г-жи Ризничъ):

Я тѣнъ зову, я жду Леилы:  
Ко мнѣ, мой другъ, сюда, сюда!  
..... тоскуя,  
Хочу сказать, что все люблю я,  
Что все я твой. Сюда, сюда!

<sup>3</sup>) Разумѣю лирику Ламартина, посвященную воспоминаніямъ о любви и печали объ утратѣ. Ср., напр., стихотв. Ламартина о Граціеллѣ со стихотв. Пушкина: „Для береговъ отчизны дальней..“ (II, 119), въ которомъ поэтъ опять вспоминалъ г-жу Ризничъ.

<sup>4</sup>) „Гавриліада“ 1823 г. Уже въ письмѣ 1816 г. читаемъ, что поэта „дергаетъ бѣшеный демонъ бумагомаранъ“ (VII, 1). Ср. I, 310:

Какой-то демонъ обладалъ  
Моими играми, досугомъ;  
За мной повсюду онъ леталъ,  
Мнѣ звуки дивные шепталъ,  
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ  
Была полна моя глава.

<sup>5</sup>) Ср. въ письмѣ 1830 г. (VII, 425): „Vous êtes le d閡emon, c'est-à-dire *celui qui doute et nie*, comme dit l'Écriture“. Ср. еще въ стих. 1830 г.: „Въ началь жизни школу помню я...“ (II, 116—118):

...два чудесныхъ творенья  
Влекли меня волшебною красотой:  
То были двухъ бѣсовъ изображенія  
Одинъ (Дельфійскій идолъ) лицъ иладой--  
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной,  
И весь дышалъ онъ силой неземной.

И жаръ невольный умиленъя  
 Впервые смутно познавалъ.  
 Прости, онъ рекъ, тебя я видѣлъ,  
 И ты не даромъ мнѣ сіаля:  
 Не все я въ мірѣ ненавидѣлъ,  
 Не все я въ мірѣ презиралъ<sup>1)</sup>).

Такъ обрѣталъ поэтъ новую прелесть въ жизни, проникаясь высокимъ чувствомъ любви<sup>2)</sup>, подъ вліяніемъ которого та или иная личность казалась ему какъ бы сверхземнымъ существомъ. Таковымъ представлялъ себѣ Пушкинъ и свою невѣсту, Н. Н. Гончарову въ стихотвореніяхъ, напоминающихъ манеру Петрарки. Въ одномъ изъ нихъ любимая личность изображена „торжественно“ пребывающею какъ бы на особомъ пьедесталѣ:

Все въ ней гармонія, все диво,  
 Все выше міра и страстей....

Встрѣчаясь съ ней, смущенный поэтъ останавливается,

Благоговѣя богомольно  
 Передъ святыней красоты<sup>3)</sup>.

И послѣ своей женитьбы Пушкинъ проникался подобнымъ, вполнѣ идеальнымъ, чувствомъ къ личностямъ, которыя плѣнали его своей

---

Другой—женообразный, сладострастный,  
 Сомнительный и лживый идеалъ,  
 Волшебный демонъ—лживый, но прекрасный.

Ср. у Лермонтова. См. еще въ „Онѣгінѣ“ (Ш, 296):

Кто ты: мой ангель ли хранитель,  
 Или коварный искуситель (ср. III, 367),

и въ „Каменномъ Гостѣ“ (Ш, 221):

Вы сущій демонъ.

<sup>1)</sup> П, 9: „Ангель“ (1827). Ср. названіе возлюбленной „ангеломъ“ въ стихотвореніи, приписываемомъ Пушкину (П, 323), и въ цѣломъ рядѣ другихъ стихотвореній.

<sup>2)</sup> Соч. II., I, 295.

<sup>3)</sup> П, 127: „Красавица“ (1832). См. еще стихотвореніе „Мадонна“ (1830), заканчивающееся стихами:

Исполнились мои желанія. Творецъ  
 Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя мадонна,  
 Чистѣйшей прелести чистѣйшій идеалъ.

душевной красотой<sup>1)</sup>). То была чисто поэтическая любовь, низшей формой которой являлась любовь Пушкинского Донъ-Жуана. Замѣтимъ при этомъ, что и Донъ-Жуанъ, подобно самому поэту, былъ способенъ къ полному духовному возрожденію и какъ будто выказываетъ въ концѣ наклонность къ нему, быть можетъ—терзаемый укорами совѣсти; это видно изъ его словъ Донъ-Аннѣ:

Молва, быть можетъ, не совсѣмъ неправа;  
На совѣсти усталой много зла,  
Быть можетъ, тяготѣтъ; но съ тѣхъ поръ,  
Какъ васъ увидѣлъ я, все измѣнилось:  
Мнѣ кажется, я весь переродился!  
Васъ полюбя, люблю я добродѣтель—  
И въ первый разъ смиренno передъ ней  
Дрожащія колѣна преклоняю<sup>2)</sup>.

Будемъ ли мы считать это простой уверткой Донъ-Жуана и хитростью, чтобы лучше обмануть новую жертву, или же искреннею рѣчью, въ правдивость которой вѣрилъ въ тотъ моментъ ее говорившій<sup>3)</sup>, во всякомъ случаѣ приведенные слова характерны, свидѣтельствуя что Донъ-Жуану не чуждъ былъ голосъ совѣсти, и на то же какъ будто указываетъ и задумчивость, въ которую погружается Донъ-Жуанъ при воспоминаніи объ Инезильѣ.

Вотъ въ какой тѣсной связи съ жизнью и душевнымъ складомъ поэта оказывается герой „Каменного Гостя“. Не чуждъ былъ Донъ-

<sup>1)</sup> См., напр., стих. „Княжнѣ А. Д. Абамелекъ“ (1832; III, 142):

Вы раззвѣли: съ благоговѣньемъ  
Вамъ нынѣ поклоняюсь я,

или же стих. (Ib., 1832):

Нѣть, нѣть, не долженъ я, не смѣю, не могу  
Волненіямъ любви безумно предаваться!.. ,  
Нѣть, полно мнѣ любить! Но почему жъ порой  
Не погружуся я въ минутное мечтанье,  
Когда нечаянно пройдетъ передо мной  
Младое, чистое, небесное созданье? и т. д.

<sup>2)</sup> III, 221.

<sup>3)</sup> Въ искренности этого увѣренія не сомнѣвается Южаковъ. Дешанель замѣчаетъ по поводу заключительного восклицанія Донъ-Жуана, проваливающагося въ прошать: „o, dona-Anna!“: „ce qui semble l'indication, très peu marquée il est vrai, d'une idée.: l'amante invoquée comme future libératrice et rédemptrice de celui qui l'a perdue“.

Жуанъ и вообще русской жизни, и, следовательно, не правъ былъ Бѣлинскій, усматривая въ „Каменномъ Гостѣ“ созданіе „искусства какъ искусства“. У насъ также были люди, которыхъ умъ почерпнуть изъ „Liaisons dangereuses“<sup>1)</sup> и т. п. произведеній, какихъ было немало во французской литературѣ романовъ XVIII вѣка, увлекавшихъ русскую знать и дворянство еще во времена Пушкина.

Подобно типу Донъ-Жуана, не чуждъ былъ русской жизни и другой Мольеровскій типъ—Тартюфа, въ созданіи которого Пушкина поразила смѣлость Мольера<sup>2)</sup>. У насъ были свои Тартюфы по мнѣнію Пушкина. Такъ въ 1822 г. онъ назвалъ „Тартюфомъ въ юбкѣ и въ коронѣ“ Екатерину II-ю<sup>3)</sup>. „Напоминаютъ стыдливость Тартюфа, накидывающаго платокъ на открытую грудь Дорины“, также „всѣ господа, столь щекотливые насчетъ благопристойности“, признавшіе „Графа Нулина“ безнравственнымъ произведеніемъ<sup>4)</sup>). Пушкинъ думалъ было изобразить русскаго Тартюфа въ романѣ „Русскій Неламъ“, планъ котораго, относящійся къ 1835 г., не былъ осуществленъ<sup>5)</sup>.

Наряду съ Мольеромъ, которому Пушкинъ „остался вѣрнымъ“ потому, что онъ создалъ настоящую французскую сцену, существующая и до сихъ поръ<sup>6)</sup>, Пушкину были известны и другіе писатели „великаго вѣка (какъ называли французы вѣкъ Людовика XIV)“, которымъ принадлежало нѣкогда „владычество надъ умами просвѣщенного міра“<sup>7)</sup>: Корнель, Расинъ, Лафонтенъ и Буало, въ особенности два послѣдніе, казавшіеся ему болѣе достойными вниманія.

„Корнели геній величавый“, воскрешенный Катенинымъ<sup>8)</sup>, не казался образцовымъ нашему поэту, имѣвшему передъ собою вы-

<sup>1)</sup> IV, 370. Ср. „Изъ романа въ письмахъ“, IX (IV, 358): „Охота тебѣ корчить г. Фобласа и вѣчицо возиться съ женщинами“ и въ Онѣгінѣ I, xii:

Его ласкаль супругъ лукавый,  
Фобласа давній ученикъ.

См. еще Ш, 303.

<sup>2)</sup> V, 61. Въ письмѣ 1825 г. (VII, 117) Пушкинъ назвалъ „бессмертнаго“ Тартюфа „плодомъ самаго сильнаго напряженія комического генія“.

<sup>3)</sup> Ib., 14.

<sup>4)</sup> V, 123.

<sup>5)</sup> IV, 409—410.

<sup>6)</sup> Записки Омирновой, I, 153.

<sup>7)</sup> V, 249 и 246.

<sup>8)</sup> III, 241.

сокія созданія Шекспира <sup>1)</sup> и находившему, что „классическая трагедія умерла, она уже не въ нашихъ нравахъ“ <sup>2)</sup>, и что „гуманизмъ сдѣлалъ французовъ язычниками, и они взяли отъ древнихъ ихъ худшіе недостатки—особенно отъ латинянъ, временъ ихъ упадка, и отъ грековъ“ <sup>3)</sup>.

Потому же не былъ Пушкинъ и особо ревностнымъ почитателемъ Расина, „по примѣру трагедіи котораго образована и наша трагедія“ <sup>4)</sup>. Этотъ

. . . . . безсмертный подражатель,  
Пѣвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей <sup>5)</sup>),

также имѣвшій мѣсто въ юношеской библіотекѣ Пушкина подобно Мольеру и Лафонтену <sup>6)</sup> и также казавшійся тогда „исполномъ“ <sup>7)</sup>, былъ ставимъ Пушкинымъ высоко и потомъ (въ 1830 г.): „Цѣль трагедіи—человѣкъ и народъ,—судьба человѣческая, судьба народная. Вотъ почему Расинъ великъ, не смотря на узкую форму своей трагедіи“, условленную тѣмъ, что онъ перенесъ трагедію „во дворъ“. „Кальдеронъ, Шекспиръ, Корнель и Расинъ стоять на высотѣ недосыгаемой, а ихъ произведенія составляютъ вѣчный предметъ написаній изученій и восторговъ“ <sup>8)</sup>). Но Расинъ—дворскій трагикъ, а „при дворѣ поэтъ чувствовалъ себя ниже своей публики: зрители были образованнѣе его—по крайней мѣрѣ, такъ думалъ онъ и они; онъ

<sup>1)</sup> Зап. Смирновой, I, 154.—Письмо къ Катенину 1822 г.: „Ты перевелъ Сида; поздравляю тебя и старого моего Корпеля. Сидъ кажется мнѣ лучшемъ его траге, дію. Скажи: имѣлъ ли ты похвальную смѣость оставить ющечину рыцарскихъ вѣковъ на жеманной сценѣ 19-го столѣтія? Я слыхалъ, что она неприлична смѣшина, ridicule“ и т.д. (VII, 36). „Les vrais gÃ©nies de la tragÃ©die ne se sont jamais souciÃ© de la vraisemblance. Voyez comme Corneille a bravement menÃ© le Cid“ (VII, 157).

<sup>2)</sup> Зап. Смирновой, I, 153.

<sup>3)</sup> Ib., 149: „Герои французскихъ трагедій не христіане (кромѣ Поліевкта)“. Сгр. 150: „Вообще Корнель блестящъ въ тѣхъ сценахъ, гдѣ каждый отстаиваетъ себѣ; именно въ Горацийѣ есть подобная любопытная сцена, но она нисколько не трогаетъ... потому что страсть, которая трогаетъ, не разсуждается, она краснорѣчива отсутствиемъ разсужденій и тѣмъ, что Паскаль называлъ „доводами сердца“

<sup>4)</sup> V, 145 Ср. Ост. арх. I, 286.

<sup>5)</sup> III, 155.

<sup>6)</sup> Сочиненія Пушкина. Изд. И. Ак. Наукъ. Приготовилъ и приижчаніями снабдилъ Л. Майковъ. Т. I, Спб. 1899, стр. 70. Это изданіе въ цитатахъ будемъ означать. Соч. II., I.

<sup>7)</sup> Ib., 253.

<sup>8)</sup> V, 141 и 142.

не предавался вольно и смѣло своимъ вымысламъ; онъ старался угадывать требование утонченного вкуса людей, чуждыхъ ему по состоянию; онъ боялся унизить такое-то высокое званіе, оскорбить такихъ-то спѣсивыхъ своихъ патроновъ: отъ сего и робкая чопорность и отсель смѣшная надутость, вошедшая въ пословицу (*un héros, un roi de comédie*), и привычка влагать въ уста людямъ высшаго состоянія съ какимъ-то подобострастіемъ, странный не человѣческій образъ изъясненія... Мы къ этому привыкли, намъ кажется, что такъ и быть должно; но надоѣно признаться, что у Шекспира этого не замѣтно". Пушкинъ усматривалъ „существенные разницы системъ Расина и Шекспира“<sup>1)</sup> и, конечно, отдавалъ предпочтеніе не французамъ, у которыхъ „ни одинъ изъ поэтовъ не дерзнулъ быть самобытнымъ, ни одинъ, подобно Мильтону, не отрекся отъ современной славы. Расинъ пересталъ писать, увида неуспѣхъ своей Гоѳоліи. Публика (о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику?), невѣжественная публика была единственою руководительницею и образовательницею писателей“<sup>2)</sup>). Мало того: у Расина, какъ и у Корнеля, Пушкинъ открывалъ существенные также промахи въ построеніи трагедіи<sup>3)</sup>.

Не находилъ Пушкинъ такихъ погрѣшностей противъ естественности у „доброго“ Лафонтена, о которомъ такъ упоминалъ въ описаніи своей юношеской библіотеки:

И ты, пѣвецъ любезный,—  
Поэзіей прелестной  
Сердца привлекшій въ плѣнъ,  
Ты здѣсь, лѣтній безпечный,  
Мудрецъ простосердечный,  
Ванюша Лафонтенъ,  
Ты здѣсь<sup>4)</sup>!..

Съ Лафонтеномъ Пушкинъ сближалъ Дмитріева, Крылова и автора „Душеньки“ Богдановича, который „смѣль сразиться“ съ французскимъ

<sup>1)</sup> V, 143—144.

<sup>2)</sup> Ib., 247.

<sup>3)</sup> УП, 69: „Чѣмъ и держится Иванъ Ивановичъ Расинъ, какъ не стихами, полными смысла, точности и гармоніи! Планъ и характеръ „Федры“—вѣрхъ глупости и ничтожества въ изобрѣтеніи“ и т. д.

<sup>4)</sup> Соч. II, I, 69—70; о чтеніи Горация и Лафонтена—ib. I, 130

поэтомъ и „побѣдилъ“ послѣдняго<sup>1)</sup>). Пушкинъ, высоко ставя Лафонтена, признавая и его „сказки“<sup>2)</sup>, не примыкалъ къ нему вовсе въ своемъ творчествѣ, какъ мало оказали на него вліянія и другіе, цѣнныя имъ, великие французскіе писатели XVII-го вѣка, Паскаль, Боссюэтъ и, въ особенности, Фенелонъ<sup>3)</sup>.

Изъ знаменитыхъ французскихъ писателей XVII в. былъ рано изучаемъ и постоянно пользовался уваженіемъ Пушкина еще „классикъ Депрео“<sup>4)</sup>,

Французскихъ риѳмачей суровый судія:—  
Хотя, постигнутый неумолимымъ рокомъ,  
Въ своемъ отечествѣ престалъ ты быть пророкомъ,  
Хоть дерзкихъ умниковъ простерлася рука  
На лавры твоего густого парика,  
Хоть растрепанный новѣйшей вольной школой,  
Къ ней въ гнѣвѣ обратилъ ты свой затылокъ голый;  
Но я молю тебя, поклонникъ вѣрный твой,  
Будь мнѣ вожатаемъ! Дерзаю за тобой  
Занять каѳедру ту, съ которой въ прежни лѣта  
Ты слишкомъ превознесъ достоинство сонета,  
Но гдѣ торжествовалъ твой здравый приговоръ  
Минувшихъ лѣтъ глупцамъ, вранью тогдашихъ поръ!  
Новѣйшіе врали вралей старинныхъ стоять,  
И слишкомъ ужъ меня ихъ бредни беспокоятъ!<sup>5)</sup>.

Чтя въ Депрео „человѣка, одареннаго умомъ рѣзкимъ и здравымъ и мощнымъ талантомъ“, „великаго критика“, оцѣнившаго

<sup>1)</sup> Соч. II, I, 70. См. еще другія соопоставленія Лафонтена съ Крыловымъ (V, 19—20: „Крыловъ превзошелъ всѣхъ намъ извѣстныхъ баснописцевъ, исключая, можетъ быть, Лафонтена“; ср. 30: „мы, кажется, можемъ предпочитать ему Крылова“) и съ Богдановичемъ (V, 19: „въ „Лушенкѣ“ встрѣчаются стихи и цѣлые страницы, достойныя Лафонтена“).

<sup>2)</sup> VII, 107 и V, 128 и 125; V, 122: „шутливыя повѣсти“.

<sup>3)</sup> V, 301. О Фенелонѣ см. интересное упоминаніе въ V, 341 (1836): „Въ позднѣйшія времена неизвѣстный творецъ книги „О подражаніи Иисусу Христу“, Фенелонъ и Сильвіо Пеллико въ высшей степени принадлежать къ симъ избраннымъ, которыхъ ангель господній привѣтствовалъ именемъ человѣковъ благословія“.

<sup>4)</sup> Соч. II, I, 137 (1815 г.), VII, 1 (1816) и Соч. II, I, 253 (1817 г.). См. еще III, 250 и IV, 63.

<sup>5)</sup> II, 160—161 (1833). Ранѣе (III, 155; 1830 г.) „степенный Буало“ былъ охарактеризованъ Пушкинымъ также, какъ „поэтъ-законодатель, гроза несчастныхъ риѳмачей“.

произведенія „съ такой строгой справедливостью“ Пушкинъ не „избралъ въ путеводители себѣ Буало“, какъ кн. Кантемиръ<sup>1)</sup>, но все-таки рано послѣдоваль его примѣру<sup>2)</sup> и не разъ сообразовался съ уроками писателя, который „обнародовалъ свой коранъ, и французская словесность ему покорилась“<sup>3)</sup>. Въ общемъ взглядѣ на поэзію Пушкинъ многое сходился съ Буало и, подобно послѣднему, являлся одновременно и строгимъ критикомъ и поэтомъ, подававшимъ прекрасный примѣръ творчества, но только неизмѣримо превзошелъ свой французскій образецъ.

Такъ изученіе даже старыхъ литературныхъ произведеній Запада пробуждало въ Пушкинѣ вдумчивое и критическое отношеніе къ русской действительности и литературѣ.

Въ особенности обязанъ былъ этимъ Пушкинъ корифеямъ французской литературы просвѣщенія—сначала Вольтеру, а затѣмъ и Руссо, которыхъ называютъ головой и сердцемъ XVIII в. Явившись въ міръ на рубежѣ вѣка просвѣщенія, Пушкинъ остался во многомъ, подобно всему нашему вѣку, сыномъ XVIII-го столѣтія, и, подобно послѣднему, цѣнилъ въ жизни „прекрасныя чувства, свѣтлый, чистый разумъ и надежды“<sup>4)</sup>. Западный XVIII-й вѣкъ очень многое повліялъ на Пушкина и надѣлилъ его главными изъ идей его поэзіи, но нашъ поэтъ безконечно углубилъ ихъ.

Юноша былъ рано охваченъ и тлетворнымъ вліяніемъ XVIII-го вѣка, вѣка, между проч., эпикуреизма и утонченной безнравственности<sup>5)</sup>, вѣка любви будуарной и альковной, анакреонтизма и легкаго, забавнаго и галантнаго жанра, „petits vers“ въ лирикѣ, не чуждавшейся вольныхъ остротъ, и развращенности въ романахъ Кребильона и т. п.

Оттуда юношеская эротика Пушкина<sup>6)</sup>, которая никоимъ образомъ не можетъ быть поставлена ему въ заслугу.

Но уже и въ тѣ молодые годы Пушкинъ умѣлъ возвышаться до энтузиазма къ самыи свѣтлымъ идеямъ литературы просвѣщенія, и потому рано, очень рано стряхнуль съ себя излишества эпикуреизма.

<sup>1)</sup> V, 245—246 и 252.

<sup>2)</sup> Соч. II., I, 174—175 и 251—255. См. еще Ост. арх. I, 304.

<sup>3)</sup> V; 245.

<sup>4)</sup> VII, 259.

<sup>5)</sup> Ее отмѣтилъ и самъ Пушкинъ: Записки Смирновой, I, 160.

<sup>6)</sup> О вліяніи легкой французской лирики на юношескую поэзію Пушкина до двадцатыхъ годовъ включительно см. въ ст. Гаевскаго: „Пушкинъ въ лицѣ и лицейскія его стихотворенія“, Современникъ, т. ХСVІІ (1863), стр. 157, 165 и слѣд.

Въ литературѣ просвѣщенія Вольтеръ и Руссо являлись наиболѣе известными выразителями торжества разума, достигшаго такого почета въ XVIII в., и затѣмъ культа чувства, восполявшаго промахи чрезмѣрного рационализма того времени и обращавшаго къ природѣ и непосредственности во избавленіе отъ язвъ извращенной цивилизациі. При всѣхъ своихъ крайностяхъ, французская философія просвѣщенія XVIII в. имѣла за собою громадную заслугу — горячаго отстаиванія правъ человѣка, какъ гражданина и какъ отдельной личности, и протеста противъ общественной порчи, и этой стороною она въ особенности повліяла на Пушкина. Она надѣлила его освободительными стремленіями.

Величайшимъ выразителемъ ихъ, согласно преданіямъ Екатерининского времени, Пушкину казался на первыхъ порахъ Вольтеръ. Въ ряду великихъ писателей Вольтеръ былъ первымъ кумиромъ юности Пушкина, о чмъ прямо говорятъ и самъ Пушкинъ<sup>1)</sup> и другіе<sup>2)</sup>. Въ то время этотъ „Сынъ Мома и Минервы, воспитанный Фебомъ, отецъ Кандида, Фернейскій злой крикунъ“<sup>3)</sup>, казался Пушкину „поэтому въ поэтахъ первымъ, соперникомъ Эврипида, Аріоста, Тасса внукомъ“:

Онъ все: вездѣ великъ  
Единственный старикъ!

Потому-то былъ онъ

Всѣхъ больше перечитанъ,  
Всѣхъ менѣе томить.

Во времія пребыванія въ лицѣй, Пушкинъ читалъ произведенія и біографію его<sup>4)</sup>. Нашего поэта интересовали тогда по преимуществу поэтическія произведенія Вольтера, которыя онъ перевѣдилъ<sup>5)</sup> и которыми

---

Теперь есть возможность обстоятельно ознакомиться съ занятіями Пушкина литературою въ лицѣй благодаря I-му тому академического изданія сочиненій Пушкина, приготовленному къ печати Л. Н. Майковымъ. Усматривается по мѣстамъ въ юношескихъ стихотвореніяхъ Пушкина вліяніе и болѣе старой французской лирики, напр., въ „Stances“ (1814 г.) — вліяніе Ронсара, въ „Завѣщаніи“ — Вильона и т. п.

<sup>1)</sup> Въ стих. „Городокъ“ (1814; Соч. II, I, 69).

<sup>2)</sup> По словамъ В. Л. Пушкина, нашему поэту „Вольтеръ лишь нравится одинъ“;

<sup>3)</sup> То же выраженіе въ текстѣ „Руслана и Людмилы“ 1820: II, 242;

<sup>4)</sup> Соч. II, V, 2.

<sup>5)</sup> Соч. II, I, 131; о „Кандидѣ“ — ib., 209; I, 37 (ср. прим., 74), 261—263. Шуточная поэма въ стихахъ „La Tolyade“, написанная въ подражаніе Генріадѣ, когда ему было одиннадцать лѣтъ, была уничтожена имъ. Однѣнку перевод. см. у Гаевскаго, стр. 168 и слѣд.

подражалъ<sup>1)</sup> и въ дѣтствѣ, въ годы ученія, и вскорѣ потомъ (1814—1819). Въ особенности ему нравилась „Орлеанская Дѣственница“, какъ „книжка славная, золотая, незабвенная, катехизисъ остроумія“. Еще въ 1818 г. Пушкинъ называлъ „Pucelle d'Orléans“ „бібліею Харить“ и подарилъ ее „на разлуку“ своему другу Н. И. Кривцову<sup>2)</sup>. Послѣднее подражаніе Вольтеру относится къ 1827 г.<sup>3)</sup>. Но уже съ начала двадцатыхъ годовъ Вольтеръ былъ сдвинутъ съ пьедестала во вниманіи Пушкина другими писателями<sup>4)</sup>. И хотя въ 1825 г. нашъ поэтъ все еще считалъ Вольтера, повидимому, первостепеннымъ поэтомъ<sup>5)</sup>, но уже обнаруживалъ и критическое отношеніе къ его авторитету. Переводя начало I-й пѣсни „Дѣственницы“, Пушкинъ прибавилъ отъ себя такое обращеніе къ ея автору:

О ты, пѣвецъ сей чудотворной дѣвы,  
Сѣдой пѣвецъ, чыи хриплые напѣвы,  
*Нестройный умъ и чудотворный вкусъ*  
Въ былые дни бѣсили нѣжныхъ музъ,  
Хотѣлъ бы ты, о стихотворецъ хилый,  
Почтить меня скрипицею своей,  
Да не хочу. Отдай ее, мой милый,  
Кому-нибудь изъ модныхъ риомачей<sup>6)</sup>.

Такимъ образомъ, лишь въ первый, наименѣе значительный, періодъ своей дѣятельности, Пушкинъ былъ изъ западныхъ поэтовъ, между проч., подъ сильнымъ обаяніемъ „Фернейскаго злого крикунъ“. Потомъ онъ отвернулся отъ тенденціозности и скептицизма Вольтера.

Тѣмъ не менѣе, воздѣйствіе послѣдняго не прошло безслѣдно для мыслей Пушкина и въ остальное время его творчества. При этомъ Вольтеръ вліялъ на Пушкина уже болѣе какъ мыслитель, чѣмъ какъ поэтъ.

<sup>1)</sup> Г. Кирпичниковъ, Мелкія замѣтки объ А. С. Пушкинѣ и его произведеніяхъ, Р. Старина 1899, № 2, стр. 439—440, указалъ на нѣкоторое подражаніе Вольтеровой Дѣственницѣ въ „Русланѣ и Людмилѣ“.

<sup>2)</sup> I, 189.

<sup>3)</sup> II, 14: „Княжнѣ С. А. Урусовой“.

<sup>4)</sup> См. ниже о вліяніи Руссо, Гёте, Байрона.

<sup>5)</sup> VII, 129.

<sup>6)</sup> I, 371.

Вольтеръ былъ однимъ изъ начинателей и столповъ страстной и остроумной критики прошлаго и провѣрки всякихъ авторитетовъ разумомъ, а также того космополитического ученія о „человѣкѣ вообще“, которыя наполнили міръ грезами о лучшемъ будущемъ человѣчества. Вольтеръ посвятилъ весь свой геній и всю свою 60-лѣтнюю дѣятельность вдоворенію толерантности, человѣчности и справедливости („faire du bien aux hommes“), борьбѣ противъ того, чтобъ утѣсняетъ людей и дѣлаетъ ихъ несчастными, и ненависти къ фанатизму и ханжеству.

Эти черты деятельности Вольтера многое пленили въ вѣкъ Екатерины и въ началѣ царствованія Александра I; должны были увлечь онѣ и юнаго Пушкина, и еще позднѣе, въ 1834 г., нашъ поэтъ называлъ Вольтера „великаномъ сей эпохи“, „вліяніе“ котораго было неимовѣрно. Около великаго копошились нигмеи, стараясь привлечь его вниманіе. Умы возвышенные слѣдуютъ за нимъ... Руссо .. Дидротъ<sup>1</sup>).

Изучение произведений Вольтера въ гораздо большей степени, чѣмъ чтеніе его предшественника, „скептическаго Бейла“<sup>2</sup>), развило въ нашемъ поэты не только легкое отрицаніе (Вольтерянство), но и критический умъ, въ такой высокой степени характеризующій также Пушкина, отзывчивость на основные вопросы и нужды времени и гнѣвъ противъ несправедливостей общественного строя. Пушкинъ, какъ и Вольтеръ, во всю свою жизнь, „ближняго любя, давалъ намъ смылые уроки“. Подъ вліяніемъ, между проч., Вольтера нашъ поэтъ рано ироникся намѣреніемъ

... . . . . . порокъ изобразить  
И нравы сихъ вѣковъ потомству обнажить.

Наконецъ, въ школѣ Вольтера Пушкинъ выработалъ свое, богатое уже отъ природы, остроуміе, проявляющееся съ весьма ранняго времени, между проч., въ мѣткихъ отвѣтахъ<sup>3)</sup> и эпиграммахъ, въ силу которого онъ принадлежалъ къ выдающимся *beaux esprits* нашего общества.

<sup>1)</sup> V, 248: „Мысли на дорогѣ“.

<sup>2)</sup> III, 398; cp. V, 227.

<sup>3)</sup> См. С. Радкевича Сборникъ эпизодовъ изъ жизни А. С. Пушкина—  
въ газ. „Жизнь и Искусство“ 1899, № 120, 121 и др.; Шутки и остроты А. С.  
Пушкина, Спб., 1899.

Но и въ юные годы Пушкинъ, по свойству натуры своей, не могъ останавливаться на Вольтерянствѣ. Смѣхъ, иронія и скептицизмъ не могли наполнить его широкую душу. Ее увлекали и другие писатели. Путь къ исправленію нравовъ и рѣшенію проблемъ жизни указывалъ не Вольтеръ.

Болѣе положительными и замѣтными проявленіями и болѣе плодотворными послѣдствіями отозвалось въ творчествѣ Пушкина воздейстіе, правда—косвенное, второго величайшаго изъ французскихъ писателей XVIII в., которыми онъ увлекался уже съ лѣта отрочества, сначала пріятеля, а потомъ врага Вольтера и рѣзко разошедшагося затѣмъ и съ другими „философами“,— Женевца Руссо. Вліяніе Руссо было продолжительное и чувствовалось во всю жизнь Пушкина, какъ и вообще во всемъ ходѣ новѣйшей исторіи сказалась удивительная мощь этого плебея, бѣдняка, провинціала, произведшаго великую моральную революцію не только во Франціи, но и въ Германіи, доставившаго основы ученій метафизического, религіозного и политического людямъ 1793 г. и ставшаго однимъ изъ видныхъ выразителей и начинателей новѣйшей меланхоліи. Въ Руссо рѣзко сказался разладъ прекрасной мечты и безотрадной дѣйствительности, тотъ разладъ, который все болѣвѣ и болѣвѣ гнететъ душу нового человѣка, а также проявилось исканіе выхода изъ этого разлада.

Со временеми Руссо въ литературѣ послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка и начала настоящаго начинаетъ отчетливо выступать та скорбь существованія, которая была въ мірѣ искони, но ранѣе еще не достигала такого отчетливаго и сосредоточеннаго выраженія.

Какъ известно, послѣдовавъ намеку Дидро, Руссо ошеломилъ весь образованный міръ своею пламенной филиппикой противъ культуры, наукъ и искусствъ, противъ всего того, чѣмъ гордилась тогдашняя цивилизациѣ. Въ своихъ, достигшихъ громкой славы, произведеніяхъ онъ развивалъ тезисъ, что природа создала человѣка счастливымъ и добрымъ, но его испортило и сдѣлало несчастнымъ общество. Слѣдовательно, мрачное воззрѣніе Руссо имѣло своимъ предметомъ современное ему общество, которое постоянно казалось ему худшимъ, чѣмъ каково оно было на самомъ дѣлѣ. Ставъ въ оппозицію обществу, Руссо отстаивалъ права личности въ противовѣсь общественному гнету, проповѣдывалъ вражду къ извращенной цивилизациѣ, любовь къ простымъ нравамъ, чувство природы и такое воспитаніе, которое

научило бы каждого исполнять долгъ человека. Онъ освобождалъ личность, „я“, отъ узъ, связывавшихъ ее съ XVI по XVIII вѣкъ, и способствовалъ распространенію мечтаній о природѣ, выраженія движений духа, лишь смутно ощущаемыхъ, и сентиментальности, явившихся однимъ изъ элементовъ такъ наз. „мировой скорби“, наполняющей новѣйшее время.

Подъ вліяніемъ въ значительной степени Руссо возникла эпидемическая болѣзнь воображенія и сердца, скорбные вопли котораго выразилъ цѣлый рядъ поэтовъ Запада, начиная съ Руссо, принадлежавшихъ различнымъ національностямъ. Гёте, Шиллеръ, Платенъ, Шатобранъ, Сенанкуръ, Коуперъ, Бернсъ, Байронъ, Фосколо, Леонарди, Альфредъ де-Мюссе, Ленау, Гейне и иѣкоторые другіе одинъ за другимъ будутъ повторять скорбные возгласы, привнося собственные тоны.

Эти поэты міровой скорби отличались широтой и вмѣстѣ неполною опредѣленностью помысловъ, чувствомъ безконечнаго; на ихъ устахъ виднѣлась иногда насмѣшилая улыбка, они страдали, но иногда находили удовольствіе въ своихъ страданіяхъ; изъ груди ихъ исходилъ лирическій вопль страсти и въ то же время имъ были свойственны пламенные порывы энтузіазма.

Они создали рядъ фигуръ, весьма интересныхъ, хотя и не совсѣмъ новыхъ въ западныхъ литературахъ, потому что Шекспировскіе Гамлетъ, меланхоликъ Жакъ, Тимонъ, Мольеровскій Альсестъ уже могутъ называться предшественниками разочарованныхъ и вышедшихъ изъ житейской колеи (*déclassés*) героевъ XVIII и XIX вѣковъ. Послѣдніе удаляются отъ общества, считаютъ себя великими душами, не могущими снизойти до общаго уровня, живутъ великой идеей, проникнуты ею и готовы умереть изъ-за нея.

Рядъ этихъ фигуръ скорби и отчаянія либо гибели открываешь Гётевскій Вертеръ, а иѣкоторымъ слабымъ прототипомъ ихъ въ литературѣ былъ герой романа Руссо „Новал Элоиза“ (1769) Saint-Preux, какъ прототипомъ ихъ въ жизни явился Руссо. Saint-Preux выказываетъ внутреннюю разорванность, чувствительность, нерѣшительность, безхарактерность и вмѣстѣ онъ идеаль учителя, какъ рисовался послѣдній воображенію Руссо, протестантъ противъ предразсудковъ, скептикъ и скорбникъ въ родѣ послѣдняго. Saint-Preux — отображеніе сокровеннѣйшей жизни и чувствованій своего автора.

Своими колебаніями, силою и экзальтаціею своей страсти, могучей и непреодолимой, поэзіею этой страсти и ея утонченностями Saint-Preux

становится предшественникомъ романическихъ героевъ, каковы Вертеръ, Леонсъ, Освальдъ, Рене, Оберманнъ, Адольфъ.

Извѣстнѣйшая изъ этихъ поэтическихъ личностей до времени Пушкина включительно—Вертеръ Гёте, Рене Шатобріана, Адольфъ Бенжамена Констана, Чайльдъ Гарольдъ и другіе герои Байрона.

Вертеръ, появившійся въ свѣтъ четырнадцать лѣтъ спустя послѣ выхода романа Руссо,—значительно уже выработанный, сконцентрированный и сложившійся типъ *declassé*, какого въ цѣломъ еще не было въ литературѣ XVIII вѣка и какой существовалъ въ жизни въ такомъ сосредоточенномъ видѣ лишь пока въ лицѣ Руссо, занимавшаго подъ конецъ совсѣмъ уединенное положеніе въ свой вѣкъ въ качествѣ мятежной личности и гордеца. Романъ представилъ чрезвычайно яркое освѣщеніе „внутренней жизни души молодой и больной“. Идеи и вкусы Вертера Жанъ-Жаковскіе и вмѣстѣ то были отчетливо и синтетично выраженные иллюзіи времени, вѣрившаго въ первоначальную доброту людей, проникшагося презрѣніемъ къ обществу, источенному червями, и бросившагося въ культь безыскусственной природы, опять въ новѣйшее время ставшей предметомъ эстетического чувства.

Въ силу полнаго соотвѣтствія духу времени и состоянію общества, которое должна была обновить революція, благодаря также жизненности и чрезвычайной выразительности, романъ о Вертерѣ достигъ необычайного успѣха не только въ Германіи, но и въ остальной Европѣ, вызывавъ множество подражаній и навѣявъ немало подобныхъ же литературныхъ произведеній<sup>1)</sup>.

Они были тѣмъ естественныѣ, что XVIII-й вѣкъ заканчивался сильными душевными потрясеніями, утомленіемъ и моральнымъ истощеніемъ; вѣра въ убѣженія, прежде вдохновлявшія, и энтузіазмъ были подорваны неудачнымъ опытомъ революціи. Разрушеніе ея иллюзій порождало меланхолію.

Соотвѣтственно всему тому всюду развилась литература, выражавшая чувство пустоты и бесплодной горести жизни. Вертеризмъ перерождался: печальное сѣтованіе мало по малу переходило въ тоску, какъ у Рене, либо въ пессимизмъ, какъ у Оберманна. Меланхолія овладѣвала все болѣе и болѣе и сдѣлалась постепенно настоящею „болѣзнью вѣка“, какъ называли французы душевное состояніе истомы, безграниценныхъ порываній и сознанія безсилія овладѣть новыми раскрывавшимися горизонтами.

<sup>1)</sup> См., напр., Gross, Goethe's Werther in Frankreich, Leipzig.

Своимъ романомъ о Вертерѣ Гёте создалъ весьма яркій типъ юноши, оказывающагося въ разладѣ съ окружающею дѣйствительностью, между проч.—и благодаря несчастной любви. Въ этомъ Гёте сталъ образцомъ для всѣхъ позднѣйшихъ подражателей Руссо. Герои этихъ подражателей относятся одинаково къ цивилизованному обществу: они не согласны подчиняться его требованіямъ, касаются ли эти требованія практической дѣятельности или морали. Потому всѣ они вынуждены искать выхода изъ своего протesta и унынія и бѣгутъ изъ общества. Одни поканчиваются съ собою, какъ Вертеръ<sup>1)</sup>; другие не умерщвляютъ себя, а пытаются найти утѣшеніе и облегченіе въ близости къ природѣ, въ экстатическую любовь къ которой бросаются съ чрезвычайною страстью, уединяясь въ безграничныхъ преріяхъ Америки<sup>2)</sup>, или же среди мощныхъ впечатлѣній возводящаго въ высѣ міра Алъпъ<sup>3)</sup>.

Въ 1799 г. появились „Rêveries“ Sénancour-а, предшествовавшія его „Obermann“-у, въ 1801 г.—„Atala“ Шатобріана, въ 1803—„Peintre de Salzbourg“ Нодье, въ 1804 г. „René“ Шатобріана и „Оберманнъ“ Сенанкура, а въ 1806 г. былъ написанъ изданный десятью годами позднѣе „Адольфъ“.

Въ особенности крупнымъ литературнымъ событиемъ было появленіе поэмъ въ прозѣ: „Atala“ и „René“ Шатобріана, выказавшихъ значительный талантъ автора, а также немалую долю оригинальности въ выраженіи скорбного чувства, меланхоліи и мечтательности (*rêverie*), выступавшихъ уже у Руссо и снискавшихъ послѣднему неизмѣримое количество откликовъ въ сердцахъ его читателей и въ творчествѣ его послѣдователей.

Герой поэмъ Шатобріана, Рене, какъ бы младшій братъ Вертера, человѣкъ уже конца XVIII в., хотя представленъ жившимъ въ началѣ его,—въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ личность болѣе широкая, чѣмъ Вертеръ. Этотъ уроженецъ кельтскаго уголка Европы, одержимый страстью къ невѣдомому, „la passion du vague“, находить лишь нѣкоторое утѣшеніе въ природѣ со свойственнаю Кельту пламенною любовью къ пейзажу, не отрѣшалась вполнѣ отъ связи съ обществомъ, но только избранное имъ общество болѣе или менѣе близко къ перво-

<sup>1)</sup> Такжे Ортисъ и художникъ Мюнстеръ въ „Peintre de Salzbourg“.

<sup>2)</sup> Рене.

<sup>3)</sup> Оберманнъ.

бытному: это—общество съверо-американскихъ индійцевъ. Особую прелестъ поэмъ Шатобріана составляло меланхолическое созерцаніе непрочности земныхъ благъ и преклоненіе предъ вѣчными чудесами природы, міръ порывовъ и мечты, раскрываемый со страстнымъ краснорѣчіемъ и горячностю. Несчастія Рене давали разительный урокъ унынія, тѣмъ болѣе, что онъ исходилъ отъ христіанина-меланхолика, напрасно ищущаго цѣли въ земномъ существованіи. Его печаль непреодолима, и онъ не чувствуетъ постояннаго влеченія ни къ чему: „Я ишу неизвѣстнаго блага“, говорить онъ и всюду носить съ собою тоску.

Atala и René затмили всѣ другія произведенія сроднаго Вертеровскому настроенію, и со времени выхода ихъ въ свѣтъ Рене сталъ носителемъ Вертеризма. Очевидно, къ направлению того времени наиболѣе подходила мягкая и примирительная скорбь, не порывающая вполнѣ связей съ міромъ и съ прошлымъ, представителемъ которой въ литературѣ явился пламенный меланхолікъ и болѣзнепріанный мечтатель Рене. Въ этой личности можно наблюдать весьма характерный и типический для первыхъ десятилѣтій нашего вѣка процессъ соглашенія духа XVIII в. съ поворотомъ къ старинѣ до XVIII в. и чувству безконечнаго, заглохшему въ литературѣ прошлаго столѣтія.

Шатобріану принадлежала весьма видная роль въ образованіи того, что когда-то называли „le mal du siècle“—болѣзнью вѣка—и что можно бы назвать проще романтическою меланхоліею. Къ сожалѣнію, еще не выяснено съ полной точностью, что именно приходится въ ней на долю Шатобріана, но, повидимому, надо признать, что Шатобріанъ повліялъ болѣе Байрона и Гёте на развитіе „болѣзни вѣка“<sup>1)</sup>). Онъ первый если не создалъ, то сообщилъ обширную популярность излюбленному романтическому типу мятежнаго декламатора (Вергеръ еще не декламаторъ). И не только литературными дѣтьми Руссо, но и послѣдователями Шатобріанова Рене были разочарованные люди и фаталисты, столь долго модные въ западныхъ литературахъ Лара, Чайльдъ—Гарольдъ и др. до позднѣйшихъ романтическихъ героевъ включительно.

Они доходили до крайняго индивидуализма. Авторы ихъ забывали, что вдохновитель ихъ, Руссо, не остановился на точкѣ зреїнія

<sup>1)</sup>) *Revue d'Histoire littéraire de la France*, 15 Octobre 1896, p. 623.

объихъ своихъ диссертаций, написанныхъ въ отвѣтъ на Дижонскіе вопросы, указывавшихъ золотой вѣкъ въ естественномъ состояніи человѣка и выражавшихъ глубокое сѣтованіе обѣ утратѣ этого вѣка. Науки и искусства, приобрѣтенія культуры, по взгляду, выраженному въ этихъ диссертaciяхъ,—печальное вознагражденіе за утрату счастія, какимъ пользовался человѣкъ въ первобытномъ состояніи. А въ „*Contrat social*“ и „*Эмилъ*“ Руссо долженъ былъ признать, что идеаль свободы и нравственности не за нами, а *переди* насъ. И Руссо пришелъ къ такой поправкѣ, отрекаясь отъ точки зрѣнія индивидуального счастія, которое одно лишь было первоначально принимаю имъ во вниманіе. Руссо ввелъ въ рѣшеніе вопроса болѣе широкія соображенія: какъ одинокій обитатель лѣсовъ, человѣкъ жилъ бы счастливѣе и свободнѣе, но онъ былъ бы добръ безъ заслуги съ его стороны, не былъ бы добродѣтеленъ, между тѣмъ какъ теперь обузданіемъ страсти онъ достигаетъ преимущества; этимъ обузданіемъ и высшимъ благомъ—нравственностью своихъ поступковъ и любовью къ добродѣтели—всякій обязанъ своему отечеству.

Какъ на Западѣ послѣ крушения радужныхъ надеждъ конца XVIII вѣка далеко не всѣ изъ дѣятелей того времени переходили въ XIX-й съ вѣрою въ прогрессъ общества, завѣщанно оканчивавшимся столѣтіемъ просвѣщенія, такъ одолѣвала иныхъ и у насъ романтическая меланхолія или тоска.

Ея источникъ былъ тотъ же: непримиримость съ жизнью, не-приспособленность къ окружающей обстановкѣ, невозможность найти опорный пунктъ ни въ вѣрѣ живой и наивной за утратою ея, ни въ политически безнадежной дѣйствительности, ни въ обществѣ, разладъ со всѣмъ окружающимъ и въ то же время не въ мѣру возросшая безграницность требованій отъ жизни.

Общее вѣяніе меланхоліи возникло и у насъ эволюціею нашей души и передавалось намъ также съ Запада то неуловимыми путями духовнаго общенія, то литературой. Что до послѣдней, то въ ней отголоски чрезмѣрной „чувствительности“ XVIII в.<sup>1)</sup> и запоздавшее у насъ воздействиѣ Вертеризма сливались съ увлеченіемъ Шатобраномъ, собственно—его „Рене“<sup>2)</sup>. Вліяніе Шатобрановскаго разочарованія ото-

<sup>1)</sup> А. Ф. (внутри книги А. О.), Утѣхи меланхоліи, россійское сочиненіе, М. 1802.

<sup>2)</sup> Неблагопріятный отзывъ о публицистической дѣятельности его въ „*Conservateur*“ см. въ письмѣ кн. Вяземскаго отъ 24 іюля 1819 г. Ост. арх., I. 273.

звалось довольно печально въ настроеніи Батюшкова, который „еще въ 1811 г. сознавался, что любить этого сумасшедшаго Шатобрана, а особенно по ночамъ, когда можно дать волю воображенію“<sup>1)</sup>.

Надо прибавить къ тому воздействиѣ грустной поэзіи Оссіана, которая нравилась одно время и Пушкину<sup>2)</sup>, и такихъ произведеній, какъ романъ Бенжаменъ Констана, „Адольфъ“, которымъ увлекались и образованные русскіе читатели съ момента его выхода въ свѣтъ (1816)<sup>3)</sup>, или „Jean Sbogar“ Шарля Нодье.

Но сильнѣе всего другого, конечно, и удручающимъ образомъ на душу дѣйствовали обстоятельства русской жизни и разложеніе вѣрованій въ старые устои. И у насъ нѣкоторые изъ отчаявшихъся повторяли разсужденіе Гамлета: To be or no to be, that is the question, и иные поканчивали съ собою, какъ молодой адъютантъ вел. кн. Константина Павловича, Меллеръ-Закомельскій, оставившій письма, въ которыхъ заявлялъ, „что застрѣлился потому, что надоѣло ему жить и что чувствуетъ свою близкую кончину“<sup>4)</sup>. Другіе продолжали жить, но безъ радованія жизни, и сибаритства XVIII в. не было и слѣда<sup>5)</sup>.

Кн. П. А. Вяземскій, напр., „тоскуетъ и страдаетъ душою“<sup>6)</sup>, и, кажется, объясненіе этого душевнаго состоянія можно найти въ

<sup>1)</sup> Л. Н. Майкова Батюшковъ, его жизнь и сочиненія, Спб., 1887.

<sup>2)</sup> См. его „Кольну“, переложеніе въ стихи изъ перевода Кострова. Соч. II, I, 22—26, и упоминаніе (II, 168; 1834 г.) о томъ, что поэта

То Римъ зоветь, то гордый Альбонъ,

То скалы старца Оссіана.

О вниманіи у насъ къ Оссіану см. въ ст. Гаевскаго, Совр. 1863, стр. 144—165.

<sup>3)</sup> Ост. арх., I, 60. Вноскѣствіи Вяземскій перевелъ этотъ романъ и издалъ въ 1831 г. съ посвященіемъ Пушкину.—О Сбогарѣ см. Ост. арх., I, 133 („Тутъ есть характеръ разительный, а послѣднія двѣ или три главы—ужаснѣйшей и величайшей красоты. Я, который не охотникъ до романовъ, проглотилъ его разомъ“), 137, 142, 244 („что ни говорите, очаровательный романъ“). У Пушкина (Ш, 286), въ числѣ модныхъ романтическихъ героевъ, названъ и „тайновѣтный Сбогаръ“.

<sup>4)</sup> Ост. арх., I, 95, 240 („здѣсь (въ Варшавѣ) удивительно какъ самоубийства часты“). 263.

<sup>5)</sup> Ibid., 300—301: „Мы утратили слабости отцовъ нашихъ, но съ ними и многія наслажденія... Ихъ счастіе уивалось розами, ваше—терніями. И въ заблужденіяхъ своихъ слѣдуемъ мы всегда правилъ; они жили для себя, мы—для другихъ. Они говорили: „День мой—вѣкъ мой“; мы говоримъ: „Вѣкъ—день мой“... Таково направленіе умовъ. Прежній крикъ былъ: наслажденій! вынѣшній: польза!.. Конечно, не всѣ дѣйствуютъ для общей пользы, но, по крайней мѣрѣ, все прикрывается вывѣскою пользы... Мы—леколѣніе Катоновъ, какъ ни говори; а отцы наши были сибариты“.

<sup>6)</sup> Ibid., 43; ср. 155: „Я самъ нѣкогда прозѣвалъ самого себя, понадѣясь, что пока со страхомъ и омерзѣніемъ смотрю на душевное свое запустѣніе, надежда еще

его безотрадномъ созерцаніи русской дѣйствительности: „Я ничего не знаю скучнѣе русской жизни, читаемъ въ одномъ изъ его писемъ<sup>1)</sup>: въ ней есть что-то такое черствое, которое никакъ въ горло не лѣзетъ; давиши да и полно, а сердце (желудокъ нравственнаго бытія) бурчить отъ пустоты“. Равнымъ образомъ и другъ Вяземскаго, А. И. Тургеневъ, восхищавшійся Байрономъ „Манфредомъ“<sup>2)</sup>, не зналъ душевнаго мира: „Мнѣ умъ и сердце велять странствовать. Здѣсь ни съ тѣмъ, ни съ другимъ не уживешься, или, лучше сказать, здѣсь уму тѣсно, а сердцу душно, потому что послѣднее трудно угомонить, когда умъ въ бездѣйствіи. Одинъ онъ можетъ усмирить порывы вѣчнаго своего антагониста. Мнѣ кажется, что одному Карамзину дано жить жизнью души, ума и сердца. Мы всѣ поемъ вполголоса и живемъ не полною жизнью, оттого и не можемъ быть довольны собою, *à moins de l'être à la manière de Simon le Franc*<sup>3)</sup>.

Понятно послѣ всего этого, что и у насъ должны были явиться литературные образы своихъ выбитыхъ изъ колеи, *déclassés*, или „лишнихъ людей“, какъ ихъ называли въ нашей литературѣ 40-хъ и послѣдующихъ годовъ.

Въ поэзіи Пушкинъ сталъ первымъ яркимъ выразителемъ нашей „болѣзни вѣка“, страданія обособившейся человѣческой души: Батюшковъ передавалъ эти страданія не столь полно и напряженно, хотя и изумлялъ иногда своихъ друзей взрывами грусти<sup>4)</sup>). О Жуковскомъ же кн. П. А. Вяземскій отозвался такъ въ 1819 г.: „главный его недостатокъ есть однообразіе выкроекъ, формъ, оборотовъ, а главное достоинство—выказывать сокровеннѣйшія пружины сердца и двигать

не совсѣмъ потерянна. *Mais je désespére à force d'avoir espéré toujouors.* Съ поэтомъ это еще легче случиться можетъ. Я поддерживалъ душу дѣятельностью, которую иногда называлъ разсѣяніемъ, но не поддержалъ, и теперь смотрю на самого себя въ прошедшемъ... безъ сожалѣнія и безъ надежды, съ деревянными равнодушіемъ<sup>5)</sup>: 107: „Какой-то червякъ тоски безъ цѣли и причины таится у меня глубоко и отзывается посреди занятій и разсѣянія и даже посреди домашнихъ радостей“; 211: „Первые дни лѣта дѣлаютъ на меня странное впечатлѣніе: возвращаются какое-то чувство жизни, которое ничто иное, какъ тоска, волненіе безбрежное, влечение безъ цѣли“; 244: „Сирокко физической и моральной все еще палитъ меня“.

<sup>1)</sup> Ост. арх., I, 193.

<sup>2)</sup> Ib., 288.

<sup>3)</sup> Ib., 294; ср. 316: „Это письмо съ начала до конца мрачно и похоже на жизнь нашу, потому что исполнено смерти“.

<sup>4)</sup> Ib., 28.

ихъ. C'est le poète de la passion, то-есть, страданія. Онъ бренчитъ на распутьи: лавровый вѣнецъ его—вѣнецъ терновый, и читателя своего не привязываетъ онъ къ себѣ, а точно прибиваетъ гвоздями, вколачивающимися въ душу<sup>1)</sup>). Пушкинъ годомъ раньше выразилъ нѣсколько иначе и не столь рѣзко впечатлѣніе, какое производила на него „плѣнительная сладость стиховъ“ поэта, „стремившагося возвышенной душой къ мечтательному миру, творившаго для немногихъ“: внимая стихамъ Жуковскаго, по словамъ Пушкина,

Утѣшится безмолвная печаль,  
И рѣзвая задумается радость<sup>2)</sup>.

Такое воздействиѣ поэзіи Жуковскаго превзойдено произведеніями Пушкина. Пушкинъ первый въ нашей литературѣ сталъ передавать душевную скорбь, характеризующую XIX-й вѣкъ, съ удивительною силою многосторонней человѣчности. Пушкинъ первый отчетливо проанализовалъ грусть и тоску, которые стали испытывать наравнѣ съ западно-европейцами и русскіе люди съ начала настоящаго столѣтія, и воспроизвелъ эти душевныя состоянія не только въ своей лирикѣ, но и въ объективномъ изображеніи—въ нѣсколькихъ поэмахъ.

Начальные проявленія грусти въ поэзіи Пушкина были навѣяны, повидимому, вліяніемъ другихъ поэтовъ, между проч., Батюшкова и Жуковскаго, и относятся къ довольно ранней порѣ—къ семнадцатому году жизни поэта (1815)<sup>3)</sup>. Мечтательность его усилилась, когда онъ „встрѣтился съ осьмнадцатой весной, задумчиво внимая шумъ дубравный“. Онъ восклицалъ (1816)<sup>4)</sup> (пользуясь отчасти выраженіями Карамзина, сейчасъ названныхъ поэтовъ и Жильбера):

Гдѣ вы, лѣта безщечности недавной?...  
Моя стезя печальна и темна...

<sup>1)</sup> Ib., 227.

<sup>2)</sup> I, 193.

<sup>3)</sup> Соч. II, I, 110. Аяненковъ, А. С. Пушкинъ, Матеріали для его біографіи и оцѣнки его произведеній, изданіе 2-е, Спб., 32, говорить: „Въ стихотвореніи 1816 года: Друзьямъ, есть уже первыя черты той тихой и свѣтлой грусти, которая составляла впослѣдствіи отличительную черту его элегій“; стр. 34: „въ основаніи его элегіческой задумчивости нѣть никакого дѣйствительнаго события, еще менѣе настоящей страсти; но эти величныя и неопределенные жалобы, опежающія жизнь, истинны сами по себѣ“.

<sup>4)</sup> Соч. II, I, 201—202: „Посланіе къ князю А. М. Горчакову“.

Увы, нельзя мнѣ вѣчнымъ жить обманомъ  
 И счастья тѣнь, забывшись, обнимать!  
 Вся жизнь моя—печальный мракъ ненастья...  
 Душа полна невольной, грустной думой;  
 Мнѣ кажется, на жизненномъ пиру  
 Одинъ, съ тоской, явлюсь я—гость угрюмый,  
 Явлюсь на часъ, и одинокъ умру <sup>1)</sup>.

Такъ уже тогда поэть

...радость свѣтлую забыть,

и его

.....печали мрачный гений  
 Крылами черными покрылъ. <sup>2)</sup>

Подобныя „мученья“ еще не были выражениемъ горя, вполне выношенаго душой молодого поэта, да и горе это не было глубоко, если и „въ“ вызванныхъ имъ „слезахъ скрыто наслажденье“ <sup>3)</sup>, и поэть еще ждалъ „въ жизни сей утѣшенья“ отъ своего „скромнаго дара и счастія друзей“ <sup>4)</sup>. „Надежды ранній цвѣть“ и сердце поэта

<sup>1)</sup> Ср. подобныя же выраженія— Соч. II., I, 213:

Гдѣ міръ, одной мечтѣ послушный?  
 Мнѣ настоящій опустѣль!  
 На все взираю равводушно;  
 Дышать уныньемъ—мой удѣль.

и Соч. II., I, 233—234:

Ужъ я не тотъ... Невидимой стезей  
 Ушла пора веселости беспечной...  
 Отверженный судьбой несправедливой,  
 И ласки музъ, и рѣзвость, и покой.  
 Я все забытъ: печали молчаливой  
 Рука лежитъ надъ юною главой...  
 Передъ собой одну печаль я вижу:  
 Мнѣ скучень міръ, мнѣ страшень дневный свѣтъ;  
 Иду въ лѣса...  
 Умчались вы, дни радости моей!

а также 212:

Не тотъ удѣль судьбою мнѣ назначенъ.

<sup>2)</sup> Соч. II., I, прим.. стр. 316.

<sup>3)</sup> Ср. Соч. II., I, 220:

Я слезы лью—мнѣ слезы утѣшенье.  
 Моя душа, обытая тоской,  
 Въ нихъ горькое находить наслажденье.

<sup>4)</sup> Соч. II., I, 203.

тогда увидали лишь отъ „горестей несчастливой любви“ <sup>1)</sup>, и желаніе его, чтобы улетѣль „сонъ жизни“ <sup>2)</sup>, и видѣніе смерти <sup>3)</sup> были только временны, какъ временно бывало и рѣшеніе разстаться съ поэзіею <sup>4)</sup>. Въ другіе моменты поэтъ готовъ былъ думать,

. . . . . что любовь погасла навсегда,  
Что въ сердцѣ злыхъ страстей умолкнулъ гласъ мятежный,  
Что дружбы наконецъ отрадная звѣзда  
Страдальца довела до пристани надежной,

и „желанья“ усыплялись „гордымъ разумомъ“ <sup>5)</sup>.

„Сожалѣнія“ объ утратѣ  
Обмановъ сладостной мечты <sup>6)</sup>,

въ значительной степени наполнявшія поэзію Пушкина въ послѣдній годъ пребыванія его въ лицѣ, заглохли-было на время по выходѣ изъ этого заведенія,

Когда погасли дни мечтанья,  
поэта позвалъ „шумный свѣтъ“ <sup>7)</sup>, и онъ „велъ дни“

Съ Амуромъ, шалостью, виномъ <sup>8)</sup>.

Тогда „все снова раззвѣло“ <sup>9)</sup>, и „философу раннему“, который

. . . милыя забавы свѣта  
На грусть и скучу промѣнялъ,

<sup>1)</sup> Соч. II., I, 227 и 220, ср. 287: И сердце медленно хладѣло, закрывалось. Душу поэта жегъ „пламень страстный и огонь мучительныхъ желаній“ (Соч. II., I, 239 - 240).

<sup>2)</sup> Ср. Соч. II., I, 221: „тяжелый жизни сонъ“; I, 201: „сладкій жизни сонъ“.

<sup>3)</sup> Соч. II., I, 226: Я видѣль смерть...

<sup>4)</sup> Соч. II., I, 237: Душѣ наскучили парнасскія забавы, и 271: Какъ дымъ, исчезъ мой легкій даръ.

Ср. I, 212.

<sup>5)</sup> Соч. II., I, 239 и 222.

<sup>6)</sup> Соч. II., I, 262, ср. I, 190:

Любви, надежды, гордой славы  
Не долго тѣшилъ настъ обманъ.

<sup>7)</sup> Соч. II., I, прим., 380 (ср. 273).

<sup>8)</sup> I, 188.

<sup>9)</sup> Соч. II., I, 287.

И на лампаду Эпиктета  
 Златой Горациевъ фіалъ,  
 поэтъ преподавалъ совѣты въ духѣ эпикуреизма:  
 До капли наслажденье пей,  
 Живи безпеченъ, равнодушенъ!  
 Мгновенью жизни будь послушенъ  
 Будь молодъ въ юности твоей! <sup>1)</sup>),  
 А другого приятеля просилъ не пугать  
 Гроба близкимъ новосельемъ:  
 Право, намъ такимъ бездѣльемъ  
 Заниматься недосугъ ).

Мечтателю Кюхельбехеру Пушкинъ говорилъ:

О, если бы тебя, унылыхъ чувствъ искатель,  
 Постигло страшное безуміе любви....  
 Повѣрь, тогда бъ ты не питалъ  
 Неблагодарнаго мечтанія... <sup>2)</sup>).

Но, какъ будто не желая еще отдаваться „грусти и скучѣ“, поэтъ съ 1819 г. все-таки вновь впадалъ по временамъ въ „уныніе“, „унылой думой“

Среди забавъ былъ часто омраченъ и „душой усталой разлюбиль веселую любовь“ <sup>4)</sup>). Взамѣнъ ея начали овладѣвать мыслю болѣе серьезные предметы вдохновенія. Въ стихотв. „Къ Чаадаеву“ (1818 г.) Пушкинъ писалъ:

Исчезли юныя забавы,  
 Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!  
 Но въ насъ кипитъ еще желанье:  
 Подъ гнетомъ власти роковой  
 Нетерпѣливою душой  
 Отчизны внемлемъ призывања!  
 Мы ждемъ съ томленьемъ упованья  
 Минуты вольности святой <sup>5)</sup>).

<sup>1)</sup> I, 200—201; ср. Соч. II., I, 258: Усердствуй Вакху, и любви и проч. См. еще 265 („Добрый совѣтъ“).

<sup>2)</sup> I, 200.

<sup>3)</sup> I, 192.

<sup>4)</sup> I, 201: „Уныніе“.

<sup>5)</sup> I, 190.

Поэтъ писалъ „Про себя“:

Великимъ быть желаю,  
Люблю Россіи честь,  
Я много обѣщаю,  
Исполню ли—Богъ вѣсть<sup>1)</sup>.

Проговариваясь уже ранѣе, что Богъ создалъ для поэтовъ „уединеніе и свободу“<sup>2)</sup>, „угорѣвшій въ чаду большого свѣта“<sup>3)</sup>, „отъ суетныхъ оковъ освобожденный“, поэтъ теперь радостно привѣтствовалъ

..... пустынныи уголокъ,  
Пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенія,

гдѣ онъ учился „въ истинѣ блаженство находить“, „вопрошалъ оракулъ вѣковъ“ и такъ обращался къ нимъ:

Въ уединеніѣ величавомъ  
Слышнѣе вашъ отрадный гласть:  
Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый,  
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнѣ,  
И ваши творческія думы  
Въ душевной зреютъ глубинѣ<sup>4)</sup>.

Теперь онъ любилъ „малый кругъ друзей“, „лихихъ рыцарей любви, свободы и вина“,

Гдѣ умъ кипитъ, гдѣ въ мысляхъ воленъ онъ,  
Гдѣ спорятъ вслухъ, гдѣ чувствуетъ сильнѣе<sup>5)</sup>.

Попрежнему любилъ онъ также

..... вечерній пиръ,  
Гдѣ веселье предсѣдатель,  
А свобода, мой кумиръ,  
За столомъ законодатель<sup>6)</sup>,

<sup>1)</sup> I, 196.

<sup>2)</sup> Соч. II, I, 283.

<sup>3)</sup> I, 211.

<sup>4)</sup> I, 205—206.

<sup>5)</sup> I, 212, 198, 211.

<sup>6)</sup> I, 212.

любилъ остряя выходки во вкусѣ Клемана Маро<sup>1)</sup>). Попрежнему Пушкинъ находилъ иногда, что

Все призракъ, суeta,  
Все дрянь и гадость;  
Стаканъ и красота—  
Вотъ жизни сладость.  
Любовь и вино  
Намъ нужны равно.  
Безъ нихъ человѣкъ  
Зѣвалъ бы во вѣкъ.  
Къ нимъ лѣни еще прибавлю...<sup>2)</sup>

Но рядомъ со всѣмъ этимъ, „скучая жизнію, томимый суетою“, поэтъ уже задавался вопросомъ:

Къ чему мнѣ жить? Я не рожденъ для счастья,  
Я не рожденъ для дружбы, для заботъ<sup>3)</sup>,

и признавалъ, что отъ всѣхъ утѣхъ юности

Останется уныніе одно<sup>4)</sup>.

И прежде онъ говорилъ: „Ужъ я не тотъ“! Теперь перемѣна въ немъ была сильнѣе прежней и многостороннѣе. Не одиночество въ любви, а и другія причины<sup>5)</sup> обусловливали то, что и ранѣе иногда „за чашей ликованья“ поэта можно, было найти

. . . . .      обѣятаго тоской,  
Задумчивымъ, съ поникшой головой,

<sup>1)</sup> Ср. I, 199 („В. В. Энгельгардту“) со стихотв. Маро: „Adieu aux dames de la court“. Пушкинъ былъ знакомъ со стихотвореніями Маро, поэта XVI в. (см. Соч. II., I, 111 и прим., 113, и V, 245 и 247), какъ и Вяземскій (Ост. арх., I, 285).

<sup>2)</sup> I, 214 – 215.

<sup>3)</sup> I, 197; ср. Соч. II., I, 203 (1816):

Ужель умру, не вѣдая, чѣд радость?  
Зачѣмъ же жизнь дана мнѣ отъ боговъ?

<sup>4)</sup> I, 201.

<sup>5)</sup> Быть можетъ, въ числѣ ихъ и тѣ, о которыхъ говорится въ стих. „Безвѣrie“ (Соч. II., I, прим., 392; 1817 г.):

Взглядните: бродить онъ съ увядшею душой,  
Своей ужасною томимый пустотой;  
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалѣнья,  
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья, и т. д.

и онъ испытывалъ душевныя страданья<sup>1)</sup>. То было

Тоскующей души холодное волненье<sup>2)</sup>.

Поэтъ ошибался, когда говорилъ, что для него

Исчезли навсегда часы очарованья...

Надежда въ сердцѣ умерла<sup>3)</sup>.

Но все же со времени перевода Пушкина на югъ, съ 1820 г., печаль свила надолго прочное гнѣздо въ душѣ поэта, стала осмысленіе и шире по своимъ мотивамъ и начала еще болѣе переходить изъ личной въ міровую скорбь и тоску, вполнѣ однако не ставъ ею и въ самый бурный періодъ жизни Пушкина.

Первое изъ стихотвореній, написанныхъ Пушкинымъ на югѣ, алегія „Погасло дневное свѣтило“<sup>4)</sup>, относящаяся къ сентябрю 1820 г. и вылившаяся изъ-подъ пера поэта уже при несомнѣнномъ знакомствѣ съ Байроновымъ Чайльдъ-Гарольдомъ, выказываетъ нѣкоторое виѣшнее родство настроенія поэта, плывущаго у береговъ родины, съ прощальною пѣснью—„Good Night“—Байронова героя міровой скорби<sup>5)</sup>, но далека отъ угрюмой холодности той пѣсни: къ „тоскѣ“ нашего поэта примѣшиваются „волненье“; у „вспоминаньемъ упоенного“ „въ очахъ рождались слезы вновь“, которыхъ не вѣдаетъ Чайльдъ-Гарольдъ;

Душа кипитъ и замираетъ;  
Мечта знакомая.... летаетъ.

Душу нашего поэта наполняютъ воспоминанія о прошломъ: о „безумной любви“, о „наперсникахъ порочныхъ заблужденій,

Которымъ безъ любви онъ жертвовалъ собой,  
Покоемъ, славою, свободой и душой,

объ „измѣнницахъ младыхъ, подругахъ тайныхъ весны златыя“, о „питомцахъ наслажденій, минутной младости минутныхъ друзьяхъ“. Все это зналъ и Чайльдъ-Гарольдъ—Байронъ; „потерянная младость“

<sup>1)</sup> I, 212.

<sup>2)</sup> I, 213.

<sup>3)</sup> Ibid.

<sup>4)</sup> I, 222—228.

<sup>5)</sup> Childe-Harold's pilgrimage, Canto I, xii.

и его, какъ нашего поэта, „рано въ буряхъ отцвѣла“; но напрасно по прежнему Пушкинъ приписываетъ себѣ „сердце хладное“: онъ не порвалъ, какъ Чайльдъ-Гарольдъ, съ прошлымъ: предъ нимъ живо, говоритъ онъ,

... все, чѣмъ я страдалъ, и все, что сердцу мило,  
Желаній и надеждъ томительный обманъ...

Искатель новыхъ впечатлѣній,  
Я васъ бѣжалъ, отечески края...

. . . . . Но прежнихъ сердца ранъ,  
Глубокихъ ранъ любви ничто не излѣчило...

Носитель этихъ неизлѣчимыхъ ранъ, проливающій слезы—прежний Пушкинъ, подобный Чайльдъ-Гарольду лишь тѣмъ, что оставилъ „печальные брега туманной родины“ своей, плылъ на кораблѣ „по грозной прихоти обманчивыхъ морей“ и будто бы не желалъ возвращаться домой, стремясь въ

Земли полуденной волшебные края<sup>1)</sup>.

Нашъ „страдалецъ“, полный „думъ тяжелыхъ“ и „унынія“<sup>2)</sup>, не любить одиночества, не прочь

Наслушаться рѣчей веселыхъ,  
„нѣжной красоты“ и „юности живой“, „дѣвы розы“, „оковъ“<sup>3)</sup> которой „не стыдится“, и говорить:

Смотрю на всѣ ея движенія,  
Внимаю каждый звукъ рѣчей,  
И мигъ единій разлученія  
Ужасенъ для души моей<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Ср. слова Чайльдъ-Гарольда:

With thee, my bark, I'll swiftly go  
Athwart the foaming brine.  
Nor care what land thou bear'st me to.  
So not again to mine.

Но изъ устъ Пушкина не слышимъ:

My greatest grief is that I have  
No thing that claims a tear.

<sup>2)</sup> I, 223—224; ср. 225: „сердечной думы полны... я влачилъ задумчивую лѣни“.

<sup>3)</sup> Ср. II, 336:

Опомнись! долго-ль, узникъ томный,  
Тебѣ оковы лобызать, и проч.

<sup>4)</sup> I, 224. Интересенъ варіантъ къ послѣднимъ двумъ стихамъ:

И краткій мигъ уединенъ  
Несносенъ для души моей.

Свою скорбь и тоску, никогда не доходившія до полнаго бѣгства отъ людей, ненависти, пессимизма и безнадежности, Пушкинъ передалъ не только въ лирикѣ, но и въ болѣе или менѣе объективномъ изображеніи,—въ рядѣ поэмъ. Въ нихъ нашъ поэтъ воспроизвѣдалъ романтическую меланхолію съ каждымъ разомъ все отчетливѣе, художественнѣе и ближе къ дѣйствительности.

Герои разочарованія, изображенные въ поемахъ Пушкина,—лишь отчасти литературные потомки Руссо и Гётеvского Вертера, Шатобрианова Рене и другихъ романическихъ личностей Запада. Въ большей степени они—носители душевныхъ страданій и думъ нашего поэта и его сверстниковъ.

Таковъ прежде всего „Кавказскій плѣнникъ“, герой первой изъ Пушкинскихъ поэмъ разочарованія и скорби. Въ нашей поэзіи это первый крупный представитель бѣгства на западный ладъ изъ цивилизованного общества, но вмѣстѣ и въ значительной степени самостоятельный образъ. Въ немъ отзыается прежде всего то же настроеніе, съ какимъ наскъ ознакомили сейчасъ разсмотрѣнныя стихотворенія Пушкина; въ немъ можно узнать, по признанію самого поэта,

Противорѣчіе страстей,  
Мечты знакомыя, знакомыя страданья  
И тайный гласъ души  
поэта, который

....погибалъ безвинный, безотрадный,  
И шопотъ клеветы внималъ со всѣхъ сторонъ...  
...рано скорбь узналъ, постигнуть былъ гоненьемъ,  
...жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ;  
Но, сердце укрѣпивъ свободой и терпѣньемъ,  
...ждалъ безопасно лучшихъ дней,  
И счастіе его друзей  
...было сладкимъ утѣшеньемъ <sup>1)</sup>).

Можно бы подыскать ко многимъ, важнѣйшимъ по выраженію основной мысли, стихамъ „Кавказскаго Цлѣнника“ соответственныя мѣста въ предшествовавшей лирикѣ Пушкина, между проч.—уже

<sup>1)</sup> II, 276—277: Кавказскій Цлѣнникъ, посвященіе; VII, 30: „въ немъ есть стихи моего сердца“.

лицейского периода<sup>1)</sup>, и изъ этого ясно, насколько скорбь, характеризующая Плѣнника, была выношена въ душѣ его поэта. Послѣ того внѣшнія сходства съ произведеніями иностранныхъ литераторъ<sup>2)</sup>, какія можно открыть въ нѣкоторыхъ подробностяхъ повѣствованія и обрисовки героя поэмы, не имѣютъ первостепенного значенія для уясненія ея генезиса. Внутренній генезисъ данъ уже только что изложенію исторіею кризиса въ душѣ Пушкина, начиная съ послѣдняго года пребыванія его въ лицѣ. Кавказскій плѣнникъ—лишь образное выраженіе и закрѣпленіе, сведеніе во-едино извѣстныхъ уже намъ и ранѣе душевныхъ переживаній самого поэта: его беззаботной и радостной молодости, затѣмъ бурной жизни, гоненій, страданій и увиданія сердца, измученнаго страстями, охлажденія души и сохраненія ею, послѣ всѣхъ этихъ крушеній, еще стремленія къ свободѣ вдали отъ суетнаго свѣта, на лоно природы и простой жизни. Многое изъ этого отличало и Байроновыхъ героевъ, но Пушкинъ, какъ мы видѣли, пережилъ все это самъ, и его Плѣнникъ

<sup>1)</sup> Сопоставьте характеристику жизни Плѣнника до прибытія его на Кавказъ (II, 279):

. . . . . пламенную юность  
Онъ гордо началъ безъ заботъ,  
.... первую позналь онъ радость,  
.... много милаго любилъ,  
.... обняль грозное страдавье,  
.... бурной жизнью погубилъ  
Надежду, радость и желанье,  
И лучшихъ дней воспоминанье  
Въ увидшемъ сердцѣ заключилъ,

съ данными о душевной жизни Пушкина, заключающимися въ его лирикѣ 1816—20 гг., и вы найдете въ послѣдней то же: и равнія ожиданія счастія отъ жизни, и безнадежную любовь, и презрѣніе къ свѣтской суетѣ, и охлажденіе будто бы сердца, ослабленіе интереса даже къ поэзіи (плѣнникъ также „охолодѣлъ къ мечтамъ и лирѣ“), и сохраненіе будто лишь любви къ свободѣ и въ то же время тоску по оставленной вдали любимой личности. Поэтъ еще въ 1822 г. писалъ въ заключеніи „Бахчисарайскаго фонтана“ (II, 336):

Я помню столь же милый взглядъ  
И красоту еще земную;  
Всѣ думы сердца къ ней летятъ;  
Объ ней въ изнанкѣ тоскую... и проч.

<sup>2)</sup> См. у Сиповскаго, Пушкинъ, Байронъ и Шатобранъ, Спб., 1899, стр. 24—25 и 30. Должно замѣтить, однако, что фабула поэмы заимствована изъ рассказа одного изъ Московскихъ знакомцевъ Пушкина.

носить отпечатокъ индивидуальныхъ душевныхъ состояній самого поэта. И вмѣстѣ съ тѣмъ Плѣнникъ—уже носитель міровой скорби, какъ она сложилась со времени Руссо, правда—еще слишкомъ юный и не-зрѣлый, какъ и самъ поэтъ въ то время. Уже

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ  
И зналъ невѣрной жизни цѣну...  
Наскучивъ жертвой быть привычной  
Давно презрѣнной суеты...

*Отступникъ свѣта*, другъ природы,  
онъ лелѣялъ еще „призракъ священной свободы“:

Свобода! онъ одной тебя  
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ...  
Съ волненiemъ пѣсни онъ внималъ  
Одушевленная тобою;  
И съ вѣрой, пламенной мольбою  
Твой гердый ідолъ обнималъ <sup>1)</sup>.

Какъ Пушкинъ, думавшій было, что

Беллона, музы и Венера—  
Вотъ, кажется, святая вѣра  
Дней нашихъ всякаго пѣвца <sup>2)</sup>),

желалъ поступить въ военную службу, такъ и его плѣнникъ отправился на Кавказъ въ надеждѣ достигнуть тамъ истинной свободы, избѣжавъ

Давно презрѣнной суеты,  
И непріязни двуязычной,  
И простодушной клеветы <sup>3)</sup>.

Очутившись въ плѣну у горцевъ, „отступникъ свѣта, другъ природы“

*Любилъ ихъ жизни простоту,*  
*Гостепріимство, жажду браны,*

<sup>1)</sup> II, 220.

<sup>2)</sup> Соч. П., I, 281.

<sup>3)</sup> Гусары, по словамъ поэта (I, 175),

...живутъ въ своихъ шатрахъ,  
Вдали забавъ и нѣгъ, и грацій,  
Какъ жилъ безсмертный трусь Гораций  
Въ тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ;  
*Не знаютъ свѣта принужденья,*  
Не вѣдаютъ, чтѣ скуча, страхъ...

Движеній вольныхъ быстроту...

....все тотъ же видъ

*Непобѣдимый, непреклонный<sup>1)</sup>.*

Во всемъ этомъ настроеніи было много юношеской неопытности, и эксцентричное исканіе истинной свободы неувѣнчалось успѣхомъ. Самый герой не облечень чарами особой привлекательности и вообще, по справедливому замѣчанію самого поэта<sup>2)</sup>, это— „первый неудачный опытъ характера, съ которыми Пушкинъ насили сладилъ“. Поэтъ „въ немъ хотѣль изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которая сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка“<sup>3)</sup>, представить „молодого человѣка, потерявшаго чувствительность сердца въ несчастіяхъ“. Плѣнникъ выказываетъ „бездѣйствіе, равнодушіе къ дикой жестокости горцевъ и къ прелестямъ кавказской дѣвы“<sup>4)</sup>; но нельзя не признать, что міровой скорбникъ очерченъ и не мѣнь еще блѣдно и неполно.

Причудливую форму, подобно какъ въ Шиллеровыхъ „Разбойникахъ“ получило исканіе свободы также и въ „Братьяхъ Разбойникахъ“ Пушкина. Поэтъ заканчиваетъ эту поэму словами:

..... Въ ихъ сердцѣ дремлетъ совѣсть:

Она проснется въ черный день<sup>5)</sup>.

Оказывается неудовлетвореннымъ своею жизнью, чуя высшія начала, и герой „Бахчисарайскаго фонтана“ (1822), „грозный ханъ“ Гирей, „повелитель горделивый“, къ „строгому челу“ котораго присматривались со вниманіемъ всѣ подчиненные.

<sup>1)</sup> II, 280. Что до любви къ природѣ, то она у Плѣнника отличается уже характеромъ, напоминающимъ Лермонтовскую: такъ (II, 284),

...плѣнникъ съ горной вышивы,  
Одинъ, за тучей громовою  
Возврата солнечнаго ждалъ,  
Недосягаемый грозою,  
И бури немощному вою  
Съ какой то радостью внималъ.

<sup>2)</sup> V, 121. „Характеръ Плѣнника неудаченъ“, писалъ Пушкинъ (V, 25) уже въ 1821 г. См. еще VII, 30 и 166, и IV, 420. Ср. А. И. Соболевскаго Значеніе Пушкина, К. 1887, стр. 9.

<sup>3)</sup> VII, 25.

<sup>4)</sup> VII, 30.

<sup>5)</sup> II, 308. „Какъ сюжетъ, c'est un tour de force“ (VII, 54), отозвался самъ Пушкинъ.

Благоговѣя всѣ читали  
Примѣты гнѣва и печали  
На сумрачномъ его челѣ.

Эта „гордая душа“ „скучаетъ бранной славой“; „полонъ грусти умъ Гирея“; послѣдній не заглядываетъ и въ роскошную „загѣтную обитель еще недавно милыхъ женъ“. Гирей презрѣлъ чудныя красы „звезды любви, красы гарема“, грузинки Заремы,

И ночи хладные часы  
Проводить мрачный, одинокій,  
Съ тѣхъ поръ, какъ польская княжна  
Въ его гаремъ заключена <sup>1)</sup>.

Причина тоски Гирея—особая любовь къ плѣнной княжнѣ Маріи. Онъ чтитъ плѣнницу не какъ другихъ невольницъ, потому что смутно чувствуетъ въ ней то же, что привлекало къ ея образу и самого поэта,— „дushi неясный идеалъ“ <sup>2)</sup>, ангельскую, „чистую душу“:

Съ какою бѣ радостью Марія  
Оставила печальный свѣтъ!  
Мгновенія жизни дорогія  
Давно прошли, давно ихъ нѣть!  
Что дѣлать ей *въ пустынѣ мира?*  
Ужъ ей пора, Марію ждуть,  
И въ небеса, на лоно мира  
Родной улыбкою зовутъ <sup>3)</sup>.

Этотъ-то „нѣжный образъ“ и раскрылъ „мрачному, кровожадному“ хану обаяніе глубокой внутренней жизни, которой онъ дотолѣ не подозрѣвалъ, и заронилъ въ него зерно новой жизни. Оно не просло въ немъ, и поэтъ не совсѣмъ удачно передаль, какъ

...въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ  
Таится пламень безотрадный <sup>4)</sup>,

<sup>1)</sup> II, 322—323, 325. 326.

<sup>2)</sup> I, 226—227: „Фонтану Бахчисарайскаго дворца“. Ср. заключеніе „Бахчисарайскаго фонтана“ (II, 336):

Невольно предавался умъ  
Неизѣяснимому волненію,  
И по дворцу летучей тѣнью  
Мелькала дѣва предо мвой ..

<sup>3)</sup> II, 333—334

<sup>4)</sup> Слѣдующее затѣмъ описание:

Онъ часто въ сѣяхъ роковыхъ

но все-таки „Бахчисарайскій фонтанъ“ совершеннѣе изображаетъ не-удовлетворенность обычною жизнью, чѣмъ „Кавказскій Плѣнникъ“, передаетъ ее болѣе правдиво и естественно и въ болѣе реальной обстановкѣ. Самая критика „гордой“ и черствой души, надлежащая ея оцѣнка дана еще лучше образомъ Маріи, чѣмъ оцѣнка пленника—сопоставленіемъ съ любящею его черкешенкой<sup>1)</sup>). Поэма о фонтанѣ оправдываетъ слова поэта, что

...сердце, жертва заблужденій,  
Среди порочныхъ упоеній,  
Хранить одинъ святой залогъ,  
Одно божественное чувство<sup>2)</sup>.

Въ такомъ воззрѣніи уже какъ бы проскальзывала легкая поправка къ представлению гордыхъ душъ въ ореолѣ особой привлекательности. Пушкинъ уже привносилъ въ изображеніе героевъ разочарованія данныхъ русской дѣйствительности и личного опыта и наблюденія и начиналъ освѣщать при помощи своего нравственнаго чутья лучше всѣхъ своихъ западноевропейскихъ предшественниковъ въ изображеніи этого типа всѣ слабыя стороны послѣдняго, эгоизмъ (въ Плѣнника, Гиреѣ и Алеко), любовь къ праздности и лѣнѣ (въ Алеко), отсутствие твердыхъ положительныхъ началъ (въ Онѣгинѣ) и т. п.

И въ этой критикѣ Пушкину могъ нѣсколько помочь своими болѣе зрѣлыми произведеніями тотъ самый Руссо, отъ которого вышло все это литературное движение міровой скорби. Пушкинъ, какъ и Руссо, сталъ на точку зрѣнія необходимости обузданія страстей и эгоизма. Этимъ онъ отличается болѣе всѣхъ другихъ поэтовъ въ изображеніи и оцѣнкѣ героевъ разочарованія. Уразумѣть несостоятельность ихъ Пушкину много пособило его русское тонкое, нравственное чутье, но не прошло для него безслѣдно при этомъ и вліяніе Руссо. Въ „Цыганахъ“ мы услышимъ и повтореніе тезисовъ первыхъ диссертаций этого писателя, и опроверженіе ихъ примѣни-

Подъемлетъ саблю, и съ размаха  
Недвижимъ остается вдругъ, и проч.,  
вызываю на смѣшки (см. V, 121).

<sup>1)</sup> Мы расходимся въ этомъ случаѣ съ сужденіемъ самого поэта, находившаго, что „Бахчисарайскій фонтанъ слабѣе Плѣнника“ (V, 121). Ранѣе Пушкинъ писалъ (VII, 54): „Бахчисарайскій Фонтанъ“ между нами, дрянь, но эпиграфъ его—прелестъ“ (ср. V, 133).

<sup>2)</sup> II, 329.

тельно къ нравственному чутью нашего поэта и къ позднейшимъ поправкамъ парадоксовъ французского писателя.

„Задумчивый“<sup>1)</sup> Руссо былъ извѣстенъ Пушкину уже на двѣнадцатому году жизни поэта<sup>2)</sup>. Жанъ-Жакомъ, повидимому, тогда увлекалась сестра Пушкина Ольга (впослѣдствіи Навлицева<sup>3)</sup>); и это увлеченіе могло передаться и нашему поэту. Потомъ Пушкинъ отзывался о Руссо весьма строго и пренебрежительно<sup>4)</sup>, но все-таки впечатлѣнія и увлеченія дѣтства не могли пройти безслѣдно, и Пушкинъ въ годъ написанія „Цыганъ“ ставилъ Руссо въ общемъ, кажется, выше Вольтера<sup>5)</sup>, потому что характерной чертой послѣдняго призналъ „скептицизмъ“, а особенностью Руссо—„филантропію“<sup>6)</sup>. И уже въ юные годы Пушкина образъ Руссо внушалъ ему обаяніе великаго страудальца: Пушкинъ называлъ его въ ряду тѣхъ поэтовъ, *мимо которыхъ катится фортуны колесо*:

Родился нагъ—и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо<sup>7)</sup>.

<sup>1)</sup> V, 248.

<sup>2)</sup> Записки Смирновой, I, 305: „его романъ, когда мнѣ было 12 лѣтъ, казался мнѣ чудомъ“.

<sup>3)</sup> Соч. II., I, 14 („Къ сестрѣ“, 1814):

Чѣмъ сердце занимаешь  
Вечернею порой?  
Жанъ-Жака ли читаешь?

<sup>4)</sup> III, 244 (Евг. Онѣг., I, xxiv, 1822):

Руссо (замѣчу мимоходомъ)  
Не могъ понять, какъ важный Гrimmъ  
Смѣхъ чистить ногти передъ нимъ,  
Краснорѣчивымъ сумасбродомъ.

Но вслѣдъ затѣмъ Руссо названъ „защитникомъ вольности и правъ“. См. еще Записки Смирновой, I, 305—306: „Быть можетъ, Руссо чинколько не менѣе Ловласа, и Кребильона унизилъ любовь, сказалъ Пушкинъ,—у него все фальшиво, даже природа. Даже Рене въ сто разъ выше его Новой Элонзы, такъ какъ чувствуется, что Шатобріанъ изгналъ свою душу въ своихъ книгахъ, но Руссо, у которого были такія жалкія и любовныя похожденія... кончилъ служанкой... при чтеніи нѣкоторыхъ страницъ я хотѣла, какъ сумасшедшій, особенно когда они всѣ плачутъ: Санъ-Прѣ, Жюли, ея скучный и добродѣтельный супругъ. Эмиль несравненно менѣе скученъ, что же касается *Савойской Селянки*, то я въ этой книѣ не нашелъ трехъ строкъ, которыхъ бы дышали истиннымъ религіознымъ чувствомъ“ и т. д.

<sup>5)</sup> Въ „Первомъ посланіи цензору“ (1824) Руссо дважды поставлена впереди Вольтера (I, 316 и 318), хотя въ первомъ случаѣ того не требовали ни размѣръ стиха, ни риѳма.

<sup>6)</sup> V, 355.

<sup>7)</sup> Соч. II., I, 20.

Не ко всему, конечно, въ произведеніяхъ Руссо могъ относиться сочувственно Пушкинъ. Онъ не могъ, напр., раздѣлять воззрѣніе отчаявшагося Руссо, что „Le pays de chimères est, en ce monde, le seul digne d'être habité“, не могъ не усматривать искусственности и преувеличеній реторизма въ обвиненіи цивилизаціи и въ другихъ типахъ Руссо.

Но многое въ учениі Руссо должно было съ юношескихъ лѣтъ привлекать юлкаго и не любившаго удержа поэта: призывъ слѣдовать голосу внутренней природы, превознесеніе добрыхъ чувствованій и страсти, возведеніе ея въ идеалъ не могли не найти отклика въ горячемъ сердцѣ Пушкина<sup>1)</sup>). Не могъ пройти безслѣдно для нашего поэта и тотъ призывъ къ природѣ и свободѣ, который также отличалъ Руссо въ ряду французскихъ писателей XVIII в. и который находилъ у насъ поддержку и въ чтеніи Лафонтена, въ особенности же Грея и Томсона<sup>2)</sup>. Свое влеченіе къ природѣ русскій человѣкъ выразилъ

<sup>1)</sup> III, 382 („Евг. Он.“, VIII, III):

И я въ законъ себѣ вмѣння  
Страстей единый произволъ...

<sup>2)</sup> О Лафонтенѣ см. въ стихотвореніи „Городокъ“ (Соч. II I, 69—70), гдѣ, впрочемъ онъ охарактеризованъ, какъ

. . . . иѣвецъ любезной,  
Поэзіей прелестной  
Сердца привлекшій въ плѣнъ,  
. . . . лѣнтий безиечный,  
Мудрецъ простосердечный.

Въ цит. уже „Посланіи къ сестрѣ“ (Соч. II, I, 14) читаемъ:

Иль съ Греемъ и Томсономъ  
Ты пренеслась мечтой  
Въ поля, гдѣ отъ дубравы  
Вдоль вѣтеть вѣтерокъ,  
И шепчетъ лѣсь кудрявый  
И мчится величавый  
Съ вершины горъ потокъ?

Замѣтимъ, что оба названные здѣсь поэта лвились въ началѣ нашего вѣка въ русскихъ переводахъ, первый—въ стихахъ, второй—въ прозѣ. Любовь Пушкина къ природѣ ярко выразилась въ стихотв. „Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума“ II, 154—155, 1833 г.):

Когда бъ оставили меня  
На волѣ, какъ бы рѣзво я  
Пустился въ темный лѣсь! и т. д.

уже издавна въ пѣсняхъ о матери-пустынѣ, о раздольѣ безбрежныхъ степей и т. п.

Отчетливое уразумѣніе прелести и спасительности общенія съ природой возрасло въ Пушкинѣ съ той поры, какъ переводъ на югъ и другія обстоятельства обострили его отношеніе къ властямъ и обществу и, въ связи съ знакомствомъ съ поэзіею Шатобріана и Байрона, сдѣлали болѣе близкимъ ученіе Руссо объ извращеніяхъ цивилизациіи и о преимуществахъ, какими пользуется неиспорченный „l'homme de la nature“, живущій согласно съ голосомъ своего сердца и подчиняющійся лишь велѣніямъ природы.

Это ученіе Руссо и излюбленные тезисы послѣдняго замѣтно выступаютъ въ поэмѣ Пушкина „Цыганы“ (1824<sup>1)</sup>), сливаясь съ тѣмъ, что дѣйствительно было пережито самимъ поэтомъ: Пушкинъ сознавался, что за цыганъ

. . . . . лѣнивыми толпами  
Въ пустыняхъ, праздный, онъ бродилъ,  
Простую пищу ихъ дѣлилъ  
И засыпалъ предъ ихъ огнами;  
Въ походахъ медленныхъ любилъ  
Ихъ пѣсней радостные гулы,  
И долго милой Маріулы  
. . имя нѣжное твердилъ<sup>2)</sup>.

Еще и позднѣе (въ 1830 г.) любилъ онъ бывать у нихъ<sup>3)</sup> и признавалъ ихъ „счастливымъ племенемъ“<sup>4)</sup>. Въ Пушкинѣ отзывалась въ данномъ случаѣ свойственная нашему народу любовь къ приволью, увлекавшая въ предшествовавшіе вѣка къ блужданію въ степяхъ, къ основанію козацкихъ вольницъ на пограничныи русскихъ земель и далѣе. Оттуда же увлеченіе нѣкоторыхъ цыганскими пѣснями. Эта какъ бы прирожденная народу любовь къ приволью слилась въ Пушкинѣ съ тѣми идеями о простомъ, но счастливомъ житьѣ-бытьѣ вдали отъ городской и искусственной цивилизациіи, которая были пущены въ обращеніе со второй половины XVIII-го вѣка Руссо и его послѣдователями, въ особенности Бернарденомъ де-Сенъ-Пьеръ и Шато-

<sup>1)</sup> Это замѣтилъ уже Достоевскій въ рѣчи о Пушкинѣ. Ср. у Мережковскаго.

<sup>2)</sup> II, 364. См. еще III, 383 („Евг. Он.“, VII, iv).

<sup>3)</sup> VII, 254.

<sup>4)</sup> II, 97—98: стих. „Цыганы“ (1830).

бріаномъ. Герой „Цыганъ“ Алеко, подобно своему автору Пушкину, былъ преслѣдуемъ „закономъ“, подобно поэту былъ „изгнаникомъ перелетнымъ“ и рѣшился на „добровольное изгнаніе“, — искать покоя среди цыганъ, плѣнившись ихъ житѣемъ:

Какъ вольность, веселье ихъ ночлегъ  
И мирный сонъ подъ небесами.

### Въ обстановкѣ ихъ жизни

Все скудно, дико, все нестройно,  
Но все такъ живо-непокойно,  
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,  
Такъ чуждо этой жизни праздной,  
Какъ пѣснь рабовъ однообразной<sup>1)</sup>.

Рѣшившись стать цыганомъ, другомъ черноокой Земфиры,

Теперь онъ вольный житель міра...  
И жиль, не признавая власти  
Судьбы коварной и слѣпой<sup>2)</sup>.

Всльдъ за Руссо, и Алеко отзывался съ презрѣніемъ о жизни оставленныхъ имъ „людей отчизны, городовъ“. Въ его рѣчахъ слышимъ уже то противоположеніе безграничной свободы и красоты жизни въ природѣ печальному и подневольному житию въ удаленіи отъ нея, среди уродствъ цивилизациі, на которое есть намеки и у Лермонтова и которое развито обстоятельно Л. Н. Толстымъ. Какъ теперь Л. Н. Толстой, Алеко не любилъ

Неволю душныхъ городовъ!  
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой  
Не дышать утренней прохладой,  
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,  
Любви стыдятся, мысли гонять<sup>3)</sup> и проч.

<sup>1)</sup> II, 347 и 349.

<sup>2)</sup> II, 349—350.

<sup>3)</sup> II, 351. Ср. начало „Воскресенья“.

Слѣдовало порицаніе жизни въ цивилизованномъ обществѣ, въ частности въ великосвѣтскомъ кругѣ, неоднократно прорывающееся въ поэзіи Пушкина съ довольно раннаго времени и до конца<sup>1)</sup>.

Значеніе „Цыганъ“ въ нашей поэзіи нѣсколько напоминаетъ значеніе Шиллеровыхъ „Разбойниковъ“. Пушкинъ также искалъ выхода изъ душной и затхлой атмосферы современного ему общества. Признавая свѣтъ безнравственнымъ, „презрѣвшій“, подобно Руссо, „оковы просвѣщенія“, ставшій вольнымъ, какъ цыгане, Алеко не нашелъ однако счастія, потому что не покончилъ со своими страстями:

... Боже, какъ играли страсти  
Его послушно душой!  
Съ какимъ волненіемъ кипѣли  
Въ его измученной груди<sup>2)</sup>!

Алеко, разставшись съ цивилизаціей, не хотѣлъ отказаться также отъ ея привычекъ, отъ того, что онъ считалъ своими „правами“, и чтѣ было эгоизмомъ<sup>3)</sup>, и ему въ его гордости были непонятны нравы цыганъ, не имѣющихъ заботъ и не терзающихъ и не казняющихъ, „смиренной вольности дѣтей“, у которыхъ женщина „привыкла къ рѣзвой волѣ“ и безнаказанно пользуется ею.

И въ моментъ окончанія „Цыганъ“ Пушкинъ какъ бы порѣшилъ, что счастіе среди сыновъ природы, о которомъ говорили Руссо и его последователи, невозможно уже для одержимаго страстями образованнаго человѣка, привыкшаго къ „невольѣ душныхъ городовъ“ и настолько сжившагося съ нею, что, ища свободы для себя, онъ отказывается въ ней другимъ, ограничивающимъ чѣмъ-нибудь его эгоизмъ:

... счастья нѣть и между вами,  
Природы бѣдные сыны!  
И подъ издранными шатрами

<sup>1)</sup> Ср. I, 305:

Судьба людей повсюду та же:  
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ  
Иль просвѣщеніе, иль тиранъ.

<sup>2)</sup> II, 351.

<sup>3)</sup> Поживъ съ нимъ, Земфира говоритъ: „Мнѣ скучно, сердце воли просятъ...“ (II, 356). Старикъ, на вопросъ Алеко о причинѣ оставленія безнаказанною измѣнѣ матери Земфиры, отвѣчаетъ (II, 359): „Къ чему? Вольнѣе птицы младость“ и т. д., а послѣ убийства Земфиры говоритъ Алеко: „Оставь насть, гордый человѣкъ“ (II, 363).

Живутъ мучительные сны....  
И вслоду страсти роковыя,  
И отъ судебъ защиты нѣть <sup>1).</sup>

Очевидно, такой выводъ заключалъ мѣткую отповѣдь прошовѣдниковамъ бѣгства въ приволье простой жизни сыновъ природы, и въ значительной степени подрывалъ иллюзіи о счастіи среди этихъ сыновъ. Но все-таки Пушкинъ не отказался вполнѣ отъ одной изъ излюбленѣйшихъ и симпатичнѣйшихъ грезъ и прежнихъ временъ и XVIII вѣка, впервые отчетливо въ новой литературѣ выраженной Руссо и продолженной и продолжаемой другими вплоть до нашихъ дней.

И постепенно эта мечта о счастіи въ возможной близости къ природѣ и въ жизни, отличной отъ жизни испорченного общества, созрѣвала все болѣе и болѣе въ умѣ Пушкина и принимала формы, уже не столь эксцентричныя, какъ въ „Цыганахъ“, а болѣе согласныя съ обычными путями цивилизованной жизни, какъ бы въ соотвѣтствіе тому, что за цыганами

Не пойдетъ ужъ ихъ <sup>2)</sup> поэтъ.  
Онъ бродящіе ночлеги  
И проказы старины  
Позабыть для сельской нѣги  
И домашней типины <sup>3).</sup>

Такая уже болѣе зрѣлая форма доброй мечты, мысль о томъ, что лучшее и истинное счастіе возможно и въ цивилизованномъ обществѣ, но лишь въ жизни, близкой къ природѣ и народу, отчетливо уже выступаетъ въ произведеніи, первыя главы котораго были написаны одновременно съ „Цыганами“, именно въ „Евгениѣ Онѣгинѣ“.

Въ этомъ романѣ на ряду съ героемъ скучи Онѣгинъ рельефно выдвигается другая, положительная, фигура Татьяны, которую Достоевскій справедливо назвалъ истинною героинею произведенія. Татьяна менѣе оторвана отъ родной почвы, чѣмъ Онѣгинъ, и болѣе близка къ русской жизни въ силу своего воспитанія и любви къ народу.

<sup>1)</sup> II, 364.

<sup>2)</sup> Въ подлинникѣ стоитъ: вашъ.

<sup>3)</sup> II, 97—98.

Правда, пытаются теперь доказать, что „полурусскою была въ значительной степени и Татьяна, воспитанная на западной литературѣ, живущая ея идеалами“<sup>1)</sup>. Но, по словамъ поэта, Татьяна была совсѣмъ „русская душой“. Тѣмъ не менѣе, не лишено, конечно, значенія, что

Она по-руски плохо знала,  
Журналовъ нашихъ не читала  
И выражалася съ трудомъ  
На языкѣ своеемъ родномъ,  
Итакъ, писала по-французски<sup>2)</sup>.

Несомнѣнно также, что Татьяна—героиня отчасти во вкусѣ западно-европейского романа второй половины XVIII и начала XIX в. Къ природнымъ, не составляющимъ однако національной особенности и развитымъ отчасти благодаря чтенію западныхъ романовъ, чертамъ ея характера относилось то, что она

. . . . . въ милой простотѣ  
. . . . . не вѣдаетъ обмана  
И вѣритъ избранной мечтѣ.  
. . . . . любить безъ искусства,  
Послушная влеченью чувства,  
. . . . . такъ довѣрчива она,  
. . . . . отъ небесъ одарена  
Воображеніемъ мягкимъ,  
Умомъ и волею живой,  
И своенравной головой,  
И сердцемъ пламеннымъ и нѣжнымъ<sup>3)</sup>.

Въ ея письмѣ къ Онѣгину „сердце говорить, все наружу, все на волѣ“<sup>4)</sup>. Эта мечтательная и нѣжная натура могла любить грустный дискъ луны, помимо моды романтическихъ героинь. Но это дитя природы было полно и мечтаній, навѣянныхъ чужими литературами. Такъ, когда Татьяна полюбила Онѣгина,

<sup>1)</sup> Сиповскій, Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій—Русская Старина 1899, № 5, стр. 329.

<sup>2)</sup> III, 292 (Е. О., III, xxvi).

<sup>3)</sup> III, 292 (Е. О., III, xxiv); см. еще III, 274 (Е. О., II, xxvii):  
Задумчивость, ея подруга  
Отъ самыхъ колыбельныхъ дней...

<sup>4)</sup> III, 390 (Е. О., VIII, xx).

Счастливой силою мечтанья  
 Одушевленные создания,  
 Любовникъ Юзін Вольмаръ.  
 Малекъ-Адель и де-Линаръ,  
 И Вертеръ, мученикъ мятежный,  
 И безподобный Грандисонъ,  
 Который намъ наводить сонъ;  
 Всѣ для мечтательницы нѣжной  
 Въ единый образъ облеклись,  
 Въ одномъ Онѣгинѣ слились<sup>1)</sup>).

Татьяна воображала и самое себя

..... героиней  
 Своихъ возлюбленныхъ творцовъ,  
 Клариссой, Юліей, Дельфиной<sup>2)</sup>).

Недаромъ

Она влюблялась въ обманы  
 И Ричардсона и Руссо<sup>3)</sup>.

Ясно отсюда, что воображеніе Татьяны было наполнено западными романами,—Ричардсона, Руссо, Гёте, M-me de Staël, M-me Cottin, баронессы Крюднеръ.

Татьяна въ этомъ уподоблялась образованнымъ русскимъ девушкамъ того времени<sup>4)</sup>, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже въ дѣствѣ

..... страшные разсказы  
 Зимою, въ темнотѣ ночей,  
 Плѣняли ... сердце ей<sup>5)</sup>,

а потомъ также

Татьяна вѣрила преданьямъ  
 Простонародной старины<sup>6)</sup>,

<sup>1)</sup> III, 284 (Евг. Он., III, ix).

<sup>2)</sup> III, Iв., строфа X.

<sup>3)</sup> III, 275 (Евг. Он., II, xxix).

<sup>4)</sup> См. выше о сестрѣ Пушкина „Полина въ „Рославлевѣ“ (около 1811 г.) „Руссо знала наизусть“ (IV, 111). Ср. о книжнѣ Полинѣ въ „Евгении Онѣгинѣ“ II, xxx (III, 275).

<sup>5)</sup> III, 274 (Е. О., II, xxvii).

<sup>6)</sup> III, 324 (Е. О., V, v).

и изъ выбора ея членія еще не слѣдуетъ, чтобы она не была вполнѣ „русская“ своей „душой“, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ мечтахъ, которыя рѣшили судьбу ея души.

Если приглядимся къ основнымъ воззрѣніямъ Татьяны, то увидимъ, что они находились въ связи не только съ此刻ъ указанными мечтами и некоторыми основными идеями романовъ Ричардсона, Руссо, Гете и др., но преимущественно—съ средой, въ которой выросла Татьяна. Она

Волненье свѣта ненавидить;  
Ей душно здѣсь ... она мечтой  
Стремится къ жизни полевой,  
*Въ деревню, къ бѣднымъ поселенамъ,*  
Въ уединенный уголокъ,  
Гдѣ льется свѣтлый ручеекъ,  
Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ,  
И въ сумракъ липовыхъ аллей,  
Туда, гдѣ онъ являлся ей<sup>1)</sup>.

Татьяна въ годы зрѣлости была не только „мечтательницей милой“<sup>2)</sup> и разсуждала не только въ духѣ идеальныхъ и сентиментальныхъ героинь западно-европейскихъ романовъ, любительницъ идиллий, когда говорила, уѣзжая изъ родной деревни:

Прости, веселая природа!  
Мѣняю милый, тихій свѣтъ  
На шумъ блестательныхъ суетъ<sup>3)</sup>;

или въ Петербургѣ:

. . . . . Сейчасъ отдать я рада  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ,  
За полку книгъ, за дикий садъ,  
За наше бѣдное жилище...

<sup>1)</sup> III, 379 (Е. О., VII, 1ш).

<sup>2)</sup> III, 360 (Е. О., VII, 1).

<sup>3)</sup> III, 369 (Е. О., VII, xxviii).

Да за смиренное кладбище,  
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей  
Надъ бѣдной наяною моей<sup>1</sup>).

Чертою воспитанія и вмѣстѣ народности Татьяны слѣдуетъ признать, что

Все тихо, просто было въ ней<sup>2</sup>).

Вліяніе русскихъ нравовъ сказалось и въ знаменитомъ отвѣтѣ ея Онѣгину:

Я васъ люблю (къ чему лукавить?),  
Но я другому отдана;  
Я буду вѣкъ ему вѣрна<sup>3</sup>).

Въ этихъ словахъ выступаетъ съ рѣшительностію нравственное чувство, рѣзко отличающее Татьяну отъ Руссовской Юліи. Julie d'Etange была приведена къ религії своими несчастіями и искала убѣжища въ Богѣ, чтобы найти у Него то милосердіе, въ которомъ отказывали ей люди. Даже въ томъ самомъ письмѣ Татьяны къ Онѣгину, въ которомъ указываютъ, не совсѣмъ, впрочемъ, убѣдительно<sup>4</sup>), совпаденія съ выраженіями Юліи Вольмаръ, находимъ такія коренные черты русскаго склада, какъ вѣру въ суженаго:

Я знаю, ты мнѣ посланъ Богомъ,  
До гроба ты хранитель мой...,

или русскую религіозность:

Ты говорилъ со мной въ тиши,  
Когда я бѣднымъ помогала,  
Или молитвой услаждала  
Тоску волнуемой души<sup>5</sup>).

Вотъ эти-то природныя и чисто народныя черты характера Татьяны, въ соединеніи съ ея милою наивностію и свѣжестію ея нравственной натуры, и сообщили ея образу особую прелестъ въ фантазіи

<sup>1</sup>) III, 403 (Е. О., VIII, xlvi). Любовь къ сельскому кладбищу (ср. II, 188—189: „Когда за городомъ задумчивъ я брожу...“ 1836 г.) получила отчетливую форму въ душѣ нашего поэта впервые не подъ вліяніемъ ли извѣстной элегіи Грея, переведенной Жуковскимъ?

<sup>2</sup>) III, 387 (Е. О., VIII, xiv).

<sup>3</sup>) III, 403 (Е. О., VIII, xlvi).

<sup>4</sup>) Г. Сивовскій подбираетъ аналогіи къ выраженіямъ въ письмѣ Татьяны изъ различныхъ мѣстъ „Новой Элоизы“.

<sup>5</sup>) III, 295 (Е. О., III, xxxi).

поэта. На основаніі словъ самого Пушкина<sup>1</sup>), въ Татьянѣ надо признать его идеаль, правильнѣе—одно изъ выраженій его идеала. Самъ поэтъ выразился въ одномъ изъ разговоровъ, что Онѣгинъ не стоитъ Татьяны.

Какъ понимать это, и почему Татьяна выше Онѣгина? Татьяна какъ будто уступаетъ послѣднему въ широтѣ образованія и въ знаніи свѣта и людей, но она—въ большей степени русская душой, т. е. сердцемъ, умомъ и волею. Свою тонкою женской душой она лучше

<sup>1)</sup> III, 404 (VIII, 1):

Прости жъ...  
И ты, мой вѣрный идеалъ,

и 405 (VIII, 1):

А ты, съ которой образованъ  
Татьяны милый идеалъ.

Ср. III, 258 (Е. О., I, LVII):

Такъ я, безпечень, воспѣвалъ  
И дѣву горь, мой идеалъ...

и III, 383 (Е. О., VIII, 5):

И вотъ она (муза) въ саду моемъ  
Явилась барышней уѣздной  
Съ печальной думою въ очахъ,  
Съ французской книжкою въ рукахъ.

Терминъ „уѣздная барышня“ см. еще III, 312 (Е. О., IV, xxviii). Объ „уѣздныхъ барышняхъ“, типъ которыхъ такъ нравился Пушкину, имѣются интересныя указанія въ его произведеніяхъ. См. въ особенности IV, 76—77 (...что за прелестъ эти уѣздныя барышни!... главное изъ ихъ существенныхъ достоинствъ: особенность характера, самобытность (individualit ), безъ чего, по мнѣнію Жан-Поля, не существуетъ и человѣческаго величія) и „Отрывки изъ романа въ письмахъ“ (1831 г.). Въ „Письмахъ Лизѣ“ читаемъ: „Вообще здѣсь болѣе занимаются словесностью, чѣмъ въ Петербургѣ... Теперь я понимаю, почему Вяземскій и Пушкинъ такъ любятъ уѣздныхъ барышенъ; онѣ—ихъ истинная публика“ (IV, 353). Ср. тамъ же въ концѣ X-го письма (о Лизѣ): „...часъ отъ часу болѣе въ нее влюбляюсь. Въ ней много увлекательнаго. Эта тихая, благородная стройность въ обращеніи—главная прелестъ высшаго петербургскаго общества—а между тѣмъ, что-то женское, снисходительное, добродорное. Въ ея сужденіяхъ нѣть ничего рѣзкаго, жестокаго. Она не морщится передъ впечатлѣніями... Она слушаетъ и понимаетъ васъ. Рѣдкое достоинство въ нашихъ женщинахъ...“ Тамъ же далѣе о другой „милой дѣвушкѣ“: „Эта дѣвушка, выросшая подъ яблонями, воспитанная между скирдами, природой и лялюшками, гораздо милѣе нашихъ однообразныхъ красавицъ, которыя до свадьбы придерживаются мнѣнія маменекъ, а послѣ свадьбы мнѣнія мужьевъ“ (IV, 359). См. еще въ IV-мъ планѣ „Русскаго Пелама“ (1835 г.): „балы, скуча большого свѣта, происходящая отъ бранчивости женщинъ“. Конечно, далеко не всѣ и изъ „уѣздныхъ“ барышенъ были одобряемы Пушкинымъ. См., напр., характеристику Псковскихъ барышенъ—III, 308.

Онѣгина прочувствовала и поняла высшую правду жизни и написала лучше Онѣгина выходъ изъ удущья испорченного свѣта. Она пока не бѣжитъ изъ послѣдняго и остается на мѣстѣ, но вся ея душа—не въ „омутѣ“ пустой великосвѣтской жизни и въ скитальчествахъ, между проч.—и среди прекрасной, чарующей красотами, природы, а въ памятованіи о лучшемъ, чтѣ есть въ жизни: ея воображеніе наполняетъ мысль о житьѣ не остывшимъ сердцемъ и дѣятельнымъ умомъ въ деревнѣ, хотя бы и неприглядной,<sup>1)</sup> среди природы и „бѣдныхъ поселянъ“, которыхъ, какъ видно изъ этого выраженія, Татьяна очень любить. Одинъ изъ самыхъ дорогихъ образовъ, согрѣвающихъ ея память о прошломъ, принадлежитъ тому же деревенскому миру: это образъ ея „блѣдной няни“. Упоминая о послѣдней, не думалъ ли Пушкинъ о своей Аринѣ Родіоновнѣ, которая такъ сблизила его съ народомъ и о которой онъ тепло говорилъ уже въ послѣдній годъ своего пребыванія въ лицѣ<sup>2)</sup>? Сколько далекимъ отъ Татьяны во всемъ этомъ оказался Онѣгинъ: пребываніе въ родной деревнѣ не дало ничего ни его уму, ни сердцу, а въ противномъ случаѣ, сколько могъ бы онъ сдѣлать тамъ! Въ Татьянѣ Пушкина можно, кажется, на основаніи сказанного усматривать уже вполнѣ русское видоизмѣненіе и воплощеніе грэзъ Руссо и его послѣдователей о жизни вблизи природы; эти грэзы нашли высшее и разумное осмысленіе и вполнѣ дѣйствительное примѣненіе благодаря тому, что слились со старорусскимъ идеаломъ жизни въ простотѣ, но богатствѣ духовнаго содержанія и со старо-русскимъ общеніемъ высшаго класса съ народомъ, которое держалось до печальнаго разлада, являющагося

<sup>1)</sup> Ср. признаніе самого Пушкина въ „Путешествіи Евгения Онѣгина“: Бычковъ, Вновь открытые строфы романа „Евгений Онѣгинъ“, Р. Старина 1888, № 1, стр. 250: „Иныя нужны мнѣ картины“ и проч. (III, 408—409).

<sup>2)</sup> Соч. II., I, 209—210 („Сонъ“, 1816):

Ахъ, умолчу лъ о мамушкѣ моей.

По разсказамъ современника, Пушкинъ „какъ же еще любилъ-то Арину Родіоновну... И онъ все съ ней, коли дома, чуть встанетъ утромъ, ужъ и бѣжитъ ее глядѣть: „здрава ли, мама?“—онъ ее все мама называлъ“. На ея возраженіе: „какалъ я тебѣ матъ“, отвѣчалъ: „Разумѣется, ты мнѣ матъ: не то матъ, что родила, а то, что своимъ молокомъ вскормила“. К. Тимофеева „Могила Пушкина и село Михайловское“ —Русская Старина 1899, № 5, стр. 271. Ср. III, 315 (Е. О., IV, xxxv):

Но я плоды моихъ мечтаній  
И гармоническихъ затѣй  
Читаю только старой нянѣ,  
Подругѣ юности моей.

и въ жизни Онѣгина. Татьяна жила все еще мечтою, но то была прекраснѣйшая мечта, между проч.—и по близости къ осуществленію.

Въ образѣ Татьяны дана была, такимъ образомъ, наилучшая поправка указаннымъ грезамъ, а въ ея любви къ народу и ея самоотверженномъ подчиненіи себя долгу—лучшая критика героевъ скуки и тоски, послѣдне формациою которыхъ подъ перомъ Пушкина явился Онѣгинъ,—новое, болѣе совершенное видоизмѣненіе Кавказскаго пльника и Алеко.

Повторяя и постепенно углубляя изображеніе „современного человѣка“, Пушкинъ достигъ отчетливаго уясненія его душевнаго склада и причинъ его тоски, какъ десятью годами позднѣе—Лермонтовъ, также много разъ принимавшійся за воспроизведеніе этого типа. Въ Онѣгинѣ уже ясны причины, вызывавшія такое замѣчательное и важное явленіе нашей внутренней исторіи въ XIX в.

Онѣгинъ—какъ бы двусоставная личность: онъ гораздо болѣе Татьяны примыкаетъ къ западной культурѣ и въ то же время—жизнѣ не глубоко образованнаго русскаго человѣка XIX вѣка, воспитавшагося исключительно въ односторонне воспринятыхъ завѣтахъ той культуры, столь много расходящейся со складомъ нашей общественной и нравственной жизни<sup>1)</sup>). Русскій по происхожденію, Онѣгинъ оказывается въ слабой степени таковыи по своему нравственному складу, возврѣнію и настроенію. Онъ—лишь одна изъ крупныхъ русскихъ разновидностей типа, впервые ярко обрисованнаго Гете въ періодѣ нѣмецкаго *Sturm und Drang*, повторившагося въ соотвѣтственный періодѣ нашей жизни въ силу аналогіи съ Западомъ въ развитіи нашего общества и благодаря вліянію западныхъ литературъ. Однимъ изъ представителей этого типа въ нашей жизни первыхъ десятилѣтій XIX вѣка былъ князь П. А. Вяземскій, на ряду съ другими послужившій, быть можетъ, отчасти прототипомъ Пушкинскаго Онѣгина<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Шевыревъ не безъ основанія усматривалъ въ Онѣгинѣ „ходячій типъ западнаго вліянія на всѣхъ нашихъ свѣтскихъ людяхъ“.

<sup>2)</sup> VII, 81 (письмо къ кн. П. А. Вяземскому 1824 г.): „Съ другой стороны деньги. Онѣгинъ, святая заповѣдь Корана—вообще мой эгоизмъ“. Въ „Е. О.“, I, xxv (Ш, 244) читаемъ:

Второй Каверинъ, мой Евгений...

О Каверинѣ см. данные у Л. Н. Майкова, Соч. II., I, прим., стр. 358 и слѣд. Объ А. Н. Раевскомъ см. Я. Гроота—Первенцы Лицея и его предаванія въ „Складчинѣ“, Спб. 1874, стр. 373, и въ ст. Сиповскаго, Р. Стар. 1899, № 6, стр. 566—568. См. еще Зап. Смирновой, I, 307: „Ты слишкомъ нравишься женщивамъ! восклик-

Воспитаніе Пушкинскаго Онѣгина было чуждо, повидимому, нравственныхъ устоевъ. Образованіе его не шло далѣе чтенія знатной русской молодежи въ началѣ нашего вѣка, когда

...всѣ учились понемногу,  
Чему нибудь и какъ нибудь <sup>1)</sup>).

Онѣгинъ не изучалъ тщательно исторіи и старыхъ писателей;

За то читаль Адама Смита,  
И былъ глубокій экономъ <sup>2)</sup>),

и выглядѣлъ „философомъ въ осьмнадцать лѣтъ“ <sup>3)</sup>). Его любимые авторы:

Юмъ, Робертсонъ, Руссо, Мабли,  
Баронъ д' Ольбахъ, Вольтеръ, Гельвецій,  
Локкъ, Фонтенель, Дидротъ, Парни,  
Гораций, Кикеронъ, Лукрецій <sup>4)</sup>...  
Когда жестокая хандра  
За нимъ гналася въ шумномъ свѣтѣ,  
Поймала, за воротъ взяла  
И въ темный уголъ заперла,  
Сталъ вновь читать онъ безъ разбора.  
Прочелъ онъ Гиббона, Руссо,  
Манзони, Гердера, Шамфора,  
Madame de Stael, Биша, Тассо,  
Прочелъ скептическаго Беля,  
Прочелъ творенія Фонтенеля,  
Прочелъ изъ нашихъ кой-кого,  
Не отвергая ничего <sup>5)</sup>).

Изъ подбора писателей въ библіотекѣ Онѣгина уже видно, куда направлялась его мысль, работавшая во время чтенія, потому что  
Хранили многія страницы

нуль Пушкинъ,—ты смотришь прекраснымъ и печальнымъ юношемъ, ты можешь быть и есть мой Онѣгинъ, хотя задумалъ я его, когда ты еще тайкомъ читалъ Селику“.

<sup>1)</sup> III, 236 („Е. О.“, I, v).

<sup>2)</sup> III, 237 („Е. О.“, I, vп).

<sup>3)</sup> III, 243 („Е. О.“, I, xxп).

<sup>4)</sup> III, 367 („Е. О.“, VII, къ xxп).

<sup>5)</sup> III, 398 („Е. О.“, VIII, xxxiv—xxxv).

Отмѣтку рѣзкую ногтей...  
На ихъ поляхъ....  
Черты его карандаша:  
Вездѣ Онѣгина душа  
Себя невольно выражаетъ  
То краткимъ словомъ, то крестомъ,  
То вопросительнымъ крючкомъ<sup>1)</sup>.

Но въ особенности настроение Онѣгина сказалось въ обстановкѣ его кабинета, „келии модной<sup>2)</sup>“, и въ предпочтительномъ вниманіи, какое онъ удѣлялъ некоторымъ современнымъ поэтамъ:

Хотя . . . . . Евгений  
Издавна чтеніе разлюбилъ;  
Однакожъ нѣсколько твореній  
Онъ изъ опалы исключилъ;  
Пѣвца Глаура и Жуана,  
Да съ нимъ еще два-три романа,  
Въ которыхъ отразился вѣкъ,  
И современный человѣкъ  
Изображенъ довольно вѣрно  
Съ его безнравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданной безмѣрно,  
Съ его озлобленнымъ умомъ,  
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ<sup>3).</sup>

<sup>1)</sup> III, 367 („Е. О.“, VII, xxii).

<sup>2)</sup> III, 365 („Е. О.“, VII, xxii):

...столъ съ померкшою лампадой,  
И груда книгъ, и подъ окномъ  
Кровать, покрытая ковромъ,  
И видъ въ окно сквозь сумракъ лунный,  
И.... блѣдный полусвѣтъ,  
И портретъ Байрона портретъ,  
И столбикъ съ куклою чугунной  
Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,  
Съ руками сжатыми крестомъ.

Байронъ и Наполеонъ I—вотъ чьи изображенія нашли мѣсто въ кабинетѣ Онѣгина согласно съ романтическими идеалами.

<sup>3)</sup> III, 366—367 (VII, xxii). См. еще III, 282:

Въ постель лежа, нашъ Евгений  
Глазами Байрона читалъ...

Другъ Пушкина, князь П. А. Вяземскій, назвалъ<sup>1)</sup> намъ одинъ изъ этихъ, не поименованныхъ поэтомъ, любимыхъ романовъ Онѣгина: именно—романъ „Адольфъ“ того самого Бенжаменъ Констана, о которомъ любилъ разсуждать Евгений. Судя по словамъ Вяземскаго, „Адольфъ“ нравился также Пушкину, и пріятели часто говорили между собой „о превосходствѣ творенія сего“.

Приглядѣвшись повнимательнѣе къ роману Бенжаменъ Констана, нельзя не замѣтить, что преимущественно къ его герою подходитъ характеристика „современного человѣка“, представленная въ только что приведенной выдержкѣ изъ романа Пушкина, а равно и герой послѣдняго, Онѣгина, довольно близокъ къ тому современному человѣку<sup>3)</sup>, какого изобразилъ названный французскій романистъ, т. е. къ Адольфу. Онѣгинъ не сколокъ съ Донъ-Жуана или какого-нибудь другого Байроновскаго героя, напр., Чайлдъ-Гарольда, съ которыми ему общи лишь нѣкоторыя отдѣльныя, лишь всколызь отмѣченныя нашимъ поэтомъ, черты, напр., бурная юность, отданная страстиамъ<sup>4)</sup>. Онъ напоминаетъ не менѣе существенными чертами и другихъ западныхъ героевъ тоски и скорби, а въ особенности Адольфа, съ которымъ у него наиболѣе

<sup>1)</sup> Въ предисловіи къ изданному имъ въ 1831 г. русскому переводу романа „Адольфъ“. Новое изданіе русскаго перевода, принадлежащаго Львовичу—Кострицѣ выпущено Ледерле (Моя библиотека, №№ 123 и 124, Спб. 1894). Объ этомъ романѣ см. ст. Ch. Glauser—a: Benjamin Constant's „Adolph“—in Zeitschrift fü französische Sprache und Litteratur, XVI, Heft 5 (1894).

<sup>2)</sup> Онѣгинъ могъ

Вести и мужественный споръ  
О Байронѣ и Бенжаменѣ. III, 236.

<sup>3)</sup> По словамъ кн. Вяземскаго, „характеръ „Адольфа“ вѣрный отпечатокъ времени своего. Онъ ирототипъ Чайлдъ-Гарольда и многочисленныхъ его потомковъ. Въ этомъ отношеніи твореніе сие не только романъ сегодняшній (roman du jour), подобно новѣйшимъ свѣтскимъ, или гостинымъ романамъ, оно еще болѣе романъ вѣка сего. Всѣ свойства Адольфа, хорошия и худыя отливки совершенно современныя“. Пушкинъ также признавалъ Адольфа идеаломъ женщинъ своего времени (см. IV, 351). Вторымъ изъ романовъ, „въ которыхъ отразился вѣкъ и современный человѣкъ“, могъ быть Мельмотъ Maturin—a, упомянутый въ „Онѣгинѣ“ (III, xii—III, 286). Пушкинъ называлъ Мельмотомъ Тепликова; см. П. Бартенева: „Пушкинъ въ южной Россіи“—Русскій Архивъ 1866, 1148—1149.

<sup>4)</sup> Ш, 304 (IV, ix):

Онъ въ первой юности своей  
Былъ жертвой бурныхъ заблужденій  
И необузданыхъ страстей.

О Ловеласничествѣ Онѣгина см. въ I-й и IV-й главахъ романа.

сродства. Разумѣемъ сходство не столько во виѣшней судьбѣ и, слѣд., во виѣшней исторіи, сколько въ душевномъ складѣ, характерѣ и идеяхъ.

Онѣгинъ—не мѣщанинъ, какъ Saint-Preux и Вертеръ, а аристократъ, какъ Рене и Адольфъ. По своему душевному складу однако Онѣгинъ ужѣ Вертера, котораго Пушкинъ мѣтко называлъ „мученикомъ мяteжнымъ“<sup>1)</sup> и который можетъ быть признанъ личностью поэтическою, душою широкою, человѣкомъ геніального, не могущимъ прымкнуться ни къ одному изъ требованій общества. Хотя Онѣгинъ и скептикъ, какъ Вертеръ, и именуется, „философомъ“, но онъ не философъ на нѣмецкій ладъ, какъ Вертеръ, чуждъ лихорадочнаго пыла послѣдняго и его экзальтациіи и не такъ отчетливо выражаетъ любовь къ природѣ, какъ Saint-Preux и Вертеръ. Онѣгинъ не проповѣдуетъ такъ пламенно вражду къ цивилизаціи, какъ Вертеръ и Алеко, и чуждъ реторизма Рене, не противополагая себя міру въ антитезахъ. Въ то время, какъ Вертеръ мечтає о природѣ и любви, а Рене также полонъ глубокаго христіанскаго чувства, порывовъ и мечты, Онѣгинъ какъ будто равнодушнѣе своихъ предшественниковъ. Онъ не знаетъ той глубокой печали, какая снѣдаетъ душу Рене, не вѣдаетъ и грандиозныхъ помысловъ о безсиліи личностей и націй Рене, который безучастно окидываетъ взоромъ всѣ реальности жизни, какъ познавшій безконечное. Онѣгинъ не мечтатель-христіанинъ и не мистикъ, какъ герой Шатобриана. Онъ напоминаетъ послѣдняго лишь широтою образованія, изяществомъ, непостоянствомъ стремленій, или, лучше сказать, отсутствиемъ глубокихъ и постоянныхъ влечений, и тѣмъ, что не бѣжитъ надолго отъ людей, а остается среди нихъ. Онъ ищетъ развлеченія въ уединеніи деревни, какъ Вертеръ, и въ путешествіяхъ, какъ Рене и Чайльдъ-Гарольдъ, но въ путешествіемъ прибѣгаєтъ и Адольфъ. Вообще же, Адольфъ и Онѣгинъ тоскуютъ болѣе или менѣе безучастно и сохраняютъ наиболѣе связи съ образованнымъ обществомъ, и Онѣгинъ въ этомъ отношеніи отличается отъ Кавказскаго плѣнника и Алеко.

Повторяю, Адольфъ и Онѣгинъ—личности, наиболѣе приближающіяся къ общему уровню, и авторы ихъ обнаружили наименѣе склонности къ идеализаціи ихъ, хотя также выдѣляютъ ихъ изъ окружающего ихъ общества.

<sup>1)</sup> III, 284 (Е. О., III, ix).

Значительное внутреннее родство Адольфа и Онъгина проявляется въ цѣломъ рядѣ общихъ имъ обоимъ возврѣній, настроеній и положеній, которыя мы и выдѣлимъ изъ исторіи Адольфа, отмѣтивъ подъ чертою параллели въ романѣ обѣ Онъгинѣ. Адольфъ—человѣкъ развитого ума, какъ и Онъгинъ; онъ также „читалъ много, но всегда не послѣдовательно“<sup>1)</sup>. Онъ рано (съ 17 лѣтъ)<sup>2)</sup> исполнился грусти и меланхоліи<sup>3)</sup>, поддавшись смутнымъ мечтаніямъ<sup>4)</sup>. Онъ послѣдовательно проникался „индифферентизмомъ“ ко всѣмъ предметамъ, поочередно привлекавшимъ его любопытство. Онъ „чувствовалъ себя легко только одинокимъ“<sup>5)</sup>, прогуливался въ одиночку. Адольфъ возымѣлъ „не преодолимое отвращеніе ко всѣмъ ходячимъ положеніямъ и ко всѣмъ догматическимъ формуламъ“<sup>6)</sup>. Его „выводила изъ терпѣнія крѣпкая, неповоротливо—тяжелая убѣжденность“; онъ „остерегался этихъ общихъ аксиомъ, не допускающихъ никакого ограниченія, не дающихъ никакой уступки“<sup>7)</sup>, и питалъ интересъ къ немногимъ

<sup>1)</sup> О чтеніи Онъгина см. выше. См. еще III, 251 (Е. О., I, xliv): „Читалъ, читалъ, а все безъ толку“. Адольфъ много читалъ, испытывая душевныя страданія въ горѣ любви, какъ и Онъгинъ.

<sup>2)</sup> Онъгинъ—названъ „философомъ въ осьминадцать лѣтъ“.

<sup>3)</sup> Первоначально Онъгинъ испытывалъ „тоскующую лѣнъ“ (III, 237—Е. О., I, viii). Затѣмъ (ib., 249—250, xxxviii—xxxviii):

....рано чувства въ немъ остали;  
Ему наскучилъ свѣта шумъ...  
..... русская хандра  
Имъ овладѣла понемногу...  
...къ жизни вовсе охладѣлъ...

<sup>4)</sup> III, 351 (Е. О., I, xlvi):

Мнѣ нравились его черты,  
Мечтамъ невольная преданность...

III, 252:

Открылъ я жизни бѣдной кладъ.

<sup>5)</sup> III, 360 (Е. О., VII, v):

Отшелѣникъ праздный и унылый.

<sup>6)</sup> III, 252 (къ Е. О., I, xlvi):

И сталъ взирать его очами...  
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,  
Въ замѣну вѣры и надежды  
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

<sup>7)</sup> III, 268 (Е. О., II, къ xvi):

Въ прогулкѣ ихъ уединенной  
О чемъ ни заводили споръ...  
..... Евгений  
Немилосердно поражалъ.

людямъ, скучая съ большинствомъ<sup>1)</sup>). Но своимъ равнодушiemъ и въ другихъ слuchаяхъ шутками, въ которыхъ „умъ, приведенный въ движение, увлекалъ за всякия границы“, Адольфъ „пріобрѣлъ широкую репутацію легкомысленного, насыщеннаго и злого человѣка“, при чмъ его „горькія слова принимались, какъ доказательства души, пропитанной ненавистью, шутки—какъ посагательство на все наиболѣе священное“<sup>2)</sup>; тогда онъ оказался въ числѣ тѣхъ, которые „замыкаютъ въ самихъ себѣ свое тайное разномысліе, замыкаютъ въ большей части смѣшныхъ сторонъ зачатокъ пороковъ, перестаютъ смыться, потому что презрѣніе смыняетъ насмѣшку, а презрѣніе—молчаливо“. Адольфъ „былъ очень молчаливъ и казался печальнымъ“<sup>3)</sup>. Въ искусственномъ, отшлифованномъ обществѣ, окружавшемъ его, „возникло неопределѣленное беспокойство по поводу его характера. Не могли сослаться ни на одинъ предосудительный поступокъ; не могли

<sup>1)</sup> III, 267 (Е. О., II, xiv):

Хоть онъ людей, конечно, зналъ  
И вообще ихъ презиралъ;  
Но (правиль нѣть безъ исключеній)  
Иныхъ онъ очень отличалъ.

Ср. VІІ, 95: „Онѣгинъ нелюдимъ для деревенскихъ сосѣдей. Какъ полагаемъ, причиной тому то, что въ глуши, въ деревнѣ все ему скучно, и что блескъ одинъ можетъ привлечь его“.

<sup>2)</sup> III, 251 (Е. О., I, xlvi):

...рѣзкій, охлажденный умъ.

— 252 (Е. О., I, xlvi):

..... Онѣгина языкъ  
Меня смущалъ, но я привыкъ  
Къ его явительному спору,  
И къ шуткѣ, съ жечью пополамъ,  
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.

III 416.

...легкомысленное мнѣніе  
О всемъ... полное презрѣніе  
Ко всѣмъ.

<sup>3)</sup> III, 250 (Е. О., I, xxxviii): угрюмый, томный.

— 252 (Е. О., I, xlvi): угрюмъ...

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ  
Въ душѣ не презирать людей.

Ср. III, 307 (IV, xv):

Всегда нахмуренъ, молчаливъ,

и 367 (VІІ, xxiv):

Чудакъ печальный и опасный.

даже оспаривать нѣкоторыхъ изъ нихъ, которыя, казалось, свидѣтельствовали о великодушіи и самоотверженії; но тѣмъ не менѣе объявили, что Адольфъ безнравственный и вѣроломный человѣкъ<sup>1)</sup>). Его характеръ называли „страннымъ и дикимъ“<sup>2)</sup>, и его „сердце, чужое всѣмъ интересамъ общества“<sup>3)</sup>, было „одиноко посреди людей и однакожъ страдало отъ одиночества, на которое оно обречено“. „Общество надѣдало“ Адольфу, „одиночество удручало“<sup>4)</sup>). „Въ домѣ своего отца Адольфъ воспринялъ по отношенію къ женщинамъ довольно безнравственную систему“, усвоилъ „теорію фатовства“<sup>5)</sup> и уже въ самомъ началѣ романа является пресыщеннымъ. Полюбивъ Элленору, Адольфъ пребывалъ въ бездѣятельности<sup>6)</sup>. Онъ казался „страннымъ и несчастнымъ“. „Онъ предвидѣть зло, прежде чѣмъ сдѣлаетъ его“, и „отступаетъ съ отчаяніемъ, совершивъ его“; „онъ всегда кончалъ жестокостью, начавъ съ самопожертвованія, и, такимъ образомъ, не оставилъ послѣ себя другихъ слѣдовъ, кромеъ своихъ проступковъ“. Сердечная, „прелестная Элленора была достойна лучшей доли и болѣе вѣрнаго сердца“. Она— „особа, подчиняющаяся своимъ чувствамъ, и душа ея, всегда дѣятельная, находить почти отдохновеніе въ самопожертвованіи“<sup>7)</sup>. Она также

<sup>1)</sup> III, 309 (Е. О., IV, xviii):

....людей недоброхотство  
Въ немъ не щадило ничего;

— 252 (I, xlvi):

.....ожидала злоба  
Слѣпой Фортуны и людей.

<sup>2)</sup> III, 251 (Е. О., I, xlvi): неподражательная странность;

— 384 (VIII, viii): корчить чудака;

— 404 (VIII, l): Мой спутникъ странный.

<sup>3)</sup> III, 384 (Е. О., VIII, viii):

Стонть безмолвный и туманный,  
Для всѣхъ онъ кажется чужимъ.

<sup>4)</sup> III, 251 (Е. О., I, xlvi): Томясь душевной пустотой...

<sup>5)</sup> См. III, 237—240 (Е. О., I, ix—x, xv) и 304—305 (IV, x).

<sup>6)</sup> III, 251 (Е. О., I, xlvi, xlvi):

...Трудъ упорный  
Ему быль тошень:  
.....преданный бездѣлью.

<sup>7)</sup> III, 291 (Е. О., III, xxv):

Татьяна любить не шутя,

весыма благочестива. Адольфъ однако желалъ свободы<sup>1)</sup>. „Оттолкнувъ отъ себя существо, которое его любило, онъ не сталъ менѣе беспокойнымъ, менѣе тревожнымъ и недовольнымъ; онъ не сдѣлалъ никакого употребленія изъ свободы, завоеванной имъ цѣною столькихъ горестей и столькихъ слезъ; и, ставши вполнѣ достойнымъ порицанія, онъ сталъ достойнымъ также и жалости“. „Адольфъ былъ наказанъ за свой характеръ своимъ-же характеромъ, не пошель ни по какой опредѣленной дорогѣ, не исполнилъ никакого полезнаго назначенія, расточилъ свои способности, слѣдуя только за своимъ капризомъ, безъ всякаго другаго побужденія, кромѣ раздраженія<sup>2)</sup>). Обстоятельства весыма ничтожныя вещи, характеръ все... Измѣняютъ положенія,— но переносятъ въ каждое мученіе, отъ котораго надѣялись освободиться<sup>3)</sup>; и такъ какъ не исправляются, занявъ другое мѣсто, то чувствуютъ

И предается безусловно  
Любви, какъ милое дитя.

— 342 (VI, III):

„Погибну, Таня говорить:  
Но гибель отъ него любезна.  
Я не роншу: зачѣмъ роптать?“ и проч.

<sup>1)</sup> „Ma douleur était morne et solitaire. Je n'espérais point mourir avec Ellénore; j'allais vivre sans elle, dans ce désert de monde que j'avais souhaité tant de fois de traverser indépendant. J'avais brisé ce coeur, compagnon du mien, qui avait persisté à se dévouer à moi dans sa tendresse infatigable“.

<sup>2)</sup> III, 386—387 (Е. О., VIII, XII):

Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ,  
До двадцати шести годовъ,  
Томясь въ бездѣствіи досуга,  
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣль,  
Ничѣмъ заняться не успѣхъ.

<sup>3)</sup> III, 257 (Е. О., I, LIX):

Хандра ждала его на стражѣ,  
И бѣгала за нимъ она,  
Какъ тѣнь, иль вѣрила жена.

— 387 (VIII, XVII):

Имъ овладѣло беспокойство,  
Охота къ перемѣнѣ мѣстъ  
(Весьма мучительное свойство,  
Немногихъ добровольный крестъ)...  
И путешествія ему,  
Какъ все на свѣтѣ, надоѣли...

только, что угрызенія совѣсти прибавились къ сожалѣніямъ и ошибки къ страданіямъ<sup>1)</sup>). Повѣсть объ Адольфѣ предана гласности авторомъ, „какъ довольно правдивая исторія ничтожества человѣческаго сердца. Если въ ней заключается поучительный урокъ, то онъ направляется падресу къ мужчинамъ: онъ доказываетъ, что этотъ умъ, которымъ столь гордятся, не служить ни въ тому, чтобы найти счастье, ни въ тому, чтобы дать его; онъ доказываетъ, что характеръ, твердость, вѣрность, доброта суть дары, о ниспосланиі которыхъ надо молить небо“.

Соответствія всѣмъ этимъ подробностямъ и выводамъ изъ романа объ Адольфѣ, какъ видно отчасти изъ составленныхъ нами примѣчаній, могутъ быть указаны и въ исторіи Онѣгина. Но сверхъ того открываются еще нѣкоторыя интересныя совпаденія во внѣшней исторіи обоихъ романическихъ героевъ. Такъ, и у Адольфа былъ своего рода Ленскій, молодой человѣкъ, съ которымъ онъ былъ довольно близокъ. „Послѣ долгихъ усилий, разсказываетъ Адольфъ, ему удалось заставить себя полюбить; и, какъ онъ не скрывалъ ни своихъ неудачъ, ни своихъ мукъ, онъ счелъ себя обязаннымъ сообщить мнѣ о своихъ успѣхахъ: ничто не можетъ сравняться съ его восторгами и избыткомъ его радости“<sup>2)</sup>. Была у Адольфа и дуэль. Письмо Онѣгина къ Татьянѣ напоминаетъ нѣкоторыми мыслями объясненіе Адольфа съ Элленорой<sup>3)</sup> и т. п.

Конечно, указывая всѣ эти сходства, мы не думаемъ утверждать рѣшительная и сознательная заимствованія Пушкинъмъ изъ любимаго имъ романа. Нашъ поэтъ, какъ истинно творческій геній, обработалъ вполнѣ самостоятельно общій сюжетъ, встрѣченный имъ у Гете, Шато-

<sup>1)</sup> III, 255 (Е. О., I, хІV):

Съ душою, полной сожалѣвій,  
И опершися на гранитъ,  
Стоялъ задумчиво Евгеній...

<sup>2)</sup> Ср. III, 270 (Е. О., II, хІХ):

..... пламенная младость  
Не можетъ ничего скрывать...

— 322 (IV, 1):

И тайна брачной постели,  
И сладостной любви вѣнокъ  
Его восторговъ ожидали.

<sup>3)</sup> См. III-ю главу „Адольфа“.

бріана, Бенжаменъ Констана, Байрона и другихъ западныхъ писателей и открывавшійся ему и въ русской жизни. Оттуда отличіе въ характерѣ и воззрѣніяхъ Онѣгина по сравненію съ западными родичами его и въ частности съ Адольфомъ<sup>1)</sup> и самостоятельная попытка Пушкина выяснить причину тоски „современного человѣка“<sup>2)</sup>, а также критическое отношение къ послѣднему, болѣе глубокое, чѣмъ у западныхъ поэтовъ романтической меланхоліи и тоски<sup>3)</sup>.

Не слѣдуетъ преувеличивать пустоту Онѣгина и считать ее лишь чѣмъ-то навѣяннымъ и наноснымъ. Уже Татьяна задавалась вопросомъ:

Чудакъ печальный и опасный,  
Созданье ада иль небесь,  
Сей ангель, сей надменный бѣсь,  
Что жъ онъ? Ужели подражанье,  
Ничтожный призракъ, иль еще  
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,  
Чужихъ причудъ истолкованье,  
Словъ модныхъ полный лексиконъ?...  
Ужъ не пародія ли онъ?  
Ужель загадку разрѣшила?  
Ужели слово найдено<sup>4)</sup>?

Но, по всей вѣроятности, этотъ вопросъ былъ рѣшенъ Татьяной отрицательно, потому что она продолжала любить Онѣгина до конца,

<sup>1)</sup> Такъ, напр., Онѣгинъ не былъ застѣнчивъ, какъ Адольфъ, не былъ столь слабохарактеренъ, столь чувствителенъ и, съ другой стороны, столь жестокъ; въ отличіе отъ Адольфа этотъ „повѣсъ“ (III, 235) былъ свободенъ отъ такихъ крайностей; выдѣляясь „холодной душой“, Онѣгинъ все-таки, по словамъ поэта, не лишенъ иногда благородства (см. III, 309—Е. О., IV, хviii); нѣть въ немъ и нерѣшительности; наоборотъ, въ немъ чувствуются уже особенности русскаго характера, выступившія еще ярче въ „Героѣ нашего времени“.

<sup>2)</sup> III, 250 (Е. О., I, xxxviii):

Недугъ, котораго *причину*  
Давно бы отыскать пора,  
Подобный англійскому сплину,  
Короче—русская хандра.

<sup>3)</sup> Такъ, у Шатобріана престарѣлый рѣг Souël преподаетъ Рене, выслушавъ исторію послѣднаго, наставленіе, въ которомъ называетъ этого героя тоски юнымъ мечтателемъ, жертвующимъ общественными обязанностями своимъ безполезнымъ мечтаніямъ; въ непріязненномъ созерцаніи свѣта еще нѣть геніальности. Но, тѣмъ не менѣе, Рене не отрѣшенъ въ повѣствованіи отъ своего ореола.

<sup>4)</sup> III, 367—368 (Е. О., VII, xxiv—xxv).

значить, находила въ немъ „неподражательную странность“, какъ и поэтъ, который взялъ на себя даже нѣкоторую защиту своего героя, весьма знаменательную:

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно  
Вы отзываетесь о немъ?  
За то ль, что мы неугоимоно  
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,  
Что пылкихъ душъ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ;  
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ;  
Что слишкомъ часто разговоры  
Принять мы рады за дѣла;  
Что глупость вѣтрена и зла;  
Что важнымъ людямъ—важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Намъ по плечу и не страшна<sup>1)</sup>?

Онѣгинъ заслуживалъ такой защиты, потому что отличался не-  
дюжиннымъ умомъ, и его хандра, подобная английскому сплину <sup>2)</sup>, но-  
сила уже не личный по преимуществу характеръ, какъ тоска Кав-  
казскаго плѣнника, а черты міровой скорби <sup>3)</sup>, и была обусловлена  
также печальною русскою дѣйствительностю. Невозможность приспосо-  
биться къ средѣ, характеризующая и Вертера <sup>4)</sup>, и Гѣтевскаго Тассо,

<sup>1)</sup> III, 385 (E. O, VIII, ix).

<sup>2)</sup> Сближение хавдры Онѣгина со спиномъ встрѣчается нѣсколько разъ въ въ поэмѣ.

<sup>\*)</sup> Разочарование Онѣгина относилось не только къ обществу людей (III, 225—Е. О., I, xlv—xlv), но и вообще къ „мира совершенству“ (III, 267—Е. О., II, xv). Въ бесѣдахъ Онѣгина съ Ленскимъ

.... . . . . . все рождало споры  
И къ размышленію влекло:  
Племенъ минувшихъ договоры,  
Плоды наукъ, добро и зло,  
И предразсудки вѣковые,  
И гроба тайны роковые,  
Судьба и жизнь, въ свою чреду,  
Все подвергалось ихъ суду.

<sup>4)</sup> Онѣгинъ страстно влюбляется лишь подъ конецъ новѣствованія, какъ Вертеръ, и притомъ въ замужнюю даму, но на отличие его отъ Вертера называеть Пушкинъ въ словахъ (III, 250—Е. О., I, xxxvii):

Онъ застрѣлиться, слава Богу,  
Попробовать не захотѣлъ.

и Фауста, и Оберманна, и Адольфа, и юного Пушкина, который въ личности Онѣгина передалъ иѣкоторыя возрѣнія и привычки своей юности<sup>1)</sup>, отличаетъ Онѣгина въ сильной степени и являлась наслѣдіемъ еще Екатерининского и непосредственно слѣдовавшаго времени<sup>2)</sup>. Тоска Онѣгина происходила не отъ бездѣлья его; наоборотъ, послѣднее было обусловлено его мрачнымъ міровоззрѣніемъ, а не только пресыщеніемъ. По мнѣнію Фагэ, истинное основаніе тоски, характеризующей наше время,—ненависть къ жизни. Во времена Онѣгина еще не было научнаго обоснованія этой ненависти, хотя Оберманъ уже извлекалъ съ холоднымъ разсчетомъ выводы изъ своей пессимистической философіи. Систематического пессимизма Шопенгауэра Онѣгинъ еще не зналъ. Но все-таки причина его тоски заключалась не въ бездѣльѣ „большихъ баръ“, а въ разбродѣ ихъ мысли и утратѣ

<sup>1)</sup> Поэтъ прибѣгалъ, между проч., къ формѣ представлениія Онѣгина своимъ знакомымъ и другомъ, вліянію которого поддавалъ отчасти въ силу сходства положенія (III, 252—Е. О., I, xliv):

Л былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;  
Страстей игру мы знали оба;  
Томила жизнь обоихъ васъ:  
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;  
Обоихъ ожидала злоба  
Слѣпой Фортуны и людей  
На самомъ утрѣ нашихъ дней и т. п.

Многое сближало Пушкина по выходѣ изъ лицея, да и потомъ, съ Онѣгінскимъ напр., хандра (см., напр., VII, 123), образъ деревенскаго житья (VII, 182), но поэтъ протестовалъ противъ полнаго отожествленія автора съ его героями (см. III, 258—Е. О., I, lvi):

Всегда я радъ замѣтить разность  
Междуд Онѣгінскимъ и мной,  
Чтобы насмѣшилъ читатель,  
Или какой-нибудь издатель  
Замысловатой клеветы,  
Сличая здѣсь мои черты,  
Не повторялъ потомъ безбожно,  
Что намаралъ я свой портретъ и проч.

<sup>2)</sup> Разумѣю не столько пресыщенныхъ жизнью баръ Екатерининского времени, о скучѣ которыхъ упоминала уже поэзія прошлаго вѣка (Державина), сколько истинно образованныхъ русскихъ, побывавшихъ заграницей и выносившихъ оттуда много благородной тоски, какъ Радищевъ; объ А. А. Петровѣ, другѣ Карамзина, см. въ ст. г. Сиповскаго, Р. Старина 1899 г., № 6, стр. 565. У него же см. и о Ліодорѣ, разочарованномъ героѣ одной изъ повѣстей Карамзина.

жизнерадостности. Указывали различные и весьма разнородные источники этой утраты XIX в.: крушение прежней наивной религиозной вѣры, разрушение надеждъ на науку, исчезновеніе политическихъ надеждъ въ силу того, что никакое правление не представляетъ желательного совершенства. Исходный пунктъ тоски Онѣгина не исключительно философскій и не исключительно въ бездѣльѣ, обусловленномъ складомъ русской общественной жизни, а заключался одновременно въ причинахъ обоего рода, бромъ личныхъ особенностей характера Онѣгина (=Пушкина), пережившаго уже въ ранней молодости пыль человѣческихъ страстей безъ должнаго удержа и самообладанія.:

Что касается въ частности русской жизни, то мы поймемъ, что она не могла разсѣять скуку Онѣгина, если обратимъ вниманіе на другія проявленія такого же настроенія, изображенныя въ поэзіи Пушкина. Мы увидимъ тогда, что у насъ то была тоска, навѣянная не общимъ лишь пессимистическимъ взглядомъ на жизнь, который началъ слагаться съ 70-хъ годовъ прошлаго вѣка, но и нашими, болѣе частными, условіями, оказывавшими весьма сильное влияніе на нѣкоторая впечатлительная натуры.

Такъ, въ „Рославлевѣ“ (1831 г.) Полина, въ которой „было много странного и еще болѣе привлекательного“, „являлась вездѣ“, была „окружена поклонниками. Съ нею любезничали; но она скучала, и скука придавала ей видъ гордости и холодности“. Если вникнемъ въ причину ея скуки, то замѣтимъ, что княжну томило ничтожество окружавшаго ее общества. „Полина чрезвычайно много читала и безъ всякаго разбора“, но только не произведенія русской литературы, которая казалась ей весьма бѣдной<sup>1)</sup>). Тѣмъ труднѣе было Полинѣ, вполнѣ образованной на западно-европейскій ладъ, примириться съ ничтожествомъ личностей, въ кругу которыхъ она вращалась. Во время обѣда,

<sup>1)</sup> Ср. рѣзкія сужденія Онѣгина и самого поэта о русской литературѣ: III, 268 (Е. О., II, къ строфѣ xvi), 251 (Е. О., I, xliii), 398 (VIII, xxxv). Въ III гл., стр. xxvii (стр. 292) читаемъ:

Я знаю: дамъ хотять заставить  
Читать по-русски. Право, страхъ!  
Могу ли ихъ себѣ представить  
Съ „Благонамѣреннымъ“ въ рукахъ!

Ср. въ предисловіи къ первой части Онѣгина (1825 г.; III, 420); см. выше въ началѣ II-й главы.

на которомъ угощали въ Москвѣ M-me de Staël, лицо Полины „пыжало, и слезы показались на ея глазахъ“. „Я въ отчаяніи!“ сказала Полина своей подругѣ послѣ обѣда. „Какъ ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщины! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящія замѣчанія, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замѣчательного слова въ теченіе цѣлыхъ трехъ часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла, чего имъ было надобно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились.... Я сгорѣла со стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ отъ нашей свѣтской черни<sup>1)</sup> мнѣніе, котораго они достойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый, простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что сказала она дядюшкѣ, этому старому несносному шуту, который, изъ угожденія къ иностранкѣ, вздумалъ было смеяться надъ русскими бородами? „Народъ, который, тому сто лѣтъ, отстоялъ свою бороду, отстоить въ наше время и свою голову“<sup>2)</sup>.

Конечно, неправильно было называть такихъ тосковавшихъ „лишними“ людьми: это были передовые люди своего времени. Они были лишними только въ смыслѣ малой доли пользы, какую принесли вслѣдствіе своего бездѣйствія при возгласахъ о томъ, что имъ нечего дѣлать въ Россіи<sup>3)</sup>, въ сравненіи съ тѣмъ, что могли бы совершить.

Какъ бы то ни было, русская жизнь была особо богата условіями, которые должны были порождать тоску въ русскомъ человѣкѣ, образованномъ на западно-европейскій ладъ и расходившемся съ обществомъ, какъ разошелся Часцкій.

Онѣгинъ—живой типъ такого русского интеллигентнаго „современнаго человѣка“<sup>4)</sup>, недовольного жизнью, дѣйствительностію и изнывающа-

<sup>1)</sup> Обращаемъ вниманіе читателей на это выраженіе, важное для пониманія такихъ произведений, какъ „Поэтъ и Черни“.

<sup>2)</sup> IV, 111—113. Ср. любовь Татьяны къ народу.

<sup>3)</sup> „Вернуться въ Россію зачѣмъ? Чѣмъ дѣлать въ Россіи?“ писала изъ Венеціи еще Елена, герояня повѣсти Тургенева „Наканунѣ“.

<sup>4)</sup> О томъ свидѣтельствуютъ отзывы критики, современной „Онѣгину“; см. у В. В. Сиповскаго, Р. Стар. 1899, № 6, стр. 560 и въ отдѣльномъ оттискѣ: „Онѣгинъ, Татьяна и Ленскій“ (Къ литературной исторіи Пушкинскихъ „типовъ“) Спб. 1899, стр. 23.

го въ тоскѣ, типъ, который жилъ въ цѣломъ рядѣ лицъ и въ душѣ самого поэта въ качествѣ его „странныго спутника“ въ теченіе немалаго количества лѣтъ его молодости, являясь въ нѣсколькихъ образахъ вплоть до Алексія повѣсти „Барышня-крестьянка“, который первый передѣлъ уѣздными барышнями „явился мрачнымъ и разочарованнымъ: первый говорилъ имъ объ утраченныхъ радостяхъ и объ „увядшей юности“<sup>1)</sup>). Тоска Онѣгина долго владѣла душою Пушкина и другихъ лицъ поколѣнія, къ которому онъ принадлежалъ, да почти и и весь нашъ XIX вѣкъ наполненъ этимъ типомъ<sup>2)</sup>). Слѣдовательно, это вполнѣ реальный типъ, вдобавокъ вполнѣ освѣщенный средою, въ которую поставленъ поэтомъ и которая изображена необыкновенно широко и художественно: романъ объ Онѣгинѣ—первая грандіозная картина почти всей русской жизни, предварявшая „Мертвыхъ душ“ Гоголя въ „шуточномъ описаніи нравовъ“<sup>3)</sup>.

Въ этой, часто въ высшей степени безотрадной, картинѣ постоянно сквозить духъ поэта, искашаго и находившаго выходъ изъ тоски Онѣгина. Къ этому выходу инстинктивно направлялся однажды какъ бы и самъ Онѣгинъ:

Наскуча или слыть Мельмотомъ<sup>4)</sup>,  
Иль маской щеголять иной,  
Проснулся разъ онъ патріотомъ  
Дождливой, скучпою порой.  
Россія, господа, мгновенно  
Ему понравилась отмѣнно,

<sup>1)</sup> IV, 77; „сверхъ того носилъ онъ черное кольцо съ изображеніемъ мертвай головы“.

<sup>2)</sup> Сколько ни далекъ Базаровъ отъ Онѣгина, но все-таки онъ потомокъ послѣдняго въ полномъ слѣдованіи модному теченію западной культуры и отрицательномъ отношеніи къ русской дѣйствительности.

<sup>3)</sup> См. предисловіе Пушкина къ первой части Онѣгина 1825 (III, 419—420). Ср. еще VII, 59: „забалтываюсь до-нельзя“ и 62: „захлебываюсь желчью“. Н. Раевскій нашелъ сатиру и цинизмъ „въ Онѣгинѣ“ (VII, 70), но самъ поэтъ говорить, что о сатирѣ и помина нѣть въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ (VII, 117). Тѣмъ не менѣе, онъ опасался, что цензура не пропустить этой поэмы (VII, 72, 79, 82, 84). „Горе отъ ума“ гораздо уже по замыслу. Сужденія Пушкина о немъ разобраны въ ст. А. Залдкіна: „Литературно-критическая возрѣнія А. С. Пушкина—Р. Старина 1859, № 6, стр. 553. Изображеніе общества временъ Пушкина по произведеніямъ послѣдняго см. въ рѣчи Г. А. Малиновскаго: Русская общественная жизнь въ поэтическомъ изображеніи А. С. Пушкина, Томскъ 1899.“

<sup>4)</sup> Ср. выше (стр. 102) о Мельмотѣ.

И рѣшено—ужъ онъ влюбленъ,  
Ужъ Русью только бредить онъ!  
Ужъ онъ Европу ненавидить  
Съ ея политикой сухой,  
Съ ея развратной суетой.  
Онѣгинъ ёдетъ; онъ увидитъ  
Святую Русь: ея поля,  
Пустыни, грады и моря <sup>1)</sup>.

Повсюду однако Онѣгина преслѣдовала „тоска, тоска“! Лишь любовь его къ Татьянѣ могла стать залогомъ истиннаго обновленія его души.

Созданіе образа Татьяны было и для Пушкина однимъ изъ первыхъ симптомовъ поворота на новый путь, при чмъ Пушкинъ первый воспроизвелъ въ нашей поэзіи превосходство русской женщины, замѣченное уже въ началѣ нашего вѣка <sup>2)</sup>.

Онѣгинъ не былъ и не могъ быть идеаломъ, какъ и Адольфъ <sup>3)</sup>. Татьяна же—воплощеніе нѣкоторыхъ изъ излюбленныхъ грезъ самого поэта, который въ привязанности къ родной землѣ и народу обрѣлъ истинный выходъ изъ „безыменныхъ страданій“ <sup>4)</sup> и „модной“ болѣзни.

Пушкинъ, какъ и его Татьяна, угадалъ высшую потребность русской жизни, которой не понялъ

Онѣгинъ, очень охлажденный  
И тѣмъ, что видѣлъ насыщенный <sup>5)</sup>.

Развязка романа уже указывала, куда направлялся духъ поэта, который невольно

Уѣхалъ въ тѣнь лѣсовъ Тригорскихъ,  
Въ далекій сѣверный уѣздъ,

и дождался „другихъ дней, другихъ сновъ“ <sup>6)</sup>. Но при этомъ не современная Пушкину поэзія Запада указала нашему поэту выходъ, какъ не дали выхода и Онѣгину ни западная культура, ни вѣчно неудовлетворенная мечта, ни путешествія по образцу Байрона и его Чайльдъ-Гарольда.

<sup>1)</sup> Русская Старина 1888, № 1, стр. 240.

<sup>2)</sup> Ост. арх., I, 183, письмо кн. Вяземскаго изъ Москвы 1818 г.: „Въ одиѣхъ женщинахъ нахожу я здѣсь удовольствіе, ибо точно имѣю въ нихъ много друзей. Большая часть нашихъ женщинъ двумя столѣтіями перенесла нашихъ мужчинъ. У здѣшнихъ бригадировъ умъ еще ходить въ штанахъ съ гульфиками“.

<sup>3)</sup> Справедливо выразился кн. Вяземскій, что „Адольфъ не идеалъ“.

<sup>4)</sup> Р. Стар, 1888, № 1, стр. 250.

<sup>5)</sup> Ib., 258.

<sup>6)</sup> Ib., 258 и 250.

Въ то время, когда Пушкинъ заканчивалъ своего Онѣгина, еще не возникали и въ замыслахъ произведенія въ родѣ деревенскихъ рассказовъ Ауэрбаха и Жоржъ-Зандъ, нашихъ „Записокъ охотника“ Тургенева и повѣстей Григоровича. Пушкинъ, повторяю, самостоятельно, въ силу личныхъ симпатій, направлялся своею мыслю и сердцемъ въ мірь деревни, исходя еще изъ нѣкоторыхъ идей XVIII вѣка, но въ отрѣшеніи ихъ отъ фальши, которою отличался тотъ вѣкъ, по мнѣнію нашего поэта<sup>1)</sup>. Пушкинъ сумѣлъ находить истинное подъ лживой оболочкой. Такъ, и признавая Руссо „фальшивымъ во всемъ“<sup>2)</sup> и не читая его болѣе<sup>3)</sup>, Пушкинъ удержалъ въ памяти многое плодотворное изъ его идей и настроений<sup>4)</sup> и явился его послѣдователемъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ припоминаній и собратомъ нѣкоторыхъ изъ почитателей Руссо, напр., англійского поэта Уордуорта, который соизвѣстенъ

. . . . . орудіемъ избралъ,  
Когда, вдали отъ суэтнаго свѣта,  
Природы онъ рисуетъ идеаль<sup>5)</sup>.

„Природы восторженный свидѣтель“<sup>6)</sup>, Пушкинъ, любившій въ юности „шумъ и толпу“<sup>7)</sup>, и тогда уже по временамъ, слѣдя за развитиемъ въ XVIII в. культуры уединенія и мечтательности и собственному влечению, находилъ удовольствіе въ деревенской жизни<sup>8)</sup>, и

<sup>1)</sup> Записки Смирновой, I, 159: „У французовъ прежде былъ Lignon, затѣмъ пасторали великаго вѣка и пастушескія идиліи XVIII столѣтія. Все это только салонная литература. Подобные сюжеты можно рисовать на ширмахъ, на картинахъ, на вѣерахъ, на пано надъ дверями и наконецъ на потолкахъ вмѣстѣ съ олимпійскими богами и апофеозомъ короля — солнца“.

<sup>2)</sup> Ib., 150—151.

<sup>3)</sup> Ib., 151: (читай „Жанъ-Жака“) — очень молодымъ, а позже никогда, потому что онъ для меня очень скученъ“. Ср. выше. Разочаровалась потомъ въ Руссо и сестра нашего поэта, Ольга: Л. П а в л и щ е въ, Иль семенной хроники. Воспоминанія объ А. С. Пушкинѣ, М. 1890, стр. 20.

<sup>4)</sup> Вліяніе Руссо отзыается еще въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“ (IV, 54): „Я васъ люблю, говоритъ герой „Метели“ своей неувѣзанной пока жентль. Я поступилъ неосторожнѣ, предаваясь милой привычкѣ, привычкѣ видѣть и слышать васъ ежедневно...“ (*Марья Гавrilovna вспомнила первое письмо St. Preux*).

<sup>5)</sup> II, 98. Пушкинъ, повидимому, не раздѣлялъ мнѣнія Байрона объ этомъ поэты. Слѣды знакомства съ нимъ открываются хотя бы въ словахъ: „We are seven“: Зап. Смирн., I, 144.

<sup>6)</sup> Соч. II., I, 287.

<sup>7)</sup> V, 22.

<sup>8)</sup> „Деревня“ 1818 (I, 205—206). Поэтъ привѣтствуетъ „пустынныи уголокъ, пріютъ спокойствія, трудовъ и вдохновенія“. См. выборку мѣсть, свидѣтельству-

удиненії<sup>1</sup>). И тогда уже онъ любилъ свой „дикій садикъ“ съ „прохладой липъ и кленовъ шумнымъ кровомъ“, „зеленый скатъ холмовъ“, „луга“: „они знакомы вдохновенюю<sup>2</sup>). Это вдохновеніе бывало иногда весьма серьезно.

## Простой воспитанникъ природы,

Пушкинъ, какъ Руссо, считая свободу однимъ изъ „правъ природы“ <sup>3</sup>), о которомъ взываетъ „природы голосъ нѣжный“ <sup>4</sup>), воспѣвалъ

Мечту прекрасную свободы  
И ею сладостно дышалъ<sup>5</sup>).

Потому-то „другъ человѣчества“ уже на двадцатомъ году жизни не пробавлялся въ деревнѣ идилліей на манеръ XVIII в., а „мысль ужасная“ тамъ его „душу омрачаетъ“, и онъ въ „Деревнѣ“

Не видя слезъ, не внемля стона,  
На пагубу людей избранное судьбой,  
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,  
Присвоило себѣ насильственной лозой  
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца. И т. п.

Такимъ образомъ, изъ наблюденія надъ деревенскою жизнью Пушкинъ, какъ и Уордсуртъ, но независимо отъ него, вынесъ стремление къ ниспроверженію зла, удручавшаго деревенскій людъ, и, первый изъ нашихъ поэтовъ<sup>6)</sup>, за двадцать съ лишнимъ лѣтъ до Шевченка<sup>7)</sup>, нарисовалъ смѣлою и энергичною кистью печальныя кар-

ющихъ объ „идиллическихъ стремленияхъ“ Пушкина, въ брошюрѣ Б. Никольскаго Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, Спб. 1899, стр. 15 и слѣд.

<sup>1)</sup> Соч. II., I, 283; I, 206, 241; „Уединение“ 1822 г. (I, 278).

2) I, 207.

3) I, 297.

\*) Π, 30.

<sup>5</sup>), II, 13. Ср. у Б. Никольского стр. 46, прим. 2.

<sup>\*)</sup> Оставляемъ А. Н. Радищева въ сторонѣ, потому что рѣчь идетъ о поэтахъ.

<sup>7)</sup> Картины, изображавшія крѣпостного пахаря (см. „Киевскую Старицу“ 1899 г. № 4, стр. 152—153), — какъ бы иллюстрація стиховъ Пушкина:

Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ  
Неумолимаго владѣльца.

тины крѣпостнаго права, вызывавшія „des bons sentiments“, по выраженію импер. Александра I<sup>1)</sup>). Пушкинъ желалъ бы „свободы проповѣщенной“ народу, при которой послѣдній могъ бы понимать и произведенія самого поэта<sup>2)</sup>). Въ трудахъ для осуществленія этихъ и подобныхъ стремлений Пушкинъ усматривалъ свою высшую радость и оканчивалъ свою жизнь, направляясь своей мечтою, подобно Татьянѣ, въ деревню. Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ стихотвореній онъ писалъ<sup>3)</sup>:

На свѣтѣ счастья нѣтъ<sup>4)</sup>, а есть покой и воля.  
Давно завидная мечтается мнѣ доля,  
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ  
Въ обитель дальнюю *трудовъ* и чистыхъ нѣгъ<sup>5)</sup>.

Вспомнимъ, что о подобномъ же покой гдѣ-нибудь вдали въ Америкѣ мечталъ и Байронъ. Замѣтимъ также, что лучшія произведенія нашего поэта созданы въ деревенскомъ уединеніи Михайловскаго<sup>6)</sup>, Малин-

<sup>1)</sup> I, 206. Это стихотвореніе—одно изъ цѣлаго ряда тѣхъ, которыми поэтъ „чувствуетъ добрыя пробужданія“, по выраженію Пушкина, быть можетъ, повторявшаго слова Александра I.

<sup>2)</sup> Зап. Смирновой. I, 157: „Полетика разсказывалъ мнѣ, что нѣкоторыя изъ пьесъ Шекспира играютъ въ праздникъ Рождества на фермахъ. Вотъ это слава! Если когда-нибудь крестьяне поймутъ моего „Бориса Годунова“—это тоже будетъ слава. Я буду знать, что сдѣлалъ нѣчто хорошее, настоящее, понятное для всѣхъ.“

<sup>3)</sup> II, 193 (къ женѣ): „Пора, мой другъ, пора! Покоя сердце просить...“

<sup>4)</sup> Ср. слова Руссо о томъ, что „Il n'y a de beau que ce qui n'est pas“, и Шиллера въ стих.: „Начало нашего вѣка“:

..На всей землѣ неизмѣримой  
Десяти счастливцамъ мѣста нѣть.  
Заключись въ святомъ уединеныи,  
Въ мірѣ сердца, чуждомъ суеты.

<sup>5)</sup> Ср. Зап. Смирновой, I, 340: „Я смотрю на Неву и мнѣ безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароходъ... Еслибы я это сдѣлалъ, что бы сказали? Сказали бы: онъ корчить изъ себя Байрона. Мнѣ кажется, что мнѣ сильнѣе хочется уѣхать очень, очень далеко, чѣмъ въ ранней молодости, когда я просидѣлъ два года въ Михайловскомъ...“ „Мнѣ именно теперь бы слѣдовало уѣхать съ женой въ деревню, по крайней мѣрѣ на годъ“.

<sup>6)</sup> Тамъ написано одно изъ самыхъ замѣчательныхъ юношескихъ стихотвореній Пушкина—„Деревня“. Тамъ же для поэта позднѣе

..... безмолвно пролетали

Часы трудовъ, свободно вдохновенныхъ;  
тамъ совершился въ немъ и нравственный переворотъ, озnamеновавшій наступленіе зрѣлости въ его мысли. См. II, 173—184 и ниже—въ III-й главѣ.—Оставляемъ въ сторовѣ Каменку, гдѣ были написаны элегіи „Рѣдѣеть облаковъ летучая гряда...“, „Я пережилъ свои желанья“, окончаніе „Кавказскаго пленника“ и др.

никъ<sup>1</sup>), Болдина<sup>2</sup>). Тамъ онъ наиболѣе вдохновлялся<sup>3</sup>). Та постоянно шумная свѣтская жизнь, которую Пушкинъ долженъ былъ вести со времени женитьбы, была ему не по сердцу и тяготила<sup>4</sup>).

Пушкинъ желалъ бы окончить свой вѣкъ согласно съ идеями Руссо и, подобно послѣднему, оставался во всю свою жизнь поэтомъ индивидуальной свободы,—даже тогда, когда отрекался отъ свободы политической на западно-европейской ладѣ<sup>5</sup>).

Вотъ сколькими нитями связаны возрѣнія и наклонности Пушкина съ учениемъ Руссо. Пушкинъ продолжалъ своими произведеніями вліяніе знаменитаго Женевца на русскую литературу, столь сильное съ Екатерининскаго времени, и какъ бы подалъ руку въ этомъ направлении Л. Н. Толстому <sup>6)</sup>.

Пушкинъ ввель при этомъ въ должная рамки преувеличения и неестественности, допущенные Руссо, какъ и вообще не впадалъ въ односторонность, не увлекаясь чрезъ мѣру тѣми или иными писателями и всему удѣляя надлежащія границы.

Потому онъ избѣжалъ приторной сентиментальности и водянистости такъ или иначе примыкавшихъ къ направленію Руссо излюбленныхъ романовъ XVIII в. и начала XIX-го, въ которые вчтывался либо поскреннему увлеченію, либо изъ исторического интереса, желая знать, чѣмъ восхищались его предки и современники.

Романъ объ Онѣгинѣ знакомить насть съ кругомъ этихъ романовъ, пѣнавшихъ нашихъ предковъ во времена Пушкина и предъ тѣмъ.

<sup>1)</sup> См. ст. Н. Овсянникова: „Малиники и воспоминание об А. С. Пушкинѣ“—Моск. Вѣд. 1899, № 68.

<sup>2)</sup> См. Н. Овсянникова: „Болдино и воспоминание о А. С. Пушкине“—  
Моск. Вѣд. 1899, № 96.

<sup>2)</sup> Въ письмѣ, напр., къ Штетневу въ маргѣ 1831 г. (VII, 264), Пушкинъ выражалъ желаніе „не доѣхать“ въ Петербургъ и „остановиться въ Царскомъ Селѣ. Мысль благословенна! Дѣто и осень, такимъ образомъ, провелъ бы я въ чудищемъ вдохновительномъ...“.

<sup>4)</sup> Прямой поэтъ, по словамъ Пушкина (Къ Н\*\*, 1834—прибавочные стихи: II. 168).

.... сътуетъ душой  
На пышныхъ играхъ Мельпомены.

<sup>5)</sup> См. ниже о стихотворении „Изъ Пиндемонте“.

<sup>6)</sup> Ср. статью Н. Котляревского въ декабрьской кн. „Cosmopolis“ за 1898 г.

Иностранныму роману тогда принадлежало значеніе большее, чѣмъ нынѣ:

Любви нась не природа учитъ,  
А Сталь или Шатобріанъ.  
Мы алчемъ жизнь узнать заранѣ,  
И узнаемъ ее въ романѣ<sup>1)</sup>.

Въ особенности въ провинціи для многихъ романы „замѣняли все“. Дѣвицы того времени, какъ мы знаемъ уже изъ исторіи Татьяны, влюблялись „въ обманы и Ричардсона и Руссо“<sup>2)</sup>; воображеніе ихъ занимали

Любовникъ Юліи Вольмаръ,  
Малекъ-Адель и де-Линаръ,  
И Вертеръ, мученикъ мятеjный,  
И безподобный Грандисонъ,  
Который намъ наводить сонъ,

и героини „возвлюбленныхъ творцовъ, Кларисса, Юлія, Дельфина“<sup>3)</sup>. Нашъ поэтъ такъ отмѣтилъ отличіе романовъ XVIII-го в. отъ романовъ начала XIX-го:

Свой слогъ на важный ладъ настроя,  
Бывало, пламенный творецъ  
Являль памъ своего героя  
Какъ совершенства образецъ... и т. д.

А нынче всѣ умы въ туманѣ,  
Мораль на насъ наводить сонъ,  
Порокъ любезенъ и въ романѣ,  
И тамъ ужъ торжествуетъ онъ.  
Британской музы небылицы  
Тревожать сонъ отроковицы,  
И сталъ теперь ея кумиръ  
Или задумчивый Вампиръ,  
Или Мельмотъ, бродяга мрачный,

<sup>1)</sup> III, 238 (Е. О., I, ix).

<sup>2)</sup> III, 273 (Е. О., II, xxix—xxx).

<sup>3)</sup> IV., 284 (III, ix—x). Объ увлеченіи русскаго общества XVIII в. романами см. въ книгѣ В. В. Сиповскаго: Н. М. Карапинъ, авторъ „Писемъ русскаго путешественника“, Спб. 1899; тамъ же на стр. 456 указаны другія статьи и монографіи, содержащія данныя о томъ.

Иль Вѣчный жидъ, или Корсаръ,  
Или таинственный Сбогарь <sup>1)</sup>.

Нравились романы,

Въ которыхъ отразился вѣкъ  
И современный человѣкъ <sup>2)</sup>.

Но читался по временамъ

Нравоучительный романъ,  
Въ которомъ авторъ знаетъ болѣ  
Природу, чѣмъ Шатобранъ <sup>3)</sup>,

или же

Рядъ утомительныхъ картинъ,  
Романъ во вкусѣ Лафонтена <sup>4)</sup>.

Въ зимнюю пору въ глухи

Читай: вотъ Прадтъ, вотъ Walter Scott <sup>5)</sup>.

Въ ряду этихъ романовъ первое мѣсто по времени занимали романы Ричардсона. Ими увлекалось вѣкогда поколѣніе, уже доживавшее свой вѣкъ во времена Пушкина. Самому же поэту даже „хваленая“ Кларисса, показалась скучной <sup>6)</sup>. „Читаю томъ, другой, третій—скучно, мочи нѣть“, пишетъ Лиза въ „Романѣ въ письмахъ“. Скука, наводимая этимъ романомъ, обусловлена рѣзкимъ измѣненіемъ

<sup>1)</sup> III, 285—286 (Е. О., III, XI—XII).

<sup>2)</sup> III, 366 (Е. О., VII, XXII).

<sup>3)</sup> III, 312 (Е. О., IV, XXVI). Ср. 332 (Е. О., XXIII): („для Татьяны наконецъ „коочующій купецъ“ Задеку

...уступилъ за три съ полтиной,

Въ придачу взялъ еще...

...Мармонтеля третій томъ.

<sup>4)</sup> III, 322 (Е. О., IV, I); разумѣется романъ семейственный.

<sup>5)</sup> III, 319 (Е. О., IV, XII) Ср. ib., 89 (Графъ Нулинъ):

Въ Петрополь ѿдѣть онъ теперъ...

Съ романомъ новымъ Вальтеръ-Скотта...

<sup>6)</sup> Пушкинъ читалъ Клариссу въ Михайловскомъ въ 1824 г. и писалъ о ней брату (VII, 92): „читаю Клариссе: мочи нѣть, какая скучная дура!“ Такой рѣзкій отзывъ значительно смагченъ позднѣе: „Многіе читатели согласятся со мною, что Кларисса очень утомительна и скучна, но со всѣмъ тѣмъ романъ Ричардсоновъ имѣть необыкновенное достоинство“ (V, 216—1834 г.; ср. ib., 249).

идаловъ. „Какая ужасная разница между идеалами бабушекъ и внучекъ. Что есть общаго между Ловеласомъ и Адольфомъ? Между тѣмъ, роль женщинъ не измѣняется; Кларисса, за исключеніемъ церемоніальныхъ присѣданій, все жъ походить на героиню новѣйшихъ романовъ, потому ли, что способы нравиться въ мужчинѣ зависятъ отъ моды, отъ минутнаго вліянія, а въ женщинахъ они основаны на чувствѣ и природѣ, которая вѣчны“<sup>1)</sup>). И дѣйствительно, Лиза этого отрывка сама даже находитъ сходство между собою и Клариссой,— правда, чисто вѣшнее, состоящее въ томъ, что она „живеть въ глухой деревнѣ и разливаетъ чай, какъ Кларисса Гарловъ“<sup>2)</sup>). Въ тѣхъ же отрывкахъ вскользь изображена „Маша, стройная меланхолическая девушка лѣтъ семнадцати, воспитанная на романахъ и на чистомъ воздухѣ“<sup>3)</sup>), какъ Татьяна. Не изъ стыхъ ли романовъ отчасти и общая схема „Онѣгина“? Повидимому, такое построеніе романа нравилось нашему поэту. Повтореніе до извѣстной степени Онѣгинской схемы находимъ въ той, которая предназначалась для „романа въ письмахъ“<sup>4)</sup>). По плану автора, герой послѣдняго романа былъ своего рода Онѣгінскимъ. Онъ писалъ о деревенской жизни: „отдыхаю отъ петербургской жизни, которая мнѣ ужасно надоѣла“. Читая романы, онъ также дѣлалъ замѣчанія на поляхъ, „блѣдно писанныя карандашомъ“. Лиза сообщала о немъ: „Онъ уже успѣлъ обворожить бабушку. Онъ будетъ ѳздить къ намъ. Опять пойдутъ признания, жалобы, клятвы,—и къ чему? Онъ добьется моей любви, моего признания, потомъ размыслитъ о невыгодахъ женитьбы, уѣдетъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ оставить меня—а я? Какая ужасная будущность“?<sup>5)</sup>

Хвалия построеніе романовъ прошлаго вѣка и предполагая со временемъ возвратиться къ „роману на старый ладъ“<sup>6)</sup>, Пушкинъ

<sup>1)</sup> IV, 350—351.

<sup>2)</sup> Ib., 350.

<sup>3)</sup> Ibid.

<sup>4)</sup> Ср. подобное же наблюденіе Поливанова: Сочиненія А. С. Пушкина съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики, т. IV. М. 1887, стр 161.

<sup>5)</sup> IV, 356, 353, 355. Въ концѣ отрывковъ Владимиръ З. пишетъ другу: „Кромѣ Лизы есть у меня для развлечениія одна милая девушка, моя родственница“ и т. д. Весьма благосклонный отзывъ о послѣдней не есть ли предвѣстіе, что Лизу должна была постигнуть участіе Татьяны?

<sup>6)</sup> III, 286 (Е. О., III, xiii):

Быть можетъ . . . . .  
Унижусь до смиренной прозы:

не одобрялъ лишь длины по послѣдняго и содержанія рѣчей въ немъ: „большою частью романы“ XVIII-го столѣтія „не имѣютъ другаго достоинства: происшествіе занимательно, положеніе хорошо запутано, но Белькуръ говорить косо, но Шарлотта отвѣчаетъ криво. Умный человѣкъ могъ бы взять здѣсь готовые характеры, исправить слогъ и безсмыслицы, дополнить недомолвки—и вышелъ бы прекрасный, оригинальный романъ. Скажи это отъ меня моему неблагодарному Алексѣю П.... Пусть онъ по старой канонѣ вышьетъ новые узоры и представить намъ въ маленькой рамкѣ картину свѣта и людей, которыхъ онъ такъ хорошо знаетъ“<sup>1)</sup>.

Самъ Пушкинъ отчасти слѣдовалъ этому плану, и, если у него замѣчаются по временамъ пользованія частностями тѣхъ или иныхъ готовыхъ схемъ, эпизодовъ или характеровъ<sup>2)</sup>, въ общемъ онъ давалъ превосходныя самостоятельныя картины жизни и изображенія характеровъ. Готовые образцы не подавляли его собственного творчества, и даже столь любимая въ XVIII в. форма романа въ письмахъ нашла мѣсто у Пушкина лишь въ немногихъ отрывкахъ. Равнымъ образомъ и увлеченіе Байроновымъ Донъ-Жуаномъ<sup>3)</sup> отрази-

Тогда романъ на старый ладъ  
Займетъ веселый мой закатъ.  
Не муки тайныхъ злодѣйства  
Я грозно въ немъ изображу,  
Но просто вамъ перескажу  
Преданья русскаго семейства;  
Любви изѣнительные сны,  
Да нравы нашей старины и т. д.

Ср. въ текстѣ сужденія Пушкина о Вальтеръ-Скоттѣ. Романъ въ письмахъ и задуманный Пушкинымъ „Русскій Пельгамъ“ (ср. Зап. Смирн., I, 307) не были ли попыткой осуществленія этого плана?

<sup>1)</sup> IV, 353.

<sup>2)</sup> См., напр., въ ст. Галахова: „О подражательности нашихъ и чужихъ поэтовъ“, Р. Старина 1883, № 1, стр. 27 и слѣд.: „У Пушкина, гдѣ въ „Капитанской дочки“, именно въ сценѣ свиданія Марии Ивановны съ извѣстной рицеремъ Екатериной П., есть тоже подражаніе. Здѣсь образцомъ служитъ Вальтеръ-Скоттъ, романъ котораго очень цѣнились нашими поэтомъ, назвавшимъ ихъ „одиаомъ письмѣ, „пищей для души“. Дочь капитана Миронова поставлена въ аналоговое положеніе съ героиней „Эдинбургской темницы“, Джени, дочерью шотландскаго фермера“ и т. д. Ср. замѣченіе Пушкина: „шансона много въ „Эдинбургской темницѣ“, въ характерѣ Джени Диизъ; сцена ея свиданія съ королемъ Іаковомъ очаровательна“ (Зап. Смирновой, I, 159), и у Чернышева стр. 80—82 и 206—207.

<sup>3)</sup> VII, 159 („Что за чудо Донъ-Жуанъ!“ и т. д.) и 56 („лишь... романъ въ стихахъ...—въ родѣ Донъ-Жуана“), но въ другомъ письмѣ (VII, 117—118) Пушкинъ однако просилъ не сравнивать Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ Байрона.

лось слабо въ существенномъ содержаніи „Онѣгина“. Тѣмъ менѣе можно было ожидать повторенія у Пушкина недостатковъ второстепенныхъ романистовъ XVIII и XIX в. Пушкинъ со свойственнымъ ему мѣткимъ и тонкимъ критицизомъ хорошо различалъ истинныя достоинства и промахи романовъ выдѣлялъ изъ ряда послѣднихъ выдающіеся. Такъ, онъ съ одобреніемъ отнесся къ тому, что французскіе писатели въ концѣ реставраціи „почувствовали, что цѣль художества есть *идеалъ*, а не *нравоученіе*. Но писатели французскіе поняли одну только половину истины неоспоримой, и положили, что и нравственное безобразіе можетъ стать цѣлью поэзіи, т. е. идеаломъ! Прежніе романисты представляли человѣческую природу въ какой-то жеманной напыщенности; награда добродѣтели и наказаніе порока были непремѣннымъ условиемъ всякаго ихъ вымысла: нынѣшніе, напротивъ, любить выставлять порокъ всегда и вездѣ торжествующимъ, а въ сердцѣ человѣческомъ обрѣтаютъ только двѣ струны: эгоизмъ и тщеславіе“<sup>1)</sup>). Такъ мѣтко открывалъ Пушкинъ основные недостатки господствовавшихъ литературныхъ теченій. Онъ вѣрно оцѣнивалъ также образцовые созданія. Онъ „обожалъ“ Донъ-Кихота, „образецъ правдивости, а между тѣмъ мысль Сервантеса почти скрыта, она проявляется только въ дѣйствіяхъ обоихъ героевъ“<sup>2)</sup>). Пушкинъ находилъ, что „разница между Вальтеръ-Скоттомъ и Дюма прежде всего—та же самая, которая существуетъ между ихъ двумя націями. Но кромѣ того, Вальтеръ-Скоттъ историкъ, онъ описалъ нравы и характеръ своей страны... Это настоящая, почвенная и историческая поэзія. „Lairds“ Вальтеръ-Скотта оригинальны такъ-же, какъ и его герои изъ народа; чувствуется, что это почерпнуто прямо изъ народнаго характера: въ нихъ есть свой особенный, сухой юморъ“. Пушкину, повидимому, эти достоинства преимущественно и нравились въ романѣ, и онъ сожалѣлъ, что „въ Россіи мало переводятъ Вальтеръ-Скотта“) и ему плохо подражаютъ; у насъ слишкомъ много переводятъ д’Арленкура и т-те Коттэнъ и даже уже подражаютъ имъ; это скоро создастъ намъ сентиментальные романы“<sup>4)</sup>), „чопорности“ которыхъ

<sup>1)</sup> V, 302<sup>2)</sup> Зап. Смирновой, I, 158.<sup>3)</sup> Другія сужденія Пушкина о Вальтеръ-Скоттѣ приведены у Черняева, стр. 64—65.<sup>4)</sup> Зап. Смирновой, I, 159; см. еще тамъ же стр. 165—168, въ особенности: „Вальтеръ-Скоттъ сдѣлалъ одно характерное замѣчаніе: „Нѣтъ ничего болѣе дра-

Пушкинъ не одобрялъ<sup>1)</sup>). Конечно, Пушкинъ находилъ недостатки и у Вальтеръ-Скотта, у которого есть „лишнія страницы“<sup>2)</sup>). „Вальтеръ-Скоттъ описываетъ любовь съ точки зрењня своего времени: въ этомъ отношеніи онъ принадлежитъ еще прошлому вѣку, это не то, что Бульверъ; его герои и геройни, главнымъ образомъ, влюбленные: но въ другихъ отношеніяхъ у него много паѳоса—я не понимаю, почему французы дали комичное значеніе этому англійскому слову, происходящему отъ слова патетическій“<sup>3)</sup>). Пушкинъ цѣнилъ, такимъ образомъ, истинную трогательность въ противоположность сентиментальности поколѣнія, изображавшагося въ романахъ второй половины XVIII в., поколѣнія, въ которомъ прекрасная чувствованія разбросались насчетъ разсудка.

Но самыя эти чувствованія въ ихъ естественномъ и вмѣстѣ благородномъ проявленіи были высоко ставимы нашимъ поэтомъ.

Лучшее поэтическое выраженіе дорогихъ для него чувствъ, наклонностей и преданій XVIII-го в., какое представила французская литература того столѣтія, Пушкинъ съ 1819—1820 г. признавалъ у Андре Шенье,

Того возвышенного галла,  
Кому сама средь славныхъ бѣдъ  
. . . гимны смѣлые внушала  
„вольность“<sup>4)</sup>.

Пѣсни А. Шенье, погибшаго жертвою террора во время французской революціи, остались неизвѣстны большинству его современниковъ и пребывали въ рукописи въ рукахъ надежныхъ друзей поэта почти въ теченіе тридцати лѣтъ. Будучи изданы въ 1819 г., онъ сразу вызвали удивленіе и всеобщія сожалѣнія о печальной судьбѣ поэта, столь рано унесенного гильотиной.

матичнаго, чѣмъ дѣйствительность". Я того же мнѣнія. И еще есть разница между дѣйствующими лицами Дюма и Скотта. Всѣ герои Скотта одушевлены политической идеей; они дѣйствительно играли политическую роль" (стр. 167; ср. 208).

<sup>1)</sup> V, 32: „О романахъ Вальтеръ-Скотта“ (1825 г.). См. еще V, 303: „чопорность и торжественность романовъ Арно и г-жи Котент“.

<sup>2)</sup> IV, 352.

<sup>3)</sup> Зап. Смирновой. I, 159. Въ письмѣ изъ Михайловскаго 1824 г. (VII, 87), читаемъ: „les conversations de Byron! Walter-Scott! Это пища души“.

<sup>4)</sup> I, 219.

Пушкинъ бытъ однимъ изъ первыхъ<sup>1)</sup> поэтовъ и вмѣстѣ критиковъ, оцѣнившихъ

. . . . . Тѣнь,  
Давно, безъ пѣсенъ, безъ рыданій,  
Съ кровавой плахи, въ дни страданій  
Сошедшую въ могильну сѣнь,  
Пѣвца любви, дубравъ и мира,  
Пѣвца возвышенной мечты,

„задумчиваго“ и „восторженаго“ поэта<sup>2)</sup>). Признавая, что „священный лѣсь грековъ сталъ священнымъ лѣсомъ для всѣхъ народовъ, для насъ также“<sup>3)</sup>), авторъ антологическихъ стихотвореній<sup>4)</sup>, Пушкинъ позднѣе „восхищался“ Шенѣ, между проч. „потому что онъ единственный настоящій грекъ у французовъ. Единственный, который чувствовалъ, какъ грекъ. Еслибы онъ жилъ подольше, то произвелъ бы революцію въ поэзіи“<sup>5)</sup>). Пушкинъ нѣсколько ошибался въ этомъ сужденіи<sup>6)</sup>, какъ и въ томъ, что въ А. Шенѣ „романтизма нѣть

<sup>1)</sup> См. Авненкова Матеріалы<sup>2</sup>, 96—96, Л. Н. Майкова Пушкинъ, 10, и Зап. Смирновой, I, 165. Подражанія и переводы Пушкина изъ Шенѣ начинаются съ 1820 г. (I, 216).

<sup>2)</sup> I, 337, 340, 342.

<sup>3)</sup> Зап. Смирновой, I, 147.

<sup>4)</sup> См. Чернѣева А. С. Пушкинъ, какъ любитель античнаго міра и переводчикъ древне-классическихъ поэтовъ, Каз. 1899. Авненкова, Пушкинъ, Матеріалы, 69, признаетъ, что „большая часть антологическихъ стихотвореній Пушкина нареѣна членіемъ Андре Шенѣ, но есть между обоими поэтами и существенная разница“ (мѣра и изящество, „тонкій психологіческій анализъ“). Ср. Б. Никольского, Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина, стр. 39.

<sup>5)</sup> Зап. Смирновой, I, 152. Ср. V, 43: „поэтъ, напитанный древностью, коего даже недостатки проистекаютъ изъ желанія дать французскому языку формы греческаго стихосложенія“.

<sup>6)</sup> Нѣсколько точнѣе оно въ черновикѣ письма 1823 г.: „онъ истинный грекъ. C'est un imitateur savant“, но рядомъ и съ этими словами читаемъ: „Отъ него такъ и пахнетъ Ѹеокритомъ и Анеолоіей“. Пушкинъ забылъ, что А. Шенѣ своимъ пристрастіемъ къ античной древности и ея созданіямъ примикалъ къ роднымъ ему поэтамъ XVIII-го и даже XVI-го вѣка и въ этомъ отношеніи внесъ мало новизны: онъ только имѣлъ болѣе вкуса, таланта и лучше писалъ въ античномъ стилѣ. Но А. Шенѣ подобно Ронсару смѣшивалъ безразлично всѣ произведенія древности, подражалъ подражателямъ, не былъ поэтомъ свободныхъ порывовъ вдохновенія, а былъ по преимуществу поэтомъ ученаго мозаическаго мастерства, и о чистотѣ элленизмѣ у него не можетъ быть и рѣчи: этотъ хорошій ученикъ древнихъ былъ также истиннымъ сыномъ XVIII в.

еще ни капли<sup>1)</sup>, но превосходно воспроизвелъ въ своемъ стихотвореніи „Андрей Шенье“ (1825 г.) образъ этого поэта, какъ ранѣе прекрасно воспѣлъ Овидія<sup>2)</sup>. Многое помимо античнаго содержанія должно было привлекать Пушкина къ памяти и поэзіи того, о которомъ онъ выразился въ 1823 г.: „Никто болѣе меня не уважаетъ, не любить болѣе этого поэта“<sup>3)</sup>. Шенье былъ милъ Пушкину прежде всего, какъ

. . . . . великий гражданинъ  
Среди великаго народа,

какъ „восторженный поэтъ“, лира котораго и наканунѣ казни  
. . . . . поетъ свободу,  
Не измѣнилась до конца<sup>4)</sup>!

Вспомнимъ, что идеи французской революціи, которымъ заграждался путь къ намъ при Екатеринѣ II и Павлѣ, хлынули широкою волною при Александрѣ I<sup>5)</sup>, въ особенности съ 1813—1814 гг.<sup>6)</sup>, и кн. П. А. Вяземскій писалъ въ 1819 г. А. И. Тургеневу<sup>7)</sup>:

Русскимъ быть и быть въ свободѣ?  
Богъ такихъ чудесъ въ природѣ  
Богъ не въ силахъ створить.

Пушкинъ (въ 1821 г.) прославилъ французскую революцію, какъ моментъ,

Когда, надеждой озаренный,  
Отъ рабства пробудился міръ,

<sup>1)</sup> См. то же цисмо: VII, 56. Въ поэзіи Шенье были уже нѣкоторыя ноты, предвѣщавшія поэзію Ламартина, Гюго и Альфреда де-Мюссе.

<sup>2)</sup> I, 258—260: „Къ Овидію“.

<sup>3)</sup> VII, 56.

<sup>4)</sup> I, 342 и 338.

<sup>5)</sup> Когда Васильчиковъ доложилъ въ 1821 г. Александру I объ обширномъ политическомъ заговорѣ, императоръ долго былъ безмолвенъ и затѣмъ, послѣ глубокаго раздумья, сказалъ: „Дорогой Васильчиковъ, вы, который находитесь на моей службѣ съ начала моего царствованія, вы знаете, что я раздѣлялъ и поощрялъ эти иллюзіи и заблужденія... Не мнѣ карать!..“

<sup>6)</sup> См. выше въ концѣ I-й главы.

<sup>7)</sup> Ост. арх., I, 240.

И галъ десницей разъяренной  
Низвергнулъ ветхій свой кумиръ....  
И день великий, неизбѣжный,  
Свободы яркій день вставалъ <sup>1)</sup>.

И не лишено было значенія, что за нѣсколько мѣсяцевъ до катастрофы 14-го декабря нашъ поэтъ „не думалъ дѣлать тайны“, а, на-противъ, сдѣлалъ „всѣмъ извѣстнымъ вполнѣ гораздо прежде напечатанія“ стихотвореніе, въ которомъ А. Шенье говоритъ, по словамъ самого Пушкина,

„О взятіи Бастиліи.  
О клятвѣ du jeu de paume.  
О перенесеніи тѣлъ славныхъ изгнанниковъ въ Пантеонъ.  
О побѣдѣ революціонныхъ идей.  
О торжественномъ провозглашеніи Равенства.  
Объ уничтоженіи Царей“.

Понятно, что Пушкинъ долженъ былъ писать потомъ въ офиціальномъ объясненіи: „Что жъ тутъ общаго съ несчастнымъ бунтомъ 14 декабря, уничтоженнымъ тремя выстрѣлами картечи и взятиемъ подъ стражу всѣхъ заговорщиковъ“ <sup>2)</sup>), но это оправданіе теряетъ значеніе при чтеніи диоптирамба революціи, слышащагося изъ устъ Шенье <sup>3)</sup>), при сопоставленіи съ упоминаніемъ о Шенье въ „Одѣ Вольность“ и съ политическими идеями Пушкина въ годы 1819—1825 <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> I, 252.

<sup>2)</sup> Шляпкынъ, Къ біографії Пушкина, 27—28. См. еще статью А. Слезинскаго. „Преступный отрывокъ элегіи „Андре Шенье“ (Изъ судебнаго процесса А. С. Пушкина, А. Леопольдова, Коноплева и др.)“—Р. Стар. 1899, № 8. Сенатъ въ окончательномъ приговорѣ обратилъ вниманіе на неумѣстность выраженія „несчастнымъ“.

<sup>3)</sup> Напр., въ словахъ (I, 338):

Я зреТЬ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу,  
Я слышала братскій ихъ обѣтъ,  
Великодушную присягу  
И самовластию безтрепетный отвѣтъ.

Выше было уже сказано, что либералы 20-хъ годовъ „самовластиемъ“ называли самодержавіе.

<sup>4)</sup> См. въ запискахъ барона М. А. Корфа (Р. Стар. 1899, № 8, стр. 310) слова импер. Николая о свиданіи съ Пушкинымъ послѣ коронаціи въ Москвѣ: „Чтѣ вы бы сдѣлали, если бы 14-го декабря были въ Петербургѣ, спросилъ я его между прочимъ. Быть бы въ рядахъ матежниковъ, отвѣчалъ онъ, не запинался“. Должно,

Конечно, было весьма много незрѣлости и юношескаго задора въ формулировкѣ и провозглашеніи этихъ идей вслѣдъ за Шене, привѣтствовавшимъ „свѣтило“ и „небесный ликъ“ свободы, „священный громъ“ которой

...разметалъ позорную твердыню  
И власти древнюю гордыню  
Разсѣяль пепломъ и стыдомъ,

и моментъ, когда

...пламенный трибунъ предрекъ, восторга полный,  
Перерожденіе земли...

впрочемъ, сказать, что иѣкоторыя подробности въ разказѣ Корфа возбуждаютъ сомнѣнія: такъ, судя по словамъ самого Пушкина (см. выше—во вступлениіи), „дарственную руку подать“ поэту самъ императоръ, а не наоборотъ. Б. Никольскій, Потѣ и читатель въ лирикѣ Пушкина, стр. 45, приписываетъ элегію „Андре, Шене“ весьма важное значеніе въ творчествѣ Пушкина: она „въ области его гражданскихъ воззрѣній знаменуетъ такой же поворотъ, какъ „Пророкъ“ во всемъ его міровоззрѣніи... Съ нея начинается совершенная ясность и опредѣленность въ мысляхъ Пушкина о свободѣ. Мятежъ, революція осуждены имъ окончательно, и какъ поэтомъ и какъ гражданиномъ; въ трибуны онъ болѣе не мѣтить,—онъ сознаетъ, что его гражданскій подвигъ не выходитъ за предѣлы поэзіи. Но онъ не отрекся ни отъ народной, ни отъ личной свободы“... Это утвержденіе не совсѣмъ вѣрно, какъ авструетъ изъ письма Пушкина къ кн. П. А. Вяземскому (VII, 137: „Читай ты моего А. Шене въ темницѣ? Суди о немъ какъ езуить—по намѣренію“) и изъ стиховъ (о свободѣ, I, 338):

...ты придиши опять со мнѣніемъ и славой  
И вновь врачи твои падутъ,

и изъ обращенія Шене къ самому себѣ (I, 341):

Гордись и радуйся, поэтъ:  
Ты не лоникъ главой послушной  
Передъ позоромъ нашихъ лѣтъ;  
Ты презрѣлъ мощнаго злодья;  
Твой свѣточъ, грозно пламенѣя,  
Жестокимъ блескомъ озарилъ  
Совѣтъ правителей безславныхъ:  
Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ  
Сихъ палачей самодержавныхъ...  
Ты пѣль Маратовымъ жрецамъ  
Кинжалъ и дѣву-землениду...  
Падеши, тиранъ! Неудовѣніе  
Воспрянешь наконецъ...

Отъ иелены предубѣжденій  
Разоблачался ветхій тронъ;  
Оковы падали. Законъ,  
На вольность опершись, провозгласилъ равенство...<sup>1)</sup>

Кромѣ того Пушкинъ былъ весьма подвиженъ и къ нѣкоторымъ людямъ противоположного лагеря. Потому, быть можетъ, поэта и не приняли въ „Союзъ благоденствія“<sup>2)</sup> и другія тайныя общества, и „конституціонные друзья“ Пушкина не посвятили его въ Каменѣвъ сокровенную глубь своихъ замысловъ. Но все же мы не можемъ слѣдовать за Бѣлинскимъ и Зайцевымъ въ пренебрежительномъ отношеніи къ политическимъ идеямъ и стихотвореніямъ Пушкина-юноши, какъ къ ребяческимъ стишкамъ, хотя бы уже потому, что на даровитаго и мыслящаго юношу взирали съ интересомъ и надеждами даже такие почтенные вожди старшихъ поколѣній, какъ Державинъ и Карамзинъ, и болѣе молодой Жуковскій, и вообще произведенія юнаго поэта производили много шума.

Кромѣ своего элленизма и выраженія симпатичныхъ для Пушкина политическихъ идей, А. Шенѣе привлекалъ нашего поэта также и соотвѣтствиемъ настроенію и эстетическимъ вкусамъ послѣдняго, какъ пѣвецъ любви, природы и грусти во вкусѣ перелома, происшедшаго въ концѣ XVIII в. Уже въ своихъ произведеніяхъ съ античнымъ колоритомъ Шенѣе выражалъ нерѣдко чувствованія, которыхъ могутъ переживать и новые люди, напр., томленіе молодой души, охваченной непреодолимою любовью, и впадалъ при этомъ въ недостатокъ, общиі ему съ нѣкоторыми изъ его современниковъ: онъ слишкомъ любилъ въ классической древности нездоровыій эротизмъ, нравившійся Парни, Bertin-у, Lebrun-у и т. п. Шенѣе оказался, далѣе, сыномъ Руссо, перенявъ у послѣдняго культь чувствительности. Подъ вліяніемъ Руссо, Шенѣе сталъ болѣе оригинальнымъ поэтомъ въ воспѣваніи друзей, своихъ возлюбленныхъ, природы и смерти: у него есть уже стихотворенія, предваряющія мягкую и жалобную гармонію Ламартинова *Озера* и выражающія сладостную горесть, наполняющую иногда наше сердце. Меланхолія („douce mélancolie, aimable mensongère“), страданіе души, обусловленное созерцаніемъ величія природы и нашей незначительно-

<sup>1)</sup> Запрещенный цензурою 1825 г. отрывокъ элегіи: „Андре Шенѣе“: I. 338.

<sup>2)</sup> Ср. И. Житецкаго: „Изъ первыхъ лѣтъ жизни Пушкина на югѣ Россіи“—К. Стар. 1899, № 5, стр. 302. Якушинъ, О. Пушкинъ. М. 1898, стр. 46—47.

сти и неосуществимости нашихъ мечтаній, достигшее наиболѣе совершенного выраженія въ новой поэзіи и прорывающееся съ большою искренностью уже у Шене, должно было прійтись по душѣ нашему поэту, также подпавшему мечтательности конца прошлого и начала нашего вѣка<sup>1)</sup>). Юность Пушкина нѣсколько походила на „печальну и задумчиву“ молодость А. Шене<sup>2)</sup>), и вполнѣ могли находить откликъ въ сердцѣ нашего поэта сътованія Шене о столь быстро умчавшейся молодости, обѣ исчезнувшихъ ея прекрасныхъ мечтахъ, о любви, поблекшой отъ забвенія, и скорбныхъ предчувствія близкой смерти<sup>3)</sup>). Шене былъ творцомъ, между проч., элегій, т. е. лириче-

<sup>1)</sup> I, 230: Задумчивый, забавъ чуждаюсь я...

I, 269: Съ душой задумчивой...

Соч. II., I, 287:

И гулъ дубравъ горамъ передавалъ  
Мон задумчивые звуки.

I, 236: Приду ли вновь . . . . .  
Восспомнать души моей мечты?

I, 333: Простите, сумрачны сѣни,  
Гдѣ дни мои прошли въ тиши,  
Исполнены страстей и лѣни  
И сновъ задумчивыхъ души.

То же почти буквально въ „Е. О.“ (IV, xlvi)—III, 37: ...Дни мои текли, исполнены... сновъ задумчивой души“. И т. п.

<sup>2)</sup> Triste et pensive jeunesse, по выражению Шене.

<sup>3)</sup> Ср. съ цитованными выше элегическими стихами Пушкина слова, влагаемыя въ уста Шене (I, 393—340):

„ . . . . Надежды и мечты,  
И слезы и любовь, друзья, сіи листы  
Всю жизнь мою хранить . . . . .“  
Пора весны его съ любовіемъ, тоской  
Промчалась передъ нимъ... Красавицъ томны очи,  
И лѣсни, и пиры, и пламенные ночи,  
Все вмѣстѣ ожило...  
„Куда, куда завлекъ меня враждебный гений?  
Рожденный для любви, для мирныхъ искушеній,  
Зачѣмъ я покидалъ безвестной жизни сѣни,  
Свободу и друзей, и сладостную лѣни?  
Судьба делала мою златую юность,  
Безпечною рукой мева вѣничала радость,

скаго рода, который такъ любилъ и Пушкинъ, защищавшій элегію „вѣнокъ убогій“ противъ строгаго критика, отстаивавшаго оды и кричавшаго:

. . . . . „да перестаньте плакать,  
И все одно и то же квакать,  
Жалѣть о прежнемъ, о быломъ:  
Довольно, пойте о другомъ.

Въ элегіи Пушкинъ усматривалъ созданіе по преимуществу нашего вѣка, между тѣмъ какъ оды писались

. . . . . въ мощны годы,  
Какъ было встарь заведено <sup>1)</sup>).

Пушкинъ стоялъ за индивидуализмъ въ поэзіи, за права поэта создавать свои собственные темы, выражать свои чувства. Это былъ частный вопросъ, ходившій въ болѣе общій—о призваніи и назначеніи поэта и обь отношеніи его къ обществу. А Шене подавалъ поводъ къ постановкѣ и этого болѣе общаго вопроса, между прочимъ—своими „Ямбами“, или обличительными стихотвореніями, и своей судьбой. А. Шене явилъ собою для Пушкина достойнѣйшій примѣръ независимости мысли и слова поэта-гражданина, мужественно отстаивающаго свои идеи въ виду „буйной слѣпоты“, „равнодушной толпы“, а не только противъ „мощнаго злодѣя“ и „тирана“. Печальная участъ А. Шене разительно также показывала, какъ иногда „люди платятъ черной неблагодарностью поэтамъ, открывашимъ имъ идеалы“ <sup>2)</sup>, къ каковымъ Пушкинъ причислялъ, конечно, и себя <sup>3)</sup>). Отъ А. Шене некоторые выводятъ ученіе о „независимости поэтическаго вдохновенія отъ какихъ-либо постороннихъ ему цѣлей“ и о „вознагражденіи имъ поэта за ту безотзыvность, которую встрѣчаетъ онъ у людей“ Подобно Туманскому и Козлову, Пушкинъ

И муга чистая дѣлила мой досугъ:  
На шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ,  
Я сладко оглашалъ и смѣхомъ, и стихами  
Сѣвъ, охраненную домашними богами“.

Читая это, какъ бы слышите повѣствованіе Пушкина о его собственной юности.

<sup>1)</sup> III, 314 (Е. О., IV, xxxii—xxxiii).

<sup>2)</sup> Зап. Смирновой, I, 196. Пушкинъ сближалъ себя съ Шене (VII, 159 и 168).

<sup>3)</sup> Мы видѣли, что, по мнѣнію Пушкина, „цѣль художества есть идеаль“.

перевель стихотвореніе Шене: „близъ мѣсть, гдѣ царствуетъ Венеція златая“, изображающее пѣвца, который

. . . . любить пѣснь свою; поеть онъ для забавы,  
Безъ дальнихъ умысловъ; не вѣдаетъ ни славы,  
Ни страха, ни надеждъ, и тихой музы полнъ  
Умѣетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ.  
На морѣ жизненномъ, гдѣ бури такъ жестоко  
Преслѣдуютъ во мглѣ мой парусъ одинокій,  
Какъ онъ, безъ отзыва утѣшно я пою,  
И тайные стихи обдумывать люблю<sup>1)</sup>).

Это стихотвореніе сближаются со стихотвореніями Пушкина, относящимся къ тому же 1827 году, „Соловей“ и „Поэтъ“ (Пока не требуется поэта и т. д.). Тогда же пришла Пушкину первая мысль знаменитаго стихотворенія „Черни“ (1828),<sup>2)</sup> въ которомъ поэтъ гордо и презрительно отвѣчаетъ на требованіе „тупой черни“, „бесмысленаго, непросвѣщенаго народа“, чтобы пѣсня поэта приносила пользу, „исправляла сердца собратьевъ“, и которое заключено, повидимому—въ духѣ теоріи искусства для искусства<sup>3)</sup>, словами:

Не для житейскаго волненія,  
Не для корысти, не для битвъ,  
Мы рождены для вдохновенія,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ<sup>4)</sup>.

Такимъ образомъ, какъ будто оказывается что, у А. Шене была почерпнута Пушкинымъ мысль, ставшая исходнымъ пунктомъ ряда

<sup>1)</sup>, II, 22. У Шене (*Oeuvres poétiques de André de Chénier. Avec une notice et des notes par M. Gabriel de Chénier, T. I. Par. MDCCCLXXIV, p. 129*) послѣднимъ четыремъ стихамъ Пушкина соответствуютъ:

. . . . . Comme lui je me plais à chanter  
Les rustiques chansons que j'aime à répéter.  
Adoucissent pour moi la route de la vie.  
Route amère et souvent de naufrages suivie.

Ср. однако тамъ же р. 254.

<sup>2)</sup> Поливановъ, Соч. Пушкина, I, 245 и 260. Народъ, имѣющій, по словамъ поэта, для своей глупости и злобы „бичи, темницы, топоры“—не французы ли, возведши А. Шене на плаху?

<sup>3)</sup> См. выше—въ I-й главѣ.

<sup>4)</sup> II, 50.

другихъ, закончившихся какъ бы провозглашенiemъ теориi искусства для искусства<sup>1)</sup>.

Дають и другое объяснение стихотворению „Чернь“. „По словамъ Шевырева, Пушкинъ написалъ эту піесу подъ вліяніемъ художественной теоріи Шеллинга, проповѣдовавшей освобожденіе искусства, и съ которойю Пушкинъ познакомился въ кружкѣ Веневитинова. Мнѣніе Шевырева было принято Анненковымъ и положено въ основу его суждений о позднейшой поэтической дѣятельности Пушкина“<sup>2)</sup>.

Въ связь съ этимъ стихотвореніемъ, заканчивающимъ словами о томъ, что поэты *рождены*, „недля житейскаго волненья“, а для „вдохновенья и молитвъ“, интересно, кажется намъ, ставить написанное двумя годами раньше стихотвореніе „Пророкъ“, въ которомъ поэтъ представлена внявшимъ

неба содроганье,  
И горній ангеловъ полетъ,

получившимъ свыше „жало мудрый змѣй“, вмѣсто сердца — „угль, пылающій огнемъ“, и долженствующимъ, по велѣнію Божію, „глаголомъ жечь сердца людей“<sup>3</sup>). Только принимая во вниманіе совокупность всѣхъ названныхъ стихотвореній Пушкина, можно составить правильное понятіе о взглядѣ его на призваніе поэта, взглядѣ, оставшемся съ 1826 г. неизмѣннымъ<sup>4</sup>) и отличающемся значительнымъ своеобразіемъ при всемъ кажущемся сходствѣ его съ подобными же идеями английскаго поэта Кольриджа, который также былъ знакомъ съ воззрѣніями Шеллинга, и польскаго Мицкевича<sup>5</sup>). Только обративъ вни-

<sup>1)</sup> Ср. у А. Н. Пыпина Истор. р. лит., т. IV, Сыб. 1899, стр. 382 и слѣд.

<sup>2)</sup> .И. Н. Майкова Пушкинъ, стр. 343—344.

<sup>3)</sup> II, 2—3. См. объ этомъ стихотвореніи Н. Ф. Сумцова Этюды объ А. С. Пушкинѣ, вып. I, Варш. 1893, стр. 1—15.

<sup>4)</sup> II, 190 (1836):

*Вельмию Божию, о муга, будь послушна.  
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,  
Хвалу и клевету приемли равнолушно  
И не оспаривай глупца.*

<sup>5)</sup> Вкратцѣ см. о нихъ въ замѣткѣ Е. Рогебовича: „Gdzie jest zrodo wiary Mickiewicza w godnoścь proroczą poetы?”—Pamiętnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewicza, rocznik VI, We Lwowie 1898, str. 310—315.

маніе вдобавокъ на юношескія стихотворенія Пушкина съ ихъ толками о „черни и толпѣ непросвѣщенной“<sup>1)</sup>, возможно понять степень самостоятельности, созрѣваніе Пушкинской теоріи, въ самомъ сердцѣ ея поэта происхожденіе и постепенное видоизмѣненіе. Что до Мицкевича, то вѣроятнѣе всего, что мысль о пророческомъ служеніи поэта онъ могъ почерпнуть въ живомъ общеніи съ Пушкинымъ, у которого она была уже во вполнѣ готовомъ видѣ въ декабрѣ 1825 г. Пушкинъ могъ знать Кольриджа уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ благодаря Н. Н. Раевскому<sup>2)</sup>, но и помимо этого англійского воздействиа онъ могъ проникнуться величавымъ представлениемъ поэта въ образѣ пророка благодаря чтенію бібліи, которую онъ сталъ интересоваться съ 1824 г.<sup>3)</sup>, и сближенію своего положенія въ изгнаніи съ судбою біблейскихъ пророковъ, обличителей царскаго нечестія<sup>4)</sup>. Противо-

<sup>1)</sup> Уже въ посланіи „Къ П. П. Каверину“ (1817 г.—Соч. II., I, 258) читаемъ  
И черни презирая ревниво роптанье.

Ср. тамъ же I, 265: Пусть чернь слѣпая суетится...

Затѣмъ въ „Деревнѣ“ 1819 г. (I, 205):

Я здѣсь отъ суетныхъ оковъ освобожденный,  
Учуси въ истинѣ блаженство находить...  
Роптанью не внимать толпы непросвѣщенной...

Въ стих. „Никитѣ Всеволод. Всеволожскому“ (1810—I, 209):

Итакъ, отъ нашихъ береговъ,  
Отъ мертвай области рабовъ,  
Карапальства, прихотей и моды  
Ты скачешь въ мрачную Москву...;

„Кн. А. М. Горчакову“ (также 1819 г.—I, 211):

Опасною прельщеній суетой,  
Терялъ я жизнъ, и чувства и покой;  
Но угорься въ чаду большого счастья  
И отдохнуть убрался я домой. И т. п.

<sup>2)</sup> См. у Л. Н. Майкова, Пушкинъ, стр. 144, 149—151. Пушкинъ „перечитывалъ Кольриджа“ въ 1830 г.: V, 187.

<sup>3)</sup> Въ мартѣ 1824 г. Пушкинъ писалъ изъ Одессы (VII, 74): „Читалъ Біблію, святой духъ иногда мнѣ не по сердцу“, а осенью того же года изъ Михайловскаго (VII, 92): „Біблію, біблію! и непремѣнно французскую“; ср. еще ib., 98; Зап. Смирновой, I, 266—267—о заимствованіи идеи „Пророка“ изъ Іезекіила (?) и тамъ же 140. Незелено въ, А. С. Пушкинъ въ его поэзіи, Спб. 1882, стр. 246—247, указалъ для „Пророка“ на 6-ю главу пророка Исаіи.

<sup>4)</sup> См. VII, 168 („Я пророкъ“ и проч.) и выше, во вступленіи, ссылку на II, 3, где приведено свѣдѣніе о томъ, что стихотв. „Пророкъ“ оканчивалось стихами:

Возстань, возстань, пророкъ Россіи!  
Позорной ризой облекись  
И съ вервемъ вкругъ смиренной выи  
Къ царю . . . . . явись!

положение же поэта неразумной толпѣ также естественно развилось изъ тяжелаго личнаго опыта нашего поэта и всего, что съ раннихъ лѣтъ довелось ему испытать

Въ мертвящемъ упоеньѣ свѣта,  
Среди бездушныхъ гордецовъ,  
Среди блестательныхъ глупцовъ,...  
Въ семъ омутѣ, гдѣ съ вами я  
Купаюсь, милые друзья<sup>1)</sup>),

а потомъ и въ литературной критикѣ. Уже въ юные годы Пушкинъ пришелъ къ идеѣ своей обособленности, какъ поэта. Она могла вырѣбать подъ вліяніемъ изученія жизни и произведеній А. Шене<sup>2)</sup> и ученія Шеллинга и Жань-Поля Рихтера, но первое наглядное уясненіе ея Пушкинъ, по всей вѣроятности, почерпнулъ изъ жизни того же уединеннаго въ свой вѣкъ и неподатливаго Ж.-Ж.-Руссо, которому онъ былъ обязанъ столь многимъ въ своихъ основныхъ идеяхъ.

Въ индивидуализмѣ Руссо и его послѣдователей, въ томъ числѣ Андре Шене, который привлекалъ вниманіе Пушкина наравнѣ съ Байрономъ<sup>3)</sup>, и А. де-Винны<sup>4)</sup>, заключался теоретическій исходный пунктъ того ученія о правахъ самобытнаго творчества<sup>5)</sup> и о полной охранѣ поэтомъ своей духовной индивидуальности, которое постепенно все полнѣе и полнѣе развивалъ Пушкинъ и которое онъ завершилъ своимъ „Пророкомъ“<sup>6)</sup>.

<sup>1)</sup> IV, 357—358 (Е. О., VI, хлvi—хлvii); выдержку полностью см. выше.

<sup>2)</sup> Выше приведены уже изъ Зап. Смирновой, I, 196, слова Пушкина: „Альфредъ де-Винни говорилъ кому-то, что люди платить черною неблагодарностью поэтамъ, от-крывающимъ имъ идеалы. Говорилъ онъ это по поводу Андрея Шене и его смерти“.

<sup>3)</sup> I, 337 („Андрей Шене“):

Межъ тѣмъ, какъ изумленный міръ  
На урну Байрона взираетъ...  
Зоветъ меня другая тѣнь.

<sup>4)</sup> „Il lit dans les astres la route que nous montre le doigt du Seigneur“, вос-кликаетъ Чаттертонъ о поэте.

<sup>5)</sup> Въ „Египетскихъ ночахъ“ Чарскій назначаетъ темой импровизаціи: „По-эть самъ избираетъ предметы для своихъ избенъ, толпа не имѣть права управ-лять его вдохновеніемъ“ (IV, 392) Чарскій — самъ Пушкинъ: Майковъ, Пуш-кинъ, 11.

<sup>6)</sup> Въ „Пророкѣ“ ученіе Пушкина о призваніи поэта достигаетъ своей вер-шины; другія стихотворенія объ отношеніи поэта къ толпѣ — лишь частное рас-крытие общаго возвышенного понятія о поэте, выражавшагося въ стихотв. „Про-рока“.

Презрѣніе къ толпѣ, неразумной, но требовавшей покорности поэта ея притязаніямъ, постоянно повторявшееся въ поэтическихъ и прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина<sup>1</sup>), было лишь однимъ изъ проявленій этого индивидуализма, отчетливо выражавшагося во второй половинѣ XVIII в. въ учени о геніяхъ и въ его *Sturm und Drang*, а въ нашемъ столѣтіи въ учени о герояхъ въ исторіи, которое раздѣлялъ и Пушкинъ<sup>2</sup>). Подъ вліяніемъ его Пушкинъ выработалъ учение о поэты, съ виду рѣзко отличное отъ Толстовскаго: у Л. Н. Толстого произведеніе искусства должно дѣйствовать заразительно на лицъ, для которыхъ предназначается, а у Пушкина поэту, „шлющему отвѣтъ“ всему, чему внѣмлетъ, „нѣть отзыва“, какъ эху<sup>3</sup>), съ которымъ ранѣе сближалъ себя Пушкинъ, называя себя эхомъ своего народа<sup>4</sup>): поэтъ „утѣшио“ поетъ, но „безъ отзыва“<sup>5</sup>); онъ одинокъ<sup>6</sup>).

Само собою разумѣется, что, отстаивая права поэта на самостоятельность творчества и свободу этого творчества отъ навязыванія ему темъ толпою, Пушкинъ былъ далекъ отъ узкаго пониманія учения объ искусствѣ для искусства, и его собственная дѣятельность ни въ одинъ изъ периодовъ ея не могла бы подойти подъ такое узкое опредѣленіе. Во-вторыхъ, основной принципъ теоріи Пушкина, защита независимости творчества отъ давленія толпы, вѣренъ и нисколько не исключаетъ служенія обществу, которое бываетъ нерѣдко, какъ то было и во время Пушкина, гораздо ниже уровня идей передовыхъ мыслителей и поэтовъ. Въ основѣ воззрѣнія Пушкина на поэта скрывается глубокая мысль, что нѣть надобности замыкать поэзію въ узкія

<sup>1</sup>) См., напр., V, 247: „Публика, о которой Шамфоръ спрашивалъ такъ забавно: сколько нужно глупцовъ, чтобы составить публику...“ Ранѣе тѣ же слова читаемъ въ перепискѣ кн. П. А. Виземскаго: Остафьевскій архивъ, I, 291.

<sup>2</sup>) Зап. Смирновой, I, 252, слова Пушкина: „Существуетъ одно основное положеніе: это, что міромъ управляла мысль; разумная воля единицъ или меньшинства управляла человѣчествомъ“.

<sup>3</sup>) П, 128: „Эхо“ (1831).

<sup>4</sup>) I, 208: И неподкупный голосъ мой  
Быть эхомъ русскаго народа.

<sup>5</sup>) См. выше стихотв. „Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая...“

<sup>6</sup>) Оттуда одобрение Пушкинымъ „Моисея“ Альфреда де-Винни: „Поэтъ „прекрасно соналъ то чувство одиночества, которое долженъ быть испытывать Моисей среди людей, такъ мало понимавшихъ его“ (Зап. Смирн., I, 195). Иначе, повидимому, относился Пушкинъ къ „Чаттертону“, гдѣ также, какъ и въ „Стелло“, провозглашается возвышенная роль поэта; см. „Зап. Смирн.“, 239 и слѣд.

рамки поучительности, требование которой составляетъ характерную черту части русскаго общества XIX в.<sup>1</sup>), что истинная поэзія, какъ изображеніе жизни, всегда поучительна, и что истина заключается не столько въ прямыхъ и ощутительныхъ отвѣтахъ на запросъ „поден-щика, раба нужды, заботъ“, ищущаго „пользы все“<sup>2</sup>), сколько въ глубинѣ возвышенаго человѣческаго духа, въ созерцаніяхъ и чаяніяхъ его внутренняго я, не удаляющагося отъ „житейскаго волненія“, но лишь становящагося выше его въ своемъ вдохновенномъ отноше-ніи къ нему. Независимая личность, рожденная „для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ“, дѣйствующая по своему разумѣнію, совершилъ неизмѣримо больше, чѣмъ вполнѣ соотвѣтствующая уровню „хладнаго и надменнаго народа“. Негодованіе поэта относится именно къ „толпѣ хладной, ничтожной и глухой“<sup>3</sup>), а не къ народу вообще. Отъ послѣдняго Пушкинъ не думалъ замыкаться: какъ въ юности онъ хотѣлъ, его

... чтобы поняли  
Всѣ, отъ мала до великаго<sup>4)</sup>,

такъ и потомъ онъ ставилъ задачею поэта быть пророкомъ, а слѣдов. и обличителемъ, „глаголомъ жечь сердца людей“ и въ „Памятникѣ“ утѣшался тѣмъ, что его будуть знать

И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикий  
Тунгузъ, и другъ степей Калмыкъ<sup>5).</sup>

<sup>1)</sup> См. выше. Это отметилъ и г. Венгеровъ въ своей характеристицѣ русской литературы XIX в.

<sup>2)</sup> II, 50: „Чернь“. См. выше выдержку изъ V, 302 о томъ, что „цѣль художества есть идеаль, а не нравоученіе“.

<sup>3)</sup> I, 287 (1822 г.):

Я говорилъ предъ хладною толпой,  
Но для толпы ничтожной и глухой  
Смѣшонъ гласть сердца благородный,—  
Я замолчалъ...

Ср. замѣчаніе объ „обезьянахъ просвѣщенія“, о „сольтской черни“ въ „Рославлевѣ“ (1831 г.—IV, 113) и не разъ выступающей въ его поэзіи протестъ противъ неѣстѣстствъ „общественаго мнѣнія“ (напр., III, 345—Е. О., VI, x). См. еще Сумцова Этюды III, 10 и Зап. Смирн. I, 293.

<sup>4)</sup> Соч. II, I, 95.

<sup>5)</sup> П., 190. Ср. выше о желаниях Пушкина, чтобы крестьяне поняли когда-нибудь его „Бориса Годунова“.

Этимъ вполнѣ устраивается довольно распространенное неправильное толкованіе стиха:

Поэтъ, не дорожи любовію народной.

Поэтъ не нуждался въ любви лишь „строптивыхъ“, но не иныхъ: еще въ 1824 г. онъ писалъ:

Съ небесной книги списокъ данъ  
Тебѣ, пророкъ, не для строптивыхъ:  
Спокойно возвѣщай коранъ,  
Не понуждая нечестивыхъ<sup>1)</sup>!

Итакъ, не кому иному, какъ французскимъ корифеямъ XVIII в. и другимъ писателямъ того времени, Пушкинъ былъ обязанъ некоторыми изъ важнейшихъ своихъ мыслей и стремлений въ своей поэзіи: идею протesta противъ печальныхъ условій общественного нестроенія и заботою о пробужденіи освободительныхъ началъ въ русскомъ обществѣ съ одной стороны, а съ другой—сомнѣніями въ силахъ и способности общества воспріять эти начала, и потому—разладомъ со своей средой и стремлениемъ найти выходъ изъ такого томительного состоянія, между проч.—въ самомъ себѣ. Всѣ эти могучія внушенія, исходившія изъ произведеній Вольтера, Руссо, А. Шенье и другихъ, охватывавшія Пушкина въ самомъ раннемъ и затѣмъ юношескомъ возрастѣ, удивительно совпадали съ условіями русской жизни при имп. Александрѣ I, съ направленіемъ кружковъ, въ которыхъ вращался юный Пушкинъ по выходѣ изъ лицея, и съ обстоятельствами личной жизни поэта, и потому получили особую силу въ его поэзіи. Нашъ поэтъ, рано

..... изгнаникъ самовольный,  
И свѣтомъ, и собой, и жизнью недовольный<sup>2)</sup>),

жаждалъ выхода изъ душной атмосферы окружавшей его жизни, по-мышлялъ—было въ одно время о бѣгствѣ изъ Россіи, но нашелъ, наконецъ, исходъ, болѣе достойный его гenія: онъ обрѣлъ указаніе на путь къ спасительному выходу въ той же литературѣ, которая впервые натолкнула его мысль на всѣ тяжкія проблемы жизни, т. е. во французской литературѣ XVIII в., но, какъ увидимъ, собственными

<sup>1)</sup> I, 324. Это та же „свѣтская чернь“ (III, 385—Е. О., VIII, x).

<sup>2)</sup> I, 259.

силами и подъ вліяніемъ истинно народнаго чутъя развилъ и углубилъ эти указанія въ полныхъ глубокаго смысла и реальности обращенія къ родной деревнѣ и къ пророческому призванію поэта.

Послѣ всего, что дали Пушкину великіе французскіе писатели XVII—XVIII вв. и примыкавшіе къ нимъ другіе писатели XVIII-го и начала XIX-го стол., и что прибавилъ онъ своего къ ихъ идеамъ, нашъ поэтъ не могъ найти много существенно новыхъ мотивовъ вдохновенія у своихъ западныхъ современниковъ, въ томъ числѣ и у Шатобріана и Байрона. Величайшій же и старшій изъ этихъ современниковъ Пушкина, Гёте, по замѣчанію самого Пушкина, принадлежалъ болѣе XVIII-му вѣку, чѣмъ XIX-му, тѣми сторонами своего творчества и мысли, которыми наиболѣе повліали на нашего поэта.

Во главѣ старшихъ современниковъ Пушкина, кромѣ Гёте, о которомъ будетъ сказано ниже, потому что вліяніе его на Пушкина относится къ сравнительно позднѣйшему времени, слѣдуетъ поставить продолжившихъ завѣты Руссо начинательницу и начинателя французского романтизма, M-me de Staël и Шатобріана<sup>2)</sup>.

Дочь Неккера, M-me de Staël, другъ Шатобріана и Байрона, бывшая одно время возлюбленною Бенжамена Констана и изображеная послѣднимъ въ „Адольфѣ“ подъ именемъ Элленоры<sup>3)</sup>, пріобрѣла въ свое время громкую извѣстность и своею политическою дѣятельностью какъ глава вліятельнаго салона, стоявшаго въ оппозиції цѣ-

<sup>1)</sup> Уже въ 1824 г. Пушкинъ называлъ Гёте „полупокойникомъ“ (VII, 82).

<sup>2)</sup> Пушкинъ поставилъ ихъ рядомъ въ словахъ (Ш, 238—Е. О., I, ix):

Любви насть не природа учить,  
А Сталь или Шатобріанъ.

<sup>3)</sup> См. о томъ въ „Запискахъ Смирновой“, I, 308—309. Ср. подробности разговора о M-me de Staël („у Коринны только и видны, что руки да сверкающіе глаза. Въ Кориннѣ сказывалось волненіе женщины, которая хочетъ нравиться безъ красоты, но... она была несравненно лучше своей подруги, искреннѣе и простодушнѣе...“ „Г-жа де-Сталь пустилась въ описание ландшафтовъ...“ „...гений въ тюрбанѣ“) съ характеристикой ея въ „Рославлевѣ“ (напр.: „...были по большей части недовольны ею. Они видѣли въ ней толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ. Тонъ ея не понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны и рукава слишкомъ коротки... проницательные черные глаза M-me de Staël“ и т. п.; IV, 112—113). Эти и подобные совпаденія, не разъ отмѣчаемыя нами, интересны между проч. и какъ одно изъ доказательствъ подлинности и вѣрности записокъ Смирновой при некоторой неточности ихъ по мѣстамъ въ передачѣ отдельныхъ выражений.

лому ряду правительствъ, и своими литературными произведеніями, преимущественно двумя романами (о „Дельфинѣ“ и „Коринѣ“), въ которыхъ выдвигала права и новый типъ женщины, и своею критической дѣятельностію, которою обращала родную французскую литературу къ меланхоліи, мистицизму и глубинѣ содержанія литературъ германскихъ, указывая вообще на коренные вопросы литературной критики и много содѣйствуя обновленію послѣдней.

Для насъ, русскихъ, M-me de Staël представляла особый интересъ. Если не считать пріателей Екатерины II, Вольтера и энциклопедистовъ, M-me de Staël была начинательицею любовнаго отношенія французовъ къ намъ. Во время своихъ странствованій по Европѣ она посѣтила Россію, уловила многія особенности русской жизни, оцѣнила значеніе русскаго мужика<sup>1)</sup> и тепло отзывалась о многомъ русскомъ<sup>2)</sup>. Она являлась одною изъ первыхъ провозвѣстниковъ того сближенія съ Россіей, которое неоднократно было предвидуемо и потомъ въ одиночку иными французами.

Всѣ эти черты дѣятельности M-me de Staël не прошли безслѣдно для Пушкина. Онъ вѣдь принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые ее понимали, для которыхъ блестящее замѣчаніе, „сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны“<sup>3)</sup>. Онъ одѣнилъ по достоинству эту „необыкновенную, славную женщину, столь же добродушную, какъ и геніальную“, ея „умъ и чувства“<sup>4)</sup>, политическую дѣятельность,<sup>5)</sup>, ея отстаиваніе полноты правъ женщи-

<sup>1)</sup> Пушкинъ вспоминаетъ объ этомъ посѣщеніи въ „Рославлевѣ“ (IV, 113): „...она видѣла нашъ добрый, простой народъ, и понимаетъ его“ и проч.—см. выше.

<sup>2)</sup> V, 23: „Читая ея книгу *Dix ans d'Ã©xil*, можно видѣть ясно, что тронутая ласковымъ приемомъ русскихъ бояръ, она не высказала всего, что бросилось ей въ глаза. Не смѣю въ томъ укорять краснорѣчивую, благородную чужеземку, которая первая отдала полную справедливость русскому народу, вѣчному предмету величественной клеветы писателей иностранныхъ. Эта снискодительность, которую не смѣеть порицать авторъ рукописи, именно и составляетъ главную прелестъ той части книги, которая посвящена описанію нашего отечества. Г-жа Сталь оставила Россію, какъ священное убѣжище, какъ семейство, въ которое она была принята съ довѣренностью и радушіемъ. Исполння долгъ благороднаго сердца, она говорить объ насъ съ уваженіемъ и скромностью, съ полнотою душевною хвалить, порицаетъ осторожно, не выносить сора изъ избы“.

<sup>3)</sup> IV, 113.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup>, V, 24: „...удаленная отъ всего милаго ея сердцу, семь лѣтъ гонимая дѣятельнымъ деспотизмомъ Наполеона, принимая мучительное участіе въ политическомъ состояніи Европы“.... IV, 113: „...десять лѣтъ гонимая Наполеономъ, благородная

ны<sup>1)</sup> и идеальный образъ Коринны, въ которой она воспроизвела самое себя, мечтательную, благородную искательницу невозможного<sup>2)</sup>.

Подъ вліяніемъ критическихъ суждений де-Сталь Пушкинъ могъ вполнѣ отрѣшиться отъ узкости литературныхъ мнѣній Лагарпа,

добрая M-me de Staël, наслѣдъ убѣжавшая подъ покровительство русскаго императора...“ V, 25: „Эту барыню удостоилъ Наполеонъ гоненія, монархи довѣренности, Европа уваженія“.

<sup>1)</sup> IV, 115: въ отвѣтъ на замѣчаніе: „Пусть мужчины себѣ дерутся и кричатъ о политикѣ; женщины на войну не ходятъ, и имъ дѣла нѣть до Бонапарта“, Полина сказала: „Стыдись, развѣ женщины не имѣютъ отечества? развѣ нѣть у нихъ отцовъ, братьевъ, мужей? развѣ кровь русская для насъ чужда? Или ты полагаешь, что мы рождены для того только, чтобы на балѣ насъ вергѣли въ экосезахъ, а дома заставили вышивать по канѣ собачекъ? Нѣть! Я знаю, какое вліяніе женщина можетъ имѣть на мнѣніе общественное. Я не признаю уничтоженія, къ которому присуждаютъ насъ. Посмотри на M-me de Staël. Наполеонъ боролся съ нею, какъ съ непріятельскою силой.... А Шарлота Кордэ? а наша Мареа Посадница? а княгиня Дашикова? Чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостю души и рѣшительностью“. Должно, впрочемъ, замѣтить, что послѣ этихъ словъ читаемъ такое замѣчаніе ея подруги: „Увы, къ чему привели ее необыкновенные качества души и мужественная возвышенность ума?“ Затѣмъ приведены слова: „Il n'est de bonheur que dans les voies communes“. о которыхъ см. ниже.

<sup>2)</sup> Пушкинъ называетъ разъ де-Сталь „сочинительницей Коринны“ (IV, 112); см. еще V, 24: „Какое сношеніе имѣютъ дѣвѣ страницы „Записокъ“ съ Дельфиной, Коринною, Взглядомъ на французскую революцію и проч.“ Г. Сиповскій (Р. Стар. 1899, № 5, стр. 324 и сл., отд. отт., 16) находитъ, что „поразительно близка къ Татьянѣ Дельфина г-жи Сталь—и по характеру и по судьбѣ... Этотъ образъ положительно необходимъ для критики Пушкинской Татьяны, такъ какъ онъ уясняетъ многія стороны ея души, остающіяся безъ этого сближенія въ тѣни... Какъ и „Дельфина“, романъ Пушкина—чисто „психологический“, въ которомъ сквозить очень ясная тенденція автора привести ту же идею, что вложена въ романъ г-жи Сталь. Въ лицѣ нашей Татьяны тоже изображена борьба личности со средой, борьба, извѣстная намъ изъ жизни Дельфина“. Мнѣніе г. Сиповскаго страждеть преувеличеніемъ. Общая идея Пушкинского романа, не исключая борьбы самого поэта съ „общественнымъ мнѣніемъ“, гораздо шире опредѣленія г. Сиповскаго: это—„шutoчное описание правовъ“ (III, 420) со включеніемъ, конечно, психологического анализа характеровъ героя и героини, принадлежавшаго къ техникѣ повѣстовательныхъ произведеній, какъ ее понималъ Пушкинъ. Татьяна не можетъ называться представительницей созвателной „борьбы личности со средой“—борьбы, какую вѣль самъ поэтъ и которую въ эпической формѣ выразилъ впервые въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“, а не въ „Онѣгинѣ“. Сходство между Татьяной и Дельфиной не простирается на всѣ подробности, которые указываетъ г. Сиповскій. Такъ, не ясно, почему бы и у Татьяны признать *mauvaise tête*. Но, конечно, можетъ быть, не безъ знакомства съ типами романтическихъ героинь въ романахъ и въ жизни Запада конца прошлаго и настоящаго вѣка (*Valérie* г-жи Криднеръ и *Corinne* M-me de Staël) Пушкинъ вознесъ высоко образъ женщины съ идеальными стремленіями, при

бывшихъ въ Царскосельскомъ лицѣй учебникомъ словесности<sup>1)</sup> и законодательнымъ кодексомъ литературной критики, и вообще могъ замѣтить всю рутину, все ничтожество французскихъ критиковъ времени имперіи, продолжавшихъ поддерживать преданія ложнаго изящества и исключительного вкуса, и педантизмъ академиковъ. Благодаря отчасти M-me de Staël онъ могъ лучше усмотреть незначительность французской литературы начала настоящаго вѣка, вращавшейся въ узкомъ кругу отжившихъ литературныхъ формъ и идей<sup>2)</sup>, и усвоить мнѣніе о выдающемся значеніи литературы германскихъ, неоднократно повторяемое имъ съ 20-хъ годовъ<sup>3)</sup>.

Чемъ однако его Татьяна реальнѣе и въ то же время выше романтическихъ героинь Запада (м. о послѣднихъ статью R. Debevert: „Femmes sensibles et exubérances romantiques“ въ Revue des Revues, 15 Septembre 1899): въ ней нѣтъ излишка восторженности, и не признаетъ она и теоріи свободной любви. Что до развязки „Онѣгина“, то она не есть сколокъ съ заключеніемъ романа де-Сталь, и см. объ этой развязкѣ объясненіе Пушкина въ Зап. Смирновой, I, 311: „я какъ-то не вижу развязки, конца, который бы былъ бы логичнымъ, возможнымъ, естественнымъ“. Пушкинъ указывалъ затѣмъ на то, что „впрочемъ, Горе отъ ума не имѣть развязки, Ми-зантропъ также, Байроновскій Донъ-Жуанъ тоже ея лишенъ“...

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, I, 70: въ библіотекѣ его за цѣлымъ рядомъ поэтовъ,

. . . . . хмурясь важно,  
Ихъ грозный аристархъ  
Является отважно  
Въ шестнадцати томахъ:  
Хоть страшно стихотворчу  
Лагарпа видѣть вкусъ,  
Но часто, признаюсь,  
Надъ нимъ я время трачу.

О переводаѣ Пушкинъмъ статьи „Объ эпиграммѣ“ изъ „Cours de Littérature“ Лагарпа см. Майкова, Пушкинъ, стр. 47, 87. Пушкинъ выказываетъ знакомство и съ другими произведеніями Лагарпа (VII, 157).

<sup>2)</sup> V, 252: „французская обмелѣвшая словесность envahit tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писаки, грибы, выросшіе у корней дубовъ: Доратъ, Флоріанъ, Мармонтель, Гімаръ, M-me Жаннисъ овладѣваются русской словесностію...“ Пушкинъ принялъ однако подъ свою защиту новѣйшую французскую литературу противъ нападокъ Лобанова въ 1836 г. (V, 300 и слѣд.). Объ отношеніи Пушкина къ младшимъ французскимъ современникамъ его будетъ сказано далѣе.

<sup>3)</sup> Съ сочиненіями де-Сталь Пушкинъ былъ несомнѣнно знакомъ уже съ 1822 г. (V, 14). Въ письмѣ 1822 г. (VII, 34 читаємъ): „Англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной“. V, 303, 1836 г.: „нынѣ вліяніе французской словесности было слабо“ и т. д. Ср. сходныя сужденія кн. Ваземского.

Не остались незамѣченными и наблюденія де-Сталь надъ русскою жизнью, и Пушкинъ не разъ упоминаетъ о нихъ<sup>1)</sup>. Его тронула сердечность отзывовъ этой писательницы о Россіи, и потому въ отвѣтъ на „журнальную статейку А. Муханова“ о г-жѣ де-Сталь, „не весьма острую и весьма неприличную“, Пушкинъ отвѣтилъ рѣзкой замѣткой, которую заключилъ стихомъ:

Уваженъ хочешь быть, умѣй другихъ уважить<sup>2)</sup>,  
и объясняй эту рѣзкость въ письмѣ къ кн. П. А. Вяземскому такъ:  
„М-те Сталь наша, не тронь ея“<sup>3)</sup>.

Вообще Пушкинъ, прощаю, повидимому, подобно Парижскому обществу, слабости M-me de Staël, проистекавшія изъ ея мягкаго сердца, искавшаго и не находившаго покоя и счастія въ любви, относился съ искреннимъ уваженіемъ къ этой женщинѣ, какъ къ немногимъ.

Въ годы созрѣванія таланта Пушкина и западноевропейская поэзія и наша пребывали не столько подъ вліяніемъ M-me de Staël, сколько подъ обаяніемъ неопредѣленной и вѣчно неудовлетворенной меланхоліи Шатобрана<sup>4)</sup> и гордаго титаническаго демонизма Байрона.

Пушкинъ не избѣжалъ воздѣйствія ни того, ни другого, но нельзя не признать, что оно оказалось сравнительно слабымъ и доставило не такъ много содерjanія и мысли вдохновенію нашего поэта.

Потомокъ стариннаго дворянскаго рода, явившійся на рубежѣ двухъ эпохъ и послѣдній, по его собственному выраженію, свидѣтель феодальныхъ нравовъ („le dernier témoin des moeurs féodales“),

<sup>1)</sup> См., напр., III, 200 (прим. къ Е. О., I, хлп); V, 227.

<sup>2)</sup> V, 23—25: „О Г-жѣ Сталь и Г-нѣ Мухановѣ“.

<sup>3)</sup> VII, 154.

<sup>4)</sup> Пушкинъ признавалъ Шатобрана первымъ французскимъ писателемъ своего времени и не совсѣмъ благоволилъ, какъ то вскорѣ увидимъ, къ романтикамъ, выступившимъ въ двадцатыхъ годахъ, считая и Гюго не первостепеннымъ талантомъ. „Пушкинъ находитъ, что проза Шатобрана стоитъ всѣхъ стиховъ молодыхъ поэтовъ съ 1815 г. У него есть проблески генія, которыхъ Пушкинъ не находитъ у поэтовъ“ (Зап. Смирн., I, 140). По словамъ Пушкина, относящимся къ 1836 году (V, 301), французскій народъ „и нынѣ гордится Шатобраномъ и Балланшемъ“. Въ слѣдующемъ году Пушкинъ опять называетъ Шатобрана „первымъ изъ французскихъ писателей“, „первымъ мастеромъ своего дѣла“ (V, 361), „первымъ изъ современныхъ французскихъ писателей, учителемъ всего пишущаго поколѣнія“, (V, 366). Послѣднее выраженіе весьма достопримѣчательно. Оно вѣрно въ отношеніи французскихъ романтиковъ, лиризмъ которыхъ ведѣтъ начало съ Шатобрана, и въ то же время, быть можетъ, не лишено значенія для уразумѣнія западноевропейскихъ отношеній поэзіи Пушкина.

постоянно иносившій скорбь въ своей гордой душѣ, а также индивидуалистъ, Шатобріанъ отчасти возобновилъ во Франції начинанія Руссо и Бернардена де Сенъ Пьеръ, прибавивъ отъ себя порывы лояльности и христіанскаго чувства. Онъ направлялъ къ христіанству съ эстетической его стороны, къ готикѣ, къ среднимъ вѣкамъ, былъ однимъ изъ начинателей неокатолицизма, вдохновителемъ такихъ поэтовъ, какъ Гюго и Флоберъ, и историковъ, какъ Огюстэнъ Тьери, но его мечта была мало успокоительна, и мало приносили отрады душѣ возгласы въ роды слѣдующаго: „Поднимитесь, желанныя бури, долженствующія унести Ренэ въ пространства другой жизни“.. Не охватила души Шатобріана вполнѣ ни религіозная вѣра, ни легитимная идея. Онъ испытывалъ въ своей жизни короткіе моменты счастія, но продолжительнѣе были въ ней приступы, меланхоліи. Послѣдняя внѣдрилась со времени Ренэ во французскую литературу, ставъ какъ бы микробомъ ея пессимистического настроенія: сътворенія Шатобріана на судьбу были много разъ повторямы французскими поэтами нашего вѣка, и его разочарованіе (*désenchantement*) отзывается до нашихъ дней. Это—потому, что печаль Шатобріана, воплощенная въ поэтической личности его Ренэ, была въ высшей степени характернымъ и живымъ явлениемъ европейской жизни въ эпоху крупнаго перелома, ознаменовавшаго конецъ XVIII-го и начало XIX-го стол. и не утратила своей жгучести даже и теперь.

Грусть составляетъ издавна одну изъ принадлежностей русскаго народнаго характера, о чёмъ свидѣтельствуютъ хотя бы элегическія ноты нашихъ пѣсенъ, меланхолические тоны нашей музыки. Но, подъ вліяніемъ Шатобріана и затѣмъ поэтовъ сроднаго ему направленія, вѣяніе грусти пронеслось, какъ мы видѣли, съ чрезвычайною силой и въ нашей литературѣ и въ частности въ поэзіи второго десятилѣтія XIX в., какъ и во Франціи оно вытѣснило вольтерьянство, господствовавшее еще въ годы Имперіи.

Судя по выраженію Пушкина о Шатобріанѣ, какъ объ „учителѣ всего пишущаго поколѣнія“, надо думать, что и нашъ поэтъ весьма рано подпалъ вліянію автора Ренэ. Послѣдняго должны были хорошо знать въ семье Пушкиныхъ, потому что появленіе знаменитѣйшихъ произведеній Шатобріана было весьма крупнымъ событиемъ во французской литературѣ начала нашего вѣка, и ими не могли не интересоваться въ сильнѣйшей степени французскіе эмигранты, пребывавшіе въ Россіи, а вслѣдъ за этими эмигрантами и образованное

русское общество<sup>1)</sup>. Пушкинъ называлъ Шатобріана „любимымъ писателемъ“ Полины, героини повѣсти „Рославлевъ“<sup>2)</sup>, дѣйствіе которой относится къ 1811-му году. Но, кажется, съ полнымъ правомъ можно признать Шатобріана любимцемъ и самого Пушкина<sup>3)</sup>.

На ряду съ русскими поэтами, настраивавшими на грустные тоны лиру юнаго Пушкина уже въ лицейскій періодъ и вскорѣ потомъ, вѣроятно, рано оказывалъ на него вліяніе и Шатобріанъ, какъ вліяльность и на лирику Батюшкова и французскихъ романтиковъ.

Не настроеніе ли Шатобріана слышится въ такихъ раннихъ стихотвореніяхъ Пушкина, какъ „Элегія“ 1816 г.:

. . . . . Невидимой стезей  
Ушла пора веселости беспечной,  
На вѣкъ ушла, и жизни скоротечной  
Лучъ утренній блѣднѣеть надо мной.  
*Отверженный судьбой несправедливой,*  
И ласки музъ, и радость, и покой  
*Я все забылъ:* печали молчаливой  
Рука лежить надъ юною главой....  
*Миръ скученъ міръ, мнѣ страшенъ дневный свѣтъ;*  
*Иду въ лѣса, въ которыхъ жизни нѣть,*  
*Гдѣ мертвый мракъ:* я радость ненавижу,  
Во мнѣ застылъ ея минутный слѣдъ....  
Умчались вы, дни радости моей,  
Умчались вы! Невольно лютятся слезы,  
И вяну я на темномъ утрѣ дней.

О дружество, предай меня забвенью!...  
Оставь меня пустынямъ и слезамъ!<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Покровитель и другъ Пушкина, А. И. Тургеневъ бытъ, по словамъ Пушкина, „апостоломъ Бонштетена и Шатобріана въ Россіи“. Зап. Смира., I, 139.

<sup>2)</sup> IV, 115.

<sup>3)</sup> Приводимыя (въ 1831 г.) Полиною слова Шатобріана: „Il n'est de bonheur que dans les voies communes“ повторилъ въ томъ же году и самъ Пушкинъ въ одномъ изъ своихъ писемъ (VII, 260). Прямые слѣды чтенія Шатобріана встречаются не сколько разъ въ произведеніяхъ Пушкина, именно: I, 259; III, 276; V, 119.

<sup>4)</sup> Соч. П., I, 233—234. Отмѣчаемъ въ особенности такія, напоминающія приключенія Рене, интересныя выраженія, какъ: „Иду въ лѣса“, „Оставь меня пусты-

Нѣсколько лѣтъ спустя, на югѣ, Пушкинъ опять писалъ (въ по-  
сланіи Чаадаеву, 1821 г.) приближался уже къ Чайльдъ-Гаральду:

Въ странѣ, гдѣ я забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ,  
..... душъ . . . усталой,  
Брагу стѣснительныхъ условій и оковъ,  
Нетрудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ....  
Оставя шумный вругъ безумцевъ молодыхъ,  
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣль о нихъ;  
Вздохнувъ, оставилъ я другія заблужденія,  
Враговъ моихъ предаль проклятію забвенія,  
И сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,  
Для сердца новую вкушаю типину...  
Благодарю боговъ; прошелъ я мрачный путы:  
Печали раннія мою тѣснили грудь.  
Къ печалямъ я привыкъ, разсчелся я съ судьбою,  
И жизнь перенесу стоической душою<sup>1)</sup>.

намъ и слезамъ". Ср. „пустыню" въ стихотв. „Сонъ" 1816 г. См. еще въ первона-  
чальной редакціи стихотв. „Друзьямъ" того же 1816 г. (Соч. II., I, примѣч., 316):

Среди бесѣды вашей шумной  
Одинъ унылъ и мраченъ я...  
...пролетѣлъ мигъ упоеній,  
Я радость свѣтлую забылъ...;

въ „Посланіи Дельвигу" (ib., примѣч., 377):

.... для меня прошли, ували наслажденья!...  
.... все прошло на вѣкъ—и скрылись въ темну даль  
Свобода, радость, восхищеніе!

См. также зачеркнутые первоначальные стихи „Безвѣрія" (1817; Соч. II., I, при-  
мѣч., 492):

Найдите тамъ его, гдѣ илистый ручай  
Проходитъ медленно среди нагихъ полей,  
Гдѣ сосенъ вѣковыхъ таинственные сѣни  
Шумя на влажный мохъ склонили вѣчны тѣни.  
Взглядните: бродить онъ съ увидшою душой,  
Своей ужасною томимой пустотой,  
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалѣнья;  
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья...

<sup>1)</sup> I, 241. 243. Ср. въ :стихотв.: „Ты, сердцу неопытный мракъ" (1822; VII,  
LVI):

Мечтанье жизни разлюбя,  
Счастливыхъ дней не зная отъ вѣка...

Это не былъ полный подражатель Ренэ: скорбь не овладѣвала Пушкинымъ всесѣло; любовь къ жизни проявлялась у него на каждомъ шагу, хотя онъ и не боялся смерти. Нашъ поэтъ, воспѣвавшій свои

. . . . . мечты, природу и любовь,

И дружбу вѣрную, и милые предметы,

Плѣнявшіе его въ младенческія лѣты<sup>1)</sup>),

очевидно, не покончилъ съ усладами жизни, какъ не покончилъ вполнѣ съ ними и тогдашній его alter ego въ поэзіи, „Кавказскій Плѣнникъ“; но въ рѣчахъ обоихъ слышатся все-таки отзвуки печального настроенія знаменитаго Шатобрианова героя. И отчасти не при воздействиіи ли воспоминанія о послѣднемъ Пушкинъ нарисовалъ эпически образъ Плѣнника, въ которомъ изобразилъ одновременно и себя и вообще, какъ онъ выразился, „то равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту прежде временную старость души, которая сдѣлалась отличительными чертами молодежи XIX в.“<sup>2)</sup>? По крайней мѣрѣ, приключенія и „бездѣйствіе“ Плѣнника напоминаютъ Ренэ, и это бездѣйствіе не было свойственно личности самого Пушкина, хотя послѣдній не разъ изображалъ себя пѣвцомъ и другомъ „лѣни“<sup>3)</sup>. Какъ довольно близокъ къ Ренэ Кавказскій Плѣнникъ, такъ не совсѣмъ далекъ отъ него и Алею, повторяющій сверхъ того, какъ мы видѣли, тезисы Руссо. Подобно Ренэ оба Пушкинскіе героя бѣгутъ изъ цивилизованного общества, и плѣнникъ не отвѣчаетъ взаимностю на любовь дѣвы простой среды, въ которую попадаетъ. Ихъ такъ же, какъ и Ренэ, отличаетъ „бездѣйствіе и равнодушіе“, „старость души“; при этомъ однако они не одержимы страстью къ погонѣ за туманными „химерами“ Ренэ, какъ выразился *père Souël*.

<sup>1)</sup> I, 242; вмѣсто „его,“ поставленнаго мною ради лучшаго согласованія со всѣмъ изложеніемъ, въ подлинникѣ стоить „меня“.

<sup>2)</sup> Въ письмѣ Ренэ къ Селютѣ (въ „Les Natchez“) читаемъ: „une plaine incurable était au fond de mon âme... Je m'ennuie de la vie, l'ennui m'a toujours dévoré, ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point. Pasteur ou roi, qu'aurais-je fait de ma houlette ou de ma couronne? Je serais également fatigué de la gloire et du génie, du travail et du loisir, de la prospérité et de l'infortune“. Конечно, подъ приведеннымъ слова Пушкина цѣлько подходитъ и характеристика Чайльдъ-Гарольда, данная Байрономъ уже въ самомъ началѣ, но подойдутъ къ нимъ и характеры другихъ романтическихъ героевъ этого типа, напр., молодого лорда Sydenham-a въ „Adèle de Sérange“ (1793) M-me de Flahaut, постигнутаго „d'une mélancolie qui le poursuit et lui rend importuns les plaisirs de la société“.

<sup>3)</sup> См. указаніе этихъ упоминаній Пушкина о „лѣни“—у А. Н. Пыпина, Ист. р. инт., IV, 381.

А между тѣмъ Пушкинъ, повидимому, цѣнилъ не столько „блестящія“<sup>1)</sup>, „вдохновенные страницы“<sup>2)</sup> и „красоты“<sup>3)</sup> образнаго, живописнаго, звучнаго стиля Шатобріана, не столько чтилъ его заслуги въ историческихъ характеристикахъ и въ сопоставленіи великихъ эпохъ<sup>4)</sup>, сколько искренность этого писателя, его простодушіе<sup>5)</sup>, а въ особенности глубокую поэтичность его души. Шатобріанъ за свою иѣжную меланхолію, особенно воплощенную въ личности Ренэ<sup>6)</sup>, остался любимцемъ Пушкина на всю жизнь, между проч. и тогда, когда послѣдній разоблачилъ тайный недугъ, снѣдавшій модныхъ героевъ<sup>7)</sup>, въ томъ числѣ и тѣхъ, типическими образомъ которыхъ явился Опѣгинъ,—недугъ, столь тѣсно связанный съ романтическою меланхоліею, а слѣдовательно и съ Шатобріановскою<sup>8)</sup>). Подобно Ренэ-Шатобріану и

<sup>1)</sup> V, 366: „два тома столь же блестящіе, какъ и всѣ прежнія его произведения“.

<sup>2)</sup> Ibid.: „поминутно изъ-подъ пера его вылетаютъ вдохновенные страницы“.

<sup>3)</sup> Ibid.: „несомнѣнныя красоты“.

<sup>4)</sup> Ibid.: „онъ поминутно забываетъ критическая изысканія и на свободѣ развиваетъ свои мысли о великихъ историческихъ эпохахъ, которые сближаются съ тѣми, коихъ самъ онъ былъ свидѣтель“.

<sup>5)</sup> Ib.: „Много искренности, много сердечнаго краснорѣчія, много простодушія (иногда дѣтскаго, но всегда привлекательнаго) въ сихъ отрывкахъ, чуждыхъ исторіи англійской литературы, но составляющихъ главное блистательное достоинство „Опыта“.—Отмѣтимъ, въ связи съ этимъ, еще рельефное указаніе у Пушкина на „неподкупную совѣсть“ Шатобріана, „который, поторговавшись немногого съ санинъ собою, могъ бы спокойно пользоваться щедротами новаго правительства, властию, почестами и богатствомъ, предпочель имъ честную бѣдность“... Видимо Пушкинъ уважалъ Шатобріана, какъ личность, а не только, какъ писателя.

<sup>6)</sup> Зап. Смирновой, I, 153 (Пушкинъ о „Геніи христіанства“): „Шатобріанъ за исключеніемъ „Ренэ“ ни въ чемъ меня не трогаетъ; десять строкъ Данте стоятъ всей его книги...“ Ib., 305: „Ренэ“ въ сто разъ выше новой Элоизы, такъ какъ чувствуется, что Шатобріанъ излилъ свою душу въ своихъ книгахъ“. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ представлялъ противоположность Грибоѣдову, который не любилъ мечтательности: Кадубовскій, Нѣсколько словъ о значеніи А. С. Грибоѣдова въ развитіи русской поэзіи, К. 1896, стр. 9.

<sup>7)</sup> Пушкинъ еще незадолго до своей кончины назвалъ Шатобріана „первымъ изъ современныхъ писателей“.

<sup>8)</sup> Мы видѣли, что „недугомъ,

. . . котораго причину

Давно бы отыскать пора,

быть одержимъ „современный человѣкъ“

Съ его безнравственной душой,

Себялюбивой и сухой,

Мечтанью преданной безмѣрно,

почти всему поколѣнію того времени, Пушкинъ испытывалъ съ юныхъ и до позднѣйшихъ лѣтъ

. . . . . смутное влечение  
Чего-то жаждущей души<sup>1)</sup>,

и оно служило поэту могучимъ путеводнымъ звомъ, выводившимъ изъ тины и омута заблужденій и паденій. При этомъ Пушкинъ шелъ рѣшительно и напрямикъ къ мерцавшему передъ нимъ свѣту, и потому у него не находимъ своеобразного сочетанія тоски съ христіанскимъ настроениемъ, характеризующаго Шатобриана и его героя Ренз.

Съ его озлобленнымъ умомъ,  
*Кипящимъ въ дѣйствiи пустомъ*<sup>2)</sup>.

Ср. анализъ этого недуга въ приведенной выше выдержкѣ изъ „Les Natchez“ и въ „Génie du christianisme“ (II partie, livre III, ch. IX, Du vague des passions“): „Il nous reste à parler d'un état de l'âme qui, ce nous semble, n'a pas encore été bien observé: c'est celui qui précède le développement des grandes passions, lorsque toutes les facultés jeunes, actives, entières, mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente, car il arrive alors une chose fort triste: le grand nombre d'exemples qu'on a sous les yeux, la multitude des livres qui traitent de l'homme et des sentiments rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui; il reste encore des désirs et l'on n'a plus d'illusions. L'imagination est riche, abondante et merveilleuse, l'existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un coeur plein un monde vide et, sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout“. Что неопредѣленность страстныхъ порывовъ (le vague des passions), о которой идеть рѣчъ въ этой выдержкѣ, характеризовала именно Ренз и посгѣдователей его, видно изъ Mémoires Шатобриана, въ которыхъ читаемъ: „Il n'y a pas de grimaud sortant du collège. qui n'ait rêvé être le plus malheureux des hommes; de bambin qui, à seize ans, n'ait épuisé la vie, qui dans l'abîme de ses pensées ne se soit livré au vague de ses passions, qui n'ait frappé son front pâle et échevelé et n'ait étonné les hommes stupéfaits d'un malheur dont il ne savait pas le nom, ni eux non plus“. Болѣе близкія сходства въ характеристикахъ недуга „современного“ образованнаго человѣка, данныхъ Шушкинымъ и Шатобрианомъ, отмѣчены курсивомъ. Думаю, что эти сходства даютъ почти полное право на подведеніе недуга „современного человѣка“, какого разумѣлъ Пушкинъ, подъ Шатобрианово „état du vague des passions“; у Шатобриана не находимъ только „души себялюбивой“ и „озлобленного ума“, которые привозили въ Пушкинскую характеристику „современного человѣка“ изъ другого источника, какъ то видно изъ сопоставленія Онѣгина съ Адольфомъ и будетъ также показано ниже при сопоставленіи Шушкина съ Байрономъ.

<sup>1)</sup> II, 145 (1833 г.). Ср. сейчасъ цитов. „le vague des passions“ Шатобриана и выше выдержки о „задумчивости“ поэзіи Пушкина. Напрасно поэтъ говорилъ въ 1822 г. (см. выше), что онъ „разлюбилъ мечтаніе жизни“.

Авторъ „Рене“ испытала религіозный кризисъ уже во время пребыванія въ Англіи, въ послѣдніе годы XVIII-го столѣтія. Уже сидя въ своей убогой Лондонской каморкѣ, Шатобріанъ проливалъ горькія слезы о своемъ иеврѣи и отрекался отъ Вольтера и язычества. Загѣмъ въ предисловіи 1802 г. къ „Генію христіанства“ онъ писалъ: „въ жизни нѣть ничего столь прекраснаго, сладостнаго, великаго, какъ предметы таинственные; самыя чудныя чувствованія—тѣ, которыя волнуютъ насъ наиболѣе смутно“. Этимъ Шатобріанъ вводилъ въ литературу чувство таинственнаго и вмѣстѣ религіозное, получавшее у него поэтическій характеръ: „необходимо призвать на помощь религії всѣ чары воображенія и интересы сердца“, писалъ онъ. Очевидно, то было религія, въ значительной степени искусственная, не могшая принести полнаго успокоенія. Такъ, въ нерѣшительной душѣ Рене, какъ и въ душѣ Фауста, благочестивыя впечатлѣнія дѣтства не исчезали; они нѣсколько поддерживали и согрѣвали ее во дни глубокой безотрадности, но не спасали отъ послѣдней.

Пушкинъ не уподоблялся во всемъ этомъ Шатобріану. Въ отличие отъ послѣдняго Пушкинъ избѣжалъ сочетанія разочарованія съ христіанскимъ настроениемъ. Нашъ поэтъ, впадая въ моменты мрачнаго раздумья, еще не былъ пламеннымъ христіаниномъ, и отрѣшился отъ мировой скорби, когда прильнулъ къ христіанству. Полный поворотъ къ религіозному чувству произошелъ въ немъ не такъ скоро, отразился въ его литературной дѣятельности не столь рѣзко, и вообще Пушкинъ не былъ такимъ возстановителемъ авторитета христіанства въ литературѣ, какимъ оказался авторъ трактата о „Геніи христіанства“ и „Мучениковъ“. У насъ этотъ авторитетъ не былъ такъ потрясенъ, какъ на Западѣ; и потому Пушкинъ, обратившись всѣмъ сердцемъ къ христіанству, не представилъ такой апологіи послѣдняго, какъ Шатобріанъ, и не освѣтилъ такъ его поэтической красы<sup>1)</sup> и вдохновляющей силы. Въ этомъ отношеніи написанный въ послѣдніе годы

<sup>1)</sup> Ср. замѣчаніе Пушкина объ этой сторонѣ дѣятельности Шатобріана: „Во Франціи, послѣ XVII вѣка, религіозный элементъ совершенно исчезаетъ изъ произведеній изящной словесности Онъ появляется снова только съ Шатобріаномъ, который ставить въ заголовкѣ книги слово „христіанство“—хотя онъ главнымъ образомъ пораженъ эстетическими красотами католицизма, и Ламартиномъ, который въ заглавіи поэтическаго произведения употребляетъ слово „религіозный“ (Зап. Смирн., I, 149).

жизни Пушкина немногія строки о Евангелії (въ замѣткѣ о сочиненіи Сильвіо Пеллико „Объ обязанностяхъ человѣка“) и религіозныя стихотворенія, конечно, не имѣли такого значенія, какъ разсужденія Шатобріана, но за то сердечнѣе и искреннѣе, потому что вышли изъ глубины сердца вполнѣ убѣжденнаго человѣка: возвратившись вполнѣ къ религіозной вѣрѣ, Пушкинъ и въ этомъ слился со своимъ народомъ, никогда не утрачивавшимъ ея. Потому же нельзя назвать Пушкина подобно Шатобріану возстановителемъ религіознаго чувства въ нашей поэзіи: оно не замирало въ послѣдней такъ, какъ угасало по мѣстамъ на Западѣ въ XVIII в. Но, конечно, Пушкинъ нѣкоторыми изъ своихъ произведеній, относящихся къ послѣднимъ годамъ его жизни, содѣйствовалъ, какъ и Лермонтовъ, подъему религіознаго чувства въ нашей поэзіи, несмотря на то, что многіе долго, очень долго не могли забыть „духа отрицанія и сомнѣнія“ въ нашемъ поэтѣ.

Нельзя не признать, наконецъ, что и въ самомъ выраженіи какъ скорби вѣка, такъ и поворота къ утѣшенію, найденному въ поэтической красѣ и вдохновляющей силѣ христіанства, Шатобріанъ былъ не чуждъ искусственности<sup>1)</sup> и прикрашиванія<sup>2)</sup>. Какъ Ренэ не избѣжалъ кокетства, такъ и свѣтская жизнь Шатобріана и увлеченія его не соотвѣтствовали его меланхоліи.

Пушкинъ же былъ свободенъ отъ этихъ противорѣчій слова и жизни. Онъ выказалъ себя великимъ поэтомъ въ своей полной искренности. Онъ чуждъ реторики и декламаторства, драпировки и рисовки своего знаменитаго французскаго современника.

Въ этомъ отношеніи не столь погрѣшалъ болѣе могучій въ своей личности и поэзіи, кромѣ Шелли величайшій послѣ Гёте изъ современ-

<sup>1)</sup> V, 188—189 („О книгѣ А. Н. Муравьевѣ: Путешествіе къ св. мѣстамъ, Спб. 1832“): „Молодого нашего соотечественника привлекло туда не суетное желаніе обрѣсти краски для поэтическаго романа, не беспокойное любопытство, не надежда найти насильственный впечатлѣнія для сердца усталаго и притупленаго... Онъ traverse Грецію,—ргоссирѣ одною великой мыслю; онъ не старается, какъ Шатобріанъ, воспользоваться противоположностью мифологій Бібліи и Одиссеи; онъ не останавливается, онъ спѣшитъ...“

<sup>2)</sup> V, 318: „Шатобріанъ и Кунерь представили намъ надѣцевъ съ ихъ поэтической стороны, и замѣсили истину красками своего воображенія... и недовѣрчивость къ словамъ заманчивыхъ новѣствователей уменьшала удовольствіе, доставляемое ихъ блестищими произведеніями“.

ныхъ Пушкину поэтовъ Запада, Байронъ, затмившій славу Шатобрана, иронесшійся необычайно яркимъ, всѣхъ ослѣпившимъ метеоромъ на горизонтѣ европейской поэзіи и доселѣ еще для многихъ остающійся въ ореолѣ гордой и вмѣстѣ мощной и великой души.

Дѣйствительно, Байронъ рѣзко выдѣлялся изъ ряда поэтовъ того времени мощью своей индивидуальности и неуступчивостью условностямъ, огненностью и кипучестью своей натуры, крайнею отзывчивостію къ явленіямъ современности, а равно и страстью и вмѣстѣ мужественнымъ отношеніемъ къ основнымъ вопросамъ человѣческаго существованія и изображеніемъ блестящихъ идеаловъ могучей личности.

Славу Байрона сразу создала его поэма о странствованіяхъ Чайльдъ —Гарольда, въ которомъ не разъ нельзя не узнавать самого поэта. Это могучій и яркій представитель болѣзни вѣка <sup>3)</sup>). Въ Чайльдъ-Гарольдъ, какъ и въ его авторѣ, начали выражаться съ чрезвычайною силою и уже достигать апогея безграницы стремленія человѣка XIX столѣтія. Но Гарольдъ умѣлъ переносить свою скорбь стопически, съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ, и находить утѣшеніе во время своихъ странствованій, напримѣръ въ бесѣдахъ съ природой; онъ вызываетъ такіе интересы, какъ энтузіазмъ ко всему великому, героичному, прекрасному въ европейской исторіи, которыхъ не обнаруживаются его литературные предшественники. Не совсѣмъ справедливо поэтому Шатобранъ въ припадкѣ характеризующаго его тщеславія высказалъ однажды жалобу на то, что англійскій поэтъ нигдѣ не помянулъ должнымъ образомъ, чѣмъ былъ обязанъ своему французскому предшественнику. Слѣдуетъ признать, что поэма о странствованіи Чайльдъ-Гарольда — порожденіе болѣе мужественного воображенія, чѣмъ то, которое создало „Ренэ“, и болѣе высокаго полета духа. Герой ея не отрекается отъ жизни, не бѣжитъ навсегда подальше отъ людей, не расточаетъ своихъ силъ въ пустынѣ воображенія. То же можно сказать и о творцѣ Чайльдъ-Гарольда, Байронѣ. Этотъ поэтъ закончилъ свою жизнь сомнѣніями касательно познанія міра въ цѣломъ, скорбными и безутѣшными думами, но не

<sup>1)</sup> Childe Harold's Pilgrimage, I, iv:

...long ere scarce a third of his pass'd by,  
Worse than adversity the Childe befell;  
He felt the fulness of satiety:  
Then loathed he in his native land to dwell,  
Which seem'd to him more lone than Eremite's sad cell.

обрека́ль себя на бездомное скитальчество въ юдоли скорбей и не впада́ль въ безразличие по отношению къ тому, что творится здѣсь на землѣ. Байронъ лелѣялъ свободолюбивыя мечты и стремленіе къ мужественной борьбѣ. Соответственno тому онъ выдвигалъ романтический культъ страстнаго и настойчиваго героизма, изобразилъ рядъ мятежныхъ героевъ демонического пошиба, какъ бы обновляя древній титаническій образъ Прометея, воспроизведенный также другомъ Байрона—Шелли, образы Мильтонова Сатаны, Шиллерова сатанинскаго Карла Мора. Байроновскій Донъ-Жуанъ также не лишенъ демонизма котораго не находимъ въ Пушкинскомъ.

Эта мощная поэзія не могла не увлечь собою цѣлаго ряда поэтовъ почти во всѣхъ странахъ Европы.

Было бы странно, если бы среди всеобщаго поклоненія, которымъ были окружены личность и поэзія Байрона всюду на континентѣ Европы къ 20-мъ и въ послѣдующіе годы нашего вѣка, между проч. и у насъ<sup>1)</sup>, Пушкинъ остался чуждъ обаянія этого могучаго пѣвца гнѣва, протеста и свободы, составлявшихъ содержаніе немалой доли юношескихъ стихотвореній и нашего поэта, который также былъ „свободы другъ миролюбивый“<sup>2)</sup>:

Свободы съяльтель пустынныи,  
Онгъ вышелъ рано до звѣзды;  
Рукою чистой и безвинной  
Въ порабощеннымъ бразды  
Бросалъ живительное сѣмя<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Въ 1819 г., по словамъ А. И. Тургенева, Байронъ былъ „гениемъ-воскресителемъ“ Жуковскаго (Ост. арх., I, 286): „Жуковскій имъ бредилъ и имъ цитался; въ планахъ его было много переводовъ изъ Байрона, котораго мы все лѣтъ читали. Я нагрѣваюсь имъ и недавно купилъ полное изданіе въ семи томахъ“ (ib., 384). Тургеневъ, какъ и Вяземскій, восхищался Чайльдъ-Гарольдомъ и „уродливымъ произведениемъ“ Байрона: „Манфредъ“, трагедія. Жуковскій хотѣлъ выкрасить изъ нея лучшее“ (ib., 286). Вяземскій „читалъ и перечитывалъ лорда Байрона, разумѣется, въ блѣдныхъ выпискахъ французскихъ“ и замѣчалъ: „Чтѣ за скала, изъ коей бѣть море поэзіи!“ (ib., 326). И. И. Козловъ, „бывшій танцмейстеръ (лихой танцовщикъ), лишившійся ногъ, и пріобрѣвшій вкусъ къ литературѣ“, выучился въ три мѣсяца по-англійски, и перевелъ Байронову „Bride of Abydos“ (ib., 336 и 551) и Португальскую пѣсню.

<sup>2)</sup> I, 248.

<sup>3)</sup> I, 299.

Пушкина не безъ основанія сопоставляли съ Байрономъ уже съ начала двадцатыхъ годовъ, называя его то „слабымъ подражателемъ не особенно похвального оригинала“ <sup>1)</sup>, то поэтомъ, близкимъ къ тому великому гению Запада, то болѣе или менѣе самостоятельнымъ его послѣдователемъ, то, наконецъ, поэтомъ, имѣющимъ совсѣмъ мало общаго съ Байрономъ <sup>2)</sup>.

Но Пушкинъ не былъ ни Байронистомъ, ни писателемъ, вполнѣ независимымъ отъ великаго англійскаго поэта: въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ по временамъ лишь байронствовалъ въ своей поэзіи, если можно такъ выразиться <sup>3)</sup>.

Прежде всего необходимо отмѣтить, что многое какъ будто сближало обоихъ поэтовъ начиная со сходства въ ихъ виѣшней судьбѣ. Оба были потомки старинныхъ знатныхъ, но захудалыхъ родовъ своей земли <sup>4)</sup>; оба рано увлеклись французскими корифеями великой рево-

<sup>1)</sup> Выраженіе гр. М. С. Воронцова (1824 г.). Уже Смирнова замѣтила (I, 46): „Пушкина сравниваютъ съ Байрономъ только для того, чтобы уронить Пушкина и сказать, что онъ подражаетъ Байрону. Чаще всего это говорятъ люди, никогда не читавшіе Байрона, какъ, напр., Катонъ“ (гр. Бенкендорфъ).

<sup>2)</sup> См. названную брошюру г. Сиповскаго: „Пушкинъ, Байронъ и Шатобрианъ“, стр. 3—14, и рецензію на нее въ № 8 „Русскаго Богатства“ 1899. Къ соожалѣнію, сводъ г. Сиповскаго не полонъ, и даже изъ русскихъ трудовъ не названа, напр., рѣчь Н. И. Стороженка: „Вліяніе Байрона на европейскій литературы („Р. Вѣд.“ и „Пантеонъ Литературы“ 1888. мартъ, современная лѣтопись, 11—25). Въ дополненіе къ перечню сужденій о Байронизмѣ Пушкина, приведенному у г. Сиповскаго, можно бы прибавить еще рядъ заслуживающихъ вниманія разысканій, каковы: Naglaask, Puschkin und Byron (Zeitschrift fr Vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance—Litteratur, N. F., I Bd. (1888), 5-tes и 6-tes Heft, 396—410), M. Zdziechowski, Byron i jego wiek, t. II, Krak. 1897, 156—212; Tretiak, рецензія на книгу Здзѣховскаго (въ Kwartalnik Historyczny 1898, zesz. IV, 800—817: „Bajronizm w literaturach slawofiskich“) и статья: „Mickiewicz i Puszkin jako bajronisci“ (Ateneum 1899, Maj, 267—278, Czerwiec, 460—478); Weddigen, Lord Byron's Einfluss auf die europischen Litteraturen der Neuzeit, Hannover 1883, 111—114, и т. д. Въ послѣднее время явилась брошюра Н. Тихомирова: Пушкинъ въ его отношеніи къ Байрону, Витебскъ 1899.

<sup>3)</sup> Ср. отзывъ Мицкевича въ некрологѣ Пушкина, помещенномъ въ „Globe“ 1837 г. Обвиняя Пушкина въ томъ, что онъ слишкомъ подражалъ Байрону, даже Мицкевичъ замѣтилъ: „Il n'tait pas un fanaticque Byroniste, nous l'appelerions plutt Bytopiaque“.

<sup>4)</sup> Пушкина укоряли уже довольно рано въ томъ, что онъ подражалъ Байрону въ аристократизмѣ. См. еще стих. „Моя родословная, или русской иѣща-нинъ. Вольное подражаніе лорду Байрону“ (II, 107):

Родовъ униженныхъ обломокъ,  
И, слава Богу, не одинъ,  
Бояръ старинныхъ и потомокъ.

## А. Н. ДАШКЕВИЧ.

... *намечено любили свободу, выражали въ своей поэзіи  
также привыкъ не удовлетворявшій ихъ дѣйствительности, и  
въ то же время жить въ годы сильнейшей реакціи освободитель-  
ной войны XVIII в.:* оба противопоставляли себя толпѣ, были  
одними изъ самыхъ народовъ (въ частности грековъ) и личности,  
которые имѣлись испытать клевету и преслѣдованія. Пушкинъ  
хотѣлъ покинуть свою родину, какъ Байронъ, но были моменты, когда  
онъ также помышлялъ покинуть отчество и никогда не возвращаться  
на „проклятую Русь“<sup>1)</sup>, какъ онъ однажды выразился. Оба поэта  
рано пренесли разгубомъ, въ значительной мѣрѣ утратили жизне-  
дѣятельность въ поэзіи, но продолжали лелѣять высшіе интересы въ сво-  
ей душѣ, искать утѣшенія между проч. въ любви и были въ ней близки  
къ Донъ-Жуану, которого избрали и въ герояхъ своихъ произведеній,  
считающихся одними изъ лучшихъ въ ихъ творчествѣ. Оба нарисовали  
образы нѣсколько сходныхъ героевъ (въ томъ числѣ Мазепы) и въ  
иныхъ изъ нихъ отразили самихъ себя. Даже съ житейского поприща  
сошли они приблизительно въ одномъ возрастѣ—37 лѣтъ.

Было не мало сродства между обоими поэтами и въ ихъ характерахъ и мысли.

Байронъ былъ, по выражению Пушкина, „гордости поэтъ“<sup>2)</sup>. Впрочемъ, его „геній блѣднѣлъ съ его молодостью. Въ своихъ тра-  
гедіяхъ, не выключая и Кainsа, онъ уже не тотъ *пламенный демонъ*,  
который создалъ Глаура и Чайлдъ-Гарольда“<sup>3)</sup>. Характеръ Байрона  
слагался изъ „гордости, ненависти, меланхоліи“ и проч.<sup>4)</sup>. „Онъ  
исповѣдался въ своихъ стихахъ, невольно увлеченный восторгомъ  
поэзіи. Въ хладнокровной прозѣ онъ бы лгалъ и хитрилъ“<sup>5)</sup>. Однако  
этотъ „поэтъ мучительный“ былъ долго „милъ“ Пушкину, какъ „стра-

<sup>1)</sup> VII, 182: „Я, конечно, презираю отчество мое съ головы до ногъ... Ты,  
который не на привязи, какъ можешь ты оставаться въ Россіи? Если царь дастъ  
мнѣ свободу, то я мѣсаца не останусь... Услышишь, милая, въ ответѣ: онъ удрягъ  
въ Парижъ и никогда въ проклятую Русь не воротится. Ай да умница!“

<sup>2)</sup> III, 258. Привожу здѣсь и ниже болѣе раннія сужденія Пушкина о Бай-  
ронѣ, относящіяся ко времени увлеченія нашего поэта Байрономъ и непосредствен-  
но сдѣдовавшему; отзывы, сдѣланныя послѣ перелома въ воззрѣніяхъ Пушкина,  
будутъ изложены впослѣдствії.

<sup>3)</sup> VII, 80.

<sup>4)</sup> VII, 158.

<sup>5)</sup> VII, 159.

далецъ вдохновенный<sup>1)</sup>, какъ „гений“ и „властитель нашихъ думъ“, и предъ выѣздомъ изъ Одессы въ 1824 г., обращаясь съ прощальнымъ привѣтомъ „Къ морю“, Пушкинъ такъ вспоминалъ о Байронѣ, имѣя въ виду, очевидно, заключительныя строфы Чайльдъ-Гарольда:

Исчезъ, оплаканный свободой,  
Оставя міру свой вѣнецъ.  
Шуми, взволнуйся непогодой:  
Онъ былъ, о море, твой пѣвецъ.  
Твой образъ былъ на немъ означенъ;  
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:  
Какъ ты, могучъ, глубокъ и мраченъ,  
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ<sup>2)</sup>.

Пушкинъ былъ самъ не чуждъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ качествъ, которыя усвоилъ Байрону: онъ также былъ гордъ, могъ питать и питалъ горячую ненависть, былъ склоненъ къ задумчивости, полюбилъ меланхолію, ознакомившись съ Руссо и Шатобраномъ, могъ впадать и впадалъ въ демонизмъ<sup>3)</sup>. Потому-то поэзія Байрона могла встрѣтить столько откликовъ въ душѣ нашего поэта, и потому находилъ доступъ въ послѣднюю и демонизмъ Байрона. Послѣдній отчасти могъ имѣть въ виду нашъ поэтъ, рисуя въ 1823 г. портретъ „злобнаго гения“, „Демона“, который, „въ тѣ дни, когда“ Пушкину

. . . . . были новы  
Всѣ впечатлѣнья бытія,

въ

Часы надеждъ и наслажденій,  
Тоской внезапной осінія,  
Сталь тайно навѣщать меня.  
Печальны были наши встрѣчи:  
Его улыбка, чудный взглядъ,  
Его язвительныя рѣчи  
Вливали въ душу хладный ядъ.  
Неистощимой клеветою

<sup>1)</sup> I, 280.<sup>2)</sup> I, 304—305.<sup>3)</sup> См. выше—въ началѣ II-й главы (стр. 54—55).

Онъ провидѣніе искушаль;  
 Онъ звалъ прекрасное мечтою,  
 Онъ вдохновеніе презиралъ;  
 Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,  
 На жизнь насыщливо глядѣлъ—  
 И ничего во всей природѣ  
 Благословить онъ не хотѣлъ<sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> I, 292. Уже со времени появленія этого стихотворенія въ печати (въ 1824 г.) многие въ лицѣ Демона, изображенного поэтомъ, усматривали А. Н. Раевскаго, и тоже повторяють и теперь (Синовскій—Онѣгінъ, Татьяна и Ленскій, стр. 29—31 отдѣльного оттиска). Но Поливановъ въ статьѣ: „Демонъ Пушкина. На основаніи нового пересмотра рукоцисей поэта“ (Русск. Вѣстникъ 1886, № 8) справедливо замѣтилъ, что это—„но портретъ дѣйствительного лица, какъ толковала любопытствующая публика“ (стр. 849; ср. стр. 843). Нельзя только согласиться съ выводомъ Поливанова, что „Демонъ Пушкина есть прекрасный эскизъ великаго художника, набросанный имъ при созданіи одной изъ знаменательныхъ картинъ своего романа, а именно въ тотъ моментъ его созданія, когда онъ окончательно опредѣлялъ фигуру его героя“ (Онѣгина). Обратимъ вниманіе на указаніе поэта, съ какого момента стала являться ему демонъ: для настъ не важно упоминаніе о томъ, что поэта привлекали тогда еще новизной

И взоры дѣвъ, и шумъ дубравы,  
 И ночью пѣнѣе соловья;

гораздо определеннѣе указаніе, что тогда

. . . . . возвышенныя чувства,  
 Свобода, слава и любовь  
 Такъ сильно волновали кровь.

Изъ этого упоминанія, кажется, можно вывести съ полнымъ основаніемъ, что первыя явленія демона восходили еще къ порѣ Петербургскаго житія поэта (въ послѣднее время пребыванія въ лицѣ и по выходѣ изъ послѣднаго) до перехода на югъ, когда Пушкина еще не постигло разочарованіе въ грезахъ о свободѣ и доброй славѣ. Это подтверждается также и приведеннымъ уже выше, относящимся къ 1816 году, упоминаніемъ:

...пролетѣлъ мигъ уноеній,  
 Я радость свѣтлую забылъ;  
 Меня печали мрачный гений  
 Крылами черными покрылъ.

Ср. въ стих. „В. Л. Давыдову“ (1821; VII, 21):

Кланусь, не внемля саташѣ,  
 и въ „Разговорѣ книгоиздавца съ поэтомъ“:

. . . . . яркія видѣнья,  
 Съ неизъяснимою красотой,

Байронъ былъ однимъ изъ поэтовъ, будившихъ по временамъ въ Пушкинѣ мрачные вопросы и думы. Быть можетъ, не безъ воз-

Вились, летали надо мной  
Въ часы ночного вдохновенія.  
Все волновало нѣжный умъ:  
Цвѣтущій лугъ, луны блестанье,  
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,  
Старушки чудное преданье.  
Какой-то демонъ обладалъ  
Моими играми, досугомъ;  
За мной повсюду онъ леталъ,  
Мнѣ звуки дивные шепталъ,  
И тяжкимъ, пламеневымъ недугомъ  
Была полна моя глава...

Ясно, что въ образѣ демона мы имѣемъ олицетвореніе мрачнаго раздумья, начавшаго постѣщать поэта уже съ послѣднихъ лѣтъ пребыванія въ лицѣ. Такое толкованіе согласно съ объясненіемъ, даннымъ самимъ поэтомъ (Анненковъ, Александръ Сергеевичъ Пушкинъ въ Александровскую эпоху, Спб. 1874, стр 153): „Не хотѣлъ ли поэтъ олицетворить сомнѣніе? Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для прекраснаго... противорѣчія существенности рождаются сомнѣніе... Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшіе и поэтическіе предразсудки души... Недаромъ великий Гёте называетъ вѣчнаго врага человѣчества — духомъ отрицающимъ... И Пушкинъ не хотѣлъ ли въ своемъ „Демонѣ“ олицетворить сей духъ отрицанія или сомнѣнія и начертать въ пріятной картины лечальное вліяніе его на нравственность нашего вѣка?“ Нѣтъ никакого основанія не довѣрять вслѣдъ за г. Сиповскимъ этому свидѣтельству поэта, вполнѣ согласному съ приведенными выше и собранными также въ статьѣ Поливанова данными о продолжительной неоднократной работѣ Пушкина надъ образомъ Демона. Къ А. Н. Раевскому, какъ его описываютъ знавшія его лица, врядъ ли подходитъ такія выраженія, сохранившіяся въ черновыхъ рукописяхъ поэта, какъ слѣдующее:

Непостижимое волненіе  
Меня къ лукавому влекло  
И я мое существованье  
Съ его навѣкъ соединилъ...  
Съ его ясными словами  
Моя душа звучала въ ладъ...

или (I. 286):

Ужели онъ казался прежде мнѣ  
Столь величавымъ и прекраснымъ?  
Ужели . . . . . глубинѣ  
Я наслаждался сердцемъ яснымъ?  
Кого же.... возвышенной мечтой  
Боготворить не постыдился!..

Быть можетъ, въ этихъ стихахъ рѣчь идетъ объ образѣ, сродномъ тому, о которомъ говорилось еще въ стихотв. 1830 г. (см. выше), какъ о „волшебномъ демонѣ—

дѣйствія его Чайльдъ-Гарольда Пушкинъ уже въ 1819 г. писалъ, что

Отъ юности, отъ нѣгъ и сладострастья

живомъ, но прекрасномъ". Пушкину, повидимому, съ ранняго времени, былъ извѣстенъ величавый образъ Мильтонова сатаны. Въ стихотв. „Бова" (1815 г.; Соч. II, I, 95) читаемъ:

За Мильтономъ и Камоэнсомъ  
Опасался и безъ криль царить,  
Не дерзаль въ стихахъ безсмысленныхъ  
Въ серафимовъ жарить пушками,  
Съ сатаною обитать въ раю...

Но вѣрнѣе, что Пушкинъ подъ своимъ демономъ разумѣлъ кого-то другого. Врядъ ли то былъ Вольтеръ, хотя въ сейчасъ названномъ отрывкѣ „Бова" (ib., 96) Пушкинъ выразился объ авторѣ „Жанны Орлеанской":

О Вольтеръ, о мужъ единственный,  
Ты, котораго во Франціи  
Почитали богомъ иѣкимъ,  
Въ Римѣ дьяволомъ, антихристомъ,  
Обезьяною въ Саксоніи...

и хотя не безъ воспоминанія о сатирѣ Вольтера „Le diable" Пушкинъ могъ заѣть въ 1821 г. сатиру, въ которой выступалъ сатана (I, 267). Согласно съ указаніемъ самого Пушкина, слѣдуетъ имѣть въ виду Гѣтевскаго Мефистофеля, съ которымъ нашъ поэтъ могъ быть рано знакомъ благодаря Кюхельбекеру. Къ Мефистофелю хорошо подходитъ Пушкинская характеристика „Демона". Но вспомнимъ, что и Байронъ казался Пушкину демономъ въ „Глаурѣ" и „Чайльдъ-Гарольдѣ". По словамъ Анненкова (Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 151), согласнымъ со свидѣтельствомъ П. Я. Чаадаева, переданнымъ г. Бартеневымъ (Р. Архивъ 1866, стр. 1140: „съ Байрономъ онъ началъ знакомство въ Петербургѣ, гдѣ учился по-англійски и бралъ для этого у Чаадаева книжку Газлита: „Разсказы за столомъ"), „Пушкинъ принялъ на Кавказѣ за изученіе англійскаго языка, основанія которого зналъ и прежде". Не позія ли Байрона толкнула Пушкина къ этому изученію уже въ Петербургѣ? При томъ увлечениіи англійскимъ поэтомъ, о которомъ свидѣтельствуютъ приведенные выше выдержки изъ переписки въ 1819 г. друзей Пушкина, кн. П. А. Вяземскаго и А. И. Тургенева, странно было бы, если бы Пушкинъ не интересовался уже тогда великимъ британскимъ поэтомъ. Съ послѣднимъ онъ могъ знакомиться во французскомъ переводѣ, подобно Вяземскому, читавшему Чайльдъ-Гарольда также во французскомъ переложеніи. Что до усвоенія Пушкинымъ англійскаго языка, о томъ см. примѣч. на стр. 648 „Ост. Архива". Къ собраннымъ тамъ даннымъ слѣдуетъ прибавить, что составленную Пушкинымъ фразу на англійскомъ языкѣ находимъ уже въ его письмѣ отъ 12 марта 1825 г. (VII, 113). Конечно, „Демонъ" Пушкина не вполнѣ подходилъ къ самому Байрону, но обрисовка первого не далека отъ демонического типа, какъ послѣдній представлялъ въ пѣсомъ рядъ произведеній Байрона, сдѣлавшихся извѣстными Пушкину къ 1823 году. Усматривается отношеніе Пушкинского „Демона" къ Байрону и г-ну Третякѣ: Ateneum 1899, Maj, str. 284—286.

Останется уныніе одно<sup>1)</sup>.

Не Байронъ ли, далѣе, уасниль ему пошлость общесгва, которую нашъ поэтъ могъ замѣтить и безъ того<sup>2)</sup>, и не онъ ли помогъ Пушкину окончательно сознать силу мощной личности и свою, подобную Байроновой, роль въ моментъ провозглашенія нашимъ поэтомъ:

..... пламеннымъ волненiemъ  
И бурями души моей,  
И жаждой воли, и гоненемъ  
Я сталъ извѣстенъ межъ людей?<sup>3)</sup>

Байронъ могъ укрѣпить въ Пушкинѣ также ироническое отношеніе къ дѣйствительности, проглядывающее въ „Онѣгінѣ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ Чайльдъ-Гарольда усиленно будилъ въ Пушкинѣ скептицизмъ<sup>4)</sup>, почва для которого также была подготовлена ранѣе чтеніемъ Бэйля, Вольтера и др. Подъ влияніемъ Байона могъ только сильно за- говорить въ душѣ Пушкина голосъ демона Байроновой мысли, обѣщавшаго

Истолковать мнѣ все творенье,  
И разгадать добро и зло<sup>5)</sup>.

<sup>1)</sup> I, 201.

<sup>2)</sup> I, 281:

Увидѣлъ я толпы безумной  
Презрѣнныи, робкій эгоизмъ...  
..... мнѣ дружба измѣнила,  
Какъ измѣнила мнѣ любовь...

Въ стихотвореніи „Къ \*\*\*“, написанномъ до 12 апрѣля 1822 г., читаемъ (I, 286):

И свѣтъ,—и дружбу,—и любовь  
Въ ихъ наготѣ отынѣ вижу.  
Но все прошло! остыла въ сердцѣ кровь,  
И мрачный (вар.: ужасный) опытъ ненавижу.  
Разоблачивъ прѣятельный кумиръ,  
Я вижу...

<sup>3)</sup> I, 265.

<sup>4)</sup> V, 50: „Кайнъ... относится къ роду скептической поэзіи Чайльдъ-Гарольда“.

<sup>5)</sup> Въ Чайльдъ-Гарольдѣ мысль названа „демономъ“. Свободная мысль является единственнымъ уцѣлѣвающимъ нашимъ благомъ. См. Ch. Har. Pilgr., IV, сххvii.

И вотъ въ годы увлеченія Байрономъ Пушкина, который ранѣе писалъ, что „такимъ бездѣльемъ“, какъ „гроба близкое новоселье“, „право, намъ заниматься недосугъ“ <sup>1)</sup>, повидимому, весьма заинтересовали „гроба тайныя вѣковыя“ <sup>2)</sup>, и много волновалъ вопросъ о смерти и бессмертіи человѣческой души. Кажется, бывали моменты отрицательного рѣшенія его нашимъ поэтомъ. Къ такому рѣшенію склонялся идеалистъ Ленскій во II-й главѣ Онѣгина, въ своемъ стихотвореніи, написанномъ между 22 октября и 3 ноября 1823 г.:

Когда бы вѣрилъ я, что нѣкогда душа,  
Отъ тѣнья убѣжавъ, уносить мысли вѣчны,  
И память, и любовь въ пучины безконечны,—  
Клянусь! давно бы я оставилъ этотъ міръ...  
Но тщетно предаюсь обманчивой мечтѣ!  
Мой умъ упорствуетъ, надежду презираетъ.—  
Меня ничтожествомъ могила ужасаетъ...  
Какъ! ничего! ни мысль, ни первая любовь!  
Мнѣ страшно .... и на жизнь гляжу печально вновь,  
И долго жить хочу, чтобы долго образъ милый  
Таился и пылалъ въ душѣ моей унылой <sup>3)</sup>.

Но самъ поэтъ послѣ нѣкотораго колебанія постепенно возвысился надъ этимъ представлениемъ нашего ничтожества, проявляющагося въ смерти, и надъ Вольтеровскимъ сомнѣніемъ въ бессмертіи нашей души, и эта побѣда надъ сомнѣніемъ выступаетъ въ стихотвореніи, напечатанномъ впервые въ 1826 г. и начинающемся словами: „Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный“ <sup>4)</sup>... Интересно, что поэтъ почерпаетъ

<sup>1)</sup> I, 200.

<sup>2)</sup> III, 268.

<sup>3)</sup> III, 268—269.

<sup>4)</sup> I, 271. Первоначальная редакція (VII, 1viii—1ix) нѣсколько предшествоvalа I-й пѣснѣ „Онѣгина“ и написана до 28 мая 1823 г. Въ этомъ первичномъ наброскѣ также рѣчь идетъ о „сердцу непонятномъ иракѣ, пріютѣ отчаянья слѣпаго, ничтожества, пустомъ призракѣ“, но поэтъ превозмогаетъ ужасную мысль о томъ, обращаясь къ ничтожеству со словами:

Ты чуждо мысли человѣка,  
Тебя страшится гордый умъ...

и затѣмъ задаваясь вопросомъ:

Ужели съ ризой гробовой

увѣренность въ бессмертіи души и въ первичной редакціи стихотворенія, и въ окончательной прежде всего изъ „благословенныхъ мечтаний поэзіи прелестной“, переносящихъ въ „сумракъ неизвѣстный“ и утѣшающихъ тѣмъ,

Что тѣни легкою толпой,  
Отъ береговъ холодной Леты  
Слетаются на брегъ земной...  
И въ сновидѣньяхъ утѣшаютъ  
Сердца покинутыхъ друзей:  
Онѣ, бессмертіе вкушая,  
Ихъ поджидаютъ въ Элизей.

Поэтъ примкнулъ, такимъ образомъ, къ широко распространенной издревле вѣрѣ въ то, что сила любви преодолѣваетъ самую смерть, къ той вѣрѣ, которая создала цѣлый рядъ сказаний о женихѣ, являющемся съ того свѣта, и т. п. При этомъ въ моментъ создания приведенныхъ стиховъ Пушкинъ руководился, повидимому, аналогическимъ оборотомъ мысли Байрона <sup>1)</sup> и былъ также подъ вліяніемъ

---

Всѣ чувства брошу и земныхъ  
И чуждъ мнѣ станеть міръ земной?..  
Не буду вѣдать сожалѣній,  
Тоску любви забуду я?

Всего этого не находимъ въ окончательной редакціи.

<sup>1)</sup> Childe Harold's pilgrimage, II, vii—ix:

Pursue what Chance or Fate proclaimeth best;  
Peace waits us on the shores of Acheron...  
Yet if, as holiest men have deem'd, there be  
A land of souls beyond that sable shore,  
To shame the doctrine of the Sadducee  
And sophists, madly vain of dubious lore;  
How sweet it were in concert to adore  
With those who made our mortal labours light!  
To hear each voice we fear'd to hear no more! .  
There, thou!—whose love and life together fled,  
Have left me here to love and live in vain—  
Twined with my heart, and can I deem thee dead  
When busy Memory flashes on my brain?  
Well—I will dream that we may meet again,  
And woo the vision to my vacant breast:  
If aught of young Remembrance then remain,  
Be as it may Futurity's behest,  
For me 't were bliss enough to know thy spirit blest!

традиционныхъ представлений о загробной жизни, унаследованныхъ отъ окружавшей среды<sup>1)</sup>. Послѣднія подавляли скептицизмъ, какой могли навѣтывать читимые Пушкинымъ писатели Запада.

Эти же поэты, и въ ряду ихъ болѣе другихъ Байронъ, какъ бы освящали и окружали особымъ ореоломъ охлажденіе, которое испытывалъ нашъ поэтъ, писавшій: „Ко всему былъ охлажденъ, ко всему охладѣлъ... Хочу возобновить дружбу, какъ мертвѣцъ ... любовь; труды, не могу“<sup>2)</sup>.

Но напрасно Пушкинъ увѣрялъ себя иногда:

Свою печать утратилъ рѣзвый нравъ,  
Душа чистъ отъ часу нѣмѣеть.  
Въ ней чувства нѣть уже. Такъ легкій листъ дубравъ  
Въ ключахъ кавказскихъ каменѣеть<sup>3)</sup>.

Не разъ онъ долженъ былъ задавать себѣ вопросъ:

Но что жъ теперь тревожитъ хладный миръ  
Души безчувственной и праздной<sup>4)</sup>?

И въ отличіе отъ Байрона Пушкинъ не испытывалъ полной душевной усталости на дѣлѣ.

<sup>1)</sup> Оттуда выраженіе о загробномъ мірѣ:

. . . . . тамъ, гдѣ все блестаетъ  
Нетѣнной славой и красотой,  
Гдѣ чистый пламень пожираетъ  
Несовершенство бытія...

Вообще Пушкинъ не порывалъ рѣзко съ возврѣніями и обычаями своей среды и въ годы увлеченія Байрономъ, напр. (I, 277), „въ чужбинѣ“ свято наблюдалъ *Родной обычай старины*

и, „выпустивъ на волю птичку“

При свѣтломъ праздникѣ весны,  
...сталъ доступенъ угышенью;  
За что на Бога мнѣ роптать,  
Когда хотъ одному твореню  
Я могъ свободу даровать?

Это были стихи на „трогательный обычай русскаго мужика въ свѣтлое воскресенье выпускать на волю птичку“ (VII, 32).

<sup>2)</sup> I, 286. Ср. I, 238: „Я разлюбилъ свои мечты...“

<sup>3)</sup> Тамъ же.

<sup>4)</sup> I, 287.

Такъ, при всѣхъ совпаденіяхъ въ жизни и дѣятельности обоихъ поэтовъ, оставались въ силѣ коренные различія между ними, обусловленные немалыми различіями ихъ характеровъ и дарованій, а также среды, въ которой они вращались въ годы удаленія изъ общества, взлелѣявшаго ихъ юность.

Складъ нравственной натуры Пушкина, характеризовавшейся, по словамъ лицъ, хорошо знавшихъ его, „столь развитымъ въ немъ нравственнымъ чувствомъ“, „великою прямотою совѣсти“, добротою сердца несмотря на вспыльчивость и горячность, далѣе неспособностью къ сильной и продолжительной ненависти и къ непримиримой гордости, рѣзко отличалъ Пушкина отъ Британскаго поэта. Въ нашемъ поэту сказывалось также невольное вліяніе русской среды и ея вѣковыхъ преданій. И мы видѣли, что уже первое стихотвореніе Пушкина, несомнѣнно и прямо навѣянное поэзіею Байрона (элегія „Погасло дневное свѣтило“), не можетъ называться вполнѣ Байроническимъ. Рефренъ того стихотворенія:

Шуми, шуми, послушное вѣтрило,  
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!

передающій его основное настроеніе, наиболѣе приближаетъ его къ прощанію съ родимымъ краемъ Чайлдъ-Гарольда<sup>1)</sup>, но еслибы даже было еще болѣе близости между обоими стихотвореніями, то и это не имѣло бы особаго значенія, потому что прощальный привѣтъ Чайлдъ-Гарольда родинѣ вообще плѣнялъ многихъ<sup>2)</sup>, и переводъ его обратился въ романсь, жившій въ музыкальномъ исполненіи у насъ, если не ошибаемся, вплоть до 60-хъ годовъ нашего вѣка. Важно то, что о „сомнѣніи“, которое преимущественно могла навѣвать поэзія Байрона, Пушкинъ выразился, что оно—„чувство мучительное, но *не продолжительное*“<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Въ прощаніи Чайлдъ-Гарольда этому рефрену нѣсколько соответствуетъ стихъ:

Welcome, welcome ye dark blue waves!

къ которому слѣдуетъ прибавить еще изъ Ch. Har. Pilgr., IV, cxxxix:

Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll!

<sup>2)</sup> Остраф. арх., I, 338 и 353.

<sup>3)</sup> См. выше выдержку изъ замѣтки Пушкина по поводу „Демона“, приведенной Аиненковымъ. Ср. V, 5б: „скептицизмъ, во всякомъ случаѣ, есть только первый шагъ умствованія“.

Потому-то увлечеиe Пушкина Байрономъ не было глубокое и рѣшающее на всю жизнь, каковымъ можно признать въ значительной степени воздействие Байрона на Лермонтова. Оно длилось не более пяти лѣтъ, совмѣщалось и чередовалось съ увлечеиемъ поэтами иного пошиба, чѣмъ Байронъ, слѣдовательно, вытекало въ значительной степени изъ разносторонней воспріимчивости нашего поэта, и хотя отдѣльные отзвуки его слышались и потомъ<sup>1)</sup>, но въ существѣ оно окончилось еще ранѣе панихида по Байрону, отслуженной въ с. Михайловскомъ въ апрѣлѣ 1825 г.<sup>2)</sup>, да и въ тѣ годы, когда нашъ поэтъ, по его собственному выраженію, „съ ума сходилъ“ при чтеніи Байрона, давало поэзии Пушкина мало содержанія, которое могло бы быть усвоено мыслью нашего поэта, могучею на свой ладъ. Оно сообщало лишь болѣе силы и прибавляло нѣкоторыя отдѣльныя черты къ среднemu направлению мыслей и творчества Пушкина, вынесенному изъ усвоенія произведеній Вольтера, Руссо, г-жи де-Сталь, Шатобриана и другихъ, а также изъ собственного опыта и обстоятельствъ русской жизни. Разочарованіе, пресыщеніе и охлажденіе къ жизни, отличающія Чайльдъ-Гарольда, были извѣстны Пушкину съ довольно ранняго времени, а демоническая сомнѣнія могли быть знакомы также изъ Вольтера и „Фауста“ Гете.

Въ герояхъ поэмъ Пушкина, признававшихся Байроническими, можно открыть лишь нерѣдкое и у великихъ писателей усвоеніе и затѣмъ воспроизведеніе по невольному припоминанію и сліяніе въ своеобразномъ цѣломъ отдѣльныхъ чертъ, вынесенныхъ изъ чтенія цѣлаго ряда поэтовъ, а не только Байрона. Наиболѣе близкимъ къ Байроновымъ отмѣнамъ героического типа слѣдуетъ, кажется, признать Евгенія Онѣгина, который какъ будто имѣетъ въ себѣ и по виѣшнему виду, и по внутреннему складу что-то родственное Чайльдъ-Гарольду и Донъ-Жуану<sup>3)</sup>. Онъ

<sup>1)</sup> Самъ Пушкинъ сравнивалъ „Графа Нулина“ съ „Беппо“ (VII, 179).

<sup>2)</sup> Періодъ, когда Пушкинъ сравнительно чаще подпадалъ по временамъ настроенію, навѣваемому поэзію Байрона, закончился собственно съ написаніемъ стихотворенія „Къ морю“. Но, какъ увидимъ, отдѣльныя вспышки Байронического настроенія повторялись до 30-хъ годовъ, и манеру Байрона готовы усматривать еще въ „Домикѣ въ Коломнѣ“.

<sup>3)</sup> См. выше, гдѣ указаны мѣста писемъ Пушкина, выясняющія отношеніе „Евгенія Онѣгина“ къ „Донъ-Жуану“. Поэтъ писалъ въ концѣ (VII, 157—118), что въ Донъ-Жуанѣ „нѣть ничего общаго съ Онѣгиннымъ“... „если уже и сравнивать

Какъ dandy Лондонскій одѣтъ <sup>1)</sup>).

Прямымъ Онѣгинъ Чайльдъ-Гарольдомъ  
Вдался въ задумчивую лѣнъ <sup>2)</sup>).

Страдая недугомъ, „подобнымъ англійскому сплину“, онъ

.... къ жизни вовсе охладѣлъ.

Какъ Childe Harold, угрюмый, томный,  
Въ гостиныхъ появлялся онъ <sup>3)</sup>).

Онъ былъ истиннымъ героемъ того времени, когда

Британской музы небылицы  
Тревожать сонъ отроковицы <sup>4)</sup>).

Онѣгинъ въ годы юности заключалъ въ себѣ также немало Донъ-Жуановскаго демонизма, подобно тому какъ и Донъ-Жуанъ Байрона былъ выразителемъ одной изъ сторонъ Байроновскаго демонизма. „Рѣзкій, охлажденный умъ“, „язвительный споръ“, „печальный рѣчи“, „шутка съ злостью пополамъ“, „злость мрачныхъ эпиграммъ“ <sup>5)</sup>), презрѣніе къ людямъ <sup>6)</sup> и т. п.—все это черты демонизма, который подтверждается и изученіемъ стношенія набросковъ стихотворенія „Демонъ“ къ обрисовкѣ Онѣгина <sup>7)</sup>). „Жизни бѣдной кладъ“, напр., разоблачили поэту и Онѣгинъ <sup>8)</sup>), и „Демонъ“ <sup>9)</sup>). Въ одномъ мѣстѣ поэтъ

Онѣгина съ Донъ-Жуаномъ, то развѣ въ одномъ отношеніи, кто милѣе и прелестнѣе (*gracieuse*), Татьяна или Юлія? Интересно, что Пушкинъ хотѣлъ было свести Онѣгина и Байрона: Зап. Смири., I, 311.

<sup>1)</sup> III, 236 (Е. О., I, iv).

<sup>2)</sup> III, 319 (Е. О., IV, xliv)

<sup>3)</sup> III, 250 (Е. О., I, xxxviii).

<sup>4)</sup> III, 285 (Е. О., III, xi).

<sup>5)</sup> III, 251—213 (Е. О., I, xlvi, xlvi).

<sup>6)</sup> III, 252, 267 (Е. О., I, xlvi; II, xiv).

<sup>7)</sup> См. въ указанной выше статьѣ Поливанова.

<sup>8)</sup> III, 252:

Открылъ я жизни бѣдной кладъ,  
Въ замѣну прежнихъ заблужденій,  
Въ замѣну вѣры и надеждъ  
Для легкомысленныхъ невѣждъ.

<sup>9)</sup> I, 293:

Мени къ лукавому влекло...  
Я сталъ взирать его глазами,  
Миѣ жизни дался бѣдный кладъ.

прямо намекаетъ на то, что Онѣгинъ прослылъ  
Иль сатаническимъ уродомъ,  
Иль даже „Демономъ“<sup>1)</sup>...

Но, при всемъ томъ, Онѣгинъ—Байронический герой только по наружности, а по своему демонизму онъ былъ таковыиъ лишь временно, и, хотя послѣ внимательного изученія его литературныхъ вкусовъ и мнѣній въ умѣ Татьяны и мелькнула мысль, не пародія ли онъ, однако Онѣгина „съ сердцемъ и умомъ“ его<sup>2)</sup> нельзя назвать таковою. Слѣдуетъ обратить вниманіе на то, какъ постепенно видоизмѣнялся образъ Онѣгина по мѣрѣ приближенія къ концу романа, какъ серьезнѣе становился этотъ герой. Уже въ IV-й главѣ, прежній Ловеласъ,

. . . получивъ посланье Тани,  
Онѣгинъ живо тронутъ былъ:  
Языкъ дѣвическихъ мечтаній  
Въ немъ думы роемъ возмутій...  
И *въ сладостный, беззрѣшный сонъ*  
*Душою погрузился онъ*<sup>3)</sup>.

А разстаемся мы съ Онѣгінъмъ въ тотъ моментъ, когда онъ оказался

Въ Татьяну какъ дитя влюбленъ<sup>4)</sup> и очутился, быть можетъ, вполнѣ на пути къ перерожденію, какъ былъ тогда на томъ пути и поэтъ, котораго Онѣгинъ былъ столь долго „спутникомъ страннымъ“<sup>5)</sup>, поэтъ, достигшій полнаго возрожденія, между прочимъ, съ момента чистой супружеской любви. Полюбивъ Татьяну, Онѣгинъ преобразился, его скука и холодная тоска исчезли: очевидно, эта любовь не походила на прежнія увлеченія, какъ, вѣроятно, и Татьяна не походила на прежнихъ „красавицъ“ Евгения.

Поэтъ справедливо называлъ однажды Онѣгина „полу-русскимъ гроемъ“<sup>6)</sup>. Такимъ надо признать и вообще типъ, изображенный Пушкинъмъ въ поэмахъ тоски. Какъ сказано выше, этотъ типъ принадлежалъ

<sup>1)</sup> III, 386 (Е. О., VIII, xii).

<sup>2)</sup> III, 402 (Е. О., VIII, xlvi).

<sup>3)</sup> III, 305 (Е. О., IV, xi).

<sup>4)</sup> III, 394 (Е. О., VIII, xxx).

<sup>5)</sup> III, 404 (Е. О., VIII, 1).

<sup>6)</sup> III, 380. Татьяна же, какъ мы видѣли, была, по словамъ поэта, „руssкая душой“.

намъ одновременно со всѣмъ Западомъ и у насъ обрисовался лишь нѣсколько позднѣе, чѣмъ тамъ. Въ поколѣніи, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, такие тоскующіе люди были нерѣдки, и нашъ поэтъ извѣдалъ всѣ муки ихъ души. Этихъ людей у насъ называли лѣними, а Достоевскій наименовалъ ихъ скитальцами въ русской землѣ. Правильнѣе, быть можетъ, было-бы назвать ихъ міровыми скитальцами, не могущими найти покоя нигдѣ въ мірѣ. Ихъ типъ сталъ такимъ же міровымъ типомъ, какъ типъ честолюбца, скупого и т. п. Слѣдовательно, оцѣнивая воспроизведеніе этого типа въ поэзіи Пушкина, необходимо принимать во вниманіе лишь характеръ этого воспроизведенія, а не вопросъ о полной оригинальности самого типа. Становясь на такую точку зрењія, нельзя не признать, что Пушкинъ сдѣлалъ весьма много въ воспроизведеніи этого образа. Нашъ поэтъ углубилъ пониманіе типа тоскующаго человѣка, сообщивъ ему въ высшей степени рельефную обрисовку, подмѣтивъ въ немъ черты „современаго человѣка“, ускользавшія отъ вниманія другихъ, и отрѣшивъ его отъ излишняго ореола. Въ изображеніи этого человѣка на русской почвѣ стало понятнѣе возникновеніе его типа въ связи съ безотрадными условіями общественности, съ одной стороны, и въ зависимости отъ тѣхъ общеевропейскихъ интеллектуальныхъ и моральныхъ вѣяній, которыхъ питали такихъ людей,—съ другой. Такого отчетливаго критического отношенія къ излюбленному типу носителя міровой скорби не находимъ въ тѣ годы ни у какого другого поэта, а между тѣмъ оно было въ высшей степени важно, потому что не могла же жизнь остановиться на отрицательномъ, сѣтующемъ, либо негодующемъ созерцаніи. Развѣнчать такъ, мастерски проанализировавъ, типъ разочарованного протестующаго человѣка, нерѣдко благородной и возвышенной, но въ то же время бесплодной личности и указать ей выходъ могъ только первостепенный талантъ; равно разоблачить демонизмъ, какъ то сдѣлано Пушкинымъ въ „Демонѣ“ и др. произведенияхъ, могъ лишь сильный умъ.

Такъ же мѣтко и притомъ довольно рано разгадалъ Пушкинъ и односторонность передового въ жизни того времени носителя этого типа—Байрона и его демонизма. Пушкинъ съ замѣчательною проницательностью рано понялъ Байрона, какъ поэта, который постоянно въ своихъ герояхъ „погружается, въ описание самого себя, въ коемъ онъ поэтически созналъ и описалъ единий характеръ (именно—свой); все, кромѣ ... etc. отнесъ онъ къ сему мрачному, могущественному

лицу, столь таинственно плѣнительному<sup>1)</sup>). Самъ же Пушкинъ и въ годы увлеченія Байрономъ далеко не всегда

..... мараль свой портретъ,  
Какъ Байронъ, гордости поэтъ<sup>2)</sup>),

который

..... прихотью удачной  
Облекъ въ унылый романтизмъ  
И безнадежный эгоизмъ<sup>3)</sup>).

Пушкинъ не былъ гордымъ эгоистомъ на Байроновскій ладъ и такимъ рѣзкимъ индивидуалистомъ:

Потому-то сравнительно мало и слабо отозвался Байронизмъ въ лирикѣ Пушкина, хотя послѣдняго плѣнила довольно рано „поэзія мрачная, богатырская, сильная, байроническая“<sup>4)</sup>). Самымъ яркимъ выраженіемъ Байронизма былъ демонизмъ, открытый Пушкинымъ у Байрона и отчасти переданный Лермонтову, и тотъ безотрадный лирическій аккордъ, какой слышимъ въ стихотвореніи „26 мая 1828 г.“:

Даръ напрасный, даръ случайный,  
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана,  
Иль зачѣмъ судьбою тайной  
Ты на казнь осуждена?

Кто меня *враждебной* властью  
Изъ ничтожества возвзвалъ, и т. д.<sup>5)</sup>.

Въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ явился на мгновеніе настоящимъ Байронистомъ<sup>6)</sup>). Но то не были могучіе взрывы глубокаго отрицанія

<sup>1)</sup> VII, 50; ср. VII, 158 Вглядъ Тэна на эту особенность поэзіи Байрона въ сущности тотъ же.

<sup>2)</sup> III, 258 (Е. О., I, LVI).

<sup>3)</sup> III, 386 (Е. О., III, XII).

<sup>4)</sup> VII, 15.

<sup>5)</sup> II, 38. Павлищевъ, Воспоминанія, 21, называетъ это стихотвореніе „любимыми стихами“ Пушкина.

<sup>6)</sup> Ср. въ „Каинѣ“, актъ II, сц. II, слова Каина:

..... Why do I exist?  
Why art thou wretched? why are all things so?  
Ev'n he who made us must be, as the maker  
Of things unhappy! To produce destruction  
Can surely never be the task of joy etc.

Ср. выше слова Пушкина (V, 50) о принадлежности „Каина“ „къ роду скептической поэзіи Чайльдъ-Гарольда“. О слѣдахъ воздействиія Байрона на тѣ или иные

и отчаянія Байронова Каина, который разжигаеть Люциферъ, а лишь выраженіе отдельныхъ моментовъ колебанія души, не могшой склониться къ полному и мрачному отрицанію, постоянно пытавшейся превозмочь голосъ демона сомнѣній и преодолѣвшей его.

Уже приступивъ къ „ОНѣгіну“ и въ моментъ созданія „Цыганъ“ Пушкинъ могъ прозрѣвать то, что выразилъ позднѣе въ словахъ: „словесность отчаянія“ (какъ называлъ ее Гёте), „словесность сатаническая“ (какъ говорить Соутей), „словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр.“ „осуждена высшею критикою“, и изображеніе „только двухъ струнъ въ сердцѣ человѣческомъ: эгоизма и тщеславія“, вытекающее изъ „поверхностнаго взгляда на человѣческую природу“, „обличаетъ, конечно, мелкомыслie“<sup>1)</sup>.

Пушкинъ сохранялъ при этомъ уваженіе къ образу Чайльдъ-Гарольда<sup>2)</sup>, но восторжествовалъ надъ мрачнымъ отношеніемъ къ жизни<sup>3)</sup>, надъ духомъ сомнѣнія и отрицанія, какъ Гёте, поднялся до яснаго и небесно-чистаго созерцанія Шиллера, оставшись въ то же время свободнымъ и отъ холоднаго въ концѣ Олимпійскаго величія Гёте и отъ крайняго идеализма Шиллера. Равнымъ образомъ, и въ другихъ отношеніяхъ Пушкинъ отошелъ далеко отъ Байрона и вообще отъ романтики, которая увлекала его во дни юности. Онъ такъ вспоминалъ отѣхъ днѣахъ:

Въ ту пору мнѣ казались нужны  
Пустыни, волны края жемчужны,  
И моря шумъ, и груды скаль,  
И гордой дѣви идеаль,  
И безыменныя страданья...<sup>4)</sup>

образы и мысли въ лирикѣ Пушкина см. у Н. Ф. Сумкова, Этюды, II, 15; III, 72; IV, 2, 9, 62.

<sup>1)</sup> V, 302—303.

<sup>2)</sup> Въ 1830 г. Пушкинъ писалъ (V, 131) о послѣдней главѣ „ОНѣгина“: „Осымую главу я хотѣлъ было вовсе уничтожить и замѣнить одною римскою цифрою, но побоялся критики... Мысль, что шутливую пародію можно принять за неуваженіе къ великой и священной памяти, также удерживала меня. Но Child Harold стоять на такой высотѣ, что, какимъ бы тономъ о немъ ни говорили, мысль оскорбить его не могла во мнѣ родиться“.

<sup>3)</sup> Уже Фарнгагенъ (въ „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“, откуда статья его была переведена въ „Сынѣ Отечества“ 1839 г.) отметилъ, что Пушкина отличала отъ Байрона „свѣжая веселость“. Въ этой чертѣ сказался де истинный поэтъ, потому что настоящая поэзія есть радость и утѣшеніе и „только для того снисходитъ ко всѣмъ скорбямъ и страданіямъ“.

<sup>4)</sup> Изъ путешествія Онѣгина.

Теперь же

Другія хладныя мечты,  
 Другія строгія заботы  
 И въ шумѣ свѣта, и въ тиши  
 Тревожать сонъ моей души.  
 Позналъ я гласъ иныхъ желаній,  
 Позналъ я новую печаль;  
 Для первыхъ нѣть мнѣ упованій,  
 А старой мнѣ печали жаль.  
 Мечты, мечты! гдѣ ваша сладость? <sup>1)</sup>

Пушкинъ полюбилъ

. . . . . прозаическія бредни,  
 Фламандской школы пестрый соръ <sup>2).</sup>

Онъ сталъ вполнѣ начинателемъ того направленія, которое характеризуетъ новѣйшую литературу, и въ своемъ вниманіи и любви къ изображенію простой и неприглядной дѣйствительности <sup>3),</sup> и въ любви ко всемъ людямъ: въ каждой личности, какъ бы низко она ни пала, нашъ поэтъ умѣлъ открывать и ту или иную свѣтлую сторону, умѣлъ находить черты человѣчности. То былъ признакъ не только полной гуманности, но и высокаго подъема духа надъ безотраднымъ созерцаніемъ дѣйствительности и вмѣстѣ вполнѣ трезваго и разумнаго отношенія къ послѣдней.

Байронъ заканчивалъ свою жизнь съ чувствомъ все болѣшаго и болѣшаго утомленія и искалъ могилы <sup>4)</sup>. Пушкинъ также испытывалъ было утомленіе и уже на 22-мъ году жизни писалъ: „Я пережилъ свои желанья“ <sup>5)</sup>, но, въ отличіе отъ Байрона и его послѣдователей, послѣ „наслажденій, пировъ, грусти, милыхъ мученій, шума, бурь легкой юности“, сказалъ:

<sup>1)</sup> III, 356 (Е. О., VI, хлп -хлп). Ср. VII, 51—52: „новая печаль мнѣ ската грудь“ и пр.

<sup>2)</sup> III, 409.

<sup>3)</sup> Это было отмѣчено уже критикою, современною Пушкину, напр. Надеждинымъ, перепечатку сужденій котораго см. у Поливанова, Сочиненія Пушкина, IV, 120—134; см., напр., замѣчаніе о „Фламандской картинкѣ“ отъѣзда Тани въ Москву и о томъ, что описание Москвы въ VII-й главѣ Онѣгина „сдѣлано истинно—Гогаревскими“.

<sup>4)</sup> См. стихотв.: „On this day I complete my thirty sixth year“.

<sup>5)</sup> I, 238.

Довольно! съ ясною душою  
Пускаюсь нынѣ въ новый путь  
Отъ жизни прошлой отдохнуть<sup>1</sup>).

Пушкинъ непрестанно искалъ путей нравственного обновленія. Онъ обрѣлъ ихъ въ „трудахъ“ вдали отъ юношескихъ

но не на чужбинѣ, напр., въ Америкѣ, куда возводилъ взоры въ концѣ своихъ дней Байронъ. Пристанище для задушевныхъ помысловъ и „трудовъ“ Пушкина нашлось въ родной землѣ,—въ полной вѣрѣ въ духовность человѣка и въ „высокій жребій“ того народа, изъ среды которого вышелъ напѣ поэтъ.

<sup>1)</sup> III, 357 (E.O., VI, xlv).

Подробному развитию и обоснованию некоторых мыслей, намеченных в настоящем этюде, будет посвящена особая статья в „Университетских Изpositoryх“.

## ОТЗВУКИ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ ВЪ ПОСЛѢДУЮЩЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ<sup>1)</sup>.

Поэтической дружины  
Смѣлый вождь и исполинъ!  
*Кн. П. А. Вяземскій.*

„Пушкинъ былъ первымъ русскимъ художникомъ-поэтомъ“<sup>2)</sup>,

Его стихи читая, точно я  
Переживаю нѣкій мигъ чудесный —  
Какъ будто надо мной гармонія небесной  
Вдругъ пронеслась нежданная струя....  
Нездѣшними мнѣ кажутся ихъ звуки:  
Какъ бы, вліясь въ его бессмертный стихъ,  
Земное все—восторги, страсти, муки,—  
Въ небесное преобразилось въ нихъ<sup>3)</sup>!

Эта художественная сторона Пушкинскихъ произведеній общеизвестна и оцѣнена по достоинству даже въ рядахъ той партии, от-

<sup>1)</sup> Вопросъ, затронутый мною, слишкомъ серьезенъ и обширенъ, чтобы я могъ претендовать на полное и независимое решеніе его, особенно въ узкихъ предѣлахъ моей рѣчи. Мнѣ хотѣлось только набросать общую схему решения этого вопроса, какъ она можетъ представляться на основаніи сдѣланныхъ уже наблюдений и сопоставленій.

<sup>2)</sup> Тургеневъ. Сочиненія, изд. Маркса, XII, стр. 334.

<sup>3)</sup> Сочиненія А. Н. Майкова, изд. Маркса, 1893 г., т. I, стр. 498.

куда раздавались наибольшія нападки на Пушкина, и напримѣръ, по отзыву Чернышевскаго, „художническій геній Пушкина такъ великъ и прекрасенъ, что хотя эпоха безусловнаго удовлетворенія чистою формою для насъ миновала, мы доселѣ не можемъ не увлекаться дивною, художественною красотой его созданій. Онъ истинный отецъ нашей поэзіи, онъ воспитатель эстетического чувства и любви къ благороднымъ эстетическимъ наслажденіямъ въ русской публике, масса которой чрезвычайно значительно увеличилась, благодаря ему,—вотъ его правá на вѣчную славу въ русской литературѣ“<sup>1)</sup>.

Плоды такого эстетического воспитанія показались еще при жизни А. С. Пушкина, и вокругъ великаго учителя стала группироваться извѣстная Пушкинская плеяда. Въяніе Пушкинскаго генія коснулось не только близайшихъ друзей Пушкина—Дельвига и Языкова, сказалось не только у мелкихъ поэтовъ того времени, но и у такихъ, какъ своеобразный поэтъ-гражданинъ Рыльевъ,<sup>2)</sup> сильный и самобытный Баратынскій, или князь Вяземскій, писатель старой школы, классикъ по натурѣ.

Поэты, выступившіе на свое поприще послѣ Пушкина, въ значительной степени вызванные имъ, тяготѣли къ Пушкину и были отмѣчены печатью его еще въ большей степени, чѣмъ современники его. Для всѣхъ послѣдующихъ истинныхъ поэтовъ, какого бы направлениія они не придерживались, Пушкинъ сталъ величавымъ „геніемъ пѣсенъ сладкозвучныхъ“, законодателемъ формы и вообще виѣпніхъ приемовъ творчества, живымъ примѣромъ того, какъ должно въ художественныхъ образахъ воспроизводить явленія окружающей насъ жизни и нашего внутренняго міра. Какія явленія жизни заслуживаютъ поэтическаго воспроизведенія и какая цѣль послѣдняго—это уже другой вопросъ, при решеніи которого не всегда дорожили завѣтами Пушкина, или же толковали эти завѣты и примѣняли ихъ къ дѣлу довольно произвольно. Лишь Лермонтовъ остался на высотѣ поэзіи своего предшественника, на произведеніяхъ котораго онъ въ буквальномъ смыслѣ вырабатывалъ свою собственную поэзію; остальнымъ бремя Пушкина оказалось не подъ силу.

<sup>1)</sup> Современникъ 1855 г., т. 52, стр. 52.

<sup>2)</sup> Пушкинъ считалъ Рыльева своимъ ученикомъ въ стихѣ, это подтверждалъ и самъ Рыльевъ.—А. Н. Пыпинъ въ В. Европы 1895 г., кн. XI, стр. 261.

Художественная красота, искренность и задушевность Пушкинской музы стали идеаломъ т. н. школы поэтовъ чистаго искусства, съ знаменитымъ тріумвиратомъ А. Н. Майкова, Я. П. Полонскаго и А. А. Фета во главѣ. Всльдъ за Пушкинымъ, они

въ своихъ мечтахъ  
За высшій жребій человѣка  
Считая чудный даръ стиховъ,  
Имъ предались невозвратимо....<sup>1)</sup>

Идеалисты, сохранившіе лучшій пыль свой юности, они перенесли къ намъ искусство черезъ тяжелую годину сомній и отрицаній, когда заявлялось, что

Поэтомъ можешь ты не быть,  
Но гражданинамъ быть обязанъ!

„Отдавая полную справедливость непосредственнымъ двигателямъ отечественного преобразованія, ставя гражданскую дѣятельность весьма высоко“, они, однако, вѣрили, „что броженіе вопросовъ, которые такъ сильно и такъ справедливо занимаютъ враговъ чистаго искусства, есть не что иное, какъ примѣненіе къ жизни общихъ теоретическихъ истинъ, не принадлежащихъ исключительно той или другой странѣ, тому или другому вѣку. но составляющихъ достояніе всего человѣчества, въ какія-бы то ни было времена. Уясненіе этихъ истинъ и приведеніе ихъ къ общему закону есть задача философіи, а облече-  
ніе въ художественную форму—задача искусства. Отвергать искусство или философію во имя непосредственной пользы—все равно, что не хотѣть заниматься механикой, чтобы имѣть болѣе времени строить мельницы“<sup>2).</sup>

Столь высокое по своему значенію, искусство въ неменьшей степени свободно, и въ духѣ извѣстнаго Пушкинского сонета *Поэту* и др. подобныхъ произведеній жрецы чистаго искусства восклицали:

О мысль поэта! Ты вольна,  
Какъ пѣсня вольной гальціони!  
Въ тебѣ самой твои законы,

<sup>1)</sup> А. Н. Майковъ, II, 458.

<sup>2)</sup> Письма гр. А. Толстого, В. Евр. 1895 г., кн. XI, 189—190 стр.



и. въ тип Петра Барского.

Аглай А. Давыдова.

Digitized by Google



Сама собою ты стройна!  
 Кто скажетъ молни: браздами  
 Не раздирай ночную мглу?  
 Кто скажетъ горному орлу:  
 Ты не ширяй подъ небесами,  
 На солнце гордо не смотри,  
 И не плеши морей водами  
 Своими черными крылами  
 При блескѣ розовой зари<sup>1)</sup>?

Съ горделивымъ сокрушениемъ толкуютъ эти продолжатели Пушкина о міровой душѣ поэта, не находящей отклика среди людей<sup>2)</sup>, и съступаютъ, что послѣдніе „звона не терпятъ гуслярного,—подавай имъ товариа базарнаго“<sup>3)</sup>.

Словомъ, въ области общихъ возврѣній на искусство поэты чистаго искусства развивали всѣмъ извѣстные Пушкинскіе мотивы, весьма часто понимая ихъ слишкомъ узко и односторонне. Это особенно относится къ Фету, къ произведеніямъ котораго болѣе, чѣмъ къ чьимъ-либо другимъ, примѣнно название „звуковъ чистыхъ и молитвъ“; въ стихотвореніяхъ Фета чистое искусство нашло себѣ высшее выраженіе, какъ въ смыслѣ необычайной художественной прелести стиховъ, аткъ и въ смыслѣ полнѣйшей отрѣщенности поэзіи отъ дѣйствительности, отъ всего земнаго, тѣлеснаго. Пушкинскіе же чистые звуки и молитвы—земные звуки, хотя и звучали они небесной гармоніей. Въ этомъ отношеніи къ Пушкину гораздо ближе стоитъ Полонскій, поскольку онъ является поэтомъ ежедневной, почти будничной жизни. Обоихъ ихъ роднитъ, по словамъ одного новѣйшаго критика, безсознательная вѣрность рисунка, какъ бы невольное проникновеніе въ правду явленія, простодушіе, искренность и наивность. Подобно Пушкину, Полонскій любить и не боится обращаться къ самой обыденной, самой пошлой дѣйствительности, чтобы и тамъ найти искры поэзіи, чтобы раскрыть запечатлѣнную въ ней красоту; какъ изобразитель природы, Полонскій не только достойный преемникъ Пушкина, но, пожалуй, даже соперникъ его<sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Майковъ, I, 29.

<sup>2)</sup> Майковъ, I, 482—4.

<sup>3)</sup> А. Толстой, I, стр. 221.

<sup>4)</sup> Я. П. Полонскій, П. Перцова—Филос. теченія р. поэзіи, 1896 г., стр. 284, 287, 297 и др.

Пушкинъ, какъ поэтъ-пластикъ и классикъ въ болѣе тѣсномъ смыслѣ этого слова, наиболѣе замѣтный отзвукъ нашелъ себѣ въ поэзіи Майкова, котораго антологическая стихотворенія при первомъ же выходѣ въ свѣтъ были сразу приведены въ связь съ соотвѣтствующими произведеніями Пушкина. И не только антологіи Пушкина были, вмѣстѣ съ антологіями Батюшкова, первообразами антологій Майкова. Въ *Египетскихъ ночахъ* Пушкина было заключено зерно и такихъ замѣчательныхъ произведеній Майкова, какъ *Три смерти и Два міра*.

Не безынтересно также посмотретьъ, какъ у Майкова античная форма и античное міросозерцаніе иногда сливались съ впечатлѣніями русской природы, совершенно въ духѣ Пушкина:

О други! прежде чѣмъ покинемъ мирный кровъ,  
Гдѣ тихо протекли дни нашего бездѣлья  
Вдали отъ шумнаго движенія городовъ,  
Ихъ скуки злой, ихъ ложнаго веселья,  
Послѣдній кинемъ взглядъ съ прощальною слезой  
На бывшій нашъ эдемъ!... Вотъ домикъ нашъ укромной:  
Пусть вѣкъ благой пенатъ хранить его покой,  
И грустная сосна объемлетъ вѣтвью темной!  
Вотъ лѣсь, гдѣ часто мы внимали шумъ листовъ,  
Когда сквозитъ межъ нихъ лучъ солнца раскаленной...  
Склонитесь надо мной съ любовью вожделѣнной,  
О вѣти мирныя таинственныхъ дубровъ!  
Шуми, мой свѣтлый ключъ, изъ урны подземельной  
Шуми, напомни мнѣ игривою струей  
Мечты настроены подъ сладкій говоръ твой,  
Унывно-сладкія, какъ пѣсни колыбельны!... <sup>1)</sup>)

Отдельные перепѣвы и отраженія Пушкинскихъ стихотвореній у Майкова, особенно въ болѣе раннихъ стихотвореніяхъ, встрѣчаются весьма часто; и по близости къ Пушкину именно этой стороной своей поэзіи Майковъ уступаетъ мѣсто лишь гр. А. Толстому. Критика не разъ указывала, что вдохновеніе Толстого въ процессѣ работы подогрѣвалось „воспоминаніями“, т. е. обломками и лоскутками чужихъ мыслей, эффектовъ, пружинъ, поразившихъ его воображеніе и сохранившихся въ его памяти, причемъ эти воспоминанія иной разъ почти

<sup>1)</sup> I, стр. 37

не претворялись, и въ конечномъ выводѣ у Толстого было возможно чу-  
жое, которое такъ и оставалось чужимъ<sup>1)</sup>). Было-бы слишкомъ утоми-  
тельно перечислять всѣ воспоминанія, навѣянныя А. Толстому Пушки-  
нинъ, начиная съ „товара базарнаго“ — амплификаціи извѣстнаго  
Пушкинскаго „печного горшка“ и кончая испанскими романсами да  
русскими балладами—варіаціями на Пушкинскую мелодію пѣсни о  
вѣщемъ Олегѣ<sup>2)</sup>). Въ параллель Пушкинскому *Каменному гостю* вы  
найдете у Толстого—*Донъ-Жуана*, а *Борисъ-Годуновъ* первого былъ  
ядромъ, изъ которого выросла извѣстная трилогія второго. Грѣшница  
Толстого заставляетъ невольно вспоминать и такие образы, какъ Клео-  
патра *Египетскихъ ночей* Пушкина или Тамара въ балладѣ Лермон-  
това.

Такимъ образомъ, въ выборѣ сюжетовъ, типовъ, отдѣльныхъ моти-  
вовъ поэты чистаго искусства также замѣтно тяготѣютъ къ Пушкину,  
какъ тѣ бросается въ глаза и при сличеніи ихъ общихъ взгля-  
довъ на искусство. Но приходится отмѣтить, что даже въ области  
чистаго искусства поэты, какъ Фетъ, Полонскій, Майковъ и др. под.,  
отстали отъ своего великаго учителя. По замѣчанію критика, кото-  
рый самъ стоитъ на почвѣ чистаго искусства, музы Пушкина и Лер-  
монтова была не только музой красоты и природы,—она была музой  
человѣческихъ страстей, борьбы, страданія, всего безграничнаго и бур-  
наго океана жизни. Муза Майкова, Фета и Полонскаго значительно  
съузила поэтическую программу Пушкина и Лермонтова. Она боится бурь  
историческихъ и душевныхъ, слишкомъ рѣзкаго современного отри-  
цанія, слишкомъ горькихъ и болѣзнейшихъ сомнѣній, слишкомъ раз-  
рушительныхъ страстей и порывовъ. Повидимому, она возобновила въ  
поэзіи мудрое правило Горациіа о мѣрѣ во всемъ, объ „aurea mediocritas“, и поклонилась античному идеалу. Это муза тихихъ книгохра-  
нилищъ, уединенныхъ садовъ, музеевъ, семейнаго очага, спокойныхъ  
и созерцательныхъ путешествій, мирныхъ радостей и невозмутимой вѣры  
въ идеалъ. Положительно, люди эти внушаютъ зависть своимъ здо-  
ровьемъ: тишина патріархального дѣтства и вкусные хлѣба помѣщич-  
ихъ обломовскихъ гнѣздъ пошли имъ впрокъ. Нестарѣющіе пѣвцы,

<sup>1)</sup> Иллюзіи поэтическаго творчества. Эпосъ и лирика гр. А. К. Толстого.  
Н. М. Соколова. Спб. 1890 г., стр. 223 и д.

<sup>2)</sup> Ср. Соколова *passim*, Страхова, Замѣтки о Пушкинѣ и др. поэтахъ, Киевъ  
1897 г. стр. 239.

вдохновенные въ 70 лѣтъ, они моложе молодыхъ поэтовъ болѣе перваго и мятеjнаго поколѣнія. Если собрать всѣ печали и сомнѣнія, которыхъ отразились за поль-вѣка въ произведеніяхъ Фета, Полонскаго и Майкова, если сдѣлать изъ этихъ страданій экстрактъ, то все таки не получится даже и капли той неизысканной горечи, которая заключена въ 12-ти строкахъ Лермонтовскаго *И скучно, и грустно, и некому руку подать*, или въ Пушкинскомъ *Анчарѣ*. Вотъ въ чёмъ ограниченность этого поэтическаго поколѣнія. Увлеченніе служеніемъ одной сторонѣ искусства, оно произвольно отѣжло отъ поэзіи, какъ „злобу дня“, не только преходящіе гражданскіе мотивы, но и все, что составляется, помимо красоты, важнейшую часть наслѣдія Пушкина и Лермонтова, т. е. *вѣчныя страданія человѣческаго духа, мятеjный, неугасающій огонь Прометея, возставшаго на богоевъ*. Форма осталась совершенной, содержаніе обѣднѣло и съузилось. Пушкинъ и Лермонтовъ не менѣе жрецы вѣчнаго искусства, не менѣе артисты, чѣмъ Майковъ, Фетъ и Полонскій, однако это не мѣшаетъ Пушкину и Лермонтову быть современными и близкими къ дѣйствительности, понимать и раздѣлять все, чѣмъ страдало ихъ поколѣніе<sup>1)</sup>.

Съ другой стороны, самъ Пушкинъ, хотя и клеймилъ „чернь“ въ тяжелыя минуты, сднако бессмертіе свое основалъ на извѣстности именно въ народѣ, а не въ кружкѣ избранныхъ; народу служилъ Пушкинъ, какъ ни возмущался подчасъ его непониманіемъ, и подводя итоги своей дѣятельности, въ характеристику своей поэзіи внесъ незабвенные слова:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,  
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,  
Что въ мой жестокій вѣкъ возвеличилъ я свободу  
И милость къ падшимъ призывалъ.

Нельзя сказать, чтобы поэты чистаго искусства забыли этотъ за-ѣтъ; они даже нерѣдко, какъ особенно Майковъ и Полонскій, служили ему,—но служили всѣльзь, надѣясь вполнѣ осуществить его только въ служеніи чистой красотѣ. Тотъ народъ, въ которомъ чувство красоты составляетъ потребность жизни, по убѣждению графа А. Толстого, не можетъ не имѣть вмѣсть съ нимъ и чувства законности и чувства свободы. Онъ уже готовъ къ жизни гражданской, и зако-

<sup>1)</sup> А. Н. Майковъ Мережковскаго. Филос. теченія р. поэзіи, стр. 319 и д.

нодательству остается только освятить и облечь въ форму уже существующіе элементы гражданства<sup>1</sup>).—Осуществимъ ли такой идеалъ и не слишкомъ ли долго придется ждать, покамѣстъ онъ осуществится? А потому, не лучше ли сразу же взяться за исправленіе того, что слишкомъ ужъ наболѣло и требуетъ быстраго лѣченія? Наступила пора, когда, наконецъ, весь строй и условія русской жизни не только рѣзко поставили на очередь этотъ вопросъ, но и подсказывали иной отвѣтъ на него, чѣмъ тотъ, какого держались поэты чистаго искусства; въ противовѣсь этимъ послѣднимъ выдвинулся кружокъ поэтовъ съ Некрасовымъ во главѣ, которые старались пробуждать чувства добра, славить свободу, призывать къ падшимъ милость—болѣе дѣйствительныи, доступныи массѣ способомъ, хотя бы то было даже въ ущербъ искусству. Обѣ партіи, въ сущности, лишь подѣлили между собой наслѣдье Пушкина; гармонически сливавшіяся у Пушкина и взаимно умѣравшіяся требованія искусства и жизни, обособившись, обозначились сильнѣе и стали во враждебныи другъ другу отношенія, но и здѣсь—конечная цѣль служенія музамъ у той и другой партіи осталась одинаковой; разница была только въ средствахъ, и при извѣстномъ дарованіи она становилась почти незамѣтной, такъ что подчасъ поэтъ чистаго искусства создаетъ произведенія, подъ которыми охотно подписался бы поэтъ-гражданинъ, и наоборотъ, чему не мало прімѣровъ можно найти у Майкова, Чолонскаго, Некрасова или Плещеева, благороднаго энтузиаста-гражданина<sup>2</sup>), и вмѣстѣ возвышенаго поэта, достойнаго стоять въ ближайшемъ къ Пушкину ряду. Въ основаніе, если не всей вообще литературной дѣятельности Плещеева, то во всякомъ случаѣ—первой половины ея легли „слова страстиаго, благороднаго призыва въ стихотвореніи *Впередъ*“; они, по замѣчанію бiографа Плещеева, нашли отголосокъ въ лучшей части образованнаго русскаго общества и сдѣлялись какъ бы лозунгомъ молодого поколѣнія<sup>3</sup>); но эти же слова представляютъ не болѣе, какъ развитіе заключительныхъ аккордовъ Пушкинскаго *Пророка*, *Вакхической пьесы* 1825 г. и слѣдующихъ строкъ изъ юношескаго посланія къ Чаадаеву:

<sup>1</sup>) Стр. 190, В. Евр. 1895, XI.

<sup>2</sup>) Разумѣемъ первую половину его дѣятельности.

<sup>3</sup>) Стихотворенія А. Н. Плещеева 1898 г., XIII стр. Во вторую половину дѣятельности Плещеева, поэзія его, сохрания благородство настроенія, лишена уже „страстности“, жизнерадостности и вѣры въ свои силы.

Пока свободою горимъ,  
 Пока сердца для чести живы,  
 Мой другъ, отчиняй посвятимъ  
 Души высокіе порывы!... I, 190.

Даже въ частностяхъ, при выборѣ и развитіи гражданскихъ мотивовъ, поэты въ родѣ Некрасова шли зачастую по стопамъ Пушкина; касаясь этого, я впрочемъ не намѣренъ злоупотреблять всѣмъ извѣстными стихами Пушкина въ защиту свободы и въ обличеніе произвола, разныхъ отдѣльныхъ злоупотребленій и крѣпостного права: я хочу только напомнить про ту сторону Пушкинской поэзіи, которая нашла себѣ выраженіе, между прочимъ, въ слѣдующихъ строкахъ стихотворенія 1830 г. *Шалость*:

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій,  
 За ними черноземъ, равнины скать отлогій,  
 Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.  
 Гдѣ жь нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?  
 Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора,  
 Два бѣдныхъ деревца стоять въ отраду взора,  
 Два только деревца, и то изъ нихъ одно  
 Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,  
 А листья на другомъ размокли и, желтѣя,  
 Чтобъ лужу засорить, ждутъ первого Борея.  
 И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.  
 Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.  
 Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкою гробъ ребенка  
 И кличетъ издали лѣниваго попенка,  
 Чтобъ тотъ отца позвалъ да церковь отворилъ:  
 Скорѣй, ждать некогда, давно бѣ ужъ скоронилъ!

Большинство поющихъ осеннихъ мелодій Некрасова не является ли только вариаціями на ту же тему? Заключительная картина приведенного отрывка почти полностью повторилась у Некрасова,—правда, съ нѣсколькою иною окраской:

Вотъ идетъ солдатъ. Подъ мышкою  
 Дѣтскій гробъ несетъ дѣтинушка.  
 На глаза его суровые

Слезы выжала кручинушка.  
 А какъ было живо дитято,  
 То и дѣло говоримося:  
 „Чтобъ ты лопнуло, проклятое!  
 Да зачѣмъ ты и родилося?“

Сравните эту сценку съ Пушкинской, провѣрьте ту и другую данными самой жизни и литературными изображеніями народнической школы, напр. очерками Глѣба Успенского, и быть можетъ, за нѣкоторою наружною холодностью Пушкинского наброска вы почувствуете тотъ обнаженный, глубоко драматичный народническій реализмъ, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашихъ беллистрисовъ-народниковъ и какой у Некрасова весьма часто подкрашивался сентиментальничаніемъ.

---

Отмѣченнымъ не исчерпывается потомство Пушкина. Едва ли не самое глубокое Пушкинскій поэзіи отразилось въ излюбленной формѣ современного творчества—въ романѣ и повѣсти, къ которымъ и самъ Пушкинъ началъ весьма замѣтно тяготѣть во вторую половину своей дѣятельности. Какъ и въ стихахъ, здѣсь прежде всего отразилась художественность формы Пушкина, и напримѣръ, мастеръ русского слова, Тургеневъ скромно называлъ себя ученикомъ Пушкина. Пушкинъ, говорилъ Тургеневъ, создать нашъ поэтическій, нашъ литературный языкъ; намъ и нашимъ потомкамъ остается только итти по пути, проложенному его геніемъ<sup>1)</sup>). Языкъ Пушкина, какъ это замѣтилъ Анненковъ по поводу *Арапа Петра В.*, простъ, безыскусственъ, но точенъ и живописенъ, а разсказъ невозмутимо спокойенъ; въ немъ безъ всякаго усилия являются лица и происшествія, вполнѣ живыя и законченныя; твердыми стопами ведетъ онъ происшествіе, не замазывая пустыхъ мѣстъ и не пестря подробностей<sup>2)</sup>). По собственному выраженію Пушкина, „точность, опратность—вотъ первыя достоинства прозы. Она требуетъ мыслей и мыслей; блестящія выраженія ни къ чему не служатъ“<sup>3)</sup>).— „Пишите съ простотой; пишите просто,

<sup>1)</sup> Сочиненія, изд. Маркса, ХII, стр. 336, 341.

<sup>2)</sup> Материалы 1855 г., стр. 127.

<sup>3)</sup> Сочиненія, подъ ред. Морозова. V, 15—16. Ср. Жданова, Памяти В. Г. Былинского, 1899 г., 3.

искренно то, что въасъ занимаетъ", повторяетъ позднѣе Тургеневъ, и тѣ же мысли развиваются Л. Н. Толстой въ своемъ недавнемъ трудѣ объ искусствѣ. Ср. интересное сообщеніе г. Сергеенка о томъ, при какихъ обстоятельствахъ начата была *Анна Каренина*:

Вечеромъ въ 1873 г. Левъ Николаевичъ вошелъ въ гостиную, когда его старшій сынъ читалъ вслухъ своей теткѣ *Повѣсти Бѣлкина*. При появленіи Л. Н-ча чтеніе прекратилось. Онъ спросилъ, что читаются, раскрылъ книгу и, прочитавши: „гости съѣзжались на дачу“<sup>1)</sup>, пришелъ въ восхищеніе.—Вотъ какъ всегда слѣдуетъ начинать писать! сказалъ онъ: это сразу вводить читателя въ интересъ. Родственница Толстыхъ заявила, что какъ бы хорошо было, если бы Л. Н. написалъ великовѣтскій романъ. Прійдя въ свой кабинетъ, Л. Н. въ тотъ же вечеръ написалъ: „Все смыкалось въ домѣ Облонскихъ“, и потомъ уже, когда началъ писать романъ, помѣстилъ въ началѣ: „Всѣ счастливыя семьи“... и т. д.<sup>2)</sup>.

*Евгениемъ Онѣгиномъ* Пушкинъ положилъ начало художественному бытовому роману русскому, какъ для повѣсти онъ то же сдѣлалъ *Домикомъ въ Коломнѣ* и *Повѣстями И. Н. Бѣлкина*. Бѣлинскій, далѣе, отмѣтилъ, что одна изъ главъ *Арапа Петра В.* своимъ появленіемъ упредила всѣ историческіе романы Загоскина и Лажечникова; семь главъ неоконченного *Арапа Петра В.* представлялись Бѣлинскому „неизмѣримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всѣхъ ихъ, вмѣсть взятыхъ“! Это замѣчаніе, при оцѣнкѣ художественныхъ воспроизведеній до-Пушкинской Руси, не потеряло своего значенія и по настоящее время, такъ какъ даже *Князь Серебряный* А. Толстого не чуждъ иѣ-

<sup>1)</sup> II отр. Египетскихъ ночей.

<sup>2)</sup> Какъ живеть и работаетъ гр. Л. Н. Толстой. стр. 72. „У Пушкина“, говорилъ Мериме: „поэзія чуднымъ образомъ расцвѣтаетъ какъ бы сама собою изъ самой трезвой прозы“. Тотъ же Мериме постоянно примѣнялъ къ Пушкину извѣстное изреченіе: „Proptie communia dicere“, признавая это умѣнье самобытно говорить общеизвѣстное—за самую сущность поэзіи, той поэзіи, въ которой примираются идеальное и реальность. Онъ также сравнивалъ Пушкина съ древними греками, по равномѣрности формы и содержанія, образа и предмета, по отсутствію всякихъ толкованій и моральныхъ выводовъ... Прочти однажды *Анчаръ*, онъ послѣ конечнаго четверостишія замѣтилъ: „всякій новѣйшій поэтъ не удержался бы тутъ отъ комментарievъ“. Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно *in medias res*, братъ „быка за рога“, какъ говорять французы... Тургеневъ, XII, 336.

которой манерности и декоративной историчности. Только Л. Н. Толстой, въ своемъ извѣстномъ историческомъ романѣ изъ болѣе близкой намъ эпохи, обнаружилъ ту же глубину взгляда, широту размаха и спокойную прелестъ разсказа, какими проникнуты *Арапъ Петра В.* и *Капитанская дочка*, которую Страховъ совершило справедливо поставилъ въ непосредственную связь съ *Войною и Миромъ*. Самая характеристика русского общества Наполеоновскихъ войнъ, какъ она сдѣлана Л. Н. Толстымъ, была до извѣстной степени намѣчена Пушкинымъ въ отрывкѣ *Рославлевъ*<sup>1)</sup>.

Обращаясь къ тому, что Пушкинъ далъ въ рамкахъ этихъ произведеній, заставимъ опять говорить такого компетентнаго судью, какъ Тургеневъ: „Пушкинъ (говорить онъ) въ своихъ созданіяхъ оставилъ намъ множество образцовъ, типовъ того, что совершилось потомъ въ нашей словесности“<sup>2)</sup>.

Еще сильнѣе высказывалъ то же другой великий писатель, ученикъ Пушкина, Гончаровъ: „Отъ Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ теперь еще пока никуда не уйдешь. Школа Пушкино-Гоголевская продолжается доселе, и все мы, беллетристы, только разрабатываемъ завѣщанный ими материалъ... Пушкинъ—отецъ, родоначальникъ русского искусства, какъ Ломоносовъ—отецъ науки въ Россіи. Въ Пушкинѣ кроются все сѣмена и зачатки, изъ которыхъ развились потомъ все роды и виды искусства во всѣхъ нашихъ художникахъ, какъ въ Аристотелѣ крылись сѣмена, зародыши и намеки почти на всѣ послѣдовавшія вѣти знанія и науки“<sup>3)</sup>.

Такой взглядъ на Пушкина все болѣе и болѣе оправдывается, и кажется, недалеко то время, когда онъ окончательно утвердится въ нашей ученой літературѣ. Еще Бѣлинскій подмѣтилъ значеніе *Капитанской дочки* и *Дубровскаго*, какъ эпопей старого помѣщичьяго быта; съ этими именно произведеніями находятся въ ближайшей родственной связи такія картины былого, какъ всѣмъ извѣстная *Семейная Хроника Аксакова*<sup>4)</sup> или *Пошегонская Старина* Салтыкова,

<sup>1)</sup> Н. Страховъ. Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ, изд. 3, стр. 278 и даље. Замѣтки о Пушкинѣ, стр. 73.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 837.

<sup>3)</sup> Сочиненія, изд. Маркса, I стр. 44—45.

<sup>4)</sup> Ср. Сочиненія А. Григорьева. I, стр. 237. Ср. Страхова: *Война и Миръ*—„тоже нѣкоторая семейная хроника. Именно это хроника двухъ семействъ: се-

и другія, менѣе извѣстныя. Троекуровъ—первое яркое изображеніе въ литературѣ тѣхъ самодуровъ, съ которыми такъ часто приходится встрѣчаться въ нашихъ позднѣйшихъ историко-бытовыхъ романахъ изъ далекаго и недавнаго прошлаго. Бояринъ Ржевскій, старикъ Гриневъ и Дубровскій—прототипы Багрова-дѣда и ему подобныхъ, а также, до извѣстной степени, и тѣхъ старинныхъ русскихъ баръ, опорныхъ столповъ отечества, которыми и понынѣ любятъ украшать свои произведенія наши мелкіе исторические романисты. Молодое поколѣніе того же закала, сильное не внѣшнимъ блескомъ и образованностью, а цѣльностью и правдивостью своей натуры, нашло у Пушкина выраженіе въ лицѣ Гринева-сына. Если послѣдніго и можно назвать „недорослемъ изъ дворянъ“, то лишь въ томъ смыслѣ, что онъ ничему систематично не учился, а до всего доходилъ собственнымъ умомъ и смѣткой. Какъ военный, Гриневъ-сынъ, подобно капитану Миронову съ Иваномъ Игнатьевичемъ, одинъ изъ тѣхъ пѣхотныхъ армейскихъ офицеровъ, которые сѣѣли нашу военную исторію XVIII в., протопали славный путь отъ Кунерсдорфа до Рымника и Нови, выражаясь словами Ключевскаго <sup>1)</sup>. Пушкинскіе „незамѣтные герои“ Бѣлогорской крѣпости—это первое выраженіе того типа, который сталъ позднѣе излюбленнымъ въ русской литературѣ; ср. Максима Максимыча у Лермонтова, капитана Хлопова и Тупшина у Льва Толстого <sup>2)</sup>. Гриневъ-

---

мѣства Ростовыхъ и семейства Болконскихъ. Это—воспоминанія и рассказы о всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ въ жизни этихъ двухъ семействъ и о томъ, какъ дѣйствовали на ихъ жизнь современныя имъ историческія события. Разница отъ простой хроники заключается только въ томъ, что рассказу дана болѣе яркая, болѣе живописная форма... Въ самой обрисовкѣ историч. лицъ и событий Пушкинъ предтеча Толстого: „Пугачевъ, напримѣръ, выведенъ на сцену (въ *Капит. дочкѣ*) съ такою удивительной осторожностью, какую можно найти только у гр. Л. Н. Толстого, когда онъ выводить предъ нами Александра I, Сперанскаго и пр... Но мы не можемъ показать всего глубокаго сходства между *Войной и Миромъ* и *Капитанской дочкой*, если не вникнемъ во внутренній духъ этихъ произведеній“... Крит. статьи стр. 279—281 и д.

<sup>1)</sup> Вѣнокъ на памятникъ Пушкину, стр. 277.

<sup>2)</sup> „Пушкинъ показалъ въ „Капитанской дочкѣ“, какъ простые русскіе люди могутъ возвышаться въ исполненіи своего долга до истиннаго геройства; задолго до повѣстей Толстого онъ рѣшилъ, въ чёмъ состоять истинная гравѣсть: капитанъ Мироновъ—предшественникъ капитана Хлопова (въ разсказѣ Л. Н. Толстого „Набѣгъ“) и даже Кутузова (какъ онъ изображенъ въ „Войнѣ и Мирѣ“). Къ старику Миронову въ полной мѣрѣ приложимо то, что у Л. Н. Толстого сказано о Хлоповѣ: „въ фигурѣ капитана было очень мало воинственнаго, но зато въ ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно пора-

сынъ—простъ, но не глупъ, способенъ увлекаться литературой и даже писать стихи, по тому времени довольно порядочные; какъ по долгу присяги онъ готовъ идти на смерть, такъ ради любимой девушки онъ способенъ на самопожертвование, оставался и здѣсь человѣкомъ не слова и поэзии, а дѣла; къ сожалѣнію, мы можемъ только догадываться, какимъ былъ Гриневъ-сынъ въ деревнѣ за хозяйствомъ, но повидимому и въ той сферѣ онъ остался вѣренъ себѣ, явившись достойнымъ, умѣлымъ преемникомъ своего отца. Эта дѣловитость, чужда увлеченій, но не лишенная высокихъ порывовъ и благородства, представляется у нашего героя проблесками того, что позднѣе въ *Обрывок* Гончаровъ пытался изобразить въ образѣ Тушина, представителя нашей настоящей партии дѣйствія, въ которой наше прочное будущее: „когда настанетъ настоящее дѣло, явятся вмѣсто утопистовъ работники Тушины, на всей лѣстницѣ русского общества“<sup>1)</sup>.

Утописты и у Пушкина оказываются несостоятельными передъ людьми дѣла, простой жизненной правды. Въ заключительномъ аккордѣ надъ памятью Ленскаго звучитъ то разочарованіе въ пылкой напускной воеторженности и беспочвенныхъ стремленіяхъ куда-то въ даль, какимъ полна *Обыкновенная история* Гончарова. Великіе „скиタルцы“ Пушкина, Алеко и Онѣгинъ, тоже утописты своего рода. Алеко и Онѣгинъ надолго привлекли къ себѣ вниманіе нашей литературы; литературное потомство Онѣгина и теперь ужъ представляется не малымъ, а съ лучшимъ выясненіемъ непорѣшенного пока вопроса, что собственно долженъ изображать этотъ типъ, оно увеличится еще болѣе. Въ сложной и не вполнѣ выдержанной обрисовкѣ Онѣгина находили и находятъ черты, которыя роднятъ его съ самыми разнообразными героями нашихъ романовъ. Понимаемый, какъ русскій пережитокъ байронизма или „москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ“, Онѣгинъ сталъ родонаучальникомъ русскихъ разочарованныхъ очарователей, начиная съ Печорина и кончая зауряднымъ „гордымъ красавцемъ“ плохенькаго романа. Но Онѣгину не вовсе чужды и типы, въ родѣ князя

---

зила меня. Вотъ кто истинно храбръ,—сказалось мнѣ невольно... Если черезъ весь романъ Толстого проходитъ красною нитью та мысль, что „нѣтъ величья тамъ, где нѣтъ простоты, добра и правды“, то вѣдь та же мысль проникаетъ сою и произведеніе Пушкина. А. С. Пушкинъ П. П. Кудрявцева въ Сборникѣ Пушкину, Кіевъ, 1899 г., стр. 152.

<sup>1)</sup> Цит. соч., стр. 74.

Андрея Болконского, съ его отвращенiemъ къ людской чоплости, недовольствомъ окружающей жизнью, брезгливой анатией, смѣнившей былые порывы, и самой любовью къ Наташѣ Ростовой, напоминающей во многомъ отношеніе Онѣгина къ Татьянѣ. Даже Базарова считаютъ возможнымъ приравнивать кое въ чёмъ къ Онѣгину<sup>1)</sup>). Съ другой стороны, въ Онѣгинѣ чувствуется и то духовное безсилie, та неспособность найти себѣ място въ жизни, та, наконецъ, чисто трагическая судьба не только нарушать покой другихъ, но даже губить свое собственное счастье, какія въ такой наготѣ изобразилъ Тургеневъ въ своемъ *Дневнике личинки человека*.

Рядомъ съ Онѣгиномъ, однимъ изъ самыхъ глубокихъ и характерныхъ для русской жизни и литературы мужскихъ типовъ, стоитъ у Пушкина Татьяна,—идеальный по своей красотѣ и правдивости типъ русской женщины, непревзойденная провозвѣстница Лизы Тургенева, Наташи Л. Н. Толстого, Вѣры Гончарова. Пушкинъ же намѣтилъ и тѣ двѣ общія формы, въ которыхъ обыкновенно отливаются русскія женщины, насколько ихъ понимала и понимаетъ русская литература. У нась въ литературѣ, писалъ Гончаровъ, особенно два главные образа женщинъ являются въ произведеніяхъ слова параллельно, какъ двѣ противоположности; характеръ положительный—Пушкинская Ольга, и идеальный—его же Татьяна. Одинъ—безусловное пассивное выраженіе эпохи, типъ, отливающійся, какъ воскъ, въ готовую, господствующую форму. Другой—съ инстинктами сознанія, самобытности, самодѣятельности. Оттого первый ясенъ, открыть, понять сразу (ср. Ольгу въ *Онѣгинѣ*, Варвару въ *Грозѣ*). Другой, напротивъ, ищетъ самъ своего выраженія и формы, и оттого кажется вапризнымъ, таинственнымъ, мало уловимымъ (Ср. Татьяну въ *Онѣгинѣ*, Лизу Тургенева, Наташу Толстого, Вѣру Гончарова, Катерину въ *Грозѣ*)<sup>2)</sup>.

Замѣчу кстати, что у Пушкина уже обозначилась та своеобразная особенность нашей литературы, что женскіе типы обыкновенно выходятъ выше и опредѣленнѣе мужскихъ. Говорить иногда, что причина этого кроется въ самой жизни нашей, въ которой мало сильныхъ духомъ и выдержанной героевъ, много „среднихъ“ людей, незамѣтныхъ тружениковъ и еще больше того „униженныхъ и оскор-

<sup>1)</sup> См. статью Н. П. Дацкевича: „Пушкинъ въ ряду великихъ поэтовъ нового времени“.

<sup>2)</sup> Ibid., стр. 45—46.

бленныхъ"; типы отрицательные, конечно, здѣсь въ разсчетъ не принимаются. Такъ или иначе, но во всякомъ случаѣ мы должны отмѣтить, что и у Пушкина „высокопарныя мечтанья“ былыхъ годовъ мало-по-малу разсѣивались при столкновеніи съ дѣйствительностью; жизнь, какъ она есть, жизнь во всей своей „прозаичности“ повседневныхъ отношеній, съ ея маленькими героями, та жизнь, которой посвятила свои силы натуральная школа нашей литературы, уже въ произведеніяхъ Пушкина нашла себѣ выраженіе, которымъ въ сущности и опредѣлилось все главнѣйшее нашихъ писателей—натуралистовъ, съ Гоголемъ во главѣ.

Иные нужны мнѣ картины:  
 Люблю песчаный косогоръ,  
 Передъ избушкой двѣ рябины,  
 Калитку, сломанный заборъ,  
 На небѣ сиренькия тучи,  
 Передъ гумномъ соломы кучи  
 Да прудъ подъ тѣнью ивъ густыхъ,  
 Раздолье утокъ молодыхъ;  
 Теперь мила мнѣ балалайка  
 Да пьяный топотъ трепака  
 Передъ порогомъ кабака.  
 Мой идеаль теперь — хозяйка,  
 Мои желанія — покой,  
 Да щей горшокъ, да самъ большой.  
 Порой дождливою наameda  
 Я, завернувшись на скотный дворъ...  
 Тыфу! прозаическая бредни,  
 Фламандской школы пестрый соръ! III, 408—9.

Весь литературный путь Пушкина усѣянъ этими соринками фланандской школы; особенно же много ихъ въ *Повѣстяхъ И. П. Бѣлкина* и въ *Исторіи села Горохина*, гдѣ онъ подчасъ, какъ напримѣръ, въ обрисовкѣ личности самого Бѣлкина, принимаютъ нѣсколько юмористическое освѣщеніе, въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Не признавать юмора у Пушкина—невозможно; только юморъ его—иного рода, чѣмъ юморъ Гоголя. Юморъ Гоголя—нервически болезненъ и производить гнетущее впечатлѣніе; неподражаемой, тонкій юморъ Пушкина—спо-

койнѣе, добродушнѣе, бодрѣе, и Пушкина, какъ юмориста, невольно хочется сравнить съ Диккенсомъ. Легкая усмѣшка играетъ у поэта, когда онъ представляетъ намъ своего Ивана Петровича Бѣлкина, но сколько теплоты и участія скрывается за этой усмѣшкой, участія къ самому Бѣлкину и во всѣмъ вообще „малымъ симъ!“ Чредой проходятъ они предъ нами, сѣренкіе, какъ сѣра наша жизнь, простые умомъ и сердцемъ, съ невеликими радостями и тяжелыми страданіями; ихъ мірокъ ограниченъ и тѣсенъ, но полонъ жизни, и въ послѣдней, какъ ни мелочна она бываетъ, есть свой смыслъ и своя поэзія; даже пошлая сторона такой жизни заслуживаетъ вниманія: она представляетъ явленіе, въ такой же мѣрѣ естественное и законное, какъ и все то, чѣмъ живемъ мы сами. Пирушка нѣмцевъ-ремесленниковъ и пьяный бредъ гробовщика—тоже жизнь, безъ которой картина нашего общества была бы неполна; а горе отца, покинутаго обольщенную дочерью, ничуть не меныше оттого, что этотъ отецъ—бѣдный станціонный смотритель! Правъ былъ поэту А. Григорьевъ, когда въ *Гробовщикъ* видѣлъ зерно всѣхъ нашихъ позднѣйшихъ отношеній къ т. н. низшимъ слоямъ жизни, а въ *Станціонномъ смотрителе*—зерно всей натуральной школы<sup>1)</sup>. И Тихонравовъ много позднѣе повторилъ, что изъ школы автора *Повѣстей Бѣлкина* и *Лягушонка села Городина* вышелъ Гоголь<sup>2)</sup>.

Такимъ образомъ, не за одно только общее облагораживающее влияніе своей поэзіи, не за отдѣльные эпиграммы и оды Пушкинъ могъ написать въ *Памятникъ* извѣстныя слова, а за цѣлое направленіе, глубокое, близкое намъ и понынѣ. Вотъ почему и память Пушкина должна быть равно дорога всѣмъ, будуть ли то поклонники чистаго искусства, или печальники горя народнаго, ибо *Пушкинъ*—это *наше все!*

<sup>1)</sup> Сочиненія, т. I, стр. 253.

<sup>2)</sup> Сочиненія, т. III, ч. 1, стр. 520.

## Пушкинъ и славянство<sup>1)</sup>.

---

### I.

Пушкинъ, какъ известно, отличался необычайною поэтическою чуткостью и прозорливостью, а также въ наибольшей мѣрѣ проявляль то своеобразное свойство русскаго человѣка, которое Тургеневъ называетъ „самобытнымъ присвоеніемъ чужихъ формъ“ (и чужаго содержанія, прибавимъ мы), т. е. способность проникаться чужимъ міросозерцаніемъ, какъ бы своимъ собственнымъ, и вообще приспособляться къ чужому содержанію и формѣ, какъ къ своему. Въ этомъ именно смыслѣ нужно понимать тотъ отзывъ вполнѣ свѣдущаго цѣнителя—Тургенева, въ силу котораго, „подъ знаменитымъ монологомъ Скупаго рыцаря съ гордостью подpisался бы Шекспиръ“, а равно отзывы разныхъ другихъ лицъ о произведеніяхъ Пушкина съ древнегреческимъ, западно-европейскимъ либо восточнымъ содержаніемъ. Достоевскій, напримѣръ, очень высоко цѣнилъ такія творенія, какъ „Подражанія корану“ или „Египетскія ночи“: „Развѣ тутъ не мусульманинъ, развѣ это не самый духъ корана и мечь его“, говорить онъ: „простодушная величавость вѣры и грозная кровавая сила ея? А вотъ и древній міръ, вотъ „Египетскія ночи“, вотъ эти земные боги, сѣвшіе надъ народомъ своимъ богами, уже презирающіе геній народный

---

<sup>1)</sup> Рѣчь, читанная въ торжественномъ собраніи Киевскаго Педагогическаго Общества 28 мая 1899 г. въ актовомъ залѣ Университета Св. Владимира.

и стремлениі его, уже не вѣрюще въ него болѣе, ставшіе впрамъ уединенными богами и обезумѣвшіе въ отъединеніи своеімъ, въ предсмертной скукѣ своей и тоскѣ тѣщащіе себя фантастическими звѣрствами, сладострастіемъ насѣкомыхъ... Нѣть, положительно скажу, не было поэта съ такою всемірною отзывчивостью, какъ Пушкинъ, и не въ одной только отзывчивости тутъ дѣло, а въ изумляющей глубинѣ ея, въ перевоплощеніи своего духа въ духъ чужихъ народовъ". (Дневникъ Писателя за 1880 г. Пушкинъ):

## II.

Вотъ такую-то именно отзывчивость и чуткость обнаружилъ нашъ поэтъ и въ отношеніи къ славянамъ, ихъ поэзіи, даже къ политическому ихъ положенію, т. е. къ такъ называемому славянскому вопросу, который тогда, правда, и не существовалъ еще въ его современной болѣе или менѣе точной формулировкѣ, но былъ, такъ сказать, прорѣдѣнъ геніальнымъ поэтомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не удивительнымъ ли своего рода явленіемъ можетъ представляться для насъ хотя бы слѣдующее обстоятельство, особенности и подробности которого я постараюсь сейчасъ изложить. Въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія славяне слишкомъ мало занимали еще собою наше общество, представляя изъ себя очень ужъ ничтожный, невліятельный и почти незамѣтный элементъ въ составѣ западно-европейскихъ обществъ и тѣхъ или иныхъ тогдашнихъ политическихъ организмовъ. Положеніе ихъ вездѣ было черезчуръ ужъ приниженное; это такъ общеизвѣстно, что я не стану даже приводить какихъ нибудь историческихъ справокъ о томъ, какъ они себя чувствовали, напримѣръ, въ Австріи, Турціи, Германіи, каковы были устои этихъ странъ, совершенно почти игнорировавшіе славянъ, какъ извѣстную правовую народную личность, которая должна была бы имѣть защиту въ законахъ и самомъ устройствѣ государствъ отъ поглощенія господствующими народностями и такимъ образомъ могла бы, благодаря этому, развиваться, совершенствоваться въ самобытномъ духѣ и направленіи и такимъ путемъ вносить свою народно-культурную лепту въ общую сокровищницу народовъ. Все это, повторяю, общеизвѣстно, и мнѣ достаточно только упомянуть о томъ, что, напримѣръ, чехи, образованность и культурная мощь которыхъ развились теперь такимъ пышнымъ, поразительно яркимъ цветомъ, тогда, въ эпоху Пушкина, признавались нѣкоторыми

очень крупными даже учеными силами (Добровский) за народъ изчезающій, предназначенный къ поглощению его окружавшему, болѣе сильною, немецкою средою, поддерживаемо притомъ и всею мощью государственного устройства страны... О болгарахъ, сербахъ и пр. и говорить нечего... Словомъ, для русскаго общества начала настоящаго столѣтія славяне не могли представлять собою почти никакого политического или культурнаго интереса. Только небольшая кучка людей съ болѣе или менѣе развитымъ филологическимъ чутью могла еще такъ или иначе заниматься славянскими, напримѣръ, нарѣчіями и ихъ словесными памятниками, какъ болѣе или менѣе любопытными разновидностями своей же родной дѣйствительности; широкаго же общественнаго интереса къ славянамъ тогда не было и въ поминѣ: вѣдь даже и теперь еще онъ сравнительно очень невеликъ... Правда, мы все таки ушли уже далеко впередъ въ этомъ отношеніи: и положеніе славянъ стало въ Европѣ уже не то, чѣмъ прежде, и они являются собою уже, даже тамъ, гдѣ еще не достигли самостоятельного государственного существованія, значительную политическую силу, съ которою приходится считаться правительсткамъ и народамъ; и свѣдѣнія о нихъ болѣе теперь распространены въ нашемъ обществѣ, чѣмъ прежде, и въ настоящее время, напримѣръ, никого не удивилъ бы тотъ специальный, исключительный интересъ къ славянамъ и ихъ словесности, какой, скажемъ, обнаружился бы вдругъ почему либо въ нашей литературѣ... Далеко не то было въ двадцатыхъ годахъ, и вниманіе, проявленное Пушкинымъ къ славянамъ, ихъ литературѣ, даже ихъ политическому положенію, представляется явленіемъ прямотаки удивительнымъ, дѣлающимъ большую часть необыкновенной поэтической проницательности поэта. О польской литературѣ я говорить въ данномъ случаѣ не буду: заинтересованность ею со стороны не только Пушкина, но и другихъ тогдашнихъ русскихъ писателей, объясняется особыми условіями тѣсно связанной политической и общественной жизни обоихъ славянскихъ народовъ, часто скрѣпляемыми притомъ еще и личной дружбою отдельныхъ представителей той и другой литературы, какъ въ данномъ случаѣ дружбою Пушкина и Мицкевича. Оба они, какъ известно, не только интересовались каждый произведеніями другаго, но и переводили другъ друга и были исполнены чувствами взаимнаго уваженія и удивленія (см. 1) Исторический Вѣстникъ за 1880 г., статью Неслуховскаго, 2) Полное собраніе сочиненій кн. Вяземскаго, т. 7, ст. Мицкевичъ и Пушкинъ, изъ ко-

торой видна чрезвычайно высокая оценка нашего поэта егопольскимъ другомъ; 3) Вѣстникъ Европы 1887 г., кн. 4, ст. Спасовича; 4) Исторический Вѣстникъ 1893 г., ст. Пушкинъ въ польской критикѣ). Гораздо болѣе любопытнымъ для нась представляется то обстоятельство, что Пушкинъ обратилъ вниманіе на сербскія и чешскія произведенія народнаго творчества, изъ которыхъ нѣкоторыя непосредственно были заимствованы имъ изъ сборника народныхъ сербскихъ пѣсенъ извѣстнаго Вука Стефановича Караджича, а другія обработаны болѣе или менѣе самостоятельно по тѣмъ или другимъ извѣстнымъ тогда даннымъ, наприм., по книгѣ Мериме „La Guzla“, по народнымъ чешскимъ преданіямъ, по историческимъ сообщеніямъ (подробностей не приводимъ, такъ какъ онѣ общезнѣстны, указаны самимъ Пушкинымъ и ихъ можно узнать изъ любыхъ обстоятельныхъ изданій соч. Пушкина, напримѣръ, Поливанова, Морозова). Здѣсь прямо сказалось и сильное художественное чутье поэта, сумѣвшаго отыскать перлы славянской народной поэзіи еще тогда, когда очень мало умѣли ее цѣнить и понимать—вспомнимъ, напримѣръ, хотя бы то почти отрицательное отношеніе къ народной поэзіи, которое встрѣчаемъ еще и позднѣе, даже у Бѣлинскаго,—и непосредственное славянское чувство, подсказывавшее поэту, быть можетъ, безсознательно, всю ту важность, какую могла имѣть его работа для будущаго, приведшее его, наконецъ, къ созданію произведеній, которымъ суждено было потомъ стать основаніемъ и послужить толчкомъ для постепеннаго развитія въ русскомъ обществѣ истинно славянскихъ чувствъ и славянского же направленія, въ противовѣсь господствовавшему въ немъ одно время беспочвенному космополитизму, граничащему съ полнымъ национальнымъ безразличіемъ и столь гибельному для цѣльнаго и всесторонняго развитія нашей народно-общественной своеобразной личности.

Я не буду распространяться о томъ, какъ искусно, высокохудожественно и вмѣсть самостоятельно распорядился напѣть поэты съ материаломъ, доставленнымъ ему книгою Мериме, какъ онѣ придали ему въ своей обработкѣ не только болѣе художественности и изящества, но и болѣе настоящихъ чертъ, такъ сказать, бѣхитростной народности; не буду говорить вообще о литературныхъ достоинствахъ его славянскихъ переводовъ, передѣлокъ, обработокъ и самостоятельныхъ произведеній на славянскіе сюжеты, столь обогатившихъ нашу литературу и оплодотворившихъ ее еще однимъ важнымъ и крупнымъ

началомъ—славянскимъ; для меня важна уже одна установка того несомнѣнного обстоятельства, что Пушкинъ явился у насъ, въ литературной сторонѣ славянского вопроса, родоначальникомъ и первымъ крупнымъ поэтическимъ начинателемъ, и что такое чудное поэтическое начало въ дѣлѣ изученія и воспроизведенія произведеній словесности инославянскихъ племенъ было необыкновенно удачно и какъ нельзя болѣе кстати: оно вызвало собою славянскую струю и славянскіе мотивы въ поэзіи его литературныхъ преемниковъ, и въ ней именно кореяется все, что есть славянского въ произведеніяхъ и переводахъ А. Майкова (Радойца, Любуша и Премыслъ и друг.), Берга, Гербеля (см. книгу „Поэзія Славянъ“), Петровскаго, Коринѣскаго, Вѣры Глумовой, Уманова-Каплуновскаго (Славянская Муза) и мн. друг. Славянскіе завѣты Пушкина такимъ образомъ не остались забытыми въ нашей словесности, они наплы, находятъ и, конечно, еще будутъ находить въ ней свои отклики, освѣжающіе русскую литературу, вносящіе въ нее новыя, жизненные и плодотворныя струи и теченія.

### III.

Славянство въ свою очередь успѣло уже, хотя въ лицѣ еще немногихъ своихъ представителей, узнать и оцѣнить нашего поэта, въ личности которого эти писатели не могли не видѣть не только высокой, первостепенной творческой силы, но и той чуткости и поэтической прозорливости, которая дѣлала изъ него своего рода пророка въ русской литературѣ. Инославянскіе писатели, правда, немного дѣлали при жизни Пушкина для ознакомленія своихъ единомышленниковъ съ его поэзіею, но для тогдашнаго времени съ его затруднительными международными вообще, а книжно-литературными въ частности, сношеніями, довольно и того, что сдѣлано ими. Сербы и поляки обратили на него вниманіе раньше всѣхъ, именно еще въ 1826 г. Это и понятно: поляки, значительную частью своего прежняго государства и населенія входившіе уже тогда въ составъ русской державы, были настроены по отношенію къ русскому обществу и литературѣ далеко не такъ враждебно, какъ послѣ двухъ послѣдующихъ возстаній, и очень охотно усвоивали своей словесности лучшіе плоды русской музы. Въ частности можно отмѣтить, что при переводѣ „Бахчисарайскаго Фонтана“, сдѣланномъ въ 1826 году А. В. Рогальскимъ, какъ въ обширномъ предисловіи переводчика, такъ и въ посвященіи

перевода, находимъ самую высокую оцѣнку поэмы и дарованій ея автора и самыя нелицемѣрныя, восторженныя восхваленія ему. Вскорѣ послѣ того стали появляться переводы, сдѣланные и другими лицами, каковы Мицкевичъ, Дашковскій, Завадскій, Юцевичъ и др. Что касается сербовъ, то болѣе раннее, сравнительно съ другими славянами, знакомство ихъ съ Пушкинымъ объясняется довольно оживленными тогда литературными сношеніями ихъ съ русскими. Извѣстно, что въ ту пору у сербовъ существовало даже довольно сильное литературное теченіе среди писателей, въ силу которого значительная доля ихъ стремилась сохранить литературное единеніе съ Русью и возможную общность книжного языка, причемъ значительную помощь этому стремленію оказывала общность тогдашняго правописанія у обоихъ народовъ. Правда, это стремленіе въ концѣ концовъ должно было уступить мѣсто господству въ книгѣ народнаго языка, особенно благодаря дѣятельности Вука Стефановича Караджича и его школы, но въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ текущаго столѣтія оно было еще достаточно сильно, и немалое количество книгъ самого разнообразнаго содержанія писалось и печаталось на смѣшанномъ славяно-русско-сербскомъ языке, который, особенно при господствовавшемъ тогда русскомъ правописаніи сербскихъ книгъ, былъ, по крайней мѣрѣ, для русскихъ читателей почти совершенно понятенъ и во всякомъ случаѣ болѣе доступенъ, чѣмъ нынѣшній народный языкъ сербовъ. Это же обстоятельство, роднившее русскую книгу съ сербскою, дѣлало первую совершенно доступною для тогдашнихъ сербскихъ писателей, книжниковъ и ученыхъ и было причиной того, что произведенія Пушкина даже не переводились сначала на народный сербскій языкъ, а просто перепечатывались въ тогдашнихъ сербскихъ времененныхъ изданіяхъ... Такъ, Юрий Магарашевичъ (1791 — 1830), извѣстный въ свое время сербскій писатель и редакторъ журнала „Сербская Лѣтопись“, органа литературно-просвѣтительного общества Сербская Матица, въ первой „частицѣ“ этого изданія за 1826 годъ помѣстилъ небольшую замѣтку „О поэты русскомъ Пушкину“ (143—145 стр. См. ст. Дараганова „Пушкинъ въ переводахъ“ въ изд. „Историч. Вѣстникъ“ за 1899 г., кн. 5), гдѣ восторженно отзывался о слѣдующихъ произведеніяхъ его: Опоминанія (т. е. воспоминанія) о Царскомъ Селѣ, Источникъ Бахчисарай (т. е. Б. Фонтанъ), Русланъ и Людмила, Кавказскій Пленникъ (сербск. правописаніе). Эта восторженная замѣтка начинается слѣдующимъ образомъ: „Славный поэта русскій

Александеръ Пушкинъ (родился 1799 г. мая 26) издао е недавно одну, истину, малу поэму, но коя, по единогласномъ мнѣнію свію критика, сва нѣгова предашня дѣла превосходи; она се зове: Источникъ Бахчисарай. Господинъ Пономаревъ, московскій книгопродавецъ, платіо му е за нею 3000 руб., а цѣло то дѣло состои само изъ 600 стихова, да же за свакій стихъ 5 руб. Пушкинъ блиста свима дарованіямъ...“ в т. д. Въ скромъ времени были перепечатаны сербами слѣдуюція стихотворенія Пушкина: Муза (Въ младенчествѣ моемъ она меня любила), Дочери (К Ѣери) Карагеоргія: Грода луны, свободы воинъ, Гречанеѣ: Ты рождена воспламенять (см. Лѣтоп. Серб. Матици 1837—38 г.), и такъ продолжалось до пятидесятихъ годовъ, когда уже стали появляться и переводы на народное сербское нарѣчіе. Уже только въ 1863 г. былъ изданъ Стоянъ Новаковичъ первый народно-сербскій стихотворный переводъ пушкинской поэмы „Кавказскій пѣвицъ“ (Кавказски роб), а потомъ уже пошли переводы и прочихъ произведеній, сдѣланные другими лицами, каковы: Качанскій, Д. Медичъ, Весичъ, Іовановичъ и др. (см. книжку М. Миличевича: Пушкин у серба). Послѣдній переводъ, намъ извѣстный,— „Капитанской Дочки“,— сдѣланъ въ 1896 г. сербскимъ журналистомъ Душаномъ Радовичемъ въ Мостарѣ (въ Герцеговинѣ).

У чеховъ первые переводы изъ Пушкина сдѣланы были сверстникомъ его даровитымъ Фр. Челаковскимъ (1799 — 1852 г.); этотъ поэтъ, чрезвычайно высоко цѣнившій русскую народную и искусственную поэзію и много сдѣлавшій для ознакомленія съ нею своихъ соотлеменниковъ, перевелъ лишь нѣсколько небольшихъ произведеній Пушкина (Гусаръ, Утопленникъ, Делибашъ, Два ворона, Зимній вечеръ), но зато, во-1-хъ, сдѣлалъ ихъ уже въ 1833 г., следовательно лишь семью годами позже первого польского перевода, и первыхъ сербскихъ перепечатокъ, а во-2-хъ, переводы его признаются образцовыми по близости къ подлинникамъ и по значительнымъ поэтическимъ достоинствамъ. Оба славянскіе поэта: Пушкинъ и Челаковскій, лично незнакомые другъ съ другомъ, но послужившие къ пробужденію у своихъ соотлеменниковъ вниманія къ инославянскимъ изученіямъ и къ усвоенію образцовъ инославянской поэзіи, какъ бы подавали другъ другу руки въ общемъ великому дѣлу созиданія славянской взаимности...

Всльдъ за Челаковскимъ стали переводить Пушкина уже въ гораздо большихъ размѣрахъ В. Бендль, Е. Красногорская, К. Сте-

фанъ, Пацакъ и мн. друг., вносявшіе по мѣрѣ своихъ силъ ту или другую лепту въ общее дѣло (см. брошюру Францева „Пушкинъ въ чешской литературѣ“. Спб. 1898 г.).

За сербами, поляками и чехами послѣдовали понемногу и другія славянскія племена, до маленькаго сербо-лужицкаго народца вѣкомъ читательно, и стали болѣе или менѣе усердно работать надъ усвоеніемъ произведеній великаго русскаго поэта. Такимъ образомъ, западное и южное славянство оказалось и теперь еще продолжаетъ оказывать значительную долю вниманія Пушкину, и можно ожидать, что, благодаря настоящему юбилею, всѣ его сочиненія, а не только избранныя, сдѣляются достояніемъ, въ подлинникѣ и въ переводахъ, всего инославянскаго читающаго общества (см., кроме указанной статьи Драганова, еще статью „Пушкинъ у славянъ“ въ кievскомъ „Сборнике Пушкину“ 1899 г.).

#### IV.

Политическая сторона славянского вопроса также не ускользнула отъ острыхъ и проницательныхъ взоровъ поэта; онъ сумѣлъ и оцѣнить всю важность этой крупной и роковой исторической задачи и намѣтить для нея известное возможное рѣшеніе, а главное, въ отношеніи къ самому этому вопросу, обнаружить столько благородства, человѣчности и величія, что можетъ послужить для насъ образцомъ какъ въ настоящее время, такъ и въ будущемъ. Да и нельзя было ничего иного ожидать отъ поэта, столь благороднаго, гуманнаго и возвышеннаго вообще. Вспомнимъ, сколько разнообразныхъ и прекрасныхъ идей, выраженныхъ необычайно просто и вмѣстѣ изящно, безъ излишней напыщенности и риторики, разсыпаны въ разныхъ его произведеніяхъ. Перечислять мы ихъ, конечно, не будемъ, такъ какъ это не входитъ въ нашу задачу, но указать, по крайней мѣрѣ, нѣкоторая изъ нихъ не мѣшаетъ: это можетъ послужить и для послѣдующаго нашего изложенія. Вѣдь это ему, нашему чудному поэту, принадлежитъ такое, напримѣръ, глубокое и правдивое изреченіе, заканчивающее известную пьесу „Полководецъ“:

О, люди! жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха,  
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!  
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,

Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,  
Но чай высокій ликъ въ грядущемъ поколѣнїи  
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Вѣдь это имъ же высказана и другая не менѣе мѣткая и благородная мысль въ стихотвореніи „Друзьямъ“:

Я листецъ? Нѣтъ, братья, листецъ лукавъ:  
Онъ горе на царя накличетъ,  
Онъ изъ его державныхъ правъ  
Одну лишь милость ограничитъ.  
Онъ скажеть: презирай народъ,  
Гнети природы голосъ нѣжный!  
Онъ скажеть: просвѣщенья плодъ —  
Развратъ и иѣкій духъ мятеожный!  
Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и листецъ  
Одни приближены къ престолу,  
А небомъ избранный пѣвецъ  
Молчить, потупивъ очи долу.

Человѣкъ, стремившійся „въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ“, высказавшій глубокое уваженіе къ творчеству и творческой мысли вообще въ известныхъ стихахъ:

Ты—царь, живи одинъ. Дорогою свободной  
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,

желавшій и учившійся

Въ истинѣ блаженство находить,  
Свободною душой законъ боготворить,  
Роптанью не внимать толпы непросвѣщеннай,  
Участемъ отвѣтчать застѣнчивой мольбѣ  
И не завидовать судьбѣ  
Злодѣя иль глупца въ величинѣ неправомъ...

Заявившій, что

Служенье музъ не терпитъ суеты,  
Прекрасное должно быть величаво ..

—такой человѣкъ не могъ неправильно и высокомѣрно отнестись къ славянскому вопросу, решить его прямолинейно—жестоко и сурово, съ низменнымъ ликованіемъ по отношенію къ побѣжденному... Что касается нѣсколькихъ вспыльчивыхъ стиховъ въ извѣстныхъ стихотвореніяхъ „Клеветникамъ Россіи“ и „Бородинская Годовщина“, то, вѣдь, не слѣдуетъ забывать, что они высказаны были въ запальчивости борьбы, когда горячее и тревожное время невольно разжигало страсти и очень препятствовало даже болѣе трезвымъ умамъ безпристрастно оцѣнивать события и относиться къ противникамъ безъ предубѣждений... Что же тутъ удивительного, ежели и Пушкинъ, все таки русскій человѣкъ отъ головы до ногъ, отзывался на призывы историческихъ событий, какъ ни были независимы и свободомыслены его мнѣнія въ другихъ отношеніяхъ, можетъ быть, немножко односторонне и страстно, что и сказалось въ нѣсколькихъ рѣзкихъ стихахъ названныхъ стихотвореній! Гораздо важнѣе ихъ общей тонъ, полный великодушія и человѣчности, выразившійся, напримѣръ, въ слѣдующихъ великодушныхъ стихахъ:

Въ борены падшій невредимъ:  
Враговъ мы въ прахѣ не тощали;  
Мы не напомнимъ нынѣ имъ  
Того, что старыя скрижали  
Хранять въ преданіяхъ нѣмыхъ,  
Мы не сожжемъ Варшавы ихъ.  
Они народной Немезиды  
Не узрать гнѣвнаго лица  
И не услышать пѣснь обиды  
Отъ лиры русскаго пѣвца...

Можетъ быть, именно такое отношеніе Пушкина къ дѣлу въ соединеніи съ его личными пріятельскими чувствами къ Мицкевичу и таить въ себѣ причину того отсутствія вражды собственно къ нему, какое мы видѣли у поляковъ даже въ пору самого сильнаго отчужденія ихъ отъ Руси и всего русскаго, и какое наблюдаемъ и теперь. И въ Вѣнѣ поляки не уклонились отъ участія въ пушкинскихъ торжествахъ, устроенныхъ соединенными академическими кружками славянской молодежи, а въ Петербургѣ они и по собственному почину устроили чествованіе русскаго поэта, которое почтиль

привѣтственою телеграммою и сынъ Мицкевича... Не мѣшаетъ отмѣтить также хотя и скромныя, и нѣсколько своеобразныя, но могущія имѣть свое значеніе въ будущемъ чествованія нашего поэта Krakowskoю Академію Наукъ, а также Krakowskimъ и Lьвовскимъ университетами, этими, несомнѣнно, чисто польскими учеными учрежденіями, сдѣлавшими это, повидимому, безъ всякой задней мысли, по собственному добровольному, искреннему почину... Чествованій Пушкина другими славянами мы не коснемся теперь, за недостаткомъ отведенного намъ времени: скажемъ только, что иногда эти чествованія, особенно у южныхъ славянъ, носили такой задушевный характеръ, были запечатлѣны такою искренною гордостью, вызванною столѣтнимъ юбилеемъ величайшаго славянскаго поэта-художника, что могутъ вполнѣ удовлетворить самое ревнивое русское чувство... Нѣкоторыя повременные изданія посвятили поэту-юбиляру даже отдѣльные номера и книги, какъ бы не желая отстать въ этомъ дѣлѣ отъ русскихъ изданій, и наполнили эти юбилейные выпуски самыми разнообразными о немъ статьями. Такъ, въ майской книжкѣ „Българска Сбирка“, посвященной „А. С. Пушкину. 1799 год. 26 май—1899 год. 26 май“, находимъ нѣсколько статей о поэте самого редактора д-ра С. Бобчева, а также Н. и Вл. Бобчевыхъ и кромѣ того переводъ „Каменяго Гостя“ размѣромъ подлинника. Вотъ начало первой сцены:

*Донъ-Жуанъ:* До мръканье сме тука. Уфъ! Найпослѣ  
Пристигнахме до порти—тѣ Мадридски.  
Мустаци съ плащъ затулещъ, вѣжди съ шапка,  
Ще полетїшъ. Да ли ще ме познаїшъ?  
*Лепорелло:* Да, мѧчно Донъ-Жуана да познаїшъ!  
Такива, като него, врѣдъ ще срѣщнешъ! и т. д.

## V.

Если мы перейдемъ собственно къ пушкинскому решению частичной доли славянского вопроса, именно польско-русского домашняго спора, то, какъ извѣстно, поэтъ не далъ намъ положительного отвѣта на собственное же провозглашенное имъ весьма знаменательное изреченіе вопросительного свойства:

Славянскіе ль ручы сольются въ русскомъ морѣ?  
Оно ль изсякнетъ?—вотъ вопросъ.

Онъ былъ слишкомъ добросовѣстенъ, чтобы могъ иначе отнестись къ дѣлу и предложить отвѣтъ въ положительному и задорномъ тонѣ хвастлива го торжества... При всей насыщенности тона и высокопарности стиховъ въ данныхъ произведеніяхъ, нельзя не замѣтить въ нихъ и тяжелыхъ, тоскливыхъ нотокъ... Поэтъ, очевидно, сознавалъ, что излишнее ликованіе неумѣстно, что семейная вражда славянъ, чьею бы побѣдою она ни окончилась,—явленіе гибельное для нихъ же самихъ, какъ извѣстнаго культурно-исторического организма... Онъ вынужденъ быть сказатъ:

Оставьте насть, вы не читали  
Сіи кровавыя скрижали;  
Вамъ непонятна, вамъ чужда  
Сія семейная вражда;  
Для васъ безмолвны Кремль и Прага...

Поэтъ справедливо настаиваетъ на некмѣшательствѣ инородныхъ племенъ въ семейное славянское дѣло: имъ, этими племенамъ, въ сущности чуждо все, что дорого славянамъ, чужды, безъ сомнѣнія, и сами славяне съ ихъ несмыываемымъ исторіею своеобразiemъ...

Этотъ взглядъ Пушкина, что междуславянскій домашній споръ можетъ и долженъ быть рѣшенъ только самими же славянами, что этотъ споръ—ихъ домашнее дѣло и не нуждается въ стороннемъ посредничествѣ, обыкновенно небезкорыстномъ, чрезвычайно симпатиченъ; хотѣлось бы, чтобы онъ былъ и единственно правильнымъ и возможнымъ. Тогда, быть можетъ, при окончательномъ рѣшеніи вопроса, дѣло могло бы обойтись и иначе, чѣмъ думалъ когда-то извѣстный ученый П. Шафарикъ, т. е. безъ участія меча, неизбѣжнаго, конечно, разъ въ дѣло вмѣшаются неславянскіе народы. Хотѣлось бы, чтобы въ этомъ злополучномъ и роковомъ по своей запутанности славянскомъ вопросѣ рѣшающее значение получила во всякомъ случаѣ лишь сила ума и просвѣщенія и высшей образованности; чтобы славянскіе ручьи, если имъ суждено будетъ направить свое теченіе къ русскому морю, втекали въ него добровольно, сохранивъ каждыя особенность и вкусъ своей воды; чтобы, наконецъ, если русскому народу предстоитъ сдѣлаться объединительной силою для всего славянства, явиться для него такъ сказать высшимъ синтезомъ, это произошло подъ вліяніемъ дѣйствительно высшихъ культурныхъ успѣховъ этого народа предъ другими соплеменными; тогда они, по естественнымъ законамъ всяческаго

поступательного движенья, конечно применуть къ своему вождю не только добровольно, но и восторженно подъ вліяніемъ высшей руководящей идеи о полной, безпрепятственной возможности для нихъ обогатить такимъ путемъ общую культурную сокровищницу человѣчества лучшими дарами и успѣхами силъ и свойствъ славянской природы, столь прекрасной въ своемъ чудномъ и увлекательномъ своеобразіи... (Можетъ быть, въ этомъ случаѣ имѣть свое значеніе и то любопытное совпаденіе, какое произошло между конгрессомъ мира, созваннымъ по русскому почину, и пушкинскимъ юбилеемъ?). И когда это совершиится, за Пушкинымъ всѣ славяне, которые къ тому времени, дастъ Богъ, узнаютъ и изучать его во всей полнотѣ, не преминутъ, конечно, признать очень значительную крупную долю заслуги въ общемъ дѣлѣ взаимнаго ознакомленія членовъ родственного племени. Они несомнѣнно сдѣлаютъ это тѣмъ охотнѣе, что правильному, разумному решенію ихъ домашняго вопроса въ особенности пособѣствовалъ тотъ Пушкинъ, солнце русской литературы, пламенному перу котораго принадлежать слѣдующіе роскошные по своей мужественной силѣ стихи, которые смило могутъ служить поэтическимъ эпиграфомъ всяческаго поступательного движенія народовъ, и подъ которыми съ гордостью, конечно, подписался бы любой изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и племенъ:

Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ  
 Ты, солнце святое, гори!  
 Какъ эта лампада блѣднѣеть  
 Предъ яснымъ восходомъ зари,  
 Такъ ложная мудрость мерцаеть и тлѣеть  
 Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.  
 Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

---

## ПУШКИНЪ и ЧЕЛЯКОВСКІЙ<sup>1)</sup>.

### I.

**В**ъ настоящій день мы собрались здѣсь подъ хоругвію св. проповѣтителей славянъ, чтобы согласно установившемуся обычаю представить почтенному собранію отчетъ о дѣятельности Славянского благотворительного общества за истекшій 1898 г. и вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы отъ имени Славянского общества посильнѣо почтить память славнаго русскаго генія, котораго въ настоящіе майскіе дни чествуетъ вся Русь, а вмѣстѣ съ нею и все Славянство.

Очень скромна по своимъ размѣрамъ дѣятельность нашего Славянского общества, не велики цифры нашего бюджета; но это обстоятельство не должно никого смущать, такъ какъ задачи, лежащія въ основѣ этой дѣятельности, уже по существу своему весьма возвышенны, сами по себѣ должны имѣть важное значеніе въ жизни и заслуживають всякаго вниманія и сочувствія. Наше Славянское общество живетъ и дѣйствуетъ по завѣту, который оставили честуемые нынѣ православной церковью славянскіе первоучители св. Кирилль и Меѳодій. Незабвенные св. братья, совершивъ великий подвигъ перевода священнаго писанія на славянскій языкъ, создавъ славянамъ грамоту и общій литературный языкъ—тѣмъ самымъ внесли въ среду разрозненныхъ славянскихъ племенъ идею близкаго духовнаго общенія, культурной взаимности и братства и, что выше всего, сдѣлали возможнымъ

---

<sup>1)</sup> Рѣчь проф. Т. Д. Флоринскаго, произнесенная 16 мая, въ торжественномъ годичномъ собраніи членовъ Киевскаго Славянского благотворительного общества. Первоначально была напечатана въ „Киевлянина“ (№ 136).



Печ. въ тип. Петра Барскаго.

Адель Давыдова.

Digitized by Google



для нихъ пониманіе высокихъ истинъ евангельского ученія и, между прочимъ, той, которая гласить: „Больше сея любви никто-же имать, да кто душу свою положить за други своя“. Тѣми же самыми идеями руководится въ своей дѣятельности и Киевское Славянское общество. Оно стремится къ тому, чтобы содѣйствовать установленію мира и согласія среди раздробленного и по настоящее время Славянства, къ укрѣплѣнію духовнаго общенія между Русью и остальнымъ Славянствомъ, къ наибольшему проясненію славянскаго сознанія у всѣхъ представителей нашего племени, къ усиленію среди славянскихъ народовъ чувства взаимной любви и братства. Однимъ изъ главныхъ средстъвъ къ достижению этой высокой цѣли служатъ, кромѣ оказанія материальной помощи нашимъ братьямъ, распространеніе въ Россіи свѣдѣній о славянскомъ мірѣ и, наоборотъ, ознакомленіе западныхъ и южныхъ славянъ съ нашимъ Русью, а также, при томъ больше всего, заботы о славянской молодежи, учащейся въ русскихъ школахъ. Оказывая посильную помощь славянскимъ юношамъ, выходцамъ изъ Болгаріи, Македоніи, Сербскаго королевства, Черногоріи, Босны, Герцеговины, австрійской Сѣрбіи, Чехіи, Словакской земли—являющимся на Русь за среднимъ и высшимъ образованіемъ, Славянское общество тѣмъ самымъ совершає культурное дѣло высокой важности. Поддерживая нравственно славянскихъ братьевъ, нерѣдко находящихся въ тяжелыхъ условіяхъ жизни, при которыхъ бываетъ невозможнымъ получение образованія у себя дома, оказывал такимъ образомъ услугу обездоленнымъ представителямъ родного племени, наше славянское общество тѣмъ самымъ поддерживаетъ и выше поднимаетъ обаяніе Россіи и русскаго народа въ Славянствѣ, ширитъ среди славянскихъ народовъ любовь и уваженіе къ русскому языку, русской наукѣ и литературѣ. Это-ли не высокая задача, которая должна быть близка сердцу каждого истинно-русскаго человѣка? Многочисленное собраніе, удостоившее своимъ посвященіемъ нашъ скромный праздникъ, служить доказательствомъ постоянно возрастающаго сочувствія къ задачамъ дѣятельности нашего Славянского общества.

Позвольте, мил. госуд. и госуд., искренно привѣтствовать васъ въ настоящій день, посвященный воспоминанію о высокомъ подвигѣ, совершенномъ свв. Кирилломъ и Меѳодіемъ, и выразить пожеланіе, чтобы высокіе завѣты, оставленные свв. просвѣтителями славянъ, не переставали находить сочувственный откликъ въ нашихъ сердцахъ.

## II.

Въ соответствіи съ указанными цѣлями нашей славянской программы мы считаемъ своимъ долгомъ въ нашихъ публичныхъ собранияхъ дѣлать сообщенія по поводу такихъ явлений въ жизни славянства, которые по преимуществу свидѣтельствуютъ о культурномъ ростѣ славянскаго племени и о развитіи славянской идеи. Такимъ крупнымъ событиемъ настоящаго года, безспорно, нужно считать приближающійся праздникъ столѣтія рожденія Пушкина. И наше маленькое Славянское общество на раду съ многочисленными другими просвѣтительными учрежденіями чувствуетъ въ себѣ живую потребность принять участіе въ этомъ общерусскомъ, скажемъ болѣе, общеславянскомъ празднествѣ. Да, юбилей Пушкина—безспорно праздникъ не только русскій, но и всеславянскій, такъ какъ и самъ честуемый поэтъ близокъ и дорогъ не только намъ, русскимъ, но и прочимъ славянскимъ народамъ. Имъ гордится все Славянство, какъ однимъ изъ величайшихъ своихъ геніевъ. Иногда называютъ Пушкина поэтомъ общеевропейскимъ. Такое мнѣніе справедливо лишь въ томъ смыслѣ, что въ поэзіи геніального русскаго поэта, между прочимъ, отразились разныя теченія и вліянія поэтическаго творчества западно-европейскихъ народовъ. Но въ сущности Пушкинъ, конечно, прежде всего поэтъ русскій и вообще славянскій, ярко обнаружившій въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ свою русскую душу и свою славянскую натуру. Онъ дорогъ остальнымъ меньшимъ славянскимъ народамъ не только потому, что онъ былъ яркимъ выразителемъ русского духа, пѣвцомъ русской жизни, русской старины, русской народности, словомъ—поэтомъ русскаго народа, самаго крупнаго представителя семьи славянскихъ народовъ, но и потому, что онъ обратилъ вниманіе на меньшую славянскую братію, отвелъ и ей мѣсто въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ, одинъ изъ первыхъ увлекся западно-славянскими народными пѣснями и преданіями, глубоко задумался надъ славянскимъ вопросомъ. Въ эпоху, къ которой относится литературная дѣятельность Пушкина, въ 20—30-хъ годахъ, у насть на Руси о славянахъ знали еще очень мало и славянское сознаніе едва начинало пробуждаться у немногихъ лучшихъ людей общества. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и славный русскій поэтъ. Онъ сердцемъ понялъ близкую связь между Русью и западнымъ Славянствомъ, одинъ

изъ первыхъ оцѣнилъ Мицкевича, съ которымъ былъ соединенъ узами тѣсной дружбы, и первый въ прекрасныхъ переводахъ познакомилъ съ образцами западно-славянской поэзіи. Въ сборникахъ его произведеній имѣется цѣлый отдѣлъ стихотвореній, носящихъ название „Пѣсни западныхъ славянъ“. Изъ числа этихъ пѣсенъ одиннадцать взяты изъ французского сборника Мериме Guzla; двѣ—„Сестра и братъ“ и „Соловей“ изъ знаменитаго сборника сербскихъ пѣсень В. Караджича; одна „Янышъ Королевичъ“ изъ чешскихъ народныхъ сказаний, а пѣсня „Георгій Черный“ и „Воевода Милошъ“ навѣяны событиями современной сербской исторіи. Затѣмъ извѣстны его прекрасные переводы изъ Мицкевича („Воевода“, „Конрадъ Валенродъ“, „Будрысь и его сыновья“) и превосходное стихотвореніе, посвященное самому Мицкевичу. Въ послѣднемъ ярко выступаетъ горячая любовь Пушкина къ славному польскому поэту, чувство горечи по поводу озлобленія Мицкевича противъ Россіи и необыкновенная чистота души и незлобіе русскаго поэта. Независимо отъ этого непосредственнаго живого участія къ западному Славянству, засвидѣтельствованного самыми стихотвореніями Пушкина, имѣетъ важное значеніе то обстоятельство, что какъ въ цѣломъ міровоззрѣніи поэта, такъ и въ общемъ характерѣ и приемахъ его поэтическаго творчества не мало сторонъ и элементовъ, уже по самой сущности своей близкихъ и понятныхъ всему Славянству. Все это въ совокупности объясняетъ важное значеніе Пушкина въ славянскомъ мірѣ. Знакомство западныхъ славянъ съ знаменитымъ русскимъ поэтомъ начинается очень рано, еще въ тридцатыхъ годахъ. Значительное количества крупныхъ и меньшихъ произведеній Пушкина извѣстно въ многочисленныхъ переводахъ на всѣ славянскіе языки. Число этихъ переводовъ постоянно умножается. Въ нихъ принимали и принимаютъ участіе наиболѣе выдающіяся поэтическія силы у разныхъ славянскихъ народовъ. Вообще, западные славяне читали и читаютъ Пушкина очень усердно. Поэтому неудивительно, что муза геніального русскаго поэта оказала извѣстное вліяніе на творчество западно-славянскихъ поэтовъ. Такъ, это вліяніе довольно легко подмыть у серба Змоя Іовановича, словинца Веселя Косесскаго, чеховъ Челяковскаго, Пфлемера-Моравскаго и др. Отсюда понятно замѣчаніе одного изъ новѣйшихъ переводчиковъ Пушкина на чешскій языкъ: „Пушкинъ еще въ 50-хъ годахъ сталъ для насъ, чеховъ, роднымъ поэтомъ“. То же можно сказать по отношенію къ другимъ славянамъ: словакамъ, серbamъ,

болгарамъ, словинцамъ. Вполнѣ понятно и то, что юбилей Пушкина всюду въ западно-славянскихъ земляхъ, празднуется весьма торжественно, съ неподдельнымъ восторомъ. Впереди другихъ, однако, идуть чехи: они снаряжаютъ депутаціи въ Москву и Петербургъ, готовяты адресы и привѣтствія, издають въ память поэта книги, художественныя сборники и проч. Такимъ образомъ, если появленіе Пушкина и его поэзіи составляло выдающееся, богатое послѣдствіями событие въ культурной жизни всего Славянства, то происходящее нынѣ чествованіе столѣтней годовщины рожденія великаго поэта должно признать однимъ изъ крупныхъ проявлений славянскаго сознанія. Вотъ одно изъ многихъ оснований, по которымъ въ настоящій Кирилло-Меѳодіевскій день мы считаемъ своимъ долгомъ занять вниманіе просвѣщенаго собранія чтеніемъ о Пушкинѣ<sup>1)</sup>.

## III.

Чествуя Пушкина въ настоящемъ годичномъ собраніи, мы считаемъ вполнѣ умѣстнымъ напомнить еще объ одномъ славянскомъ юбилѣ. Въ нынѣшнемъ году исполнилось столѣтіе рожденія одного изъ видныхъ западно-славянскихъ поэтовъ, сверстника Пушкина и большого почитателя его поэзіи. Этотъ поэтъ—Францъ-Ладиславъ Челяковскій, крупный представитель чешскаго литературного возрожденія, замѣчательный выразитель славянскаго самосознанія у чеховъ, ранній переводчикъ произведеній Пушкина на чешскій языкъ.

Я позволю себѣ посвятить нѣсколько словъ памяти этого замѣчательнаго славянскаго дѣятеля.

Фр. Л. Челяковскій родился 7 марта 1799 г., слѣдовательно, всего за три мѣсяца до рожденія Пушкина, а скончался 5 августа 1852 г., слѣдовательно, черезъ 15 лѣтъ послѣ безвременной кончины величайшаго русскаго поэта. Происходя изъ небогатой мѣщанской семьи, всю жизнь свою проведя въ нуждѣ и лишеніяхъ, Челяковскій исключительно благодаря своимъ дарованіямъ и безграничной любви къ родинѣ сталъ однимъ изъ выдающихся представителей чешскаго национальнаго возрожденія. Подобно другимъ своимъ славнымъ современникамъ, Юнгманну, Шафарику, Ганкѣ, Коллару, служеніе род-

<sup>1)</sup> Рѣчь о Пушкинѣ въ этомъ собраніи была произнесена И. Ф. Кожинымъ.

ному народу онъ соединялъ съ увлечениемъ славянскою идеей: онъ былъ не только чешскій писатель, но и славянофиль или панславистъ. Челяковскій составилъ себѣ известность какъ поэтъ, журналистъ и ученый славяновѣдъ. Когда онъ проходилъ среднюю и высшую школу, въ Чехіи еще не было простора родному языку: онъ едва допускался въ сельскихъ училищахъ и былъ слышенъ почти исключительно въ крестьянскихъ хижинахъ. Въ городакъ и высшихъ классахъ господствовалъ нѣмецкій языкъ. Свое образованіе Челяковскій получилъ на нѣмецкомъ языкѣ и въ молодости очень увлекался нѣмецкой литературой, особенно Гердеромъ и Гёте, несомнѣнно оказавшими влияніе на развитіе у него поэтическаго дарованія. Но затѣмъ, понявъ смыслъ начинавшагося народнаго движения, онъ всецѣло применилъ еѣ национальному направленію, съ горячностью отдался изученію своего родного языка и старой чешской литературы и уже въ началѣ 20-хъ годовъ выступилъ энергичнымъ, убѣжденнымъ работникомъ на нивѣ родной литературы. Его поэтическая дѣятельность выразилась въ созданіи значительного числа истинно-художественныхъ произведеній. Въ 1822 г. вышли въ свѣтъ его „Славянскія народныя пѣсни“ и сборникъ мелкихъ стихотвореній. Затѣмъ слѣдовали переводы изъ Вальтера-Скотта, Гёте, литовскихъ пѣсенъ. Въ 1829 г. было въ первый разъ напечатано замѣчательнѣйшее его произведеніе „Отголосокъ русскихъ пѣсенъ“ (*Ohlas písni ruských*), а въ 1839 г. вышелъ подобный же „Отголосокъ чешскихъ пѣсенъ“ и вслѣдъ затѣмъ пользующаяся большою славою „Столицкая Роза“ (*Růže Stolistá*)—цѣлый сборникъ лирики личнаго чувства, чередующейся съ размышеніями о национальныхъ дѣлахъ. Поэтическое дарованіе Челяковскаго ставить очень высоко. Наравнѣ съ Колларомъ онъ сталъ основателемъ новой школы чешской поэзіи, т. н. властенецкой или патріотической, смѣнившей устарѣвшее, искусственно-идиллическое направленіе. Существенная особенность этой школы—изображеніе въ поэтическихъ образахъ народной жизни и национальныхъ стремленій. Всѣ произведенія Челяковскаго при полнотѣ внутренняго содержанія отличаются художественной формой и отчетливой отдѣлкой частностей. Языкъ поэта—прекрасный, сильный образный. Многія его пѣсни и стихотворенія получили широкое распространеніе въ обществѣ и стали какъ бы народными.

Заботы о пріисканіи насущнаго хлѣба заставляли Челяковскаго долгое время отдаваться мелкой журнальной работѣ, пока, наконецъ,

онъ сталъ редакторомъ нѣсколькихъ періодическихъ изданій. Но давнишнее его призваніе было—ученая, профессорская карьера. Послѣ разныхъ затрудненій онъ получилъ, наконецъ, каѳедру въ Прагѣ, вынужденъ былъ перейти въ Вратиславу и опять вернулся въ Прагу, гдѣ и сложилъ свои кости.

Прекрасный лингвистъ, Челяковскій сосредоточилъ свое вниманіе на изученіи славянскихъ языковъ и памятниковъ славянского народного творчества. Онъ собираль и переводилъ пѣсни разныхъ славянскихъ народовъ, составилъ замѣчательный сборникъ славянскихъ пословицъ, занимался разысканіями въ области этимологіи, подготовилъ къ печати первые опыты сравнительной грамматики славянскихъ языковъ, издавалъ элементарные руководства для изученія польского и русского языковъ и проч.

Русскій языкъ онъ зналъ прекрасно и, между прочимъ, пользовался имъ въ своихъ письмахъ даже къ чешскимъ друзьямъ. Любопытно также, что онъ высоко ставилъ кирилловское письмо и иногда употреблялъ его вмѣсто латиницы въ своихъ письмахъ, писанныхъ по-чешски. Слава объ учености Челяковскаго дошла до Россіи. Его приглашали вмѣстѣ съ Шафариковъ и Ганкой на одну изъ открывавшихся въ Россіи каѳедръ славянской филологии. Но Челяковскій не рѣшился покинуть родину.

Какъ въ научныхъ, филологическихъ своихъ трудахъ, такъ и въ публицистической своей дѣятельности, и въ поэтическихъ созданіяхъ Челяковскій выступаетъ искреннимъ, горячимъ поборникомъ идеи славянской взаимности. Онъ заботится о распространеніи среди чеховъ болѣе основательныхъ свѣдѣній объ остальномъ славянскомъ мірѣ. Онъ знакомить съ образцами народныхъ пѣсень у разныхъ славянскихъ народовъ, старается выяснить близкое родство славянскихъ языковъ, пропагандируетъ изученіе русского и польского языковъ. Одинъ изъ биографовъ поэта говоритъ, что изъ всѣхъ вѣтвей славянскихъ Челяковскій особенно любилъ русскихъ: русская исторія, русская литература, русская народная поэзія были любимыми предметами его изученія.

Эта любовь къ русскому народу и русскому языку особенно вылилась въ его сборникѣ „Отголосокъ русскихъ пѣсень“, который и доселѣ считается однимъ изъ первовъ чешской поэзіи. По выходѣ въ свѣтъ этого сборника многие думали, что онъ содержитъ переводы съ русскаго. Такъ вѣрно поэтъ схватилъ духъ и характеръ русскаго

народа, такъ глубоко уразумѣлъ особенности русскаго народнаго творчества и такъ мастерски овладѣлъ тонкостями русскаго языка. Достаточно указать, напр., на созданные имъ цѣльные, истинно-русскіе образы богатырей Ильи Муромца, Чурилы Пленковича, Ильи Волжанина или превосходныя по глубинѣ мысли, силь чувства и об разности языка стихотворенія, написанныя по случаю сожженія Москвы въ 1812 г., кончины императора Александра I, появленія русскихъ на Дунай въ 1829 г. Позволю себѣ привести одно изъ нихъ— „Великая панихида“ въ переводѣ Н. Берга:

То не градомъ побиты, не дождикомъ,  
Не пшеница лежить со гречикою:  
Полегло подъ Москвою, подъ матушкою,  
Много воинства храбраго русскаго,  
Много воинства тамъ и французскаго  
Преклоняясь головой ко сырой землѣ,  
Переколотаго, перебитаго,  
Что мечами, штыками и копьями  
Чтоб картечью, гранатами, пулями.  
Ой, вы дѣти единая матушки!  
Стороны-ли родной вы защитнички,  
Мы за вашу любовь и за подвиги  
Панихиду свершили великую,  
Панихиду, какой не привидано,  
О какой никогда и не слыхано.  
Не достало свѣчей воску яраго,  
Не хватило на каждого ратника,  
Мы одну вамъ свѣчу всѣмъ затеплили,  
Въ храмѣ Божіемъ, подъ синимъ подъ куполомъ.  
Мы зажгли вамъ свѣчу—Москву матушку  
Милымъ дѣтушкамъ на спокой души  
И на диво, на страхъ—врагу лютому!

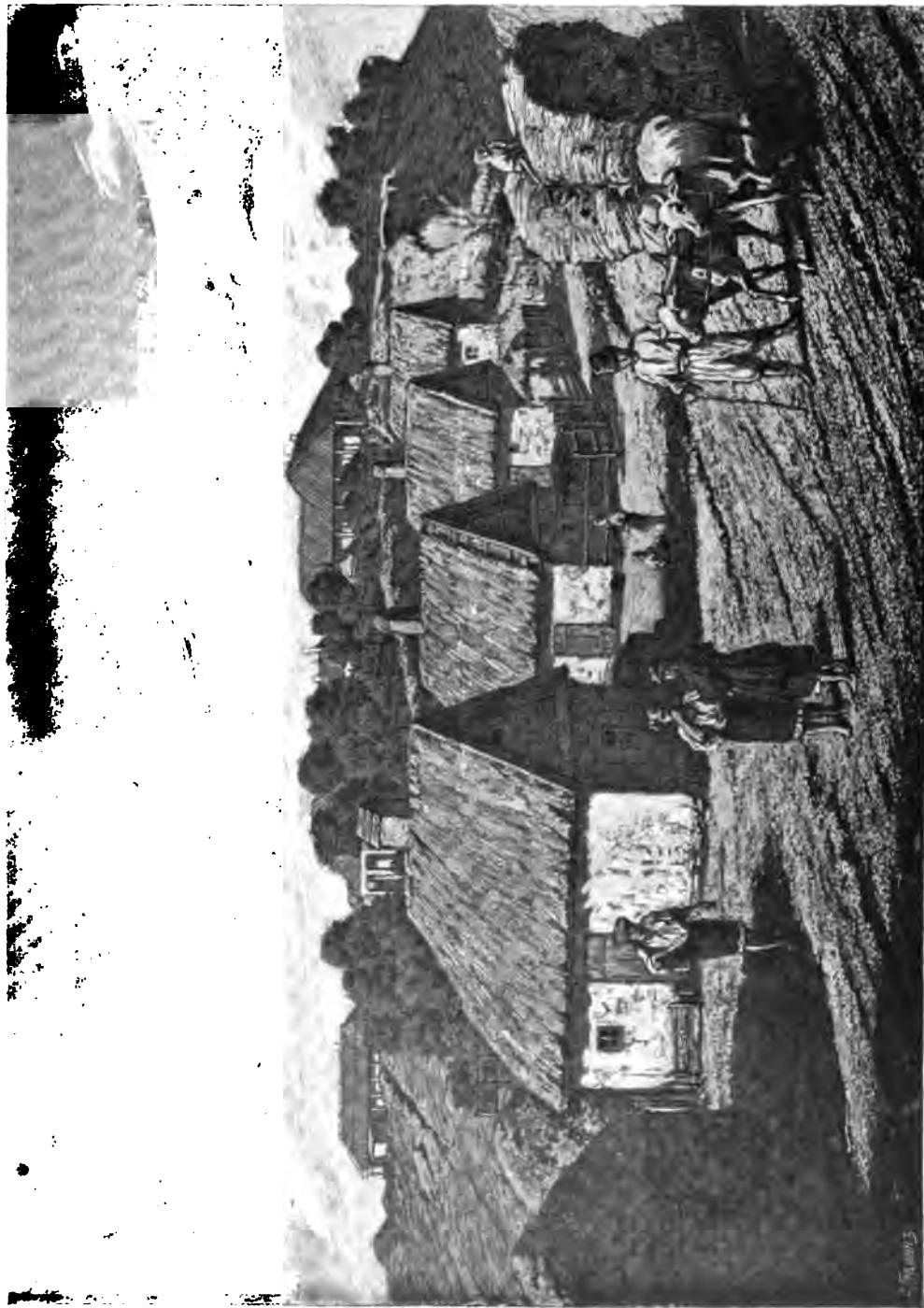
Желал познакомить чешское общество съ русской поэзіей, Челяковскій началъ съ Пушкина и въ 1833 г. перевель слѣдующія его стихотворенія: „Гусарь“, „Утопленникъ“, „Делибашъ“, „Два ворона“, „Зимній вечеръ“; затѣмъ онъ далъ прекрасные переводы изъ Дельвига, Веневитинова, Языкова, княгини Ростопчиной, княгини Волконской,

Тимофеева, Козлова, Батюшкова, Дмитріева и Крылова. Всѣ переводы, очень близко передающіе подлинникъ, отличаются высокими поэтическими достоинствами.

Такова въ общимъ чертахъ замѣтительная дѣятельность Челяковскаго, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ близко примыкающая къ славной дѣятельности Пушкина. Весьма знаменательно слѣдующее хронологическое совпаденіе: Челяковскій впервые напечаталъ свои переводы стихотвореній Пушкина въ 1833 г., въ томъ-же году были написаны Пушкинымъ „Пѣсни западныхъ славянъ“.

Итакъ, въ то время, какъ на Руси Пушкинъ силой своего гenia создавалъ новое направленіе въ русской литературѣ и жизни, и, между прочимъ, обращалъ вниманіе русского общества на западно славянскій міръ, въ ту же самую пору въ маленькой Чехіи, только что возраздавшейся къ новой болѣе свободной національной жизни—талантливый поэтъ Челяковскій и съ профессорской каѳедры, и въ своихъ превосходныхъ поэтическихъ соединеніяхъ знакомилъ своихъ сородичей съ Русью, ея поэзіей, съ произведеніями ея величайшаго поэта. Оба славянскихъ поэта, не будучи лично знакомы, на двухъ противоположныхъ концахъ славянскаго міра совершили одно общее дѣло: заладывали первые камни будущаго величественнаго зданія славянской взаимности и солидарности. Эти важные моменты въ культурной жизни Славянства начала тридцатыхъ годовъ имѣютъ высокое значеніе. Они невольно приходятъ на память въ наступающіе пушкинскіе дни. Вѣчная слава Пушкину и Челяковскому—мощнымъ выразителямъ идеи братства между славянскими народами!

---



Часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ, по рис. 1853 г.

Печ. въ тип. Петра Барского.

Digitized by Google



## Отдѣлъ II.



# **Отношение къ А. С. Пушкину**

РУССКОЙ КРИТИКИ

съ 1820 года до столѣтняго юбилея 1899 года.

---

Едва ли найдется другое имя писателя въ русской словесности, которое бы такъ тѣсно было связано съ научнымъ изученіемъ исторіи русской литературы, русской поэзіи, русской критики, какъ имя А. С. Пушкина. Современникъ знаменитыхъ русскихъ критиковъ, Надеждина, Полевого, Бѣлинскаго, великий русский поэтъ самъ принималъ дѣятельное участіе въ русской критикѣ, въ русской журналистицѣ,— особенно въ теченіе 30-хъ годовъ. Безъ сомнѣнія, критическое направлѣніе Пушкина выразилось не только въ его замѣткахъ, составляющихъ видную часть его произведеній, дошедшихъ хотя-бы и въ рукописяхъ; но и въ его бесѣдахъ съ писателями 20-хъ и 30-хъ годовъ. Къ мнѣніямъ поэта прислушивались и писатели Пушкинской школы, между прочимъ, издававшіе „Литературную Газету“, 1830—31 гг., и Гоголь, и Бѣлинскій. Послѣдній создалъ первый трудъ по исторіи русской поэзіи на основаніи сравнительного изученія Пушкина и русскихъ писателей XVIII—XIX вѣковъ. Произведенія Пушкина сдѣлались мѣриломъ новыхъ требованій отъ русской литературы. Критика, признавъ художественное и общественное значеніе за сочиненіями А. С. Пушкина, тѣмъ самымъ указала на ихъ высокія достоинства въ области воспроизведенія русской жизни, русской исторіи и на самые приемы обращенія съ русскимъ словомъ. Какъ ни измѣнялись взгляды русской критики, Пушкинъ оставался художни-

комъ русскаго слова, поэтомъ въ совершенѣйшой формѣ, и давалъ материалы для злобы дня. Поэтому переглядѣть критическія статьи и болѣе или менѣе крупные труды, посвященные изученію А. С. Пушкина, представляетъ интересъ, вызываемый настоящимъ воспоминаніемъ объ истекшемъ столѣтіи со дня рожденія величайшаго русскаго поэта.

Въ „Вѣстникѣ Европы“, издававшемся въ Москвѣ съ перерывами Каченовскимъ, впервые появились стихотворенія А. С. Пушкина (1814 г.); въ этомъ же журналѣ въ 1820 году впервые появились же стокія нападки на первое крупное произведение Пушкина—поэму, „Русланъ и Людмила“ (Спб., 1820 г., 142 стр. и въ журналѣ „Сынъ Отечества“ 1820 г. №№ 15, 16 и 38). Московскій журналъ, основанный Карамзінымъ, посвящалъ большое вниманіе вопросамъ русской исторіи. Поэтому даже „Освобожденная Москва“ Волкова, въ 10 пѣсняхъ, 1820 г., въ стилѣ Хераскова, подверглась обширному разбору. Въ области русской поэзіи обращали на себя вниманіе „Дѣвъ надцать спящихъ дѣвъ“ Жуковскаго 1817 г. и „Древнія Россійскія Стихотворенія“ (Кирши-Данилова), изданныя въ 1818 году Калайдовичемъ. Критикъ „Вѣстника Европы“, поклонникъ русскихъ поэтовъ XVIII вѣка, начиная съ Ломоносова, послѣдователь ложноклассической теоріи, возсталъ противъ новыхъ явлений, связанныхъ съ балладами Жуковскаго, выбравши слабыхъ его подражателей, противъ пѣсень Кирши-Данилова, связавши его имя съ новымъ поэтомъ Пушкинымъ. Главныя нападенія критики направлены на народныя выраженія поэмы „Русланъ и Людмила“, которыя защитникъ „нашихъ стариковъ“ признавалъ дикими, ужасными, отвратительными для вкуса просвѣщенного человѣка. Эти нападенія старого Аристарха были замѣчены и въ „Сынѣ Отечества“ явилась антикритика въ защиту „новѣйшихъ преобразователей“, сочиненія которыхъ сравнивались, съ одной стороны, съ Одиссеей, Роландомъ, Оберономъ, съ другой—съ Душенькой Богдановича. Критикъ „Вѣстника Европы“ уступилъ въ новомъ отвѣтѣ въ пользу Карамзина, Жуковскаго, но къ „неизвѣстному поэту Пушкину“ отнесся съ прежнимъ раздраженіемъ.

Междудѣмъ и въ Петербургѣ нашлись хулигги „Руслана и Людмилы“ въ „Невскомъ Зритель“ 1820 г. Защитникъ правдоподобія въ поэмахъ и нравственности въ литературѣ, критикъ „Невскаго Зрителя“, нашелъ предметъ, выбранный Пушкинымъ для поэмы,

ничтожнымъ, какъ подражаніе невѣроятнымъ сказочнымъ чудесамъ, какъ отступленіе отъ русской исторіи и русскихъ народныхъ преданій, хотя и похвалилъ за красоту нѣкоторыхъ стиховъ. Это были двѣ „тяжкихъ“ (по выражению Крылова, см. примѣчаніе Пушкина къ „Руслану и Людмилѣ“) критики, выставившія мужицкую грубость и безнравственность, даже болѣе—поэмы молодого поэта: „Онъ (замѣтилъ критикъ „Невскаго Зрителя“) между необыкновенными героями своей поэмы помѣстилъ и историческое лицо: Великаго Князя Владимира—просвѣтителя Россіи. Всякій Русскій, всякий христіанинъ при одномъ имени его исполняется чувствомъ благоговѣнія. Впрочемъ, хорошо, что онъ показывается только въ первой и послѣдней пѣсняхъ поэмы“. Очевидно, „новѣйшие преобразователи“ русской литературы должны были вступиться за Пушкина. И вотъ въ „Сынѣ Отечества“ 1820 г. появляется обширный разборъ „Руслана и Людмилы“, подписанный буквой В., но, несомнѣнно принадлежащей Воейкову, какъ отмѣтилъ самъ поэтъ въ 1828 г. въ предисловіи ко 2-му изданію „Руслана и Людмилы“: „при ея появлѣніи, въ 1820 г. тогдашніе журналы наполнились критиками болѣе или менѣе синходительными; самая пространная писана г. Воейковымъ и помѣщена въ „Сынѣ Отечества“. Воейковъ изложилъ содержаніе поэмы по отдѣльнымъ пѣснямъ, разобралъ характеры дѣйствующихъ лицъ, остановился на красотахъ изложенія, выраженій и ограничился немногими упреками въ отступленіяхъ „Руслана и Людмилы“ отъ эпопеи, оговоривши ея ближайшее отношеніе къ поэмамъ романтическимъ, шуточнымъ, волшебнымъ, богатырскимъ. Защитникъ Пушкина, указавшій его „почтенное мѣсто между первоклассными отечественными нашими писателями“ за „лебединое перо поэта“, за кисть художника, вызвалъ въ Пушкинѣ, находившемся въ это время въ Киевской губерніи, нѣкоторое неудовольствие, можетъ быть за обвиненіе въ безнравственности и за слѣдующее замѣчаніе: „прелестныя картины на самомъ узкомъ холстѣ, разборчивый вкусъ, тонкая, веселая, острыя шутка; но всего удивительнѣе то, что сочинитель сей Поэмы не имѣть еще двадцати пяти лѣтъ отъ рожденія!“! Пушкинъ началъ съ этого замѣчанія свое предисловіе ко 2-му изданію „Руслана и Людмилы“: „автору было двадцать лѣтъ отъ роду, когда кончилъ онъ Руслана и Людмилу“. Пушкинъ въ письмѣ къ Гнѣдичу 1820 г. искалъ уже защиты отъ болѣе „умныхъ“ критиковъ, находя своихъ

критиковъ или „тяжкими“ или „благонамѣренными“ (II, 199) <sup>1)</sup>. Собственно говоря, Воейковъ кое-вѣ-чѣмъ согласился и съ мнѣніемъ старинныхъ Аристарховъ, и въ Сынѣ Отечества 1820 г. нашелся новый защитникъ Пушкина, упрекнувшій Воейкова за указанія „грѣшныхъ и мужицкихъ“ стиховъ въ „Русланѣ и Людмилѣ“. Существуетъ мнѣніе, что эта новая защита сдѣлана самимъ А. Ф. Воейковымъ, подъ псевдонимомъ П. К-ва (VI, 12, прим. 5), сославшимся уже на Лорда Байрона. Не была ли эта критика вызвана друзьями Пушкина, если принять во вниманіе заключеніе статьи Воейкова: „отдавая полную справедливость отличному дарованію Пушкина, сего юнаго гиганта въ словесности нашей, мы однако увѣрены, что основательный разборъ его поэмы, поясненный свѣтомъ истинной критики, былъ бы полезенъ и занимателенъ. Мы желаемъ только, чтобы трудъ сей на себя принялъ писатель: опытие, ученье и училище г-на В.“.

Поэма Пушкина была признана критикой Измайлова въ „Благонамѣренномъ“ 1820 г. „прекраснымъ феноменомъ въ пашей словесности“, въ дальнѣйшихъ статьяхъ „Сына Отечества“ — „однимъ изъ лучшихъ произведеній литературы 1820 года“. Не пересматривая замѣчаній и „за“, и „противъ“ Пушкина въ семи статьяхъ „Сына Отечества“ 1820 года, замѣтимъ только, что поэма молодого поэта вызвала необыкновенное оживленіе въ русской литературной критикѣ, и споры привели къ признанію таланта за первымъ крупнымъ трудомъ Пушкина. Очевидно, и въ обществѣ много говорили о „Русланѣ и Людмилѣ“, если въ предисловіи ко 2-му изданію его Пушкинъ, цитируя своихъ критиковъ 1820 г., упоминаетъ о „мнѣніяхъ увѣнчанныхъ первоклассныхъ отечественныхъ писателей“ (Дмитрева и Карамзина), которые сводились къ полному порицанію поэмы. Въ дѣйствительности, это было преувеличено, такъ какъ Карамзинъ, хотя и называлъ „поэмку молодого Пушкина смѣстанной на живую нитку“, но защищалъ ее передъ Дмитревымъ за „живость, остроту, вкусъ“. Очевидно, эта частная переписка двухъ свѣтиль русской литературы хорошо была известна въ кругу молодыхъ литераторовъ и обѣй извѣстили Пушкина изъ Петербурга и Москвы на

---

<sup>1)</sup>) Ссылаемся и далѣе на „Сочиненія А. С. Пушкина“, 1887 года, 7 томовъ, изданіе П. О. Морозова. Выдержки изъ критическихъ статей до Бѣлинского приводимъ по изданію г. Зелинского „Русская критическая литература о произведенияхъ А. С. Пушкина“, 4 ч., 1887—88 гг.

югъ—въ Киевъ, Крымъ, или въ Кишиневъ. Пушкинъ оставилъ обычную форму торжественныхъ посвященій, хотя впослѣдствіи и прибывалъ къ ней, и къ вольностямъ своей поэмы прибавилъ: „Посвященіе однимъ красавицамъ-дѣвицамъ“.

Съ критикъ 1820—21 годовъ Пушкинъ получилъ почетный титулъ „пѣвца Руслана и Людмилы“. Журналисты составили даже представление о мѣрѣ литературного таланта Пушкина по этой поэмѣ и впослѣдствіи неодобрительно отзывались о другихъ произведеніяхъ поэта, которыя отступали отъ приемовъ и цѣли первой поэмы молодого поэта. Только просвѣщенные друзья Пушкина понимали, какъ и самъ поэтъ, недостатки Руслана и Людмилы. Критика вызвала нѣкоторыя поправки во 2-мъ изданіи поэмы, преимущественно со стороны безнравственныхъ намѣковъ. Одна черта осталась неизмѣнной и, вѣроятно, заставляла задумываться поэта—это взглядъ на Пушкина, какъ на автора „небольшихъ“ поэмокъ. Въ самомъ дѣлѣ, авторы обширныхъ поэмъ, съ содержаніемъ, захватывавшимъ вопросы странъ, народовъ, вождей, должны были казаться титанами передъ авторомъ „Людмилы“, „Черкешенки“, „Маріи и Заремы“, „Цыганки“, и проч. А поэтъ и въ лирикѣ отдавалъ всю свою душу женщинахъ, или пробовалъ воспѣвать въ небольшихъ произведеніяхъ Наполеона, вождей 1812 года, или карать русскихъ временѣщиковъ. Повидимому, задумавшись надъ требованіями читателей, поэтъ остановился на Петровѣ Великомъ, и этотъ трудъ не былъ имъ довершенъ, какъ ошибся въ этомъ и ранѣе Ломоносовъ съ своей „Петріадой“. Времена неустройства, Лжедимитрія, Пугачевщины дали Пушкину болѣе вѣрные очерки; но онъ не былъ способенъ и здѣсь погрузиться въ многостонную работу. Вотъ исходный пунктъ въ оценкѣ русской критики, которую при жизни Пушкина представляютъ въ неблагосклонномъ свѣтѣ съ 1830 года.

Какъ бы то ни было, посылая Гнѣдичу новую свою поэму „Кавказскій Плѣнникъ“, которую авторъ идилій и переводчикъ Гомера издалъ въ 1822 г., съ приложеніемъ портрета Пушкина (издатель прибавилъ и подпись къ портрету: „думаемъ, что пріятно сохранить юныя черты Поэта, которого первыя произведенія означенованы даромъ необыкновеннымъ“), послѣдній писалъ Гнѣдичу (VII, 31): „я что-то въ милости у русской публики“ и далѣе выражалъ недовѣріе признавая за отзывами публики случайную прихоть и указывая „людей, которые выше ея“ (публики). Въ припискахъ къ новой поэмѣ

Пушкинъ (II, 298) намекаетъ на злобу критиковъ „Руслана и Людмилы“. „Повѣсть—Кавказскій Плѣнникъ“—новое „небольшое, изящное стихотвореніе“ (Сынъ От.), „поэма“ (по выражению Измайлова) была встрѣчена дружными похвалами критики: въ Вѣстникѣ Европы 1823 г. историкъ Погодинъ (М. П.), соглашаясь съ „строгими требованіями знатоковъ“ отъ Руслана и Людмилы (не писалъ ли первую критику въ В. Е. московскій профессоръ: Мерзляковъ, или Каченовскій?), поставилъ выше Кавказскаго Плѣнника, привѣтствовалъ обѣщаніе Пушкина выбрать новый историческій сюжетъ поэмы изъ отношеній кн. Мстислава къ Кавказу и, какъ и другіе критики, упрекнулъ автора за противорѣчія въ характерѣ Плѣнника. Князь Вяземскій и Плетнѣвъ сопоставляли новое произведеніе Пушкина съ произведеніями Байрона, особенно съ Шильонскимъ. Узникомъ (котораго Пушкинъ выбралъ неудачно для „Братьевъ Разбойниковъ“) и побуждали молодого поэта развиваться въ этомъ направленіи давать побольше новыхъ произведеній, обогащать бѣдную русскую литературу. Особенно понравилось поэтическое изображеніе Кавказа и горскихъ нравовъ. Пушкинъ занялъ теперь первое мѣсто въ ряду русскихъ писателей.

Князь Вяземскій сдѣлался истолкователемъ Пушкина и приложилъ къ первому изданію поэмы „Бахчисарайскій фонтанъ“ 1824 года, вмѣсто предисловія, „Разговоръ между Издателемъ и Классикомъ съ Выборгской стороны, или съ Васильевскаго острова“ (интересно вспомнить, что первый суровый московскій критикъ назвалъ себя „Жителемъ Бутырской слободы“). Это истолкованіе, съ побужденіемъ Пушкина писать какъ можно болѣе, выражаетъ мнѣнія той „новой школы“ русскихъ писателей, которая нашла выразителя въ лицѣ молодого автора поэмы. Мнѣнія классика выражены въ слѣдующемъ: „нынѣ завелась какая-то школа новая, никѣмъ не признанная, кроме себя самой; не слѣдующая никакимъ правиламъ, кроме своей прихоти, искажающая языкъ Ломоносова, пишущая наобумъ, щеголяющая новыми выраженіями, новыми словами; и гдѣ же достоинство поэзіи, если питать ее однѣми сказками? Романтикъ-издатель возстаетъ противъ теоріи и указываетъ на требование одной „народности въ словесности“, которая „не въ правилахъ, но въ чувствахъ“.

Вѣстникъ Европы, поддерживавшій себя авторитетами Университета („самонадѣянность, свойственная всѣмъ нынѣшнимъ природнымъ рецензентамъ!—Жаль, что вы не учились ни въ какомъ Уни-

верситетѣ: вы не сказали бы этого", Зелинский I, 143), возсталъ противъ „Разговора" кн. Вяземскаго и сталъ защищать классиковъ русскихъ и французовъ, причисливъ въ Пушкина къ классикамъ. Упреки романтикамъ и особенно слабымъ послѣдователямъ романтизма сводятся къ указаніямъ на „смѣсь мрачности съ сладострастіемъ, быстроты разсказа съ неподвижностью дѣйствія, пылкости страстей съ холодностью характеровъ, а у плохихъ подражателей новой школы съ разбросанностью, неоконченностью картинъ, темнотой языка". Оригинальная критическая замѣтка принадлежитъ „Литературнымъ Листкамъ" Булгарина: „авторъ сей поэмы писалъ къ одному изъ своихъ приятелей въ Петербургѣ (см. VII т., стр. 72: А. А. Бестужеву, отъ 8 февраля; ср. письмо къ Булгарину, отъ 1 февраля съ жалобой на Бестужева): „не достаетъ плана (ср. подлинныя слова Пушкина: „не достаточно плана—не моя вина"); не моя вина, я суевѣрно перекладывалъ разсказъ молодой женщины". И эти слова Пушкина, притомъ искаженные, послужили поводомъ къ обвиненію его: „говорить ли тамъ о правилахъ, заключаетъ критикъ „Литературныхъ Листковъ", гдѣ каждый стихъ, каждая черта обворожаютъ и заставляютъ забываться". Позднѣе Булгаринъ лично заступился за Пушкина съ безпристрастіемъ, объявивъ себя ни классикомъ, ни романтикомъ, привавивъ свои редакторскія замѣчанія къ статьѣ Олина, раскритиковавшаго „Бахчисарайскій фонтанъ" за недостатки въ планѣ, за отсутствіе характеровъ, завязки, возрастающаго интереса и развязки, наконецъ за Байронизмъ. Полемика по поводу Кавказскаго Плѣнника становилась настолько оживленной, что самъ авторъ въ „Сынѣ Отечества" заступился за кн. Вяземскаго и отмѣтилъ „несправедливость и непристойность" критическихъ статей по поводу его сочиненій. Оставляя въ сторонѣ все временное въ этихъ спорахъ, можно отмѣтить только, что Пушкинъ сдѣлался главнымъ предметомъ борьбы партій, классиковъ и романтиковъ, старой партіи и новой.

Въ 1824 году, въ 4 № „Литературныхъ Листковъ" появилось слѣдующее первое извѣстіе о новомъ труде А. С. Пушкина, привлекшемъ такое вниманіе читателей и критики: „Одинъ просвѣщенный любитель словесности писалъ къ намъ изъ Киева, что поэма *Онѣгінъ* есть лучшее произведение неподражаемаго Пушкина. Мы просимъ извиненія у почтенного автора, что безъ его вѣдома осмѣлигаемся помѣстить нѣсколько стиховъ изъ *Онѣгина*, которые завезены сюда въ умѣ и продиктованы наизусть, а потому, можетъ быть, и съ ошиб-

ками, по крайней мѣрѣ для насъ непримѣтными". Первая глава „Евгения Онѣгина“, появившаяся въ 1825 г., нашла себѣ истолкователя въ критикѣ Полевомъ (Московскій Телеграфъ 1825 г.), который сравнилъ Пушкина съ Байрономъ, причемъ отмѣтилъ и самостоятельность русскаго поэта. Въ первой же рецензіи Полевой выставилъ превосходство „Евгения Онѣгина“ передъ шуточными русскими поэмами прежнихъ сочинителей: „Поэтъ освѣщаетъ передъ нами общество и человѣка: герой его—шалунъ съ умомъ; вѣтренникъ съ сердцемъ.. онъ не скопированъ съ Французскаго или Англійскаго. Мы видимъ свое, слышимъ свои родныя поговорки, смотримъ на свои при奇уды, которыхъ всѣ мы не чужды были вѣвѣогда“. Когда въ пространной критикѣ „Сына Отечества“ старались принизить Пушкина, Полевой снова сталъ доказывать его самостоятельность и народность. Послѣдній взглядъ такъ интересенъ, что мы приведемъ выдержку изъ критики Полевого: „надобно думать, что Г-въ (критикѣ въ „Сынѣ От.“) полагаетъ народность русскую въ русскихъ черевицахъ, лаптяхъ и бородахъ, и тогда только назвалъ бы Онѣгина народнымъ, когда на сценѣ представился бы русскій мужикъ, съ русскими поговорками, побасенками, и проч.!—Народность бываетъ не въ одномъ низшемъ классѣ: печать ея видна на всѣхъ званіяхъ и вездѣ. Наши богачи подражаютъ французамъ, Петербургъ болѣе всѣхъ русскихъ городовъ похожъ на иностранный городъ; но и въ быту богачей и въ Петербургѣ никакой иностранецъ совершенно не забудется, всегда увидить предметы, напоминающіе ему Руслану: такъ и въ Онѣгинѣ. Общество, куда поставилъ своего героя Пушкинъ, мало представляетъ отпечатковъ Русскаго народнаго быта, но всѣ сіи отпечатки подмѣчены и выражены съ удивительнымъ искусствомъ. Ссылаюсь на описание Петербургскаго театра, воспитаніе Онѣгина, поѣздку къ Талону, похороны дяди, не исчисляя множества другихъ чертъ народности“. „Московскій Телеграфъ“ Полевого продолжалъ защиту Пушкина и романтизма по поводу дальнѣйшаго появленія Евгения Онѣгина.

Каждая новая глава „Евгения Онѣгина“ привѣтствовалась обшимъ восторгомъ журналовъ, свидѣтельствовавшихъ о быстротѣ творчества Пушкина, о распространенности его произведеній въ публикѣ, которая запоминаетъ наизусть и повторяетъ при всякомъ случаѣ сладкозвучные стихи поэта. При появленіи первыхъ главъ распространялись слухи, что вся поэма-романъ будетъ состоять изъ 20—25 главъ. Такъ Московскій Вѣстникъ 1828 года сообщалъ по поводу 4 и 5

пѣсень Евгения Онѣгина: „4 и 5 пѣсни Онѣгина составляютъ въ Москвѣ общий предметъ разговоровъ: и женщины, и девушки, и литераторы и свѣтскіе люди, встрѣтясь, начинаютъ другъ друга спрашивать: читали ли вы Онѣгина, какъ вамъ нравятся новыя пѣсни, какова Таня, какова Ольга, каковъ Ленскій“. Однако недоговорки Пушкина, игривый и субъективный тонъ изложенія вызывали недоумѣнія и осужденія. Таковъ былъ отзывъ „Атенеи“ 1828 г., по поводу 4 и 5 пѣсень Онѣгина. Съ мелкими придирками къ точности понятій критикъ соединялъ заключенія объ отсутствіи въ Онѣгинѣ достоинствъ внѣшнихъ и внутреннихъ: ни характеровъ, ни дѣйствія, ни изложенія, ни занимательности не видѣлъ онъ въ прославляемомъ другими журналами романѣ Пушкина. Московскій Телеграфъ сравнилъ эту критику съ нападками журналовъ 1820 г. на Руслана и Людмилу, которая въ 1825 г.оказались уже забавными. И странно—поклонники Пушкина снова заговорили, при появлѣніи второго изданія Руслана и Людмилы въ 1828 г., о его превосходствѣ передъ всѣми послѣдующими сочиненіями Пушкина.

Въ сборникѣ г. Зелинского „Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина“ (ч. II, стр. 112—125) не отмѣчено необходимое и извѣстное указаніе, что статья въ Московскому Вѣстнику 1828 г. „Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина“ принадлежить И. В. Кирѣевскому (см. Полное собраніе сочиненій Ивана Васильевича Кирѣевскаго, т. I, 1861 г., стр. 5—18). Статья эта выдѣляется изъ ряда севременныхъ критикъ—серіознымъ направленіемъ: въ ней нѣтъ придирокъ къ отдельнымъ выраженіямъ и голословныхъ порицаній или похвалъ, вѣтъ многословія о романтической поэзіи и Байронѣ. Вместо того, критикъ, признавая Пушкина первокласснымъ русскимъ поэтомъ, рассматриваетъ его произведенія по тремъ periodамъ развитія, различающимся другъ отъ друга. Первый periodъ поэзіи Пушкина, къ которому Кирѣевскій относитъ Руслана и нѣкоторые изъ мелкихъ стихотвореній, характеризуется вліяніемъ школы итальянско-французской: Парни и Аріоста. Русланъ вылился законченno, полно,—въ блестящихъ, свѣтлыхъ краскахъ, какъ легкая шутка, дитя веселости и остроумія. Кирѣевскій думаетъ, что и самые приступы къ пѣснямъ (Руслана) заняты у пѣвца Іоанна (но въ „Сочиненіяхъ“ Кирѣевскаго читаемъ „Іоанна“ стр. 8, I т. непростительный недосмотръ г. Зелинского: вѣдь по его опечаткѣ можно заключить, что Пушкинъ подражалъ Хераскову, а по изданію Ко-

шелева—Жуковскому). Въ первомъ періодѣ Пушкинъ поэтъ—творецъ, во второмъ періодѣ—подражатель Байрона, поэтъ-философъ. Второй періодъ начинается „Кавказскимъ Плѣнникомъ“: въ немъ нѣть уже довѣрчивости къ судьбѣ Руслана; но нѣть еще презрѣнія къ человѣку Онѣгина. Противорѣчія и обманутыя надежды въ цѣломъ мірѣ, отсутствіе въ человѣчествѣ высокаго, присущи убѣжденіямъ Плѣнника, какъ и разочарованіемъ героямъ Байрона. По поводу болѣе совершенного произведенія „Бахчисарайскаго Фонтана“ Кирѣевскій высказываетъ общее сужденіе о Байроновскомъ родѣ поэзіи: „вообще, видимый беспорядокъ изложенія есть неотмѣнная принадлежность Байроновскаго рода, но этотъ беспорядокъ есть только мнімый, и нестройное представлѣніе предметовъ отражается въ душѣ стройнымъ переходомъ ощущеній. Чтобы понять такого рода гармонію, надоѣно прислушиваться къ внутренней музикѣ чувствованій, рождающейся изъ впечатлѣній отъ описываемыхъ предметовъ, между тѣмъ какъ самые предметы служать здѣсь только орудіемъ, клавишами, ударяющими въ струны сердца“. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе Кирѣевскій отмѣчаетъ удаленіе отъ Байроновскихъ образцовъ у Пушкина и приближеніе къ самостоятельности и народности. Уже въ „Цыганахъ“ критикъ усматриваетъ эти новые черты развитія Пушкина и еще болѣе—въ „Евгениѣ Онѣгинѣ“. И не въ герой, не въ Онѣгинѣ Кирѣевскій видитъ самостоятельность, народность, а „въ постороннихъ описаніяхъ“. Евгений Онѣгинъ для Кирѣевскаго—пустой, ни къ чему неспособный, модный франтъ. Самобытная неотъемлемая собственность Пушкина заключается, по мнѣнію Кирѣевскаго, въ Ленскомъ, Татьянѣ, Ольгѣ, Петербургѣ, деревнѣ, снѣ, зимѣ, письмѣ и проч. Это черты третьаго періода поэзіи Русско-Пушкинской: въ Цыганахъ, Онѣгинѣ, въ Борисѣ Годуновѣ. Кирѣевскій очень высокоставилъ Пушкина и въ 1829 году не стѣснился назвать его представителемъ современной ему эпохи литературы, такимъ же образцомъ для подражателей какъ раньше въ XIX вѣкѣ были Карамзинъ и Жуковскій. Критикъ указываетъ на Подолинскаго съ его поэмой „Борскій“, какъ на подражателя Пушкина.

Къ концу 20-хъ годовъ Пушкинъ занялъ уже прочное мѣсто въ русской литературѣ: въ 1829 году явились двѣ части его Стихотвореній, привѣтствованныя какъ творенія геніального поэта (критики въ Московскомъ Телеграфѣ). Журналы, альманахи и изданія сочиненій Пушкина сопровождались портретами поэта, біографическими за-

мѣтками и обильными похвалами. Вотъ образчикъ критики „Полтавы“ 1829 г. въ Московскомъ Телеграфѣ (статья К. с. Полевого): „сей необыкновенный человѣкъ (Пушкинъ), еще въ самыхъ юныхъ лѣтахъ означеновавшій себя прекрасными стихотвореніями и какимъ то оригинальнымъ взглядомъ на предметы, тотчасъ обратилъ на себя общее вниманіе знаменитыхъ современниковъ, Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова. Можетъ быть, дружба съ послѣднимъ и раннее знакомство съ итальянскою поэзіею, ибо въ домѣ Пушкиныхъ итальянскій языкъ былъ въ употреблении, породили мысль о „Русланѣ и Людмилѣ“. Замѣчательно, что критикъ справедливо указалъ на несоответствіе поэмы Пушкина „превосходному образцу—Слову о Полку Игоревѣ“. Интересны также и слѣдующія замѣчанія Полевого: „Пушкинъ повторилъ собою всю исторію русской литературы. Воспитанный иностранцами, онъ переходилъ отъ одного направленія къ другому, пока наконецъ нашелъ тайну своей поэзіи въ духѣ своего отечества въ мірѣ русскомъ“. Однако „Полтава“ встрѣтила и нападки со стороны исторической достовѣрности. Первымъ журналомъ высказался въ этомъ смыслѣ „Сынъ Отечества“: за наругательство надъ Мазепой и Карломъ XII (Зелинскій II. 154—156). Гречъ и Булгаринъ выразили это даже въ такой фамильярной формѣ: „помилуйте, Александръ Сергеевичъ! Это ужъ вольность пітическая, черезъ край!“ И такъ Булгаринъ, Гречъ, Каченовскій въ „Вѣстникѣ Европы“ и „Атеней“ высказались противъ направленія Пушкина. Какъ чутко относилась критика 20-хъ годовъ къ Пушкину, свидѣтельствуетъ слѣдующее замѣчаніе о „Полтавѣ“ въ журнале „Галатея“ 1829 г.: „Почти всѣ журналы высказали свое мнѣніе о Полтавѣ. Еще молчать Атеней и Вѣстникъ Европы; но ихъ молчаніе краснорѣчиво для того, кто о будущемъ судить по прошедшему“. „Вѣстникъ Европы“ не преминулъ откликнуться въ статьѣ, напоминающей первый грозный разборъ Пушкинского Руслана, съ подписью статьи о „Полтавѣ“ 1829 г.—„съ Патріаршихъ прудовъ“. Естественно, что историческая поэма Пушкина должна была возбудить интересъ среди научныхъ специалистовъ, и въ Атеней одновременно появилась другая подробная статья о Полтавѣ московского профессора Максимовича. Остановимся подробнѣе на этихъ критикахъ Надеждина и Максимовича. Надеждинъ, вызвавшій суровыя эпиграммы Пушкина въ 1829 г. (II, 80—81) и вмѣсть на Каченовскаго—редактора „Вѣстника Европы“ (II, 75—80), прирѣвшійся личностью любопытнаго странника по

Москвѣ „съ Патріаршихъ прудовъ“, подслушавшаго разговоръ о „Полтавѣ“ Пушкина между Флюгеровскимъ—ярымъ поклонникомъ романтизма и Пушкина и незнакомцемъ—старикомъ, классикомъ—простымъ корректоромъ университетской типографіи. Сочувствіе классика—критика на сторонѣ старика корректора „Правдивина“. Надеждинъ придалъ необычную форму критикѣ. Въ рамку мѣстной Московской панорамы, представляющей сцены изъ произведеній Пушкина, онъ вставилъ разговоры обѣ эстетическомъ и историческомъ значеніи поэмъ Пушкина. Вотъ упреки, обращенные въ сторону этихъ поэмъ: его картины запачканы обыкновенно грязными пятнами; Русланъ представляетъ обиліе уродливыхъ гротесковъ, самыхъ смѣшныхъ каррикатуръ и въ остальныхъ произведеніяхъ проявляется привыча зубоскалить, въ выраженіяхъ много поддѣлки подъ народность, много своеолія. И снова заключеніе статьи съ вѣжливымъ обращеніемъ къ „Александру Сергѣевичу“, которому „голосъ истины будетъ пріятенъ“, а „безусловная похвала прискучили“. Въ „Атенеѣ“ 1829 г. появилась небольшая, но дѣльная критика „Полтавы“ проф. Максимовича, подъ заглавиемъ: „О поэмѣ Пушкина Полтава въ историческомъ отношенії“. Новый безпристрастный критикъ, читавшій „съ размысленіемъ Исторію Малороссіи“, находилъ несправедливыми нападки предшествующей критики на искаженія исторіи въ изображеніи характеровъ дѣйствующихъ лицъ и даже событий, въ которыхъ обвиняли Пушкина. „Очевидно, говорить Максимовичъ въ заключеніе свой статьи, что характеры дѣйствующихъ лицъ въ Поэмѣ Пушкина совершенно таковы, какими представляютъ ихъ исторія“. Все это показано критикомъ на провѣркѣ характера Мазепы.

Такова была критика двадцатыхъ годовъ, наполненная перебранками по поводу сочиненій А. С. Пушкина. Въ 1830 году стала выходить „Литературная Газета, издаваемая Барономъ Дельвигомъ“ (Спб.)—другомъ Пушкина, при участіи и полномъ сочувствіи поэта. Выберемъ нѣсколько замѣчаній о сочиненіяхъ Пушкина, составляющихъ даже предметъ обширной полемики по поводу личности геніального поэта, мечтавшаго создать органъ печати для читателей съ высшимъ литературнымъ вкусомъ—для аристократовъ, какъ опредѣляли современные писатели враждебнаго лагеря. Это было естественно, такъ какъ въ Литературной Газетѣ участвовали поклонники и подражатели А. С. Пушкина, какъ кн. Вяземскій, Погорѣльскій и др. Литературная Газета 1830 г. высказалась за „Полтаву“, какъ лучшую поэму

Пушкина (I т., 63), за благопристойность и беспристрастіе, несмотря на личные хотя-бы и враждебныя отношенія критиковъ, отдающихъ должное и врагамъ (слова самого А. С. Пушкина I, 98), за „благородную сатиру“ Пушкина въ Евгениѣ Онѣгина на „странныи, пороки, ошибки слабости“ нашего вѣка, поколѣнія, его чувствованій и надеждъ (I, 135), за непристойность „Учебной книги Русской Словесности“ (Греча), признавшей лучшимъ романомъ, при отсутствіи русскихъ романовъ вообще „Ивана Выжигина“ Булгарина (I, 146). Здѣсь мы должны остановиться въ выпискахъ отзывовъ о Пушкинѣ, чтобы сказать о полемикѣ Литературной Газеты съ „Сѣверной Пчелой“ Грече и Булгарина изъ-за Пушкина, вызвавшой извѣстное стихотвореніе поэта „Моя родословная“. Годъ 1830 былъ критическимъ въ жизни Пушкина. Разборъ „Исторіи Русскаго Народа“ Полевого, напечатанный Пушкинымъ въ Литературной Газетѣ, вызвалъ суровый отзывъ „Московскаго Телеграфа“ 1830 г. о Евгениѣ Онѣгинѣ, какъ слабомъ подражаніи Байрону съ растянутыми, повторяющими мыслями и замѣтками. „Галатея“ Раича также напала на VII главу Онѣгина; „Сѣверная Пчела“ присоединилась на долго къ этимъ зловѣщимъ развѣничаніямъ поэта и „знаменитыхъ“ именъ писателей. Выходки сатирическихъ писателей, какъ Байрона и его неудачного подражателя Пушкина, по мнѣнію Сѣверной Пчелы, означаютъ паденіе литературы. Кроме балагурства о пустякахъ, критики Пчелы увидали еще въ Онѣгинѣ заимствованія изъ Грибоѣдовскаго „Горе оть ума“ и „просимъ не погибѣваться, изъ другой извѣстной книги“. Литературная Газета тотчасъ же объяснила, что рѣчь идетъ объ Иванѣ Выжигинѣ (I, 61). Литературная Газета не убереглась отъ жестокой перебранки. Отражая Булгарина и Полевого—двухъ заправиль тогданий журналистики,—Газета коснулась вопроса о даровитыхъ и бездарныхъ писателяхъ, о литературной аристократіи—вопроса, какъ извѣстно, связанного съ стихотвореніями Пушкина о литературной „черни“, съ его статьями о значеніи поэзіи, дворянства, и проч. Между тѣмъ и „Иванѣ Выжигинѣ“, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, служилъ предметомъ сопоставленій Литературной Газеты съ Евгениемъ Онѣгінъмъ Пушкина: „хорошо близорукимъ критикамъ Сѣверной Пчелы полагать, говорила Газета въ іюнѣ 1830 г., что пѣсни Евгения Онѣгина бездѣлица, потому что въ нихъ нѣть шестистопныхъ стиховъ, что они не торжественные оды, что въ нихъ описываются простыя события ежедневной жизни“. Вѣдь „Иванъ Выжигинъ“

отличается „не связностью въ происшествіяхъ, блѣдностью, безличностью въ лицахъ“, разсказомъ холоднымъ, бездушнымъ, языкомъ безцвѣтнымъ, безъ признаковъ жизни. За „бѣдного моего Выжигина“ вступилъ Булгаринъ во второмъ письмѣ изъ Карлова на „Каменный Островъ“ (Сѣверная Пчела 1830 г. № 94), соединивъ нападки Литературной Газеты съ остротой надъ „Негромъ, купленнымъ шкиперомъ за бутылку рома“. „Думали ли тогда, выразился Булгаринъ, что къ этому Негру признается стихотворецъ!“ Пушкинъ отвѣталъ на эту брань эпиграммой „На Булгарина“ (II, 89, которая тотчасъ же была подхвачена въ рукописи и съ дерзостью напечатана въ Сынѣ Отечества самимъ Булгаринымъ) и „вольнымъ подражаніемъ лорду Байрону. Моя родославная, или русскій мѣщанинъ“:

„Смѣясь жестоко надъ собратомъ,  
„Писаки русскіе толпой  
„Меня зовутъ аристократомъ...  
„Видокъ Фигляринъ, сидя дома,  
„Рѣшилъ, что дѣдъ мой Ганнибалъ  
„Былъ купленъ за бутылку рома  
„И въ руки шкиперу попалъ.

Надеждинъ также не оставлялъ нападокъ на Пушкина во имя своей приверженности къ эстетикѣ классиковъ. Онъ по прежнему оставался при томъ убѣждени, что изъ Пушкина долженъ быть выработаться „русскій Аріосто“, если бы онъ держался „въ предѣлахъ эстетического благоразумія“ и если бы не „прикрывалъ романтическаго славой антиклассического невѣжества“. Надеждинъ намекалъ на то, что „безъ истиннаго образованія“ талантъ писателя выыхается, что у Пушкина подражательного таланта поэта хватаетъ только на картинки, расположенные безъ плана и расчитанные главнымъ образомъ на веселый смѣхъ. Это, говорилъ Надеждинъ „рѣзвое скаканіе разгульной фантазії“ Пушкина связано съ его усилиями придавать своему неподдѣльному таланту фальшивый блескъ, выворачивая природу наизнанку, представляя карикатуры пародіи. „Бориса Годунова“ Надеждинъ присуждалъ къ сожженію. Такъ высказался Надеждинъ въ шутливой формѣ разговора съ Тлѣнскимъ, ярымъ поклонникомъ Пушкина, въ эпоху журнального „ожесточенія“ противъ поэта: „превышающими всяку мѣру хвалебными взывами (рѣдкое

народное выражение) вы забросили его за облака и, не ссыльвъ поддержать тамъ,—уронили въ преисподнюю!“

Литературная Газета 1830 г. подняла вопросъ о высокихъ достоинствахъ „Бахчисарайскаго Фонтана“ (3 изд.) и „Бориса Годунова“ (I, № 22). Но мы приведемъ сначала отзывъ П. А. Катенина, которого мнѣнія цѣнить и самъ Пушкинъ, мелькомъ брошенный въ „Размышленіяхъ и Разборахъ“ (II, 43) о „Русланѣ и Людмилѣ“: аахронизмъ—недостатокъ, который „холодитъ Руслана и Людмилу вопреки обольщению стиховъ: читателю хочется того времени, того быта, тѣхъ повѣрій и лицъ; вокругъ ласковаго князя Владимира собирается онъ мысленно Илью Муромца, Алѣшу Поповича, Чурилу, Добрыню, мужиковъ Залѣшанъ, видеть ихъ сражающихся съ Соловьемъ разбойникомъ, съ Ягой—бабой, съ Кащеемъ безсмертнымъ, со Змѣемъ Горыничемъ, и, встрѣтя вмѣсто ихъ незнакомцевъ, не знаетъ, гдѣ онъ, и ничему не вѣритъ“.

Въ виду того, что одна изъ обширныхъ критикъ на „Бориса Годунова“ 1830 г. принадлежитъ автору „Руководства къ познанію истории литературы“ (1833 г.) Василію Плаксину, мы приведемъ два отзыва учебныхъ книгъ по русской словесности. Гречъ во 2 изданіи своей книги 1830 г. (IV, L: Краткая исторія русской литературы) далъ уклончивый отзывъ о Пушкинѣ: „Не смѣемъ произнести рѣшительное сужденіе о его характерѣ: юный орелъ еще не свершилъ половины своего полета... „безспорно (онъ) первый изъ нынѣшнихъ поэтовъ нашихъ“. Плаксинъ въ обширной статьѣ (Сынъ Отечества 1831 г.), по поводу „Бориса Годунова“, выразилъ односторонній взглядъ на Пушкина съ точки зрѣнія классической теоріи: „большая часть его поэмъ отличается бѣдностью содержанія, недостаткомъ единства идеи, цѣлости, поэтической истины, а часто смѣлость и удальство героеvъ замѣняютъ доблестъ“. Отсюда критикъ указывалъ даже вредное влияніе Пушкина въ нашей литературѣ. Отдавая должное нѣкоторымъ сценамъ драмы Пушкина критикъ болѣе всего указываетъ въ ней отступленій отъ ложноклассической теоріи. Это были послѣдніе звуки замирающаго школьнаго классицизма. Тридцатые годы—годы дѣятельности Пушкина—ознаменовались расцвѣтомъ русской критики. Надеждинъ, Полевой и Бѣлинскій поставили русскую литературную критику на недосыгаемую высоту, немыслимую въ предшествующее время русской литературы. Пушкинъ отзывчивый на всѣ явленія литературы принялъ участіе въ критикѣ и въ журналистикѣ своего времени. Но

„аристократическая“ Литературная Газета не прожила болѣе года, Пушкинскій „Современникъ“, 1836 г. тоже не могъ дать направлѣнія русской критикѣ. Однако русская критика тридцатыхъ годовъ продолжала заниматься вопросами о достоинствѣ сочиненій Пушкина, и находила свои требованія, свои основанія въ томъ или иномъ отношеніи, именно къ Пушкину. Самый коренной вопросъ русской критики тридцатыхъ годовъ—о самобытности, о народности сочиненій русскихъ писателей и особенно Пушкина вызванъ былъ поэзіей А. С. Пушкина и безъ него не имѣлъ достаточныхъ основаній.

Въ 1832 г. Надеждинъ видѣлъ паденіе таланта Пушкина и не признавалъ за нимъ правъ на название русского народного поэта, такъ какъ „его народность ограничивалась тѣснымъ кругомъ нашихъ гостинныхъ, гдѣ русская богатая природа вылощена подражательностью до совершенного безличія и бездушія“. Полевой, повторяя ирежнія свои похвалы Пушкину, разбиралъ его сочиненія, какъ вполнѣ законченный и выразившійся уже въ 1833 г. видъ русской поэзіи, не самобытной, а слѣдственно и не вполнѣ народной. Критика Надеждина и Полевого, небольшая замѣчательная статья Кирѣевскаго, подготовили первое вѣкское выраженіе новой исторической критики Бѣлинскаго—1834 г. „Литературная мечтанія“. Теперь Пушкинъ и его періодъ литературной дѣятельности соединены были въ цѣлую цѣль развитія русской литературы отъ Тредьяковскаго и Ломоносова. Бѣлинскій и по смерти Пушкина возвращался съ новой силой къ первому своему историческому сопоставленію Пушкина съ русскими писателями XVIII—XIX вв., завершившемуся капитальными разборами 1841—42 гг. Вотъ что говорилъ Бѣлинскій въ первой статьѣ своей 1834 г., въ Молвѣ: „Пушкинскій періодъ былъ самымъ цвѣтующимъ временемъ нашей словесности. Его надобно-бѣ было обозрѣть исторически и въ хронологическомъ порядке... Можно сказать утвердительно, что тогда мы имѣли если не литературу, то, по крайней мѣрѣ, призракъ литературы; ибо тогда было въ ней движеніе, жизнь и даже какая-то постепенность въ развитіи“. Бѣлинскій примкнулъ къ общему голосу критики тридцатыхъ годовъ, что „Пушкинъ 1834 года не то, что былъ Пушкинъ въ 1829 г. “ Оттого новый критикъ допускалъ шутя даже два новыхъ періода послѣ Пушкинского, называя одинъ изъ этихъ періодовъ „прозаическо-народнымъ“. Рѣчь, конечно, идетъ о Гоголѣ, о которомъ въ слѣдующемъ же году 1835 Бѣлинскій написалъ большую статью, подъ названіемъ „О русской повѣсти и повѣ-

стахъ Гоголя", въ которой указалъ къ Гоголь—преемника Пушкину, нового главу поэтовъ. Въ маленькой статьѣ 1835 г.—о „Повѣстяхъ“ Пушкина Бѣлинскій сказалъ, что „онъ не художественныя созданія, а просто сказки и побасенки“ и какъ бы совѣтовалъ поэту приняться за историческій романъ. Такой же „закать таланта“ критикъ отмѣтилъ въ 1836 г. по поводу четвертой части „Стихотвореній Александра Пушкина“. Вообще при жизни Пушкина Бѣлинскій, говоря при удобномъ и неудобномъ случаѣ о великомъ поэты, только и отмѣчалъ, что Пушкинъ уже пережилъ себя, что у него еще сохранилось „одно умѣніе владѣть языкомъ и риѣмою“ (Сочиненія Бѣлинского II, 5·186 стр.). Вотъ приблизительно, каковы были отзывы критики о Пушкинѣ при его жизни.

Поэтъ при жизни много разъ высказывалъ свое отношеніе къ журнальнымъ похваламъ и порицаньямъ; но примиряющій безпристрастный взглядъ выраженъ имъ въ извѣстномъ мѣстѣ „Памятника“ 1836 г.:

Велѣнью Божію, о Муза, будь послушна:  
Обиды не страшись, не требуя вѣнца,  
Хвалу и клевету пріемли равнодушно  
И не оспаривай глупца.

„Черезъ двѣ недѣли послѣ смерти Пушкина“ въ 1837 г. Полевой написалъ горячую статью о гибели великаго русскаго поэта,— „великаго лирическаго поэта и цѣлнаго представителя своего современнаго отечества“. „Державинъ и Пушкинъ—оба вполнѣ выразили свой народъ“, но Пушкинъ—геній переходнаго вѣка. И это сравненіе повторилось въ критикѣ 40-хъ годовъ (напр., въ Библіотекѣ для Чтенія, въ Москвитянинѣ 1841 г., Зелинскій, часть 4, стр. 129, 260). Въ 1838 году Бѣлинскій уже началъ говорить о „мнимомъ періодѣ наденія таланта“ Пушкина (II, 321), о ёго „геніальной объективности въ высшей степени“ (414), напримѣръ, даже въ „Сказкѣ о Рыбакѣ и Рыбѣ“ (454), въ Каменномъ Гостѣ (III, 58). „Великій, неужели бевременная смерть твоя, говорилъ Бѣлинскій въ 1839 году, непремѣнно нужна была для того, чтобы мы разгадали, кто былъ ты?“ (59). Въ 1840 году критикъ ставитъ Пушкина выше просторусскаго поэта, признавая его „великимъ міровымъ поэтомъ“ (IV, 202). Мало по малу, критикъ добирается до процессы развитія поэтическаго творчества Пушкина. И вотъ, когда завершено было пер-

вое посмертное издание „Сочиненій“ поэта, въ 11 томахъ, 1838—1841 гг., Бѣлинскій выступилъ съ цѣлымъ рядомъ статей въ Отечественныхъ Запискахъ 1843—46 гг., образовавшимъ первую обширную монографію о Пушкинѣ, первый цѣнныій трудъ по исторіи русской поэзіи и вообще по исторіи русской литературы. Безъ преувеличенія можно сказать, что статьи Бѣлинского о Пушкинѣ, слившіяся въ цѣлый объемистый трудъ, представляютъ его лучшую литературную работу, по которой можно составить опредѣленное представление о критикѣ Бѣлинского вообще. Онъ признавалъ значеніе личности писателя для характеристики его произведеній, онъ открывалъ духъ времени въ сочиненіяхъ русскихъ писателей, слѣдилъ за измѣненіемъ направленій въ литературѣ; и, тѣмъ не менѣе, Бѣлинскій не останавливался на біографическихъ подробностяхъ, не высказывался даже за необходимость ихъ изученія, ограничивая свою задачу изслѣдованія личности писателя внимательнымъ пересмотромъ общихъ воззрѣній поэта, критика. Вотъ его замѣчаніе, вызывающее ожиданія біографическихъ разысканій: „Пушкинъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тѣмъ, что по его произведеніямъ можно слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его не только какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣка и характера“ (VIII<sup>5</sup>, 308 стр.). Точно также Бѣлинскій не углублялся и въ историческія отношенія времени писателя, въ непосредственное взаимодѣйствіе русской и иностранныхъ литературъ. Таковы недостатки исторической критики Бѣлинского. Но за то въ критикѣ Пушкина и его предшественниковъ Бѣлинскій свелъ все, что можно было извлечь изъ непосредственного знакомства съ русскими поэтами. Пушкинъ явился у него, какъ завершеніе цѣлой исторіи русской литературы, русской поэзіи. Въ виду высокаго значенія критики Бѣлинского, самаго живого истолкователя Пушкина,—человѣка, пережившаго Пушкинскій періодъ, развивавшагося подъ его вліяніемъ, мы остановимся подробнѣе на статьяхъ его, входящихъ въ т. н. восьмой томъ прежняго издания Сочиненій Бѣлинского.

Опредѣляя въ разныхъ мѣстахъ одиннадцати (11) главъ, своего труда задачи работы, Бѣлинскій, заканчивая обзоръ предшественниковъ Пушкина, такъ говорить о своей цѣли: „предлагаемая статья есть не что иное, какъ только введеніе въ статьи собственно о Пушкинѣ. Мы имѣли въ виду показать историческую связь Пушкинской поэзіи съ поэзіею предшествовавшихъ ему мастеровъ... Задуманный

и начатый нами рядъ статей нисколько не принадлежить къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальныхъ критикъ; это скорѣе обширная критическая исторія русской поэзіи, а такой трудъ не можетъ быть совершенъ на скоро и какъ нибудь, но требуетъ изученія, обдуманности, и труда, и времени... Оцѣнить критически такого поэта, какъ Пушкинъ—трудъ немаловажный, тѣмъ болѣе, что о немъ мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдѣльными мѣстами и частностями, или нападали на частные недостатки,—и потому охарактеризовать особенность поэзіи Пушкина, опредѣлить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и послѣдовавшими ему поэтами—значить предпринять трудъ совершенно новый” (VIII, 336—337 стр.).

Бѣлинскій не совершилъ всего этого громаднаго труда, обозрѣвъ только предшественниковъ Пушкина и хронологически его сочиненія, предпочитая такой методъ разбору по видамъ и родамъ поэзіи. Задачи критики, свои пріемы Бѣлинскій опредѣляетъ подробнѣ въ со-поставленіи съ предшественниками. Первые русскіе критики, како-ыми Бѣлинскій признаетъ Карамзина (разобравшаго сочиненія Богдановича) и Макарова (—критика сочиненій Дмитріева), обращали вниманіе на частности поэтическаго произведенія безъ отношенія ихъ къ цѣлому, выписывали лучшія или худшія мѣста, восхищались ими или осуждали ихъ, какъ стилисты. Новый періодъ русской критики начинается съ Мерзлякова, который, хотя и основывался на устарѣлыхъ авторитетахъ ложно-классиковъ теоретиковъ, въ родѣ Баттѣ, Эшенбурга, однако разсматривалъ завязку и изложеніе цѣлаго сочиненія, говорилъ о духѣ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Съ двадцатыхъ годовъ (т. е. съ критики Полевого) критика русская заговорила о народности, о требованіяхъ вѣка, о романтизмѣ, о творчествѣ и тому подобныхъ вещахъ. Эта романтическая критика подорвала ложно-классическія основы и авторитеты, въ родѣ Сумарокова, Хераскова, Дмитріева и друг., возвысивъ Ломоносова, Державина, Фонвизина, Крылова. Однако, романтическая критика не поняла Пушкина и его современниковъ. Такжѣ отнеслась къ великому русскому поэту и эклектическая критика (съ конца двадцатыхъ годовъ, критика тридцатыхъ годовъ, т. е. Надеждина), опиравшаяся на эстетическихъ феоріяхъ, на германской философіи, на сравненіяхъ русскихъ писателей съ признанными міровыми геніями (Шиллеромъ,

Шекспиромъ, Байрономъ). Въ противоположность этимъ литературнымъ старовѣрамъ, сухимъ моралистамъ, черствымъ резонерамъ, Бѣлинскій такъ опредѣляетъ пріемы и основанія своей критики. Такого поэта, какъ Пушкинъ, должно изучить изъ него самого безпри-  
страстно, основательно, забывъ о чужеземныхъ геніяхъ, какъ Бай-  
ронъ, уловить въ многоразличіи и разнообразіи его произведеній тайну  
его личности, т. е. тѣ особности его духа, которыя принадлежать  
только ему одному. Разсматривая поэзію Пушкина, какъ цѣлый и  
особый мірь творчества, Бѣлинскій отыскиваетъ паѳосъ его поэзіи,  
опредѣляя художественную и нравственную стороны ея. Мы уже  
замѣтили выше, что Бѣлинскій ни словомъ не обмолвился о біографи-  
ческихъ фактахъ, связанныхъ такъ или иначе съ сочиненіями Пуш-  
кина. Даже изъ лирики величайшаго национальнаго поэта критикъ  
извлекъ только черты нравственной личности писателя, характери-  
зующія его сильную, живую, субъективную, высоко-гуманную натуру.  
Не могъ критикъ подробнѣе указать и на то, что онъ разумѣлъ подъ  
„генеалогическими предразсудками“ Пушкина. Если оставить въ сто-  
ронѣ эти недостатки критики Бѣлинскаго, присоединивъ къ нимъ  
незаконченность статей о Пушкинѣ, удивительное пренебреженіе къ  
повѣстямъ и прозаическимъ статьямъ поэта, въ томъ числѣ и къ Ка-  
питанской Дочкѣ, то все таки нельзя не войти въ подробности раз-  
сматриваемаго капитального труда, послѣ только что сдѣланныхъ  
общихъ замѣчаній. Уже изъ послѣднихъ слѣдуетъ, что Бѣлинскій  
признавалъ Пушкина первымъ самобытнымъ русскимъ поэтомъ. Не  
разъ повторялась въ литературѣ знаменитая фраза Бѣлинскаго: „Рус-  
ская поэзія—пересадокъ, а не туземный плодъ.. Русская литература  
есть не туземное, а пересадное растеніе“ (VIII<sup>б</sup>, 101, 363). И вотъ  
критикъ подробно разсуждаетъ о западно-европейскомъ классицизмѣ  
и романтизмѣ. Старые споры русской критики впервые находятъ  
трезвое обсужденіе въ приложеніи къ выдающимся русскимъ писа-  
телямъ XVIII—XIX вв., сочиненія которыхъ выступаютъ у Бѣлин-  
скаго въ живыхъ обстоятельныхъ очеркахъ. Дѣлая общія заключе-  
нія, съ своей точки зрѣнія, на относительныя достоинства и особенно  
на недостатки этихъ первыхъ русскихъ поэтовъ XVIII в., Бѣлинскій  
не забываетъ уравновѣшивать суровые приговоры критики снисходи-  
тельными и восторженными похвалами современниковъ. Не смотря на  
послѣднія въ примѣненіи къ Сумарокову и Хераскову, Бѣлинскій не  
задумывается поставить выше ихъ Ломоносова—перваго поэта Руси:

„только одинъ Державинъ былъ несравненно больше поэтъ, чѣмъ Ломоносовъ: до Державина же Ломоносову не было никакихъ соперниковъ“ (105 стр.). Это второй періодъ русской литературы съ Державинымъ, Фонвизинымъ, Хемницеромъ, Богдановичемъ и Капнистомъ. Разматривая вымиравшія формы русской литературы XVIII в., Бѣлинскій не совсѣмъ справедливъ въ отзывахъ о Майковѣ, и преувеличенно снисходителенъ къ поэтамъ Карамзинской школы. Не смотря на богатство и разнообразіе замѣчаній о значеніи Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, критикъ не могъ еще привести въ связь съ европейской литературой сочиненій Карамзина. Однако, сколько вѣрныхъ и фактически подтвержденныхъ замѣчаній объ отношеніи нѣкоторыхъ сочиненій Пушкина къ его предшественникамъ, напримѣръ, къ Державину (въ проблескахъ античности, въ картинахъ русской природы), Жуковскому и особенно—Батюшкову. И эту преемственность Бѣлинскій указываетъ въ сочиненіяхъ Карамзина и Жуковскаго. За послѣднимъ критикъ не признаетъ особеннаго значенія, выдѣляющагося изъ ряда русскихъ писателей: „періода, означенаго именемъ Жуковскаго, не было въ русской литературѣ“ (149). Не признаетъ Бѣлинскій и слѣдовъ народности въ поэзіи Жуковскаго. Но за то онъ ставить романтическаго русскаго поэта высоко, какъ непосредственнаго предшественника Пушкина, опиравшагося въ своихъ опредѣленныхъ, зрѣлыхъ произведеніяхъ на почву, подготовленную Жуковскимъ, открывшимъ впервые на Руси средневѣковую романтическую поэзію. И Бѣлинскій входитъ въ подробности объ европейскомъ романтизмѣ, и жизненныхъ основахъ этого болѣзненнаго явленія (стр. 248—249): „Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка, но и въ развитіи каждого народа и цѣлаго человѣчества... Мы, русские, позже другихъ вышедши на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поволѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ известную эпоху его жизни... Одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина“ (249). Точно такое же вліяніе, если не большее, Бѣлинскій указываетъ и въ поэзіи Батюшкова, напримѣръ, въ повтореніи Пушкиннымъ въ стихотвореніи „Зима“ 1829 г. антологического стихотво-

ренія Батюшкова VII (стр. 254). Отсюда и изъ другихъ примѣровъ критикъ выводить заключеніе, что „Батюшковъ былъ учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имѣлъ на него такое сильное вліяніе, онъ передалъ ему почти готовый стихъ“ (269). Строгій критикъ сурово отзывается о литературныхъ замѣчаніяхъ Батюшкова въ статьѣ „О легкой поэзіи“ на Руси.

Насколько внимательно изучалъ Бѣлинскій сочиненія Пушкина можно судить уже потому, что, находя безобразнымъ порядокъ расположения сочиненій поэта въ изданіи 1838—41 гг., онъ обратился къ изданіямъ, выходившимъ при жизни поэта (309 стр.). Руководствуясь строго хронологическимъ порядкомъ появленія сочиненій Пушкина, Бѣлинскій рассматриваетъ сначала „лицейскія“ стихотворенія, составляющія IX томъ изданія 1841 г., затѣмъ лирическія произведенія послѣдующихъ годовъ, поэмы, по мѣрѣ ихъ появленія, Евгенія Онѣгина, Бориса Годунова и другія произведенія. Въ лицейскихъ стихотвореніяхъ критикъ указываетъ не только вліянія предшествующихъ поэтовъ, но и проблески оригинальности и самостоятельности. Съ 1819 года начинаются самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина, въ которыхъ критикъ отмѣчаетъ совершенство формы, стиха, простоту, естественность въ изображеніи русской природы, дѣйствительности. И здѣсь Бѣлинскій приводитъ большія выдержки изъ статьи Гоголя 1832 г. „Нѣсколько словъ о Пушкинѣ“. Замѣчательно, какъ смотритъ критикъ на извѣстныя эпиграммы и сатиры поэта первого Петербургскаго периода: „основываясь на какомъ-нибудь десяткѣ ходившихъ по рукамъ его стихотвореній, исполненныхъ громкихъ и смѣлыхъ, но тѣмъ не менѣе неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видѣть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было бы болѣе ошибиться во мнѣніи о человѣкѣ!. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринѣ“. Естественно, что лирика Пушкина даетъ Бѣлинскому возможность сдѣлать интересные выводы о натурѣ, о личности Пушкина: „натура его была внутренняя, созерцательная, художническая“ (390 стр.). Въ противоположность первымъ критикамъ Пушкина, Бѣлинскій считаетъ Пушкина нравственнымъ поэтомъ болѣе всѣхъ остальныхъ, воспитателемъ и образователемъ юнаго, высокаго и гуманнаго чувства. Поэзіи его Бѣлинскій приписывалъ изящную элейность, кротость, глубину и возвышенность. И вотъ тутъ же Бѣлинскій рѣшаешьъ вопросъ, возбужденный критикой тридцатыхъ годовъ, о паденіи таланта, о причинахъ

охлажденія къ Пушкину того восторга, который возбудили первыя его произведенія: „онъ не паль, а только сдѣлялся самимъ собой...; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современного европейскаго образованія... были причиною постепеннаго охлажденія“ (400 стр.). Послѣднія произведенія поэта Бѣлинскій естественно считаетъ болѣе совершенными, чѣмъ всѣ предшествующія. Точно также и въ развитіи поэмъ критикъ усматриваетъ постепенность. Въ Русланѣ и Людмилѣ—фантастической сказкѣ—нѣть ни исторіи, ни народности: „вѣроятно, Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писалъ Руслана и Людмилу“. Иначе, онъ не могъ бы не увлечься духомъ народно-русской поэзіи, и тогда его поэма имѣла бы, по крайней мѣрѣ, достоинство сказки въ русско-народномъ духѣ и притомъ написанной прекрасными стихами“ (424). Точно также, со стороны развитія характеровъ, несовершенными кажутся критику всѣ слѣдующія поэмы и первыя шесть главъ Евгенія Онѣгина. И только съ Бориса Годунова начинаются безукоризненные произведенія со стороны художественной формы (473). И Борису Годунову, и Евгению Онѣгину критикъ посвящаетъ цѣлый двѣ главы. Особенно высоко Бѣлинскій ставитъ Онѣгина—эту энциклопедію русской жизни (603), картину русского общества, это національно-художественное произведеніе. Много вниманія и самого тонкаго анализа посвящаетъ критикъ объясненію характеровъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, особенно Татьяны. Въ лицѣ Татьяны Пушкинъ первый поэтически воспроизвелъ русскую женщину, натуру глубокую и сильную, типъ русской женщины. При всей подкупающей цѣльности ея натуры Бѣлинскій не скрылъ и того впечатлѣнія, какое возбуждаетъ Татьяна въ читателѣ, разматривающая рядомъ съ эгоистической натурой Онѣгина: „созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время неразвитое, на-глухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуального существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуй, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красотѣ, но подобною египетской статуй, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенно нѣымъ существомъ“ (587). Въ Борисѣ Годуновѣ рядомъ съ огромными недостатками Бѣлинскій указалъ необыкновенную художественную высоту. Соглашаясь съ предшествующими критиками, Бѣлинскій упрекаетъ Пушкина за рабское отношеніе къ Карамзину:

онъ не вѣритъ ни въ величіе Бориса, ни въ его преступленіе—умышленное убійство царевича Димитрія. Необыкновенно высоко ставилъ Бѣлинскій „Каменного Гостя“ и все, что относится у Пушкина къ личности Петра Великаго. Итакъ, по Бѣлинскому, въ сочиненіяхъ Пушкина заключаются двѣ стороны: одна—прходящая, историческая, представляющая отраженіе времени Пушкина въ его сочиненіяхъ, въ его воззрѣніяхъ, какъ сына своего вѣка, другая сторона—переходящая въ будущее, въ постоянное значеніе Пушкина, какъ величайшаго русскаго поэта, имѣющаго громадное эстетическое, литературное и нравственное значеніе. „Съ Пушкинымъ, заключилъ Бѣлинскій, русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ“.

Критика Бѣлинскаго, не смотря на ея неполноту, неравномѣрность въ разборѣ сочиненій Пушкина, сдѣлалась надолго руководящимъ направлениемъ. Такъ ее вполнѣ принялъ авторъ „Очерковъ Гоголевскаго периода русской литературы“ (Современникъ 1855—57 гг. Чернышевскій). Сущность этого воззрѣнія—болѣе опредѣленно проведенного, такъ какъ въ статьяхъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ усматривались нѣкоторыя отличія въ оцѣнкѣ, сводится къ слѣдующимъ положеніямъ: Гоголь, а не Пушкинъ долженъ считаться главой новаго прозаического (т. н. натурального или критического) направленія новѣйшей русской литературы, сатирическое направлениe Пушкина незначительно (Евгений Онѣгинъ относится къ сатирическимъ произведеніямъ), въ виду того, что вообще Пушкинъ стоялъ въ какого-либо опредѣленного направлениѣ, школы, будучи художникомъ формы, стиха, его самыми выдающимися произведеніями являются кроме Евгения Онѣгина сочиненія послѣднихъ годовъ—Каменный Гость, Русалка, Мѣдный Всадникъ, и друг. Мы увидимъ естественный односторонній выводъ критики 60-хъ годовъ изъ этихъ посылокъ Бѣлинскаго, въ которыхъ вся сущность вращалась на нравственной оцѣнкѣ герояевъ Пушкина, его воззрѣній, чувствъ и мыслей въ мелкихъ произведеніяхъ.

Бѣлинскаго нельзя строго судить за невниманіе къ фактамъ біографіи Пушкина. Достаточно того, что онъ первый указалъ потребность въ новомъ лучшемъ изданіи сочиненій величайшаго русскаго поэта. Фактическія свѣдѣнія о Пушкинѣ стали собирать только съ 50-хъ годовъ, аранжировались такими характеристиками личности поэта, какую далъ, напримѣръ, въ 1838 г. Плетневъ (въ Со-

временникъ, см. въ сочиненіяхъ П. А. Плетнева, 1885 г. I т., 364—386 стр.), посвятившій свою небольшую статью не столько біографії Пушкина, сколько разсужденіямъ о поэзіи, о талантѣ, о критическомъ достоинствѣ произведеній поэта. Между тѣмъ Плетневъ владѣлъ письмами Пушкина, зналъ и обстановку поэта и отношение къ нему публики. Какъ интересны, напримѣръ, слѣдующія замѣчанія, оброненныя Плетневымъ: „много было журнальныхъ толковъ во время око о новой поэмѣ (Русланъ и Людмила). Всѣ они, какъ ведется въ журналахъ, не касаются существенного въ искусствѣ. Одни обращены на событіе, другіе на рифмы, третьи на фразы, четвертые на шутки, и т. д. Никто не замѣтилъ, что это была первая на русскомъ языкѣ поэма, которую всѣ прочитали, забывши, что до сихъ поръ поэма и скука значили одно и то же“... „Онѣгінъ то отрывками, то стихами, то фразами перешелъ во всенародныя поговорки, остроты и пословицы. Пока авторъ не издалъ его вполнѣ, отдѣльные главы составляли выгодный промыселъ досужихъ и смѣтливыхъ переписчиковъ, продававшихъ тетрадки ихъ въ столицахъ и внутри Россіи по ярмаркамъ“. Въ такомъ же родѣ и замѣчанія Плетнева, о частной жизни поэта, придающія маленькой статейкѣ значеніе свидѣтельства одного изъ современниковъ, значеніе источника.

Отзызы старой критики о Пушкинѣ до статей Бѣлинскаго 40-хъ годовъ, борьба изъ-за Пушкина при его жизни занимали долго вниманіе русской литературы пятидесятыхъ годовъ. Такъ этого вопроса касается Гаевскій въ статьяхъ о Дельвигѣ (Современникъ 1854 г.), Чернышевскій и друг. Но еще болѣе выступили теперь вопросы о жизни и дѣятельности Пушкина въ небольшихъ статьяхъ Гаевскаго, Бартенева, Лонгинова и въ первомъ хорошемъ изданіи „Сочиненій Пушкина, съ приложеніемъ материаловъ для его біографіи и оцѣнки произведеній“ П. В. Анненкова (1855—57, 7 томовъ). Въ рукахъ нового издателя и первого біографа поэта находились почти всѣ черновыя бумаги Пушкина и большая часть его писемъ<sup>1)</sup>). Это было цѣнное приобрѣтеніе русской литературы, вызвавшее множество критическихъ статей и частныхъ замѣтокъ. Первымъ откликнулся Гаев-

<sup>1)</sup> Въ 1851 году жена Пушкина, во второмъ бракѣ Ланская, передала, по денежному условію, всѣ бумаги своего первого мужа поэта и право изданія его сочиненій П. В. Анненкову. Къ этимъ важнѣйшимъ материаламъ издаватель присоединилъ еще собранныя имъ воспоминанія о Пушкинѣ отъ его родственниковъ (брата, сестры и друг.) и друзей.

скій, авторъ изслѣдованія о Дельвигѣ (Отечеств. Записки 1855 г., юнь, отд. III). Похваливъ изданіе Анненкова, въ виду недостатковъ прежнихъ изданій сочиненій Пушкина, выражавшихся въ произвольномъ размѣщеніи, въ неполнотѣ, въ искаженіи текста, Гаевскій указалъ существенные недостатки въ изложеніи собственно біографіи поэта, напримѣръ, о родственникахъ его, о дѣтствѣ, о лицейской жизни, и проч. „Въ замѣнѣ біографическихъ подробностей, говорить Гаевскій (69 стр.), г. Анненковъ представляетъ множество новыхъ фактовъ для изученія литературной дѣятельности Пушкина, знакомить читателей съ исторіею его произведеній, съ приготовительными къ нимъ работами и въ высшей степени любопытными пріемами его поэтическаго творчества“. Упрекая Анненкова за отсутствіе, или вѣрнѣе—незначительность собственно-біографическихъ фактовъ, Гаевскій указываетъ на интересъ, представляемый статьями г. Бартенева о родѣ, дѣтствѣ и другихъ фактахъ изъ жизни А. С. Пушкина (1853 и 1854 гг. Отеч. Зап., Москов. Вѣд.). Другой критикъ въ Современникѣ 1855 г. (т. XLIX—LII) коснулся личности поэта и отношенія къ нему критики. Этотъ благосклонный къ Анненкову критикъ, едва ли не Чернышевскій, высказалъ полное согласіе о значеніи біографическихъ фактовъ для объясненія отдѣльныхъ произведеній Пушкина и пытался обобщить нѣкоторыя стороны въ міросозерцаніи поэта. Чернышевскій не развивалъ, не доказывалъ, но замѣчалъ, что Пушкинъ „не былъ поэтомъ какого-нибудь определенного воззрѣнія на жизнь, какъ Байронъ, не былъ даже поэтомъ мысли вообще, какъ Гете и Шиллеръ“. Съ этимъ мнѣніемъ соглашается и современный намъ изслѣдователь, Алексѣй Никол. Веселовскій (журналъ „Жизнь“ 1899 г., май, стр. 119; приводимъ выдержку изъ критич. статей Чернышевскаго 1893 г. по цитатѣ проф. Веселовскаго). Еще болѣе значенія имѣть въ этомъ отношеніи вполнѣ сочувственная Пушкину критика Дружинина (1855 г. въ Собраниі сочиненій А. В. Дружинина VII т., 30—82), интересная по сопоставленіямъ нашего поэта съ западно-европейскими, причемъ критикъ считаетъ Пушкина почти ничѣмъ не уступающимъ великимъ европейскимъ поэтамъ. Какъ оригинальны выводы Дружинина можно судить изъ слѣдующаго: „изъ бесѣды своей съ классиками Франціи Александръ Сергеевичъ вынесъ, кроме поклоненія особѣ Буало, нѣсколько началь, впослѣдствіи имъ расширенныхъ и примѣненныхъ къ дѣлу—какъ то: сдержанность, осторожность поэзіи, уваженіе къ своимъ предшественникамъ, опре-

дѣленность въ своемъ критическомъ взглѣдѣ на искусство” (37 стр.). „Уступая Байронову „Донъ-Жуану” (Евгений Онѣгинъ) во многихъ частностяхъ, на сколько превосходитъ онъ эту великую поэму по своей стройности, внѣшней занимательности, мастерскому сочетанію рассказа съ лиризмомъ, неожиданностью развязки, своему вліянію на любопытство читателя?” (65). „Вполнѣ сознавая, заключаетъ свою интересную статью Дружининъ, что въ Пушкинѣ готовился поэтъ европейскій, что ранняя смерть отняла у него мѣсто возлѣ Данта, Шекспира и Мильтона, мы не желаемъ унижать и того, что уже было сдѣлано нашимъ начинаящимъ Пушкинымъ” (82 стр.). Къ 1855 году относится рѣчь казанского профессора Н. Н. Булича, подъ заглавиемъ: „Значеніе Пушкина въ исторіи русской литературы” (введеніе въ изученіе его сочиненій), представляющая разборъ предшественниковъ Пушкина. „Въ наше время, говорилъ Буличъ, много критиковъ вооружаются противъ исключительной художественности въ созданіяхъ поэзіи; они хотятъ отъ нея служенія общему дѣлу развитія. Но не станемъ забывать, что поэзія, какъ и другія искусства, принадлежитъ къ особенному кругу созданій человѣческаго духа”. Сколько помнится намъ, въ современной журналистицѣ 50-хъ годовъ рѣчь проф. Булича вызывала ярыя нападки (напр., въ Современникѣ 1856 г. май, отд. IV, Библіографія). Но авторъ нигдѣ не далъ замѣтить о несправедливости этихъ нападокъ и, какъ увидимъ дальше, возвратился къ Пушкину въ 1887 году, въ новой рѣчи. Жаль, что не появлялась въ печати работа Булича, посвященная Пушкину, введеніе къ которой составляетъ рѣчь 1855 г., имѣющая еще другое значеніе, какъ откликъ на текущія события времени. Рѣчь проф. Булича, при всей ея отвлеченности, ближе къ критикѣ Бѣлинскаго, чѣмъ современная ей рѣчь проф. Ришелльевскаго Лицея, Зеленецкаго, напечатанная въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, часть LXXXV, 1855 года, стр. 217—246: „О художественно-национальномъ значеніи произведеній Пушкина”. Не придавая никакого значенія „Руслану и Людмилѣ, Русалкѣ, сказкамъ О рыбакѣ и рыбкѣ и друг.“, Зеленецкій только указываетъ художественно-национальное содержаніе такихъ піесъ, какъ „Телѣга жизни“, „Дорожныя жалобы“, „Зима“, „Пиръ Петра В.“, „Гусарь“, „Бѣсы“, „Капитанская дочка“ и проч.

Изъ журнальныхъ статей пятидесятыхъ годовъ, вызванныхъ изданиемъ Анненкова, замѣчательны статьи Каткова въ Русскомъ

Вѣстникъ 1856 г. Написанныя толково, живо и бойко, они касаются всего болѣе значенія Пушкина въ исторіи русскаго литературнаго языка и поэзіи, какъ искусства. И Катковъ стоитъ за общія положенія эстетики, высказываясь противъ оппозиціи всякой теоріи. Мы увидимъ, что оппозиція эта получитъ опредѣленное выраженіе въ статьяхъ Чернышевскаго, Писарева и друг. Катковъ разбираеть извѣстныя стихотворенія Пушкина о значеніи поэзіи и поэта, какъ жреца (Чернь и др.), и возстаетъ противъ романтическихъ возврѣній на безсознательность, на болѣзнь творческаго процесса. Напротивъ, критикъ признаетъ, что состояніе творчества есть состояніе здраваго и трезваго духа, что художникъ, какъ и мыслитель, сохраняетъ въ минуту дѣятельности всю свою умственную свободу, и что даже, напротивъ, такая минута есть въ человѣкѣ состояніе высшей внутренней ясности (Р. В. 1856 г., т. I, 161 стр.), „цѣльности сознанія“ (163), постиженія истины, какъ знанія, и творчества языка, литературной формы, какъ красоты. Отсюда, вдохновеніе есть только творческое созерцаніе жизни и истины (308). Касается критикъ и вопроса, который въ статьяхъ Писарева получилъ рѣзкое выраженіе. „Требуйте, говорить Катковъ (313), отъ искусства прежде всего истины; требуйте, чтобы художественная мысль уловляла существенную связь явлений и приводила къ общему сознанію все то, что творится и дѣется во мракѣ жизни; требуйте этого, и польза приложится сама собою, польза великая, ибо чего же лучше, если жизнь пріобрѣтаетъ свѣтъ, а сознаніе— силу и господство?“ Итакъ, Катковъ принялъ теорію великаго поэта о свободѣ творчества; однако, критикъ не увлекся безусловнымъ поклоненіемъ Пушкину, признавая за нимъ главное значеніе, какъ художника и великаго объединителя въ области русскаго слова. Въ такомъ смыслѣ подчиненія русской народности, какъ культурной силѣ, разнообразныхъ племенъ, населяющихъ Россію, Катковъ растолковалъ извѣстные стихи „Памятника“ 1836 г. Особенностью Пушкинской поэзіи и какъ-бы ея недостаткомъ Катковъ считаетъ отсутствіе въ ней послѣдовательного развитія, сухость прозаического изложенія, увлеченіе лирикой, отдѣльными моментами, мгновеніемъ, искусственной формой стиха. „Капитанская Дочка, говоритъ Катковъ, изобилъная прекрасными частностями, не составляетъ опредѣленного и сильно организованного цѣлого. Въ разсказѣ нельзя не замѣтить той же самой сухости, которою страдаютъ всѣ прозаические опыты Пушкина. Изображенія либо слишкомъ

мелки, либо слишкомъ суммарны, слишкомъ общи. И здѣсь также мы не замѣчаемъ тѣхъ сильныхъ очертаній, которыя даютъ вамъ живого человѣка, или изображаютъ многосложную связь явленій жизни и быта" (т. II, 294). Здѣсь умѣстно привести выдержку изъ Отеч. Записокъ 1856 г., т. CVI, Отд. III, 78—79, по поводу статей Каткова: „отдадимъ полную справедливость автору, поставившему себѣ цѣлью по поводу новаго изданія сочиненій Пушкина, коснувшись общихъ вопросовъ эстетики, пересмотрѣть основныя понятія объ искусствѣ. Дѣйствительно, вопросъ о художествѣ слѣдовало поднять. Художественная критика (стр. 80: съ разбора Кронеберга „Макбета“ въ 20-хъ годахъ и еще болѣе съ половины 30-хъ годовъ, съ критики Пушкина и Гоголя), нѣкоторое время господствовавшая у насъ исключительно, не умерла (она и не можетъ умереть), а развѣ замерла. Сначала вытѣснила ее критика, обращавшая главное свое вниманіе на современные вопросы общества, иногда вовсе не литературные. Интересъ разбора сосредоточивался не на отношеніи поэтическаго произведенія къ требованіямъ искусства, а на согласіи или несогласіи его содержанія съ понятіями, критика объ идеалѣ общественнаго устройства. Въ первомъ случаѣ произносилось одобрение, во второмъ—осужденіе. Замѣтимъ, что эта точка зрѣнія производила весьма сильное и весьма полезное дѣйствіе на читателей, которые, признавая критеріумъ критики законнымъ, не требовали отъ нея другихъ основаній, ближайшихъ къ области литературы. Иногда ничтожная книжонка, которую легко было исключить даже изъ библіографическаго списка, представляла благопріятный случай поговорить о чёмъ нибудь очень дѣльномъ и важномъ. За то библіографія имѣла въ то время свое значеніе, какъ критика общественныхъ нравовъ, какъ толки о предметахъ, достойныхъ размышленія. Потомъ, съ установленіемъ понятій о литературѣ, какъ выраженіи общества, наступила критика историческая, показывавшая отношеніе словесныхъ произведеній къ современной имъ эпохѣ, къ состоянію народной жизни въ извѣстное время. Художественная критика не лишилась при этомъ ни своего существованія, ни своего назначенія: только въ ней принято соблюдать тотъ-же исторический методъ, на томъ основаніи, что—литературная теорія вообще, художественные въ особенности, подлежать также развитію и, слѣдовательно, также имѣютъ свою исторію; почему прежде всего надобно относить словесныя произведенія къ современной имъ литературной или художественной теоріи, а не осу-

ждать ихъ безъ милосердія на основаніи позднѣйшихъ, въ наше время постановленныхъ начальъ. „Какъ бы то ни было, но интересъ художественной критики уступилъ свое мѣсто другимъ, болѣе существеннымъ и насущнымъ интересамъ“.

Между тѣмъ въ „Современникѣ“ съ 1856 г. стали издаваться „стихотворенія А. С. Пушкина не вошедшія въ изданія его сочиненій“, и между ними оказались или сомнительныя, или непринятыя и до сихъ поръ въ полныя изданія сочиненій поэта (напр., 1856 г., мартъ: „Заднями дни бѣгутъ толпой“ и проч. Съ подписью А. Пушкинъ помѣщено было въ альманахѣ 1835 г. „Весенніе Цвѣты“ и проч.). Разысканіями о неизданныхъ стихотвореніяхъ Пушкина въ Современникѣ занялся въ это время Лонгиновъ, въ статьяхъ подъ названіемъ „Библіографическая Записки“. Какъ жаль, что этими материалами до сихъ поръ не воспользовались издатели полныхъ собраній Сочиненій Пушкина (просимъ, напр., сличить стихотвореніе въ изд. 1887 г. Литерат. фонда, II т., 145 стр. „Когда-бѣ не смутное влечепіе“ и проч. съ тѣмъ же стихотвореніемъ, помѣщеннымъ въ Современникѣ 1837 г. январь). „Библіографическая Записки“ 1858—61 гг. также представили рядъ поправокъ и дополненій къ изданію Аяненкова, вызвавшему необыкновенный интересъ къ жизни и дѣятельности Пушкина. Даже Чернышевскій въ своемъ популярномъ изданіи 1856 г. „А. С. Пушкинъ, его жизнь и сочиненія—Чтеніе для юношества“, написанномъ съ большой любовью къ поэту, замѣтилъ: „до сихъ поръ мы еще не имѣемъ подробныхъ разсказовъ о томъ, какъ любилъ онъ проводить время по возвращеніи изъ Южной Россіи въ Петербургъ“ (69 стр.).

Не такъ отнесся къ Пушкину авторъ популярнаго въ 50-хъ годахъ „Очерка исторіи русской поэзіи“ (2-ое, дополненное изд. 1858 г.) А. Милюковъ, принявший отчасти выводъ современной Пушкину критики о паденіи его таланта съ 30-хъ годовъ, но болѣе всего следовавшій Бѣлинскому. Разсматривая жизнь и дѣятельность Пушкина по тремъ periodамъ,—по подражательному французской школѣ (съ ея цинизмомъ или дѣственностью античной музы), байроновскому и чисто-художественному, но за то чуждому общественныхъ потребностей и идей, Милюковъ упрекаетъ Пушкина за безнравственность нѣкоторыхъ его произведеній, за плохое пониманіе Байрона, за сословные предразсудки, и проч. Добролюбовъ въ разборѣ книги Милюкова не нашелъ ошибочнымъ воззрѣнія на Пушкина и старался только подкрепить ихъ

новыми соображеніями. Въ виду высокого положенія, которое занималъ талантливый критикъ конца 50-хъ, начала 60-хъ годовъ, мы приведемъ сужденія Добролюбова о личности и о значеніи поэзіи Пушкина. „Натура неглубокая.. легкая, увлекающаяся, вслѣдствіе недостатка прочного образованія“, полная художнической воспріимчивости, но чуждая упорной дѣятельности мысли.. его генеалогические предразсудки, его эпикурейскія наклонности, первоначальное образование подъ руководствомъ французскихъ эмигрантовъ конца прошедшаго столѣтія... все препятствовало ему проникнуться духомъ русской народности. Мало того, онъ отвращался даже отъ тѣхъ проявленій народности, какія заходили изъ народа въ общество, окружавшее Пушкина... Оттого-то онъ и не присталъ къ литературному движению, которое началось въ послѣдніе годы его жизни. Напротивъ, онъ покаралъ это движение еще прежде, чѣмъ оно явилось господствующимъ въ литературѣ, еще въ то время, когда оно явилось только въ обществѣ. Онъ гордо воскликнулъ въ отвѣтъ на современные вопросы: подите прочь! Какое мнѣ дѣло до васъ! и началъ пѣть Бородинскую годовщину и отвѣтить клеветникамъ Россіи“ (Сочиненія Добролюбова, 1871 г., I т., 600—601). Смягчивъ вѣсколько этотъ взглядъ, Добролюбовъ горячо привѣтствовалъ заключеніе изданія Сочиненій Пушкина VII-мъ томомъ, подъ редакціей Анненкова: „послѣ вялости и мелкоты, которую отличалась наша литература за семь или за восемь лѣтъ предъ тѣмъ (1857—58 г.).. память Пушкина какъ будто еще разъ повѣяла жизнью и свѣжестью на нашу литературу, точно окропила насъ живой водой и привела въ движение наши, окостенѣвшіе отъ бездѣйствія члены“ (515 стр. I т.). Теперь Добролюбовъ призналъ въ Пушкинѣ здравый природный умъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ какую-то двойственность въ отношеніи къ 20-мъ годамъ, поклоненіе грубой силѣ и боязливую почтительность о соблюденіи нравственности вмѣстѣ съ генеалогическими предразсудками.

Въ то время, какъ г. Бартеневъ разрабатывалъ біографію Пушкина (Русская Рѣчь 1861 г., „Русск. Арх.“ 1866 г.), преимущественно изъ времени пребыванія поэта въ Южной Россіи, а Гаевскій изъ эпохи лицейской жизни (Современникъ 1863 г.), выступили два новыхъ критика разматривавши съ противоположныхъ сторонъ значеніе дѣятельности Пушкина. Это были Григорьевъ и Писаревъ. Взглядъ А. Григорьева на Пушкина выразился въ различныхъ его замѣткахъ. Не имѣя возможности собрать журнальныя статьи критика, мы воспользуемся

только-что появившейся работой г. Шахъ-Пароніанца: Критикъ-самбытникъ Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ (къ XXXV-лѣтію со дня его смерти), Спб: 1899 г., „Пользуясь однако и собственными справками считаемъ важнымъ слѣдующее замѣчаніе Григорьева въ его статьѣ „Народность и литература“ (Время 1861 г., т. I, № 1, стр. 102): „всльдъ за ними (писателями XVIII—начала XIX вв) явился поэтъ, явилась великая творческая сила, равная по задаткамъ всему, что въ мірѣ являлось не только великаго, но даже величайшаго: Гомеру, Данту, Шекспиру—явился Пушкинъ. Я не могу и не хочу здѣсь коснуться значенія Пушкина, какъ нашего величайшаго народнаго поэта, величайшаго представителя нашей народной физіономіи. Я беру здѣсь моральный процессъ, совершившійся въ его натурѣ и для насть высоко поучительный. Пушкинъ началъ, не скажу съ подражанія, но съ поклоненія Байрону, съ протesta противъ дѣйствительности, и Пушкинъ же кончилъ „Повѣстями Бѣлкина“, „Капитанской дочкой“ и проч., стало быть, смиренiemъ передъ дѣйствительностью, его окружавшей.. Еще прежде грозилъ онъ намъ, великій протестантъ, давшій намъ уголовныхъ преступниковъ (по толкованію „Маяка“ и „Домашней Бесѣды“) въ видѣ „Плѣнника“, „Алеко“, „Мазепы“—при миренiemъ съ дѣйствительностью, какова она есть... Мы долго ему не вѣрили въ его разубѣжденьяхъ... Наконецъ, онъ выступилъ передъ нами совершенно новый, но одинаково великій, какъ и прежде, въ своихъ новыхъ созданьяхъ, въ „Капитанской Дочкѣ“, „Лѣтописи села Городина“... Мы изумились. Передъ нами предсталъ совершенно новый человѣкъ. Великій протестантъ умалился до лица Ивана Петровича Бѣлкина... Пушкинъ былъ весь—стихія нашей духовной жизни, отраженіе нашего нравственного процесса, выражатель его, столько же таинственный, какъ сама наша жизнь“. Если мы прибавимъ къ этой выдержкѣ изъ критики А. Григорьева выводы Страхова, цитуемые г. Шахъ—Пароніанцемъ (стр. 86—87), то взглядъ Григорьева на Пушкина и его произведенія опредѣляется различіемъ двухъ типовъ хищныхъ и смиреныхъ (какъ Бѣлкинъ, Татьяна, опирающаяся на нравственныхъ понятіяхъ предковъ). Смиренный типъ олицетворяетъ национально—христіанскую кротость, соединяющую критику съ страданіемъ, правдивостью, искренностью, здравомысліемъ. Такимъ образомъ Григорьевъ опредѣлилъ ту сторону въ развитіи Пушкина, которую оставилъ безъ вниманія Бѣлинскій, именно—послѣдній періодъ его поэти-

ческой дѣятельности въ области повѣсти, которую А. Григорьевъ призналъ зерномъ натуральной школы.

Во всякомъ крупномъ вопросѣ бываетъ рѣзкая критика, скептическое предубѣжденіе, послѣ которыхъ чаше всего расчищается атмосфера, какъ послѣ грозы, и солнце еще веселѣе глядитъ на возмущенную природу. Такова была бурная критика Писарева подъ названіемъ „Пушкинъ и Бѣлинскій“ (Русское Слово, 1865 г., апрѣль и іюнь; см. III т. Сочиненій Писарева). Поклонникъ Тургеневскаго Базарова,—въ собственномъ толкованіи, Писаревъ упрекаетъ Бѣлинского въ такой же ошибкѣ: „Если бы критики и публика поняли романъ Пушкина (Евгения Онѣгина, героя которого—Онѣгина и Ленскаго критикъ приравнивалъ къ праздношатающимъ джентльменамъ, Митрофанамъ, скучающимъ отъ кутежей, съ дѣтскими отрицаніями, а геройнѣ—Донъ Кихоту Писаревъ совсѣмъ бросить мужа, бросить затѣмъ Онѣгина и умереть или отъ нищеты, или отъ разврата, какъ геройнѣ), такъ какъ онъ самъ его понималъ, если бы они смотрѣли на него, какъ на невинную и безцѣльную штучку, подобную „Графу Нулину“, или „Домику въ Коломнѣ“, если бы они не ставили Пушкина на пьедесталь, на который онъ не имѣть ни малѣйшаго права, и не навязали ему насилино великихъ задачъ, которыхъ онъ не умѣеть и не желаетъ ни решать, ни даже задавать себѣ,—тогда я и не подумалъ бы возмущать чувствительныя сердца русскихъ эстетиковъ моими непочтительными статьями о произведеніяхъ нашего т. н. великаго поэта“. Насколько были непочтительны отзывы Писарева о Пушкинѣ, можно судить изъ множества выраженій, въ родѣ: „усыпительный творенія Пушкина, логкомысленного версификатора, опутанного мелкими предразсудками, погруженного въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философскіе вопросы нашего вѣка, создавшаго себѣ кумиръ самохвальствомъ, столь ветхій, что передъ нимъ преклоняется пишущее филистерство только по старой привычкѣ и по обязанности службы“. Однимъ словомъ, Писаревъ хотѣлъ доказать мыслящимъ читателямъ, что о Пушкинѣ не стоить толковать и пора сдать его въ архивъ, какъ старыхъ поэтовъ, въ родѣ Державина, и друг. Писаревъ возсталъ противъ всякой эстетики, которую признавалъ еще Добролюбовъ, возсталъ во имя реализма, практическаго примѣненія литературы къ жизни, во имя ремесла. Пушкинъ, по мнѣнію Писарева, это только великий стилистъ, время которого уже прошло; настоящаго

поэта надо еще ждать, хотя вообще поэзія — только низшій видъ литературы. Очевидно, это крайній выводъ изъ т. н. прозаического периода литературы послѣ Гоголя.

Критика Писарева отвѣчала своему времени. Вотъ почему только Лонгиновъ и особенно Страховъ сказали „нѣсколько запоздалыхъ словъ“ о браніи Писарева на Пушкина. Страховъ выступилъ единственнымъ защитникомъ Пушкина въ 60-хъ годахъ, если не считать педагогическихъ статей Водовозова. Въ двухъ статьяхъ Отечественныхъ Записокъ 1866—67 гг. Страховъ, опираясь на критики Каткова, А. Григорьева, объясняетъ глубокій смыслъ такихъ произведеній Пушкина, какъ опозоренный Писаревымъ — „Поэтъ, Чернь, Эхъ, Памятникъ“, съ одной стороны, и „Лѣтопись села Горохина“, съ другой стороны, фь которой великій поэтъ „позволилъ себѣ лукавую и веселую дерзость, далеко превосходящую дерзости современныхъ намъ нигилистовъ“.

Не богаты были и 70-ые года статьями о Пушкинѣ: нѣсколько статей того же Страхова, почтенный трудъ Анненкова — биографа поэта (Александръ Сергеевичъ Пушкинъ въ Александровскую эпоху, 1799—1826 гг., 1874 г.; первоначально появившійся въ видѣ статей въ Вѣстникѣ Европы 1873—74 гг.) и замѣчанія А. Н. Пыпина въ его „Историческихъ очеркахъ“, подъ названіемъ „Общественное движение въ Россіи при Александрѣ I“ и „Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“ — вотъ почти все, что явилось о Пушкинѣ за время, не ознаменованное даже какимъ либо изданіемъ полнаго собранія сочиненій поэта. Послѣ неудовлетворительныхъ изданій Геннади 1859 и 1869 гг. только въ 1880 г. явилось 4-е изданіе сочиненій Пушкина книгопр. Исакова, подъ редакціей Ефремова (здѣсь впервые напечатаны письма Пушкина). Между тѣмъ въ теченіе 70-хъ годовъ подготавлялось грандіозное дѣло приготовленій къ постановкѣ памятника Пушкину въ Москвѣ, — что и осуществилось въ 1880 г. „Въ виду близкаго открытия памятника, писаль Анненковъ въ предисловіи къ своему труду 1873—74 гг., которыи Россія намѣревается почтить заслуги Пушкина дѣлу воспитанія благородной мысли и изящнаго чувства въ отечествѣ, на совѣсти каждого, имѣющаго возможность пояснить нѣкоторыя черты его нравственной физіономіи и тѣмъ способствовать установленію твердыхъ очертаній для будущаго его облика — лежитъ обязанность сказать свое посильное слово“ (Пушкинъ въ Александровскую эпоху

1874 г.). Можно пожалѣть, что Анненковъ не продолжилъ этого стройнаго изложенія биографіи поэта, написанной въ цѣляхъ безпристрастной оцѣнки личности и дѣятельности Пушкина. Въ книгѣ Анненкова особенно интересны главы (III и IV), посвященные политическому, умственному и нравственному состоянію общества, окружавшаго Пушкина въ Александровскую эпоху. Здѣсь впервые получаются объясненіе эпиграммы, сатиры и непечатные произведенія Пушкина первой поры его жизни въ Петербургѣ до ссылки на югъ. „Соблазнительными, но остроумными произведеніями отчасти эротической, а отчасти революціонной своей музы, онъ устраивалъ себѣ какое то особенное положеніе, создавалъ изъ себя какое то подобіе силы, правда ничтожной до крайности, ребячески безпомощной и легко устранимой при первомъ движеніи противниковъ, но все же такой, мимо которой нельзя было долго проходить безъ вниманія“ (84 стр.). Анненковъ вообще обратилъ особенное вниманіе на исторію развитія Пушкина, съ которой связана и психическая исторія общества. Это былъ какъ бы отвѣтъ на рѣзкій приговоръ Писарева и друг. (т. е. отчасти Добролюбова), о пустотѣ въ направленіи и содержаніи Пушкина. Не успѣвъ развить своего безпристрастнаго изслѣдованія (въ 1880 г., какъ увидимъ ниже, Анненковъ прибавилъ изслѣдованіе объ общественныхъ идеалахъ Пушкина), Анненковъ такъ опредѣляетъ въ общихъ чертахъ развитіе поэта, смѣну его направленій: „развиваясь необычайно быстро, онъ (Пушкинъ) перешелъ постепенно отъ безсознательной роли великого свѣтскаго радикала, которую игралъ въ Петербургѣ, къ отчаянному протесту личности, ничего не признающей,—кромѣ самой себя, къ неистовому байронизму, которымъ зараженъ былъ въ Кишиневѣ, и отъ него, черезъ умѣряющее дѣйствіе романтизма и черезъ изученіе Шекспира къ объективности, историческому и критическому созерцанію, а наконецъ, и къ задачамъ, которыя представляютъ для творчества и для анализирующей мысли русскій старый и новый бытъ. Когда Пушкинъ снова очутился въ столичномъ нашемъ обществѣ, онъ принесъ съ собой только зачатки послѣдняго изъ этихъ направленій, но потребовалось еще четыре беспокойныхъ года (съ 1826 по 1830) для того, чтобы превратить эти зачатки въ обдуманную теорію, которая открыла бы разумъ и цѣли современного русскаго существованія... Съ обратеніемъ упроченнаго положенія съ свѣтѣ (1830—31 г.) весь тяжелый искусъ этотъ, казалось, долженъ былъ кончиться и уступить мѣсто мирному

труду, ровной дѣятельности и свѣтлой жизни. Въ головѣ его, дѣйствительно, и стали накопляться всѣ тѣ замыслы по истинѣ громадныхъ созданій, о которыхъ мы можемъ судить теперь только по отрывкамъ, сравнительно бѣднымъ, оставшимся въ бумагахъ, послѣ его смерти... Но въ душѣ Пушкина жила потребность, изѣвшая ему замкнуться исключительно въ кругъ своихъ художническихъ идей. Онъ сгоралъ жаждой многосторонней общественной жизни, которая гнала его въ большой свѣтъ, гдѣ онъ думалъ найти ее, но еще сильнѣе томился онъ мучительною страстью осмыслить современный ему быть, открыть законныя причины его явленій, увѣровать въ его необходимость и разумность, и, наконецъ, угадать смыслъ самой русской исторіи, какъ лучшаго оправданія народа и страны“ (стр. 328—331). Вотъ лучшее оправданіе нравственной личности поэта, его умственныхъ интересовъ, его отношенія къ лучшимъ стремленіямъ своего времени, наконецъ, его страданій, разлада и самой трагической смерти. Анненковъ указываетъ какъ бы вліяніе на этотъ роковой исходъ того самаго общества, „объ оправданіи и интересахъ котораго (онъ) такъ много хлопоталъ“ (332 стр.). Трудъ Анненкова можно считать первой исторической работой въ области изученія Пушкина и его времени. Онъ хотѣлъ указать отношеніе между жизнью поэта, его современниковъ и его творчествомъ, въ которомъ усматривалъ не только историческое значеніе, но и безусловно высокое—эстетическое и даже философское.

Дѣй большія работы А. Н. Пыпина, подъ названіемъ „Историческихъ очерковъ“, касаются Пушкина съ той же самой стороны, съ какой рассматривается возврѣнія поэта Анненковъ, съ тѣмъ отличiemъ, что Пыпинъ не придаетъ особеннаго значенія сословной точкѣ зренія Пушкина. Въ Онѣгинѣ Пыпинъ видѣтъ не представителя времени, а только извѣстный типъ изъ тѣснаго круга свѣтской жизни. Пыпинъ почти согласенъ со взглядами извѣстной части современниковъ Пушкина, которые помпили первое вступленіе поэта въ общественную и литературную жизнь. Поэтому онъ не раздѣляетъ взгляда Бѣлинскаго и колеблется между историческимъ изслѣдованіемъ Анненкова и взглядами на Пушкина отрицательной критики. Мы увидимъ далѣе, что почтенный критикъ сдѣлалъ много уступокъ въ другую сторону при сужденіи о значеніи пїэзіи Пушкина, о міровоззрѣніи поэта. Отмѣченная точка зренія критика въ 70-хъ годахъ объясняется его общими крупными задачами,ложенными въ основаніе „Историческихъ Очерковъ“. Пыпинъ не отличаетъ возврѣній Пушкина отъ

несимпатичныхъ ему возврѣній Карамзина и рассматриваетъ эти возврѣнія поэта, какъ и всю его дѣятельность, въ отдѣлѣ романтизма, считая Пушкина явленіемъ переходнымъ между сентиментальнымъ консерватизмомъ, романтизмомъ, какъ его понимали въ русской литературѣ, и самобытнымъ направленіемъ, отвѣчающимъ потребностямъ времени и общества.

Страховъ въ статьяхъ „Замѣтки о Пушкинѣ“ и „Къ портрету Пушкина“ (Складчина 1874 г. и Нива 1877 г.) снова стремился въстановить все высокое значеніе поэзіи Пушкина, его поэтическаго генія. Вотъ частныя подраздѣленія первой статьи, указывающія на общія положенія Страхова: „нѣть нововведеній—Пушкинъ не былъ нововводителемъ“ (указывается связь, съ одной стороны, съ Байрономъ и Шекспиромъ, съ другой—съ русскими поэтами), „переимчивость“ (опять указываются вліянія лучшихъ русскихъ поэтовъ), „подражанія“ (восточной поэзіи въ Коранѣ), „пародіи“ (на Данта, на Карамзина), „прямодушіе“, „истинная поэзія“. Во второй статьѣ Страховъ отмѣчаетъ глубокое психологическое значеніе поэзіи Пушкина. И выводомъ изъ этихъ наблюденій надъ лирикой Пушкина является опредѣленіе высокой душевной красоты поэта. Страховъ какъ бы призывалъ русское общество къ готовившемуся торжеству открытия Московскаго памятника 1880 г. Для характеристики 70-хъ годовъ въ русской литературѣ заслуживаютъ два отзыва о Пушкинѣ романиста Достоевскаго въ „Дневникѣ Писателя“. Эти отзывы вполнѣ выразились въ рѣчи Достоевскаго на Пушкинскомъ празднествѣ,—рѣчи, составившей событие. Еще въ 1873 г. Достоевскій въ Гражданіѣ по поводу „Книжности и грамотности“ въ народѣ называлъ Пушкина провозвѣстникомъ общечеловѣческихъ началъ (см., напр., изданіе Нивы, т. IX, ч. I, стр. 100 и далѣе). Въ 1877 году Достоевскій еще вполнѣ развили о всечеловѣчности, всеобъемлемости русского духа, о народной правдѣ, выразившихся въ поэзіи Пушкина, о его способности перевоплощаться въ геніи чужихъ націй. Прибавимъ еще біографический очеркъ Пушкина и его письма, появившіяся въ 1879 году въ Русской Старинѣ, выходившій и въ слѣдующемъ 1880 г.

Этотъ 1880 годъ ознаменовался открытиемъ памятника А. С. Пушкину въ Москвѣ и необыкновеннымъ чествованіемъ памяти поэта по всей Россіи. Если мы возьмемъ Pusckinian'у Межова 1886 г. („Бібліографіческий указатель статей о жизни А. С. Пушкина, его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства“

сь появленія Пушкина въ печати 1813 г. до 1886, т. е. за 70 лѣтъ), то изъ 4000 статей и произведеній четвертая часть, около 1000, приходится на нѣсколько мѣсяцевъ 1880 года. Даже по частнымъ вопросамъ поражаетъ обиліе статей: 22 статьи посвящены поискамъ о домѣ, въ которомъ родился поэтъ въ Москвѣ, 18 статей о домѣ, въ которомъ жилъ поэтъ въ Одесѣ, 23 статьи о мѣстѣ дуэли Пушкина въ Петербургѣ, и т. д. Прекрасныя описанія Пушкинскаго празднества даны въ статьяхъ Пятковскаго „Пушкинскій праздникъ въ Москвѣ“ (Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія, 2-ое изд; I т., 265—298), Страхова „Пушкинскій праздникъ“ (Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ф. М. Достоевскаго, 1883 г., 304—315; въ измѣненной редакціи: „замѣтки о Пушкинѣ“, Кіевъ, 1897 г., VI) и въ книжкѣ, подъ названіемъ „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину. Пушкинскіе дни въ Москвѣ, Петербургѣ и провинції. Адресы телеграммы, привѣтствія, рѣчи, чтенія и стихи по поводу открытия памятника Пушкину. Отзывы печати о значеніи Пушкинскаго торжества. Пушкинская выставка въ Москвѣ. Новыя данные о Пушкинѣ“ (Спб. 1880 г.). Это были юньскіе дни въ Москвѣ, дни небывалаго торжества русской словесности, когда вмѣстѣ съ уличными торжествами, засѣданіями въ Университетѣ и въ Думѣ съ обѣдами соединились и чествованія живыхъ представителей русской литературы, произнесшихъ рѣчи, Тургенева и Достоевскаго. Рѣчь послѣднаго считалась событиемъ, и вызвала необыкновенный энтузіазмъ. Замѣчательны были рѣчи и ученыхъ, Тихонравова, Ключевскаго, Сухомлинова и друг. Катковъ въ рѣчи на думскомъ обѣдѣ призываѣтъ къ примиренію и, дѣйствительно, почти всѣ представители литературы свидѣтельствовали о мирѣ и любви во имя памяти великаго поэта. Это было, въ самомъ дѣлѣ, голосъ изъ-за могилы Пушкина, призывающаго и чувства добрая и милость къ падшимъ. Страховъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Пушкинскомъ празднествѣ 1880 г. называетъ эти юньскіе дни турниромъ, состязаніемъ русскихъ писателей. И, въ самомъ дѣлѣ, достаточно назвать имена этихъ писателей, говорившихъ рѣчи въ честь Пушкина, чтобы понять необыкновенный литературный праздникъ въ Москвѣ. Здѣсь были и говорили: Тургеневъ, Достоевскій, Островскій, Аксаковъ, Потѣхинъ, Майковъ, Плещеевъ, Катковъ, м. Макарій, Тихонравовъ, Ключевскій, Стороженко, Юрьевъ, Гротъ, Анненковъ, Бартеневъ. Мы должны хотя въ самыхъ общихъ чертахъ передать сущность этихъ рѣчей, чтобы показать новыя точки зрѣнія

на Пушкина, новые задачи критики, выдвинутыя ораторами, подвигнувшія вопросъ о Пушкинѣ. Такъ понялъ это петербургскій профессоръ, О. Ф. Миллеръ, цитавшійся съ своей точки зрѣнія свѣсти „Пушкинскій вопросъ“ въ статьѣ „Русской Мысли“ 1880 г., XII винчка. Страховъ замѣтилъ о рѣчахъ м. Макарія, академиковъ и профессоровъ, что „въ этихъ статьяхъ были интересные факты, точныи подробности и вѣрныя замѣчанія, но вопросъ о Пушкинѣ не былъ поднимаемъ во всемъ своемъ объемѣ“ (Замѣтки о Пушкинѣ, 2 изд., 109 стр.). „Очевидно, замѣтилъ Страховъ, западники и славянофили были тутъ равно побѣждены; славянофили (игнорировавшіе Пушкина, преклонявшіеся передъ Гоголемъ) должны были признать нашего поэта великимъ выразителемъ русскаго духа, а западники, хотя всегда превозносили Пушкина, тутъ должны были сознаться, что не видѣли всѣхъ его достоинствъ. Одна изъ провинціальныхъ газетъ „Тверской Вѣстникъ“ („Вѣнокъ“, 121 стр.) еще рѣзче оттѣнила вспышку вниманія къ Пушкину и почти полное отсутствіе ровнаго и яркаго свѣта отъ его генія: „одно лишь печалить насть на Пушкинскомъ празднике, это тотъ фактъ, что великаго русскаго народнаго поэта не знаетъ русскій народъ... А интеллигентное наше общество? развѣ оно много интересуется Пушкинъмъ и его художественно-поэтическимъ творчествомъ? За 43 года, протекшихъ со смерти поэта, мы имѣемъ только пять изданій его сочиненій. Послѣднаго изданія (1873. г. Ген-нади) давно уже нѣть въ продажѣ. Съ 1873 г. изъ отдѣльныхъ произведеній Пушкина печатались только „Евгений Онѣгинъ“, сказки да хрестоматіческие отрывки для школьн. Въ 66 лѣтъ съ того дня, какъ появилось въ печати первое стихотвореніе Пушкина, у насть вышло всего десять книгъ о нашемъ поэтѣ, ни одною цѣльною труда, который выяснилъ бы жизнь, дѣятельность, общественное и литературное значеніе Пушкина во всѣхъ подробностяхъ и со всѣхъ сторонъ“.

Итакъ, мы обращаемся къ пересмотру рѣчей выдающихся представителей русской литературы, не соблюдая хронологическаго порядка, съ тѣмъ, чтобы извлечь изъ нихъ оригиналныя воззрѣнія на Пушкина и его творчество. Минѣя эти, какъ новинки въ изученіи Пушкина, отразились на богатой разработкѣ жизни и дѣятельности нашего великаго поэта въ 80—90 годахъ.

Начнемъ съ рѣчи Достоевскаго, которая примкнула къ словамъ Аксакова и Чаева. Славянофили первые сблизили Пушкина съ Мицкевичемъ (Русская Мысль 1880 г., кн. VI: рѣчь Чаева, вся со-

тканная изъ уподобленій богатырскаго и сказочнаго эпоса), первые возвѣстили о радостной веснѣ русской поэзіи, которой не повториться послѣ Пушкина, о радостномъ благовѣстѣ нашего мужающаго самосознанія (Аксаковъ), объ объединеніи всѣхъ вѣрящихъ въ русское слово, въ его народную силу. И славянофилы, и проф. О. Миллеръ (Р. М. 1880 г., кн. VI, 28—31) не поскупились заклеймить почти весь предшествующій періодъ русской словесности и подражательныя произведенія Пушкина именами—рабства, ночи отрицанія, чужеземнымъ хламомъ, игомъ (даже „властителя думъ“ Байрона),—послѣ которыхъ явились: перерожденіе нашего поэта, примиреніе прошедшаго съ настоящимъ, чистая радость народной жизни, простан, скромная, общительная, сочувствующая и жизни иностранной.—Достоевскій сказалъ большую рѣчу 8 іюня въ засѣданіи общества Любителей Россійской Словесности. Къ этой рѣчи онъ присоединилъ „Объяснительное слово“. Въ Онѣгинѣ, Алеко и другихъ герояхъ Пушкина Достоевскій усмотрѣлъ безпокойный типъ скитальца, разошедшагося съ народомъ, ударяющагося въ крайности всякихъ западническихъ и другихъ теорій. Не таковы простые типы (Татьяны, бытовые типы, инока, мелькающіе въ стихотвореніяхъ, въ разсказахъ, запискахъ) положительной красоты человѣка русскаго и души его, взятые изъ народнаго духа. „Смирись, гордый человѣкъ, говорилъ Достоевскій, и прежде всего сломи гордость Смирись, праздный человѣкъ, и прежде всего потрудись на родной нивѣ“, вотъ это рѣшеніе по народной правдѣ и народному разуму. „Не виѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ, найди себя въ себѣ,—овладѣй собой и узришь правду. Не въ вещахъ эта правда, не виѣ тебя и не за моремъ гдѣ нибудь, а прежде всего въ твоемъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя,—и станешь свободенъ, какъ никогда и не воображалъ себѣ, и начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастіе, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ—свой и святую правду“. Въ сущности повторился взглядъ Писарева на Онѣгина, но уничтоженный идеаломъ самого Пушкина, вложеннымъ въ Татьяну,—какъ апоѳеозъ русской женщины. Достоевскій присоединился и ко взгляду А. Григорьева на всѣ остальные типы Пушкина. Итакъ рѣчи восторженныхъ поклонниковъ Пушкина подняли его значеніе для нашего времени, значеніе—постоянное, непреходящее, міровое, по скольку русская народность входить въ интересы Европы, образованія и высшихъ идеаловъ. Отсюда, въ поэзіи Пушкина До-

стоевский указалъ братское единеніе сердца русскаго со всемирнымъ, всечеловѣческимъ: „способность всемирной отзывчивости и полнѣйшаго перевоплощенія въ геніи чужихъ націй“. Эта способность принадлежитъ изъ всѣхъ всемирныхъ художниковъ только Пушкину одному.

И Тургеневъ въ своей рѣчи подкрѣпилъ значеніе Пушкина въ европейской литературѣ, сославшись на французскихъ писателей, на иностранные сюжеты у Пушкина, на великое национальное значеніе поэта, создавшаго и языкъ для литературы, и содержаніе и формы для нея.—И Тургеневъ, и Гончаровъ (въ письмѣ, напечатанномъ въ „Вѣнѣ“, стр. 79—81) одинаково называли Пушкина именемъ „учителя“: „съ Онѣгина, писалъ Гончаровъ, хлынули потоки правды и поэзіи и вообще жизни. Какая школа изящества, вкуса, для впечатлительной натуры!“—

Обращаемся къ рѣчамъ московскихъ профессоровъ Тихонравова, Ключевского и Стороженка. Тихонравовъ старался указать въ своей рѣчи поэтическую самостоятельность, геніальность Пушкина, его раннее сознаніе ложности направлениія старой и современной ему русской литературы, его широкіе взгляды на творчество, критику и науку. Путемъ внимательнаго изученія Тихонравовъ старался доказать все высокое значеніе Пушкина въ исторіи русской литературы, какъ преобразователя литературнаго языка, какъ начинателя романа и повѣсти (причемъ Гоголь явился только продолжателемъ дѣла Пушкина), какъ дѣятеля въ области критики, наконецъ, какъ бессмертнаго поэта (Сочиненія III т., 1 ч., 1898 г.). Ключевскій также подтвердилъ въ своей рѣчи (Русская Мысль 1880 г., VI кн., 20—27 стр.) глубокое историческое значеніе произведеній Пушкина, относящихся къ XVIII в., жизненное значеніе типовъ, выведенныхъ Пушкинами, ихъ связь со всей русской исторіей, самый процессъ т. ск. формациіи этихъ типовъ, ихъ отношенія къ русской исторіи, жизни. Однако, проф. Ключевскій и не преувеличиваетъ значенія Пушкина, указывая на недостатки, на отсталость нѣкоторыхъ возврѣній поэта, съ точки зрѣнія нашего времени. Несмотря на невысказанность Пушкинскихъ произведеній, по условіямъ времени и другимъ причинамъ, по мнѣнію проф. Ключевскаго, „безъ Пушкина нельзя представить себѣ эпохи 20-хъ и 30-хъ годовъ, какъ нельзя безъ его произведеній написать исторію первой половины нашего вѣка. При какомъ угодно взгляду на Пушкина, значеніе его поэзіи, за нимъ остается страница въ нашей исторіи“. Мы еще возвратимся къ генеа-

логії Пушкінськихъ типовъ—по прекраснымъ характеристикамъ Ключевскаго.

Проф. Стороженко впервые подробнѣе остановился на сооп-  
ствленіи Пушкінскихъ произведеній съ произведеніями иностранныхъ  
писателей (Вѣпокъ, стр. 216—227). Проф. Сухомлиновъ,—какъ от-  
мѣтимъ ниже, коснулся въ своей рѣчи условій, особенно цензурныхъ,  
при которыхъ совершалось развитіе дѣятельности Пушкина. Не бу-  
демъ касаться упомянутыхъ статей О. Миллера, въ которыхъ также  
отмѣчены противорѣчія во взглядахъ на личность и дѣятельность Пуш-  
кина, но выводы клонятся на сторону славянофильскихъ возврѣній.

Постановка простого, но многоговорящаго „Памятника“ Пуш-  
кину въ Москвѣ, въ 1880 году, вызвала необыкновенное вниманіе  
къ всестороннему новому изученію А. С. Пушкина. Историческіе  
журналы, какъ Русская Старина и друг., дали новые матеріалы, въ  
видѣ писемъ, воспоминаній. Въ газетѣ—„Берегъ“ 1880 г. и въ Рус-  
скомъ Архивѣ напечатана была статья князя П. П. Вяземскаго  
„А. С. Пушкинъ (1816—1837). По документамъ Остафьевскаго архива  
и личнымъ воспоминаніямъ“. Интересныя подробности въ этой статьѣ  
извлечены: изъ писемъ Н. М. и Е. А. Карамзінныхъ, кн. П. А.  
Вяземскаго и А. И. Тургенева, изъ біографіи сестры поэта, изъ за-  
писки барона Корфа, съ примѣчаніями кн. П. П. Вяземскаго въ  
защиту поэта противъ Корфа. Послѣдняя, дѣйствительно, рѣзка; ба-  
ронъ Корфъ разсказываетъ о гнусныхъ болѣзняхъ Пушкина, низво-  
дившихъ его не разъ на край могилы, объ отталкивающемъ харак-  
терѣ его и т. д. Кн. Вяземскій высказалъ даже сомнѣніе въ при-  
надлежности этой записки товарищу Пушкина. Интересны вѣсти о  
поэте съ 1822 г. по 1825 г.: „Кишиневскій Пушкинъ... пропадаетъ  
отъ тоски, скучи и нищеты“. Для характеристики нравовъ того вре-  
мени и въ видахъ снисхожденія къ поэту, интересно читать откро-  
венную замѣтку о крѣпостныхъ дѣвушкахъ, которыхъ покупали цѣною  
отъ 150 до 200 р. (стр. 394 Русскаго Архива). Въ 1825 г. кн. Вяземскій увѣдомляетъ о „ссыпочномъ Пушкинѣ“, жившемъ тогда въ  
Михайловскомъ. Вообще бѣглыя замѣтки кн. П. П. Вяземскаго даютъ  
любопытную характеристику времени и личностей: „для нашего по-  
коленія,—замѣчаетъ онъ, напримѣръ, о воинственномъ удаломъ духѣ  
Пушкина,—воспитывавшагося въ царствованіе Николая Павловича,  
выходки Пушкина казались уже дикими. Пушкинъ и его друзья, во-  
спитанные во время Наполеоновскихъ войнъ, подъ вліяніемъ героя-

ческаго разгула представителей этой эпохи, щеголли воинскимъ удальствомъ и какимъ-то презрѣніемъ къ требованіямъ гражданскаго строя" (стр. 429). Сообщаетъ Вяземскій и о недошедшихъ до насть произведеніяхъ Пушкина, напримѣръ, о „ненапечатанномъ монологѣ обезумѣвшаго чиновника передъ Мѣднымъ Есадникомъ, около 30 стиховъ, производившемъ при чтеніи потрясающее впечатлѣніе" (429). Въ этомъ монологѣ слишкомъ энергически звучала ненависть къ Европейской цивилизаци. Припомніемъ сравненія Пушкина съ Грибоѣдовымъ, которое дѣлала критика по поводу Евгения Онѣгина. Вотъ еще выдержка изъ письма А. О. Смирновой, быть можетъ, подтверждающая подлинность ея подверженныхъ сомнѣнію „Записокъ" (1826—1845 гг.), изданныхъ редакціей журнала „Сѣвернаго Вѣстника" 1895—97 гг.: „воспоминаніе о немъ (о Пушкинѣ А. О. Смирновой) сохраняется во мнѣ недостижимымъ и чистымъ. Много гещей имѣла бы я вамъ сообщить о Пушкинѣ, о людяхъ и дѣлахъ; но на словахъ, потому что я побаиваюсь письменныхъ сообщеній" (433 стр.). Не менѣе интересны подробности и о дуэли Чушкина, и о личностяхъ Геккерена и Дантеса,—игравшихъ роли вольныхъ иностранцевъ въ эпоху строгостей военной дисциплины (см., напримѣръ, отступленія отъ формы у Дантеса, стр. 437), далѣе, подробности о похоронахъ Пушкина съ военной охраной, и проч. „Сообщаю съ полной откровенностью мои воспоминанія и впечатлѣнія, заключаетъ ви. П. И. Вяземскій свою статью, можетъ быть иногда и ошибочныя, въ твердомъ убѣждѣніи, что откровенность не можетъ вредить Пушкину и что приторныя и притворныя похвалы и умалчиванія недостойны памяти великаго человѣка. Заслуга Пушкина передъ Россіею такъ велика, что никакія темныя стороны его жизни не могутъ омрачить его великаго и доброго имени" (439 стр.). Какъ не похожи эти воспоминанія на трогательное описание послѣднихъ минутъ Пушкина, сдѣланное поэтомъ Жуковскимъ, хотя и Вяземскій подтверждаетъ впечатлѣніе, оставленное грустной, страдальческой и христіанской кончиной А. С. Пушкина въ современникахъ, забывавшихъ ходившіе слухи о пылкомъ нравѣ поэта, о его слабостяхъ, выходкахъ, эпиграммахъ.

Интересна попытка А. И. Ненкова (Вѣстникъ Европы 1880 г., № 6) опредѣлить „Общественные идеалы А. С. Пушкина" (изъ послѣднихъ лѣтъ его жизни) по его бумагамъ, въ формѣ набросковъ, недоговоренныхъ положеній и отрывковъ, относящихся къ черновымъ планамъ

полемическихъ статей для Литературной Газеты 1830 г. и отзывовъ, суждений Пушкина при перечинѣ указовъ и событий временъ Петра I-го, за исторію которого Пушкинъ принялъся въ 1832 г. Анненковъ опредѣлляетъ Пушкинскую теорію о значеніи дворянства въ государствѣ—народовоспитательнымъ, просвѣтительнымъ, свободнымъ, но консервативно-либеральнымъ, посредническимъ между правительствомъ и народомъ. Съ этой точки зренія Пушкинъ глядѣлъ въ глубь русской исторіи, въ ея славянскую древность и строго осуждалъ Петровскія реформы—за ихъ крутой и жестокій характеръ. Онъ желалъ для своей родины умноженія правъ и свободы въ предѣлахъ законности и политического быта, утвержденного всѣмъ прошлымъ и настоящимъ Россіи. Однако, говорить Анненковъ въ заключеніи своей статьи (Воспоминанія и критические очерки П. В. Анненкова, III, 1881 г. 266 стр.): „идеалы поэта могутъ показаться теперь несостоительными въ своей сущности, построеннымъ на данныхъ, чуждыхъ русской жизни; утопический мечтательный характеръ ихъ можетъ быть обсуждаемъ и осуждаемъ болѣе или менѣе строго, а научная сторона ихъ не выдерживаетъ довѣрки и проч.; но... человѣкъ, лелѣявшій подобные идеалы 50 лѣтъ тому назадъ, останется... представителемъ типа гуманного развитія въ свою эпоху... проповѣдниковъ справедливыхъ, честныхъ отношеній между людьми“. Эти статьи Анненкова (далѣе, въ Вѣстникѣ Европы 1881 г. „Любопытная тѣжба“, впрочемъ, эта статья объясняетъ только взглядъ цензуры на изданіе 1855—57 гг.) открывали новые точки зренія на изученіе Пушкина въ отношеніи какъ къ своему времени, такъ и къ позднѣйшему.

Къ числу такихъ же оправданій поэта отъ неосновательныхъ упрековъ въ полной ограниченности (Добролюбовъ, Писаревъ и др.) можно отнести небольшую книжечку В. Острогорскаго: „Памяти Пушкина, 6 іюня 1880 г. Очерки Пушкинской Руси“ (Спб. 1880 изъ газеты „Молва“), вызвавшую однако осужденіе О. Мицлера за ложный взглядъ, за фальшъ (Русская Мысль 1880 г., XII вн., 12—28 стр.) въ отношеніи къ Руси и къ поэту. Острогорскій, утверждая на значеніе Пушкина, какъ правдиваго „наивнаго лѣтописца“ своей современности (въ тяжелую и мрачную эпоху нашей исторической жизни), какъ основателя всей настоящей литературы, отмѣчаетъ замѣчательно правдивый точный гуманный и широкій взглядъ поэта на природу, крестьянъ, господъ и на русскую женщину. Онъ выставляетъ тяжелую обстановку второй половины 20-хъ и тридцатыхъ годовъ,

которая, какъ рамка, придала картинѣ Шушкина скромный, блѣдный колоритъ, несмотря на художественность вѣшней отдѣлки. Итакъ, Острогорскій призналъ одно только историческое значеніе за произведеніями Шушкина.

Въ „Трехъ письмахъ о Пушкинѣ“ (Русскій Вѣстникъ 1880 г., май и „О драмѣ“ Спб. 1893 г.) г. Аверкіевъ коснулся интереснаго вопроса о характерѣ творчества Пушкина, что полно пред-  
ставлено въ наши дни г. Якушкинымъ въ Русскихъ Вѣдомостяхъ 1899 г., № 143 „Пушкинъ и его литературная работа“. Отличіемъ статей г. Аверкіева является сравнительное изученіе творчества Пушкина съ творчествомъ европейскихъ поэтовъ и съ понятіями о немъ теоретиковъ, начиная съ Аристотеля. „Пушкинъ, говоритъ Аверкіевъ, былъ поэтомъ въ самомъ обширномъ значеніи слова; ему были равно доступны всѣ роды поэзіи, во всѣхъ ихъ онъ былъ полнымъ хозяиномъ, самостоятельнымъ творцомъ идей нераздѣльно и органически слитыхъ съ формой. Такое обстоятельство несомнѣнно свидѣтельствуетъ о широтѣ его поэтической природы“ (25 стр.). Отыскивая особенности Пушкинского гenia, Аверкіевъ указываетъ еще: изображеніе борьбы человѣка со страстью, ея побореніе (въ незабвенному образѣ Татьяны, отчасти въ Борисѣ), возвышенное спокойствіе въ созерданіи тѣжкихъ и скорбныхъ испытаній, въ цѣломудренномъ просвѣтленіи, добросердечіи Пушкинского юмора. „И къ чему намъ гордиться поэтомъ?, замѣтилъ Аверкіевъ, какъ одинъ изъ современныхъ намъ Московскихъ ораторовъ, гордость чувство слишкомъ самолюбивое; поэта слѣдуетъ любить, а любовь тутъ неразлучна со знаніемъ“ (25 стр.).

Разработка жизни и дѣятельности Пушкина, вниманіе къ его личности вызвали въ началѣ 80-хъ годовъ двѣ сравнительно большія работы Стоюнина и Незеленова. Стоюнинъ во 2-мъ томѣ „Историческихъ Сочиненій“ (Спб. 1881 г.) такъ опредѣляетъ задачу своего скромнаго труда (послѣ материаловъ для бiографіи Пушкина Анненкова и Бартенева): „я не берусь представить полную бiографію поэта, а хочу сдѣлать только историческую характеристику времени Пушкина въ связи съ его литературной дѣятельностью, представить эту геніальную личность такъ, какъ она создается въ воображеніи отъ изученія извѣстныхъ фактовъ его жизни“ (2 стр.). Опредѣляя натуру Пушкина артистической, геніальной, страстной, Стоюнинъ рассматриваетъ тѣ вліянія, подъ которыми развивалась эта натура. Отсюда вся его работа дѣлится на слѣдующія главы: что дала природа?

что дало дѣтство? что дала школьная жизнь? что дало общество? на югъ, въ селѣ Михайловскомъ, скитальческая жизнь и женатая жизнь. Стоюнинъ старается такъ же, какъ и Анненковъ, представить возможно безпристрастнѣе личность поэта въ связи съ общими явленіями времени. Биографъ видитъ въ начальной порѣ жизни поэта много счастливыхъ случайностей, которыя спасали его въ критической минуты. Эта бурная жизнь поэта въ Петербургѣ и на югѣ отразилась въ его поэмахъ, что могло произойти и безъ влиянія Байрона. Такимъ образомъ, Стоюнинъ видитъ, непосредственную зависимость произведеній Пушкина, его типовъ, и проч. отъ его личной жизни. Стоюнинъ вообще не столько биографъ поэта, сколько его критикъ, характеризующій поэта по его произведеніямъ. Только конецъ Шушкина разписанъ у Стоюнина со многими подробностями, какъ первое напряженіе, помрачившее разсудокъ поэта, вызвавшаго къ покою и волѣ. Биографія Стоюнина оставляетъ желать большей цѣльности, единства взгляда, не смотря на видимое стремленіе автора придать эти качества своей работѣ вложнными началами взаимодѣйствія природы поэта и благопріятныхъ или неблагопріятныхъ обстоятельствъ времени. Все таки остается какая-то черта между идеалами поэта и обрывками его вѣнчаной жизни (часто мелочными, противорѣчивыми). Работа Стоюнина основана на внимательномъ изученіи материаловъ и читается легко.

Болѣе серіозно, какъ изслѣдованіе, написана неоконченная работа проф. Незеленова „Александръ Сергеевичъ Пушкинъ въ его поэзіи. Первый и второй періоды жизни и дѣятельности (1799—1826)“, Спб., 1892 г.“ Авторъ нового изслѣдованія такъ опредѣляетъ свое отношение къ предшественникамъ: отсутствуетъ опредѣленный взглядъ на поэзію и личность Пушкина, существуютъ непримиримыя противорѣчія въ большихъ трудахъ о Пушкинѣ, а частныя вѣрныя замѣчанія въ восторженныхъ рѣчахъ 1880 г. остаются какъ бы минутными вдохновенными прозрѣніями, послѣ которыхъ успѣли уже выкинуть раздраженные, недовольные голоса, порицающіе то самый праздникъ поэта, то тѣ или другія мысли, высказанныя о немъ; наконецъ, нѣтъ у насъ и биографіи Пушкина, достойной его великаго имени. Задачей своего своднаго труда авторъ поставилъ „прослѣдить внутреннюю жизнь великаго поэта и развитіе его характера по его произведеніямъ, освѣщаая ихъ событиями его вѣнчанаго бытія“. Авторъ является въ своей критикѣ послѣдователемъ А. Григорьева. Поэтому,

въ третьемъ періодѣ, до котораго не успѣлъ дойти проф. Незеленовъ, въ высшей эпохѣ развитія Пушкина онъ „видитъ соединеніе въ душѣ и дѣятельности поэта тревожныхъ, энергическихъ и страстныхъ западно-европейскихъ началъ съ простыми, смиренными и добрыми началами русской народной жизни“. Вообще Незеленовъ болѣе ссылается на авторитеты, чѣмъ высказываетъ свои мнѣнія, или подвергаетъ подробному разбору сочиненія изслѣдуемыхъ авторовъ, напримѣръ, предшественниковъ Пушкина. За то въ его сочиненіи наблюдалась полнота біографическихъ подробностей, какія только могъ собрать авторъ въ свое время. Многое, конечно, теперь оставляетъ желать въ провѣркѣ или дополненіяхъ; такъ какъ являлось въ видѣ отрывочныхъ отзывовъ и замѣтокъ, каковые авторъ вносилъ въ свой трудъ для полноты. Я уже имѣлъ случай въ другомъ мѣстѣ замѣтить о вѣкоторыхъ неосновательныхъ заключеніяхъ Незеленова (въ статьѣ — „Русланъ и Людмила“ Университ. Извѣстія 1895 года, Кіевъ, № 6—іюнь). Послѣ труда Незеленова попытки написать стройную и полную біографію А. С. Пушкина прекратились, и новые біографы поэта вдались въ интересные детальные разборы. Точно также и изслѣдованіе произведеній Пушкина, особенно народно-бытового содержанія, подвинулось настолько впередъ, что книга Незеленова, важная для изученія Пушкина вообще, требуетъ критики. Укажу, напримѣръ, на его неосновательныя заключенія о стихотвореніяхъ: „Старица—пророчица“ (32 стр.), „Женихъ“ (191), и друг.

Еще въ 1881 г. отзывались впечатлѣнія Московскаго празднества 1880 г. Актовая рѣчь проф. В. В. Никольского объ „Идеалахъ Пушкина“ (изд. 3, Спб. 1899. Съ приложеніемъ статей того же автора „Жобаръ и Пушкинъ“ и „Дантесъ—Геккеренъ“) обратила вниманіе теплотой отношенія къ поэту. Наблюдая передѣлки произведеній Пушкина, авторъ говорить: „причина этихъ передѣлокъ заключается вовсе не въ художественныхъ требованіяхъ, а въ глубокомъ нравственномъ чувствѣ, если бы мы захотѣли опредѣлить самую сокровенную сущность души поэта, мы назвали бы ее цѣломудріемъ. Отсюда замѣшательство, робость, застѣнчивость, неловкость тамъ, где Пушкинъ долженъ былъ выразить свое истинное чувство“ (стр. 25). Даѣтъ авторъ отмѣчаетъ добровольное юродство Пушкина (26). Этотъ общій взглядъ смягчаетъ рѣзкость сужденій о распущенности семьи и школы, послѣ которой Пушкинъ впалъ въ либерализмъ и невѣrie. Но поэзія его съ постепеннымъ развитіемъ представляетъ все

болье высшіе нравственные идеалы: долга, труда, взглядовъ на правительство, религію.

Въ VII томѣ „Полнаго Собрания сочиненій кн. П. А. Вяземскаго“ (Спб. 1882 г., стр. 306 и д.) помѣщена статья его, подъ заглавиемъ „Мицкевичъ о Пушкинѣ“. Это не только извлеченіе изъ французскаго сочиненія польскаго поэта о Пушкинѣ, но и интересная личная воспоминанія кн. Вяземскаго. Въ разработкѣ частныхъ вопросовъ о Пушкинѣ заслуживаютъ вниманія статьи акад. Сухомлинова „Императоръ Николай Павловичъ—критикъ и цензоръ сочиненій Пушкина“, „Полемическая статья Пушкина“ (Историч. Вѣстникъ 1884 г. Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ М. И. Сухомлинова, т. II, стр. 249 и д.), касающіяся вопроса объ отношеніи къ Пушкину цензуры, что, какъ увидимъ ниже, затронуто въ специальнѣмъ сочиненіи г. Скабического о цензурѣ. Статьи акад. Сухомлинова написаны на основаніи документовъ. Здѣсь мы впервые находимъ разсказъ о любопытной критикѣ цензурной „Комедіи о Борисѣ Годуновѣ“ и послѣдовавшихъ измѣненіяхъ въ исторіи драмы Пушкина. Здѣсь же разсказаны и всѣ распри поэта съ Булгаринымъ.

Съ 1884 г. стали появляться въ Русской Старинѣ подробныя извлеченія, описанія и изслѣдованія, Рукописей Александра Сергеевича Пушкина, хранящихся въ Румянцевскомъ Музеѣ въ Москвѣ, В. Е. Якушкина. Не смотря на то, что этими рукописями пользовались уже, начиная съ Анненкова, почти всѣ послѣдующіе издатели сочиненій Пушкина, Якушинъ представилъ массу интересныхъ данныхъ для изученія творчества поэта. Авторъ, однако, не извлекъ всего, ограничивши свою задачу болѣе важнымъ. Отсюда, и послѣ его труда мы встрѣчаемъ въ литературѣ о Пушкинѣ много дополненій по изученію Румянцевскихъ рукописей Пушкина. Тетради, судьба которыхъ разсказана Якушинымъ (Рус. Ст. февраль, 1884 г.), оказываются съ оборванными и вырванными листами. Нерѣдко стихотворенія сопровождаются въ тетрадяхъ прозаическими программами и переводами, набросками. Эти извлеченія, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя, сдѣлались необходимой принадлежностью изданій Пушкина, начиная съ изданія 1887 года литературного фонда. Какъ интересны вообще данные, извлеченные Якушинымъ, можно судить по слѣдующимъ указаніямъ, являющимся впервые: (Рус. Ст. 1884 г., май, стр. 334), что Пушкинъ уже на югѣ—занимался простонародными русскими сказками напр., въ 1822 г. сказкой о царѣ Салтанѣ, (Р. С. августъ, 1884 г.,

стр. 329), что Пушкинъ списывалъ польскіе тексты изъ Мицкевича въ подлинникѣ, значитъ—понималь по-польски, и проч.

Тому-же автору принадлежитъ статья „Радищевъ и Пушкинъ“ (Чтенія въ обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1886 г., II кн., 3—58 стр.). Г. Якушинъ показываетъ настоящее значеніе статей Пушкина о Радищевѣ, ихъ настоящій смыслъ.

Къ 1886 году относится „Бібліографіческий указатель статей о жизни А. С. Пушкина его сочиненій и вызванныхъ ими произведеній литературы и искусства. Puschkiniana“ (Спб. 1886 г.) Межова, очень важный для изучающихъ біографію, критику, и вообще бібліографію, относящуюся къ Пушкину.

Наступилъ 1887 годъ, и 29 января истекло 50 лѣтъ со дня смерти А. С. Пушкина. Снова въ Москвѣ, Петербургѣ и въ другихъ университетскихъ городахъ (Одессѣ, Киевѣ, Казани) раздались рѣчи въ честь великаго поэта. Грустный оттѣнокъ ихъ выступилъ естественно. Въ Московскомъ Обществѣ Любителей россійской словесности были прочитаны рѣчи проф. Тихонравовымъ „Пушкинъ и Гоголь“ (Сочиненія Н. С. Тихонравова, III т., 2 ч., 182—195 стр.), Ключевскимъ „Евгений Онѣгінъ и его предки“ (Русская Мысль, 1887 г., февраль, 291—306 стр.). Тихонравовъ называетъ Гоголя продолжателемъ дѣла Пушкина, а Пушкина—воспитателемъ, образователемъ Гоголя, что подтверждалъ и самъ сатирикъ своими воспоминаніями о Пушкинѣ, статьями, хотя у насъ и нѣтъ пока сравненій произведеній Гоголя съ Пушкинскими. Только критика Гоголя сличена обстоятельно съ Пушкинскимъ направленіемъ въ рассматриваемой статьѣ, цѣль которой поднять значеніе Гоголя противъ исключительныхъ голосовъ ревнивыхъ оберегателей Пушкина въ дни 1880 г. Значеніе рѣчи Тихонравова, при ея фактическихъ основаніяхъ, можно понять, припомнивши взгляды Бѣлинского, Чернышевскаго и друг., отрицающихъ достоинства Пушкинской прозы и превозносившихъ Гоголя, какъ родоначальника прозаического періода въ русской литературѣ. Еще недавно это мнѣніе было высказано г. Скабичевскимъ, какъ общій взглядъ на всю новѣйшую русскую литературу. Рѣчь проф. Ключевского содержитъ теплое отношеніе къ поэту изъ личныхъ и историческихъ воспоминаній. Это второй очеркъ автора для исторіи русской культуры послѣ упомянутой рѣчи его 1880 г. о Капитанской дочки: тѣ же приемы, та же историческая связь поколѣній служила дворянства, которое то несло военную повинность, то вдви-

галось въ рядъ образованныхъ людей Европы посредствомъ обученія, книгъ, поѣздокъ заграницу. Таковъ генезисъ типа Онѣгина, подвергшагося слишкомъ быстрымъ, головокружительнымъ и неустойчивымъ направленіямъ. Проф. Ключевскій ставитъ вопросъ о посмертной исторіи Пушкинской поэзіи, т. е. о значеніи ея для нашего и всего будущаго времени.

Въ Петербургѣ читали проф. Морозовъ, Незеленовъ и Ждановъ. Рѣчь г. Морозова „Пушкинъ въ русской критикѣ“ (Годичный актъ И. С.-Петербургскаго Университета, 1887 г. и, сколько помнится намъ, прочитанная въ Обществѣ Литературного Фонда эта же рѣчь полнѣе была напечатана въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ: Сѣверный Вѣстникъ?) опредѣляетъ въ самыхъ общихъ чертахъ отношеніе къ Пушкину лучшей критики, оправданное текущими воспоминаніями. Въ рѣчи проф. Незеленова въ самомъ сжатомъ видѣ опредѣленъ ходъ развитія Пушкина. Теплотой дышеть и рѣчь проф. Жданова „Нѣсколько словъ о значеніи Пушкина въ исторіи русской литературы“ 1887 г. Припомнимъ, что еще въ 1880 г. проф. Ждановъ прочелъ въ Киевѣ „Нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ Пушкина“ (Кievлянинъ, 1880 г. №№ 132, 133). Мы еще увидимъ ниже, какъ г. Ждановъ воротился къ этой темѣ и далъ интересныя указанія на новые источники для драмы Пушкина. Въ рѣчи 1887 г. г. Ждановъ указалъ на „высокую, примирительную, объединяющую роль, которой Пушкинъ оставался вѣренъ во всю свою жизнь“.

Въ Одессѣ появился въ это время сборникъ проф. Яковлева, подъ заглавіемъ: „Отзывы о Пушкинѣ съ юга Россіи“ 1887 г. Здѣсь перепечатаны статьи о Пушкинѣ, появившіяся въ Одессѣ съ 1837 г., т. е. со смерти Пушкина, или написанные одесскитами. Между ними интересны: „Г-жа Ризничъ и Пушкинъ“, Зеленецкаго, „Пушкинъ и Людмила И-зи“, А. Требова, одесскія и кишиневскія преданія о Пушкинѣ. 1 февраля въ Одесскомъ Университетѣ были произнесены рѣчи проф. Некрасовымъ, Яковлевымъ и Кирпичниковымъ<sup>1)</sup>. Проф. Некрасовъ произнесъ рѣчь „О значеніи Пушкина въ исторіи русской литературы“, въ которой указалъ на высокое значеніе поэта въ дѣлѣ объединенія русскаго языка и литературы. Рѣчь проф. Кирпичникова „Пушкинъ какъ европейскій поэтъ“ отличается обстоя-

<sup>1)</sup>) Напечатаны въ „Запискахъ И. Новороссійскаго Университета“, томъ 45.

тельностью соображений обь отношении иностранной литературы къ Пушкину. Проф. Яковлевъ говорилъ о „значеніи нашего края въ жизни и дѣятельности А. С. Пушкина“, сопоставля Мицкевича съ Пушкинымъ.

Въ Казани появились статьи, предназначившіяся къ прочтенію на 29 января 1887 г. Изъ нихъ замѣчательна по краткости и полнотѣ статья проф. Булича „Въ память пятидесятилѣтія смерти Пушкина, 29 января 1887 года“, Казань, 1887 г., 50 стр. Написанная тепло, живо и талантливо эта статья проф. Булича показываетъ глубину эрудиціи автора, и труда, приложеннаго къ изученію поэта. Задачей своей статьи авторъ поставилъ отмѣтить „вліянія, подъ которыми выростали и геніальная личность Пушкина, и его удивительныя созданія“... „указать и то въ самыхъ общихъ чертахъ, тѣ, болѣе другихъ сильныя вліянія, духовныя и жизненныя, которыхъ съ необходимостью выражались въ содержаніи и направленіи его поэтическаго творчества“. Статья проф. Архангельскаго „Пушкинъ въ его произведеніяхъ и письмахъ, по поводу пятидесятилѣтія со времени его смерти (1837—1887 гг.)“. Статья написана въ историческомъ направленіи и содержитъ определенія направленія европейскаго романтизма, его борьбы съ классицизмомъ, предшественниковъ Пушкина, его литературныхъ мнѣній, и проч. Въ казанскомъ „Вѣстникѣ Славянства“, издаваемомъ проф. Качановскимъ (1888 г., кн. I, стр. 19—83), помѣщена довольно большая и оригинальная статья, самого редактора обь „А. С. Пушкинѣ, какъ воспитателѣ русского общества“. Собранный материалъ авторомъ и его освѣщеніе вызываютъ вниманіе къ общественнымъ теченіямъ разсматриваемаго времени.

Не касаемся другихъ рѣчей, произнесенныхъ въ 1887 году. Но упомянемъ о рѣчи акад. Гро та „Пушкинъ въ царскосельскомъ лицѣ“, входящей въ книгу 1887 г. „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники. Нѣсколько статей Я. Гро та, съ присоединеніемъ и другихъ материаловъ“ (Спб. 1887 г.). Статья Гро та впервые безпристрастно опѣниваетъ нравственное значеніе личности Пушкина-лицеиста и его стихотвореній. По словамъ Гро та, Пушкинъ, „воспѣвая лѣнь, сонъ и кутежъ, онъ любознательнымъ умомъ своимъ безустанно работалъ“, подражалъ другимъ поэтамъ, написалъ массу стиховъ, выработалъ языкъ и стихъ, проявилъ обширную начитанность. Такъ точно и въ статьѣ „Царскосельскій Лицей“ Гро тъ по-

казаль хорошия стороны этого заведенія и тѣмъ уничтожилъ предыдущія голословныя утвержденія о вредѣ, принесенномъ Пушкину этимъ заведеніемъ со стороны нравственности и образованія, науки. Объ этомъ же свидѣтельствуютъ и письма лицеистовъ, ихъ воспоминанія о времени Пушкина и прежнія статьи автора о Пушкинѣ, какъ-то о „Личности Пушкина, какъ человѣка“. Множество мелкихъ замѣчаній о сочиненіяхъ поэта (автографъ Лицейской годовщины съ поправками, дополненія къ прежнимъ изданіямъ) и особенно подробная хронологическая канва для біографіи Пушкина составляютъ достоинство этой книги, цѣнной въ ряду источниковъ для изученія личности и времени Пушкина. Эти живыя свѣдѣнія Грота о Лицѣ дополняютъ фактическія сухія данныя, представляемыя книгою г. Селезнева „Историческій очеркъ Императорскаго бывшаго Царскосельскаго нынѣ Александровскаго Лицея за первое его пятидесятилѣтіе съ 1811 по 1861 годъ“ (Спб. 1861 г.), какъ объ общемъ состояніи заведенія, такъ и о личности Пушкина (Приложения 6—7, 13—14 стр.).

Въ Вѣстникѣ Европы 1887—88 гг. помѣщены статьи Спасовича „Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго“ и „Байронизмъ у Пушкина и Лермонтова, изъ эпохи романтизма“. Объ статьи интересны и отмѣчаютъ вліянія на Пушкина, хотя и ограничиваются степень вліянія Байрона. Въ „Сѣверномъ Вѣстнике“ 1887 г. г. Южаковъ рассматриваетъ „Любовь и счастье въ произведеніяхъ русской поэзіи“ (февраль, 1887 г.). Не останавливалось на этихъ статьяхъ, скажемъ подробнѣе о двухъ замѣчательныхъ изданіяхъ 1887 г. Сочиненій Пушкина. Изданіе Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, подъ редакціею и съ объяснительными примѣчаніями П. О. Морозова, въ 6 томахъ,—безъ сомнѣнія, до сихъ поръ лучшее изданіе по полнотѣ, точности и удобствамъ при пользованіи. Морозовъ воспользовался черновыми рукописями поэта, объясненіями и бібліографическими замѣчаніями своихъ предшественниковъ. Другое изданіе 1887 г., въ 5 томахъ, Сочиненій Пушкина, съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики,—изданіе Льва Поливанова для семьи и школы, не смотря на неполноту, важно по прекраснымъ объясненіямъ къ отдѣльнымъ произведеніямъ, составленнымъ изъ критическихъ статей о Пушкинѣ, изъ біографическихъ очерковъ. Объ изданіи г. Зелинского „Русская критическая литература о произведеніяхъ А. С. Пушкина“, съ

1887 г. мы уже говорили выше. Кое-какія недомолвки, опущенія, неточности не мѣшаютъ этому полезному сборнику быть справочной книгой для всякаго занимающагося Пушкинскимъ вопросомъ.

Иной, болѣе стройный, трудъ представляетъ работа г. Трубачева „Пушкинъ въ русской критикѣ, 1820—1880 гг.“ (Спб. 1889 г.). Здѣсь опредѣлены и направленія критики и отношенія ея въ Пушкину. Къ сожалѣнію, этотъ трудъ остановился на 1880 годѣ. Въ книгѣ г. Пыпина „Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ“ (2-е исправленное изд. 1890 г.) цѣлая глава II-ая посвящена Пушкину, представляющая переработку двухъ статей изъ Вѣстника Европы 1887 г. октябрь-ноябрь. Статья написана, въ противоположность предшествующимъ статьямъ автора о Чушкинѣ, съ большимъ увлеченіемъ и уваженіемъ къ таланту Пушкина. Мы еще скажемъ о взглядѣ автора ниже по поводу статей его 90-хъ годовъ о Пушкинѣ. Съ этимъ новымъ взглядомъ на высокое народное значеніе дѣятельности поэта г. Пыпинъ ввелъ Пушкина и въ свою „Исторію русской Этнографіи“ (т. I, 1890 г., 390 стр. и д.), какъ представителя „великаго переворота“ въ изученіи, въ изображеніи народности. Теперь Пыпинъ приблизился къ характеристику Бѣлинскаго; по которой вся „предыдущая литература была только приготовленіемъ Пушкина, послѣдующая—только исполненіемъ программы, которая была широко памѣчена его дѣятельностью“ (391 стр.). Въ сжатомъ очеркѣ Пыпинъ излагаетъ содержаніе Пушкинскихъ произведеній, имѣющихъ этнографическое значеніе.

Мы не имѣемъ возможности останавливаться подробнѣ на всѣхъ статьяхъ, относящихся къ Пушкину за рассматриваемое время и потому доскажемъ въ самыхъ сжатыхъ чертахъ ходъ изученія Пушкина. Въ „Очеркахъ исторіи русской цензуры (1700—1863 гг.)“ А. М. Скаевичевскаго (Спб. 1892 г.) есть нѣсколько замѣчаній о Пушкинѣ (166 стр. и д.). Изъ статей 1892 г. заслуживаютъ вниманія рѣчь проф. Жданова „О драмѣ Пушкина Борисъ Годуновъ“, Незеленова „Шесть статей о Пушкинѣ“ и г. Майкова „Сказка о рыбакѣ и рыбѣ Пушкина и ея источники“ (Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 1892 г., май). Въ рѣчи проф. Жданова обстоятельно разсмотрѣно изученіе „Бориса Годунова“ Пушкина и прибавлены важныя указанія на новые источники, помимо исторіи Карамзина. „Въ то время, говорить авторъ, когда работалъ Пушкинъ, было уже издано нѣсколько памятниковъ, имѣющихъ перво-

степенную важность при изученіи смутной эпохи: такъ называемый Новый Лѣтописецъ, Житіе царя Феодора Ивановича, составленное патріархомъ Іовомъ, Сказаніе Авраамія Палицына, Грамота объ избраніи Бориса Годунова. Много извѣстій о времени Бориса и самозванца собрано было Щербатовымъ въ VII томѣ его Исторіи Россійской. Присматриваясь къ трагедіи Пушкина, мы найдемъ въ ней слѣды знакомства поэта съ такими извѣстіями, которыхъ нѣть у Карамзина и которые свидѣтельствуютъ объ исторической начитанности автора „Бориса“ (14 стр.). Книга проф. Незеленова составлена изъ прежнихъ его статей, уже упомянутыхъ нами выше, и изъ нѣсколькихъ новыхъ, среди которыхъ заслуживаетъ вниманія статья о „Новыхъ отрывкахъ и вариантахъ сочиненій Пушкина изъ рукописей Румянцевскаго Музея“. Авторъ извлекъ новые данные о Радищевѣ, Борисѣ Годуновѣ и другихъ произведеніяхъ Пушкина, указавъ еще разъ на важное значеніе Румянцевскихъ рукописей для будущихъ біографовъ и критиковъ величайшаго писателя русской земли. Статья г. Майкова представляетъ интересный выводъ объ отношеніи поэтическаго творчества поэта къ народной сказкѣ, сообщенной Пушкину Далемъ во время ихъ Оренбургской поѣздки: „поэтическое творчество поэта распространяло и развивало въ новые образы почти незамѣтныя черты своихъ источниковъ, нисколько не уклоняясь отъ общаго художественного колорита народной сказки“.

Въ 1895 году, въ Вѣстникѣ Европѣ А. Н. Пыпинъ помѣстилъ статью о „Пушкинѣ, его историческомъ значеніи и сверстникахъ“, въ которой остановился преимущественно на собственно литературномъ развитіи Пушкина, оставивши въ сторонѣ разсмотрѣенные имъ раніе общественные и политические взгляды. Разматривая отношеніе Пушкина къ его литературнымъ предшественникамъ, авторъ совершенно основательно пользуется отзывами самого Пушкина, придавая имъ значеніе всѣхъ опредѣленій русской литературы и ея дѣятелей, начиная съ Тредьяковскаго и Ломоносова. Точно также авторъ пользуется сочиненіями поэта, какъ автобіографическими материалами, дополняющими ихъ трудами Анненкова, и друг.

Въ 1896 г., во второмъ переработанномъ изданіи „Историко-сравнительныхъ очерковъ“ проф. Алексея Веселовскаго „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“ (Москва, 1896 г., 186—198 стр.) вопросъ о Пушкинѣ затронутъ въ общихъ чертахъ со стороны его источниковъ, вліяній на поэта и со стороны его перево-

довъ. Нельзя не высказать сожалѣнія, что знатокъ европейской литературы не коснулся различія въ оцѣнкѣ источниковъ, и пособій Пушкина. А такое различіе показало бы критическій тактъ нашего поэта, его увлеченія. Между тѣмъ въ интересномъ очеркѣ проф. Веселовскаго только затронуты съ высоты европейской литературы усвоенія русского поэта—даже въ области переработки русскихъ народныхъ сюжетовъ. Фактъ интересный, какъ интересны заключенія о томъ, что Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ представлялъ и русскую литературу, и свою поэтическую дѣятельность въ рамкахъ европейской литературы, приписывая и свои оригинальные труды существовавшимъ и несуществовавшимъ европейскимъ поэтамъ. Проф. Веселовскій принялъ и существовавшіе взгляды на отношеніе къ Пушкину Байрона, изъ которого нашъ поэтъ усвоилъ не все, а только болѣе подходившее къ нему и, притомъ, въ сложныхъ соединеніяхъ: изъ Беппо, Донъ-Жуана и Чайльдъ-Гарольда истекаетъ Евгений Онѣгинъ, и т. д. Въ Русскомъ Обозрѣніи 1896 г. (II—XII) помѣщены статьи г. Черняева „Капитанская Дочка Пушкина, историко-критический этюдъ“. Авторъ разсматриваетъ всѣхъ своихъ предшественниковъ, не оцѣнившихъеннымъ образомъ это величайшее, по его мнѣнію, произведеніе Пушкина. Полемическая цѣль автора помѣщала ему отнести болѣе беспристрастно и болѣе серіозно къ прекрасной исторической повѣсти Пушкина. Авторъ пытался разобрать „Капитансскую Дочку“ во всѣхъ отношеніяхъ: сравнительно съ русскими и иностранными историческими романами, съ Исторіей Пугачевскаго Бунта, и проч. Кроме того, онъ подвергъ подробному анализу характеры действующихъ лицъ съ исторической и психологической стороны.

Въ краткихъ замѣткахъ о критикѣ Пушкина мы не можемъ все таки обойти молчаніемъ упоминанія о критикахъ Бѣлинскомъ, Писаревѣ и Чернышевскомъ въ большомъ трудѣ г. Волынского „Русские Критики“ (Спб. 1896 г.), причемъ замѣтимъ только, что авторъ является защитникомъ Пушкина отъ неполныхъ, неточныхъ и строгихъ приговоровъ Писарева и Чернышевскаго.

Болѣе интересны работы, посвященные детальному разбору отдельныхъ произведеній Пушкина, какъ „Этюды объ А. С. Пушкинѣ“ проф. Н. О. Сумцова, выходящія выпусками съ 1893 г. (появилось 5 выпусковъ до 1897 г., въ видѣ оттисковъ изъ Варшавскаго Русского филологического Вѣстника). Это историко-литературные ком-

ментаріи къ небольшимъ стихотвореніямъ Пушкина, задачу которыхъ авторъ опредѣляетъ необходимостью „отмѣтить сходныя черты въ другихъ Пушкинскихъ стихотвореніяхъ и слѣдить по отношенію къ нѣкоторымъ стихотвореніямъ, какъ въ душѣ поэта постепенно формировался, укрѣплялся и развивался художественный образъ и какъ укладывались и варіировались въ сознаніи Пушкина поэтические мотивы, заимствованные имъ изъ нѣдра русской народной поэзіи и изъ литературы народовъ иноязычныхъ“. Съ точки зренія фольклора разсмотрѣны слѣдующія произведенія Пушкина: Пророкъ, И путникъ усталый, Рѣдѣеть облаковъ летучая гряда, Ненастный день потухъ, Зачѣмъ крутится вѣтръ въ оврагѣ, Нянѣ, Сонетъ, Кто знаетъ край, Казакъ, Гусаръ, Аріонъ, Дорожная жалоба, Чудный сонъ, Стансы, Стихи сочиненные ночью, Стихи о лампадѣ, Мадонна, Романсъ, Поэтъ, Эхо, Шотландская пѣсня, Къ А. П. Кернѣ, Откуда къ намъ, Что свѣтъ зари, Осенъ, Зимній вечеръ, Анчаръ, Соловей, Мнѣ бой знакомъ, Татарская пѣсня, Подражанія Корану, Стансы, Стихи о слезахъ, Воспоминаго, Желаніе, Опять я вашъ, Даръ напрасный, Красавица, Глухой глухова, Притча, Стихи о рифмѣ, Прозаикъ и поэтъ, О дѣва роза, Женихъ, Сказки Пушкина и дополненія къ предшествующимъ статьямъ. Этюды проф. Сумцова, безъ сомнѣнія, будутъ полезны и для бiографа Пушкина, и для критики его произведеній. Но общая точка зренія возможна только для изслѣдователя, который овладѣеть всѣмъ литературнымъ материаломъ, относящимся къ Пушкину.

Тотъ, кто будетъ составлять полную библіографію отзывовъ о Пушкинскихъ произведеніяхъ, конечно, упомянуть и о книгѣ г. Головина „Русскій романъ и русское общество“ (Спб. 1897 г.), такъ же относящейся къ критикѣ Пушкина, какъ неупомянутая нами выше, книжка г. А вдѣева 1874 г., подъ названіемъ „Наше общество (1820—1870) въ герояхъ и героянкахъ литературы“. Г. Головинъ слѣдить отраженіе байронизма въ трехъ периодахъ развитія Пушкина, съ выходомъ его въ послѣднемъ періодѣ на самостоятельную дорогу, причемъ Онѣгинъ явился развѣнчаннымъ Байроновскимъ типомъ. Оставаясь на почвѣ общихъ соображеній и психологического анализа, г. Головинъ ставить высоко романъ Пушкина, не касаясь однако повѣстей Бѣлкина и историческихъ романовъ Пушкина.

Съ 1897 г. начинается рядъ семейныхъ записокъ и воспоминаний о Пушкинѣ, которые освѣщаются съ новыхъ сторонъ личность

поэта. Едва ли это движение въ изученіи Пушкина не вызвано „Записками А. О. Смирновой“. Такова статья г. Францевой „А. С. Пушкинъ въ Бессарабії“ (изъ семейныхъ преданій, съ неизданными стихотвореніями, отрывками первой редакціи Цыганъ и шуточнымъ донесеніемъ генералу Инзову А. С. Пушкина. Русское Обозрѣніе 1897 г. январь-мартъ). Въ Русскомъ же Обозрѣніи 1897 г. г. Черняевымъ разобранъ „Пророкъ Пушкина въ связи съ подражаніями Корану“. Авторъ упрекаетъ проф. Незеленова за произвольное натянутое толкованіе „Пророка“ (написанъ на смерть княгини М. А. Голицыной, урожденной Суворовой, и представляеть иносказательную исповѣдь поэта, въ любви къ усопшіей), а Анненкова за легенду о томъ, что „Пророкъ“ былъ въ карманѣ у поэта во время представлениія его императору Николаю I и оканчивался еще стихами—„Возстань, возстань, пророкъ Россіи!“,—каковые авторъ считаетъ даже непринадлежащими Пушкину, — что принято Стоюниномъ и друг. Такимъ образомъ, г. Черняевъ возбуждаетъ вопросъ о подложныхъ стихотвореніяхъ Пушкина.

Небольшая, но интересная брошюра В. С. Соловьева „Судьба Пушкина“ (СПб. 1898 г.) касается вопросовъ о геніи съ сильной чувственностью, съ постоянной борьбой между требованіями разсудка, стремленіями къ высшимъ идеаламъ и увлеченіями сердца, и страстей. Авторъ иллюстрируетъ нѣсколькими стихотвореніями Пушкина разновременное и противоположное отношение его къ одному и тому же предмету страсти. Отсюда объясняется „раздвоеніе между поэзіей, т. е. жизнью, творчески просвѣтленною, и жизнью дѣйствительной или практической“. И авторъ держится примиряющаго безразличного взгляда на трагический исходъ судьбы Пушкина, вовлеченаго своими страстями и оправданаго Провидѣніемъ Божіимъ въ своихъ страданіяхъ.

Не въ первый разъ мы уже встречаемся въ дни воспоминаній о великихъ поэтахъ съ неожиданными появленими небывавшихъ въ печати прибавленій, окончаний и т. п. къ существующимъ уже произведеніямъ великихъ поэтовъ. Таковъ вопросъ, возникшій въ наши дни о подлинности окончанія „Русалки“ Пушкина по записи г. Зуева. Самый подробный и всесторонній разборъ этого вопроса принадлежитъ извѣстному лингвисту акад. Коршу, интересный и вообще для изученія Пушкина.

Въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Эфрона 1898 г. (тому XXV-а) помѣщена подробная биографія Пушкина проф. А. И. Кирпичникова, къ которой присоединены: Собранія сочиненій Пушкина, Переводы главнѣйшихъ произведеній Пушкина на иностранные языки и Библіографія важнѣйшихъ сочиненій о Пушкинѣ, его критики, празднованія юбилеевъ. Судя по этому очерку, мы можемъ ожидать отъ автора подробной биографіи Пушкина. Изъ изданій, явившихся въ настоящемъ году, заслуживаютъ упоминанія слѣдующія. Второе изданіе, дополненное (нѣсколькими новыми статьями и дополнительными замѣтками), съ приложеніемъ неизданного письма Пушкина, подъ ред. К. Я. Грота „Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники“, статьи и материалы Я. Грота (Спб. 1899 г.). Вотъ важнѣйшія дополненія въ этомъ новомъ изданіи: Письмо А. С. Пушкина къ И. И. Мартынову, къ В. Д. Вальковскому; Еще о лицейскихъ товарищахъ Пушкина: Декабристъ въ Сибири, П. Ф. Греческихъ, Вдова поэта барона А. А. Дельвига, Замѣтка издателя. Для биографа Пушкина это изданіе чрезвычайно важно. Полезнымъ также трудомъ является изданіе г. Каллаша „Русскіе поэты о Пушкинѣ, сборникъ стихотвореній“ (Москва, 1899 г.), посвященное обращеніямъ къ поэту съ первыхъ шаговъ его на литературномъ поприщѣ до настоящихъ дней. Здѣсь не только панегирическая критика Пушкина, но и эпиграммы. И все это дополняетъ исторію отношеній къ Пушкину читателей и критики.

Пересмотръ частныхъ вопросовъ о Пушкинѣ, не только отдѣльныхъ произведеній его, но и вліяній, подъ которыми развивался поэтъ, характеризуетъ изученіе историковъ литературы нашего времени. Такова интересная брошюра г. Сиповскаго „Пушкинъ, Байронъ и Шатобранъ (Изъ литературной жизни Пушкина на югѣ)“ (Спб. 1899 г.). Авторъ съ обычной смѣлостью и удачей выступаетъ противъ установившихъ голословныхъ утвержденій о вліяніи Байрона на Пушкина и указываетъ на болѣшее вліяніе Шатобрана, настроение которого овладѣло нашимъ поэтомъ, „подсказывалъ ему меланхоліческие мотивы тоски и разочарованія не только при созданіи поэмы „Кавказскій Пленникъ“,—но и нѣкоторыхъ лирическихъ произведеній болѣе ранней эпохи“.

Обращаемся теперь къ трудамъ акад. Л. Н. Майкова по изученію Пушкина, связаннымъ съ академическимъ изданіемъ „Сочиненій Пушкина“, томъ первый которыхъ явился на дняхъ въ велико-

лѣпномъ изданіи, обнимающемъ „Лирическія стихотворенія 1812—1817 гг.“. Рядъ статей автора, посвященныхъ предварительному изученію Пушкина, соединенъ въ двухъ „историко-литературныхъ очеркахъ“ 1895 г. и 1899 г., первый подъ названіемъ „Историко-литературныхъ очерковъ“, второй—„Пушкинъ, біографические материалы и историко-литературные очерки“. Содержаніе первого изданія составляютъ: Бессарабскія воспоминанія Вельтмана и его знакомство съ Пушкинымъ, Изъ сношеній Пушкина съ Н. Н. Раевскимъ, Воспоминанія Шевырева о Пушкинѣ, Пушкинъ о Батюшковѣ, О поѣздкѣ Пушкина на Кавказъ въ 1829 г., Пушкинъ и Даль, О стихотвореніяхъ Пушкина Туча и Аквилонъ. Содержаніе нового сборника „Пушкинъ“ включаетъ нѣкоторая предшествующія статьи и еще новыя: Молодость Пушкина по разсказамъ его младшаго брата, записки Пушкина о дружескихъ связяхъ его съ Пушкинымъ, А. Н. Вульфъ и его дневникъ, Воспоминанія Марковой-Виноградской (Кернъ), Кнізь Вяземскій и Пушкинъ обѣ Озеровѣ (по матеріаламъ Остафьевскаго архива), Знакомство Пушкина съ семействомъ Ушаковыхъ (1826—1830), Наталья Кирилловна Загряжская. Съ обычной обстоятельностію и проникновеніемъ въ новые матеріалы авторъ даетъ интересное объясненіе среды, въ которой жилъ поэтъ и объясняетъ намъ дѣйствительное теченіе жизни Пушкина въ своеобразныхъ условіяхъ современной ему жизни. Все это является необходимымъ объясненіемъ тѣхъ случайныхъ, нерѣдко анекдотическихъ, крайностей, въ которыхъ до сихъ поръ рисовалась жизнь и дѣятельность Пушкина. Дѣйствительно, будущему біографу поэта предстоитъ изобразить жизнь поэта въ такой обстановкѣ русской жизни, которая уже ушла отъ насъ въ глубь прошлаго. Воскресить это прошлое, хотя бы въ существенныхъ чертахъ, значитъ объяснить личность великаго поэта. Такъ измѣнились условія изученія Пушкина со времени его первыхъ критиковъ. Для Бѣлинскаго достаточно было проникнуть въ идеи печатныхъ произведеній Пушкина; для послѣдующихъ критиковъ его понадобились справки съ воспоминаніями и письмами; далѣе стали изучать секретные матеріалы цензуры сочиненій Пушкина; наконецъ, теперь становятся личности выдающихся современниковъ поэта въ ихъ отношеніяхъ. Дѣйствительно, какъ выразился кто-то, біографія Пушкина будетъ картиной умственной жизни русского общества первой половины настоящаго столѣтія, по крайней мѣрѣ, до 50-хъ годовъ. Не будемъ останавливаться, чтобы не увеличивать размѣровъ нашихъ

краткихъ замѣтокъ, писанныхъ не при особенно благопріятныхъ усло-віяхъ, разборомъ другихъ книгъ и статей, напримѣръ, Педагогиче-скаго Сборника, г. Острогорскаго, г. Бороздина, и друг. Извиняемся передъ читателями за библиографический характеръ на-шихъ замѣтокъ, притомъ далеко не полный. Критика Пушкина во всемъ объемѣ своемъ и войдетъ и входить въ изданіе его Сочиненій, предпринятое Императорской Академіей Наукъ въ томъ же направ-лениі, какъ изданіе Сочиненій Державина. Нельзя не порадоваться появлению I-го тома Сочиненій Пушкина. Но пока будетъ доведено до конца это изданіе—национальное и, конечно, обѣщающее новое развитіе науки русской литературы, какъ не разъ уже было при изученіи великаго русскаго поэта, думаемъ, что и случайныя замѣтки обозрѣвателя главныхъ направленій въ изученіи Пушкина, въ отно-шениі къ нему русскихъ поклонниковъ, будутъ приняты съ снисхож-деніемъ къ тому, что уже сказано нами о Пушкинѣ ранѣе.

Заключимъ наши замѣтки обѣ отношеніи русской критики въши-рокомъ смыслѣ къ Пушкину и обзоромъ появившихся статей, отче-тovъ о рѣчахъ въ наши дни празднованія столѣтняго юбилея со дня рожденія величайшаго русскаго поэта. Кто-то выразился, что 26 мая—не одинъ день чествованія, а чествованіе предстоитъ, по русскому обычаю, цѣлый годъ—вплоть до нового столѣтія. Составится не одна книга для обзора передуманного и пережитаго празднующими па-мять русскаго поэта, русскаго писателя, слова котораго хоть изрѣдка, хоть иногда приходять на память всякому знакомому съ этой неуми-рающей поэзіей. Но мы возьмемъ нѣсколько журналовъ, нѣсколько газетъ и укажемъ что намъ понравилось изъ сказаннаго современ-никами,—особенно если сказанное дополняетъ, разъясняетъ прежнее недосказанное о Пушкинѣ.

Журналъ „Жизнь“ 1899 г., за май мѣсяцъ, богатъ статьями о Пушкинѣ, которые составили цѣлый сборникъ. Здѣсь мы находимъ интересную статью проф. Овсянко-Куликовскаго „А. С. Пуш-кинъ, какъ художественный гений“, въ которой критикъ-психологъ уаазываетъ глубокое значеніе и типовъ Пушкина (Онѣгина, Татьяны, Донъ-Жуана, Сальери, скупого Рыцаря) и его лирики. Онѣгинъ та-кой же лишній человѣкъ, какъ Рудинъ и Лаврецкій, Татьяна—болѣе общечеловѣческій типъ, Донъ-Жуанъ въ „Каменномъ Гостѣ“—хищникъ любовной страсти, Моцартъ и Сальери—представители геніальности и зависти и т. д. Типы Пушкина это богатые матеріалы для пси-

хології страстей. Лиризмомъ характеризуются почти всѣ произведения Пушкина, и сила этого лиризма очень велика у поэта, какъ у Гейне, у Мицкевича и др. Очевидно, Пушкинъ такой же прекрасный материалъ для новѣйшей науки (психологіи, теоріи литературы, исторіи общества), какъ и другіе геніальные поэты старого и нового міра. И это можно признать помимо сожалѣнія о его преждевременно-прерванной дѣятельности, объ унесенныхъ въ могилу сокровищахъ духа, художнической энергіи, отзывчивости и развивавшагося таланта обобщенія, образности, гармоніи. Г. Соловьевъ въ статьѣ „А. С. Пушкинъ въ потомствѣ“ дѣлаетъ краткій очеркъ отношенія къ Пушкину критики, читателей и задается вопросомъ, чѣмъ же дорогъ для насъ поэтъ? Поэтъ этотъ, въ виду отсутствія спосной біографіи его и критики сочиненій, все еще загадка для насъ. Но свѣтлый взглядъ Пушкина на жизнь и міръ, но его противорѣчіе жестокому вѣку, его гимнъ свободы даютъ право на бессмертіе въ потомствѣ. Критикъ, вспоминая Бѣлинскаго, не придаетъ значенія ни рѣчи Достоевскаго, ни прославленнымъ выводамъ А. Григорьева, ни новому взгляду В. С. Соловьева на судьбу Пушкина. Послѣднему онъ посвящаетъ особенное вниманіе, упрекая философію Соловьева за сухость и сколастику. Интересная статья проф. Александра Н. Веселовскаго „А. С. Пушкинъ и европейская поэзія“ еще разъ рассматриваетъ вопросъ объ отношеніи Пушкина къ европейской литературѣ, и нѣть голоса за его отсталость, за неполноту образованія. Напротивъ, глубокія свѣдѣнія нашего поэта въ европейской литературѣ соединяются въ его творчествѣ съ национальнымъ богатымъ содержаніемъ, независимостью, самобытностью. Здѣсь есть и нѣсколько новыхъ самостоятельныхъ указаній на отношеніе поэзіи Пушкина къ Беранже („Моя родословная“ и *Le vilain*), Мольеру, англійскимъ поэтамъ, и проч. Опять сильный доводъ противъ холодныхъ разсужденій о паденіи таланта Пушкина въ концѣ его жизни, о трагическомъ концѣ его, какъ исходить изъ неудачъ, изъ замиравшей жизни. Въ статьѣ г. Изгоева „Смерть въ поэзіи А. С. Пушкина“ затронутъ вопросъ объ отношеніи Пушкина къ послѣдующей литературѣ, именно къ выдающимся русскимъ романистамъ, хотя и не полно; но выводъ о глубокихъ сомнѣніяхъ современного человѣка, которая раздѣляла Пушкинъ, о пантеистическомъ міровоззрѣніи его придаетъ новое значеніе поэзіи Пушкина. „Пушкинъ, говорить авторъ, является поэтомъ будущаго, многія произведенія его будутъ съ одинаковымъ наслажденіемъ чи-

таться въ концѣ ХХ вѣка, какъ читаются и теперь. Русской поэзіи и русской творческой философской мысли еще предстоитъ вернуться къ Пушкину". Невольно припоминается предсказаніе Гоголя въ статьѣ—1832 г. „Нѣсколько словъ о Пушкинѣ": „Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русского духа: это русскій человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть явится чрезъ 200 лѣтъ".

Къ статьѣ „О дружбѣ Пушкина и Мицкевича" можно добавить, что „Воевода" и „Будрысь и его сыновья" 1833 г. не представляютъ дословныхъ переводовъ изъ Мицкевича: многія имена передѣланы, многія подробности измѣнены Пушкинымъ. Въ статьѣ г. Славинскаго „О дружбѣ Пушкина и Мицкевича" не вырѣшенъ вопросъ о томъ, насколько зналъ Пушкинъ польскій языкъ. Въ статьѣ г. Андреевича „А. О. Смирнова объ А. С. Пушкинѣ" вопросъ о подлинности „Записокъ" Смирновой остается открытымъ. Упоминаніе о слогѣ „Мамаева побоища" въ сопоставлениі съ „Словомъ о Полку Игоревѣ" (на стр. 200) наводить на нѣкоторая сомнѣнія, если этотъ разговоръ происходилъ въ 1831 г. Наконецъ, въ этомъ обильномъ статьями журналѣ находимъ статью проф. Некрасова „Къ вопросу о значеніи Пушкина въ исторіи русскаго литературнаго языка".

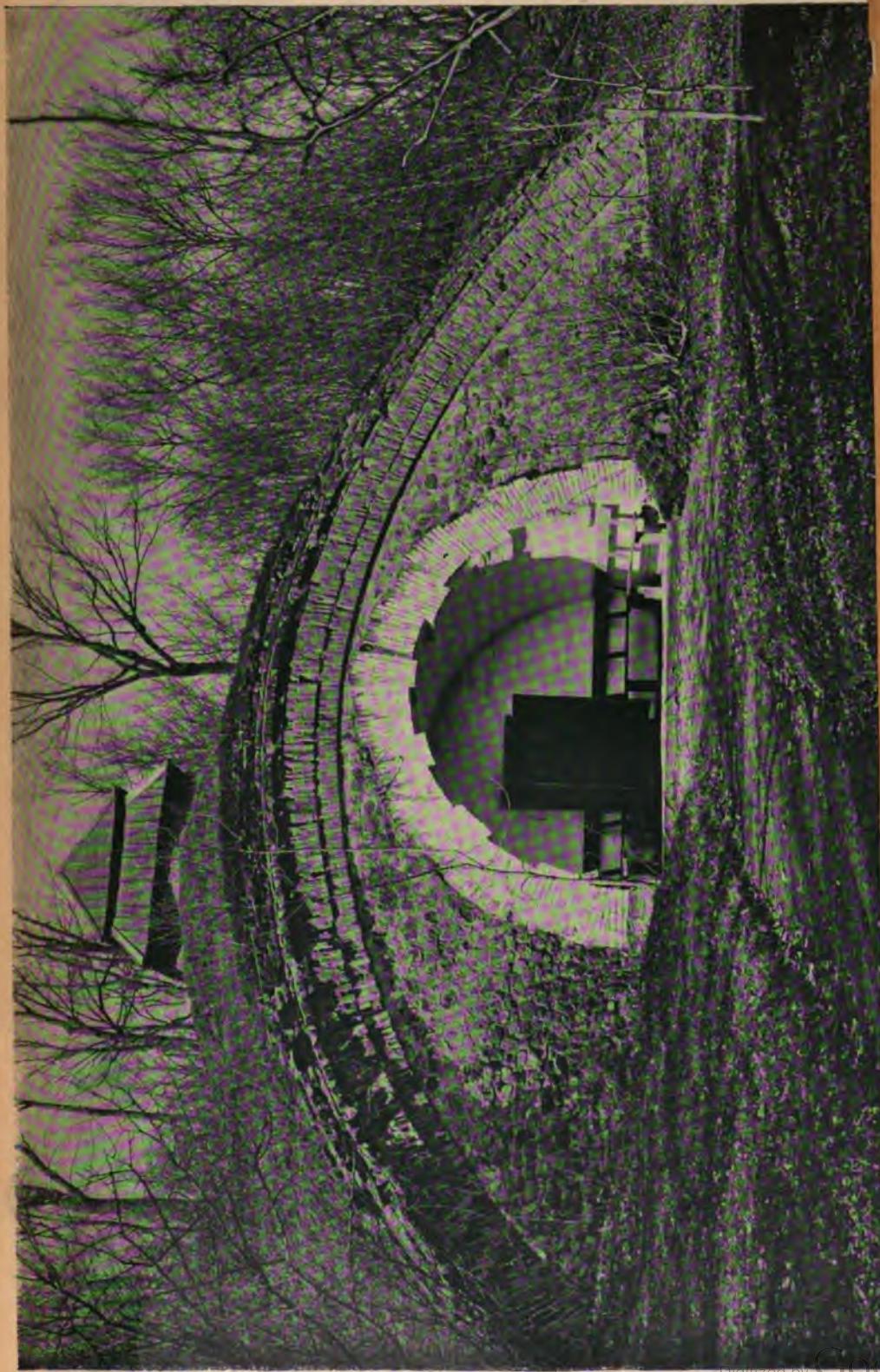
Также интересны статьи, помѣщенные въ „Русской Старинѣ", за май-іюнь, напр. г. Сиповскаго „Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій (къ литературной исторіи Пушкинскихъ типовъ)". Интересенъ методъ автора, состоящій въ анализѣ чтенія героевъ и другихъ сличеній съ иностранной литературой. Онѣгинъ-байронистъ, Чайльдъ-Гарольдъ, Ловласъ Ричардсона, Грандisonъ, герой изъ „Новой Элоизы" Руссо. Онѣгинъ такимъ образомъ мозаичный, коллективный типъ пародія на иностранныхъ героевъ, представитель обезъянничанья русскаго общества. Но это не только литературный типъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительный герой, по скольку поэтъ находилъ его въ собственныхъ думахъ, впечатлѣніяхъ и въ наблюденіяхъ надъ такими современниками, какъ А. Н. Раевскій. Такъ и въ Ленскомъ отразились черты Карамзина, Андрея Тургенева, Жуковскаго, С. Аксакова, С. Глинки, Одоевскаго. Въ тѣхъ же книжкахъ „Русской Старинѣ" помѣщена статья г. Залкинда „Литературно-критическая воззрѣнія А. С. Пушкина", въ которой указывается вѣрность критического взгляда поэта на иностранную и русскую литературу. .

Такимъ же богатствомъ статей отличается „Исторический Вѣстникъ“ за май, въ которомъ находимъ слѣдующія статьи, посвященные А. С. Пушкину: „Нашъ великий поэтъ“ П. Н. Полевого; „Пушкинъ и поэзія дѣйствительности“ А. К. Бородина, „Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина“ Б. В. Никольского, „А. С. Пушкинъ въ Казани (изъ исторіи Казанской общественности 30-хъ и 40-хъ годовъ)“ Н. П. Загоскина, „Анна Петровна Кернь и романъ—Я помню чудное мгновеніе“ В. А. Тиханова, „Похороны Пушкина и его могила“ М. П. Каспійского, „Кто впервые принялъся переводить Пушкина и прототипы переводовъ его на 50 языковъ и нарѣчій міра“ П. Д. Драганова. Статья „Нашъ великий поэтъ“ касается вопроса о вліяніи среди на Пушкина. Біографіческий интересъ ея выше, чѣмъ въ „Історії русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ“, и это естественно, такъ какъ интересный въ свое время цѣльный трудъ того же автора по исторіи русской литературы въ отдѣлѣ о Пушкинѣ былъ основанъ на однихъ „Матеріалахъ“ Анненкова. Интересно отмѣтить замѣчаніе автора о томъ, что ему „пришлось слышать балладу „Утопленникъ“ въ самомъ незатѣйливомъ исполненіи одного псковского крестьянина, между прочими народными пѣснями“ (476 стр.). Вопросъ этотъ настолько интересенъ, что я позволю себѣ здѣсь отмѣтить еще два-три факта. Всякій знаетъ, въ какомъ видѣ появляются стихотворенія Пушкина въ народныхъ пѣсенникахъ и на лубочныхъ картинкахъ. Сюжетовъ этихъ немного и нерѣдко искажены они до грубости, соответствующей общему тону подобного рода произведеній. Остаются хрестоматіи для народной школы, составленные людьми образованными, въ которыхъ Пушкинъ, дѣйствительно, является въ своемъ настоящемъ видѣ и то смотря по вкусу издателя. Такъ что фактъ, засвидѣтельствованный г. Полевымъ, заслуживаетъ полнаго вниманія. Въ статьѣ г. Бородина „А. С. Пушкинъ и поэзія дѣйствительности“ есть нѣсколько соображеній, заслуживающихъ вниманія. Онѣгинъ—типъ сатирическій, Татьяна, не представляя ничего особеннаго, типъ идеальный по своему простодушію. Въ „Клеветникахъ Россіи“ и въ „Бородинской годовщинѣ“ нѣть злобы по отношенію къ полякамъ, а, напротивъ, выражается гуманное, незлобивое чувство. Г. Никольскій въ статьѣ „Поэтъ и читатель въ лирикѣ Пушкина“ останавливается на вопросѣ о разладѣ между читателями и поэтомъ въ послѣдній періодъ его дѣятельности, о теоріи отношенія поэта къ читателямъ, созданной въ это время Пушкинымъ. Авторъ очень внимательно пе-

рассматриваетъ эти вопросы съ духовной точки зренія. Очеркъ написанъ съ болыпой любовью къ дѣлу. Въ этомъ щекотливомъ вопросѣ Пушкинъ находитъ оправданіе, въ виду стремленія его къ положительному идеалу—служенію дѣлу, а не людямъ, служенію идей долгъ. Отсюда выводится, что поэтъ стоялъ выше своихъ современниковъ, былъ гениальный поэтъ. Не будемъ остановливаться на остальныхъ статьяхъ Исторического Вѣстника, касающихся въ интересныхъ очеркахъ частностей въ житейскихъ отношеніяхъ поэта.

Для полноты нашего очерка упомянемъ и о газетныхъ извѣстіяхъ по поводу выдающихся рѣчей въ Москвѣ и Петербургѣ, произнесенныхъ 26 мая и въ слѣдующіе дни. Русскія Вѣдомости дали слѣдующій рядъ статей о Пушкинѣ. Въ № 143, 26 мая, помѣщены статьи г. Якушкина „Пушкинъ и его литературная работа“ и г. Веневитинова „О чтеніяхъ Пушкинымъ Бориса Годунова въ 1826 г. въ Москвѣ“. Естественно, что Москва обратила вниманіе на все, что такъ или иначе связано съ именемъ Пушкина. Статья г. Веневитинова такъ же интересна, какъ статья г. Казанскаго „Отношенія А. С. Пушкина къ Москвѣ“ въ Русской Мысли, за май. Когда говорить о поэту,—невольно является противопоставленіе умѣщенной жизни—суетѣ т. н. свѣта, или Грибоѣдовской Москвѣ. По словамъ г. Казанскаго, эта Москва является въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина—скучной, бѣдной, пустой. Въ № 144 приводится рѣчь проф. Стороженки, по всей вѣроятности, въ сокращеніи; но и въ этомъ видѣ она является столь же живой, какъ рѣчь проф. Ключевскаго. Когда появятся эти рѣчи вполнѣ въ печати, то, конечно, они дадутъ, съ одной стороны, интересныя сопоставленія съ западноевропейской литературой, съ другой стороны—съ русской жизнью. Въ № 145 приведена цѣлкомъ рѣчь проф. Кирпичникова „Пушкинъ и Московскій университетъ“. Какъ ни незначительны эти отношенія въ рѣчи проф. Кирпичникова, они разсказаны вполнѣ обстоятельно и живо. И настоящее воспоминаніе, какъ и предыдущія юбилейныя, принесли оправданія „личности Пушкина“, которые выражались въ рѣчи г. Иванова, помѣщенной въ № 146.

Этимъ мы ограничиваемся въ передачѣ отзывовъ о Пушкинѣ, вызванныхъ настоящими празднествами, ожидая со всѣми почитателами памяти поэта появленія описаній торжествъ и изслѣдований на основаніи массы прежнихъ и новыхъ свѣдѣній о выдающемся русскомъ писателѣ.



Digitized by Google



## Изъ пушкинской юбилейной литературы у славянъ.

(Литературные отголоски пушкинского столѣтняго юбилея).

**III** Шестьдесятъ два года тому назадъ, по поводу безвременной кончины такъ прискорбно угасшаго генія, въ № отъ 30 янв. 1837 г. „Литературныхъ Прибавленій“ къ „Русскому Инвалиду“ Краевскаго были напечатаны слѣдующія строки, кратко но чрезвычайно выразительно отмѣтившія всю величость понесенной Русью утраты: „Солнце нашей поэзіи закатилось! Пушкинъ скончался, скончался во цвѣтѣ лѣтъ, въ срединѣ своего великаго поприща!.. Болѣе говорить о немъ не имѣемъ силы, да и не нужно: всякое русское сердце знаетъ всю цѣну этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будетъ растерзано. Пушкинъ! Нашъ поэтъ! Наша радость, наша народная слава! Неужли въ самомъ дѣлѣ нѣтъ у насъ Пушкина?.. Къ этой мысли нельзя привыкнуть!.. 29 янв. 2 ч. 45 м. пополудни“.

Это сказано было о томъ, кто, по словамъ Полежаева (Вѣнокъ на гробъ Пушкина 1837 г.), будучи

Другъ волшебный сновидѣній  
Онъ понялъ тайну вдохновеній,  
Возсталъ, какъ новая стихія,  
Могучъ и славенъ и великъ,  
И изумленная Россія  
Узнала гордый свой языкъ! <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Отзыv Гоголя по поводу смерти Пушкина дышить едва ли не еще большию скорбью, граничащею притомъ съ отчалиніемъ, что не удивительно ни для кого, кто знаетъ, чѣмъ былъ для Гоголя усопшій поэтъ: „Все наслажденіе моей

Откуда этотъ вопль наболѣвшей души? Чѣмъ объяснить такую глубокую скорбь, гдѣ причина этого безпредѣльно унылаго настроенія, такъ художественно иногда выраженнаго въ разныхъ поэтическихъ произведеніяхъ того времени (см., напр., сборникъ г. Вл. Каллаша „Русскіе поэты о Пушкинѣ“ М. 1899 г. Любопытно также недавно напечатанное въ „Сѣверномъ Краѣ“ письмо кн. П. А. Вяземскаго къ гр. Э. К. М. Пушкиной отъ 16 февраля 1837 г.)?

Русское читающее общество, а въ его лицѣ и весь русскій народъ потеряли тогда въ поэта лучшаго, благороднѣйшаго выразителя своей духовной сущности и одного изъ величайшихъ художниковъ слова всѣхъ временъ и народовъ, и вышеприведенные скорбные возгласы выражали, быть можетъ, только ничтожную долю того безысходнаго всероссійскаго горя, которое въ сущности не могло уложиться ни въ какія стихотворныя и нестихотворныя рамки...

Для западныхъ и южныхъ славянъ смерть Пушкина, по обстоятельствамъ того времени, должна была пройти, сравнительно, довольно безслѣдно, за исключеніемъ поляковъ, находившихся, сравнительно съ прочими славянами, въ гораздо болѣе благопріятныхъ условіяхъ въ дѣлѣ знакомства съ русскою текущею литературою. Впрочемъ, некрологъ Пушкина явился не только у поляковъ—сочувственный и обстоятельный отзывъ Мицкевича въ повременномъ изданіи „Le Globe“,—но и у чеховъ, именно во временникѣ „Květý“ за 1838 г., а нѣсколько раньше, въ извѣстномъ изданіи Чешскаго музея „Časopis“... за 1837 г., былъ помѣщенъ переводъ жизнеописанія Пушкина, сдѣланнаго Полевымъ. Краткую замѣтку о Пушкинѣ по поводу его ранней, довременной и трагической смерти находимъ и въ хорватскомъ временникѣ „Danica“ (Данница) за 1837 г.

У словаковъ смерть Пушкина вызвала, впрочемъ спустя уже нѣсколько лѣтъ, задушевное стихотвореніе Андрея Сладковича (Бракаториса) Duchu Puškinovmu: „Spevac severa, brat duše mojej“

жизни,—пишетъ онъ Плетневу,—все мое высшее наслажденіе изчезло вмѣстѣ съ нимъ. Боже! Нынѣшній трудъ мой (Мертвые души), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался за перо — и перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска!.. „Моя утрата всѣхъ больше— писалъ онъ же Погодину:—я и сотовой доли не могу выразить своей скорби... Моя свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, когда я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ предъ собою только Пушкина... Ничего не предпринималъ я, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что у меня есть хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему!..“.

(см. Поэзія Славянъ, Гербеля, рус. переводъ подъ заглавіемъ „Тѣни Пушкина“).

А между тѣмъ нашъ поэтъ въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи „Памятникъ“ не только заявилъ свои справедливыя права на „нерукотворный“ памятникъ, но и опредѣлилъ возможныя границы своей славы въ будущемъ, указавъ на тѣ причины, благодаря которымъ его извѣстность приметъ указанные имъ размѣры. Дѣйствительность, какъ извѣстно, далеко превзошла пророческія ожиданія поэта какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніи, такъ что оцѣнка, которую онъ произвелъ самъ себѣ, гораздо ниже и одностороннѣе той, какую сдѣлало ему чуткое и благодарное потомство. Это потомство хорошо понимало, что поэтъ не былъ нескромъ, когда, по примѣру Горация и Державина, заговорилъ еще при жизни о своемъ памятникѣ: во первыхъ, въ этомъ выразилась извѣстная литературная манера, или, лучше сказать, практика, во вторыхъ самый памятникъ этотъ предполагался „нерукотворный“ въ видѣ той благодарной славы, той широкой извѣстности и среди современниковъ и еще болѣе въ отдаленныхъ вѣкахъ, о которой, конечно, позволительно мечтать поэту, какъ о единственной нерѣдко его наградѣ въ сей скорбной юдоли...

Поняло это потомство и въ своей признательности къ славѣ поэта опередило его чаянія... Списокъ народовъ, среди которыхъ Пушкинъ предполагалъ свою извѣстность въ будущемъ, теперь долженъ быть значительно пополненъ и увеличенъ. Скромность поэта сказалась, между прочимъ, въ томъ, что онъ мечталъ о своей славѣ только на пространствѣ русскаго государства, среди разнородныхъ племенъ, подчиненныхъ русской державѣ; но настоящая дѣйствительность, повторяю, далеко оставила за собою эту скромную мечту поэта и подчинила ему весь образованный міръ; его называть „всѧкъ языкъ“ не только русской земли, но всей Европы—болѣе того: всѣхъ сколько нибудь образованныхъ странъ міра.

Среди всѣхъ этихъ племенъ и народовъ наше вниманіе по понятнымъ причинамъ особенно останавливается на славянахъ. Что сдѣлано у нихъ для славы Пушкина, для распространенія обаянія его имени въ народной массѣ, насколько его извѣстность охватила ихъ мельчайшія и отдаленнѣйшія народности? Нѣкоторый отвѣтъ на эти любопытные вопросы могутъ дать истекшіе юбилейные дни, когда чествовалось столѣтіе рождения Пушкина. Чествованіе это такъ или

иначе охватило почти всѣ славянскія народности, и изъ различныхъ способовъ его, иногда довольно разнообразныхъ и любопытныхъ, мы остановимся по преимуществу на тѣхъ, которые имѣли литературный характеръ.

Такъ, особый интересъ, по нашему мнѣнію, представляло празднованіе Пушкинского юбилея славянскою учащеюся молодежью въ Вѣнѣ. Всѣ существующія тамъ славянскія литературныя общества и кружки молодежи, каковы напр. Зора, Балканъ, Буковина, Огниско, Словенія, Звонимиръ, Кружокъ любителей русскаго языка, условились впредь объединяться для торжественнаго чествованія великихъ славянскихъ писателей, и первый опытъ такого объединенія имѣлъ мѣсто на пушкинскомъ празднествѣ, удавшемся довольно хорошо. Если этотъ желанный обычай укрѣпится и утвердится, то имъ мы будемъ обязаны, конечно, юбилею Пушкина, чemu нельзѧ не порадоваться.

У поляковъ чествованіе Пушкина носило, какъ кажется, въ общемъ характеръ своего взаимнаго примиренія, а отчасти и свѣтской утонченной любезности, какъ бы отвѣчавшей на чествованіе памяти Мицкевича русскими, хотя, конечно, и съ ихъ стороны были выражены прямодушныя и искреннія заявленія. Въ Петербургѣ юбилейное пушкинское торжество сосредоточилось вокругъ редакціонной литературной группы польского повременного изданія „Край“, устроившаго это симпатичное чествованіе и почтившаго память русскаго поэта сочувственными статьями и замѣтками. Въ передовой статьѣ „Края“ по этому поводу мы находимъ, напримѣръ, такія строки: „Всѣхъ, какъ ближайшихъ, такъ и отдаленныхъ участниковъ чествованія соединяло, думаемъ мы, общее желаніе воздать честь тому, кто, составляя славу литературы, олицетворяетъ въ себѣ тѣмъ самымъ высшее духовное начало русскаго народа“...

Въ устроенному редакцію „Края“ юбилейномъ пушкинскомъ обѣдѣ участвовали представители варшавской печати и Краковской Академіи наукъ; тамъ разными польскими ораторами было произнесено нѣсколько достопримѣчательныхъ и любопытныхъ рѣчей, которые вмѣстѣ съ многочисленными присланными изъ разныхъ мѣстъ и отъ разныхъ лицъ телеграммами, свидѣтельствовали иногда о неподдельномъ чувствѣ удивленія и преклоненія поляковъ предъ великимъ русскимъ гениемъ поэзіи. Весь этотъ любопытный матеріалъ собранъ въ книжкѣ „Русскопольскія отношенія и чествованіе поляками Пушкина“ Слб. 1899 г., и мы подробно останавливаться на немъ не будемъ.

демъ; отмѣтимъ лишь нѣкоторыя знаменательныя частности. Изъ телеграммъ обращаютъ на себя вниманіе присланныя, во первыхъ, сыномъ Мицкевича изъ Парижа, затѣмъ членомъ прусской палаты господъ Иосифомъ Косцельскимъ, писателями: Гловатскимъ (Б. Прусь) Иосифомъ Третьякомъ, Элиз. Оржешковой и др.

Изъ петербургскихъ же рѣчей и чтеній въ разныхъ отношеніяхъ любопытны и цѣнны сообщенія гг. В. Спасовича, редактора „Края“ Эр. Нильца и Ст. Шташицкаго (о Борисѣ Годуновѣ). Краковское чествование привлекло довольно значительную группу лучшихъ людей этой столицы польской учености, и тамъ между рѣчами и сообщеніями нѣкоторыя были такого рода, что невольно останавливали на себѣ вниманіе; впрочемъ, если судить только по имѣющимъ въ печати даннымъ, почти ни одно изъ этихъ сообщеній не охватывало предмета всесторонне и не рассматривало его съ какихъ либо новыхъ, не использованныхъ еще точекъ зренія.

Тѣмъ не менѣе между этими рѣчами и сообщеніями нѣкоторыя обнаружили значительную долю чутья истины и безпристрастія. Встрѣчались и такія заявленія и признанія, которыхъ, не взирая на всю ихъ относительную скромность, а также иногда и правдивость, еще недавно врядъ ли бы возможны въ устахъ польскихъ писателей и публицистовъ. Вотъ нѣкоторыя изъ этихъ заявлений (см. рѣчь г. Соколовскаго): „Пушкинъ въ началѣ 19 столѣтія былъ для Россіи тѣмъ же, чѣмъ Данте былъ для Италіи на зарѣ 14 вѣка. Онъ выковалъ русскій языкъ, онъ не только создалъ изъ языка могущественнѣйшей отрасли славянскаго племени музикальный инструментъ, но и положилъ начало великой русской литературѣ! Безъ Пушкина не было бы и Льва Толстого съ цѣлымъ его всемирнымъ и общечеловѣческимъ значеніемъ. Пушкинъ былъ великимъ поэтомъ, и не напрасно послѣ его смерти Мицкевичъ писалъ: еслибъ не было Байрова, Пушкинъ бы признанъ величайшимъ поэтомъ нашей эпохи“... Въ началѣ же рѣчи г. Соколовскаго находимъ любопытное признаніе необходимости и для поляковъ возвратиться къ здоровымъ демократическимъ славянскимъ началамъ и стремиться къ сближенію съ остальными славянами и взаимному ознакомленію. Вотъ это мѣсто: „...всѣ славянскія племена и народности съ окончаніемъ нашего столѣтія начинаютъ стремиться къ сближенію на полѣ культурнаго развитія, къ взаимному ознакомленію и пониманію тѣхъ общихъ всѣмъ имъ особенностей, которыхъ покоятся въ основѣ всѣхъ огромныхъ и

ничѣмъ еще не зачеркнутыхъ различій. Одновременно повсюду, а особенно у насъ (поляковъ), выступаютъ снігу народныя массы и пробуждаются къ жизни. Съ этимъ вмѣстѣ выступаютъ и, по самой природѣ вещей, должны выступать впередъ народныя начала, племенное, расовое, этническое, а следовательно и славянское. Въ нашемъ внутреннемъ быту мы начинаемъ возвращаться къ эпохѣ Пластовъ, т. е. ко времени, когда мы были болѣе близки къ прочимъ славянамъ, чѣмъ впослѣдствіи" и т. д... Во вскомъ случаѣ въ общемъ нельзя не порадоваться этому участію поляковъ во всеславянскомъ чествованіи русскаго поэта; это чествованіе является, конечно, знаменательнымъ шагомъ впередъ въ русско-польскихъ отношеніяхъ и несомнѣнно должно благотворно отразиться на общемъ ходѣ междуславянскихъ отношеній и развитія и осуществленія идеи славянской взаимности и сближенія.

Чешская литература тоже не осталась глухою къ пушкинскому торжеству, и въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ (какъ, напр., Nar. Listy статья г. К. Штѣпанка въ № 156, Slovansky Přehled, Osvěta, Krok, Květy, Česka Revue и мн. др.) находимъ самые сочувственные отзывы и сообщенія о немъ. Авторъ статьи во вліятельномъ ежемѣсячникѣ „Osvěta“ (кн. 7, стр. 639—645, Stoleté jubileum Puškina) I. Тужимскій оканчиваетъ ее слѣдующими правдивыми строками: „Stoleté jubileum narození Puškinova jest radostným listem v dějinách Slovanstva. Sblížení Slovanské v duchu Puškinově učinilo zase krok ku předu. Pro Rusko i pro Slovanstvo ostanou slavnosti ty historickou udalostí“ (Столѣтній юбилей рождения Пушкина — радостный листокъ въ исторіи славянства. Славянское сближеніе въ духѣ Пушкина сдѣлало опять шагъ впередъ. Эти торжества останутся историческимъ событиемъ для Руси и славянства).

Въ изящной иллюстраціи „Zlata Praha“ № 30 находимъ стихотвореніе Авг. Е. Мужика „Alex. S. Puškin“, статью „Tři postavy (образы) poezie Puškina“ и другую статью г. Штѣпанка „Ke stýmu narozeninám A. S. Puškina“ (къ 100-лѣтію рождения) съ портретомъ поэта, изображеніемъ его памятника въ Москвѣ и тремя рисунками сценъ изъ оперъ: Евгений Онѣгинъ, Дубровскій, Пиковая дама. Въ концѣ статьи г. Штѣпанка высказаны слѣдующія мысли: „Obliba Puškinova u nas byla vždycky veliká.. Netreba také zapominati, že genijs Puškinův působil na mnohé naše básníky z originalů již od dob Čelakovského. Tim spíše můžeme tedy připojiti se k radostnému chorálu ruského národa, ozývajicímu se v těchto dnech všude, kde

hlaholí krasný a bohatý jazyk ruský" (Произведенія Пушкина у насъ всегда были излюбленными... Не нужно также забывать, что его гений имѣлъ вліяніе на многихъ изъ нашихъ поэтовъ еще отъ временъ Челавековскаго. Тѣмъ скорѣе мы можемъ присоединиться къ радостному хоралу русского народа, раздающемуся въ эти дни всюду, гдѣ только звучить прекрасный и богатый русскій языкъ).

Юбилейная пушкинская торжества не прошли безслѣдно и для дѣла распространенія произведеній поэта въ чешской народной массѣ и увеличенія количества переводовъ изъ него. Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ Взимково народное иллюстрированное изданіе чешскаго перевода повѣстей Пушкина (въ Прагѣ, выходитъ выпусками въ 2 печатныхъ листа, цѣною въ 15 крейц. каждый; цѣна, принимая во вниманіе достоинство изданія, очень общедоступна).

У болгаръ разныя современныя изданія, напримѣръ, Бѣлгарски Прѣглѣдъ, Бѣлгарска Сбирка, выпустили пушкинскіе NN съ значительнымъ количествомъ болѣе или менѣе любопытныхъ статей и замѣтокъ; въ этомъ послѣднемъ изданіи находимъ, напримѣръ, любопытную передовую статью: „Поэзия-та на Пушкина“ Н. Бобчева, заканчивающуюся такими строками: „Творения-та на Пушкина въ днешно врѣме съставлять, може да се каже, достояние на цѣло-то человѣчество, и той може да се причисли къмъ всесвѣтски-тѣ гени, съ произведенія-та на кои то се наслаждавать всички народи. Пушкинови-тѣ произведения сѫ извѣстни въ прѣводи на повече отъ 50 езици“. (Творенія Пушкина въ настоящее время составляютъ, можно сказать, достояніе цѣлаго человѣчества, и онъ, можетъ быть, причисленъ къ всесвѣтнымъ геніямъ, произведеніями которыхъ наслаждаются всѣ народы. Сочиненія Пушкина извѣстны въ переводахъ болѣе, чѣмъ на 50 языковъ).

Въ этой же книгѣ помѣщенъ стихотворный переводъ пьесы „Каменный гость“, а въ мартовской книгѣ былъ напечатанъ переводъ Цыганъ (Чергари), сдѣланный извѣстнымъ безвременно скончавшимся поэтомъ Алекс. Константиновымъ. Такимъ образомъ, и у болгаръ пушкинскіе дни послужили къ размноженію пушкинской литературы и увеличенію количества переводовъ, еще не достаточно, впрочемъ, многочисленныхъ. Вѣроятно, это обстоятельство происходитъ отъ того, что, благодаря близости своего правописанія и языка съ русскимъ, образованные болгары имѣютъ возможность читать произведенія рус-

скихъ писателей, а тѣмъ болѣе Пушкина, въ подлинникѣ, и переводы необходимы тамъ развѣ для простолюдиновъ... Такъ или иначе, но количество болгарскихъ переводовъ Пушкина еще очень незначительно (см. статью Драганова „Пушкинъ въ переводахъ“ въ „Историческомъ Вѣстникѣ“ за 1899 г. и нашу статью „Пушкинъ у славянъ“ въ „Сборнику Пушкину“, изд. Киевск. Педагогическ. Обществомъ къ юбилею. 1899 г.)

Изъ сербохорватскихъ отзывовъ особенно любопытна торжественная рѣчь хорватскаго ученаго Миливоя Шрепеля „Puškin i hrvatska književnost“, читанная въ засѣданіи истор.-филологич. разряда Югославянской академіи Наукъ (см. Ljetopis Jugoslavenske akademije znan. i umjetn. za god. 1898, 118—140 стр.) и законченная слѣдующими прекрасными строками: „Ruski narod slaveći danas jubilej Puškinov na način, koji je dostojan i pjesnika i naroda, podaje čast ne samo slavnomu pjesniku, nego i osnovaču svoje umjetne poezije, odužuje se uspomeni čovjeka, koji mu je ono, što je Nijemcima Göthe.“

Puškin je već davno osvojio sjajno mjesto u svjetskoj književnosti, njegova su djela prevedena na bezbrojne jezike tako, da je ruskim bibliografima prava muka sastaviti točan popis sviju prijevoda Puškinove poezije. Takovi geniji, kakov bješe Puškin, ne žive samo svome narodu, nego svemu svijetu. Mi Hrvati pridružujemo se slavi ruskoga naroda cijeneći Puškina ne samo kao pjesničkoga prvaka, nego i kao velika Slovena, kao jednu od najsjajnijich zvijezda na širokom obzorju slavenskom (Русскій народъ, слава сегодня юбилей Пушкина способомъ, достойнымъ и поэта и народа, чествуетъ въ немъ не только славного поэта, но и основателя своей художественной поэзии, уплачиваетъ долгъ памяти человѣка, который для него то же, что для нѣмцевъ Гете).

Пушкинъ давно уже занялъ блестящее мѣсто въ міровой литературѣ; его произведения переведены на бѣзчисленные языки, такъ что для русскихъ библиографовъ является чистою мухою составить точный списокъ всѣхъ переводовъ пушкинской поэзіи. Такіе геніи, каковъ Пушкинъ, живутъ не только для своего народа, но и для всего міра. Мы, хорваты, раздѣляемъ славу русскаго народа, цѣна Пушкина не только какъ первого поэта, но и какъ великаго славянина, какъ одну изъ наиискѣшихъ звѣздъ на широкомъ славянскомъ небосклонѣ).

Рѣчь М. Шрепеля важна и вѣкоторыми цѣнными бібліографическими указаніями, которые, конечно, будутъ съ благодарностью приняты къ свѣдѣнію всѣми почитателями пушкинской музы; такихъ указаний особенно много во второй ея половинѣ, гдѣ, если не съ исчерпывающею полнотою, то съ значительной основательностью указаны слѣды вліянія Пушкина на хорватскую литературу, начиная съ известнаго „иллира“ Станка Враза, продолжая Деметероиць, Медо Пудичемъ и др. и оканчивая новѣйшими данными. Указано, напримѣръ, на раннее знакомство Ст. Враза съ стихотвореніями русскаго поэта, изъ которыхъ онъ неоднократно бралъ эпиграфы для своихъ сочиненій, напримѣръ, для сборника „Glase iz dubrave žeravinske“ или баллады „Fredrik i Verunika“, на которой очень сказалось вліяніе поэмы „Бахчисарайскій фонтанъ“; такъ монологъ томящейся въ темницѣ Вероники очень напоминаетъ жалобы Заремы, причемъ у Враза, какъ и у Пушкина, въ этихъ мѣстахъ ихъ произведеній мѣняется самый характеръ наложенія; встречаются совпаденія даже въ отдельныхъ выраженіяхъ.

У Деметера тоже находимъ слѣды вліянія пушкинской поэзіи. Такъ пѣсня невольница-татарокъ въ V отдѣлѣ его поэмы „Grobničko polje“:

Liepo 'e vidjet, na nebesih  
Kad se zora rumeni  
Liepo 'e vidjet, kad se resi  
Ruža listi crveni...

напоминаетъ своимъ построеніемъ такую же пѣсню въ „Бахчисарайскомъ фонтанѣ“:

Даруетъ небо человѣку  
Замѣну слезъ и частыхъ бѣдъ:  
Блаженъ факиръ, узрѣвшій Мекку  
На старости печальныхъ лѣтъ<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Приводимъ кстати эту пѣсню въ хорватскомъ переводѣ Ив. Тернскаго:

Blago nebo dâ čoeku  
Olakšicu mukâ, susâ:  
Blâžen fakir, kaj'na Meku  
U nevolji star dopuza.

И продолжение у обоихъ поэтовъ почти тождественно: One роји... Tatarkan ne сије (у Пушкина: Онъ поють. Но гдѣ Зарема?).

Пѣсня „Prosto zrakom ptica leti“ въ XI отдѣлѣ той же поэмы такъ и напрашивается на сравненіе съ извѣстной пѣсенкою изъ „Цыганъ“: „Птичка Божія не знаетъ“.

Произведенія третьаго „иллира“ Боговича тоже обнаруживаютъ близкое знакомство его съ поэзіею Пушкина. Такъ, въ повѣсти „Slava i ljubav“ введены въ подлинникъ извѣстные стихи о Наполеонѣ изъ VII гл. 37 строфы романа „Евгений Онѣгинъ“: „Напрасно ждалъ Наполеонъ“...

На этой же повѣсти отразилось и вліяніе пушкинского романа „Дубровскій“.

Наконецъ, стихотвореніе „Клеветникамъ Россіи“ отразилось и на Кукульевичевомъ произведеніи „Pjesnikovim klevetnikom“ (Danica, 1845 г.).

Ознакомленіе хорватовъ съ пушкинскою поэзіею неизбѣжно должно было вызвать въ нихъ желаніе обогатить родную словесность возможно большимъ количествомъ переводовъ изъ нея и тѣмъ сдѣлать ихъ доступными и своей народной массѣ.

Уже въ 1842 г. редакторъ „Сербскихъ Новинъ“ Милошъ Поповичъ напечаталъ въ изданіи Ст. Враза „Kolo“ переводъ пушкинской повѣсти „Пиковая дама“ (Pik-Dame); до этого времени у хорватовъ не было переведено ни одного произведенія Пушкина.

Блажень, кто славный берегъ Дунай  
Свою смертью освятитъ:  
Къ нему навстрѣчу дѣва рая  
Съ улыбкой страшной полетитъ  
Но тотъ блаженнѣй, о Зарема,  
Кто, миръ и вѣгу возлюбя,  
Какъ розу, въ тишинѣ гарема.  
Лелѣть, милая, тебя.

Blažen, koji brieg Dunava  
Slavno krvom svom posveti  
S raja djeva ljeposalova  
U susret mu milo leti.  
Blažen tri put tko Zaremu  
U miran si stan unese  
Ticho s ružom u haremu  
Sto milinâ užije se.

А вотъ окончавіе выше начатаго стихотворенія Деметера:

Liepo 'e vidjet, kad rumeni  
Nebokrug večerni plam  
Liepo 'e vidjet, mladoj ženi  
Kad bo'adisa (краситъ) lica sram.  
Nu tatarin sablju cjeni  
Više ješte tri puta.  
Sablju, koju krv crveni  
Svog dušmana ubita (убитаго врага).

Особенно много переводилъ изъ него Ст. Вразъ, уже въ 1845 г. помѣстившій въ своеи сборникѣ „Gusle i tambure“ переводъ стихотворенія „Зимній вечеръ“ (Zimski večer. Этотъ перев. см. въ книжкѣ „А. С. Пушкинъ въ славянскихъ переводахъ“ Варшава, 1899 г., сборникъ Пл. Кулаковскаго).

Изъ другихъ переводовъ Враза, очень цѣнявшихся у сербовъ, отмѣтили „Pticka, Crni zavoj (Черная шаль), Borodinska godovština, Klevetnikom Rusije, Česma (фонтанъ) Bahčisarajkska“. Изъ переводовъ Деметера укажемъ: Vojvoda, Crna koprena (Черная шаль). Къ сожалѣнію, этотъ даровитый поэтъ переводилъ изъ Пушкина очень мало.

Зато у Ивана Тернскаго списокъ пушкинскихъ переводовъ довольно великъ (онъ ихъ помѣщалъ преимущественно во временникахъ: „Glasonoš“, „Neven“, „Vienac“): Bahčisarajski vodomet, Kavkaski zarebljenik (Кавказскій плѣнникъ), Gospodična kao seljanka (Барышня-крестьянка), Onjegin и мн. др. Въ „Невенѣ“ же появился и неизвестно чей переводъ повѣсти „Дубровскій“, довольно удачный.

Графъ Медо Пуцичъ перевелъ „Klevetnicima Rusije“ въ изд. „Dubrovnik“ 1851 г., а переводчикъ Шекспира и Шиллера Спиридонъ Димитровичъ въ 1859 г.—„Ruslan i Ljudmila“ (въ „Narodn. Novinach“ и отдельно), затѣмъ въ 1860 г. вышли въ его переводѣ „Полтава“, „Братья разбойники“, „Цыганы“, „Евгений Онѣгинъ“. Впрочемъ, переводы Димитровича, писателя очень плодовитаго—онъ перевелъ до 100 драмъ—далеко не всегда могутъ похвалиться удачнымъ исполненіемъ дѣла и часто заставляютъ желать многаго, хотя почти всегда отличаются удобопонятностью, что далеко не всегда встрѣчаемъ у другихъ сербохорватскихъ переводчиковъ.

Не безъ удачи переводилъ иногда изъ Пушкина и Маретичъ, переводъ котораго „Капитанской дочки“ (Kapetanova kćи) считается лучшимъ у сербохорватовъ.

Въ изданіи „Hrvatska lipa“ вышелъ недурной ямбическій переводъ „Мѣднаго всадника“ (Mjedni konjik) Брлековича. За послѣднее время очень часто встрѣчались переводы пушкинскихъ произведеній въ изданіяхъ: Hrvatska vila“, „Hrvatska“, „Narodne Novine“, „Dom i sviet“, „Nada“ и др. (а раньше во временникахъ „Slavonac“, „Dragoljub“, „Vienac“ и др.).

Въ 1896 г. въ книгѣ Čitanka iz slavenske i madžarske književnosti помѣщенъ былъ вышеупомянутымъ Маретичемъ правильный переводъ „Полтавы“, а въ изд. „Matica“ вышелъ искусственный ямбиче-

скій переводъ „Бориса Годунова“, сдѣланный Великановичемъ; кстати въ томъ же временникѣ „Matica“ за 1891 г. вышла Шрепелева работа о Пушкинѣ въ книжкѣ „Pjesnički prvaci u prvoj polovini XIX veka“.

Въ первой части рассматриваемой рѣчи г. Шрепеля находимъ нѣкоторыя любопытныя соображенія о знакомствѣ Пушкина съ поэмою „Сербянка“ сербскаго поэта С. Милутиновича, пребываніе котораго въ Кишиневѣ, кстати сказать, совпало съ пребываніемъ въ этомъ городѣ русскаго поэта; именно этимъ знакомствомъ и объясняются, по мнѣнію Шрепеля, нѣкоторые неясные вопросы въ отношеніи состава и источниковъ пушкинскихъ „пѣсень западныхъ славянъ“, напримѣръ, одиннадцатой и двѣнадцатой—о Георгіи Черномъ и о воеводѣ Милошѣ; обѣ эти пѣсни онъ считаетъ перепѣвами изъ „Сербянки“, въ подтвержденіе чего приводить нѣсколько довольно правдоподобныхъ доводовъ въ видѣ близкаго сходства въ содержаніи и даже въ нѣкоторыхъ отдельныхъ выраженіяхъ; для пѣсни о Георгіи Черномъ приводятся соотвѣтствующія мѣста изъ второй книги „Сербянки“, а для пѣсни о Милошѣ—изъ третьей.

Разбирая тѣ изъ „пѣсень западныхъ славянъ“, которыя переведены Пушкинымъ непосредственно изъ Вукова сборника (Соловей, Сестра и братъ), Шрепель находитъ этотъ переводъ въ общемъ прекраснымъ: исключеніе составляетъ то мѣсто первой пѣсни, которое поэтъ неправильно переписалъ изъ сборника Вука Стефановича Караджича и тѣмъ самымъ въ своемъ переводѣ его отступилъ отъ точнаго смысла народной пѣсни. Именно первая печаль молодца у Вука обозначена слѣдующимъ образомъ:

Прва ми је туга на срдашцу моме  
Што ме ни је мајка оженила млада.

Пушкинъ ошибочно переписалъ здѣсь второй стихъ слѣдующимъ образомъ: Што мене је мајка оженила млада, и потому его переводъ:

Какъ ужъ первая забота—  
Рано молодца женили

въ этомъ случаѣ не совпадаетъ съ подлинникомъ, гдѣ сказано наоборотъ; въ остальномъ все удачно.

Прочее содержание рѣчи Шрепеля состоитъ въ изложеніи известной исторіи съ пѣснями Мериме „La Guzla“ Парижъ 1827 г.

Лужичане отмѣтили пушкинское празднество статьею Адольфа Зоммера „Aleksander Sergejevič Puškin, dopomjenka na jeho 100 lětne narodniny“, помѣщеною въ ежемѣсячнику „Lužica“ за 1899 г. (нач. въ № 6). Тамъ же помѣщена и статейка г. М. А. о празднованіи юбилея поэта въ Петербургѣ и остальной Руси (W Pětrohrodzé a ro wscj Ruskej), но, къ сожалѣнію, мы не замѣтили, чтобы чествованіе столѣтней памяти Пушкина оказалось вліяніе на увеличеніе лужицкихъ переводовъ его произведеній; по крайней мѣрѣ даже въ 6—7 №№ названного повременного изданія не оказывается ни одного такого перевода... А это очень жаль, потому что именно среди произведеній Пушкина имѣется множество такихъ, которыхъ вполнѣ пригодны для народной массы и могли бы оказывать на нее здѣсь, какъ и везде, значительное гуманизирующее и облагораживающее вліяніе...

Лучшій литературный органъ словаковъ „Slovanske Pohlady“ тоже не остался чуждъ общаго славянскаго дѣла въ юбилейномъ празднованіи одного изъ величайшихъ славянскихъ поэтовъ; въ этомъ изданіи за 1899 годъ г. I. Шкультетый помѣстилъ обстоятельную статью: Alexander S. Puškin. Na storočnú pamiatku jeho narodenia; эта статья (кн. 6, 7, 9, 10, въ этой послѣдней глава IV Puškin и Slovakov) вмѣстѣ съ новыми переводами изъ юбиляра-поэта являются достаточнымъ доказательствомъ того значительного вниманія, которое удѣлилъ русскому поэту бѣдный и загнанный мадьярами словацкій народъ, столь симпатичный и заслуживающій глубокаго сочувствія со стороны всякаго, кому дороги интересы не только славянства, но и всего человѣчества. Относительно говоря, словаки въ пушкинскомъ юбилеѣ проявили дѣятельнаго участія даже болѣе, чѣмъ иная изъ прочихъ славянскихъ племенъ, гораздо болѣе благополучныхъ въ политическомъ отношеніи и въ вопросѣ: быть или не быть...

Вотъ какъ, между прочимъ, заканчиваетъ свою статью въ 10 книгѣ „Slovan. Pohlady“ 1899 года г. Шкультетый: ...Styky s Rusmi, zaujimajucimi sa za slovanov, ožily, Ruska kniha, ktorá byvala majetkom len niekolkich najlepších, dostáva sa do širších kruhov, značna časť mladeži čítá po rusky, a redakciám je najlahšie o ruske preklady. I meno Puškina dostalo na Slovensku nôvý zvuk. Pravda, ruská literatúra v tom čase bola na vytáznom vyboju v Zapadnej Europe, a vy-

dobytu svoju posiciu i drži; ale u nas politické položenie tak rečem ešte zhoršilo sa a pre poštové pomery ruska kniha zostala drahá, ako byvala. Mnoho závisí od ľudi, od jednotlivcov... (т. е. Сношенія съ русскими, занимающимися славянствомъ, ожили; русская книга, которая бывала прежде достояніемъ только нѣсколькихъ счастливцевъ, распространяется среди болѣе широкихъ круговъ; значительная часть молодежи читаетъ по-русски, и для редакцій получать переводы съ русского очень легко. Имя Пушкина получило у словаковъ новый звукъ. Правда, русская литература была въ Западной Европѣ на побѣдномъ положеніи, которое удерживаетъ и теперь; у насъ же политическое положеніе скорѣе ухудшилось, и вслѣдствіе почтовыхъ причинъ русская книга по прежнему осталась дорогою вещью. Многое зависитъ отъ отдѣльныхъ личностей...). Въ послѣднее время болѣе другихъ переводили изъ Пушкина поэтъ Ваянскій и Само Бодицкій (Полтава и др.), кромѣ того и Людмила Подъяворинская (Пророкъ, Памятніе и др. См. 6-ю книгу „Slov. Pohl.“ 1899 г.).

Червоноруссы также не остались равнодушными къ пушкинскимъ торжествамъ. Такъ, напримѣръ, въ 5 и 6 книгахъ львовскаго ежемѣсячника „Живое Слово“ находимъ цѣлый рядъ важныхъ и неважныхъ статей и сообщеній, посвященныхъ великому поэту. При 5-ї книгѣ помѣщены портретъ Пушкина, и имѣются такія, напримѣръ, работы: „Пушкинскій день“, драматическая фантазія М. Глушковича (въ стихахъ), рѣчь Достоевскаго о Пушкинѣ (перепечат.), очеркъ д-ра Д. Вергуна „Пушкинъ“, статья Лашина „Пушкинъ и его значение для русского народа“, библиографическая справка Ю. Я. „Пушкинъ въ Прикарпатской Руси“, —наконецъ, любопытный этнографический материалъ (подлинныя народныя сказки), предложенный г. Ю. Яворскимъ въ сообщеніи „Къ исторіи пушкинскихъ сказокъ“. Въ книгѣ 6-й имѣется стихотвореніе Д. Вергуна „Памяти Пушкина“ и сообщенія его же и Ю. Яворскаго о празднованіи пушкинскихъ дней въ Вѣнѣ, Петербургѣ, Львовѣ, о пушкинскомъ юбилеѣ въ галицко-русской печати.

„Дѣло“ въ №№ 117, 120, 127, 136 и друг. (Львовъ, 1899 г.) помѣстило слѣдующія статьи и работы: Л. Турбацкій „Ювилей А. С. Пушкина“, М. Старицкій „Зъ поэзій А. С. Пушкина“ (Зимній вечѣръ, Талисманъ, Элегія, Вязень (т. е. узникъ), Пушкинова Наташа, Зъ поэзіи Пушкина (перелож. Б. Лепкаго), „Пушкинское утро въ Львовѣ“. Въ повременному изданіи „Русское Слово“ (Львовъ) наход-

димъ въ № 22 статью г. В. Я(нчакъ) „Столѣтіе рожденія наибольшаго русскаго поэта А. С. Пушкина“ съ портретомъ; другія статьи и замѣтки: „Пушкинъ а поляки“, Торжество въ честь Пушкина въ Львовѣ (№ 25). Въ № 117 „Руслана“ имѣется статья „Свято Пушкина“. Во временникѣ „Страхопудъ“ (Львовъ) помѣщены были статьи: „Памяти Пушкина“ стихотвореніе ѡ. Савинова (№ 10 — 11), А. С. Пушкинъ (съ портретомъ).

„Свобода“, літературно-науковий вістник (Львовъ), напечатала нѣсколько „переложеній изъ поэзіи Пушкина“, сдѣланныхъ гг. М. Старицкимъ и І. Стешенкомъ (вып. VI. отд. I, стр. 306 — 310) и статей, нашр.: „Ювілей російскої літератури и наші літературні поэзи“; „А. С. Пушкин в українських перекладах“ (отд. 2, стр. 148—157).

Въ „Галичанинѣ“ за 1898 и 1899 гг. болѣе замѣчательны слѣдующія статьи и замѣтки: О. А. Мончаловскій „Вѣковой юбилей рожденія А. Пушкина“ съ портретомъ (прилож. къ № 117); М. В. Дѣдовъ: „Пушкинъ въ польской литературѣ“ (№№ 122—127); „Пушкинскія торжества въ Вѣнѣ“ (№ 123); „Пушкинскія торжества въ Львовѣ“ (№ 127, 129, 133); „А. Пушкинъ—всерусскій поэтъ“ (№ 133—4, рѣчъ Ю. Яворскаго), „Поэзія Пушкина“ (рѣчъ). Отмѣтимъ еще, что въ Львовѣ основывается „Литературное Общество им. Пушкина“, задачею кото-раго будетъ изученіе и распространеніе русской литературы. (См. „Ізвѣстія по литературѣ, наукѣ и бібліографії“, изд. М. О. Вольфъ, 1899 г., № 1, октябрь).

Словинскія, или хорутанскія изданія, каковы, напримѣръ, Slovanski Svet, Ljubljanski Zvon, тоже не обошли безъ пушкинскихъ статей того или другаго характера и безъ переводовъ изъ Пушкина, притомъ иногда напечатанныхъ кириллицею; во второмъ изъ этихъ изданий за 1899 г. находимъ статью о словенскихъ переводахъ изъ этого поэта, очень полезную для пушкинскай бібліографії (такая же статья относительно словацкой литературы была помѣщена въ словацкомъ изданіи „Slovenske Pohladu“ за 1898 г., а относительно сербской—еще раньше, именно въ 1888 г. въ „Лѣтописи“ сербской матицы). Впрочемъ, что касается словинскихъ переводовъ изъ Пушкина, то ихъ все еще очень мало, но можно надѣяться, что пушкинскій юбилей послужить могучимъ толчкомъ къ увеличенію количества этихъ переводовъ, столь необходимыхъ для народной массы, если уже оставить въ сторонѣ образованный слой словинцевъ. Замѣтимъ кстати, что русское читающее общество, благодаря вышедшей къ юбилею

вышеуказанной книжкѣ г. Ил. Кулаковскаго „А. С. Пушкинъ въ славянскихъ переводахъ“ (Варшава, 137 стр., ц. 1 р.), имѣть полную возможность самолично ознакомиться съ разными славянскими переводами произведеній своего великаго поэта и оцѣнить ихъ достоинства и недостатки.

Въ предложенномъ краткомъ обзорѣ пушкинской юбилейной литературы у славянъ мы не имѣли въ виду исчерпывающей полноты данныхъ, для чего, между прочимъ, и не обладали достаточнымъ количествомъ материаловъ, добываніе которыхъ при современномъ состояніи междуславянскихъ книжныхъ и др. сношеній еще очень затруднительно; мы желали дать только общую, посильную *характеристику* литературнаго участія различныхъ славянскихъ племенъ въ празднованіи столѣтія рожденія Пушкина. Хотѣлось бы вѣрить, что на сдѣланномъ до сихъ поръ славянами для усвоенія себѣ произведеній Пушкина и распространенія среди народныхъ массъ его великаго имени и славы они не остановятся, что это—только начало предстоящей имъ великой и дружной работы. Такой нерукотворный памятникъ, созданный славянами ихъ величайшему и симпатичнѣйшему пѣвцу, быль бы, конечно, наилучшимъ и прочнѣйшимъувѣковѣченіемъ его имени въ народахъ и самымъ цѣлесообразнымъ исполненіемъ его чудныхъ художественныхъ завѣтовъ.

---

## **А. С. Пушкинъ въ Каменкѣ.<sup>1)</sup>**

Тебя, Раевскихъ и Орлова,  
И память Каменки любя,  
Хочу сказать тебѣ два слова...

*Изъ письма А. С. Пушкина В. Л. Давыдову.*

Въ Чигиринскомъ уѣздѣ Киевской губерніи, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи Фастовской желѣзной дороги Каменки, раскинулось по берегамъ р. Тясмина значительное мѣстечко съ обширной барской усадьбой Давыдовыхъ, въ которой повсюду, даже надъ многочисленными новшествами позднѣйшихъ временъ, до сахарного завода

<sup>1)</sup> Подготавляя чествование при Университетѣ св. Владимира юбилея А. С. Пушкина, комиссія поручила мнѣ отправиться въ Каменку, чтобы сдѣлать снимки съ наиболѣе замѣчательныхъ ея мѣстъ и вообще собрать все, что относится къ пребыванію въ ней А. С. Пушкина. Въ началѣ марта 1899 года я посѣтилъ Каменку, выѣхавъ съ фотографомъ-любителемъ, студентомъ Университета св. Владимира А. Т. Васильевымъ. сдѣлавшимъ рядъ снимковъ, которые были на Пушкинской выставкѣ при Университетѣ св. Владимира, и нынѣ находятся въ библиотекѣ названнаго Университета; большинство изъ этихъ снимковъ приложено къ юбилейному университетскому сборнику въ память А. С. Пушкина; для сборника были выбраны тѣ фотографіи, которыхъ даютъ общее представление о Каменкѣ или же воспроизводятъ отдѣльныя мѣста, связанныя съ именемъ нашего поэта. Такихъ мѣстъ въ Каменкѣ сохранилось не много; еще меньше другихъ слѣдовъ пребыванія А. С. Пушкина въ Каменкѣ. Портретовъ, автографовъ Пушкина я не нашелъ тамъ, старыхъ изданій его сочиненій — тоже. Въ архивѣ писѣвія, какъ мнѣ нѣсколько разъ было повторено Н. В. Давыдовымъ и другими лицами, ничего, кроме конкурсныхъ и под. дѣлъ, нѣть. Фамильныхъ портретовъ семьи Давыдовыхъ на мѣстѣ не оказалось, и портреты, приложенные къ сборнику, взяты изъ коллекціи

включительно, въеть какая-то величавая печаль, слѣдъ бытой, пережитой, невозвратимой славы.

Берега Тясмина здѣсь довольно возвышенны; въ одномъ мѣстѣ они нѣсколько сближаются и образуютъ нависшіе надъ рѣкой скалистые утесы, отъ которыхъ и самое мѣстечко получило свое название; особенно красивы утесы съ рѣки. У этихъ утесовъ, говорятъ, любилъ отдыхать покойный П. И. Чайковскій, подъ тихій рокотъ и плескъ струй Тясмина.

Большою проѣзжую дорогой усадьба Давыдовыхъ раздѣляется на двѣ части. Правая (если смотрѣть съ стороны рѣки) теперь полузаброшена. Лучше всего въ ней сохранилась Свято - Николаевская деревянная церковь, построенная „въ 1817 году тщаніемъ генераль-майорши Екатерины Давидовой“. Недавно, въ 1893 году, она была обновлена, но безъ крупныхъ измѣненій ея первоначального вида. Неподалеку отъ церкви, правѣе и ближе къ рѣкѣ, стоялъ большой домъ, опустѣвшій послѣ декабрьскихъ событий 1825 г., а позднѣе и совсѣмъ снесенный; на мѣстѣ его теперь разрастается молодой фруктовый садъ. Еще правѣе и ближе къ Тясмину находится искусствен-

Д. Л. Давыдова. Много портретовъ, по словамъ Н. В. Давыдова, хранится въ Юрчихѣ (возлѣ Каменки) у П. В. Давыдова и его сына, но попасть туда, въ виду отсутствія владѣльцевъ Юрчихи, мнѣ никакъ не удалось. Сохранились въ семействѣ гг. Давыдовыхъ нѣкоторыя воспоминанія объ А. С. Пушкинѣ; они были любезно сообщены мнѣ и изложены въ настоящей статьѣ. Вообще, гг. Давыдовы, несмотря на нѣсколько неожиданный для нихъ прїездъ нашъ, отнеслись къ намъ съ рѣдкимъ гостепріимствомъ, любезностью и участіемъ, о которыхъ мы вспоминаемъ съ чувствомъ самой глубокой, искренней признательности. Нѣкоторыми указаніями мы были обязаны мѣстному священнику В. В. Радзимовскому, давно живущему въ Каменкѣ и женатому на дочери старожила Каменки, бывшаго мѣстнаго же священника; пользуясь случаемъ еще разъ выразить благодарность о. Радзимовскому и его женѣ, а также и другимъ лицамъ, оказавшимъ намъ содѣйствіе въ Каменкѣ.

Въ концѣ апрѣля 1899 г. я єздилъ въ Екатеринославъ съ цѣлью поискать и тамъ чѣго-либо, относящагося къ А. С. Пушкину. Въ мѣстной газетѣ, *Приднѣпровскомъ Край*, не мало писали о Пушкинѣ и среди мѣстныхъ жителей я встрѣтилъ самое живое участіе къ своимъ поискамъ, но съ точностью нельзя было даже установить, где жилъ поэтъ: одни помѣщали его на Мандрыковкѣ, предмѣстѣ Екатеринослава, другіе — въ усадьбѣ бывшей Александрова, нынѣ Глуберманъ, на Литейной улицѣ, возлѣ завода г. Заславского; и въ томъ, и въ другомъ мѣстѣ старыхъ построекъ не сохранилось, мѣстность измѣнилась до неузнаваемости. Что касается разсказовъ о Пушкинѣ, то всѣ они носатъ анекдотическій характеръ. Дѣль о Пушкинѣ въ архивѣ Губернскаго Правленія мнѣ не удалось найти.

ный гротъ, по рассказамъ, служившій нѣкогда лѣтнею столовою; въ настоящее время это чисто побѣленный погребъ, гдѣ складываются разные овощи и фрукты. Съ грота открывается одинъ изъ лучшихъ видовъ Каменки: по склонамъ возвышенія, на которомъ расположена усадьба, спускается садъ; подальше, за лугомъ, длинной лентой тягнется Тясминъ; за нимъ въ беспорядкѣ раскинулась зарѣчная часть мѣстечка. Нѣкогда, садъ былъ гораздо больше и доходилъ почти до самой рѣчки; онъ былъ гордостью усадьбы, лучшей красотой ея, о чемъ теперь безмолвно свидѣтельствуютъ грандіозные пни срубленныхъ великановъ да нѣсколько уцѣлѣвшихъ внизу противъ грота старыхъ деревьевъ; но и послѣднія обречены уже на смерть, такъ какъ среди нихъ развился какой-то вредный древесный паразитъ, для борьбы съ которымъ дѣйствительно лишь одно средство—уничтоженіе зараженного дерева.

Лѣвая, въ настоящее время главная, часть усадьбы полна новой жизни, которая смела здѣсь всякие остатки старины. Всѣ постройки здѣсь новы и своимъ видомъ, отчасти даже мѣстоположеніемъ, мало напоминаютъ то, что смылили онѣ. Таковъ же и садъ; къ большей части его примѣнимы слова Пушкина:

Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,  
Теперь младая роща разрослась.

Былое уцѣлѣло лишь въ воспоминаніяхъ да на любопытномъ рисункѣ, хранящемся у Давыдовыхъ съ пятидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія, когда онъ былъ сдѣланъ однимъ изъ Давыдовыхъ карандашемъ съ натуры. Рисунокъ представляетъ современный ему видъ именно лѣвой части усадьбы, а эта часть помѣстя съ двадцатыхъ годовъ и до той поры, къ которой относится рисунокъ, почти не измѣнялась, если не считать хатъ, нарисованныхъ на переднемъ планѣ рисунка и построенныхъ послѣ 1825 г. Такимъ образомъ, видъ Каменки по этому рисунку даетъ представление и о томъ, какими были во времена Пушкина мѣста, впослѣдствіи измѣнившіяся до неузнаваемости, до полнаго уничтоженія всѣхъ вещественныхъ памятниковъ старины, столь дорогихъ, какъ увидимъ далѣе, памятью о великому поэту.

На рисункѣ виденъ флигель—крайній справа изъ находящихся на возвышеніи построекъ<sup>1)</sup>; въ немъ жили молодые члены семьи, оста-

<sup>1)</sup> „Большой“ домъ, какъ сказано выше, былъ въ правой части усадьбы.

навливались гости; лѣвѣ и ниже—„маленькій сѣренкій домикъ“<sup>1)</sup> съ колонками, т. н. бильярдная, которая, какъ и нынѣшній „зеленый домикъ“, стоящій на ея мѣстѣ<sup>2)</sup>, была окружена садомъ, но этотъ послѣдній тогда былъ значительно меныше и доходилъ лишь до обрыва. Въ бильярдной, посрединѣ комнаты, стоялъ бильярдъ, а у стѣнъ помѣщались книги, такъ что здѣсь, повидимому, была и библиотека. Разсказываютъ, будто въ бильярдной собирались декабристы, съ имѣнемъ которыхъ соединяется въ Каменкѣ еще одинъ оригинальный памятникъ старины, существующій и понынѣ—старая водяная мельница, находящаяся нѣсколько въ сторонѣ отъ усадьбы. Колесъ и другихъ мельничныхъ принадлежностей въ ней не видно; она давно уже не дѣйствуетъ, и сомнѣваются, дѣйствовала ли она когда-нибудь; построенная изъ камня и кирпича, она напоминаетъ какую-то башню и стоитъ одиноко, наглухо заколоченная, какъ-то странно выдѣляясь своимъ необычнымъ видомъ и угрюмымъ молчаньемъ среди шума, движенья проѣзжей дороги и сахарного завода. Носится слухъ, будто строитель ея выдалъ декабристовъ, собиравшихся въ Каменкѣ, и съ тѣхъ поръ мельница заброшена; другіе указываютъ на нее, какъ на мѣсто тайныхъ собраній декабристовъ...

Еще не такъ давно въ Каменкѣ много можно было услышать о далекихъ прошлыхъ временахъ и событияхъ, которыми такъ богатъ этотъ уголокъ съ его обитателями, игравшими не послѣднюю роль въ общественной нашей жизни. Ходить и теперь не мало различныхъ рассказовъ, но живыхъ свидѣтелей минувшихъ дней—немного, а для двадцатыхъ годовъ почти и вовсе нѣть. Живеть въ Каменкѣ Ирина Зубрицкая, старуха 85 лѣтъ по определенію мѣстнаго священника; сама она ужъ потеряла счетъ своимъ годамъ. Она родилась въ Каменкѣ, долго служила семейству Давыдовыхъ, была замужемъ за ихъ старымъ слугой, помнитъ, что девоchkой была взята къ барскому двору, что за покойную барыню Екатерину Николаевну жили очень весело, гости наѣзжали часто; о Пушкинѣ ничего не знаетъ и только въ концѣ разговора замѣтила, что это, вѣрно, былъ тотъ главный, изъ-за кото-раго и въ Сибирь пошли.—Пушкинъ не изъ тѣхъ, что сосланы были, пояснили старухѣ.—Значитъ, онъ вывернулся, а другіе пошли, такъ заключила Зубрицкая.

<sup>1)</sup> Такъ выгляделъ онъ, по словамъ мѣстной старожилки-крестьянки.

<sup>2)</sup> См. домикъ на переднемъ планѣ слѣва, по фотографіи, изображающей „часть усадьбы Давыдовыхъ въ Каменкѣ, въ ея нынѣшнемъ видѣ“.

Среди владѣльцевъ Каменки, которыхъ мнѣ удалось видѣть, есть лица, сохранившія смутную память о встрѣчѣ съ Пушкинымъ, относящейся, впрочемъ, не ко времени пребыванія Пушкина въ Каменкѣ, а къ тридцатымъ годамъ. Удержались кое-какія воспоминанія и о той порѣ, когда Пушкинъ бывалъ въ Каменкѣ, но это лишь отзвуки слышаннаго, во всякомъ случаѣ очень интересные и цѣнныя, такъ какъ исходятъ они отъ ближайшихъ участниковъ событій двадцатыхъ годовъ.

Жили въ Каменкѣ до декабрьской катастрофы широко. Во главѣ семьи стояла Екатерина Николаевна Давыдова, урожденная Самойлова, племянница свѣтлѣйшаго князя Потемкина <sup>1)</sup>. Въ первомъ бракѣ она была за Раевскимъ, и Н. Н. Раевскій, известный генералъ 12-го года, былъ сыномъ ея отъ этого брака; вторично вышла замужъ за Льва Денисовича Давыдова. Объ Екатеринѣ Николаевнѣ въ Каменкѣ сохранилась память, какъ о женщінѣ съ большимъ характеромъ, умомъ и вліяніемъ; все вокругъ нея жило полною жизнью. Кромѣ Давыдовыхъ, семья которыхъ была довольно значительна, въ Каменкѣ живали Раевскіе, бывали гости. И. Д. Якушкинъ, случайно попавшій въ Каменку, оказался въ обществѣ Давыдовыхъ, генерала Раевскаго и его сына Александра, Пушкина, Орлова и Охотникова <sup>2)</sup>. 24-го ноября, въ день именинъ хозяйки, давались балы, на которые собиралось много гостей <sup>3)</sup> и даже, по разсказамъ, гвардейцы прѣѣзжали изъ Петербурга. Надъ обрывомъ, приблизительно тамъ, где теперь въ новомъ саду „шампинъонъ“, въ торжественные дни палили изъ пушекъ, и т. п. Но не однимъ весельемъ занимались въ Каменкѣ. Бокъ-о-бокъ съ бильярдомъ помѣщалась библіотека; и доселѣ уцѣлѣло нѣсколько прекрасныхъ старыхъ французскихъ изданій, свидѣтельствующихъ о серьезнѣ интересѣ и развитомъ вкусѣ тѣхъ, кому служила библіотека. Одинъ изъ сыновей Екатерины Николаевны, Василій Львовичъ, былъ „ревностнымъ членомъ Тайного Общества“ и кончилъ жизнь въ Красноярскѣ. По словамъ бар. Розена онъ отличался и въ обществѣ, и въ ссылкѣ своею прямотою, бодростью и остроуміемъ <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Такъ значится и въ запискѣ Д. Л. Давыдова, приложенной къ портрету Е. Н. Давыдовой. Она была сестра ген. прокурора гр. А. Н. Самойлова (см. В. Руммель и В. Голубцовъ, Родословный Сборникъ, II, 353—354). Гротъ сообщаетъ о родствѣ не совсѣмъ точно (Пушкинъ, его лицейские товарищи и наставники, 2 изд., стр. 276).

<sup>2)</sup> Записки Ивана Дмитріевича Якушкина, Лейпцигъ, 1874 г., стр. 65.

<sup>3)</sup> Ср. И. Д. Якушкина, стр. 64.

<sup>4)</sup> Слова И. Д. Якушкина, стр. 66; Записки Декабриста, Лейпц. 1871, с. 234.

Молодые Раевские съ высокими нравственными качествами своего отца соединяли рѣдкое по тому времени образованіе. Они интересовались поэзіей, знакомы были съ иностранной литературой, читали Вальтеръ-Скотта и Байрона въ то время, когда ихъ, особенно послѣдняго, почти не знали наши даже записные литераторы. Младшій сынъ генерала Раевскаго, тоже Николай Николаевичъ, страстно любилъ литературу, музыку, живопись, и самъ писалъ стихи: онъ довольно долго оставался однимъ изъ главныхъ совѣтниковъ Пушкина въ дѣлахъ литературы, и его литературные взгляды, насколько о нихъ можно судить по нѣкоторымъ даннымъ, отличались глубиной, оригинальностью и вѣрностью. Объ Александрѣ Николаевичѣ Раевскомъ сложилось мнѣніе, какъ объ одномъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей своего времени; его склонны были видѣть въ демонѣ Пушкинского стихотворенія 1823 г. Съ старшей изъ дочерей Раевскаго, Екатериной Н., за которую позднѣе утвердилось название „Марфы Посадницы“, Пушкинъ часто разговаривалъ и спорилъ о литературѣ. Стыдливая, серьезная и скромная Елена Николаевна Раевская, хорошо знала англійскій языкъ, переводила Байрона и Вальтеръ-Скотта по-французски. „Благороднѣйшій изъ людей“ Михаилъ Федоровичъ Орловъ, съ 1821 г. мужъ старшей дочери Раевскаго, занимался въ Кіевѣ дѣлами біблейского общества, участвовалъ въ *Арзамасѣ* подъ именемъ *Рейна*, былъ основателемъ московской школы живописи и ваянія<sup>1)</sup>. Каменка имѣла свое мѣсто въ исторіи развитія тайныхъ обществъ на югѣ Россіи. Правда, Анненковъ пытался подорвать такое значеніе ея и находилъ, что ни во время Пушкина, ни позднѣе Каменка не отличалась твердымъ служеніемъ какой-либо политической идеѣ или яснымъ пониманіемъ и преслѣдованіемъ какой-либо цѣли и задачи пропаганднаго свойства; но доказательства Анненкова не вполнѣ убѣдительны, и если даже согласиться съ ними, то все же нельзя будетъ отрицать того, что Каменка являлась однимъ изъ центровъ умственной жизни края; самъ Анненковъ призналъ, что благодаря обществу Раевскихъ умъ Пушкина настроенъ былъ гораздо серьезнѣе, чѣмъ когда-либо прежде, а Каменка неотдѣлма отъ Раевскихъ<sup>2)</sup>, съ чѣмъ, повидимому, былъ согласенъ и Анненковъ, судя по

<sup>1)</sup> А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, Анненкова, стр. 151—2; Пушкинъ въ Южной Россіи, Бартенева, Р. Архивъ 1866, 1115, 1130—1; Изъ дневника п воспоминавій Лишанди, ibid., стр 1441; Гротъ, дит. соч., стр. 52; Майковъ, II—III 140.

<sup>2)</sup> А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 181 и д. 158, 154.

слѣдующимъ его словамъ: „Словно для окончанія предварительного его воспитанія (во время путешествія съ Раевскими) онъ (Пушкинъ) прѣхалъ еще на возвратномъ пути къ нимъ, въ извѣстную Каменку, село Раевскихъ-Давыдовыхъ!“.

Здѣсь дѣло идетъ о первой поѣздкѣ Пушкина въ Каменку. Бартеневъ, Анненковъ, а за ними и другіе біографы Пушкина пишутъ, что эта поѣзда была завершеніемъ путешествія Пушкина съ Раевскими и что Пушкинъ прїѣхалъ въ Каменку прямо изъ Крыма. Но въ Крыму, по даннымъ Бартенева, Пушкинъ прожилъ до второй половины сентября, а 24-мъ сентября помѣчено письмо поэта изъ Кишинева брату Льву. Могъ-ли Пушкинъ такъ скоро сѣѣздить въ Киевъ и Каменку изъ Крыма и въ Кишиневъ изъ Каменки? По всей вѣроятности — нѣтъ, и въ такомъ случаѣ придется предположить одно изъ двухъ: или Пушкинъ раньше выѣхалъ изъ Крыма, или въ Каменку онъ прїѣхалъ не прямо изъ Крыма, а уже изъ Кишинева. Въ пользу второго предположенія говорить слѣдующее: въ названномъ письмѣ къ брату Пушкинъ весьма обстоятельно разсказываетъ все, что случилось съ нимъ со времени прїѣзда въ Екатеринославъ; разсказъ заканчивается описаніемъ жизни въ Крыму и обрывается на словахъ: „другъ мой, любимая моя надежда увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся? Теперь я одинъ въ пустынной для меня Молдавіи“. О Каменкѣ нѣтъ ни малѣйшаго упоминанія. Въ другихъ письмахъ, какъ и въ стихотвореніяхъ, насколько мнѣ извѣстно, также не сохранилось никакихъ указаний на то, чтобы Пушкинъ въ сентябрѣ 1820 г. жилъ въ Каменкѣ или въ Киевѣ. Съ другой стороны, дата на письмѣ Пушкина къ Гнѣдичу свидѣтельствуетъ, что Пушкинъ 4 декабря находился въ Каменкѣ; прїѣхалъ онъ туда, конечно, послѣ 24-го сентября, но до 24-го ноября, какъ на это вполнѣ опредѣленно указываютъ *Записки И. Д. Якушкина*, который прїѣхалъ въ Каменку передъ 24-мъ ноября и засталъ уже Пушкина <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Бартеневъ относилъ этотъ прїѣздъ Якушкина къ ноябрю 1822 г., либо 1821 г.—„по соображенію обстоятельствъ“, но что это за обстоятельства, онъ не указалъ, и мнѣ думается, что совпаденіе датъ письма Пушкина и Записокъ Якушкина говоритъ за достовѣрность послѣднихъ. См. *Записки И. Д. Якушкина, Лейпцигъ, 1874, стр. 64*; Бартеневъ, цит. соч. 1182—4. Прибавлю, что Якушинъ, повидимому, прїѣхалъ въ Каменку сравнительно задолго до 24, либо колебалсяѣхать туда, зная, что „собирается много гостей къ 24 ноября, на именины его (В. Л.

Такимъ образомъ, всего черезъ какой-нибудь мѣсяцъ, полтора послѣ первого посѣщенія Пушкинъ снова въ Каменкѣ, побывавъ въ Кишиневѣ словно для того только, чтобы представиться начальству; но если дѣйствительно Пушкину надо было явиться къ Инзову и заявить о возвращеніи изъ отпуска, то не проще ли было сдѣлать это по дорогѣ изъ Крыма и затѣмъ направиться въ Каменку вслѣдъ за Раевскими? Утверждала, что Пушкинъ проводилъ Раевскихъ изъ Крыма до Каменки, Бартеневъ, какъ кажется, полагался на слова кн. М. Н. В—ой (Марії Николаевны Волконской, урожденной Раевской), но та въ 1820 г. была еще девочкой и легко могла смышать время первого прїѣзда Пушкина и обстоятельства, при которыхъ она совершился<sup>1)</sup>. Екатерина Николаевна Раевская-Орлова, наоборотъ, отрицала, чтобы Пушкинъ изъ Крыма проводилъ Раевскихъ до Каменки; послѣ посѣщенія Бахчисарай онъ, по ея словамъ, доѣхалъ съ ними только до Симферополя или, можетъ быть, до Перекопа,—и въ этомъ она, несомнѣнно, права была, вопреки Я. Гrotу<sup>2)</sup>.

Одно изъ наиболѣе раннихъ стихотвореній слѣдующаго года написано 8 февраля въ *Кievъ*, куда поэтъ прїѣжалъ въ связи съ предстоявшей свадьбой Екатерины Николаевны Раевской и М. Ф. Орлова<sup>3)</sup>; 20-мъ февраля помѣчено окончаніе въ Каменкѣ *Кавказскаго Пльника*; 22-го тамъ же написана элегія *Я пережилъ свои желанья...* 23-го марта Пушкинъ пишетъ Дельвигу уже изъ Кишинева. Ничего опредѣленнаго о дальнѣйшихъ посѣщеніяхъ Каменки нельзя сказать; въ изданіи сочиненій Пушкина подъ ред. П. О. Морозова, стихотво-

Давыдова) матери<sup>4)</sup>; судя же по дальнѣйшему, въ домѣ были почти одни родные Давыдовы да Пушкины.

<sup>1)</sup> Бартеневъ, цит. соч. 1121.

<sup>2)</sup> См. его цит. соч., стр. 53.

<sup>3)</sup> У Анненкова мы читаемъ, что „генераль Инзовъ отпустилъ Пушкина въ Киевъ отпраздновать свадьбу генерала М. Ф. Орлова, который женился на одной изъ Раевскихъ, Екатеринѣ Николаевнѣ“. Цит. соч. стр. 180. Но въ письмѣ Пушкина В. Л. Давыдову, отъ начала апрѣля, объ Орловѣ говорится лишь какъ о женихѣ:

Межъ тѣмъ какъ генераль Орловъ,  
Обритый рекрутъ Гименея,  
Священной страстью пламенѣя,  
Подъ мѣрку подойти готовъ...

По словамъ Екатерины Николаевны, свадьба ея была въ маѣ 1821 г.; Пушкинъ на ней не присутствовалъ. Гrotъ, цит. соч., стр. 53.

реніе *Адели* датировано такъ: ноябрь 1822. Каменка. Если эта дата достовѣрна, то она свидѣтельствуетъ о томъ, что до конца 1822 г. поѣздки Пушкина въ Каменку не прекращались; но какъ полагаться на подобныя доказательства, когда, напримѣръ, тамъ же, подъ стихотвореніемъ 1820 г. *Мыль васъ не жаль, юда весны моей...* значится: Юрзуфъ, 20 октября?!

Объ одномъ изъ прїездовъ сохранился разсказъ, который мнѣ передавали со словъ старшой дочери и жены Василія Львовича<sup>1)</sup>: Пушкинъ прїхалъ въ какой-то странной повозкѣ; весь запыленный, съ порывистыми движеніями, живою рѣчью, онъ показался встрѣтившей его дѣвочкѣ совершенно необычнымъ, и та бросилась отъ него, крича, что привезли сумасшедшаго.

Въ какомъ домѣ жилъ Пушкинъ, неизвѣстно; но два мѣста въ Каменкѣ особенно связаны съ именемъ его: гротъ и бильярдная. Старожилы Каменки увѣряютъ, будто до побѣлки, которая была произведена не очень давно, въ гротѣ можно было видѣть не мало разныхъ надписей и стихотвореній, въ томъ числѣ Пушкинскихъ; садовникъ также говорилъ, что были въ гротѣ какіе-то знаки и цифры, но какие именно—этого объяснить онъ не могъ. Я пытался мѣстами отчищать известку, но это оказалось далеко не легкимъ дѣломъ, такъ какъ гротъ былъ выбѣленъ очень основательно и прочно; къ тому же я не могъ слишкомъ увлекаться своею работой,—и результаты послѣдней ничего не дали. Какъ бы тамъ ни было, въ мѣстномъ обществѣ гротъ слыветъ подъ именемъ Пушкинского.

Бильярдныхъ было двѣ: одна въ большомъ домѣ, подлѣ гостиной, а другая — въ особомъ домикѣ, описанномъ выше. Такъ какъ въ бильярдной Пушкинъ, по преданію, работалъ, то по всей вѣроятности это было не въ большомъ домѣ, гдѣ заниматься было трудно; къ тому же, сомнительно, чтобы Пушкинъ жилъ въ большомъ домѣ, а изъ любого помѣщенія въ лѣвой части усадьбы ближе и удобнѣе итти заниматься въ находящуюся здѣсь же бильярдную съ библіотекой, чѣмъ въ большой домѣ.

Въ Каменкѣ, какъ извѣстно, Пушкинъ окончилъ *Кавказскаго Пленника* и писалъ его, по разсказамъ гг. Давыдовыхъ, именно въ бильярдной, растянувшись на бильярдѣ. Работалъ онъ, не отрываясь отъ бумаги, и однажды былъ такой случай: Пушкина позвали обѣдать; онъ велѣлъ

<sup>1)</sup> Обѣихъ нѣтъ уже въ живыхъ.

лакею принести рубашку, чтобъ переодѣться къ обѣду, а самъ продолжалъ писать; лакей принесъ рубашку, Пушкинъ пишетъ; лакей въ выжидательной позѣ стоитъ съ рубашкой, Пушкинъ не обращаетъ на него вниманія и пишетъ, пишетъ...

Пушкинъ въ Каменкѣ, повидимому, не отличался особенной аккуратностью; по крайней мѣрѣ, сохранилось преданіе, что Василій Львовичъ по уходѣ нашого поэта запиралъ двери, чтобы никто изъ прислуги не разбросалъ листиковъ съ набросками и стихами его.

Среди написанного въ Каменкѣ мы не находимъ ни одного стихотворенія, относящагося непосредственно къ Каменкѣ и ея природѣ. Пріѣхавъ въ Каменку, поэтъ переносится мыслю туда,

Гдѣ стройно тополи въ долинахъ вознеслись,  
Гдѣ дремлетъ иѣжный миръ и темный кипарисъ,  
И сладостно шумятъ таврическія волны...<sup>1)</sup>.

Это и понятно, такъ какъ скромная краса Каменки сразу послѣ пышнаго юга должна была показаться Пушкину блѣдной, особенно—позднею осенью и зимой. Къ сожалѣнію, ничего опредѣленного неизвѣстно о томъ, пріѣзжалъ ли Пушкинъ въ Каменку весною и лѣтомъ; но если пріѣзжалъ, какъ на то смутно указываетъ сохранившееся у Давыдовыхъ преданіе, то трудно допустить, чтобъ для чуткой души поэта совершенно безслѣдно прошли впечатлѣнія меланхолической украинской природы, среди которой ему приходилось находиться во время побѣздокъ въ Каменку и въ самой Каменкѣ; быть можетъ, отзвуки такихъ именно, исподволь, незамѣтно накоплявшихся впечатлѣній донеслись къ намъ въ *Поэтовъ...*

Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ  
Сребристыхъ тополей листы.  
Луна спокойно съ высоты  
Надъ Бѣлой Церковью сіяетъ  
И пышныхъ гетмановъ сады  
И старый замокъ озаряетъ.  
И тихо, тихо все кругомъ...

<sup>1)</sup> Сочиненія подъ ред. П. О. Морозова, I, 225.

Не вѣрится, чтобы такъ могъ писать тотъ, кто самъ не испыталъ настроенія украинской ночи, кто не былъ подъ обаяніемъ ея.

Равнодушный къ самой Каменкѣ, Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ ея общества. „Мой другъ“, писалъ онъ брату: „счастливѣйшія минуты жизни моей провелъ я посреди семейства почтеннаго Раевскаго. Я не видѣлъ въ немъ героя, славу русскаго войска — я въ немъ любилъ человѣка съ яснымъ умомъ, съ простой, прекрасной душою; снисходительнаго, попечительнаго друга; всегда милаго, ласковаго хозяина. Свидѣтель Екатерининскаго вѣка, памятникъ 12-го года, человѣкъ безъ предразсудковъ, съ сильнымъ характеромъ и чувствительный, онъ невольно привязетъ къ себѣ всякаго, кто только достоинъ понимать и цѣнить его высокія качества. Старшій сынъ его будетъ болѣе, нежели извѣстенъ. Всѣ его дочери прелесть; старшая — женщина необыкновенная“. Эти строки написаны еще подъ впечатлѣніемъ путешествія по Кавказу и Крыму, но Каменка не охладила отношеній поэта къ Раевскимъ, если не закрѣпила ихъ.

Въ другомъ письмѣ, написанномъ въ Каменкѣ, 4 декабря 1820 г., читаемъ: „Вотъ уже восемь мѣсяцевъ, какъ я веду странническую жизнь... Былъ я на Кавказѣ, въ Крыму, въ Молдавіи, и теперь нахожусь въ Киевской губерніи, въ деревнѣ Давыдовыхъ, милыхъ и умныхъ отшельниковъ, братьевъ генерала Раевскаго. Время мое протекаетъ между аристократическими обѣдами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь разсѣянное, было недавно — разнообразная и веселая смѣсь умовъ оригиналныхъ, людей извѣстныхъ въ нашей Россіи, любопытныхъ для незнакомаго наблюдателя. Женщинъ мало, много шампанского, много острыхъ словъ, много книгъ, немного стиховъ“.

Какого рода были „демагогические споры“, о которыхъ упоминаетъ Пушкинъ, можно немного судить со словъ П. Д. Якушкина, посѣтившаго Каменку въ концѣ двадцатаго года:

Всѣ вечера мы проводили на половинѣ у Василія Львовича, и вечернія бесѣды наши для всѣхъ насы были очень занимательны. Раевскій, не принадлежа самъ къ Тайному Обществу, но подозрѣвая его существованіе, смотрѣлъ съ напряженіемъ любопытствомъ на все происходящее вокругъ его. Онъ не вѣрилъ, чтобъ я случайно заѣхалъ въ Каменку, и ему очень хотѣлось знать причину моего прибытія. Въ послѣдній вечеръ Орловъ, В. Л. Давыдовъ, Охотниковъ и я говорились такъ дѣйствовать, чтобы сбить съ толку Раевскаго на

счетъ того, принадлежимъ ли мы къ Тайному Обществу или нѣтъ. Для большаго порядка при нашихъ преніяхъ былъ выбранъ президентомъ Раевскій. Съ полуслушливъ и полууваживъ видомъ онъ управлялъ общимъ разговоромъ. Когда начинали очень шумѣть, онъ звонилъ въ колокольчикъ; никто не имѣлъ права говорить, не спросивъ у него на то дозволенія и т. д. Въ послѣдній этотъ вечеръ пребыванія нашего въ Каменкѣ, послѣ многихъ разсужденій о разныхъ предметахъ, Орловъ предложилъ вопросъ: насколько было-бы полезно учрежденіе Тайнаго Общества въ Россіи? Самъ онъ выскажалъ все, что можно было сказать за и противъ Тайнаго Общества. В. Л. Давыдовъ и Охотниковъ были согласны съ мнѣніемъ Орлова; Пушкинъ съ жаромъ доказывалъ всю пользу, какую-бы могло принести Тайное Общество Россіи. Тутъ, испросивъ слово у президента, я старался доказать, что въ Россіи совершенно невозможно существованіе Тайнаго Общества, которое могло-бы быть хоть на сколько нибудь полезно; Раевскій сталъ мнѣ доказывать противное и исчислилъ всѣ случаи, въ которыхъ Тайное Общество могло бы дѣйствовать съ успѣхомъ и пользой; въ отвѣтъ на его выходку я ему сказалъ: мнѣ не трудно доказать вамъ, что вы шутите; я предложу вамъ вопросъ: если-бы теперь уже существовало Тайное Общество, вы навѣрно къ нему не присоединились-бы? — Напротивъ, навѣрное бы присоединился, отвѣчалъ онъ. — Въ такомъ случаѣ давайте руку, сказалъ я ему. И онъ протянулъ мнѣ руку, послѣ чего я расхохотался, сказавъ Раевскому: разумѣется, все это только одна шутка. Другие также смѣялись, кромѣ А. Л., рогоносца величаваго, который дремалъ, и Пушкина, который былъ очень взволнованъ; онъ передъ этимъ увѣрился, что Тайное Общество или существуетъ, или тутъ-же получить свое начало, и онъ будетъ его членомъ; но когда увидѣлъ, что изъ этого вышла только шутка—онъ всталъ раскраснѣвшись и сказалъ со слезами на глазахъ: я никогда не былъ такъ несчастливъ, какъ теперь; я уже видѣлъ жизнь мою облагороженою и высокую цѣль передъ собою, и все это была только злая шутка. Въ эту минуту онъ былъ точно прекрасенъ. Въ 27-мъ году, когда онъ пришелъ проститься съ А. Г. Муравьевой, щавшей въ Сибирь къ своему мужу Никитѣ, онъ сказалъ ей: я очень понимаю, почему эти господа не хотѣли принять меня въ свое Общество; я не стоилъ этой чести <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Записки, 68—70.

По части „аристократическихъ обѣдовъ“ особенно славился Александръ Львовичъ Давыдовъ. Онъ очень любилъ покушать и, по воспоминаніямъ М. де-Рибаса, самъ рассказывалъ, что будучи въ 1815 году во Франціи, вмѣстѣ съ оккупационнымъ корпусомъ, и командуя однимъ летучимъ отрядомъ, онъ всегда составлялъ свой маршрутъ такимъ образомъ, чтобы имѣть возможность проходить и останавливаться во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, которыхъ славились или приготовленіемъ какого-нибудь особенного кушанья, или производствомъ рѣдкихъ фруктъ и овощей, или, наконецъ, искусственнымъ откармливаніемъ птицъ<sup>1)</sup>). Для него-то, по преданію, былъ устроенъ гротъ, чтобы лѣтомъ онъ могъ тамъ предаваться своей страсти, безъ помѣхи со стороны жары, отъ которой онъ сильно страдалъ, благодаря своей толщинѣ. Это тотъ Давыдовъ, къ которому въ 1824 г. Пушкинъ обратился съ слѣдующимъ посланіемъ:

Нельзя, мой толстый Аристиппъ:  
Хоть я люблю твои бесѣды,  
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ,  
Твой вкусъ и жирные обѣды,  
Но не могу съ тобою плыть  
Къ брегамъ полуденной Тавриды.  
Прошу меня не позабыть,  
Любимецъ Вакха и Киприды!  
Когда чахоточный отецъ  
Немного тощей Энеиды  
Пускался въ море наконецъ,  
Ему Гораций, умный листецъ,  
Прислалъ торжественную оду,  
Гдѣ другу Августовъ пѣвецъ  
Сулилъ хорошую погоду:  
Но листивыхъ одѣ я не пишу,  
Ты не въ чахоткѣ, слава Богу:  
У неба я тебѣ прошу  
Лиши appetита на дорогу.

I, стр. 301.

Но и „аристократические обѣды“ не обходились безъ „демагогическихъ споровъ“, или по крайней мѣрѣ—тостовъ. Отъ начала

<sup>1)</sup> В. А. Яковлевъ, Отзывы о Пушкинѣ съ юга Россіи. Одесса. 1887 г., стр. 117.

апрѣля 1821 г. сохранилось стихотворное письмо Пушкина въ Василию Львовичу Давыдову, съ интересными упоминаніями о лицахъ, въ кругу которыхъ Пушкинъ незадолго передъ тѣмъ проводилъ время въ Каменкѣ:

Межъ тѣмъ какъ генераль Орловъ,  
 Обритый рекрутъ Гименея,  
 Священной страстью пламенѣя,  
 Подъ мѣру подойти готовъ;  
 Межъ тѣмъ какъ ты, проказникъ умный,  
 Проводиша почь въ бесѣдѣ шумной,  
 За ужиномъ, съ бутылками Аи,  
 Сидять Раевскіе мои.  
 Когда вездѣ весна младая  
 Съ улыбкой распустила грязь,  
 И съ горя на берегахъ Дуная  
 Бушуетъ нашъ безрукій князь,  
 Тебя, Раевскихъ и Орлова,  
 И память Каменки любя,  
 Хочу сказать тебѣ два слова  
 Про Кишиневъ и про себя.  
 Я... невольно вспоминаю,  
 Давыдовъ, о твоемъ винѣ...  
 Когда и ты, и милый братъ<sup>1)</sup>,  
 Передъ каминомъ надѣвали  
 Демократической халатъ, .

<sup>1)</sup> „Милый толстякъ Давыдовъ (А. Л.) считался въ то время ярымъ либераломъ“, какъ замѣтилъ де-Рибасъ. Либерализмъ этотъ не мѣшалъ А. Л-чу дремать подъ шумокъ либеральныхъ бесѣдъ, что видно изъ записокъ Якушкина; не мѣшалъ онъ и такимъ поступкамъ: какой-то факторъ-еврей поридкомъ надулъ Давыдова. Александръ Львовичъ призвалъ къ себѣ еврея и когда тотъ, ничего не подозрѣвая, вошелъ въ его комнату, то онъ сильно побилъ его чубукомъ своей трубки. Побитый факторъ подалъ жалобу генераль-губернатору графу Воронцову, который покровительствовалъ евреямъ. Графъ тотчасъ же приказалъ полиції взыскать съ Давыдова 25 р. въ пользу еврея. Когда полицейскій чиновникъ предъявилъ Давыдову приказаніе графа Воронцова, тотъ сильно разсердился. Потомъ, вынувъ изъ кармана деньги и, обращаясь къ фактору, онъ сказалъ ему: Вотъ тебѣ 25 р. за то, что я тебя побилъ, а вотъ другіе 25 р. за то, что я еще побью, — и, схвативъ еврея за бороду, такъ сильно побилъ его на глазахъ блистителя порядка, что онъ едва могъ дотащиться до дома. Яковлевъ, *ibid.* 118.

Спасенъя чашу наполняли  
Безпѣнной мерзлою струей  
И за здоровье *тѣхъ и той*  
До дна, до капли выпивали...  
Но *тъ* въ Неаполѣ шалять,  
А *та* едва ли тамъ воскреснетъ:  
Народы тишины хотятъ,  
И долго ихъ лремъ не треснетъ... VII, 20—21.

Подъ *тѣми* Пушкинъ подразумѣвалъ итальянскихъ карбонаріевъ, а подъ *той*—революціонную Францію, скованную реставраціей и даже воевавшую за укрѣпленіе династіи Бурбоновъ въ Испаніи <sup>1)</sup>.

Характеризуя общество Каменкѣ, Пушкинъ не забылъ упомянуть о женщинахъ. Безъ нихъ жизнь поэта была не полна; такъ бывало всегда и вездѣ, такъ было и въ Каменкѣ. Долгое время въ стихотвореніяхъ Пушкина, начиная съ написанныхъ въ Крыму, мелькаетъ возвышенный женскій образъ, отразившійся, между прочимъ, въ *Нерейдѣ* и чудной элегіи *Рѣднѣетъ облаковъ летучая гряда*; первая и вторая написаны въ Каменкѣ, подъ свѣжимъ еще впечатлѣніемъ крымской жизни.

Стихотворенія проникнуты глубокимъ, чистымъ чувствомъ, скорбью нераздѣленной любви, къ которой Пушкинъ относился такъ бережно, что не хотѣлъ-было печатать *Бахчисарайскую Фонтану*, „потому что (писалъ онъ брату 25 августа 1823 г.) многія мѣста (его) относятся къ одной женщинѣ, въ которую я былъ очень долго и очень глупо влюбленъ... Такъ и быть, я Вяземскому пришлю *Фонтанъ*, выпустивъ любовный бредъ—а жаль“!

Интересно и характерно для жизни Пушкина на югѣ Россіи это отношеніе его къ своему чувству: Пушкинъ какъ будто стыдится своей любви („роль Петрарки мнѣ не по нутру“!), но разстаться съ нею не можетъ безъ сожалѣнія. Въ 1824 г. Бестужевъ напечаталъ элегію *Рѣднѣетъ облаковъ летучая гряда* съ тремя заключительными стихами, очевидно, представлявшими тогда слишкомъ ясныя указанія на предметъ любви поэта, и послѣдній дважды пишетъ объ этомъ Бестужеву въ такихъ выраженіяхъ: „ты напечаталъ именно тѣ стихи, объ которыхъ именно я просилъ тебя: ты не знаешь, до какой сте-

<sup>1)</sup> Аиненковъ. Пушкинъ въ Александровскую эпоху, стр. 184.

пени это мнѣ досадно“<sup>1)</sup>). „Богъ тебя простить, но ты осрамилъ меня въ нынѣшней Звѣздѣ, напечатавъ три послѣдніе стиха моей элегіи.—Чортъ дернулъ меня написать еще некстати о Бахчисарайскомъ Фонтанѣ какія то чувствительныя строчки и припомнить тутъ же элегическую мою красавицу.—Вообрази мое отчаяніе, когда я увидалъ ихъ напечатанными! Журналъ можетъ попасть въ ея руки; что жъ она подумаетъ, видя, съ какою охотою бѣсѣду обѣ ней съ „однимъ изъ петербургскихъ моихъ пріятелей“?... Обязана ли она знать, что она мною не названа, что письмо распечатано и напечатано Булгаринымъ, что проклятая элегія доставлена тебѣ чортъ знаетъ кѣмъ, и что никто не виноватъ? Признаюсь, одной мыслью этой женщины дорожу я больше, чѣмъ мнѣніями всѣхъ журналовъ на сопѣтъ и всей нашей публики... Голова у меня закружилась“...

„Чувствительныя строчки“, о которыхъ здѣсь была рѣчь, представляютъ отрывокъ изъ письма къ Бестужеву, отъ 8 февраля 1824 г., гдѣ Пушкинъ упоминаетъ, что въ Бахчисарайскомъ Фонтанѣ онъ „суевѣрно перекладывалъ въ стихи разсказъ молодой женщины:

Aux douces loix des vers je pliais les accents  
De sa bouche aimable et naїve“.

„Молодой женщины“ Пушкинъ не называетъ; но, очевидно, это была та, о комъ онъ писалъ Дельвигу въ декабрѣ того же года изъ Михайловскаго: „К. поэтически описывала мнѣ его, называя la fontaine des larmes“. Въ К\*\*\* видѣть Катерину Николаевну Раевскую; а такъ какъ изъ вышеприведенныхъ писемъ нельзя заключить, чтобы Пушкинъ говорилъ о двухъ женщинахъ, то и въ „элегической красавицѣ“, быть можетъ, вѣрнѣе всего видѣть тоже Катерину Николаевну, „женщину необыкновенную“, по отзыву нашего поэта. Распространено, однако, мнѣніе, что элегія *Рѣдѣетъ облаковъ летучая* *ряда, Переида* и иѣкоторая другія подобныя произведенія того времени относятся къ Еленѣ Николаевнѣ Раевской<sup>2)</sup>.

Сомнѣваться въ серьезности, искренности и чистотѣ чувства Пушкина къ Раевской—невозможно; но нельзя не отмѣтить и того печальнаго факта, что это чувство не удержало Пушкина отъ другихъ

<sup>1)</sup> Одесса, 12 января 1824 г.

<sup>2)</sup> См. Сочиненія А. С. Пушкина, подъ ред. Морозова, I, стр. 224 и д.

увлеченій, которыхъ къ тому же бывали далеко не возвышенного свойства. Одно изъ нихъ имѣло мѣсто въ Каменкѣ.

Александръ Львовичъ Давыдовъ былъ женатъ на француженкѣ Аглаѣ Антоновнѣ, урожденной графинѣ де Грамонъ<sup>1)</sup>). Среди писемъ Пушкина брату есть крайне безцеремонная эпиграмма на Аглаю, гдѣ „каждый стихъ—правда“, и кажется, мы не ошибемся, если подъ Аглаей эпиграммы будемъ видѣть именно жену Александра Львовича, „котораго Пушкинъ такъ удачно назвалъ „рогоносецъ величавый“<sup>2)</sup>.

Не потерявшая прелести и желанія нравиться, несмотря на свои тридцать съ лишнимъ лѣтъ, Аглая Антоновна кокетничала съ „молодымъ повѣсой“, подчасъ злила его своимъ напускнымъ равнодушiemъ и, повидимому, кончила тѣмъ, что увлеклась имъ нѣсколько посеръянѣе, но поклонникъ ея, добившись успѣха, „взялъ наперстницу Наташу“, оставилъ прежней—ироническое посланіе *Аилан*. Наиболѣе страдательнымъ лицомъ во всей этой „обыкновенной исторіи“ явилась едва ли не дочь Аглаи Антоновны—Адель, дѣвочка лѣтъ 12-ти. Какъ разсказываетъ Якушинъ, Пушкинъ „вообразилъ себѣ (или вѣрнѣе, нацупилъ на себя видѣ), что онъ въ нее влюбленъ, безпрестанно на нее заглядывался, и, подходя къ ней, шутилъ съ ней очень неловко“.

„Однажды за обѣдомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня и раскраснѣвшись смотрѣлъ такъ ужасно на хорошенькую дѣвочку, что она бѣдная не знала, что дѣлать, и готова была плакать. Минѣ стало ее жалко, и я сказалъ Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы дѣлаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смущили бѣдное дитя. „Я хочу наказать кокетку, отвѣчалъ онъ; прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня“.

<sup>1)</sup> А. Л. женился на ней въ Митавѣ во время пребыванія въ этомъ городѣ Людовика XVIII. А. А. „весьма хорошенькая, вѣтринная и кокетливая, какъ истая француженка, искала въ шумѣ развлечений средство не умереть со скучи въ варварской Россіи“. Описывая пребываніе Д. В. Давыдова въ Каменкѣ наканунѣ 12-го года, сынъ знаменитаго партизана говорить, что Аглая Антоновна была магнитомъ, привлекающимъ къ себѣ всѣхъ желѣзныхъ дѣятелей славнаго Александровскаго времени. Отъ главнокомандующихъ до корнетовъ, все жило и ликовало въ Каменкѣ, но главное—умирало у ногъ прелестной Аглаи. Д. В. Д—овъ воспѣвалъ ее въ стихахъ. Екатерина Николаевна Давыдова не стѣсняла молодежи, такъ какъ соединяла въ себѣ какую-то величавость съ рѣдкимъ простодуміемъ, или скорѣе близорукостью относительно нравовъ. Р. Старина 1872 г., кн. 4, стр. 632.

<sup>2)</sup> И. Д. Якушинъ. Записки, стр. 86.

Съ большимъ трудомъ удалось мнѣ обратить все это въ шутку и заставить его улыбнуться<sup>1)</sup>.

Не на основѣ ли такихъ отношеній возникло самое стихотвореніе *Адели*, не совсѣмъ подходящее для посвященія маленькой дѣвочкѣ?

Играй, Адель,	Для наслажденія
Не знай печали;	Ты рождена.
Хариты, Лель	Часъ упоенія
Тебя вѣнчали	Лови, лови!
И колыбель	Младыя лѣта
Твою качали.	Отдай любви,
Твоя весна	И въ шумѣ свѣта
Тиха, ясна.	Люби Адель

Мою свирѣль.

I, 281.

Дальнѣйшая судьба дѣвочки не оправдала пожеланій поэта. Аглая Антоновна, послѣ смерти мужа, перѣхала въ Парижъ: ревностная католичка, она обратила двухъ своихъ дочерей въ католичество, и Адели, вмѣсто наслажденій большого свѣта, выпало на долю уединеніе монастыря.

Настали и для Каменки иные времена; ее

Измаялъ съ-налету вихорь шумный...  
Погибъ и кормщикъ, и пловецъ!

Ея „таинственный пѣвецъ“ былъ пощаженъ грозою, но находился далеко, въ кругу иныхъ друзей...

На смѣшу старшему поколѣнію Каменки подростало младшее,— вдали отъ родины. Двѣ малолѣтнія дочери Василія Львовича, Ек-на В-на и Ел-та В-на, жили у Чернышевыхъ-Кругликовыхъ, одно изъ имѣній которыхъ было въ Яропольцѣ Волоколамскаго уѣзда, рядомъ съ имѣніемъ Гончаровыхъ. Здѣсь прозвучалъ послѣдній привѣтъ Каменкѣ,

<sup>1)</sup> Нѣчто подобное дѣлагъ Пушкинъ въ Кишиневѣ; жена Балаша, еще довольно молодая женщина, вездѣ вывозила съ собой, несмотря на ранній возрастъ, дѣвочку дочь, лѣтъ 18-ти. Пушкинъ за нею ухаживалъ. Досадно ли это было матери, или, быть можетъ, она сама желала слышать любезности Пушкина, только она за что-то разсердилаась и стала къ нему придираться. Бартеневъ, стр. 1167.

эпилогъ ея веселью, спорамъ. Было это уже въ тридцатыхъ годахъ, когда Ек-на В. и Ел-та В. видѣли Пушкина у Чернышевыхъ<sup>1)</sup>.

Пушкинъ ничѣмъ особенно не выдѣлялся среди другихъ, и остался въ памяти Ел-ты В. человѣкомъ небольшого роста, смуглымъ, съ курчавыми волосами. Ек-на В. помнить, что посвѣщеніе было днемъ; Пушкинъ сидѣлъ на стулѣ, ходили дѣти... Въ воспоминаніяхъ Ел-ты В. сохранилась другая картина: при свѣчахъ вся сидѣли за столомъ и пили чай; черезъ столъ, противъ Ел-ты В., сидѣлъ Пушкинъ; онъ заговорилъ съ ней, сказалъ, что очень хорошо зналъ ея отца, часто бывалъ въ Каменѣвъ; послѣ словъ Пушкина стало очень пріятно...<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Изъ письма Пушкина видно, что въ 1833 г. онъ, дѣйствительно, былъ въ Яропольцѣ, у Гончаровыхъ; въ слѣдующемъ годуѣездилъ въ Болдино, коне чно черезъ Москву; въ 1836 г. также былъ въ Москвѣ.

<sup>2)</sup> Когда Пушкинъ погибъ на дуэли, у Чернышевыхъ вся были поражены, жалѣли о немъ, но, главнымъ образомъ, какъ о знакомомъ, человѣкѣ общества; Ек-на В. и Ел-та В. не помнить, чтобы о немъ говорили, какъ о поэтѣ, и сами онѣ съ поэзіей Пушкина въ ту пору мало были знакомы; лишь позднѣе, за границей, онѣ стали больше читать произведенія его и глубже заинтересовались ими.









